И. С. ТУРГЕНЕВ



СОЧИНЕ-
НИЯ

7

Ив. Тургенев



И. С. ТУРГЕНЕВ.

Фотография А. И. Деньера, 1865 г.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Академии наук СССР. Ленинград.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

♦

Издание второе, исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1981

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Том седьмой

ОТЦЫ И ДЕТИ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
ДЫМ

1861—1867

♦

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1981

Т $\frac{70302\text{-}125}{042\ (02)\text{-}81}$ Подписное 3702000000

ОТЦЫ И ДЕТИ

1861



Посвящается памяти
Виссариона Григорьевича
БЕЛИНСКОГО

I

— Что, Петр, не видать еще? — спрашивал 20-го мая 1859 года, выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на *** шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запыленном пальто и клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого малого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, в котором всё: и бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы, и учтивые телодвижения, словом, всё изобличало человека новейшего, усовершенствованного поколения, посмотрел снисходительно вдоль дороги и ответствовал: «Никак нет-с, не видать».

— Не видать? — повторил барин.

— Не видать,— вторично ответствовал слуга.

Барин вздохнул и присел на скамеечку. Познакомим с ним читателя, пока он сидит, подогнувши под себя ножки и задумчиво поглядывая кругом.

Зовут его Николаем Петровичем Кирсановым. У него в пятнадцати верстах от постоялого дворика хорошее имение в двести душ, или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел «ферму»,— в две тысячи десятин земли. Отец его, боевой генерал 1812 года, полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль. Николай Петрович родился на юге России, подобно старшему своему брату Павлу, о котором речь впереди, и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его, из фамилии Колязиных, в девицах Agathe, а в генеральшах Агафоклея Кузьминишна Кирсанова, принадлежала к числу «матушек-командирш», носила пышные чепцы и шумные шёлковые платья, в церкви подходила первая ко кресту, говорила громко и

много, допускала детей утром к ручке, на ночь их благословляла,— словом, жила в свое удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович — хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки — должен был, подобно брату Павлу, поступить в военную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким». Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. Кстати, брат его о ту пору вышел офицером в гвардейский полк. Молодые люди стали жить вдвоем, на одной квартире, под отдаленным надзором двоюродного дяди с материнской стороны, Ильи Колязина, важного чиновника. Отец их вернулся к своей дивизии и к своей супруге и лишь изредка присылал сыновьям большие четвертушки серой бумаги, испещренные размашистым писарским почерком. На конце этих четвертушек красовались старательно окруженные «выкрутасами» слова: «Пиотр Кирсаноф, генерал-майор». В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, и в том же году генерал Кирсанов, уволенный в отставку за неудачный смотр, приехал в Петербург с женою на житье. Он нанял было дом у Таврического сада и записался в английский клуб, но внезапно умер от удара. Агафоклея Кузьминишна скоро за ним последовала: она не могла привыкнуть к глухой столичной жизни; тоска отставного существованья ее загрызла. Между тем Николай Петрович успел, еще при жизни родителей и к немалому их огорчению, влюбиться в дочку чиновника Преполовенского, бывшего хозяина его квартиры, миловидную и, как говорится, развитую девицу: она в журналах читала серьезные статьи в отделе «Наук». Он женился на ней, как только минул срок траура, и, покинув министерство уделов, куда по протекции отец его записал, блаженствовал со своею Машей сперва на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире, с чистою лестницей и холодноватою гостиной, наконец — в деревне, где он поселился окончательно и где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги жили очень хорошо и тихо: они почти никогда не расставались, читали вместе, играли в четыре руки на фортепьяно, пели дуэты; она сажала цветы и наблюдала за птичным двором, он изредка ездил на охоту и

Отцы и Дѣти.

Эпиграфъ:

Молодой человѣкъ человѣку средних лѣтъ. Вы имѣли содержаніе, но не было силы.
Человѣкъ средних лѣтъ. А вы — сила безъ содержанія. (Изъ современнаго разговора)

Глава первая.

Что? Петръ? не видать еще? — спрашивалъ 20-го Мая 1859-го года, выходя безъ шапки на низкое крылечко постоялаго двора на ... мъ шоссе баринъ лѣтъ 45-и въ запыленномъ пальто и клетчатыхъ панталонахъ, у своего слуги, молодаго и щекастаго малаго съ бѣловатымъ пухомъ на подбородкѣ и маленькими тусклыми глазенками.

Слуга, въ которомъ всё — и бирюзовая сережка въ ухѣ и напомаженные разноцвѣтные волосы и учтивыя тѣлодвиженія — словомъ всё изобличало человѣка новѣйшаго, усовершенствованнаго поколѣнія, посмотрѣлъ снисходительно вдоль дороги и отвѣтствовалъ: никакъ нѣтъ-съ, не видать.

Не видать? — повторилъ баринъ.

Не видать — вторично отвѣтствовалъ слуга.

Баринъ вздохнулъ и присѣлъ на скамеечку. Познакомимъ съ нимъ читателя, пока онъ сидитъ, подогнувши подъ себя ножки и задумчиво поглядывая кругомъ.

Звали его Николаемъ Петровичемъ Кирсановымъ. У него въ пятнадцати верстахъ отъ постоялаго дворика хорошее имѣніе въ двѣсти душъ — или, какъ онъ выражается съ тѣхъ поръ, какъ размежевался съ крестьянами и завелъ «ферму» — въ двѣ тысячи десятинъ земли. Отецъ его, боевой генералъ 1812-го года, полуграмотный, грубый, но не злой русскій человѣкъ, всю жизнь свою тянулъ лямку, командовалъ

«ОТЦЫ И ДЕТИ». ПЕРВАЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА.
Национальная библиотека, Париж.

занимался хозяйством, а Аркадий рос да рос — тоже хорошо и тихо. Десять лет прошло как сон. В 47-м году жена Кирсанова скончалась. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия. На последнюю зиму он приехать не мог,— и вот мы видим его в мае месяце 1859 года, уже совсем седого, пухленького и немного сгорбленного: он ждет сына, получившего, как некогда он сам, звание кандидата.

Слуга, из чувства приличия, а может быть, и не желая остаться под барским глазом, зашел под ворота и закурил трубку. Николай Петрович поник головой и начал глядеть на ветхие ступеньки крылечка. крупный пестрый цыпленок степенно расхаживал по ним, крепко стуча своими большими желтыми ногами; запачканная кошка недружелюбно посматривала на него, жеманно прикорнув на перила. Солнце пекло; из полутемных сеней постоялого дворика несло запахом теплого ржаного хлеба. Замечтался наш Николай Петрович. «Сын... кандидат... Аркаша...» — беспрестанно вертелось у него в голове; он пытался думать о чем-нибудь другом, и опять возвращались те же мысли. Вспомнилась ему покойница-жена... «Не дождалась!» — шепнул он уныло... Толстый сизый голубь прилетел на дорогу и поспешно отправился пить в лужицу возле колодца. Николай Петрович стал глядеть на него, а ухо его уже ловило стук приближающихся колес...

— Никак они едут-с,— доложил слуга, вынырнув из-под ворот.

Николай Петрович вскочил и устремил глаза вдоль дороги. Показался тарантас, запряженный тройкой ямских лошадей; в тарантасе мелькнул околыш студентской фуражки, знакомый очерк дорогого лица...

— Аркаша! Аркаша! — закричал Кирсанов, и побежал, и замахал руками... Несколько мгновений спустя его губы уже прильнули к безбородой, запыленной и загорелой щеке молодого кандидата.

II

— Дай же отряхнуться, папаша,— говорил несколько сиплым от дороги, но звонким юношеским голосом Аркадий, весело отвечая на отцовские ласки,— я тебя всего запачкаю.

— Ничего, ничего,— твердил, умиленно улыбаясь, Николай Петрович и раза два ударил рукою по воротнику сыновней шинели и по собственному пальто.— Покажи-ка себя, покажи-ка,— прибавил он, отодвигаясь, и тотчас же пошел торопливыми шагами к постоялому двору, приговаривая: «Вот сюда, сюда, да лошадей поскорее».

Николай Петрович казался гораздо встревоженнее своего сына; он словно потерялся немного, словно робел. Аркадий остановил его.

— Папаша,— сказал он,— позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем, Базаровым, о котором я тебе так часто писал. Он так любезен, что согласился погостить у нас.

Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обнаженную красную руку, которую тот не сразу ему подал.

— Душевно рад,— начал он,— и благодарен за доброе намерение посетить нас; надеюсь... позвольте узнать ваше имя и отчество?

— Евгений Васильев,— отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу всё свое лицо. Длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

— Надеюсь, любезнейший Евгений Васильич, что вы не соскучитесь у нас,— продолжал Николай Петрович.

Тонкие губы Базарова чуть тронулись; но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа.

— Так как же, Аркадий,— заговорил опять Николай Петрович, оборачиваясь к сыну,— сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите?

— Дома отдохнем, папаша; вели закладывать.

— Сейчас, сейчас,— подхватил отец.— Эй, Петр, слышишь? Распорядись, братец, поживее.

Петр, который в качестве усовершенствованного слуги не подошел к ручке барича, а только издали поклонился ему, снова скрылся под воротами.

— Я здесь с коляской, но и для твоего тарантаса есть тройка,— хлопотливо говорил Николай Петрович, между тем как Аркадий пил воду из железного ковшика, принесенного хозяйкой постоялого двора, а Базаров закурил трубку и подошел к ямщику, отпрягавшему лошадей,— только коляска двухместная, и вот я не знаю, как твой приятель...

— Он в тарантасе поедет,— перебил вполголоса Аркадий.— Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой — ты увидишь.

Кучер Николая Петровича вывел лошадей.

— Ну, поворачивайся, толстобородый! — обратился Базаров к ямщику.

— Слышь, Митюха,— подхватил другой тут же стоявший ямщик с руками, засунутыми в задние прорехи тулупа,— барин-то тебя как прозвал? Толстобородый и есть.

Митюха только шапкой тряхнул и потащил вожжи с потной коренной.

— Живей, живей, ребята, подсобляйте,— воскликнул Николай Петрович,— на водку будет!

В несколько минут лошади были заложены; отец с сыном поместились в коляске; Петр взобрался на козлы; Базаров вскочил в тарантас, уткнулся головой в кожаную подушку — и оба экипажа покатили.

III

— Так вот как, наконец ты кандидат и домой приехал,— говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то по колену.— Наконец!

— А что дядя? здоров?— спросил Аркадий, которому, несмотря на искреннюю, почти детскую радость, его наполнявшую, хотелось поскорее перевести разговор с настроения взволнованного на обыденное.

— Здоров. Он хотел было выехать со мной к тебе навстречу, да почему-то раздумал.

— А ты долго меня ждал? — спросил Аркадий.

— Да часов около пяти.

— Добрый папаша!

Аркадий живо повернулся к отцу и звонко поцеловал его в щеку. Николай Петрович тихонько засмеялся.

— Какую я тебе славную лошадь приготовил! — начал он.— ты увидишь. И комната твоя оклеена обоями.

— А для Базарова комната есть?

— Найдется и для него.

— Пожалуйста, папаша, приласкай его. Я не могу тебе выразить, до какой степени я дорожу его дружбой.

— Ты недавно с ним познакомился?

— Недавно.

— То-то прошлою зимой я его не видал. Он чем занимается?

— Главный предмет его — естественные науки. Да он всё знает. Он в будущем году хочет держать на доктора.

— А! он по медицинскому факультету,— заметил Николай Петрович и помолчал.— Петр,— прибавил он и протянул руку,— это, никак, наши мужики едут?

Петр глянул в сторону, куда указывал барин. Несколько телег, запряженных разнузданными лошадьми, шибко катились по узкому проселку. В каждой телеге сидело по одному, много по два мужика в тулупах нараспашку.

— Точно так-с,— промолвил Петр.

— Куда это они едут, в город, что ли?

— Полагать надо, что в город. В кабак,— прибавил он презрительно и слегка наклонился к кучеру, как бы ссылаясь на него. Но тот даже не пошевельнулся: это был человек старого закала, не разделявший новейших воззрений.

— Хлопоты у меня большие с мужиками в нынешнем году,— продолжал Николай Петрович, обращаясь к сыну.— Не платят оброка. Что ты будешь делать?

— А своими наемными работниками ты доволен?

— Да,— процедил сквозь зубы Николай Петрович.— Подбивают их, вот что беда; ну, и настоящего старания всё еще нету. Сбрую портят. Пахали, впрочем, ничего. Перемелется — мука будет. Да разве тебя теперь хозяйство занимает?

— Тени нет у вас, вот что горе,— заметил Аркадий, не отвечая на последний вопрос.

— Я с северной стороны над балконом большую маркизу приделал,— промолвил Николай Петрович,— теперь и обедать можно на воздухе.

— Что-то на дачу больно похоже будет... а впрочем, это всё пустяки. Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет! Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как в здешних краях! Да и небо здесь...

Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд назад и умолк.

— Конечно,— заметил Николай Петрович,— ты здесь родился, тебе всё должно казаться здесь чем-то особенным...

— Ну, папаша, это всё равно, где бы человек ни родился.

— Однако...

— Нет, это совершенно всё равно.

Николай Петрович посмотрел сбоку на сына, и коляска проехала с полверсты, прежде чем разговор возобновился между ними.

— Не помню, писал ли я тебе,— начал Николай Петрович,— твоя бывшая нянюшка, Егоровна, скончалась.

— Неужели? Бедная старуха! А Прокофьич жив?

— Жив и нисколько не изменился. Всё так же брюзжит. Вообще ты больших перемен в Марьине не найдешь.

— Приказчик у тебя всё тот же?

— Вот разве что приказчика я сменил. Я решился не держать больше у себя вольноотпущенных, бывших дворовых, или по крайней мере не поручать им никаких должностей, где есть ответственность. (Аркадий указал глазами на Петра.) Il est libre, en effet [1],— заметил вполголоса Николай Петрович,— но ведь он — камердинер. Теперь у меня приказчик из мещан: кажется, дельный малый. Я ему назначил двести пятьдесят рублей в год. Впрочем,— прибавил Николай Петрович, потирая лоб и брови рукою, что у него всегда служило признаком внутреннего смущения,— я тебе сейчас сказал, что ты не найдешь перемен в Марьине... Это не совсем справедливо. Я считаю своим долгом предварить тебя, хотя...

Он запнулся на мгновенье и продолжал уже по-французски.

— Строгий моралист найдет мою откровенность неуместною, но, во-первых, это скрыть нельзя, а во-вторых, тебе известно, у меня всегда были особенные принципы насчет отношений отца к сыну. Впрочем, ты, конечно,

---

[1] Он в самом деле вольный *(франц.)*.

будешь вправе осудить меня. В мои лета... Словом, эта... эта девушка, про которую ты, вероятно, уже слышал...

— Фенечка? — развязно спросил Аркадий.

Николай Петрович покраснел.

— Не называй ее, пожалуйста, громко... Ну, да... она теперь живет у меня. Я ее поместил в доме... там были две небольшие комнатки. Впрочем, это всё можно переменить.

— Помилуй, папаша, зачем?

— Твой приятель у нас гостить будет... неловко...

— Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся. Он выше всего этого.

— Ну, ты, наконец,— проговорил Николай Петрович.— Флигелек-то плох — вот беда.

— Помилуй, папаша,— подхватил Аркадий, — ты как будто извиняешься; как тебе не совестно.

— Конечно, мне должно быть совестно,— отвечал Николай Петрович, всё более и более краснея.

— Полно, папаша, полно, сделай одолжение! — Аркадий ласково улыбнулся. «В чем извиняется!» — подумал он про себя, и чувство снисходительной нежности к доброму и мягкому отцу, смешанное с ощущением какого-то тайного превосходства, наполнило его душу.— Перестань, пожалуйста,— повторил он еще раз, невольно наслаждаясь сознанием собственной развитости и свободы.

Николай Петрович глянул на него из-под пальцев руки, которою он продолжал тереть себе лоб, и что-то кольнуло его в сердце... Но он тут же обвинил себя.

— Вот это уж наши поля пошли,— проговорил он после долгого молчания.

— А это впереди, кажется, наш лес? — спросил Аркадий.

— Да, наш. Только я его продал. В нынешнем году его сводить будут.

— Зачем ты его продал?

— Деньги были нужны; притом же эта земля отходит к мужикам.

— Которые тебе оброка не платят?

— Это уж их дело, а впрочем, будут же они когда-нибудь платить.

— Жаль леса,— заметил Аркадий и стал глядеть кругом.

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, всё поля, тянулись вплоть до самого

небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами. Сердце Аркадия понемногу сжималось. Как нарочно, мужички встречались все обтерханные, на плохих клячонках; как нищие в лохмотьях, стояли придорожные ракиты с ободранною корой и обломанными ветвями; исхудалые, шершавые, словно обглоданные, коровы жадно щипали траву по канавам. Казалось, они только что вырвались из чьих-то грозных, смертоносных когтей — и, вызванный жалким видом обессиленных животных, среди весеннего красного дня вставал белый призрак безотрадной, бесконечной зимы с ее метелями, морозами и снегами... «Нет,— подумал Аркадий,— небогатый край этот, не поражает он ни довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, преобразования необходимы... но как их исполнить, как приступить?..»

Так размышлял Аркадий... а пока он размышлял, весна брала свое. Всё кругом золотисто зеленело, всё широко и мягко волновалось и лоснилось под тихим дыханием теплого ветерка, всё — деревья, кусты и травы; повсюду нескончаемыми звонкими струйками заливались жаворонки; чибисы то кричали, виясь над низменными лугами, то молча перебегали по кочкам; красиво чернея в нежной зелени еще низких яровых хлебов, гуляли грачи; они пропадали во ржи, уже слегка побелевшей, лишь изредка выказывались их головы в дымчатых ее волнах. Аркадий глядел, глядел, и, понемногу ослабевая, исчезали его размышления... Он сбросил с себя шинель и так весело, таким молоденьким мальчиком посмотрел на отца, что тот опять его обнял.

— Теперь уж недалеко,— заметил Николай Петрович.— вот стоит только на эту горку подняться, и дом будет виден. Мы заживем с тобой на славу, Аркаша; ты мне помогать будешь по хозяйству, если только это

тебе не наскучит. Нам надобно теперь тесно сойтись друг с другом, узнать друг друга хорошенько, не правда ли?

— Конечно,— промолвил Аркадий,— но что за чудный день сегодня!

— Для твоего приезда, душа моя. Да, весна в полном блеске. А впрочем, я согласен с Пушкиным — помнишь, в Евгении Онегине:

> Как грустно мне твое явленье,
> Весна, весна, пора любви!
> Какое...

— Аркадий! — раздался из тарантаса голос Базарова,— пришли мне спичку, нечем трубку раскурить.

Николай Петрович умолк, а Аркадий, который начал было слушать его не без некоторого изумления, но и не без сочувствия, поспешил достать из кармана серебряную коробочку со спичками и послал ее Базарову с Петром.

— Хочешь сигарку? — закричал опять Базаров.

— Давай,— отвечал Аркадий.

Петр вернулся к коляске и вручил ему вместе с коробочкой толстую черную сигарку, которую Аркадий немедленно закурил, распространяя вокруг себя такой крепкий и кислый запах заматерелого табаку, что Николай Петрович, отроду не куривший, поневоле, хотя незаметно, чтобы не обидеть сына, отворачивал нос.

Четверть часа спустя оба экипажа остановились перед крыльцом нового деревянного дома, выкрашенного серою краской и покрытого железною красною крышей. Это и было Марьино, Новая слободка тож, или, по крестьянскому наименованью, Бобылий хутор.

IV

Толпа дворовых не высыпала на крыльцо встречать господ; показалась всего одна девочка лет двенадцати, а вслед за ней вышел из дому молодой парень, очень похожий на Петра, одетый в серую ливрейную куртку с белыми гербовыми пуговицами, слуга Павла Петровича Кирсанова. Он молча отворил дверцу коляски и отстегнул фартук тарантаса. Николай Петрович с сыном и с Базаровым отправились через темную и почти пустую залу, из-за двери которой мелькнуло молодое женское лицо, в гостиную, убранную уже в новейшем вкусе.

— Вот мы и дома,— промолвил Николай Петрович, снимая картуз и встряхивая волосами.— Главное, надо теперь поужинать и отдохнуть.

— Поесть действительно не худо,— заметил, потягиваясь, Базаров и опустился на диван.

— Да, да, ужинать давайте, ужинать поскорее.— Николай Петрович без всякой видимой причины потопал ногами.— Вот кстати и Прокофьич.

Вошел человек лет шестидесяти, беловолосый, худой и смуглый, в коричневом фраке с медными пуговицами и в розовом платочке на шее. Он осклабился, подошел к ручке к Аркадию и, поклонившись гостю, отступил к двери и положил руки за спину.

— Вот он, Прокофьич,— начал Николай Петрович,— приехал к нам наконец... Что? как ты его находишь?

— В лучшем виде-с,— проговорил старик и осклабился опять, но тотчас же нахмурил свои густые брови.— На стол накрывать прикажете? — проговорил он внушительно.

— Да, да, пожалуйста. Но не пройдете ли вы сперва в вашу комнату, Евгений Васильич?

— Нет, благодарствуйте, незачем. Прикажите только чемоданишко мой туда стащить да вот эту одёженку,— прибавил он, снимая с себя свой балахон.

— Очень хорошо. Прокофьич, возьми же их шинель. (Прокофьич, как бы с недоумением, взял обеими руками базаровскую «одёженку» и, высоко подняв ее над головою, удалился на цыпочках.) А ты, Аркадий, пойдешь к себе на минутку?

— Да, надо почиститься,— отвечал Аркадий и направился было к дверям, но в это мгновение вошел в гостиную человек среднего роста, одетый в темный английский *сьют*, модный низенький галстух и лаковые полусапожки, Павел Петрович Кирсанов. На вид ему было лет сорок пять: его коротко остриженные седые волосы отливали темным блеском, как новое серебро; лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильное и чистое, словно выведенное тонким и легким резцом, являло следы красоты замечательной; особенно хороши были светлые, черные, продолговатые глаза. Весь облик Аркадиева дяди, изящный и породистый, сохранил юношескую стройность и то стремление вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после двадцатых годов.

Павел Петрович вынул из кармана панталон свою

красивую руку с длинными розовыми ногтями,— руку, казавшуюся еще красивей от снежной белизны рукавчика, застегнутого одиноким крупным опалом, и подал ее племяннику. Совершив предварительно европейское «shake hands»[1], он три раза, по-русски, поцеловался с ним, то есть три раза прикоснулся своими душистыми усами до его щек, и проговорил: «Добро пожаловать».

Николай Петрович представил его Базарову: Павел Петрович слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже положил ее обратно в карман.

— Я уже думал, что вы не приедете сегодня,— заговорил он приятным голосом, любезно покачиваясь, подергивая плечами и показывая прекрасные белые зубы.— Разве что на дороге случилось?

— Ничего не случилось,— отвечал Аркадий,— так, замешкались немного. Зато мы теперь голодны, как волки. Поторопи Прокофьича, папаша, а я сейчас вернусь.

— Постой, я с тобой пойду,— воскликнул Базаров, внезапно порываясь с дивана. Оба молодые человека вышли.

— Кто сей? — спросил Павел Петрович.

— Приятель Аркаши, очень, по его словам, умный человек.

— Он у нас гостить будет?

— Да.

— Этот волосатый?

— Ну да.

Павел Петрович постучал ногтями по столу.

— Я нахожу, что Аркадий s'est dégourdi[2],— заметил он.— Я рад его возвращению.

За ужином разговаривали мало. Особенно Базаров почти ничего не говорил, но ел много. Николай Петрович рассказывал разные случаи из своей, как он выражался, фермерской жизни, толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах, о необходимости заводить машины и т. д. Павел Петрович медленно похаживал взад и вперед по столовой (он никогда не ужинал), изредка отхлебывая из рюмки, наполненной красным вином, и еще реже произнося какое-нибудь замечание или скорее восклицание, вроде «а! эге! гм!» Аркадий сообщил

---

[1] «рукопожатие» *(англ.)*.
[2] стал развязнее *(франц.)*.

несколько петербургских новостей, но он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком. Он без нужды растягивал свою речь, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы; с излишнею развязностью налил себе в стакан гораздо больше вина, чем самому хотелось, и выпил всё вино. Прокофьич не спускал с него глаз и только губами пожевывал. После ужина все тотчас разошлись.

— А чудаковат у тебя дядя,— говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его постели и насасывая короткую трубочку.— Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!

— Да ведь ты не знаешь,— ответил Аркадий,— ведь он львом был в свое время. Я когда-нибудь расскажу тебе его историю. Ведь он красавцем был, голову кружил женщинам.

— Да, вот что! По старой, значит, памяти. Пленять-то здесь, жаль, некого. Я всё смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно?

— Пожалуй; только он, право, хороший человек.

— Архаическое явление! А отец у тебя славный малый. Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыслит, но он добряк.

— Отец у меня золотой человек.

— Заметил ли ты, что он робеет?

Аркадий качнул головою, как будто он сам не робел.

— Удивительное дело,— продолжал Базаров.— эти старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до раздражения... ну, равновесие и нарушено. Однако прощай! В моей комнате английский рукомойник, а дверь не запирается. Все-таки это поощрять надо — английские рукомойники, то есть прогресс!

Базаров ушел, а Аркадием овладело радостное чувство. Сладко засыпать в родимом доме, на знакомой постеле, под одеялом, над которым трудились любимые руки, быть может руки нянюшки, те ласковые, добрые и неутомимые руки. Аркадий вспомнил Егоровну, и вздохнул, и пожелал ей царствия небесного... О себе он не молился.

И он и Базаров заснули скоро, но другие лица в доме долго еще не спали. Возвращение сына взволновало Нико-

лая Петровича. Он лег в постель, но не загасил свечки и, подперши рукою голову, думал долгие думы. Брат его сидел далеко за полночь в своем кабинете, на широком гамбсовом кресле, перед камином, в котором слабо тлел каменный уголь. Павел Петрович не разделся, только китайские красные туфли без задков сменили на его ногах лаковые полусапожки. Он держал в руках последний нумер *Galignani*, но он не читал; он глядел пристально в камин, где, то замирая, то вспыхивая, вздрагивало голубоватое пламя... Бог знает, где бродили его мысли, но не в одном только прошедшем бродили они: выражение его лица было сосредоточенно и угрюмо, чего не бывает, когда человек занят одними воспоминаниями. А в маленькой задней комнатке, на большом сундуке, сидела, в голубой душегрейке и с наброшенным белым платком на темных волосах, молодая женщина, Фенечка, и то прислушивалась, то дремала, то посматривала на растворенную дверь, из-за которой виднелась детская кроватка и слышалось ровное дыхание спящего ребенка.

V

На другое утро Базаров раньше всех проснулся и вышел из дома. «Эге! — подумал он, посмотрев кругом,— местечко-то неказисто». Когда Николай Петрович размежевался с своими крестьянами, ему пришлось отвести под новую усадьбу десятины четыре совершенно ровного и голого поля. Он построил дом, службы и ферму, разбил сад, выкопал пруд и два колодца; но молодые деревца плохо принимались, в пруде воды набралось очень мало, и колодцы оказались солонковатого вкуса. Одна только беседка из сиреней и акаций порядочно разрослась; в ней иногда пили чай и обедали. Базаров в несколько минут обегал все дорожки сада, зашел на скотный двор, на конюшню, отыскал двух дворовых мальчишек, с которыми тотчас свел знакомство, и отправился с ними в небольшое болотце, с версту от усадьбы, за лягушками.

— На что тебе лягушки, барин? — спросил его один из мальчиков.

— А вот на что,— отвечал ему Базаров, который владел особенным уменьем возбуждать к себе доверие в людях низших, хотя он никогда не потакал им и обходился с ними небрежно,— я лягушку распластаю да посмотрю, что у нее там внутри делается; а так как мы

с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, я и буду знать, что и у нас внутри делается.

— Да на что тебе это?

— А чтобы не ошибиться, если ты занеможешь и мне тебя лечить придется.

— Разве ты дохтур?

— Да.

— Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно́!

— Я их боюсь, лягушек-то,— заметил Васька, мальчик лет семи, с белою, как лен, головою, в сером казакине с стоячим воротником и босой.

— Чего бояться? разве они кусаются?

— Ну, полезайте в воду, философы,— промолвил Базаров.

Между тем Николай Петрович тоже проснулся и отправился к Аркадию, которого застал одетым. Отец и сын вышли на террасу, под навес маркизы; возле перил, на столе, между большими букетами сирени, уже кипел самовар. Явилась девочка, та самая, которая накануне первая встретила приезжих на крыльце, и тонким голосом проговорила:

— Федосья Николавна не совсем здоровы, прийти не могут; приказали вас спросить, вам самим угодно разлить чай или прислать Дуняшу?

— Я сам разолью, сам,— поспешно подхватил Николай Петрович.— Ты, Аркадий, с чем пьешь чай, со сливками или с лимоном?

— Со сливками,— отвечал Аркадий и, помолчав немного, вопросительно произнес: — Папаша?

Николай Петрович с замешательством посмотрел на сына.

— Что? — промолвил он.

Аркадий опустил глаза.

— Извини, папаша, если мой вопрос тебе покажется неуместным,— начал он,— но ты сам, вчерашнею своею откровенностью, меня вызываешь на откровенность... ты не рассердишься?..

— Говори.

— Ты мне даешь смелость спросить тебя... Не оттого ли Фен... не оттого ли она не приходит сюда чай разливать, что я здесь?

Николай Петрович слегка отвернулся.

— Может быть,— проговорил он наконец,— она предполагает... она стыдится...

Аркадий быстро вскинул глазами на отца.

— Напрасно ж она стыдится. Во-первых, тебе известен мой образ мыслей (Аркадию очень было приятно произнести эти слова), а во-вторых — захочу ли я хоть на волос стеснять твою жизнь, твои привычки? Притом, я уверен, ты не мог сделать дурной выбор; если ты позволил ей жить с тобой под одною кровлей, стало быть она это заслуживает: во всяком случае, сын отцу не судья, и в особенности я, и в особенности такому отцу, который, как ты, никогда и ни в чем не стеснял моей свободы.

Голос Аркадия дрожал сначала: он чувствовал себя великодушным, однако в то же время понимал, что читает нечто вроде наставления своему отцу; но звук собственных речей сильно действует на человека, и Аркадий произнес последние слова твердо, даже с эффектом.

— Спасибо, Аркаша,— глухо заговорил Николай Петрович, и пальцы его опять заходили по бровям и по лбу.— Твои предположения действительно справедливы. Конечно, если б эта девушка не стоила... Это не легкомысленная прихоть. Мне неловко говорить с тобой об этом; но ты понимаешь, что ей трудно было прийти сюда при тебе, особенно в первый день твоего приезда.

— В таком случае я сам пойду к ней,— воскликнул Аркадий с новым приливом великодушных чувств и вскочил со стула.— Я ей растолкую, что ей нечего меня стыдиться.

Николай Петрович тоже встал.

— Аркадий,— начал он,— сделай одолжение... как же можно... там... Я тебя не предварил...

Но Аркадий уже не слушал его и убежал с террасы. Николай Петрович посмотрел ему вслед и в смущенье опустился на стул. Сердце его забилось... Представилась ли ему в это мгновение неизбежная странность будущих отношений между им и сыном, сознавал ли он, что едва ли не большее бы уважение оказал ему Аркадий, если б он вовсе не касался этого дела, упрекал ли он самого себя в слабости — сказать трудно; все эти чувства были в нем, но в виде ощущений — и то неясных; а с лица не сходила краска, и сердце билось.

Послышались торопливые шаги, и Аркадий вошел на террасу.

— Мы познакомились, отец! — воскликнул он с вы-

ражением какого-то ласкового и доброго торжества на лице.— Федосья Николаевна точно сегодня не совсем здорова и придет попозже. Но как же ты не сказал мне, что у меня есть брат? Я бы уже вчера вечером его расцеловал, как я сейчас расцеловал его.

Николай Петрович хотел что-то вымолвить, хотел подняться и раскрыть объятия... Аркадий бросился ему на шею.

— Что это? опять обнимаетесь? — раздался сзади их голос Павла Петровича.

Отец и сын одинаково обрадовались появлению его в эту минуту; бывают положения трогательные, из которых все-таки хочется поскорее выйти.

— Чему ж ты удивляешься? — весело заговорил Николай Петрович.— В кои-то веки дождался я Аркаши... Я со вчерашнего дня и насмотреться на него не успел.

— Я вовсе не удивляюсь,— заметил Павел Петрович,— я даже сам не прочь с ним обняться.

Аркадий подошел к дяде и снова почувствовал на щеках своих прикосновение его душистых усов. Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычною неумолимостью упирались в выбритый подбородок.

— Где же новый твой приятель? — спросил он Аркадия.

— Его дома нет; он обыкновенно встает рано и отправляется куда-нибудь. Главное, не надо обращать на него внимания: он церемоний не любит.

— Да, это заметно.— Павел Петрович начал, не торопясь, намазывать масло на хлеб.— Долго он у нас прогостит?

— Как придется. Он заехал сюда по дороге к отцу.

— А отец его где живет?

— В нашей же губернии, верст восемьдесят отсюда. У него там небольшое именьице. Он был прежде полковым доктором.

— Тэ-тэ-тэ-тэ... То-то я всё себя спрашивал: где слышал я эту фамилию: Базаров?... Николай, помнится, в батюшкиной дивизии был лекарь Базаров?

— Кажется, был.

— Точно, точно. Так этот лекарь его отец. Гм! — Павел Петрович повел усами.— Ну, а сам господин Базаров собственно что такое? — спросил он с расстановкой.

— Что такое Базаров? — Аркадий усмехнулся.— Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он собственно такое?

— Сделай одолжение, племянничек.

— Он нигилист.

— Как? — спросил Николай Петрович, а Павел Петрович поднял на воздух нож с куском масла на конце лезвия и остался неподвижен.

— Он нигилист,— повторил Аркадий.

— Нигилист,— проговорил Николай Петрович.— Это от латинского *nihil*, *ничего*, сколько я могу судить; стало быть, это слово означает человека, который... который ничего не признаёт?

— Скажи: который ничего не уважает,— подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло.

— Который ко всему относится с критической точки зрения,— заметил Аркадий.

— А это не всё равно? — спросил Павел Петрович.

— Нет, не всё равно. Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

— И что ж, это хорошо? — перебил Павел Петрович.

— Смотря как кому, дядюшка. Иному от этого хорошо, а иному очень дурно.

— Вот как. Ну, это, я вижу, не по нашей части. Мы, люди старого века, мы полагаем, что без принсúпов (Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «пры́нцип», налегая на первый слог), без принсипов, принятых, как ты говоришь, на веру, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez changé tout cela [1], дай вам бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами будем, господа... как бишь?

— Нигилисты,— отчетливо проговорил Аркадий.

— Да. Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, брат, Николай Петрович, мне пора пить мой какао.

---

[1] Вы всё это переменили *(франц.)*.

Николай Петрович позвонил и закричал: «Дуняша!» Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Эта была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах. Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти.

Павел Петрович строго нахмурил брови, а Николай Петрович смутился.

— Здравствуй, Фенечка,— проговорил он сквозь зубы.

— Здравствуйте-с,— ответила она негромким, но звучным голосом и, глянув искоса на Аркадия, который дружелюбно ей улыбался, тихонько вышла. Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало.

На террасе в течение нескольких мгновений господствовало молчание. Павел Петрович похлебывал свой какао и вдруг поднял голову.

— Вот и господин нигилист к нам жалует,— промолвил он вполголоса.

Действительно, по саду, шагая через клумбы, шел Базаров. Его полотняное пальто и панталоны были запачканы в грязи; цепкое болотное растение обвивало тулью его старой круглой шляпы; в правой руке он держал небольшой мешок; в мешке шевелилось что-то живое. Он быстро приблизился к террасе и, качнув головою, промолвил:

— Здравствуйте, господа; извините, что опоздал к чаю, сейчас вернусь; надо вот этих пленниц к месту пристроить.

— Что это у вас, пиявки? — спросил Павел Петрович.

— Нет, лягушки.

— Вы их едите или разводите?

— Для опытов,— равнодушно проговорил Базаров и ушел в дом.

— Это он их резать станет,— заметил Павел Петрович.— В принсипы не верит, а в лягушек верит.

Аркадий с сожалением посмотрел на дядю, и Николай Петрович украдкой пожал плечом. Сам Павел Петрович почувствовал, что сострил неудачно, и заговорил о хозяйстве и о новом управляющем, который накануне приходил к нему жаловаться, что работник Фома «либошничает» и от рук отбился. «Такой уж он Езоп,— сказал он между прочим,— всюду протестовал себя дурным человеком; поживет и с глупостью отойдет».

VI

Базаров вернулся, сел за стол и начал поспешно пить чай. Оба брата молча глядели на него, а Аркадий украдкой посматривал то на отца, то на дядю.

— Вы далеко отсюда ходили? — спросил наконец Николай Петрович.

— Тут у вас болотце есть, возле осиновой рощи. Я взогнал штук пять бекасов; ты можешь убить их, Аркадий.

— А вы не охотник?

— Нет.

— Вы собственно физикой занимаетесь? — спросил в свою очередь Павел Петрович.

— Физикой, да; вообще естественными науками.

— Говорят, германцы в последнее время сильно успели по этой части.

— Да, немцы в этом наши учители,— небрежно отвечал Базаров.

Слово германцы, вместо немцы, Павел Петрович употребил ради иронии, которой, однако, никто не заметил.

— Вы столь высокого мнения о немцах? — проговорил с изысканною учтивостью Павел Петрович. Он начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот лекарский сын не только не робел, он даже отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что-то грубое, почти дерзкое.

— Тамошние ученые дельный народ.

— Так, так. Ну, а об русских ученых вы, вероятно, не имеете столь лестного понятия?

— Пожалуй, что так.

— Это очень похвальное самоотвержение,— произнес Павел Петрович, выпрямляя стан и закидывая голову назад.— Но как же нам Аркадий Николаич сейчас ска-

зывал, что вы не признаете никаких авторитетов? Не верите им?

— Да зачем же я стану их признавать? И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и всё.

— А немцы всё дело говорят? — промолвил Павел Петрович, и лицо его приняло такое безучастное, отдаленное выражение, словно он весь ушел в какую-то заоблачную высь.

— Не все,— ответил с коротким зевком Базаров, которому явно не хотелось продолжать словопрение.

Павел Петрович взглянул на Аркадия, как бы желая сказать ему: «Учтив твой друг, признаться».

— Что касается до меня,— заговорил он опять, не без некоторого усилия,— я немцев, грешный человек, не жалую. О русских немцах я уже не упоминаю: известно, что это за птицы. Но и немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были — ну, там Шиллер, что ли, *Гётте*... Брат вот им особенно благоприятствует... А теперь пошли всё какие-то химики да материалисты...

— Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта,— перебил Базаров.

— Вот как,— промолвил Павел Петрович и, словно засыпая, чуть-чуть приподнял брови.— Вы, стало быть, искусства не признаете?

— Искусство наживать деньги, или нет более геморроя! — воскликнул Базаров с презрительною усмешкой.

— Так-с, так-с. Вот как вы изволите шутить. Это вы всё, стало быть, отвергаете? Положим. Значит, вы верите в одну науку?

— Я уже доложил вам, что ни во что не верю; и что такое наука — наука вообще? Есть науки, как есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе.

— Очень хорошо-с. Ну, а насчет других, в людском быту принятых, постановлений вы придерживаетесь такого же отрицательного направления?

— Что это, допрос? — спросил Базаров.

Павел Петрович слегка побледнел... Николай Петрович почел должным вмешаться в разговор.

— Мы когда-нибудь поподробнее побеседуем об этом предмете с вами, любезный Евгений Васильич; и ваше мнение узнаем и свое выскажем. С своей стороны, я очень рад, что вы занимаетесь естественными науками. Я слышал, что Либих сделал удивительные открытия насчет

удобрения полей. Вы можете мне помочь в моих агрономических работах: вы можете дать мне какой-нибудь полезный совет.

— Я к вашим услугам, Николай Петрович; но куда нам до Либиха! Сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали.

«Ну, ты, я вижу, точно нигилист»,— подумал Николай Петрович.— Все-таки позвольте прибегнуть к вам при случае,— прибавил он вслух.— А теперь нам, я полагаю, брат, пора пойти потолковать с приказчиком.

Павел Петрович поднялся со стула.

— Да,— проговорил он, ни на кого не глядя,— беда пожить этак годков пять в деревне, в отдалении от великих умов! Как раз дурак дураком станешь. Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там — хвать! — оказывается, что всё это вздор, и тебе говорят, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать! Видно, молодежь точно умнее нас.

Павел Петрович медленно повернулся на каблуках и медленно вышел; Николай Петрович отправился вслед за ним.

— Что, он всегда у вас такой? — хладнокровно спросил Базаров у Аркадия, как только дверь затворилась за обоими братьями.

— Послушай, Евгений, ты уже слишком резко с ним обошелся,— заметил Аркадий.— Ты его оскорбил.

— Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это всё самолюбие, львиные привычки, фатство. Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, Dytiscus marginatus, знаешь? Я тебе его покажу.

— Я тебе обещался рассказать его историю,— начал Аркадий.

— Историю жука?

— Ну, полно, Евгений. Историю моего дяди. Ты увидишь, что он не такой человек, каким ты его воображаешь. Он скорее сожаления достоин, чем насмешки.

— Я не спорю; да что он тебе так дался?

— Надо быть справедливым, Евгений.

— Это из чего следует?

— Нет, слушай...

И Аркадий рассказал ему историю своего дяди. Читатель найдет ее в следующей главе.

VII

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен — он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему. Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Николай Петрович прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько грустные, небольшие черные глаза и мягкие жидкие волосы; он охотно ленился, но и читал охотно, и боялся общества. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять, шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг всё изменилось.

В то время в петербургском свете изредка появлялась женщина, которую не забыли до сих пор, княгиня Р. У ней был благовоспитанный и приличный, но глуповатый муж и не было детей. Она внезапно уезжала за границу, внезапно возвращалась в Россию, вообще вела странную жизнь. Она слыла за легкомысленную кокетку, с увлечением предавалась всякого рода удовольствиям, танцевала до упаду, хохотала и шутила с молодыми людьми, которых принимала перед обедом в полумраке гостиной, а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою и часто до самого утра металась по комнате, тоскливо ломая руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем. День наставал, и она снова превращалась в светскую даму, снова выезжала, смеялась, болтала и точно бросалась навстречу всему, что могло доставить ей малейшее развлечение. Она была удивительно сложена; ее коса золотого цвета и тяжелая, как золото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что глаза, и даже не самые глаза — они были невелики и серы,— но взгляд их, быстрый и глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уныния,— загадочный взгляд.

Что-то необычайное светилось в нем даже тогда, когда язык ее лепетал самые пустые речи. Одевалась она изысканно. Павел Петрович встретил ее на одном бале, протанцевал с ней мазурку, в течение которой она не сказала ни одного путного слова, и влюбился в нее страстно. Привыкший к победам, он и тут скоро достиг своей цели; но легкость торжества не охладила его. Напротив: он еще мучительнее, еще крепче привязался к этой женщине, в которой даже тогда, когда она отдавалась безвозвратно, всё еще как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе — бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для нее самой неведомых сил; они играли ею, как хотели; ее небольшой ум не мог сладить с их прихотью. Всё ее поведение представляло ряд несообразностей; единственные письма, которые могли бы возбудить справедливые подозрения ее мужа, она написала к человеку почти ей чужому, а любовь ее отзывалась печалью; она уже не смеялась и не шутила с тем, кого избирала, и слушала его и глядела на него с недоумением. Иногда, большею частью внезапно, это недоумение переходило в холодный ужас; лицо ее принимало выражение мертвенное и дикое; она запиралась у себя в спальне, и горничная ее могла слышать, припав ухом к замку, ее глухие рыдания. Не раз, возвращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирсанов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую досаду, которая поднимается в сердце после окончательной неудачи. «Чего же хочу я еще?» — спрашивал он себя, а сердце всё ныло. Он однажды подарил ей кольцо с вырезанным на камне сфинксом.

— Что это? — спросила она,— сфинкс?

— Да,— ответил он,— и этот сфинкс — вы.

— Я? — спросила она и медленно подняла на него свой загадочный взгляд.— Знаете ли, что это очень лестно? — прибавила она с незначительною усмешкой, а глаза глядели всё так же странно.

Тяжело было Павлу Петровичу даже тогда, когда княгиня Р. его любила; но когда она охладела к нему, а это случилось довольно скоро, он чуть с ума не сошел. Он терзался и ревновал, не давал ей покою, таскался за ней повсюду; ей надоело его неотвязное преследование, и она уехала за границу. Он вышел в отставку, несмотря на просьбы приятелей, на увещания начальников, и отправился вслед за княгиней; года четыре провел он в чужих

краях, то гоняясь за нею, то с намерением теряя ее из виду; он стыдился самого себя, он негодовал на свое малодушие... но ничто не помогало. Ее образ, этот непонятный, почти бессмысленный, но обаятельный образ слишком глубоко внедрился в его душу. В Бадене он как-то опять сошелся с нею по-прежнему; казалось, никогда еще она так страстно его не любила... но через месяц всё уже было кончено: огонь вспыхнул в последний раз и угас навсегда. Предчувствуя неизбежную разлуку, он хотел по крайней мере остаться ее другом, как будто дружба с такою женщиной была возможна... Она тихонько выехала из Бадена и с тех пор постоянно избегала Кирсанова. Он вернулся в Россию, попытался зажить старою жизнью, но уже не мог попасть в прежнюю колею. Как отравленный, бродил он с места на место; он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека; он мог похвастаться двумя, тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал. Он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностию,— знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей. Однажды, за обедом, в клубе, Павел Петрович узнал о смерти княгини Р. Она скончалась в Париже, в состоянии близком к помешательству. Он встал из-за стола и долго ходил по комнатам клуба, останавливаясь, как вкопанный, близ карточных игроков, но не вернулся домой раньше обыкновенного. Через несколько времени он получил пакет, адресованный на его имя: в нем находилось данное им княгине кольцо. Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка.

Это случилось в начале 48-го года, в то самое время, когда Николай Петрович, лишившись жены, приезжал в Петербург. Павел Петрович почти не видался с братом с тех пор, как тот поселился в деревне: свадьба Николая Петровича совпала с самыми первыми днями знакомства Павла Петровича с княгиней. Вернувшись из-за границы, он отправился к нему с намерением погостить у него месяца два, полюбоваться его счастием, но выжил у него одну только неделю. Различие в положении обоих братьев было слишком велико. В 48-м году это различие умень-

шилось: Николай Петрович потерял жену, Павел Петрович потерял свои воспоминания; после смерти княгини он старался не думать о ней. Но у Николая оставалось чувство правильно проведенной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то мутное, сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость еще не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всякого другого: потеряв свое прошедшее, он всё потерял.

— Я не зову теперь тебя в Марьино,— сказал ему однажды Николай Петрович (он назвал свою деревню этим именем в честь жены),— ты и при покойнице там соскучился, а теперь ты, я думаю, там с тоски пропадешь.

— Я был еще глуп и суетлив тогда,— отвечал Павел Петрович,— с тех пор я угомонился, если не поумнел. Теперь, напротив, если ты позволишь, я готов навсегда у тебя поселиться.

Вместо ответа Николай Петрович обнял его; но полтора года прошло после этого разговора, прежде чем Павел Петрович решился осуществить свое намерение. Зато, поселившись однажды в деревне, он уже не покидал ее даже и в те три зимы, которые Николай Петрович провел в Петербурге с сыном. Он стал читать, всё больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, где он большею частию помалчивал, лишь изредка дразня и пугая помещиков старого покроя либеральными выходками и не сближаясь с представителями нового поколения. И те и другие считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах; за то, что он прекрасно одевался и всегда останавливался в лучшем номере лучшей гостиницы; за то, что он вообще хорошо обедал, а однажды даже пообедал с Веллингтоном у Людовика-Филиппа; за то, что он всюду возил с собою настоящий серебряный несессер и походную ванну; за то, что от него пахло какими-то необыкновенными, удивительно «благородными» духами; за то, что он мастерски играл в вист и всегда проигрывал; наконец, его уважали также за его безукоризненную честность. Дамы находили его очаровательным меланхоликом, но он не знался с дамами...

— Вот видишь ли, Евгений,— промолвил Аркадий, оканчивая свой рассказ,— как несправедливо ты судишь о дяде! Я уже не говорю о том, что он не раз выручал отца из беды, отдавал ему все свои деньги,— имение, ты, может быть, не знаешь, у них не разделено,— но он всякому рад помочь и, между прочим, всегда вступается за крестьян; правда, говоря с ними, он морщится и нюхает одеколон...

— Известное дело: нервы,— перебил Базаров.

— Может быть, только у него сердце предоброе. И он далеко не глуп. Какие он мне давал полезные советы... особенно... особенно насчет отношений к женщинам.

— Ага! На своем молоке обжегся, на чужую воду дует. Знаем мы это!

— Ну, словом,— продолжал Аркадий,— он глубоко несчастлив, поверь мне; презирать его — грешно.

— Да кто его презирает? — возразил Базаров.— А я все-таки скажу, что человек, который всю свою жизнь поставил на карту женской любви и когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что не стал способен, этакой человек — не мужчина, не самец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать; но дурь из него не вся вышла. Я уверен, что он не шутя воображает себя дельным человеком, потому что читает Галиньяшку и раз в месяц избавит мужика от экзекуции.

— Да вспомни его воспитание, время, в которое он жил,— заметил Аркадий.

— Воспитание? — подхватил Базаров.— Всякий человек сам себя воспитать должен — ну хоть как я, например... А что касается до времени — отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня. Нет, брат, это всё распущенность, пустота! И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду? Это всё романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше смотреть жука.

И оба приятеля отправились в комнату Базарова, в которой уже успел установиться какой-то медицинско-хирургический запах, смешанный с запахом дешевого табаку.

VIII

Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим, высоким и худым человеком с сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами,

который на все замечания Николая Петровича отвечал: «Помилуйте-с, известное дело-с» — и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как домоделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался: он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду: Павел Петрович не раз помогал своему брату; не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: «Mais je puis vous donner de l'argent »[1] — и давал ему денег; но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дрязги наводили на него тоску; притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на всё свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало; хотя указать, в чем собственно ошибается Николай Петрович, он не сумел бы. «Брат не довольно практичен,— рассуждал он сам с собою,— его обманывают». Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши,— говаривал он,— а ты недаром так много жил с людьми, ты их хорошо знаешь: у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата.

Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькою дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее.

— Кто там? Войдите,— раздался голос Фенечки.

— Это я,— проговорил Павел Петрович и отворил дверь.

Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась с своим ребенком, и, передав его на руки девушки, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.

— Извините, если я помешал,— начал Павел Петрович, не глядя на нее,— мне хотелось только попросить

---

[1] «Но я могу дать тебе денег» *(франц.)*.

вас... сегодня, кажется, в город посылают... велите купить для меня зеленого чаю.

— Слушаю-с,— отвечала Фенечка,— сколько прикажете купить?

— Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена,— прибавил он, бросив вокруг быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки.— Занавески вот,— промолвил он, видя, что она его не понимает.

— Да-с, занавески; Николай Петрович нам их пожаловал; да уж они давно повешены.

— Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо.

— По милости Николая Петровича,— шепнула Фенечка.

— Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке? — спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.

— Конечно, лучше-с.

— Кого теперь на ваше место поместили?

— Теперь там прачки.

— А!

Павел Петрович умолк. «Теперь уйдет»,— думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним, как вкопанная, слабо перебирая пальцами.

— Отчего вы велели вашего маленького вынести? — заговорил, наконец, Павел Петрович.— Я люблю детей: покажите-ка мне его.

Фенечка вся покраснела от смущения и от радости. Она боялась Павла Петровича: он почти никогда не говорил с ней.

— Дуняша,— кликнула она,— принесите Митю (Фенечка всем в доме говорила *вы*). А не то погодите; надо ему платьице надеть.

Фенечка направилась к двери.

— Да всё равно,— заметил Павел Петрович.

— Я сейчас,— ответила Фенечка и проворно вышла.

Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая, низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в

Польше, во время похода; в одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглою крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая чудотворца; крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию; на окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом; на бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами: «кружовник»; Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком, на длинном шнурке, висела клетка с короткохвостым чижом; он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала: конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке, над небольшим комодом, висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником; тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно не удавшаяся: какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке,— больше ничего нельзя было разобрать; а над Фенечкой — Ермолов, в бурке, грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы, из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб.

Прошло минут пять; в соседней комнате слышался шелест и шёпот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу, разрозненный том *Стрельцов* Масальского, перевернул несколько страниц... Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо: он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети; но щегольская рубашечка видимо на него подействовала: выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках?

— Экой бутуз,— снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце; ребенок уставился на чижа и засмеялся.

— Это дядя,— промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем как Дуняша

тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.

— Сколько, бишь, ему месяцев? — спросил Павел Петрович.

— Шесть месяцев; скоро вот седьмой пойдет, одиннадцатого числа.

— Не восьмой ли, Федосья Николаевна? — не без робости вмешалась Дуняша.

— Нет, седьмой; как можно! — Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всею пятерней за нос и за губы.— Баловник,— проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.

— Он похож на брата,— заметил Павел Петрович.

«На кого ж ему и походить?» — подумала Фенечка.

— Да,— продолжал, как бы говоря с самим собой, Павел Петрович,— несомненное сходство.— Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.

— Это дядя,— повторила она, уже шёпотом.

— А! Павел! вот где ты! — раздался вдруг голос Николая Петровича.

Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился; но брат его так радостно, с такою благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.

— Славный у тебя мальчуган,— промолвил он и посмотрел на часы,— а я завернул сюда насчет чаю...

И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.

— Сам собою зашел? — спросил Фенечку Николай Петрович.

— Сами-с; постучались и вошли.

— Ну, а Аркаша больше у тебя не был?

— Не был. Не перейти ли мне во флигель, Николай Петрович?

— Это зачем?

— Я думаю, не лучше ли будет на первое время.

— Н... нет,— произнес с запинкой Николай Петрович и потер себе лоб.— Надо было прежде... Здравствуй, пузырь,— проговорил он с внезапным оживлением и, приблизившись к ребенку, поцеловал его в щеку; потом он нагнулся немного и приложил губы к Фенечкиной руке, белевшей, как молоко, на красной рубашечке Мити.

— Николай Петрович! что вы это? — пролепетала она и опустила глаза, потом тихонько подняла их... Прелестно

было выражение ее глаз, когда она глядела как бы исподлобья да посмеивалась ласково и немножко глупо.

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. «Уж не немка ли здесь хозяйка?» — пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным. Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению, низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечением и даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. «Поцелуй же ручку у барина, глупенькая»,— сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая

Петровича, прошло не скоро. Ему всё мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с бо́льшим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась и однажды, перед вечером, встретив его на узкой тропинке, проложенной пешеходами через ржаное поле, зашла в высокую, густую рожь, поросшую полынью и васильками, чтобы только не попасться ему на глаза. Он увидал ее головку сквозь золотую сетку колосьев, откуда она высматривала, как зверок, и ласково крикнул ей:

— Здравствуй, Фенечка! Я не кусаюсь.

— Здравствуйте,— прошептала она, не выходя из своей засады.

Понемногу она стала привыкать к нему, но всё еще робела в его присутствии, как вдруг ее мать Арина умерла от холеры. Куда было деваться Фенечке? Она наследовала от своей матери любовь к порядку, рассудительность и степенность; но она была так молода, так одинока; Николай Петрович был сам такой добрый и скромный... Остальное досказывать нечего...

— Так-таки брат к тебе и вошел? — спрашивал ее Николай Петрович.— Постучался и вошел?

— Да-с.

— Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю.

И Николай Петрович начал его подбрасывать почти под самый потолок, к великому удовольствию малютки и к немалому беспокойству матери, которая при всяком его взлете протягивала руки к обнажавшимся его ножкам.

А Павел Петрович вернулся в свой изящный кабинет, оклеенный по стенам красивыми обоями дикого цвета, с развешанным оружием на пестром персидском ковре, с ореховою мебелью, обитой темно-зеленым трипом, с библиотекой renaissance[1] из старого черного дуба, с бронзовыми статуэтками на великолепном письменном столе, с камином... Он бросился на диван, заложил руки за голову и остался неподвижен, почти с отчаяньем глядя в потолок. Захотел ли он скрыть от самых стен, что у него происходило на лице, по другой ли какой причине, только он встал, отстегнул тяжелые занавески окон и опять бросился на диван.

[1] в стиле Возрождения *(франц.)*.

IX

В тот же день и Базаров познакомился с Фенечкой. Он вместе с Аркадием ходил по саду и толковал ему, почему иные деревца, особенно дубки, не принялись.

— Надо серебристых тополей побольше здесь сажать, да елок, да, пожалуй, липок, подбавивши чернозему. Вон беседка принялась хорошо,— прибавил он,— потому что акация да сирень — ребята добрые, ухода не требуют. Ба! да тут кто-то есть.

В беседке сидела Фенечка с Дуняшей и Митей. Базаров остановился, а Аркадий кивнул головою Фенечке, как старый знакомый.

— Кто это? — спросил его Базаров, как только они прошли мимо.— Какая хорошенькая!

— Да ты о ком говоришь?

— Известно о ком: одна только хорошенькая.

Аркадий, не без замешательства, объяснил ему в коротких словах, кто была Фенечка.

— Ага! — промолвил Базаров,— у твоего отца, видно, губа не дура. А он мне нравится, твой отец, ей-ей! Он молодец. Однако надо познакомиться,— прибавил он и отправился назад к беседке.

— Евгений! — с испугом крикнул ему вослед Аркадий,— осторожней, ради бога.

— Не волнуйся,— проговорил Базаров,— народ мы тертый, в городах живали.

Приблизясь к Фенечке, он скинул картуз.

— Позвольте представиться,— начал он с вежливым поклоном,— Аркадию Николаичу приятель и человек смирный.

Фенечка приподнялась со скамейки и глядела на него молча.

— Какой ребенок чудесный! — продолжал Базаров.— Не беспокойтесь, я еще никого не сглазил. Что это у него щеки такие красные? Зубки, что ли, прорезаются?

— Да-с,— промолвила Фенечка,— четверо зубков у него уже прорезались, а теперь вот десны опять припухли.

— Покажите-ка... да вы не бойтесь, я доктор.

Базаров взял на руки ребенка, который, к удивлению и Фенечки и Дуняши, не оказал никакого сопротивления и не испугался.

— Вижу, вижу... Ничего, всё в порядке: зубастый будет. Если что случится, скажите мне. А сами вы здоровы?

— Здорова, слава богу.

— Слава богу — лучше всего. А вы? — прибавил Базаров, обращаясь к Дуняше.

Дуняша, девушка очень строгая в хоромах и хохотунья за воротами, только фыркнула ему в ответ.

— Ну и прекрасно. Вот вам ваш богатырь.

Фенечка приняла ребенка к себе на руки.

— Как он у вас тихо сидел,— промолвила она вполголоса.

— У меня все дети тихо сидят,— отвечал Базаров,— я такую штуку знаю.

— Дети чувствуют, кто их любит,— заметила Дуняша.

— Это точно,— подтвердила Фенечка.— Вот и Митя, к иному ни за что на руки не пойдет.

— А ко мне пойдет? — спросил Аркадий, который, постояв некоторое время в отдалении, приблизился к беседке.

Он поманил к себе Митю, но Митя откинул голову назад и запищал, что очень смутило Фенечку.

— В другой раз, когда привыкнуть успеет,— снисходительно промолвил Аркадий, и оба приятеля удалились.

— Как, бишь, ее зовут? — спросил Базаров.

— Фенечкой... Федосьей,— ответил Аркадий.

— А по батюшке? Это тоже нужно знать.

— Николаевной.

— *Bene*[1]. Мне нравится в ней то, что она не слишком конфузится. Иной, пожалуй, это-то и осудил бы в ней. Что за вздор? чего конфузиться? Она мать — ну и права.

— Она-то права,— заметил Аркадий,— но вот отец мой...

— И он прав,— перебил Базаров.

— Ну, нет, я не нахожу.

— Видно, лишний наследничек нам не по нутру?

— Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! — с жаром подхватил Аркадий.— Я не с этой точки зрения почитаю отца неправым; я нахожу, что он должен бы жениться на ней.

— Эге-ге! — спокойно проговорил Базаров.— Вот мы какие великодушные! Ты придаешь еще значение браку; я этого от тебя не ожидал.

Приятели сделали несколько шагов в молчанье.

---

[1] Хорошо *(лат.)*.

— Видел я все заведения твоего отца,— начал опять Базаров.— Скот плохой, и лошади разбитые. Строения тоже подгуляли, и работники смотрят отъявленными ленивцами; а управляющий либо дурак, либо плут, я еще не разобрал хорошенько.

— Строг же ты сегодня, Евгений Васильевич.

— И добрые мужички надуют твоего отца всенепременно. Знаешь поговорку: «Русский мужик бога слопает».

— Я начинаю соглашаться с дядей,— заметил Аркадий,— ты решительно дурного мнения о русских.

— Эка важность! Русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Важно то, что дважды два четыре, а остальное всё пустяки.

— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.

Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому в это самое мгновение. Кто-то играл с чувством, хотя и неопытною рукою «Ожидание» Шуберта, и медом разливалась по воздуху сладостная мелодия.

— Это что? — произнес с изумлением Базаров.

— Это отец.

— Твой отец играет на виолончели?

— Да.

— Да сколько твоему отцу лет?

— Сорок четыре.

Базаров вдруг расхохотался.

— Чему же ты смеешься?

— Помилуй! в сорок четыре года человек, pater familias[1], в ...м уезде — играет на виолончели!

Базаров продолжал хохотать; но Аркадий, как ни благоговел перед своим учителем, на этот раз даже не улыбнулся.

X

Прошло около двух недель. Жизнь в Марьине текла своим порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров работал. Все в доме привыкли к нему, к его небрежным манерам, к его немногосложным и отрывочным речам. Фе-

[1] отец семейства (*лат.*).

нечка, в особенности, до того с ним освоилась, что однажды ночью велела разбудить его: с Митей сделались судороги; и он пришел и, по обыкновению, полушутя, полузевая, просидел у ней часа два и помог ребенку. Зато Павел Петрович всеми силами души своей возненавидел Базарова: он считал его гордецом, нахалом, циником, плебеем; он подозревал, что Базаров не уважает его, что он едва ли не презирает его — его, Павла Кирсанова! Николай Петрович побаивался молодого «нигилиста» и сомневался в пользе его влияния на Аркадия; но он охотно его слушал, охотно присутствовал при его физических и химических опытах. Базаров привез с собой микроскоп и по целым часам с ним возился. Слуги также привязались к нему, хотя он над ними подтрунивал: они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин. Дуняша охотно с ним хихикала и искоса, значительно посматривала на него, пробегая мимо «перепелочкой»; Петр, человек до крайности самолюбивый и глупый, вечно с напряженными морщинами на лбу, человек, которого всё достоинство состояло в том, что он глядел учтиво, читал по складам и часто чистил щеточкой свой сюртучок,— и тот ухмылялся и светлел, как только Базаров обращал на него внимание; дворовые мальчишки бегали за «дохтуром», как собачонки. Один старик Прокофьич не любил его, с угрюмым видом подавал ему за столом кушанья, называл его «живодером» и «прощелыгой» и уверял, что он с своими бакенбардами — настоящая свинья в кусте. Прокофьич, по-своему, был аристократ не хуже Павла Петровича.

Наступили лучшие дни в году — первые дни июня. Погода стояла прекрасная; правда, издали грозилась опять холера, но жители ...й губернии успели уже привыкнуть к ее посещениям. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за две, за три, не гулять — он прогулок без цели терпеть не мог,— а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища.

Однажды они как-то долго замешкались; Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть.

— Ты отца недостаточно знаешь,— говорил Аркадий.

Николай Петрович притаился.

— Твой отец добрый малый,— промолвил Базаров,— но он человек отставной, его песенка спета.

Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал.

«Отставной человек» постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой.

— Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает,— продолжал между тем Базаров.— Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать.

— Что бы ему дать? — спросил Аркадий.

— Да, я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft»[1] на первый случай.

— Я сам так думаю,— заметил одобрительно Аркадий.— «Stoff und Kraft» написано популярным языком...

— Вот как мы с тобой,— говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете: — в отставные люди попали, песенка наша спета. Что ж? Может быть, Базаров и прав; но мне, признаюсь, одно больно: я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а выходит, что я остался назади, он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.

— Да почему он ушел вперед? И чем он от нас так уж очень отличается? — с нетерпением воскликнул Павел Петрович.— Это всё ему в голову синьор этот вбил, нигилист этот. Ненавижу я этого лекаришку; по-моему, он просто шарлатан; я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.

— Нет, брат, ты этого не говори: Базаров умен и знающ.

— И самолюбие какое противное,— перебил опять Павел Петрович.

— Да,— заметил Николай Петрович,— он самолюбив. Но без этого, видно, нельзя; только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я всё делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии *красным* величают; читаю, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями,— а они говорят, что песенка моя спета. Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.

---

[1] «Материя и сила» *(нем.)*.

— Это почему?

— А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина... помнится, «Цыгане» мне попались... Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с этаким ласковым сожалением на лице, тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую... улыбнулся и ушел, и Пушкина унес.

— Вот как! Какую же он книгу тебе дал?

— Вот эту.

И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, девятого издания.

Павел Петрович повертел ее в руках.

— Гм! — промычал он.— Аркадий Николаевич заботится о твоем воспитании. Что ж, ты пробовал читать?

— Пробовал.

— Ну и что же?

— Либо я глуп, либо это всё — вздор. Должно быть, я глуп.

— Да ты по-немецки не забыл? — спросил Павел Петрович.

— Я по-немецки понимаю.

Павел Петрович опять повертел книгу в руках и исподлобья взглянул на брата. Оба помолчали.

— Да, кстати,— начал Николай Петрович, видимо желая переменить разговор.— Я получил письмо от Колязина.

— От Матвея Ильича?

— От него. Он приехал в *** ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает, по-родственному, повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город.

— Ты поедешь? — спросил Павел Петрович.

— Нет; а ты?

— И я не поеду. Очень нужно тащиться за пятьдесят верст киселя есть. Mathieu хочет показаться нам во всей своей славе; чёрт с ним! будет с него губернского фимиама, обойдется без нашего. И велика важность, тайный советник! Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом. Притом же мы с тобой отставные люди.

— Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди,— заметил со вздохом Николай Петрович.

— Ну, я так скоро не сдамся,— пробормотал его

брат.— У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага; но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в присутствии «старичков Кирсановых» (так он называл обоих братьев), а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой. Павел Петрович весь горел нетерпением; его желания сбылись наконец.

Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянь, аристократишко»,— равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.

— Позвольте вас спросить,— начал Павел Петрович, и губы его задрожали,— по вашим понятиям слова: «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?

— Я сказал: «аристократишко»,— проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.

— Точно так-с; но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс; но именно потому я уважаю аристократов — настоящих. Вспомните, милостивый государь (при этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича), вспомните, милостивый государь,— повторил он с ожесточением,— английских аристократов. Они не уступают йоты от прав своих, и потому они уважают права других; они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют *свои* обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее.

— Слыхали мы эту песню много раз,— возразил Базаров,— но что вы хотите этим доказать?

— Я *эфтим* хочу доказать, милостивый государь (Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил: «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает. В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы, в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни — *эфто*, другие — *эхто*: мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами), я *эфтим* хочу доказать, что без чувства соб-

ственного достоинства, без уважения к самому себе,— а в аристократе эти чувства развиты,— нет никакого прочного основания общественному... bien public[1], общественному зданию. Личность, милостивый государь,— вот главное; человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней всё строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность наконец, но это всё проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека.

— Позвольте, Павел Петрович,— промолвил Базаров,— вы вот уважаете себя и сидите сложа руки; какая ж от этого польза для bien public? Вы бы не уважали себя и то же бы делали.

Павел Петрович побледнел.

— Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм — принсип, а без принсипов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?

Николай Петрович кивнул головой.

— Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы,— говорил между тем Базаров,— подумаешь, сколько иностранных... и бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

— Что же ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте — логика истории требует...

— Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

— Как так?

— Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!

Павел Петрович взмахнул руками.

— Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принсипов, правил! В силу чего же вы действуете?

— Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаём авторитетов,— вмешался Аркадий.

---

[1] общественному благу *(франц.)*.

— Мы действуем в силу того, что́ мы признаём полезным,— промолвил Базаров.— В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем.

— Всё?

— Всё.

— Как? не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...

— Всё,— с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.

— Однако позвольте,— заговорил Николай Петрович.— Вы всё отрицаете, или, выражаясь точнее, вы всё разрушаете... Да ведь надобно же и строить.

— Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить.

— Современное состояние народа этого требует,— с важностью прибавил Аркадий,— мы должны исполнять эти требования, мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.

Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову; от нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом; но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.

— Нет, нет! — воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович,— я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений! Нет, русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предания, он — патриархальный, он не может жить без веры...

— Я не стану против этого спорить,— перебил Базаров,— я даже готов согласиться, что *в этом* вы правы.

— А если я прав...

— И все-таки это ничего не доказывает.

— Именно ничего не доказывает,— повторил Аркадий с уверенностию опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-видимому, ход противника и потому нисколько не смутился.

— Как ничего не доказывает? — пробормотал изумленный Павел Петрович.— Стало быть, вы идете против своего народа?

— А хоть бы и так? — воскликнул Базаров.— Народ полагает, что когда гром гремит, это Илья пророк в колеснице по небу разъезжает. Что ж? Мне соглашаться

с ним? Да притом — он русский, а разве я сам не русский?

— Нет, вы не русский после всего, что вы сейчас сказали! Я вас за русского признать не могу.

— Мой дед землю пахал,— с надменною гордостию отвечал Базаров.— Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.

— А вы говорите с ним и презираете его в то же время.

— Что ж, коли он заслуживает презрения! Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?

— Как же! Очень нужны нигилисты!

— Нужны ли они, или нет — не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.

— Господа, господа, пожалуйста, без личностей! — воскликнул Николай Петрович и приподнялся.

Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть.

— Не беспокойся,— промолвил он.— Я не позабудусь именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин... господин доктор. Позвольте,— продолжал он, обращаясь снова к Базарову,— вы, может быть, думаете, что ваше учение новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным...

— Опять иностранное слово! — перебил Базаров. Он начинал злиться, и лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет.— Во-первых, мы ничего не проповедуем; это не в наших привычках...

— Что же вы делаете?

— А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда...

— Ну да, да, вы обличители,— так, кажется, это называется. Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

— А потом мы догадались, что болтать, всё только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, ни-

куда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и чёрт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке.

— Так,— перебил Павел Петрович,— так: вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.

— И решились ни за что не приниматься,— угрюмо повторил Базаров.

Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом,— повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью.

Павел Петрович слегка прищурился.

— Так вот как! — промолвил он странно спокойным голосом.— Нигилизм всему горю помочь должен, и вы, вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, честите? Не так же ли вы болтаете, как и все?

— Чем другим, а этим грехом не грешны,— произнес сквозь зубы Базаров.

— Так что ж? вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?

Базаров ничего не отвечал. Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою.

— Гм!.. Действовать, ломать...— продолжал он.— Но как же это ломать, не зная даже почему?

— Мы ломаем, потому что мы сила,— заметил Аркадий.

Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.

— Да, сила — так и не дает отчета,— проговорил Аркадий и выпрямился.

— Несчастный! — возопил Павел Петрович; он решительно не был в состоянии крепиться долее,— хоть бы ты подумал, *что* в России ты поддерживаешь твоею

пошлою сентенцией! Нет, это может ангела из терпения вывести! Сила! И в диком калмыке и в монголе есть сила — да на что нам она? Нам дорога цивилизация, да-с, да-с, милостивый государь; нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны: последний пачкун, *un barbouilleur*, тапер, которому дают пять копеек за вечер, и те полезнее вас, потому что они представители цивилизации, а не грубой монгольской силы! Вы воображаете себя передовыми людьми, а вам только в калмыцкой кибитке сидеть! Сила! Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего четыре человека с половиною, а тех — миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас!

— Коли раздавят, туда и дорога,— промолвил Базаров.— Только бабушка еще надвое сказала. Нас не так мало, как вы полагаете.

— Как? Вы не шутя думаете сладить, сладить с целым народом?

— От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела,— ответил Базаров.

— Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий отворотился и нахмурился.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости, а у самих фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?

— По-моему,— возразил Базаров,— Рафаэль гроша медного не стоит, да и они не лучше его.

— Браво! браво! Слушай, Аркадий... вот как должны современные молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: всё на свете вздор! — и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.

— Вот и изменило вам хваленое чувство собственного

достоинства,— флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами.— Спор наш зашел слишком далеко... Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами,— прибавил он вставая,— когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.

— Я вам миллионы таких постановлений представлю,— воскликнул Павел Петрович,— миллионы! Да вот хоть община, например.

Холодная усмешка скривила губы Базарова.

— Ну, насчет общины,— промолвил он,— поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.

— Семья, наконец, семья, так, как она существует у наших крестьян! — закричал Павел Петрович.

— И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы, чай, слыхали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька два сроку, сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем...

— Надо всем глумиться,— подхватил Павел Петрович.

— Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий; до свидания, господа!

Оба приятеля вышли. Братья остались наедине и сперва только посматривали друг на друга.

— Вот,— начал наконец Павел Петрович,— вот вам нынешняя молодежь! Вот они — наши наследники!

— Наследники,— повторил с унылым вздохом Николай Петрович. Он в течение всего спора сидел как на угольях и только украдкой болезненно взглядывал на Аркадия.— Знаешь, что я вспомнил, брат? Однажды я с покойницей матушкой поссорился: она кричала, не хотела меня слушать... Я наконец сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька — а проглотить ее нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю.

— Ты уже чересчур благодушен и скромен,— возразил Павел Петрович,— я, напротив, уверен, что мы с тобой гораздо правее этих господчиков, хотя выражаемся, может быть, несколько устарелым языком, *vieilli*, и не имеем той дерзкой самонадеянности... И такая надутая эта нынешняя молодежь! Спросишь иного: какого вина вы хотите, красного или белого? «Я имею привычку предпочитать красное!» — отвечает он басом и с таким важным лицом, как будто вся вселенная глядит на него в это мгновение...

— Вам больше чаю не угодно? — промолвила Фенечка, просунув голову в дверь: она не решалась войти в гостиную, пока в ней раздавались голоса споривших.

— Нет, ты можешь велеть самовар принять,— отвечал Николай Петрович и поднялся к ней навстречу. Павел Петрович отрывисто сказал ему: *bon soir* [1], и ушел к себе в кабинет.

XI

Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно сознал свое разъединение с сыном; он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться всё больше и больше. Стало быть, напрасно он, бывало, зимою в Петербурге по целым дням просиживал над новейшими сочинениями; напрасно прислушивался к разговорам молодых людей; напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы,— думал он,— и, отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы, а в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем, какое-то преимущество над нами... Молодость? Нет: не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас?»

Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу.

«Но отвергать поэзию? — подумал он опять,— не сочувствовать художеству, природе?..»

И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в

---

[1] добрый вечер *(франц.)*.

полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи; он весь был ясно виден, весь, до заплаты на плече, даром что ехал в тени; приятно-отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их почти синела и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки толклись столбом над одинокою, далеко протянутою веткою. «Как хорошо, боже мой!» — подумал Николай Петрович, и любимые стихи пришли было ему на уста; он вспомнил Аркадия, *Stoff und Kraft* — и умолк, но продолжал сидеть, продолжал предаваться горестной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать; деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он так же мечтал, поджидая сына на постоялом дворике, а с тех пор уже произошла перемена, уже определились, тогда еще неясные, отношения... и как! Представилась ему опять покойница жена, но не такою, какою он ее знал в течение многих лет, не домовитою, доброю хозяйкою, а молодою девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над детскою шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать: «Pardon, monsieur»[1], а она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость... Куда это всё умчалось? Она стала его женой, он был счастлив, как немногие на земле... «Но,— думал он,— те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

Он не старался уяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память;

---

[1] «Извините, сударь» *(франц.)*.

ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание, и ему уже чудилось, как будто над ним...

— Николай Петрович,— раздался вблизи его голос Фенечки,— где вы?

Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно... Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Фенечкой, но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему: его седые волосы, его старость, его настоящее...

Волшебный мир, в который он уже вступал, который уже возникал из туманных волн прошедшего, шевельнулся — и исчез.

— Я здесь,— отвечал он,— я приду, ступай. «Вот они, следы-то барства»,— мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась, а он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Всё потемнело и затихло кругом, и лицо Фенечки скользнуло перед ним, такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой; но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем, какая-то ищущая, неопределенная, печальная тревога, всё не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если б он узнал, что в нем тогда происходило! Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорокачетырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы; это было во сто раз хуже виолончели.

Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветно глядело на него всеми своими освещенными окнами; он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице и с этою грустию, с этою тревогой...

На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович.

— Что с тобой? — спросил он Николая Петровича,— ты бледен, как привиденье; ты нездоров; отчего ты не ложишься?

Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада, и тоже задумался, и тоже поднял

глаза к небу. Но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком, и не умела мечтать его щегольски-сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа...

— Знаешь ли что? — говорил в ту же ночь Базаров Аркадию.— Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня, что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет; махнем-ка мы с тобой в ***; ведь этот господин и тебя зовет. Вишь какая сделалась здесь погода; а мы прокатимся, город посмотрим. Поболтаемся дней пять-шесть, и баста!

— А оттуда ты вернешься сюда?

— Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от *** в тридцати верстах. Я его давно не видал, и мать тоже; надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец: презабавный. Я же у них один.

— И долго ты у них пробудешь?

— Не думаю. Чай, скучно будет.

— А к нам на возвратном пути заедешь?

— Не знаю... посмотрю. Ну, так, что ли? Мы отправимся?

— Пожалуй,— лениво заметил Аркадий.

Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля, но почел обязанностию скрыть свое чувство. Недаром же он был нигилист!

На другой день он уехал с Базаровым в ***. Молодежь в Марьине пожалела об их отъезде; Дуняша даже всплакнула... но старичкам вздохнулось легко.

XII

Город ***, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он, в течение первого года своего управления, успел перессориться не только с губернским предводителем, отставным гвардии штабс-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу распри приняли, наконец, такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать всё на месте. Выбор начальства пал на Матвея Ильича Колязина, сына того Колязина, под попечитель-

ством которого находились некогда братья Кирсановы. Он был тоже из «молодых», то есть ему недавно минуло сорок лет, но он уже метил в государственные люди и на каждой стороне груди носил по звезде. Одна, правда, была иностранная, из плохоньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и, будучи уже тузом, не походил на бо́льшую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение; тщеславие его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно и так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за «чудного малого». В важных случаях он умел, однако, как говорится, задать пыли. «Энергия необходима,— говаривал он тогда,— l'énergie est la première qualité d'un homme d'état»[1]; а со всем тем он обыкновенно оставался в дураках и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением о Гизо и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни... Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежною величавостию, за развитием современной литературы: так взрослый человек, встретив на улице процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей Александровского времени, которые, готовясь идти на вечер к г-же Свечиной, жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кондильяка; только приемы у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец и больше ничего; в делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела: тут уж никто не мог его оседлать, а ведь это главное.

Матвей Ильич принял Аркадия с свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем более, с игривостию. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папа̀ всегда», заметил он, побрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока, и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше

---

[1] энергия — первейшее качество государственного человека *(франц.)*.

застегнутом вицмундире, воскликнул с озабоченным видом: «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но, озадачив подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных; способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении, «is quite a favorite»[1], как говорят англичане: сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например: какой сегодня день?

Ему почтительнейше докладывают: «Пятница сегодня, ваше с... с... с...ство».

— А? Что? Что такое? Что вы говорите? — напряженно повторяет сановник.

— Сегодня пятница, ваше с... с... ство.

— Как? Что? Что такое пятница? какая пятница?

— Пятница, ваше с... ссс... ссс... ство, день в неделе.

— Ну-у, ты учить меня вздумал?

Матвей Ильич все-таки был сановник, хоть и считался либералом.

— Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губернатору,— сказал он Аркадию,— ты понимаешь, я тебе это советую не потому, чтоб я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор порядочный человек; притом же ты, вероятно, желаешь познакомиться с здешним обществом... ведь ты не медведь, надеюсь? А он послезавтра дает большой бал.

— Вы будете на этом бале? — спросил Аркадий.

— Он для меня его дает,— проговорил Матвей Ильич почти с сожалением.— Ты танцуешь?

— Танцую, только плохо.

— Это напрасно. Здесь есть хорошенькие, да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки я это говорю не в силу старинных понятий; я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах, но байронизм смешон, il a fait son temps[2].

— Да я, дядюшка, вовсе не из байронизма не...

---

[1] «самый излюбленный» *(англ.)*.
[2] прошло его время *(франц.)*.

— Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое крылышко,— перебил Матвей Ильич и самодовольно засмеялся.— Тебе тепло будет, а?

Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты, сладкоглазого старика с сморщенными губами, который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку...» Аркадий удалился.

Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его уговаривал пойти к губернатору. «Нечего делать! — сказал, наконец, Базаров.— Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Приехали смотреть помещиков — давай их смотреть!» Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил; с утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстух, недоедал и недопивал, всё распоряжался. Его в губернии прозвали Бурдалу, намекая тем не на известного французского проповедника, а на бурду. Он пригласил Кирсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя их Кайсаровыми.

Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста, в славянофильской венгерке, и с криком: «Евгений Васильич!» — бросился к Базарову.

— А! это вы, герр Ситников,— проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару,— какими судьбами?

— Вообразите, совершенно случайно,— отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал: — Ступай за нами, ступай! — У моего отца здесь дело,— продолжал он, перепрыгивая через канавку,— ну, так он меня просил... Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас... (Действительно, приятели, возвратясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами и с именем Ситникова, на одной стороне по-французски, на другой — славянскою вязью.) Я надеюсь, вы не от губернатора?

— Не надейтесь, мы прямо от него.

— А! в таком случае и я к нему пойду... Евгений Васильич, познакомьте меня с вашим... с ними...

— Ситников, Кирсанов,— проворчал, не останавливаясь, Базаров.

— Мне очень лестно,— начал Ситников, выступая

боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки.— Я очень много слышал... Я старинный знакомый Евгения Васильича и могу сказать — его ученик. Я ему обязан моим перерождением...

Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем приятных чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то коротким, деревянным смехом.

— Поверите ли,— продолжал он,— что когда при мне Евгений Васильевич в первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг... словно прозрел! «Вот,— подумал я,— наконец нашел я человека!» Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надобно сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником; вы, я думаю, слыхали о ней?

— Кто такая? — произнес нехотя Базаров.

— Кукшина, Eudoxie, Евдоксия Кукшина. Это замечательная натура, émancipée[1] в истинном смысле слова, передовая женщина. Знаете ли что? Пойдемте теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах. Мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали?

— Нет еще.

— Ну и прекрасно. Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит.

— Хорошенькая она? — перебил Базаров.

— Н... нет, этого нельзя сказать.

— Так для какого же дьявола вы нас к ней зовете?

— Ну, шутник, шутник... Она нам бутылку шампанского поставит.

— Вот как! Сейчас виден практический человек. Кстати, ваш батюшка всё по откупам?

— По откупам,— торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся.— Что же? идет?

— Не знаю, право.

— Ты хотел людей смотреть, ступай,— заметил вполголоса Аркадий.

— А вы-то что ж, господин Кирсанов? — подхватил Ситников.— Пожалуйте и вы, без вас нельзя.

---

[1] свободная от предрассудков *(франц.)*.

— Да как же это мы все разом нагрянем?
— Ничего! Кукшина — человек чудный.
— Бутылка шампанского будет? — спросил Базаров.
— Три! — воскликнул Ситников.— За это я ручаюсь!
— Чем?
— Собственною головою.
— Лучше бы мошною батюшки. А впрочем, пойдем.

XIII

Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна (или *Евдоксия*) Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города ***; известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, виднелась ручка колокольчика, и в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чепце — явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна?
— Это вы, Victor? — раздался тонкий голос из соседней комнаты.— Войдите.
Женщина в чепце тотчас исчезла.
— Я не один,— промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которою оказалось нечто вроде поддевки или пальто-сака, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову.
— Всё равно,— отвечал голос.— Entrez[1].
Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые нумера русских журналов, большею частью неразрезанные, валялись по запыленным столам; везде белели разбросанные окурки папирос. На кожаном диване полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в шелковом, не совсем опрятном, платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевною косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила: «Здравствуйте, Victor»,— и пожала Ситникову руку.

---
[1] Войдите *(франц.)*.

— Базаров, Кирсанов,— проговорил он отрывисто, в подражание Базарову.

— Милости просим,— отвечала Кукшина и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила: — Я вас знаю,— и пожала ему руку тоже.

Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эманципированной женщины не было ничего безобразного; но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать; всё у ней выходило, как дети говорят — нарочно, то есть не просто, не естественно.

— Да, да, я знаю вас, Базаров,— повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам,— с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии.) — Хотите сигару?

— Сигарку сигаркой,— подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху,— а дайте-ка нам позавтракать, мы голодны ужасно; да велите нам воздвигнуть бутылочку шампанского.

— Сибарит,— промолвила Евдоксия и засмеялась. (Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами.) — Не правда ли, Базаров, он сибарит?

— Я люблю комфорт жизни,— произнес с важностию Ситников.— Это не мешает мне быть либералом.

— Нет, это мешает, мешает! — воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака и насчет шампанского.— Как вы об этом думаете? — прибавила она, обращаясь к Базарову.— Я уверена, вы разделяете мое мнение.

— Ну нет,— возразил Базаров,— кусок мяса лучше куска хлеба даже с химической точки зрения.

— А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

— Мастику? вы?

— Да, я. И знаете ли, с какою целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но всё это еще не готово. Нужно еще Либиха

почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях?» Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос? И школы тоже? Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?

Госпожа Кукшина *роняла* свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностию, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят с своими няньками.

— Меня зовут Аркадий Николаич Кирсанов,— проговорил Аркадий,— и я ничем не занимаюсь.

Евдоксия захохотала.

— Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердита.

— За что?

— Вы, говорят, опять стали хвалить Жорж Санда. Отсталая женщина и больше ничего! Как возможно сравнить ее с Эмерсоном! Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии, а в наше время — как вы хотите без этого? (Евдоксия даже руки расставила.) Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! Это гениальный господин! (Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек».) Базаров, сядьте возле меня на диван. Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь.

— Это почему? Позвольте полюбопытствовать.

— Вы опасный господин; вы такой критик. Ах боже мой! мне смешно, я говорю, как какая-нибудь степная помещица. Впрочем, я действительно помещица. Я сама имением управляю, и, представьте, у меня староста Ерофей — удивительный тип, точно Патфайндер Купера: что-то такое в нем непосредственное! Я окончательно поселилась здесь; несносный город, не правда ли? Но что делать!

— Город как город,— хладнокровно заметил Базаров.

— Всё такие мелкие интересы, вот что ужасно! Прежде я по зимам жила в Москве... но теперь там обитает мой благоверный, мсьё Кукшин. Да и Москва теперь... уж я не знаю — тоже уж не то. Я думаю съездить за границу; я в прошлом году уже совсем было собралась.

— В Париж, разумеется? — спросил Базаров.

— В Париж и в Гейдельберг.

— Зачем в Гейдельберг?

— Помилуйте, там Бунзен!

На это Базаров ничего не нашелся ответить.

— Pierre Сапожников... вы его знаете?

— Нет, не знаю.

— Помилуйте, Pierre Сапожников... он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает.

— Я и ее не знаю.

— Ну, вот он взялся меня проводить. Слава богу, я свободна, у меня нет детей... Что это я сказала: *слава богу*! Впрочем, это всё равно.

Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами, провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом.

— А, вот и завтрак! Хотите закусить? Виктор, откупорьте бутылку; это по вашей части.

— По моей, по моей,— пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся.

— Есть здесь хорошенькие женщины? — спросил Базаров, допивая третью рюмку.

— Есть,— отвечала Евдоксия,— да все они такие пустые. Например, mon amie[1] Одинцова — недурна. Жаль, что репутация у ней какая-то... Впрочем, это бы ничего, но никакой свободы воззрения, никакой ширины, ничего... этого. Всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала; наши женщины очень дурно воспитаны.

— Ничего вы с ними не сделаете,— подхватил Ситников.— Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно! (Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова; он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло, несколько месяцев спустя, пресмыкаться перед своей женой потому только, что она была урожденная княжна Дурдолеосова.) Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу; ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней!

— Да им совсем не нужно понимать нашу беседу,— промолвил Базаров.

— О ком вы говорите? — вмешалась Евдоксия.

— О хорошеньких женщинах.

— Как! Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?

Базаров надменно выпрямился.

— Я ничьих мнений не разделяю: я имею свои.

---

[1] моя приятельница *(франц.)*.

— Долой авторитеты! — закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал.

— Но сам Маколей,— начала было Кукшина.

— Долой Маколея! — загремел Ситников.— Вы заступаетесь за этих бабенок?

— Не за бабенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови.

— Долой! — Но тут Ситников остановился.— Да я их не отрицаю,— промолвил он.

— Нет, я вижу, вы славянофил!

— Нет, я не славянофил, хотя, конечно...

— Нет, нет, нет! Вы славянофил. Вы последователь *Домостроя*. Вам бы плетку в руки!

— Плетка дело доброе,— заметил Базаров,— только мы вот добрались до последней капли...

— Чего? — перебила Евдоксия.

— Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна, шампанского — не вашей крови.

— Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин,— продолжала Евдоксия.— Это ужасно, ужасно. Вместо того чтобы нападать на них, прочтите лучше книгу Мишле *De l'amour*[1]. Это чудо! Господа, будемте говорить о любви,— прибавила Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана.

Наступило внезапное молчание.

— Нет, зачем говорить о любви,— промолвил Базаров,— а вот вы упомянули об Одинцовой... Так, кажется, вы ее назвали? Кто эта барыня?

— Прелесть! прелесть! — запищал Ситников.— Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще не довольно развита: ей бы надо с нашею Евдоксией поближе познакомиться. Пью ваше здоровье, Eudoxie! Чокнемтесь! «Et toc, et toc, et tin-tin-tin! Et toc, et toc, et tin-tin-tin!!.»

— Victor, вы шалун.

Завтрак продолжался долго. За первою бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая... Евдоксия болтала без умолку; Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак — предрассудок или преступление, и какие родятся люди — одинаковые или нет? и в чем собственно состоит индивидуальность? Дело

[1] О любви *(франц.)*.

дошло, наконец, до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина и стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепьяно, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах:

И уста твои с моими
В поцелуй горячий слить.

Аркадий не вытерпел наконец. «Господа, уж это что-то на Бедлам похоже стало»,— заметил он вслух.

Базаров, который лишь изредка вставлял в разговор насмешливое слово,— он занимался больше шампанским,— громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников выскочил вслед за ними.

— Ну что, ну что? — спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева,— ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше! Она, в своем роде, высоконравственное явление.

— А это заведение *твоего* отца тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного *тыканья* Базарова.

XIV

Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Матвей Ильич был настоящим «героем праздника», губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал собственно из уважения к нему, а губернатор даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал «распоряжаться». Мягкость в обращении Матвея Ильича могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех — одних с оттенком гадливости, других с оттенком уважения; рассыпался «en vrai chevalier français»[1] перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одинаким смехом, как оно и следует сановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рас-

[1] «как истинный французский рыцарь» *(франц.)*.

сеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясного, но приветливого мычанья, в котором только и можно было разобрать, что «я...» да «ссьма»; подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернув голову; даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райскою птицею в волосах, даже Кукшиной он сказал: «Enchanté»[1]. Народу было пропасть, и в кавалерах не было недостатка; штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно, особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицаньям вроде: «Zut», «Ah fichtrrre», «Pst, pst, mon bibi»[2] и т. п. Он произносил их в совершенстве, с настоящим парижским *шиком*, и в то же время говорил «si j'aurais» вместо «si j'avais»[3], «absolument»[4] в смысле: «непременно», словом, выражался на том великорусско-французском наречии, над которым так смеются французы, когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке, как ангелы, «comme des anges».

Аркадий танцевал плохо, как мы уже знаем, а Базаров вовсе не танцевал: они оба поместились в уголке; к ним присоединился Ситников. Изобразив на лице своем презрительную насмешку и отпуская ядовитые замечания, он дерзко поглядывал кругом и, казалось, чувствовал истинное наслаждение. Вдруг лицо его изменилось и, обернувшись к Аркадию, он, как бы с смущением, проговорил: «Одинцова приехала».

Аркадий оглянулся и увидал женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица.

— Вы с ней знакомы? — спросил Аркадий Ситникова.

— Коротко. Хотите я вас представлю?

— Пожалуй... после этой кадрили.

---

[1] «Очарован» *(франц.)*.

[2] «Зют», «Чёрт возьми», «Пст, пст, моя крошка» *(франц.)*.

[3] Неправильное употребление условного наклонения вместо прошедшего времени: «если б я имел» *(франц.)*.

[4] «совершенно» *(франц.)*.

Базаров также обратил внимание на Одинцову.

— Это что за фигура? — проговорил он.— На остальных баб не похожа.

Дождавшись конца кадрили, Ситников подвел Аркадия к Одинцовой; но едва ли он был коротко с ней знаком: и сам он запутался в речах своих, и она глядела на него с некоторым изумлением. Однако лицо ее приняло радушное выражение, когда она услышала фамилию Аркадия. Она спросила его, не сын ли он Николая Петровича?

— Точно так.

— Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем,— продолжала она,— я очень рада с вами познакомиться.

В это мгновение подлетел к ней какой-то адъютант и пригласил ее на кадриль. Она согласилась.

— Вы разве танцуете? — почтительно спросил Аркадий.

— Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вам кажусь слишком стара?

— Помилуйте, как можно... Но в таком случае позвольте мне пригласить вас на мазурку.

Одинцова снисходительно усмехнулась.

— Извольте,— сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молоденьких братьев.

Одинцова была немного старше Аркадия, ей пошел двадцать девятый год, но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком, точно разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величественным видом и подобострастными речами. Аркадий отошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею: он не спускал с нее глаз и во время кадрили. Она так же непринужденно разговаривала с своим танцором, как и с сановником, тихо поводила головой и глазами, и раза два тихо засмеялась. Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист; со всем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей; самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире, и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время.

Аркадий ощущал на сердце некоторую робость, когда, при первых звуках мазурки, он усаживался возле своей

дамы и, готовясь вступить в разговор, только проводил рукой по волосам и не находил ни единого слова. Но он робел и волновался недолго; спокойствие Одинцовой сообщилось и ему: четверти часа не прошло, как уж он свободно рассказывал о своем отце, дяде, о жизни в Петербурге и в деревне. Одинцова слушала его с вежливым участием, слегка раскрывая и закрывая веер; болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры; Ситников, между прочим, пригласил ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала веер, и даже грудь ее не дышала быстрее, а Аркадий опять принимался болтать, весь проникнутый счастием находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во всё ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах; по иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое...

— С кем вы это стояли? — спросила она его,— когда господин Ситников подвел вас ко мне?

— А вы его заметили? — спросил в свою очередь Аркадий.— Не правда ли, какое у него славное лицо? Это некто Базаров, мой приятель.

Аркадий принялся говорить о «своем приятеле».

Он говорил о нем так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Между тем мазурка приближалась к концу. Аркадию стало жалко расстаться с своей дамой: он так хорошо провел с ней около часа! Правда, он в течение всего этого времени постоянно чувствовал, как будто она к нему снисходила, как будто ему следовало быть ей благодарным... но молодые сердца не тяготятся этим чувством.

Музыка умолкла.

— Merci,— промолвила Одинцова, вставая.— Вы обещали мне посетить меня, привезите же с собой и вашего приятеля. Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить.

Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов, и с озабоченным лицом подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед (как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шёлка!) и, подумав: «В это мгновенье она уже забыла о моем существовании»,— почувствовал на душе какое-то изящное смирение...

— Ну что? — спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к нему в уголок,— получил удовольствие? Мне сейчас сказывал один барин, что эта госпожа — ой-ой-ой; да барин-то, кажется, дурак. Ну, а по-твоему, что она, точно — ой-ой-ой?

— Я этого определенья не совсем понимаю,— отвечал Аркадий.

— Вот еще! Какой невинный!

— В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила — бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что...

— В тихом омуте... ты знаешь! — подхватил Базаров.— Ты говоришь, она холодна. В этом-то самый вкус и есть. Ведь ты любишь мороженое?

— Может быть,— пробормотал Аркадий,— я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтоб я привез тебя к ней.

— Воображаю, как ты меня расписывал! Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была — просто ли губернская львица, или «эманципе́» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно.

Аркадия покоробило от цинизма Базарова, но — как это часто случается — он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось...

— Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах? — проговорил он вполголоса.

— Оттого, братец, что, по моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды.

Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина. Кукшина нервически злобно, но не без робости, засмеялась им вослед: ее самолюбие было глубоко уязвлено тем, что ни тот, ни другой не обратил на нее внимания. Она оставалась позже всех на бале и в четвертом часу ночи протанцевала польку-мазурку с Ситниковым на парижский манер. Этим поучительным зрелищем и завершился губернаторский праздник.

XV

— Посмотрим, к какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа,— говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гос-

тиницы, в которой остановилась Одинцова.— Чувствует мой нос, что тут что-то не ладно.

— Я тебе удивляюсь! — воскликнул Аркадий.— Как? Ты, ты, Базаров, придерживаешься той узкой морали, которую...

— Экой ты чудак! — небрежно перебил Базаров.— Разве ты не знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата «не ладно» значит «ладно»? Пожива есть, значит. Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж, хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика — дело ничуть не странное, а, напротив, благоразумное. Я городским толкам не верю; но люблю думать, как говорит наш образованный губернатор, что они справедливы.

Аркадий ничего не отвечал и постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливрее ввел обоих приятелей в большую комнату, меблированную дурно, как все комнаты русских гостиниц, но уставленную цветами. Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил, что он как будто сконфузился, между тем как Одинцова оставалась совершенно спокойною, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. «Вот тебе раз! бабы испугался!» — подумал он и, развалясь в кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз.

Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича Локтева, известного красавца, афериста и игрока, который, продержавшись и прошумев лет пятнадцать в Петербурге и в Москве, кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошечное состояние двум своим дочерям, Анне — двадцати и Катерине — двенадцати лет. Мать их, из обедневшего рода князей Х......, скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжело. Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению забот по хозяйству и по дому,— к глухому деревенскому житью. Она не знала никого решительно в целом околотке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями; он их презирал, и они его презирали, каждый по-своему.

Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну Х......ю, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и брюзжала с утра до вечера и даже по саду гуляла не иначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека, угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым позументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки, исподволь занималась воспитанием сестры и, казалось, уже примирилась с мыслию увянуть в глуши... Но судьба судила ей другое. Ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет сорока шести, чудак, ипохондрик, пухлый, тяжелый и кислый, впрочем не глупый и не злой; влюбился в нее и предложил ей руку. Она согласилась быть его женой,— а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней всё свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни; потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии; соскучилась и вернулась на жительство в свое любезное Никольское, отстоявшее верст сорок от города ***. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, прекрасный сад с оранжереями: покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большею частью по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказывали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогала отцу в его шулерских проделках, что и за границу она ездила недаром, а из необходимости скрыть несчастные последствия... «Вы понимаете чего?» — договаривали негодующие рассказчики. «Прошла через огонь и воду»,— говорили о ней; а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял: «И через медные трубы». Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей: характер у нее был свободный и довольно решительный.

Одинцова сидела, прислонясь к спинке кресел, и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил, против обыкновения, довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления: оно сохраняло одно и то же выражение, приветливое, тонкое; ее прекрасные глаза

светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовало на нее, как дурной запах или резкий звук; но она тотчас же поняла, что он чувствовал смущение, и это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало, а в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой, как с женщиной умною, о своих убеждениях и воззрениях: она же сама изъявила желание послушать человека, «который имеет смелость ничему не верить», но вместо того Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении: она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусства, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий и пустился было толковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним, как с младшим братом: казалось, она ценила в нем доброту и простодушие молодости — и только. Часа три с лишком длилась беседа, неторопливая, разнообразная и живая.

Приятели, наконец, поднялись и стали прощаться. Анна Сергеевна ласково поглядела на них, протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного, с нерешительною, но хорошею улыбкой проговорила:

— Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское.

— Помилуйте, Анна Сергеевна,— воскликнул Аркадий,— я за особенное счастье почту...

— А вы, мсьё Базаров?

Базаров только поклонился — и Аркадию в последний раз пришлось удивиться: он заметил, что приятель его покраснел.

— Ну? — говорил он ему на улице,— ты всё того же мнения, что она — ой-ой-ой?

— А кто ее знает! Вишь, как она себя заморозила! — возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил: — Герцогиня, владетельная особа. Ей бы только шлейф сзади носить да корону на голове.

— Наши герцогини так по-русски не говорят,— заметил Аркадий.

— В переделе была, братец ты мой, нашего хлеба покушала.

— А все-таки она прелесть.— промолвил Аркадий.

— Этакое богатое тело! — продолжал Базаров,— хоть сейчас в анатомический театр.

— Перестань, ради бога, Евгений! это ни на что не похоже.

— Ну, не сердись, неженка. Сказано — первый сорт. Надо будет поехать к ней.

— Когда?

— Да хоть послезавтра. Что нам здесь делать-то! Шампанское с Кукшиной пить? Родственника твоего, либерального сановника, слушать?.. Послезавтра же и махнем. Кстати — и моего отца усадьбишка оттуда не далеко. Ведь это Никольское по *** дороге?

— Да.

— Optime[1]. Нечего мешкать; мешкают одни дураки — да умники. Я тебе говорю: богатое тело!

Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Никольское. День стоял светлый и не слишком жаркий, и ямские сытые лошадки дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадий глядел на дорогу и улыбался, сам не зная чему.

— Поздравь меня,— воскликнул вдруг Базаров,— сегодня 22-е июня, день моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут,— прибавил он, понизив голос...— Ну, подождут, что за важность!

XVI

Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью al fresco[2] над главным входом, представлявшею «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке. За церковью тянулось в два ряда длинное село с коегде мелькающими трубами над соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гер-

---

[1] Превосходно *(лат.)*.
[2] фреской *(итал.)*.

бом. Губернский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, нововведений. К дому с обеих сторон прилегали темные деревья старинного сада, аллея стриженых елок вела к подъезду.

Приятелей наших встретили в передней два рослые лакея в ливрее; один из них тотчас побежал за дворецким. Дворецкий, толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме видимо царствовал порядок: всё было чисто, всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных.

— Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса,— доложил дворецкий.— Не будет ли от вас покамест каких приказаний?

— Никаких приказаний не будет, почтеннейший,— ответил Базаров,— разве рюмку водочки соблаговолите поднести.

— Слушаю-с,— промолвил дворецкий не без недоуменья и удалился, скрипя сапогами.

— Какой гранжанр! — заметил Базаров,— кажется, это так по-вашему называется? Герцогиня, да и полно.

— Хороша герцогиня,— возразил Аркадий,— с первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой.

— Особенно я, будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук... Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?..

— Как Сперанский,— прибавил Базаров после небольшого молчания и скривив губы.— А все-таки избаловала она себя; ох, как избаловала себя эта барыня! Уж не фраки ли нам надеть?

Аркадий только плечом пожал... но и он чувствовал небольшое смущение.

Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая дорогая мебель стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями с золотыми разводами; покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурого мужчины— и, казалось, недружелюбно глядел на гостей. «Должно быть, *сам*,— шепнул Базаров Аркадию и,

сморщив нос, прибавил: — Аль удрать?» Но в это мгновенье вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье; гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу.

— Благодарствуйте, что сдержали слово,— начала она,— погостите у меня: здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою, она хорошо играет на фортепьяно. Вам, мсьё Базаров, это всё равно; но вы, мсьё Кирсанов, кажется, любите музыку; кроме сестры, у меня живет старушка тетка, да сосед один иногда наезжает в карты играть: вот и всё наше общество. А теперь сядем.

Одинцова произнесла весь этот маленький спич с особенною отчетливостью, словно она наизусть его выучила; потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знавала Аркадиеву мать и была даже поверенною ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице; а Базаров между тем принялся рассматривать альбомы. «Какой я смирненький стал»,— думал он про себя.

Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами.

— Вот вам и моя Катя,— проговорила Одинцова, указав на нее движением головы.

Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом, поочередно к обоим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку.

— Это ты всё сама нарвала? — спросила Одинцова.

— Сама,— отвечала Катя.

— А тетушка придет к чаю?

— Придет.

Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Всё в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи... Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух.

Одинцова обратилась к Базарову.

— Вы из приличия рассматриваете картинки, Евге-

ний Васильич,— начала она.— Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам, и давайте поспоримте о чем-нибудь.

Базаров приблизился.

— О чем прикажете-с? — промолвил он.

— О чем хотите. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица.

— Вы?

— Я. Вас это как будто удивляет. Почему?

— Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный, а для спора нужно увлечение.

— Как это вы успели меня узнать так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива, спросите лучше Катю; а во-вторых, я очень легко увлекаюсь.

Базаров поглядел на Анну Сергеевну.

— Может быть, вам лучше знать. Итак, вам угодно спорить,— извольте. Я рассматривал виды Саксонской Швейцарии в вашем альбоме, а вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали оттого, что не предполагаете во мне художественного смысла,— да, во мне действительно его нет; но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например.

— Извините; как геолог вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку.

— Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах.

Анна Сергеевна помолчала.

— И так-таки у вас ни капельки художественного смысла нет? — промолвила она, облокотясь на стол и этим самым движением приблизив свое лицо к Базарову.— Как же вы это без него обходитесь?

— А на что он нужен, позвольте спросить?

— Да хоть на то, чтоб уметь узнавать и изучать людей.

Базаров усмехнулся.

— Во-первых, на это существует жизненный опыт; а, во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу;

ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.

Катя, которая, не спеша, подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова — и, встретив его быстрый и небрежный взгляд, вспыхнула вся до ушей. Анна Сергеевна покачала головой.

— Деревья в лесу,— повторила она.— Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?

— Нет, есть: как между больным и здоровым. Легкие у чахоточного не в том положении, как у нас с вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет.

Базаров говорил всё это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: «Верь мне или не верь, это мне всё едино!» Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бегали по углам.

— И вы полагаете,— промолвила Анна Сергеевна,— что, когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?

— По крайней мере при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр.

— Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка.

— Именно так-с, сударыня.

Одинцова обратилась к Аркадию.

— А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?

— Я согласен с Евгением,— отвечал он.

Катя поглядела на него исподлобья.

— Вы меня удивляете, господа,— промолвила Одинцова,— но мы еще с вами потолкуем. А теперь, я слышу, тетушка идет чай пить; мы должны пощадить ее уши.

Тетушка Анны Сергеевны, княжна Х......я, худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными злыми глазами под седою накладкой, вошла и, едва поклонившись гостям, опустилась в широкое бархатное кресло, на которое никто, кроме ее, не имел права садиться. Катя поставила ей скамейку под ноги; старуха не поблагодарила ее, даже не взглянула на нее, только пошевелила руками под желтою шалью, покрывав-

шею почти всё ее тщедушное тело. Княжна любила желтый цвет: у ней и на чепце были ярко-желтые ленты.

— Как вы почивали, тетушка? — спросила Одинцова, возвысив голос.

— Опять эта собака здесь,— проворчала в ответ старуха и, заметив, что Фифи сделала два нерешительные шага в ее направлении, воскликнула: — Брысь, брысь!

Катя позвала Фифи и отворила ей дверь.

Фифи радостно бросилась вон в надежде, что ее поведут гулять, но, оставшись одна за дверью, начала скрестись и повизгивать. Княжна нахмурилась, Катя хотела было выйти...

— Я думаю, чай готов? — промолвила Одинцова.— Господа, пойдемте; тетушка, пожалуйте чай кушать.

Княжна молча встала с кресла и первая вышла из гостиной. Все отправились вслед за ней в столовую. Казачок в ливрее с шумом отодвинул от стола обложенное подушками, также заветное, кресло, в которое опустилась княжна; Катя, разливавшая чай, первой ей подала чашку с раскрашенным гербом. Старуха положила себе меду в чашку (она находила, что пить чай с сахаром и грешно и дорого, хотя сама не тратила копейки ни на что) и вдруг спросила хриплым голосом:

— А что пишет *кнесь* Иван?

Ей никто не отвечал. Базаров и Аркадий скоро догадались, что на нее не обращали внимания, хотя обходились с нею почтительно. «*Для ради* важности держат, потому что княжеское отродье»,— подумал Базаров... После чаю Анна Сергеевна предложила пойти гулять; но стал накрапывать дождик, и всё общество, за исключением княжны, вернулось в гостиную. Приехал сосед, любитель карточной игры, по имени Порфирий Платоныч, толстенький седенький человек с коротенькими, точно выточенными ножками, очень вежливый и смешливый. Анна Сергеевна, которая разговаривала всё больше с Базаровым, спросила его — не хочет ли он сразиться с ними по-старомодному в преферанс. Базаров согласился, говоря, что ему надобно заранее приготовиться к предстоящей ему должности уездного лекаря.

— Берегитесь,— заметила Анна Сергеевна,— мы с Порфирием Платонычем вас разобьем. А ты, Катя,— прибавила она,— сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу; он любит музыку, мы кстати послушаем.

Катя неохотно приблизилась к фортепьяно; и Аркадий,

нескольких, между добрымъ и злымъ?

Нетъ-съ, какъ между больнымъ и здоровымъ. Легкія у чахоточнаго не въ томъ положеніи, какъ у насъ съ вами, хоть устроены одинаково. Мы приблизительно знаемъ, отчего происходятъ телесные недуги, а нравственныя болезни происходятъ отъ дурного воспитанія, отъ всякихъ пустяковъ, которыми сызмала набиваютъ людскія головы, отъ безобразнаго состоянія общества — однимъ словомъ. Исправьте общество — и болезней не будетъ.

Базаровъ говорилъ все это съ такимъ видомъ, какъ будто въ то же время думалъ про себя: «верь мне или не верь, это мне все едино!» — и медленно проводилъ длинными пальцами по бакенбардамъ, а глаза его бегали по угламъ.

— И вы полагаете, — промолвила Анна Сергеевна, — что когда общество исправится, уже не будетъ ни глупыхъ, ни злыхъ людей?

— По крайней мере, при правильномъ устройстве общества, совершенно будетъ равно — глупъ ли человекъ или уменъ, золъ или добръ.

— Да, понимаю: у всехъ будетъ одна и та же селезенка.

— Именно такъ-съ, сударыня.

Одинцова обратилась къ Аркадію:

— А ваше какое мненіе?

— Я согласенъ съ Евгеніемъ, — отвечалъ онъ.

Катя посмотрела на него изподлобья.

— Вы меня удивляете, господа, — промолвила Одинцова, — но мы еще съ вами потолкуемъ. А теперь, я слышу, тетушка идетъ чай пить; мы должны пощадить ея уши.

Тетушка Анны Сергеевны, княжна Х... ая, худенькая и маленькая женщина съ сжатымъ въ кулачокъ лицомъ и неподвижными злыми глазами подъ седой

«ОТЦЫ И ДЕТИ». СТРАНИЦА АВТОГРАФА (ГЛ. XVI).
Национальная библиотека, Париж.

хотя точно любил музыку, неохотно пошел за ней: ему казалось, что Одинцова его отсылает, а у него на сердце, как у всякого молодого человека в его годы, уже накипало какое-то смутное и томительное ощущение, похожее на предчувствие любви. Катя подняла крышку фортепьяно и, не глядя на Аркадия, промолвила вполголоса:

— Что же вам сыграть?

— Что хотите,— равнодушно ответил Аркадий.

— Вы какую музыку больше любите? — повторила Катя, не переменяя положения.

— Классическую,— тем же голосом ответил Аркадий.

— Моцарта любите?

— Моцарта люблю.

Катя достала це-мольную сонату-фантазию Моцарта. Она играла очень хорошо, хотя немного строго и сухо. Не отводя глаз от нот и крепко стиснув губы, сидела она неподвижно и прямо, и только к концу сонаты лицо ее разгорелось и маленькая прядь развившихся волос упала на темную бровь.

Аркадия в особенности поразила последняя часть сонаты, та часть, в которой, посреди пленительной веселости беспечного напева, внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби... Но мысли, возбужденные в нем звуками Моцарта, относились не к Кате. Глядя на нее, он только подумал: «А ведь недурно играет эта барышня, и сама она недурна».

Кончив сонату, Катя, не принимая рук с клавишей, спросила: «Довольно?» Аркадий объявил, что не смеет утруждать ее более, и заговорил с ней о Моцарте; спросил ее — сама ли она выбрала эту сонату, или кто ей ее отрекомендовал? Но Катя отвечала ему односложно: она *спряталась*, ушла в себя. Когда это с ней случалось, она нескоро выходила наружу; самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое. Она была не то что робка, а недоверчива и немного запугана воспитавшею ее сестрой, чего, разумеется, та и не подозревала. Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для контенансу, с благосклонною улыбкой, гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы.

А Базаров между тем ремизился да ремизился. Анна Сергеевна играла мастерски в карты, Порфирий Платоныч тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше хотя незначительном, но все-таки не совсем для него

приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.

— Пойдемте гулять завтра поутру,— сказала она ему,— я хочу узнать от вас латинские названия полевых растений и их свойства.

— На что вам латинские названия? — спросил Базаров.

— Во всем нужен порядок,— отвечала она.

— Что за чудесная женщина Анна Сергеевна,— воскликнул Аркадий, оставшись наедине с своим другом в отведенной им комнате.

— Да,— отвечал Базаров,— баба с мозгом. Ну, и видала же она виды.

— В каком смысле ты это говоришь, Евгений Васильич?

— В хорошем смысле, в хорошем, батюшка вы мой, Аркадий Николаич! Я уверен, что она и своим имением отлично распоряжается. Но чудо — не она, а ее сестра.

— Как? эта смугленькая?

— Да, эта смугленькая. Это вот свежо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и всё что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, то и сделаешь; а та — тертый калач.

Аркадий ничего не отвечал Базарову, и каждый из них лег спать с особенными мыслями в голове.

И Анна Сергеевна в тот вечер думала о своих гостях. Базаров ей понравился — отсутствием кокетства и самою резкостью суждений. Она видела в нем что-то новое, с чем ей не случалось встретиться, а она была любопытна.

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того,

что по законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее обаятельно стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполнится внезапною смелостию, закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот гадкий ветер.

Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Покойного Одинцова она едва выносила (она вышла за него по расчету, хотя она, вероятно, не согласилась бы сделаться его женой, если б она не считала его за доброго человека) и получила тайное отвращение ко всем мужчинам, которых представляла себе не иначе как неопрятными, тяжелыми и вялыми, бессильно докучливыми существами. Раз она где-то за границей встретила молодого, красивого шведа с рыцарским выражением лица, с честными голубыми глазами под открытым лбом; он произвел на нее сильное впечатление, но это не помешало ей вернуться в Россию.

«Странный человек этот лекарь!» — думала она, лежа в своей великолепной постеле, на кружевных подушках, под легким шёлковым одеялом... Анна Сергеевна наследовала от отца частицу его наклонности к роскоши. Она очень любила своего грешного, но доброго отца, а он обожал ее, дружелюбно шутил с ней, как с ровней, и доверялся ей вполне, советовался с ней. Мать свою она едва помнила.

«Странный этот лекарь!» — повторила она про себя. Она потянулась, улыбнулась, закинула руки за голову, потом пробежала глазами страницы две глупого французского романа, выронила книжку — и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье.

На следующее утро Анна Сергеевна тотчас после завтрака отправилась ботанизировать с Базаровым и возвратилась перед самым обедом; Аркадий никуда не отлучался и провел около часа с Катей. Ему не было скучно с нею, она сама вызвалась повторить ему вчерашнюю сонату; но когда Одинцова возвратилась, наконец, когда он увидал ее — сердце в нем мгновенно сжалось... Она шла по

саду несколько усталою походкой; щеки ее алели и глаза светились ярче обыкновенного под соломенною круглою шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка, легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы: «Здравствуй!» — Базаров отправился к себе в комнату, а Одинцова рассеянно пожала Аркадию руку и тоже прошла мимо его.

«Здравствуй,— подумал Аркадий...— Разве мы не виделись сегодня?»

XVII

Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он даже не замечает — скоро ли, тихо ли оно проходит. Аркадий и Базаров именно таким образом провели дней пятнадцать у Одинцовой. Этому отчасти способствовал порядок, который она завела у себя в доме и в жизни. Она строго его придерживалась и заставляла других ему покоряться. Всё в течение дня совершалось в известную пору. Утром, ровно в восемь часов, всё общество собиралось к чаю; от чая до завтрака всякий делал что хотел, сама хозяйка занималась с приказчиком (имение было на оброке), с дворецким, с главною ключницей. Перед обедом общество опять сходилось для беседы или для чтения; вечер посвящался прогулке, картам, музыке; в половине одиннадцатого Анна Сергеевна уходила к себе в комнату, отдавала приказания на следующий день и ложилась спать. Базарову не нравилась эта размеренная, несколько торжественная правильность ежедневной жизни; «как по рельсам катишься»,— уверял он; ливрейные лакеи, чинные дворецкие оскорбляли его демократическое чувство. Он находил, что уж если на то пошло, так и обедать следовало бы по-английски, во фраках и в белых галстухах. Он однажды объяснился об этом с Анной Сергеевной. Она так себя держала, что каждый человек, не обинуясь, высказывал перед ней свои мнения. Она выслушала его и промолвила: «С вашей точки зрения, вы правы — и, может быть, в этом случае, я — барыня; но в деревне нельзя жить беспорядочно, скука одолеет»,— и продолжала

делать по-своему. Базаров ворчал, но и ему и Аркадию оттого и жилось так легко у Одинцовой, что всё в ее доме «катилось как по рельсам». Со всем тем в обоих молодых людях, с первых же дней их пребывания в Никольском, произошла перемена. В Базарове, к которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога: он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало; а Аркадий, который окончательно сам с собой решил, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей; оно даже помогло ему войти с нею в ласковые, приятельские отношения. «Меня *она* не ценит! Пусть!.. А вот доброе существо меня не отвергает»,— думал он, и сердце его снова вкушало сладость великодушных ощущений. Катя смутно понимала, что он искал какого-то утешения в ее обществе, и не отказывала ни ему, ни себе в невинном удовольствии полустыдливой, полудоверчивой дружбы. В присутствии Анны Сергеевны они не разговаривали между собою: Катя всегда сжималась под зорким взглядом сестры, а Аркадий, как оно и следует влюбленному человеку, вблизи своего предмета уже не мог обращать внимание ни на что другое; но хорошо ему было с одной Катей. Он чувствовал, что не в силах занять Одинцову; он робел и терялся, когда оставался с ней наедине; и она не знала, что ему сказать: он был слишком для нее молод. Напротив, с Катей Аркадий был как дома; он обращался с ней снисходительно, не мешал ей высказывать впечатления, возбужденные в ней музыкой, чтением повестей, стихов и прочими пустяками, сам не замечая или не сознавая, что эти *пустяки* и его занимали. С своей стороны, Катя не мешала ему грустить. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой — с Базаровым, а потому обыкновенно случалось так: обе парочки, побыв немного вместе, расходились каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Катя *обожала* природу, и Аркадий ее любил, хоть и не смел признаться в этом; Одинцова была к ней довольно равнодушна, так же как и Базаров. Почти постоянное разъединение наших приятелей не осталось без последствий: отношения между ними стали меняться. Базаров перестал говорить с Аркадием об Одинцовой, перестал даже бранить ее «аристократические замашки»; правда, Катю он хвалил по-прежнему и только советовал умерять

в ней сентиментальные наклонности, но похвалы его были торопливы, советы сухи, и вообще он с Аркадием беседовал гораздо меньше прежнего... он как будто избегал, как будто стыдился его...

Аркадий всё это замечал, но хранил про себя свои замечания.

Настоящею причиной всей этой «новизны» было чувство, внушенное Базарову Одинцовой,— чувство, которое его мучило и бесило и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном, или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительною дурью, считал рыцарские чувства чем-то вроде уродства или болезни и не однажды выражал свое удивление: почему не посадили в желтый дом Тоггенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами? «Нравится тебе женщина,— говаривал он,— старайся добиться толку; а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась: распространенные слухи о ней, свобода и независимость ее мыслей, ее несомненное расположение к нему — всё, казалось, говорило в его пользу; но он скоро понял, что с ней «не добьешься толку», а отвернуться от нее он, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; он легко сладил бы с своею кровью, но что-то другое в него вселилось, чего он никак не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало всю его гордость. В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе. Тогда он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветки и браня вполголоса и ее и себя; или забирался на сеновал, в сарай, и, упрямо закрывая глаза, заставлял себя спать, что ему, разумеется, не всегда удавалось. Вдруг ему представится, что эти целомудренные руки когда-нибудь обовьются вокруг его шеи, что эти гордые губы ответят на его поцелуи, что эти умные глаза с нежностию — да, с нежностию остановятся на его глазах, и голова его закружится и он забудется на миг, пока опять не вспыхнет в нем негодование. Он ловил самого себя на всякого рода «постыдных» мыслях,

точно бес его дразнил. Ему казалось иногда, что и в Одинцовой происходит перемена, что в выражении ее лица проявлялось что-то особенное, что, может быть... Но тут он обыкновенно топал ногою или скрежетал зубами и грозил себе кулаком.

А между тем Базаров не совсем ошибался. Он поразил воображение Одинцовой; он занимал ее, она много о нем думала. В его отсутствие она не скучала, не ждала его, но его появление тотчас ее оживляло; она охотно оставалась с ним наедине и охотно с ним разговаривала, даже тогда, когда он ее сердил или оскорблял ее вкус, ее изящные привычки. Она как будто хотела и его испытать и себя изведать.

Однажды он, гуляя с ней по саду, внезапно промолвил угрюмым голосом, что намерен скоро уехать в деревню, к отцу... Она побледнела, словно ее что в сердце кольнуло, да так кольнуло, что она удивилась и долго потом размышляла о том, что бы это значило. Базаров объявил ей о своем отъезде не с мыслию испытать ее, посмотреть, что из этого выйдет: он никогда не «сочинял». Утром того дня он виделся с отцовским приказчиком, бывшим своим дядькой, Тимофеичем. Этот Тимофеич, потертый и проворный старичок, с выцветшими желтыми волосами, выветренным, красным лицом и крошечными слезинками в съеженных глазах, неожиданно предстал перед Базаровым в своей коротенькой чуйке из толстого серо-синеватого сукна, подпоясанный ременным обрывочком и в дегтярных сапогах.

— А, старина, здравствуй! — воскликнул Базаров.

— Здравствуйте, батюшка Евгений Васильевич,— начал старичок и радостно улыбнулся, отчего всё лицо его вдруг покрылось морщинами.

— Зачем пожаловал? За мной, что ль, прислали?

— Помилуйте, батюшка, как можно! — залепетал Тимофеич (он вспомнил строгий наказ, полученный от барина при отъезде).— В город по господским делам ехали да про вашу милость услыхали, так вот и завернули по пути, то есть — посмотреть на вашу милость... а то как же можно беспокоить!

— Ну, не ври,— перебил его Базаров.— В город тебе разве здесь дорога?

Тимофеич помялся и ничего не отвечал.

— Отец здоров?

— Слава богу-с.

— И мать?

— И Арина Власьевна, слава тебе господи.

— Ждут меня небось?

Старичок склонил набок свою крошечную головку.

— Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с! Верите ли богу, сердце изныло на родителей на ваших глядючи.

— Ну, хорошо, хорошо! не расписывай. Скажи им, что скоро буду.

— Слушаю-с,— со вздохом отвечал Тимофеич.

Выйдя из дома, он обеими руками нахлобучил себе картуз на голову, взобрался на убогие беговые дрожки, оставленные им у ворот, и поплелся рысцой, только не в направлении города.

Вечером того же дня Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым, а Аркадий расхаживал по зале и слушал игру Кати. Княжна ушла к себе наверх; она вообще терпеть не могла гостей, и в особенности этих «новых оголтелых», как она их называла. В парадных комнатах она только дулась; зато у себя, перед своею горничной, она разражалась иногда такою бранью, что чепец прыгал у ней на голове вместе с накладкой. Одинцова всё это знала.

— Как же это вы ехать собираетесь,— начала она,— а обещание ваше?

Базаров встрепенулся.

— Какое-с?

— Вы забыли? Вы хотели дать мне несколько уроков химии.

— Что делать-с! Отец меня ждет; нельзя мне больше мешкать. Впрочем, вы можете прочесть Pelouse et Frémy, *Notions générales de Chimie*[1]; книга хорошая и написана ясно. Вы в ней найдете всё, что нужно.

— А помните: вы меня уверяли, что книга не может заменить... я забыла, как вы выразились, но вы знаете, что я хочу сказать... помните?

— Что делать-с! — повторил Базаров.

— Зачем ехать? — проговорила Одинцова, понизив голос.

Он взглянул на нее. Она закинула голову на спинку кресел и скрестила на груди руки, обнаженные до локтей. Она казалась бледней при свете одинокой лампы, за-

[1] Пелуз и Фреми, Общие основы химии *(франц.)*.

вешенной вырезною бумажною сеткой. Широкое белое платье покрывало ее всю своими мягкими складками; едва виднелись кончики ее ног, тоже скрещенных.

— А зачем оставаться? — отвечал Базаров.

Одинцова слегка повернула голову.

— Как зачем? разве вам у меня не весело? Или вы думаете, что об вас здесь жалеть не будут?

— Я в этом убежден.

Одинцова помолчала.

— Напрасно вы это думаете. Впрочем, я вам не верю. Вы не могли сказать это серьезно.— Базаров продолжал сидеть неподвижно.— Евгений Васильевич, что же вы молчите?

— Да что мне сказать вам? О людях вообще жалеть не стоит, а обо мне подавно.

— Это почему?

— Я человек положительный, неинтересный. Говорить не умею.

— Вы напрашиваетесь на любезность, Евгений Васильевич.

— Это не в моих привычках. Разве вы не знаете сами, что изящная сторона жизни мне недоступна, та сторона, которою вы так дорожите?

Одинцова покусала угол носового платка.

— Думайте что хотите, но мне будет скучно, когда вы уедете.

— Аркадий останется,— заметил Базаров.

Одинцова слегка пожала плечом.

— Мне будет скучно,— повторила она.

— В самом деле? Во всяком случае, долго вы скучать не будете.

— Отчего вы так полагаете?

— Оттого, что вы сами мне сказали, что скучаете только тогда, когда ваш порядок нарушается. Вы так непогрешительно правильно устроили вашу жизнь, что в ней не может быть места ни скуке, ни тоске... никаким тяжелым чувствам.

— И вы находите, что я непогрешительна... то есть что я так правильно устроила свою жизнь?

— Еще бы! Да вот, например: через несколько минут пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы прогоните меня.

— Нет, не прогоню, Евгений Васильич. Вы можете остаться. Отворите это окно... мне что-то душно.

Базаров встал и толкнул окно. Оно разом со стуком распахнулось... Он не ожидал, что оно так легко отворялось; притом его руки дрожали. Темная мягкая ночь глянула в комнату с своим почти черным небом, слабо шумевшими деревьями и свежим запахом вольного, чистого воздуха.

— Спустите стору и сядьте,— промолвила Одинцова,— мне хочется поболтать с вами перед вашим отъездом. Расскажите мне что-нибудь о самом себе; вы никогда о себе не говорите.

— Я стараюсь беседовать с вами о предметах полезных, Анна Сергеевна.

— Вы очень скромны... Но мне хотелось бы узнать что-нибудь о вас, о вашем семействе, о вашем отце, для которого вы нас покидаете.

«Зачем она говорит такие слова?» — подумал Базаров.

— Всё это нисколько не занимательно,— произнес он вслух,— особенно для вас; мы люди темные...

— А я, по-вашему, аристократка?

Базаров поднял глаза на Одинцову.

— Да,— промолвил он преувеличенно резко.

Она усмехнулась.

— Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мне прежде расскажете свою.

— Я вас знаю мало,— повторил Базаров.— Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек — загадка. Да хотя вы, например: вы чуждаетесь общества, вы им тяготитесь — и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне?

— Как? Как вы это сказали? — с живостью подхватила Одинцова.— С моей... красотой?

Базаров нахмурился.

— Это всё равно,— пробормотал он,— я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне?

— Вы этого не понимаете... Однако вы объясняете это себе как-нибудь?

— Да... я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте потому, что вы себя избаловали, потому, что вы очень любите комфорт, удобства, а ко всему остальному очень равнодушны.

Одинцова опять усмехнулась.

— Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?

Базаров исподлобья взглянул на нее.

— Любопытством — пожалуй: но не иначе.

— В самом деле? Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами; ведь и вы такой же, как я.

— Мы сошлись...— глухо промолвил Базаров.

— Да!.. ведь я забыла, что вы хотите уехать.

Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты; сквозь изредка колыхавшуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу... Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасною женщиной...

— Куда вы? — медленно проговорила она.

Он ничего не отвечал и опустился на стул.

— Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом,— продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна.— А я так знаю о себе, что я очень несчастлива.

— Вы несчастливы! Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?

Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял.

— Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива оттого... что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите, вы думаете: это говорит «аристократка», которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь: я люблю то, что вы называете комфортом, и в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие как знаете. Впрочем, это всё в ваших глазах романтизм.

Базаров покачал головою.

— Вы здоровы, независимы, богаты; чего же еще? Чего вы хотите?

— Чего я хочу,— повторила Одинцова и вздохнула.— Я очень устала, я стара, мне кажется, я очень давно живу. Да, я стара,— прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела.—

Позади меня уже так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка, как следует... Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной — длинная, длинная дорога, а цели нет... Мне и не хочется идти.

— Вы так разочарованы? — спросил Базаров.

— Нет,— промолвила с расстановкой Одинцова,— но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь...

— Вам хочется полюбить,— перебил ее Базаров,— а полюбить вы не можете: вот в чем ваше несчастие.

Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантильи.

— Разве я не могу полюбить? — промолвила она.

— Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается.

— Случается что?

— Полюбить.

— А вы почем это знаете?

— Понаслышке,— сердито отвечал Базаров.

«Ты кокетничаешь,— подумал он,— ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне...» Сердце у него действительно так и рвалось.

— Притом, вы, может быть, слишком требовательны,— промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла.

— Может быть. По-моему, или всё, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо.

— Что ж? — заметил Базаров,— это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор... не нашли, чего желали.

— А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?

— Не легко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою то есть; а не размышляя, отдаться очень легко.

— Как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?

— Это уже не мое дело; это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.

Одинцова отделилась от спинки кресла.

— Вы говорите так,— начала она,— как будто всё это испытали.

— К слову пришлось, Анна Сергеевна: это всё, вы знаете, не по моей части.

— Но вы бы сумели отдаться?

— Не знаю, хвастаться не хочу.

Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепьяно долетели до них из гостиной.

— Что это Катя так поздно играет,— заметила Одинцова.

Базаров поднялся.

— Да, теперь точно поздно, вам пора почивать.

— Погодите, куда же вы спешите... мне нужно сказать вам одно слово.

— Какое?

— Погодите,— шепнула Одинцова.

Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.

Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова... Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развилась и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижною, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод.

А Базаров, часа два спустя, вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом, с книгой в руках, в застегнутом доверху сюртуке.

— Ты еще не ложился? — проговорил он как бы с досадой.

— Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной,— промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.

— Да, я с ней сидел всё время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепьяно.

— Я не играл...— начал было Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы приступали к его глазам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.

XVIII

На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел нагнувшись над своею чашкою, да вдруг взглянул на нее... Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Всё общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний нумер журнала и начал читать. Княжна, по обыкновению своему, сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него; но он не обратил на нее внимания.

— Евгений Васильевич,— проговорила Анна Сергеевна,— пойдемте ко мне... Я хочу у вас спросить... Вы назвали вчера одно руководство...

Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать: «Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!» — и опять уставилась на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение.

Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шёлкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашнее свое место.

— Так как же называется эта книга? — начала она после небольшого молчания.

— Pelouse et Frémy, *Notions générales*...— отвечал Базаров.— Впрочем, можно вам также порекомендовать Ganot, *Traité élémentaire de physique expérimentale*[1]. В этом сочинении рисунки отчетливее, и вообще этот учебник...

Одинцова протянула руку.

— Евгений Васильич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно... Вам не будет скучно?

---

[1] Гано, Элементарный учебник экспериментальной физики *(франц.)*.

— Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем, бишь, беседовали мы вчера с вами?

Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова.

— Мы говорили с вами, кажется, о счастии. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати вот, я упомянула слово «счастие». Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатическими людьми, отчего всё это кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастие, чем действительным счастием, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это? Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете?

— Вы знаете поговорку: «Там хорошо, где нас нет»,— возразил Базаров,— притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены. А мне в голову, точно, такие мысли не приходят.

— Может быть, они кажутся вам смешными?

— Нет, но они мне не приходят в голову.

— В самом деле? Знаете, я бы очень желала знать, о чем *вы* думаете?

— Как? я вас не понимаю.

— Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить,— вам это самим известно,— что вы человек не из числа обыкновенных; вы еще молоды — вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? какая будущность ожидает вас? Я хочу сказать — какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе? Словом, кто вы, что вы?

— Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я...

— Да, кто вы?

— Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь.

Анна Сергеевна сделала нетерпеливое движение.

— Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы.

— Да чем же Аркадий...

— Перестаньте! Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такою скромною деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует. Вы — с вашим самолюбием — уездный лекарь! Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильич, что я умела бы понять вас: я сама была бед-

на и самолюбива, как вы; я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы.

— Всё это прекрасно, Анна Сергеевна, но вы меня извините... я вообще не привык высказываться, и между вами и мною такое расстояние...

— Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильич; я вам, кажется, доказала...

— Да и кроме того,— перебил Базаров,— что за охота говорить и думать о будущем, которое большею частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать — прекрасно, а не выйдет — по крайней мере тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал.

— Вы называете дружескую беседу болтовней... Или может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете.

— Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете.

— Нет, я ничего не знаю... но положим: я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности; но то, что в вас теперь происходит...

— Происходит! — повторил Базаров,— точно я государство какое или общество! Во всяком случае это вовсе не любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать всё, что в нем «происходит»?

— А я не вижу, почему нельзя высказать всё, что имеешь на душе.

— *Вы* можете? — спросил Базаров.

— Могу,— отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания.

Базаров наклонил голову.

— Вы счастливее меня.

Анна Сергеевна вопросительно посмотрела на него.

— Как хотите,— продолжала она,— а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец?

— А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще выразились... напряженность?

— Да.

Базаров встал и подошел к окну.

— И вы желали бы знать причину этой сдержанности, вы желали бы знать, что во мне происходит?

— Да,— повторила Одинцова с каким-то, ей еще непонятным, испугом.

— И вы не рассердитесь?

— Нет.

— Нет? — Базаров стоял к ней спиною.— Так знайте же, что я люблю вас, глупо, безумно... Вот чего вы добились.

Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; всё тело его видимо трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его.

— Евгений Васильич,— проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе.

Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор — и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь.

Она не тотчас освободилась из его объятий; но мгновенье спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней...

— Вы меня не поняли,— прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула... Базаров закусил губы и вышел.

Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова; она состояла из одной только строчки: «Должен ли я сегодня уехать — или могу остаться до завтра?» — «Зачем уезжать? Я вас не понимала — вы меня не поняли»,— ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: «Я и себя не понимала».

Она до обеда не показывалась и всё ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей всё чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее «добиваться», по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь... «Я виновата,— промолвила она вслух,— но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...

«Или?» — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями... Она увидала себя в зеркале; ее назад закинутая голова с таинственною улыбкой на полу-

закрытых, полураскрытых глазах и губах, казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась...

«Нет,— решила она наконец,— бог знает, куда бы это повело, этим нельзя шутить, спокойствие все-таки лучше всего на свете».

Ее спокойствие не было потрясено; но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная отчего, только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленною; она скорее чувствовала себя виноватою. Под влиянием различных смутных чувств, сознания уходящей жизни, желания новизны она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее — и увидала за ней даже не бездну, а пустоту... или безобразие.

XIX

Как ни владела собою Одинцова, как ни стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты; он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор, Бурдалу, приказал своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры, на случай если он пошлет их куда-нибудь, для скорости, верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два — прямо, не украдкой — посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «Нет... нет... нет...» После обеда она со всем обществом отправилась в сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил:

— Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня.

— Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильич,— отвечала Одинцова,— но я огорчена.

— Тем хуже. Во всяком случае я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали: зачем уезжать? А я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет.

— Евгений Васильич, зачем вы...

— Зачем я уезжаю?

— Нет, я не то хотела сказать.

— Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна... а рано или поздно это должно было случиться. Следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться; но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда?

Глаза Базарова сверкнули на мгновенье из-под темных его бровей.

Анна Сергеевна не отвечала ему. «Я боюсь этого человека»,— мелькнуло у ней в голове.

— Прощайте-с,— проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому.

Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозвав Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и всё больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя: что, мол, это значит? Базаров заперся у себя в комнате; к чаю он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним...

Неожиданный случай вывел ее из затруднения: дворецкий доложил о приезде Ситникова.

Трудно передать словами, какою перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись, с свойственною ему назойливостью, поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей и, вместо того чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшею похвалой... На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу. Появление пошлости бывает часто полезно в жизни: оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет

самоуверенные или самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова всё стало как-то тупее — и проще; все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного.

— Я могу тебе теперь повторить,— говорил, лежа в постели, Аркадий Базарову, который тоже разделся,— то, что ты мне сказал однажды: «Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?»

Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений.

— Я завтра к батьке уезжаю,— проговорил Базаров.

Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился и почему-то обрадовался.

— А! — промолвил он.— И ты от этого грустен?

Базаров зевнул.

— Много будешь знать, состареешься.

— А как же Анна Сергеевна? — продолжал Аркадий.

— Что такое Анна Сергеевна?

— Я хочу сказать: разве она тебя отпустит?

— Я у ней не нанимался.

Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене.

Прошло несколько минут в молчании.

— Евгений! — воскликнул вдруг Аркадий.

— Ну?

— Я завтра с тобой уеду тоже.

Базаров ничего не отвечал.

— Только я домой поеду,— продолжал Аркадий.— Мы вместе отправимся до Хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить и тебя. Ведь ты потом опять приедешь к нам?

— Я у вас свои вещи оставил,— отозвался Базаров, не оборачиваясь.

«Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? и так же внезапно, как и он? — подумал Аркадий.— В самом деле, зачем я еду, и зачем он едет?» — продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-

то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этою жизнью, к которой он так привык; но и оставаться одному было как-то странно. «Что-то у них произошло,— рассуждал он сам с собою,— зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? я ей окончательно надоем; я и последнее потеряю». Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы.

«Жаль и Кати!» — шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза... Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил:

— На какого чёрта этот глупец Ситников пожаловал?

Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:

— Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..

«Эге, ге!..— подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия.— Мы, стало быть, с тобой боги? то есть — ты бог, а олух уж не я ли?»

— Да,— повторил угрюмо Базаров,— ты еще глуп.

Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым; она казалась рассеянною и усталою. Катя молча и серьезно посмотрела на него, княжна даже перекрестилась под своею шалью, так что он не мог этого не заметить; зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в новом щегольском, на этот раз не славянофильском, наряде; накануне он удивил приставленного к нему человека множеством навезенного им белья, и вдруг его товарищи его покидают! Он немножко посеменил ногами, пометался, как гонный заяц на опушке леса,— и внезапно, почти с испугом, почти с криком объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать.

— У меня очень покойная коляска,— прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию,— я могу вас подвезти, а Евгений Васильич может взять ваш тарантас, так оно даже удобнее будет.

— Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня далеко.

— Это ничего, ничего; времени у меня много, притом у меня в той стороне дела есть.

— По откупам? — спросил Аркадий уже слишком презрительно.

Но Ситников находился в таком отчаянии, что, против обыкновения, даже не засмеялся.

— Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная,— пробормотал он,— и всем место будет.

— Не огорчайте мсьё Ситникова отказом,— промолвила Анна Сергеевна...

Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову.

Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула ему руку и сказала:

— Мы еще увидимся, не правда ли?

— Как прикажете,— ответил Базаров.

— В таком случае мы увидимся.

Аркадий первый вышел на крыльцо; он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до Хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоялого двора, запряг лошадей, и, подойдя к тарантасу, с прежнею улыбкой сказал Базарову:

— Евгений, возьми меня с собой; я хочу к тебе поехать.

— Садись,— произнес сквозь зубы Базаров.

Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая, вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова, а Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова — и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул: «Трогай!» Тарантас покатил и скоро исчез из вида... Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: «Наденьте шапки, дураки!» — потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день, у Кукшиной, сильно досталось двум «противным гордецам и невежам».

Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось. Базаров понял и оценил и это пожатие и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выда-

вался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки.

— Что, брат,— проговорил он наконец,— дай-ка сигарку... Да посмотри, чай, желтый у меня язык?

— Желтый,— отвечал Аркадий.

— Ну да... вот и сигарка не вкусна.— Расклеилась машина.

— Ты действительно изменился в это последнее время,— заметил Аркадий.

— Ничего! поправимся. Одно скучно — мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не ешь десять раз на день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сите и в решете. Нет, нельзя курить,— прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги.

— До твоего имения двадцать пять верст? — спросил Аркадий.

— Двадцать пять. Да вот спроси у этого мудреца.

Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника.

Но мудрец отвечал, что «хтошь е знает — версты тутотка не меряные», и продолжал вполголоса бранить коренную за то, что она «головизной лягает», то есть дергает головой.

— Да, да,— заговорил Базаров,— урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Чёрт знает, что за вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь.

— Ты на что намекаешь? — спросил Аркадий.

— Я ни на что не намекаю, я прямо говорю, что мы оба с тобою очень глупо себя вели. Что тут толковать! Но я уже в клинике заметил: кто злится на свою боль — тот непременно ее победит.

— Я тебя не совсем понимаю,— промолвил Аркадий,— кажется, тебе не на что было пожаловаться.

— А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее: по-моему — лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это всё...— Базаров чуть было не произнес своего любимого слова «романтизм», да удержался и сказал:— вздор. Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю: мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно; но бросить подобное общество — всё равно, что в жаркий день холодною водой окатиться. Мужчине

некогда заниматься такими пустяками; мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты,— прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику,— ты, умница, есть у тебя жена?

Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.

— Жена-то? Есть. Как не быть жене?

— Ты ее бьешь?

— Жену-то? Всяко случается. Без причины не бьем.

— И прекрасно. Ну, а она тебя бьет?

Мужик задергал вожжами.

— Эко слово ты сказал, барин. Тебе бы всё шутить...— Он, видимо, обиделся.

— Слышишь, Аркадий Николаевич! А нас с вами прибили... вот оно что значит быть образованными людьми.

Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта.

Двадцать пять верст показались Аркадию за целых пятьдесят. Но вот на скате пологого холма открылась, наконец, небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенною крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бранились. «Большая ты свинья,— говорил один другому,— а хуже малого поросенка».— «А твоя жена — колдунья»,— возражал другой.

— По непринужденности обращения,— заметил Аркадию Базаров,— и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены. Да вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик. Он, он — узнаю его фигуру. Эге, ге! как он, однако, поседел, бедняга!

XX

Базаров высунулся из тарантаса, а Аркадий вытянул голову из-за спины своего товарища и увидал на крылечке господского домика высокого, худощавого человека, с взъерошенными волосами и тонким орлиным носом, одетого в старый военный сюртук нараспашку. Он стоял, растопырив ноги, курил длинную трубку и щурился от солнца.

Лошади остановились.

— Наконец пожаловал,— проговорил отец Базарова, всё продолжая курить, хотя чубук так и прыгал у него между пальцами.— Ну, вылезай, вылезай, почеломкаемся.

Он стал обнимать сына... «Енюшка, Енюша»,— раздался трепещущий женский голос. Дверь распахнулась, и на пороге показалась кругленькая, низенькая старушка в белом чепце и короткой пестрой кофточке. Она ахнула, пошатнулась и наверно бы упала, если бы Базаров не поддержал ее. Пухлые ее ручки мгновенно обвились вокруг его шеи, голова прижалась к его груди, и всё замолкло. Только слышались ее прерывистые всхлипыванья.

Старик Базаров глубоко дышал и щурился пуще прежнего.

— Ну, полно, полно, Ариша! перестань,— заговорил он, поменявшись взглядом с Аркадием, который стоял неподвижно у тарантаса, между тем как мужик на козлах даже отвернулся.— Это совсем не нужно! пожалуйста, перестань.

— Ах, Василий Иваныч,— пролепетала старушка,— в кои-то веки батюшку-то моего, голубчика-то, Енюшеньку...— и, не разжимая рук, она отодвинула от Базарова свое мокрое от слез, смятое и умиленное лицо, посмотрела на него какими-то блаженными и смешными глазами и опять к нему припала.

— Ну да, конечно, это всё в натуре вещей,— промолвил Василий Иваныч,— только лучше уж в комнату пойдем. С Евгением вот гость приехал. Извините,— прибавил он, обращаясь к Аркадию, и шаркнул слегка ногой,— вы понимаете, женская слабость; ну, и сердце матери...

А у самого и губы и брови дергало, и подбородок трясся... но он, видимо, желал победить себя и казаться чуть не равнодушным. Аркадий наклонился.

— Пойдемте, матушка, в самом деле,— промолвил Базаров и повел в дом ослабевшую старушку. Усадив ее в покойное кресло, он еще раз наскоро обнялся с отцом и представил ему Аркадия.

— Душевно рад знакомству,— проговорил Василий Иванович,— только уж вы не взыщите: у меня здесь всё по простоте, на военную ногу. Арина Власьевна, успокойся, сделай одолжение: что за малодушие? Господин гость должен осудить тебя.

— Батюшка,— сквозь слезы проговорила старушка,— имени и отчества не имею чести знать...

— Аркадий Николаич,— с важностию, вполголоса, подсказал Василий Иваныч.

— Извините меня, глупую.— Старушка высморкалась и, нагиная голову то направо, то налево, тщательно утерла один глаз после другого.— Извините вы меня. Ведь я так и думала, что умру, не дождусь моего го...о...о...лу́бчика.

— А вот и дождались, сударыня,— подхватил Василий Иванович.— Танюшка,— обратился он к босоногой девочке лет тринадцати, в ярко-красном ситцевом платье, пугливо выглядывавшей из-за двери,— принеси барыне стакан воды — на подносе, слышишь? — а вас, господа,— прибавил он с какою-то старомодною игривостью,— позвольте попросить в кабинет к отставному ветерану.

— Хоть еще разочек дай обнять себя, Енюшечка,— простонала Арина Власьевна. Базаров нагнулся к ней.— Да какой же ты красавчик стал!

— Ну, красавчик не красавчик,— заметил Василий Иванович,— а мужчина, как говорится: *оммфе*[1]. А теперь, я надеюсь, Арина Власьевна, что, насытив свое материнское сердце, ты позаботишься о насыщении своих дорогих гостей, потому что, тебе известно, соловья баснями кормить не следует.

Старушка привстала с кресел.

— Сию минуту, Василий Иваныч, стол накрыт будет, сама в кухню сбегаю и самовар поставить велю, всё будет, всё. Ведь три года его не видала, не кормила, не поила, легко ли?

— Ну, смотри же, хозяюшка, хлопочи, не осрамись; а вас, господа, прошу за мной пожаловать. Вот и Тимофеич явился к тебе на поклон, Евгений. И он, чай, обрадовался, старый барбос. Что? ведь обрадовался, старый барбос? Милости просим за мной.

И Василий Иванович суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая стоптанными туфлями.

Весь его домик состоял из шести крошечных комнат. Одна из них, та, куда он привел наших приятелей, называлась кабинетом. Толстоногий стол, заваленный почерневшими от старинной пыли, словно прокопченными бумагами, занимал весь промежуток между двумя окнами; по стенам висели турецкие ружья, нагайки, сабля, две ландкарты, какие-то анатомические рисунки, портрет

---

[1] настоящий мужчина (homme fait — *франц.*).

Гуфеланда, вензель из волос в черной рамке и диплом под стеклом; кожаный, кое-где продавленный и разорванный, диван помещался между двумя громадными шкафами из карельской березы; на полках в беспорядке теснились книги, коробочки, птичьи чучелы, банки, пузырьки; в одном углу стояла сломанная электрическая машина.

— Я вас предупредил, любезный мой посетитель,— начал Василий Иваныч,— что мы живем здесь, так сказать, на бивуаках...

— Да перестань, что ты извиняешься? — перебил Базаров.— Кирсанов очень хорошо знает, что мы с тобой не Крезы и что у тебя не дворец. Куда мы его поместим, вот вопрос?

— Помилуй, Евгений; там у меня во флигельке отличная комната: им там очень хорошо будет.

— Так у тебя и флигелек завелся?

— Как же-с; где баня-с,— вмешался Тимофеич.

— То есть рядом с баней,— поспешно присовокупил Василий Иванович.— Теперь же лето.... Я сейчас сбегаю туда, распоряжусь; а ты бы, Тимофеич, пока их вещи внес. Тебе, Евгений, я, разумеется, предоставлю мой кабинет. Suum cuique[1].

— Вот тебе на! Презабавный старикашка и добрейший,— прибавил Базаров, как только Василий Иванович вышел.— Такой же чудак, как твой, только в другом роде. Много уж очень болтает.

— И мать твоя, кажется, прекрасная женщина,— заметил Аркадий.

— Да, она у меня без хитрости. Обед нам, посмотри, какой задаст.

— Сегодня вас не ждали, батюшка, говядинки не привезли,— промолвил Тимофеич, который только что втащил базаровский чемодан.

— И без говядинки обойдемся, на нет и суда нет. Бедность, говорят, не порок.

— Сколько у твоего отца душ? — спросил вдруг Аркадий.

— Имение не его, а матери; душ, помнится, пятнадцать.

— И все двадцать две,— с неудовольствием заметил Тимофеич.

---

[1] Всякому свое *(лат.)*.

Послышалось шлепание туфель, и снова появился Василий Иванович.

— Через несколько минут ваша комната будет готова принять вас,— воскликнул он с торжественностию,— Аркадий... Николаич? так, кажется, вы изволите величаться? А вот вам и прислуга,— прибавил он, указывая на вошедшего с ним коротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих сапогах.— Зовут его Федькой. Опять-таки повторяю, хоть сын и запрещает, не взыщите. Впрочем, трубку набивать он умеет. Ведь вы курите?

— Я курю больше сигары,— ответил Аркадий.

— И весьма благоразумно поступаете. Я сам отдаю преферанс сигаркам, но в наших уединенных краях доставать их чрезвычайно затруднительно.

— Да полно тебе Лазаря петь,— перебил опять Базаров.— Сядь лучше вот тут на диван да дай на себя посмотреть.

Василий Иванович засмеялся и сел. Он очень походил лицом на своего сына, только лоб у него был ниже и у́же, и рот немного шире, и он беспрестанно двигался, поводил плечами, точно платье ему под мышками резало, моргал, покашливал и шевелил пальцами, между тем как сын его отличался какою-то небрежною неподвижностию.

— Лазаря петь!— повторил Василий Иванович.— Ты, Евгений, не думай, что я хочу, так сказать, разжалобить гостя: вот, мол, мы в каком захолустье живем. Я, напротив, того мнения, что для человека мыслящего нет захолустья. По крайней мере я стараюсь, по возможности, не зарасти, как говорится, мохом, не отстать от века.

Василий Иванович вытащил из кармана новый желтый фуляр, который успел захватить, бегая в Аркадиеву комнату, и продолжал, помахивая им по воздуху:

— Я уже не говорю о том, что я, например, не без чувствительных для себя пожертвований, посадил мужиков на оброк и отдал им свою землю исполу. Я считал это своим долгом, самое благоразумие в этом случае повелевает, хотя другие владельцы даже не помышляют об этом: я говорю о науках, об образовании.

— Да; вот я вижу у тебя — «Друг здравия» на 1855 год,— заметил Базаров.

— Мне его по знакомству старый товарищ высылает,— поспешно проговорил Василий Иванович,— но мы, например, и о френологии имеем понятие,— прибавил он,

обращаясь, впрочем, более к Аркадию и указывая на стоявшую на шкафе небольшую гипсовую головку, разбитую на нумерованные четыреугольники,— нам и Шенлейн не остался безызвестен, и Радемахер.

— А в Радемахера еще верят в *** губернии?— спросил Базаров.

Василий Иванович закашлял.

— В губернии... Конечно, вам, господа, лучше знать; где ж нам за вами угоняться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист Гоффман, какой-нибудь Броун с его витализмом казались очень смешны, а ведь тоже гремели когда-то. Кто-нибудь новый заменил у вас Радемахера, вы ему поклоняетесь, а через двадцать лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.

— Скажу тебе в утешение,— промолвил Базаров,— что мы теперь вообще над медициной смеемся и ни перед кем не преклоняемся.

— Как же это так? Ведь ты доктором хочешь быть?

— Хочу, да одно другому не мешает.

Василий Иванович потыкал третьим пальцем в трубку, где еще оставалось немного горячей золы.

— Ну, может быть, может быть — спорить не стану. Ведь я что? Отставной штаб-лекарь, *волату*[1]; теперь вот в агрономы попал. Я у вашего дедушки в бригаде служил,— обратился он опять к Аркадию,— да-с, да-с; много я на своем веку видал видов. И в каких только обществах не бывал, с кем не важивался! Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет. Ну, да ведь мое дело — сторона; знай свой ланцет, и баста! А дедушка ваш очень почтенный был человек, настоящий военный.

— Сознайся, дубина была порядочная,— лениво промолвил Базаров.

— Ах, Евгений, как это ты выражаешься! помилосердуй... Конечно, генерал Кирсанов не принадлежал к числу...

— Ну, брось его,— перебил Базаров.— Я, как подъезжал сюда, порадовался на твою березовую рощицу, славно вытянулась.

---

[1] вот и всё (voilà tout — *франц.*).

Василий Иванович оживился.

— А ты посмотри, садик у меня теперь какой! Сам каждое деревцо сажал. И фрукты есть, и ягоды, и всякие медицинские травы. Уж как вы там ни хитрите, господа молодые, а все-таки старик Парацельсий святую правду изрек: in herbis, verbiset lapidibus...[1] Ведь я, ты знаешь, от практики отказался, а раза два в неделю приходится стариной тряхнуть. Идут за советом — нельзя же гнать в шею. Случается, бедные прибегают к помощи. Да и докторов здесь совсем нет. Один здешний сосед, представь, отставной майор, тоже лечит. Я спрашиваю о нем: учился ли он медицине?.. Говорят мне: нет, он не учился, он больше из филантропии... Ха-ха, из филантропии! а? каково! Ха-ха! ха-ха!

— Федька! набей мне трубку! — сурово проговорил Базаров.

— А то здесь другой доктор, приезжает к больному,— продолжал с каким-то отчаяньем Василий Иванович,— а больной уже ad patres[2]; человек и не пускает доктора, говорит: теперь больше не надо. Тот этого не ожидал, сконфузился и спрашивает: «Что, барин перед смертью икал?» — «Икали-с».— «И много икал?» — «Много».— «А, ну — это хорошо»,— да и верть назад. Ха-ха-ха!

Старик один засмеялся; Аркадий выразил улыбку на своем лице. Базаров только затянулся. Беседа продолжалась таким образом около часа; Аркадий успел сходить в свою комнату, которая оказалась предбанником, но очень уютным и чистым. Наконец вошла Танюша и доложила, что обед готов.

Василий Иванович первый поднялся.

— Пойдемте, господа! Извините великодушно, коли наскучил. Авось хозяйка моя удовлетворит вас более моего.

Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень хороший, даже обильный; только вино немного, как говорится, подгуляло: почти черный херес, купленный Тимофеичем в городе у знакомого купца, отзывался не то медью, не то канифолью; и мухи тоже мешали. В обыкновенное время дворовый мальчик отгонял их большою зеленой веткой; но на этот раз Василий Иванович услал его из боязни осуждения со стороны юного поколения. Арина

---

[1] в травах, словах и камнях *(лат.)*.
[2] отправился к праотцам *(лат.)*.

Власьевна успела принарядиться; надела высокий чепец с шелковыми лентами и голубую шаль с разводами. Она опять всплакнула, как только увидела своего Енюшу, но мужу не пришлось ее усовещевать: она сама поскорей утерла свои слезы, чтобы не закапать шаль. Ели одни молодые люди: хозяева давно пообедали. Прислуживал Федька, видимо обремененный необычными сапогами, да помогала ему женщина с мужественным лицом и кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки. Василий Иванович во всё время обеда расхаживал по комнате и с совершенно счастливым и даже блаженным видом говорил о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса. Арина Власьевна не замечала Аркадия, не потчевала его; подперши кулачком свое круглое лицо, которому одутловатые, вишневого цвета губки и родинки на щеках и над бровями придавали выражение очень добродушное, она не сводила глаз с сына и всё вздыхала; ей смертельно хотелось узнать, на сколько времени он приехал, но спросить его она боялась. «Ну, как скажет на два дня»,— думала она, и сердце у ней замирало. После жареного Василий Иванович исчез на мгновение и возвратился с откупоренною полубутылкой шампанского. «Вот,— воскликнул он,— хоть мы и в глуши живем, а в торжественных случаях имеем чем себя повеселить!» Он налил три бокала и рюмку, провозгласил здоровье «неоцененных посетителей» и разом, по-военному, хлопнул свой бокал, а Арину Власьевну заставил выпить рюмку до последней капельки. Когда очередь дошла до варенья, Аркадий, не терпевший ничего сладкого, почел, однако, своею обязанностью отведать от четырех различных, только что сваренных сортов, тем более что Базаров отказался наотрез и тотчас закурил сигарку. Потом явился на сцену чай со сливками, с маслом и кренделями; потом Василий Иванович повел всех в сад, для того чтобы полюбоваться красотою вечера. Проходя мимо скамейки, он шепнул Аркадию:

— На сем месте я люблю философствовать, глядя на захождение солнца: оно приличествует пустыннику. А там, подальше, я посадил несколько деревьев, любимых Горацием.

— Что за деревья? — спросил, вслушавшись, Базаров.

— А как же... акации.

Базаров начал зевать.

— Я полагаю, пора путешественникам в объятия к Морфею,— заметил Василий Иванович.

— То есть пора спать! — подхватил Базаров.— Это суждение справедливое. Пора, точно.

Прощаясь с матерью, он поцеловал ее в лоб, а она обняла его и за спиной, украдкой, его благословила трижды. Василий Иваныч проводил Аркадия в его комнату и пожелал ему «такого благодатного отдохновения, какое и я вкушал в ваши счастливые лета». И действительно, Аркадию отлично спалось в своем предбаннике: в нем пахло мятой, и два сверчка вперебивку усыпительно трещали за печкой. Василий Иванович отправился от Аркадия в свой кабинет и, прикорнув на диване в ногах у сына, собирался было поболтать с ним, но Базаров тотчас его отослал, говоря, что ему спать хочется, а сам не заснул до утра. Широко раскрыв глаза, он злобно глядел в темноту: воспоминания детства не имели власти над ним, да к тому ж он еще не успел отделаться от последних горьких впечатлений. Арина Власьевна сперва помолилась всласть, потом долго-долго беседовала с Анфисушкой, которая, став, как вкопанная, перед барыней и вперив в нее свой единственный глаз, передавала ей таинственным шёпотом все свои замечания и соображения насчет Евгения Васильевича. У старушки от радости, от вина, от сигарочного дыма совсем закружилась голова; муж заговорил было с ней и махнул рукою.

Арина Власьевна была настоящая русская дворяночка прежнего времени; ей бы следовало жить лет за двести, в старомосковские времена. Она была очень набожна и чувствительна, верила во всевозможные приметы, гаданья, заговоры, сны; верила в юродивых, в домовых, в леших, в дурные встречи, в порчу, в народные лекарства, в четверговую соль, в скорый конец света; верила, что если в светлое воскресение на всенощной не погаснут свечи, то гречиха хорошо уродится, и что гриб больше не растет, если его человеческий глаз увидит; верила, что чёрт любит быть там, где вода, и что у каждого жида на груди кровавое пятнышко; боялась мышей, ужей, лягушек, воробьев, пиявок, грома, холодной воды, сквозного ветра, лошадей, козлов, рыжих людей и чёрных кошек и почитала сверчков и собак нечистыми животными; не ела ни телятины, ни голубей, ни раков, ни сыру, ни спаржи, ни земляных груш, ни зайца, ни арбузов, потому что взре-

занный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи; а об устрицах говорила не иначе, как с содроганием; любила покушать — и строго постилась; спала десять часов в сутки — и не ложилась вовсе, если у Василия Ивановича заболевала голова; не прочла ни одной книги, кроме *Алексиса, или Хижины в лесу*, писала одно, много два письма в год, а в хозяйстве, сушенье и варенье знала толк, хотя своими руками ни до чего не прикасалась и вообще неохотно двигалась с места. Арина Власьевна была очень добра и, по-своему, вовсе не глупа. Она знала, что есть на свете господа, которые должны приказывать, и простой народ, который должен служить,— а потому не гнушалась ни подобострастием, ни земными поклонами; но с подчиненными обходилась ласково и кротко, ни одного нищего не пропускала без подачки и никогда никого не осуждала, хотя и сплетничала подчас. В молодости она была очень миловидна, играла на клавикордах и изъяснялась немного по-французски; но в течение многолетних странствий с своим мужем, за которого она вышла против воли, расплылась и позабыла музыку и французский язык. Сына своего она любила и боялась несказанно; управление имением предоставила Василию Ивановичу — и уже не входила ни во что: она охала, отмахивалась платком и от испуга подымала брови всё выше и выше, как только ее старик начинал толковать о предстоявших преобразованиях и о своих планах. Она была мнительна, постоянно ждала какого-то большого несчастья и тотчас плакала, как только вспоминала о чем-нибудь печальном... Подобные женщины теперь уже переводятся. Бог знает — следует ли радоваться этому!

XXI

Встав с постели, Аркадий раскрыл окно — и первый предмет, бросившийся ему в глаза, был Василий Иванович. В бухарском шлафроке, подпоясанный носовым платком, старик усердно рылся в огороде. Он заметил своего молодого гостя и, опершись на лопатку, воскликнул:

— Здравия желаем! Как почивать изволили?

— Прекрасно,— отвечал Аркадий.

— А я здесь, как видите, как некий Цинциннат, грядку под позднюю репу отбиваю. Теперь настало такое время,— да и слава богу! — что каждый должен

собственными руками пропитание себе доставать, на других нечего надеяться: надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав. Полчаса тому назад, сударь вы мой, вы бы увидали меня в совершенно другой позиции. Одной бабе, которая жаловалась на гнетку — это по-ихнему, а по-нашему — дизентерию, я... как бы выразиться лучше... я вливал опиум; а другой я зуб вырвал. Этой я предложил эфиризацию... только она не согласилась. Всё это я делаю gratis — *анаматёр*[1]. Впрочем, мне не в диво: я ведь плебей, homo novus[2] — не из столбовых, не то, что моя благоверная... А не угодно ли пожаловать сюда, в тень, вдохнуть перед чаем утреннюю свежесть?

Аркадий вышел к нему.

— Добро пожаловать еще раз! — промолвил Василий Иванович, прикладывая по-военному руку к засаленной ермолке, прикрывавшей его голову.— Вы, я знаю, привыкли к роскоши, к удовольствиям, но и великие мира сего не гнушаются провести короткое время под кровом хижины.

— Помилуйте,— возопил Аркадий,— какой же я великий мира сего? И к роскоши я не привык.

— Позвольте, позвольте,— возразил с любезной ужимкой Василий Иванович.— Я хоть теперь и сдан в архив, а тоже потерся в свете — узнаю птицу по полету. Я тоже психолог по-своему и физиогномист. Не имей я этого, смею сказать, дара — давно бы я пропал; затерли бы меня, маленького человека. Скажу вам без комплиментов: дружба, которую я замечаю между вами и моим сыном, меня искренно радует. Я сейчас виделся с ним; он, по обыкновению своему, вероятно вам известному, вскочил очень рано и побежал по окрестностям. Позвольте полюбопытствовать,— вы давно с моим Евгением знакомы?

— С нынешней зимы.

— Так-с. И позвольте вас еще спросить,— но не присесть ли нам? — Позвольте вас спросить, как отцу, со всею откровенностью: какого вы мнения о моем Евгении?

— Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когда-либо встречался,— с живостью ответил Аркадий.

---

[1] даром *(лат.)*, по-любительски (en amateur — *франц.*).
[2] новый человек *(лат.)*.

Глаза Василия Ивановича внезапно раскрылись, и щеки его слабо вспыхнули. Лопата вывалилась из его рук.

— Итак, вы полагаете,— начал он...

— Я уверен,— подхватил Аркадий,— что сына вашего ждет великая будущность, что он прославит ваше имя. Я убедился в этом с первой нашей встречи.

— Как... как это было? — едва проговорил Василий Иванович. Восторженная улыбка раздвинула его широкие губы и уже не сходила с них.

— Вы хотите знать, как мы встретились?

— Да... и вообще...

Аркадий начал рассказывать и говорить о Базарове еще с бо́льшим жаром, с бо́льшим увлечением, чем в тот вечер, когда он танцевал мазурку с Одинцовой.

Василий Иванович его слушал, слушал, сморкался, катал платок в обеих руках, кашлял, ерошил свои волосы — и, наконец, не вытерпел: нагнулся к Аркадию и поцеловал его в плечо.

— Вы меня совершенно осчастливили,— промолвил он, не переставая улыбаться,— я должен вам сказать, что я... боготворю моего сына; о моей старухе я уже не говорю: известно — мать! но я не смею при нем высказывать свои чувства, потому что он этого не любит. Он враг всех излияний; многие его даже осуждают за такую твердость его нрава и видят в ней признак гордости или бесчувствия; но подобных ему людей не приходится мерить обыкновенным аршином, не правда ли? Да вот, например: другой на его месте тянул бы да тянул с своих родителей; а у нас, поверите ли? он отроду лишней копейки не взял, ей-богу!

— Он бескорыстный, честный человек,— заметил Аркадий.

— Именно бескорыстный. А я, Аркадий Николаич, не только боготворю его, я горжусь им, и всё мое честолюбие состоит в том, чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: «Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания...» — Голос старика перервался.

Аркадий стиснул ему руку.

— Как вы думаете,— спросил Василий Иванович после некоторого молчания,— ведь он не на медицинском поприще достигнет той известности, которую вы ему пророчите?

— Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом отношении будет из первых ученых.

— На каком же, Аркадий Николаич?

— Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.

— Он будет знаменит! — повторил старик и погрузился в думу.

— Арина Власьевна приказали просить чай кушать,— проговорила Анфисушка, проходя мимо с огромным блюдом спелой малины.

Василий Иванович встрепенулся.

— А холодные сливки к малине будут?

— Будут-с.

— Да холодные, смотри! Не церемоньтесь, Аркадий Николаич, берите больше. Что ж это Евгений не идет?

— Я здесь,— раздался голос Базарова из Аркадиевой комнаты.

Василий Иванович быстро обернулся.

— Ага! ты захотел посетить своего приятеля; но ты опоздал, amice[1], и мы имели уже с ним продолжительную беседу. Теперь надо идти чай пить: мать зовет. Кстати, мне нужно с тобой поговорить.

— О чем?

— Здесь есть мужичок, он страдает иктером...

— То есть желтухой?

— Да, хроническим и очень упорным иктером. Я прописывал ему золототысячник и зверобой, морковь заставлял есть, давал соду; но это всё *паллиативные* средства; надо что-нибудь порешительней. Ты хоть и смеешься над медициной, а, я уверен, можешь подать мне дельный совет. Но об этом речь впереди. А теперь пойдем чай пить.

Василий Иванович живо вскочил с скамейки и запел из «Роберта»:

Закон, закон, закон себе поставим
На ра... на ра... на радости пожить!

— Замечательная живучесть! — проговорил, отходя от окна, Базаров.

Настал полдень. Солнце жгло из-за тонкой завесы сплошных беловатых облаков. Всё молчало, одни петухи задорно перекликались на деревне, возбуждая в каждом, кто их слышал, странное ощущение дремоты и скуки; да где-то высоко в верхушке деревьев звенел плаксивым призывом немолчный писк молодого ястребка. Ар-

---

[1] дружище *(лат.)*.

кадий и Базаров лежали в тени небольшого стога сена, подостлавши под себя охапки две шумливо-сухой, но еще зеленой и душистой травы.

— Та осина,— заговорил Базаров,— напоминает мне мое детство; она растет на краю ямы, оставшейся от кирпичного сарая, и я в то время был уверен, что эта яма и осина обладали особенным талисманом: я никогда не скучал возле них. Я не понимал тогда, что я не скучал оттого, что был ребенком. Ну, теперь я взрослый, талисман не действует.

— Сколько ты времени провел здесь всего? — спросил Аркадий.

— Года два сряду; потом мы наезжали. Мы вели бродячую жизнь; больше всё по городам шлялись.

— А дом этот давно стоит?

— Давно. Его еще дед построил, отец моей матери.

— Кто он был, твой дед?

— Чёрт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и всё рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть.

— То-то у вас в гостиной портрет Суворова висит. А я люблю такие домики, как ваш, старенькие да тепленькие; и запах в них какой-то особенный.

— Лампадным маслом отзывает да донником,— произнес, зевая, Базаров.— А что мух в этих милых домиках... Фа!

— Скажи,— начал Аркадий после небольшого молчания,— тебя в детстве не притесняли?

— Ты видишь, какие у меня родители. Народ не строгий.

— Ты их любишь, Евгений?

— Люблю, Аркадий!

— Они тебя так любят!

Базаров помолчал.

— Знаешь ли ты, о чем я думаю? — промолвил он наконец, закидывая руки за голову.

— Не знаю. О чем?

— Я думаю: хорошо моим родителям жить на свете! Отец в шестьдесят лет хлопочет, толкует о «паллиативных» средствах, лечит людей, великодушничает с крестьянами — кутит, одним словом; и матери моей хорошо: день ее до того напичкан всякими занятиями, ахами да охами, что ей и опомниться некогда; а я...

— А ты?

— А я думаю: я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностию, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!

— Позволь тебе заметить: то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем людям...

— Ты прав,— подхватил Базаров.— Я хотел сказать, что они вот, мои родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не смердит... а я... я чувствую только скуку да злость.

— Злость? почему же злость?

— Почему? Как почему? Да разве ты забыл?

— Я помню всё, но все-таки я не признаю за тобою права злиться. Ты несчастлив, я согласен, но...

— Э! да ты, я вижу, Аркадий Николаевич, понимаешь любовь, как все новейшие молодые люди: цып, цып, цып, курочка, а как только курочка начинает приближаться, давай бог ноги! Я не таков. Но довольно об этом. Чему помочь нельзя, о том и говорить стыдно.— Он повернулся на бок.— Эге! вон молодец муравей тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного, имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что наш брат, самоломанный!

— Не ты бы говорил, Евгений! Когда ты себя ломал?

Базаров приподнял голову.

— Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь! Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь.

Оба приятеля полежали некоторое время в молчании.

— Да,— начал Базаров,— странное существо человек. Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.

— Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно,— произнес задумчиво Аркадий.

— Кто говорит! Значительное хоть и ложно бывает, да сладко, но и с незначительным помириться можно... а вот дрязги, дрязги... это беда.

— Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать.

— Гм... это ты сказал *противоположное общее место*.

— Что? Что ты называешь этим именем?

— А вот что: сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же.

— Да правда-то где, на какой стороне?

— Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?

— Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений.

— В самом деле? Солнце меня, должно быть, распарило, да и малины нельзя так много есть.

— В таком случае не худо вздремнуть,— заметил Аркадий.

— Пожалуй; только ты не смотри на меня: всякого человека лицо глупо, когда он спит.

— А тебе не всё равно, что о тебе думают?

— Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться; настоящий человек тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть.

— Странно! я никого не ненавижу,— промолвил, подумавши, Аркадий.

— А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть!.. Ты робеешь, мало на себя надеешься...

— А ты,— перебил Аркадий,— на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?

Базаров помолчал.

— Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною,— проговорил он с расстановкой,— тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа,— она такая славная, белая,— вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет

он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?

— Полно, Евгений... послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.

— Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет — ты об этом не догадался до сих пор! — а есть ощущения. Всё от них зависит.

— Как так?

— Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это всё едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

— Что ж? и честность — ощущение?

— Еще бы!

— Евгений! — начал печальным голосом Аркадий.

— А? что? не по вкусу? — перебил Базаров.— Нет, брат! Решился всё косить — валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна»,— сказал Пушкин.

— Никогда он ничего подобного не сказал,— промолвил Аркадий.

— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

— Пушкин никогда не был военным!

— Помилуй, у него на каждой странице: На бой, на бой! за честь России!

— Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец.

— Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он в сущности заслуживает в двадцать раз хуже того.

— Давай лучше спать!— с досадой проговорил Аркадий.

— С величайшим удовольствием,— ответил Базаров.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.

— Посмотри,— сказал вдруг Аркадий,— сухой кле-

новый лист сорвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое — сходно с самым веселым и живым.

— О друг мой, Аркадий Николаич! — воскликнул Базаров,— об одном прошу тебя: не говори красиво.

— Я говорю, как умею... Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего ее не высказать?

— Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво — неприлично.

— Что же прилично? Ругаться?

— Э-э! да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!

— Как ты назвал Павла Петровича?

— Я его назвал, как следует,— идиотом.

— Это, однако, нестерпимо! — воскликнул Аркадий.

— Ага! родственное чувство заговорило,— спокойно промолвил Базаров.— Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор,— это свыше его сил. Да и в самом деле: *мой* брат, *мой* — и не гений... возможно ли это?

— Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное,— возразил запальчиво Аркадий.— Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого *ощущения*, то ты и не можешь судить о нем.

— Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания,— преклоняюсь и умолкаю.

— Полно, пожалуйста, Евгений; мы, наконец, поссоримся.

— Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько — до положения риз, до истребления.

— Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем...

— Что подеремся? — подхватил Базаров.— Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров — ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло...

Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в

кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость...

— А! вот вы куда забрались! — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича, и старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облеченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенною, тоже домоделанною, шляпой на голове.— Я вас искал, искал... Но вы отличное выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на «земле», глядеть в «небо»... Знаете ли — в этом есть какое-то особое значение!

— Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть,— проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил вполголоса: — Жаль, что помешал.

— Ну, полно,— шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.

— Смотрю я на вас, мои юные собеседники,— говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия, с фигурой турка вместо набалдашника,— смотрю и не могу не любоваться. Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов! Просто... Кастор и Поллукс!

— Вон куда — в мифологию метнул! — промолвил Базаров.— Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист! Ведь ты, помнится, серебряной медали за сочинение удостоился, а?

— Диоскуры, Диоскуры! — повторял Василий Иванович.

— Однако полно, отец, не нежничай.

— В кои-то веки разик можно,— пробормотал старик.— Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты; но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем; а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений... Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь... Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне: уж он кончен; но отец Алексей...

— Поп?

— Ну да, священник; он у нас... кушать будет... Я этого не ожидал и даже не советовал... но как-то так вышло... он меня не понял... Ну, и Арина Власьевна...

Притом же он у нас очень хороший и рассудительный человек.

— Ведь он моей порции за обедом не съест? — спросил Базаров.

Василий Иванович засмеялся.

— Помилуй, что ты!

— А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть.

Василий Иванович поправил свою шляпу.

— Я был наперед уверен,— промолвил он,— что ты выше всяких предрассудков. На что вот я — старик, шестьдесят второй год живу, а и я их не имею. (Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна... Набожен он был не менее своей жены.) А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь. Он и в карточки не прочь поиграть, и даже... но это между нами... трубочку курит.

— Что же? Мы после обеда засядем в ералаш, и я его обыграю.

— Хе-хе-хе, посмотрим! Бабушка надвое сказала.

— А что? разве стариной тряхнешь? — промолвил с особенным ударением Базаров.

Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели.

— Как тебе не стыдно, Евгений... Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед *ними* признаться, имел я эту страсть в молодости — точно; да и поплатился же я за нее! Однако, как жарко. Позвольте подсесть к вам. Ведь я не мешаю?

— Нисколько,— ответил Аркадий.

Василий Иванович кряхтя опустился на сено.

— Напоминает мне ваше теперешнее ложе, государи мои,— начал он,— мою военную, бивуачную жизнь, перевязочные пункты, тоже где-нибудь этак возле стога, и то еще слава богу.— Он вздохнул.— Много, много испытал я на своем веку. Вот, например, если позволите, я вам расскажу любопытный эпизод чумы в Бессарабии.

— За который ты получил Владимира? — подхватил Базаров.— Знаем, знаем... Кстати, отчего ты его не носишь?

— Ведь я тебе говорил, что я не имею предрассудков,— пробормотал Василий Иванович (он только накануне велел спороть красную ленточку с сюртука) и принялся рассказывать эпизод чумы.— А ведь он заснул,— шеп-

нул он вдруг Аркадию, указывая на Базарова и добродушно подмигнув.— Евгений! вставай! — прибавил он громко: — Пойдем обедать...

Отец Алексей, мужчина видный и полный, с густыми, тщательно расчесанными волосами, с вышитым поясом на лиловой шелковой рясе, оказался человеком очень ловким и находчивым. Он первый поспешил пожать руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что они не нуждаются в его благословении, и вообще держал себя непринужденно. И себя он не выдал и других не задел; кстати посмеялся над семинарскою латынью и заступился за своего архиерея; две рюмки вина выпил, а от третьей отказался; принял от Аркадия сигару, но курить ее не стал, говоря, что повезет ее домой. Не совсем приятно было в нем только то, что он то и дело медленно и осторожно заносил руку, чтобы ловить мух у себя на лице, и при этом иногда давил их. Он сел за зеленый стол с умеренным изъявлением удовольствия и кончил тем, что обыграл Базарова на два рубля пятьдесят копеек ассигнациями: в доме Арины Власьевны и понятия не имели о счете на серебро... Она по-прежнему сидела возле сына (в карты она не играла), по-прежнему подпирая щеку кулачком, и вставала только затем, чтобы велеть подать какое-нибудь новое яство. Она боялась ласкать Базарова, и он не ободрял ее, не вызывал ее на ласки; притом же и Василий Иванович присоветовал ей не очень его «беспокоить». «Молодые люди до этого не охотники»,— твердил он ей (нечего говорить, каков был в тот день обед: Тимофеич собственною персоной скакал на утренней заре за какою-то особенною черкасскою говядиной; староста ездил в другую сторону за налимами, ершами и раками; за одни грибы бабы получили сорок две копейки медью); но глаза Арины Власьевны, неотступно обращенные на Базарова, выражали не одну преданность и нежность: в них виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор.

Впрочем, Базарову было не до того, чтобы разбирать, что именно выражали глаза его матери; он редко обращался к ней, и то с коротеньким вопросом. Раз он попросил у ней руку «на счастье»; она тихонько положила свою мягкую ручку на его жесткую и широкую ладонь.

— Что,— спросила она, погодя немного,— не помогло?

— Еще хуже пошло,— отвечал он с небрежною усмешкой.

— Очпнно они уже рискуют,— как бы с сожалением произнес отец Алексей и погладил свою красивую бороду.
— Наполеоновское правило, батюшка, наполеоновское,— подхватил Василий Иванович и пошел с туза.
— Оно же и довело его до острова святыя Елены,— промолвил отец Алексей и покрыл его туза козырем.
— Не желаешь ли смородинной воды, Енюшечка? — спросила Арина Власьевна.
Базаров только плечами пожал.
— Нет! — говорил он на следующий день Аркадию,— уеду отсюда завтра. Скучно; работать хочется, а здесь нельзя. Отправлюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас по крайней мере запереться можно. А то здесь отец мне твердит: «Мой кабинет к твоим услугам — никто тебе мешать не будет»; а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней — и сказать ей нечего.
— Очень она огорчится,— промолвил Аркадий,— да и он тоже.
— Я к ним еще вернусь.
— Когда?
— Да вот как в Петербург поеду.
— Мне твою мать особенно жалко.
— Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?
Аркадий опустил глаза.
— Ты матери своей не знаешь, Евгений. Она не только отличная женщина, она очень умна, право. Сегодня утром она со мной с полчаса беседовала, и так дельно, интересно.
— Верно, обо мне всё распространялась?
— Не о тебе одном была речь.
— Может быть; тебе со стороны видней. Коли может женщина получасовую беседу поддержать, это уж знак хороший. А я все-таки уеду.
— Тебе нелегко будет сообщить им это известие. Они всё рассуждают о том, что мы через две недели делать будем.
— Нелегко. Чёрт меня дернул сегодня подразнить отца; он на днях велел высечь одного своего оброчного мужика — и очень хорошо сделал; да, да ие гляди на меня с таким ужасом — очень хорошо сделал, потому что вор и пьяница он страшнейший; только отец никак не

ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал. Он очень сконфузился, а теперь мне придется вдобавок его огорчить... Ничего! До свадьбы заживет.

Базаров сказал: «Ничего!» — но целый день прошел, прежде чем он решился уведомить Василия Ивановича о своем намерении. Наконец, уже прощаясь с ним в кабинете, он проговорил с натянутым зевком:

— Да... чуть было не забыл тебе сказать... Вели-ка завтра наших лошадей к Федоту выслать на подставу.

Василий Иванович изумился.

— Разве господин Кирсанов от нас уезжает?

— Да; и я с ним уезжаю.

Василий Иванович перевернулся на месте.

— Ты уезжаешь?

— Да... мне нужно. Распорядись, пожалуйста, насчет лошадей.

— Хорошо...— залепетал старик,— на подставу... хорошо... только... только... Как же это?

— Мне нужно съездить к нему на короткое время. Я потом опять сюда вернусь.

— Да! На короткое время... Хорошо.— Василий Иванович вынул платок и, сморкаясь, наклонился чуть не до земли.— Что ж? это... всё будет. Я было думал, что ты у нас... подольше. Три дня... Это, это, после трех лет, маловато; маловато, Евгений!

— Да я ж тебе говорю, что я скоро вернусь. Мне необходимо.

— Необходимо... Что ж? Прежде всего надо долг исполнять... Так выслать лошадей? Хорошо. Мы, конечно, с Ариной этого не ожидали. Она вот цветов выпросила у соседки, хотела комнату тебе убрать. (Василий Иванович уже не упомянул о том, что каждое утро, чуть свет, стоя о босу ногу в туфлях, он совещался с Тимофеичем и, доставая дрожащими пальцами одну изорванную ассигнацию за другою, поручал ему разные закупки, особенно налегая на съестные припасы и на красное вино, которое, сколько можно было заметить, очень понравилось молодым людям.) Главное — свобода; это мое правило... не надо стеснять... не...

Он вдруг умолк и направился к двери.

— Мы скоро увидимся, отец, право.

Но Василий Иванович, не оборачиваясь, только рукой махнул и вышел. Возвратясь в спальню, он застал свою

жену в постели и начал молиться шёпотом, чтобы ее не разбудить. Однако она проснулась.

— Это ты, Василий Иваныч? — спросила она.

— Я, матушка!

— Ты от Енюши? Знаешь ли, я боюсь: покойно ли ему спать на диване? Я Анфисушке велела положить ему твой походный матрасик и новые подушки; я бы наш пуховик ему дала, да он, помнится, не любит мягко спать.

— Ничего, матушка, не беспокойся. Ему хорошо. Господи, помилуй нас грешных,— продолжал он вполголоса свою молитву. Василий Иванович пожалел свою старушку; он не захотел сказать ей на ночь, какое горе ее ожидало.

Базаров с Аркадием уехали на другой день. С утра уже всё приуныло в доме; у Анфисушки посуда из рук валилась; даже Федька недоумевал и кончил тем, что снял сапоги. Василий Иванович суетился больше чем когда-либо: он видимо храбрился, громко говорил и стучал ногами, но лицо его осунулось, и взгляды постоянно скользили мимо сына. Арина Власьевна тихо плакала; она совсем бы растерялась и не совладела бы с собой, если бы муж рано утром целые два часа ее не уговаривал. Когда же Базаров, после неоднократных обещаний вернуться никак не позже месяца, вырвался наконец из удерживавших его объятий и сел в тарантас; когда лошади тронулись, и колокольчик зазвенел, и колеса завертелись,— и вот уже глядеть вслед было незачем, и пыль улеглась, и Тимофеич, весь сгорбленный и шатаясь на ходу, поплелся назад в свою каморку; когда старички остались одни в своем, тоже как будто внезапно съежившемся и подряхлевшем доме,— Василий Иванович, еще за несколько мгновений молодцевато махавший платком на крыльце, опустился на стул и уронил голову на грудь. «Бросил, бросил нас,— залепетал он,— бросил; скучно ему стало с нами. Один как перст теперь, один!» — повторил он несколько раз и каждый раз выносил вперед свою руку с отделенным указательным пальцем. Тогда Арина Власьевна приблизилась к нему и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: «Что делать, Вася! Сын — отрезанный ломоть. Он что сокол: захотел — прилетел, захотел — улетел; а мы с тобой, как опенки на дупле, сидим рядком и ни с места. Только я останусь для тебя навек неизменно, как и ты для меня».

Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости ее не обнимал: она утешила его в его печали.

XXII

Молча, лишь изредка меняясь незначительными словами, доехали наши приятели до Федота. Базаров был не совсем собою доволен. Аркадий был недоволен им. К тому же он чувствовал на сердце ту беспричинную грусть, которая знакома только одним очень молодым людям. Кучер перепряг лошадей и, взобравшись на козлы, спросил: направо аль налево?

Аркадий дрогнул. Дорога направо вела в город, а оттуда домой; дорога налево вела к Одинцовой.

Он взглянул на Базарова.

— Евгений,— спросил он,— налево?

Базаров отвернулся.

— Это что за глупость? — пробормотал он.

— Я знаю, что глупость,— ответил Аркадий.— Да что за беда? Разве нам в первый раз?

Базаров надвинул картуз себе на лоб.

— Как знаешь,— проговорил он наконец.

— Пошел налево! — крикнул Аркадий.

Тарантас покатил в направлении к Никольскому. Но, решившись на *глупость*, приятели еще упорнее прежнего молчали и даже казались сердитыми.

Уже по тому, как их встретил дворецкий на крыльце одинцовского дома, приятели могли догадаться, что они поступили неблагоразумно, поддавшись внезапно пришедшей им фантазии. Их, очевидно, не ожидали. Они просидели довольно долго и с довольно глупыми физиономиями в гостиной. Одинцова вышла к ним наконец. Она приветствовала их с обыкновенною своей любезностью, но удивилась их скорому возвращению и, сколько можно было судить по медлительности ее движений и речей, не слишком ему обрадовалась. Они поспешили объявить, что заехали только по дороге и часа через четыре отправятся дальше в город. Она ограничилась легким восклицанием, попросила Аркадия поклониться отцу от ее имени и послала за своею теткой. Княжна явилась вся заспанная, что придавало еще более злобы выражению ее сморщенного, старого лица. Кате нездоровилось, она не выходила из своей комнаты. Аркадий вдруг почувствовал, что он

по крайней мере столько же желал видеть Катю, сколько и самое Анну Сергеевну. Четыре часа прошло в незначительных толках о том о сем; Анна Сергеевна и слушала и говорила без улыбки. Только при самом прощании прежнее дружелюбие как будто шевельнулось в ее душе.

— На меня теперь нашла хандра,— сказала она,— но вы не обращайте на это внимания и приезжайте опять, я вам это обоим говорю, через несколько времени.

И Базаров и Аркадий ответили ей безмолвным поклоном, сели в экипаж и, уже нигде не останавливаясь, отправились домой, в Марьино, куда и прибыли благополучно на следующий день вечером. В продолжение всей дороги ни тот, ни другой не упомянул даже имени Одинцовой; Базаров в особенности почти не раскрывал рта и всё глядел в сторону, прочь от дороги, с каким-то ожесточенным напряжением.

В Марьине им все чрезвычайно обрадовались. Продолжительное отсутствие сына начинало беспокоить Николая Петровича; он вскрикнул, заболтал ногами и подпрыгнул на диване, когда Фенечка вбежала к нему с сияющими глазами и объявила о приезде «молодых господ»; сам Павел Петрович почувствовал некоторое приятное волнение и снисходительно улыбался, потрясая руки возвратившихся странников. Пошли толки, расспросы; говорил больше Аркадий, особенно за ужином, который продолжался далеко за полночь. Николай Петрович велел подать несколько бутылок портера, только что привезенного из Москвы, и сам раскутился до того, что щеки у него сделались малиновые и он всё смеялся каким-то не то детским, не то нервическим смехом. Всеобщее одушевление распространилось и на прислугу. Дуняша бегала взад и вперед как угорелая и то и дело хлопала дверями; а Петр даже в третьем часу ночи всё еще пытался сыграть на гитаре вальс-казак. Струны жалобно и приятно звучали в неподвижном воздухе, но, за исключением небольшой первоначальной фиоритуры, ничего не выходило у образованного камердинера: природа отказала ему в музыкальной способности, как и во всех других.

А между тем жизнь не слишком красиво складывалась в Марьине, и бедному Николаю Петровичу приходилось плохо. Хлопоты по ферме росли с каждым днем — хлопоты безотрадные, бестолковые. Возня с наемными работниками становилась невыносимою. Одни требовали

расчета или прибавки, другие уходили, забравши задаток; лошади заболевали; сбруя горела как на огне; работы исполнялись небрежно; выписанная из Москвы молотильная машина оказалась негодною по своей тяжести; другую с первого разу испортили; половина скотного двора сгорела, оттого что слепая старуха из дворовых в ветреную погоду пошла с головешкой окуривать свою корову... правда, по уверению той же старухи, вся беда произошла оттого, что барину вздумалось заводить какие-то небывалые сыры и молочные скопы. Управляющий вдруг обленился и даже начал толстеть, как толстеет всякий русский человек, попавший на «вольные хлеба». Завидя издали Николая Петровича, он, чтобы заявить свое рвение, бросал щепкой в пробегавшего мимо поросенка или грозился полунагому мальчишке, а впрочем, больше всё спал. Посаженные на оброк мужики не вносили денег в срок, крали лес; почти каждую ночь сторожа ловили, а иногда с бою забирали крестьянских лошадей на лугах «фермы». Николай Петрович определил было денежный штраф за потраву, но дело обыкновенно кончалось тем, что, постояв день или два на господском корме, лошади возвращались к своим владельцам. К довершению всего, мужики начали между собою ссориться: братья требовали раздела, жены их не могли ужиться в одном доме; внезапно закипала драка, и всё вдруг поднималось на ноги, как по команде, всё сбегалось перед крылечко конторы, лезло к барину, часто с избитыми рожами, в пьяном виде, и требовало суда и расправы; возникал шум, вопль, бабий хныкающий визг вперемежку с мужскою бранью. Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы: соседний однодворец, с самым благообразным лицом, порядился доставить жнецов по два рубля с десятины и надул самым бессовестным образом; свои бабы заламывали цены неслыханные, а хлеб между тем осыпался, а тут с косьбой не совладели, а тут Опекунский совет грозится и требует немедленной и безнедоимочной уплаты процентов...

— Сил моих нет! — не раз с отчаянием восклицал Николай Петрович.— Самому драться невозможно, посылать за становым — не позволяют принципы, а без страха наказания ничего не поделаешь!

— Du calme, du calme[1],— замечал на это Павел Петрович, а сам мурлыкал, хмурился и подергивал усы.

Базаров держался в отдалении от этих «дрязгов», да ему, как гостю, не приходилось и вмешиваться в чужие дела. На другой день после приезда в Марьино он принялся за своих лягушек, за инфузории, за химические составы и всё возился с ними. Аркадий, напротив, почел своею обязанностию если не помогать отцу, то по крайней мере показать вид, что он готов ему помочь. Он терпеливо его выслушивал и однажды подал какой-то совет не для того, чтобы ему последовали, а чтобы заявить свое участие. Хозяйничанье не возбуждало в нем отвращения: он даже с удовольствием мечтал об агрономической деятельности, но у него в ту пору другие мысли зароились в голове. Аркадий, к собственному изумлению, беспрестанно думал о Никольском; прежде он бы только плечами пожал, если бы кто-нибудь сказал ему, что он может соскучиться под одним кровом с Базаровым, и еще под каким! — под родительским кровом, а ему точно было скучно, и тянуло его вон. Он вздумал гулять до усталости, но и это не помогло. Разговаривая однажды с отцом, он узнал, что у Николая Петровича находилось несколько писем, довольно интересных, писанных некогда матерью Одинцовой к покойной его жене, и не отстал от него до тех пор, пока не получил этих писем, за которыми Николай Петрович принужден был рыться в двадцати различных ящиках и сундуках. Вступив в обладание этими полуистлевшими бумажками, Аркадий как будто успокоился, точно он увидел перед собою цель, к которой ему следовало идти. «Я вам это обоим говорю,— беспрестанно шептал он,—сама прибавила. Поеду, поеду, чёрт возьми!» Но он вспоминал последнее посещение, холодный прием и прежнюю неловкость, и робость овладевала им. «Авось» молодости, тайное желание изведать свое счастие, испытать свои силы в одиночку, без чьего бы то ни было покровительства — одолели наконец. Десяти дней не прошло со времени его возвращения в Марьино, как уже он опять, под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город, а оттуда в Никольское. Беспрерывно погоняя ямщика, несся он туда, как молодой офицер на сраженье: и страшно ему было, и весело, нетерпение его ду-

---

[1] Спокойно, спокойно *(франц.)*.

шило. «Главное — не надо думать»,— твердил он самому себе. Ямщик ему попался лихой; он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая: «Чкнуть?» или: «Аль чкнуть?» — но зато, *чкнувши*, не жалел лошадей. Вот, наконец, показалась высокая крыша знакомого дома... «Что я делаю? — мелькнуло вдруг в голове Аркадия.— Да ведь не вернуться же!» Тройка дружно мчалась; ямщик гикал и свистал. Вот уже мостик загремел под копытами и колесами, вот уже надвинулась аллея стриженых елок... Розовое женское платье мелькнуло в темной зелени, молодое лицо выглянуло из-под легкой бахромы зонтика... Он узнал Катю, и она его узнала. Аркадий приказал ямщику остановить расскакавшихся лошадей, выпрыгнул из экипажа и подошел к ней. «Это вы! — промолвила она, и понемножку вся покраснела,— пойдемте к сестре, она тут, в саду; ей будет приятно вас видеть».

Катя повела Аркадия в сад. Встреча с нею показалась ему особенно счастливым предзнаменованием; он обрадовался ей, словно родной. Всё так отлично устроилось: ни дворецкого, ни доклада. На повороте дорожки он увидел Анну Сергеевну. Она стояла к нему спиной. Услышав шаги, она тихонько обернулась.

Аркадий смутился было снова, но первые слова, ею произнесенные, успокоили его тотчас. «Здравствуйте, беглец!» — проговорила она своим ровным, ласковым голосом и пошла к нему навстречу, улыбаясь и щурясь от солнца и ветра: «Где ты его нашла, Катя?»

— Я вам, Анна Сергеевна,— начал он,— привез нечто такое, чего вы никак не ожидаете...

— Вы себя привезли; это лучше всего.

XXIII

Проводив Аркадия с насмешливым сожалением и дав ему понять, что он нисколько не обманывается насчет настоящей цели его поездки, Базаров уединился окончательно: на него нашла лихорадка работы. С Павлом Петровичем он уже не спорил, тем более что тот в его присутствии принимал чересчур аристократический вид и выражал свои мнения более звуками, чем словами. Только однажды Павел Петрович пустился было в состязание с *нигилистом* по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян, но сам вдруг остановился, промолвив с холодною вежливостью:

— Впрочем, мы друг друга понять не можем; я по крайней мере не имею чести вас понимать.

— Еще бы! — воскликнул Базаров.— Человек всё в состоянии понять — и как трепещет эфир и что на солнце происходит; а как другой человек может иначе сморкаться, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии.

— Что, это остроумно? — проговорил вопросительно Павел Петрович и отошел в сторону.

Впрочем, он иногда просил позволения присутствовать при опытах Базарова, а раз даже приблизил свое раздушенное и вымытое отличным снадобьем лицо к микроскопу, для того чтобы посмотреть, как прозрачная инфузория глотала зеленую пылинку и хлопотливо пережевывала ее какими-то очень проворными кулачками, находившимися у ней в горле. Гораздо чаще своего брата посещал Базарова Николай Петрович; он бы каждый день приходил, как он выражался, «учиться», если бы хлопоты по хозяйству не отвлекали его. Он не стеснял молодого естествоиспытателя: садился где-нибудь в уголок комнаты и глядел внимательно, изредка позволяя себе осторожный вопрос. Во время обедов и ужинов он старался направлять речь на физику, геологию или химию, так как все другие предметы, даже хозяйственные, не говоря уже о политических, могли повести если не к столкновениям, то ко взаимному неудовольствию. Николай Петрович догадывался, что ненависть его брата к Базарову нисколько не уменьшилась. Неважный случай, между многими другими, подтвердил его догадки. Холера стала появляться кое-где по окрестностям и даже «выдернула» двух людей из самого Марьина. Ночью с Павлом Петровичем случился довольно сильный припадок. Он промучился до утра, но не прибег к искусству Базарова и, увидевшись с ним на следующий день, на его вопрос: «Зачем он не послал за ним?» — отвечал, весь еще бледный, но уже тщательно расчесанный и выбритый: «Ведь вы, помнится, сами говорили, что не верите в медицину?»— Так проходили дни. Базаров работал упорно и угрюмо... А между тем в доме Николая Петровича находилось существо, с которым он не то чтобы отводил душу, а охотно беседовал... Это существо была Фенечка.

Он встречался с ней большею частью по утрам рано, в саду или на дворе; в комнату к ней он не захаживал, и она всего раз подошла к его двери, чтобы спросить

его — купать ли ей Митю, или нет? Она не только доверялась ему, не только его не боялась, она при нем держалась вольнее и развязнее, чем при самом Николае Петровиче. Трудно сказать, отчего это происходило; может быть, оттого, что она бессознательно чувствовала в Базарове отсутствие всего дворянского, всего того высшего, что и привлекает и пугает. В ее глазах он и доктор был отличный и человек простой. Не стесняясь его присутствием, она возилась с своим ребенком, и однажды, когда у ней вдруг закружилась и заболела голова, из его рук приняла ложку лекарства. При Николае Петровиче она как будто чуждалась Базарова: она это делала не из хитрости, а из какого-то чувства приличия. Павла Петровича она боялась больше, чем когда-либо; он с некоторых пор стал наблюдать за нею и неожиданно появлялся, словно из земли вырастал за ее спиною в своем *сьюте*, с неподвижным зорким лицом и руками в карманах. «Так тебя холодом и обдаст»,— жаловалась Фенечка Дуняше, а та в ответ ей вздыхала и думала о другом «бесчувственном» человеке. Базаров, сам того не подозревая, сделался *жестоким тираном* ее души.

Фенечке нравился Базаров; но и она ему нравилась. Даже лицо его изменялось, когда он с ней разговаривал: оно принимало выражение ясное, почти доброе, и к обычной его небрежности примешивалась какая-то шутливая внимательность. Фенечка хорошела с каждым днем. Бывает эпоха в жизни молодых женщин, когда они вдруг начинают расцветать и распускаться, как летние розы; такая эпоха наступила для Фенечки. Всё к тому способствовало, даже июльский зной, который стоял тогда. Одетая в легкое белое платье, она сама казалась белее и легче: загар не приставал к ней, а жара, от которой она не могла уберечься, слегка румянила ее щеки да уши и, вливая тихую лень во всё ее тело, отражалась дремотною томностью в ее хорошеньких глазках. Она почти не могла работать; руки у ней так и скользили на колени. Она едва ходила и всё охала да жаловалась с забавным бессилием.

— Ты бы чаще купалась,— говорил ей Николай Петрович.

Он устроил большую, полотном покрытую, купальню в том из своих прудов, который еще не совсем ушел.

— Ох, Николай Петрович! Да пока до пруда дойдешь — умрешь, и назад пойдешь — умрешь, Ведь тенито в саду нету.

— Это точно, что тени нету,— отвечал Николай Петрович и потирал себе брови.

Однажды, часу в седьмом утра, Базаров, возвращаясь с прогулки, застал в давно отцветшей, но еще густой и зеленой сиреневой беседке Фенечку. Она сидела на скамейке, накинув по обыкновению белый платок на голову; подле нее лежал целый пук еще мокрых от росы красных и белых роз. Он поздоровался с нею.

— А! Евгений Васильич! — проговорила она и приподняла немного край платка, чтобы взглянуть на него, причем ее рука обнажилась до локтя.

— Что вы это тут делаете? — промолвил Базаров, садясь возле нее.— Букет вяжете?

— Да; на стол к завтраку. Николай Петрович это любит.

— Но до завтрака еще далеко. Экая пропасть цветов!

— Я их теперь нарвала, а то станет жарко и выйти нельзя. Только теперь и дышишь. Совсем я расслабела от этого жару. Уж я боюсь, не заболею ли я?

— Это что за фантазия! Дайте-ка ваш пульс пощупать.— Базаров взял ее руку, отыскал ровно бившуюся жилку и даже не стал считать ее ударов.— Сто лет проживете,— промолвил он, выпуская ее руку.

— Ах, сохрани бог! — воскликнула она.

— А что? Разве вам не хочется долго пожить?

— Да ведь сто лет! У нас бабушка была восьмидесяти пяти лет — так уж что же это была за мученица! Черная, глухая, горбатая, всё кашляла; себе только в тягость. Какая уж это жизнь!

— Так лучше быть молодою?

— А то как же?

— Да чем же оно лучше? Скажите мне!

— Как чем? Да вот я теперь, молодая, всё могу сделать — и пойду, и приду, и принесу, и никого мне просить не нужно... Чего лучше?

— А вот мне всё равно: молод ли я или стар.

— Как это вы говорите — всё равно? это невозможно, что вы говорите.

— Да вы сами посудите, Федосья Николаевна, на что мне моя молодость? Живу я один, бобылем...

— Это от вас всегда зависит.

— То-то что не от меня! Хоть бы кто-нибудь надо мною сжалился.

Фенечка сбоку посмотрела на Базарова, но ничего не сказала.

— Это что у вас за книга? — спросила она, погодя немного.

— Эта-то? Это ученая книга, мудреная.

— А вы всё учитесь? И не скучно вам? Вы уж и так, я чай, всё знаете.

— Видно, не всё. Попробуйте-ка вы прочесть немного.

— Да я ничего тут не пойму. Она у вас русская? — спросила Фенечка, принимая в обе руки тяжело переплетенный том.— Какая толстая!

— Русская.

— Всё равно я ничего не пойму.

— Да я и не с тем, чтобы вы поняли. Мне хочется посмотреть на вас, как вы читать будете. У вас, когда вы читаете, кончик носика очень мило двигается.

Фенечка, которая принялась было разбирать вполголоса попавшуюся ей статью «о креозоте», засмеялась и бросила книгу... она скользнула со скамейки на землю.

— Я люблю тоже, когда вы смеетесь,— промолвил Базаров.

— Полноте!

— Я люблю, когда вы говорите. Точно ручеек журчит.

Фенечка отворотила голову.— Какой вы! — промолвила она, перебирая пальцами по цветам.— И что вам меня слушать? Вы с такими умными дамами разговор имели.

— Эх, Федосья Николаевна! поверьте мне: все умные дамы на свете не стоят вашего локотка.

— Ну, вот еще что выдумали! — шепнула Фенечка и поджала руки.

Базаров поднял с земли книгу.

— Это лекарская книга, зачем вы ее бросаете?

— Лекарская? — повторила Фенечка и повернулась к нему.— А знаете что? Ведь с тех пор, как вы мне те капельки дали, помните? уж как Митя спит хорошо! Я уж и не придумаю, как мне вас благодарить; такой вы добрый, право.

— А по-настоящему, надо лекарям платить,— заметил с усмешкой Базаров.— Лекаря, вы сами знаете, люди корыстные.

Фенечка подняла на Базарова свои глаза, казавшиеся еще темнее от беловатого отблеска, падавшего на верхнюю часть ее лица. Она не знала —шутит ли он или нет.

— Если вам угодно, мы с удовольствием... Надо будет у Николая Петровича спросить...

— Да вы думате, я денег хочу? — перебил ее Базаров.— Нет, мне от вас не деньги нужны.

— Что же? — проговорила Фенечка.

— Что? — повторил Базаров.— Угадайте.

— Что я за отгадчица!

— Так я вам скажу; мне нужно... одну из этих роз.

Фенечка опять засмеялась и даже руками всплеснула, до того ей показалось забавным желание Базарова. Она смеялась и в то же время чувствовала себя польщенною. Базаров пристально смотрел на нее.

— Извольте, извольте,— промолвила она наконец и, нагнувшись к скамейке, принялась перебирать розы.— Какую вам, красную или белую?

— Красную, и не слишком большую.

Она выпрямилась.

— Вот, возьмите,— сказала она, но тотчас же отдернула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом.

— Что такое? — спросил Базаров.— Николай Петрович?

— Нет... Они в поле уехали... да я и не боюсь их... а вот Павел Петрович... Мне показалось...

— Что?

— Мне показалось, что *они* тут ходят. Нет... никого нет. Возьмите.— Фенечка отдала Базарову розу.

— С какой стати вы Павла Петровича боитесь?

— Они меня всё пугают. Говорить — не говорят, а так смотрят мудрено. Да ведь и вы его не любите. Помните, прежде вы всё с ним спорили. Я и не знаю, о чем у вас спор идет; а вижу, что вы его и так вертите, и так...

Фенечка показала руками как, по ее мнению, Базаров вертел Павла Петровича.

Базаров улыбнулся.

— А если б он меня побеждать стал,— спросил он,— вы бы за меня заступились?

— Где же мне за вас заступаться? да нет, с вами не сладишь.

— Вы думаете? А я знаю руку, которая захочет, и пальцем меня сшибет.

— Какая такая рука?

— А вы небось не знаете? Понюхайте, как славно пахнет роза, что вы мне дали.

Фенечка вытянула шейку и приблизила лицо к цветку... Платок скатился с ее головы на плеча; показалась мягкая масса черных, блестящих, слегка растрепанных волос.

— Постойте, я хочу понюхать с вами,— промолвил Базаров, нагнулся и крепко поцеловал ее в раскрытые губы.

Она дрогнула, уперлась обеими руками в его грудь, но уперлась слабо, и он мог возобновить и продлить свой поцелуй.

Сухой кашель раздался за сиренями. Фенечка мгновенно отодвинулась на другой конец скамейки. Павел Петрович показался, слегка поклонился и, проговорив с какою-то злобною унылостью: «Вы здесь»,— удалился. Фенечка тотчас подобрала все розы и вышла вон из беседки. «Грешно вам, Евгений Васильевич»,— шепнула она уходя. Неподдельный упрек слышался в ее шёпоте.

Базаров вспомнил другую недавнюю сцену, и совестно ему стало, и презрительно досадно. Но он тотчас же встряхнул головой, иронически поздравил себя «с формальным поступлением в селадоны» и отправился к себе в комнату.

А Павел Петрович вышел из саду и, медленно шагая, добрался до леса. Он остался там довольно долго, и когда он вернулся к завтраку, Николай Петрович заботливо спросил у него, здоров ли он? до того лицо его потемнело.

— Ты знаешь, я иногда страдаю разлитием желчи,— спокойно отвечал ему Павел Петрович.

XXIV

Часа два спустя он стучался в дверь к Базарову.

— Я должен извиниться, что мешаю вам в ваших ученых занятиях,— начал он, усаживаясь на стуле у окна и опираясь обеими руками на красивую трость с набалдашником из слоновой кости (он обыкновенно хаживал без трости),— но я принужден просить вас уделить мне пять минут вашего времени... не более.

— Всё мое время к вашим услугам,— ответил Базаров, у которого что-то пробежало по лицу, как только Павел Петрович переступил порог двери.

— С меня пяти минут довольно. Я пришел предложить вам один вопрос.

— Вопрос? О чем это?

— А вот извольте выслушать. В начале вашего пребывания в доме моего брата, когда я еще не отказывал себе в удовольствии беседовать с вами, мне случалось слышать ваши суждения о многих предметах; но, сколько мне помнится, ни между нами, ни в моем присутствии речь никогда не заходила о поединках, о дуэли вообще. Позвольте узнать, какое ваше мнение об этом предмете?

Базаров, который встал было навстречу Павлу Петровичу, присел на край стола и скрестил руки.

— Вот мое мнение,— сказал он.— С теоретической точки зрения дуэль — нелепость; ну, а с практической точки зрения — это дело другое.

— То есть вы хотите сказать, если я только вас понял, что какое бы ни было ваше теоретическое воззрение на дуэль, на практике вы бы не позволили оскорбить себя, не потребовав удовлетворения?

— Вы вполне отгадали мою мысль.

— Очень хорошо-с. Мне очень приятно это слышать от вас. Ваши слова выводят меня из неизвестности...

— Из нерешимости, хотите вы сказать.

— Это всё равно-с; я выражаюсь так, чтобы меня поняли; я... не семинарская крыса. Ваши слова избавляют меня от некоторой печальной необходимости. Я решился драться с вами.

Базаров вытаращил глаза.

— Со мной?

— Непременно с вами.

— Да за что? помилуйте.

— Я бы мог объяснить вам причину,— начал Павел Петрович.— Но я предпочитаю умолчать о ней. Вы, на мой вкус, здесь лишний; я вас терпеть не могу, я вас презираю, и если вам этого не довольно...

Глаза Павла Петровича засверкали... Они вспыхнули и у Базарова.

— Очень хорошо-с,— проговорил он.— Дальнейших объяснений не нужно. Вам пришла фантазия испытать на мне свой рыцарский дух. Я бы мог отказать вам в этом удовольствии, да уж куда ни шло!

— Чувствительно вам обязан,— ответил Павел Петрович,— и могу теперь надеяться, что вы примете мой вызов, не заставив меня прибегнуть к насильственным мерам.

— То есть, говоря без аллегорий, к этой палке? — хладнокровно заметил Базаров.— Это совершенно спра-

ведливо. Вам нисколько не нужно оскорблять меня. Оно же и не совсем безопасно. Вы можете остаться джентльменом... Принимаю ваш вызов тоже по-джентльменски.

— Прекрасно,— промолвил Павел Петрович и поставил трость в угол.— Мы сейчас скажем несколько слов об условиях нашей дуэли; но я сперва желал бы узнать, считаете ли вы нужным прибегнуть к формальности небольшой ссоры, которая могла бы служить предлогом моему вызову?

— Нет, лучше без формальностей.

— Я сам так думаю. Полагаю также неуместным вникать в настоящие причины нашего столкновения. Мы друг друга терпеть не можем. Чего же больше?

— Чего же больше? — повторил иронически Базаров.

— Что же касается до самых условий поединка, то так как у нас секундантов не будет,— ибо где ж их взять?

— Именно, где их взять?

— То я имею честь предложить вам следующее: драться завтра рано, положим, в шесть часов, за рощей, на пистолетах; барьер в десяти шагах...

— В десяти шагах? Это так; мы на это расстояние ненавидим друг друга.

— Можно и восемь,— заметил Павел Петрович.

— Можно; отчего же!

— Стрелять два раза; а на всякий случай каждому положить себе в карман письмецо, в котором он сам обвинит себя в своей кончине.

— Вот с этим я не совсем согласен,— промолвил Базаров.— Немножко на французский роман сбивается, неправдоподобно что-то.

— Быть может. Однако согласитесь, что неприятно подвергнуться подозрению в убийстве?

— Соглашаюсь. Но есть средство избегнуть этого грустного нарекания. Секундантов у нас не будет, но может быть свидетель.

— Кто именно, позвольте узнать?

— Да Петр.

— Какой Петр?

— Камердинер вашего брата. Он человек, стоящий на высоте современного образования, и исполнит свою роль со всем необходимым в подобных случаях *комильфо*.

— Мне кажется, вы шутите, милостивый государь.

— Нисколько. Обсудивши мое предложение, вы убе-

дитесь, что оно исполнено здравого смысла и простоты. Шила в мешке не утаишь, а Петра я берусь подготовить надлежащим образом и привести на место побоища.

— Вы продолжаете шутить,— произнес, вставая со стула, Павел Петрович.— Но после любезной готовности, оказанной вами, я не имею права быть на вас в претензии... Итак, всё устроено... Кстати, пистолетов у вас нет?

— Откуда будут у меня пистолеты, Павел Петрович? Я не воин.

— В таком случае предлагаю вам мои. Вы можете быть уверены, что вот уже пять лет, как я не стрелял из них.

— Это очень утешительное известие.

Павел Петрович достал свою трость...

— Засим, милостивый государь, мне остается только благодарить вас и возвратить вас вашим занятиям. Честь имею кланяться.

— До приятного свидания, милостивый государь мой,— промолвил Базаров, провожая гостя.

Павел Петрович вышел, а Базаров постоял перед дверью и вдруг воскликнул: «Фу ты, чёрт! как красиво и как глупо! Экую мы комедию отломали! Ученые собаки так на задних лапах танцуют. А отказать было невозможно; ведь он меня, чего доброго, ударил бы, и тогда... (Базаров побледнел при одной этой мысли; вся его гордость так и поднялась на дыбы.) Тогда пришлось бы задушить его, как котенка». Он возвратился к своему микроскопу, но сердце у него расшевелилось, и спокойствие, необходимое для наблюдений, исчезло. «Он нас увидел сегодня,— думал он,— но неужели ж это он за брата так вступился? Да и что за важность поцелуй? Тут что-нибудь другое есть. Ба! да не влюблен ли он сам? Разумеется, влюблен; это ясно как день. Какой переплет, подумаешь!.. Скверно! — решил он наконец,— скверно, с какой стороны ни посмотри. Во-первых, надо будет подставлять лоб и во всяком случае уехать; а тут Аркадий... и эта божья коровка, Николай Петрович. Скверно, скверно».

День прошел как-то особенно тихо и вяло. Фенечки словно на свете не бывало; она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке. Николай Петрович имел вид озабоченный. Ему донесли, что в его пшенице, на которую он особенно надеялся, показалась головня. Павел Петрович подавлял всех, даже Прокофьича, своею леденящею вежливостью. Базаров начал было письмо к отцу, да ра-

зорвал его и бросил под стол. «Умру,— подумал он,— узнают; да я не умру. Нет, я еще долго на свете маячить буду». Он велел Петру прийти к нему на следующий день чуть свет для важного дела; Петр вообразил, что он хочет взять его с собой в Петербург. Базаров лег поздно, и всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Петр разбудил его в четыре часа; он тотчас оделся и вышел с ним.

Утро было славное, свежее; маленькие пестрые тучки стояли барашками на бледно-ясной лазури; мелкая роса высыпала на листьях и травах, блистала серебром на паутинках; влажная темная земля, казалось, еще хранила румяный след зари; со всего неба сыпались песни жаворонков. Базаров дошел до рощи, присел в тени на опушку и только тогда открыл Петру, какой он ждал от него услуги. Образованный лакей перепугался насмерть; но Базаров успокоил его уверением, что ему другого нечего будет делать, как только стоять в отдалении да глядеть, и что ответственности он не подвергается никакой. «А между тем,— прибавил он,— подумай, какая предстоит тебе важная роль!» Петр развел руками, потупился и, весь зеленый, прислонился к березе.

Дорога из Марьина огибала лесок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни колесом, ни ногою. Базаров невольно посматривал вдоль той дороги, рвал и кусал траву, а сам всё твердил про себя: «Экая глупость!» Утренний холодок заставил его раза два вздрогнуть... Петр уныло взглянул на него, но Базаров только усмехнулся: он не трусил.

Раздался топот конских ног по дороге... Мужик показался из-за деревьев. Он гнал двух спутанных лошадей перед собою и, проходя мимо Базарова, посмотрел на него как-то странно, не ломая шапки, что, видимо, смутило Петра, как недоброе предзнаменование. «Вот этот тоже рано встал,— подумал Базаров,— да по крайней мере за делом, а мы?»

— Кажись, они идут-с,— шепнул вдруг Петр.

Базаров поднял голову и увидал Павла Петровича. Одетый в легкий клетчатый пиджак и белые, как снег, панталоны, он быстро шел по дороге; под мышкой он нес ящик, завернутый в зеленое сукно.

— Извините, я, кажется, заставил вас ждать,— промолвил он, кланяясь сперва Базарову, потом Петру, в котором он в это мгновение уважал нечто вроде секунданта.— Я не хотел будить моего камердинера.

— Ничего-с,— ответил Базаров,— мы сами только что пришли.

— А! тем лучше! — Павел Петрович оглянулся кругом.— Никого не видать, никто не помешает... Мы можем приступить?

— Приступим.

— Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?

— Не требую.

— Угодно вам заряжать?— спросил Павел Петрович, вынимая из ящика пистолеты.

— Нет; заряжайте вы, а я шаги отмеривать стану. Ноги у меня длиннее,— прибавил Базаров с усмешкой.— Раз, два, три...

— Евгений Васильич,— с трудом пролепетал Петр (он дрожал, как в лихорадке),— воля ваша, я отойду.

— Четыре... пять... Отойди, братец, отойди; можешь даже за дерево стать и уши заткнуть, только глаз не закрывай; а повалится кто, беги подымать. Шесть... семь... восемь...— Базаров остановился.— Довольно? — промолвил он, обращаясь к Павлу Петровичу,— или еще два шага накинуть?

— Как угодно,— проговорил тот, заколачивая вторую пулю.

— Ну, накинем еще два шага.— Базаров провел носком сапога черту по земле.— Вот и барьер. А кстати: на сколько шагов каждому из нас от барьера отойти? Это тоже важный вопрос. Вчера об этом не было дискуссии.

— Я полагаю, на десять,— ответил Павел Петрович, подавая Базарову оба пистолета.— Соблаговолите выбрать.

— Соблаговоляю. А согласитесь, Павел Петрович, что поединок наш необычаен до смешного. Вы посмотрите только па физиономию нашего секунданта.

— Вам всё желательно шутить,— ответил Павел Петрович.— Я не отрицаю странности нашего поединка, но я считаю долгом предупредить вас, что я намерен драться серьезно. A bon entendeur, salut! [1]

---

[1] Имеющий уши да услышит! *(франц.)*.

— О! я не сомневаюсь в том, что мы решились истреблять друг друга; но почему же не посмеяться и не соединить utile dulci?[1] Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни.

— Я буду драться серьезно,— повторил Павел Петрович и отправился на свое место. Базаров, с своей стороны, отсчитал десять шагов от барьера и остановился.

— Вы готовы? — спросил Павел Петрович.

— Совершенно.

— Можем сходиться.

Базаров тихонько двинулся вперед, и Павел Петрович пошел на него, заложив левую руку в карман и постепенно поднимая дуло пистолета... «Он мне прямо в нос целит,— подумал Базаров,— и как щурится старательно, разбойник! Однако это неприятное ощущение. Стану смотреть на цепочку его часов...» Что-то резко зыкнуло около самого уха Базарова, и в то же мгновенье раздался выстрел. «Слышал, стало быть ничего»,— успело мелькнуть в его голове. Он ступил еще раз и, не целясь, подавил пружинку.

Павел Петрович дрогнул слегка и хватился рукою за ляжку. Струйка крови потекла по его белым панталонам.

Базаров бросил пистолет в сторону и приблизился к своему противнику.

— Вы ранены? — промолвил он.

— Вы имели право подозвать меня к барьеру,— проговорил Павел Петрович,— а это пустяки. По условию каждый имеет еще по одному выстрелу.

— Ну, извините, это до другого раза,— отвечал Базаров и обхватил Павла Петровича, который начинал бледнеть.— Теперь я уже не дуэлист, а доктор и прежде всего должен осмотреть вашу рану. Петр! поди сюда, Петр! куда ты спрятался?

— Всё это вздор... Я не нуждаюсь ни в чьей помощи,— промолвил с расстановкой Павел Петрович,— и... надо... опять...— Он хотел было дернуть себя за ус, но рука его ослабела, глаза закатились, и он лишился чувств.

— Вот новость! Обморок! С чего бы! — невольно воскликнул Базаров, опуская Павла Петровича на траву.— Посмотрим, что за штука? — Он вынул платок, отер кровь, пощупал вокруг раны...— Кость цела,— бормотал он сквозь зубы,— пуля прошла неглубоко насквозь,

---

[1] полезное с приятным? *(лат.)*.

один мускул, vastus externus, задет. Хоть пляши через три недели!.. А обморок! Ох, уж эти мне нервные люди! Вишь, кожа-то какая тонкая».

— Убиты-с? — прошелестел за его спиной трепетный голос Петра.

Базаров оглянулся.

— Ступай за водой поскорее, братец, а он нас с тобой еще переживет.

Но усовершенствованный слуга, казалось, не понимал его слов и не двигался с места. Павел Петрович медленно открыл глаза. «Кончается!» — шепнул Петр и начал креститься.

— Вы правы... Экая глупая физиономия! — проговорил с насильственною улыбкой раненый джентльмен.

— Да ступай же за водой, чёрт!— крикнул Базаров.

— Не нужно... Это был минутный vertige...[1] Помогите мне сесть... вот так... Эту царапину стоит только чем-нибудь прихватить, и я дойду домой пешком, а не то можно дрожки за мной прислать. Дуэль, если вам угодно, не возобновляется. Вы поступили благородно... сегодня, сегодня — заметьте.

— О прошлом вспоминать незачем,— возразил Базаров,— а что касается до будущего, то о нем тоже не стоит голову ломать, потому что я намерен немедленно улизнуть. Дайте, я вам перевяжу теперь ногу; рана ваша — не опасная, а всё лучше остановить кровь. Но сперва необходимо этого смертного привести в чувство.

Базаров встряхнул Петра за ворот и послал его за дрожками.

— Смотри, брата не испугай,— сказал ему Павел Петрович,— не вздумай ему докладывать.

Петр помчался; а пока он бегал за дрожками, оба противника сидели на земле и молчали. Павел Петрович старался не глядеть на Базарова; помириться с ним он все-таки не хотел; он стыдился своей заносчивости, своей неудачи, стыдился всего затеянного им дела, хотя и чувствовал, что более благоприятным образом оно кончиться не могло. «Не будет по крайней мере здесь торчать,— успокоивал он себя,— и на том спасибо». Молчание длилось, тяжелое и неловкое. Обоим было нехорошо. Каждый из них сознавал, что другой его понимает. Друзьям это

---

[1] головокружение *(франц.)*.

сознание приятно, и весьма неприятно недругам, особенно когда нельзя ни объясниться, ни разойтись.

— Не туго ли я завязал вам ногу? — спросил наконец Базаров.

— Нет, ничего, прекрасно,— отвечал Павел Петрович и, погодя немного, прибавил: — Брата не обманешь, надо будет сказать ему, что мы повздорили из-за политики.

— Очень хорошо,— промолвил Базаров.— Вы можете сказать, что я бранил всех англоманов.

— И прекрасно. Как вы полагаете, что думает теперь о нас этот человек? — продолжал Павел Петрович, указывая на того самого мужика, который за несколько минут до дуэли прогнал мимо Базарова спутанных лошадей и, возвращаясь назад по дороге, «забочил» и снял шапку при виде «господ».

— Кто ж его знает! — ответил Базаров,— всего вероятнее, что ничего не думает. Русский мужик — это тот самый таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф. Кто его поймет? Он сам себя не понимает.

— А! вот вы как! — начал было Павел Петрович и вдруг воскликнул: — Посмотрите, что ваш глупец Петр наделал! Ведь брат сюда скачет!

Базаров обернулся и увидал бледное лицо Николая Петровича, сидевшего на дрожках. Он соскочил с них, прежде нежели они остановились, и бросился к брату.

— Что это значит? — проговорил он взволнованным голосом.— Евгений Васильич, помилуйте, что это такое?

— Ничего,— отвечал Павел Петрович,— напрасно тебя потревожили. Мы немножко повздорили с господином Базаровым и я за это немножко поплатился.

— Да из-за чего всё вышло, ради бога?

— Как тебе сказать? Господин Базаров непочтительно отозвался о сэр Роберте Пиле. Спешу прибавить, что во всем этом виноват один я, а господин Базаров вел себя отлично. Я его вызвал.

— Да у тебя кровь, помилуй!

— А ты полагал, у меня вода в жилах? Но мне это кровопускание даже полезно. Не правда ли, доктор? Помоги мне сесть на дрожки и не предавайся меланхолии. Завтра я буду здоров. Вот так; прекрасно. Трогай, кучер.

Николай Петрович пошел за дрожками; Базаров остался было назади...

— Я должен вас просить заняться братом,— сказал ему Николай Петрович,— пока нам из города привезут другого врача.

Базаров молча наклонил голову.

Час спустя Павел Петрович уже лежал в постеле с искусно забинтованною ногой. Весь дом переполошился; Фенечке сделалось дурно. Николай Петрович втихомолку ломал себе руки, а Павел Петрович смеялся, шутил, особенно с Базаровым; надел тонкую батистовую рубашку, щегольскую утреннюю курточку и феску, не позволил опускать шторы окон и забавно жаловался на необходимость воздержаться от пищи.

К ночи с ним, однако, сделался жар; голова у него заболела. Явился доктор из города. (Николай Петрович не послушался брата, да и сам Базаров этого желал; он целый день сидел у себя в комнате, весь желтый и злой, и только на самое короткое время забегал к больному; раза два ему случилось встретиться с Фенечкой, но она с ужасом от него отскакивала). Новый доктор посоветовал прохладительные питья, а в прочем подтвердил уверения Базарова, что опасности не предвидится никакой. Николай Петрович сказал ему, что брат сам себя поранил по неосторожности, на что доктор отвечал: «Гм!»— но, получив тут же в руку двадцать пять рублей серебром, промолвил: «Скажите! это часто случается, точно».

Никто в доме не ложился и не раздевался. Николай Петрович то и дело входил на цыпочках к брату и на цыпочках выходил от него; тот забывался, слегка охал, говорил ему по-французски: «Couchez-vous»,[1]— и просил пить. Николай Петрович заставил раз Фенечку поднести ему стакан лимонаду; Павел Петрович посмотрел на нее пристально и выпил стакан до дна. К утру жар немного усилился, показался легкий бред. Сперва Павел Петрович произносил несвязные слова; потом он вдруг открыл глаза и, увидав возле своей постели брата, заботливо наклонившегося над ним, промолвил:

— А не правда ли, Николай, в Фенечке есть что-то общее с Нелли?

— С какою Нелли, Паша?

— Как это ты спрашиваешь? С княгинею Р... Особенно в верхней части лица. C'est de la même famille[2].

---

[1] «Ложитесь» *(франц.)*.
[2] В том же роде *(франц.)*.

Николай Петрович ничего не отвечал, а сам про себя подивился живучести старых чувств в человеке.

«Вот когда всплыло»,— подумал он.

— Ах, как я люблю это пустое существо! — простонал Павел Петрович, тоскливо закидывая руки за голову.— Я не потерплю, чтобы какой-нибудь наглец посмел коснуться...— лепетал он несколько мгновений спустя.

Николай Петрович только вздохнул; он и не подозревал, к кому относились эти слова.

Базаров явился к нему на другой день, часов в восемь. Он успел уже уложиться и выпустить на волю всех своих лягушек, насекомых и птиц.

— Вы пришли со мной проститься? — проговорил Николай Петрович, поднимаясь ему навстречу.

— Точно так-с.

— Я вас понимаю и одобряю вас вполне. Мой бедный брат, конечно, виноват: за то он и наказан. Он мне сам сказал, что поставил вас в невозможность иначе действовать. Я верю, что вам нельзя было избегнуть этого поединка, который... который до некоторой степени объясняется одним лишь постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений. (Николай Петрович путался в своих словах.) Мой брат — человек прежнего закала, вспыльчивый и упрямый... Слава богу, что еще так кончилось. Я принял все нужные меры к избежанию огласки...

— Я вам оставлю свой адрес на случай, если выйдет история,— заметил небрежно Базаров.

— Я надеюсь, что никакой истории не выйдет, Евгений Васильич... Мне очень жаль, что ваше пребывание в моем доме получило такое... такой конец. Мне это тем огорчительнее, что Арка́дий...

— Я, должно быть, с ним увижусь,— возразил Базаров, в котором всякого рода «объяснения» и «изъявления» постоянно возбуждали нетерпеливое чувство,— в противном случае прошу вас поклониться ему от меня и принять выражение моего сожаления.

— И я прошу...— ответил с поклоном Николай Петрович. Но Базаров не дождался конца его фразы и вышел.

Узнав об отъезде Базарова, Павел Петрович пожелал его видеть и пожал ему руку. Но Базаров и тут остался холоден как лед; он понимал, что Павлу Петровичу хотелось повеликодушничать. С Фенечкой ему не удалось проститься: он только переглянулся с нею из окна. Ее лицо показалось ему печальным. «Пропадет, пожалуй! —

сказал он про себя...— Ну, выдерется как-нибудь!» Зато Петр расчувствовался до того, что плакал у него на плече, пока Базаров не охладил его вопросом: «Не на мокром ли месте у него глаза?», а Дуняша принуждена была убежать в рощу, чтобы скрыть свое волнение. Виновник всего этого горя взобрался на телегу, закурил сигару, и когда на четвертой версте, при повороте дороги, в последний раз предстала его глазам развернутая в одну линию кирсановская усадьба с своим новым господским домом, он только сплюнул и, пробормотав: «Барчуки проклятые», плотнее завернулся в шинель.

Павлу Петровичу скоро полегчило; но в постели пришлось ему пролежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, *плен* довольно терпеливо, только уж очень возился с туалетом и всё приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы, Фенечка ему прислуживала по-прежнему, приносила бульон, лимонад, яйца всмятку, чай; но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех; один Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дирывались, «только благородные господа между собою, а этаких прощелыг они бы за грубость на конюшне отодрать велели».

Совесть почти не упрекала Фенечку, но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам; да и Павел Петрович глядел на нее так странно... так, что она, даже обернувшись к нему спиною, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей.

Однажды — дело было утром — Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван, а Николай Петрович, осведомившись об его здоровье, отлучился на гумно. Фенечка принесла чашку чаю и, поставив ее на столик, хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал.

— Куда вы так спешите, Федосья Николаевна? — начал он.— Разве у вас дело есть?

— Нет-с... да-с... Нужно там чай разливать.

— Дуняша это без вас сделает; посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами.

Фенечка молча присела на край кресла.

— Послушайте,— промолвил Павел Петрович и по-

дергал свои усы,— я давно хотел у вас спросить: вы как будто меня боитесь?

— Я-с?..

— Да, вы. Вы на меня никогда не смотрите, точно у вас совесть не чиста.

Фенечка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у ней тихонько задрожало.

— Ведь у вас совесть чиста? — спросил он ее.

— Отчего же ей не быть чистою? — шепнула она.

— Мало ли отчего! Впрочем, перед кем можете вы быть виноватою? Передо мной? Это невероятно. Перед другими лицами здесь в доме? Это тоже дело несбыточное. Разве перед братом? Но ведь вы его любите?

— Люблю.

— Всей душой, всем сердцем?

— Я Николая Петровича всем сердцем люблю.

— Право? Посмотрите-ка на меня, Фенечка (он в первый раз так называл ее...) Вы знаете — большой грех лгать!

— Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить — да после этого мне и жить не надо!

— И ни на кого вы его не променяете?

— На кого ж могу я его променять?

— Мало ли на кого! Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал.

Фенечка встала.

— Господи боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучите? Что я вам сделала? Как это можно такое говорить?..

— Фенечка,— промолвил печальным голосом Павел Петрович,— ведь я видел...

— Что вы видели-с?

— Да там... в беседке.

Фенечка зарделась вся до волос и до ушей.

— А чем же я тут виновата? — произнесла она с трудом.

Павел Петрович приподнялся.

— Вы не виноваты? Нет? Нисколько?

— Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду!— проговорила с внезапною силой Фенечка, между тем как рыданья так и поднимали ее горло,— а что вы видели, так я на страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уж лучше мне умереть сейчас,

коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем...

Но тут голос изменил ей, и в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку... Она посмотрела на него, и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего; глаза его блистали, и, что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке.

— Фенечка! — сказал он каким-то чудным шёпотом,— любите, любите моего брата! Он такой добрый, хороший человек! Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ничьих речей! Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым! Не покидайте никогда моего бедного Николая!

Глаза высохли у Фенечки, и страх ее прошел, до того велико было ее изумление. Но что сталось с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая...

«Господи! — подумала она,— уж не припадок ли с ним?..»

А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала.

Лестница заскрипела под быстрыми шагами... Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась — и веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто.

Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился: Фенечка, застенчивая и скромная, никогда ие ласкалась к нему в присутствии третьего лица.

— Что с тобой? — промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю.— Ты не хуже себя чувствуешь? — спросил он, подходя к Павлу Петровичу.

Тот уткнул лицо в батистовый платок.

— Нет... так... ничего... Напротив, мне гораздо лучше.

— Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда? — прибавил Николай Петрович, оборачиваясь к Фенечке; но та уже захлопнула за собою дверь.— Я было принес показать тебе моего богатыря, он соскучился по

своем дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?

— Брат! — торжественно проговорил Павел Петрович.

Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко, он сам не понимал почему.

— Брат,— повторил Павел Петрович,— дай мне слово исполнить одну мою просьбу.

— Какую просьбу? Говори.

— Она очень важна; от нее, по моим понятиям, зависит всё счастье твоей жизни. Я всё это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе... Брат, исполни обязанность твою, обязанность честного и благородного человека, прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей!

— Что ты хочешь сказать, Павел?

— Женись на Фенечке... Она тебя любит, она — мать твоего сына.

Николай Петрович отступил на шаг и всплеснул руками.

— Ты это говоришь, Павел? ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков! Ты это говоришь! Но разве ты не знаешь, что единственно из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом!

— Напрасно ж ты уважал меня в этом случае,— возразил с унылою улыбкою Павел Петрович.— Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете: мы люди уже старые и смирные; пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг; и посмотри, мы еще и счастье получим в придачу.

Николай Петрович бросился обнимать своего брата.

— Ты мне окончательно открыл глаза! — воскликнул он.— Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире; а теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный.

— Тише, тише,— перебил его Павел Петрович.— Не развереди ногу твоего благоразумного брата, который под пятьдесят лет дрался на дуэли, как прапорщик. Итак, это дело решенное: Фенечка будет моею... belle-soeur[1].

— Дорогой мой Павел! Но что скажет Аркадий?

---

[1] свояченицей *(франц.)*.

— Аркадий? Он восторжествует, помилуй! Брак не в его принсипах, зато чувство равенства будет в нем польщено. Да и действительно, что за касты au dixneuvième siècle? [1]

— Ах, Павел, Павел! дай мне еще раз тебя поцеловать. Не бойся, я осторожно.

Братья обнялись.

— Как ты полагаешь, не объявить ли ей твое намерение теперь же? — спросил Павел Петрович.

— К чему спешить? — возразил Николай Петрович.— Разве у вас был разговор?

— Разговор, у нас? Quelle idée! [2]

— Ну и прекрасно. Прежде всего выздоравливай, а это от нас не уйдет, надо подумать хорошенько, сообразить...

— Но ведь ты решился?

— Конечно, решился и благодарю тебя от души. Я теперь тебя оставлю, тебе надо отдохнуть; всякое волнение тебе вредно... Но мы еще потолкуем. Засни, душа моя, и дай бог тебе здоровья!

«За что он меня так благодарит? — подумал Павел Петрович, оставшись один.— Как будто это не от него зависело! А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, и буду там жить, пока околею».

Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец.

XXV

В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием; на земле возле них поместилась Фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет «русачьей полежкой». И Аркадий и Катя молчали; он держал в руках полураскрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые, с свойственной им трусливою дерзостью, прыгали и чирикали у самых ее

---

[1] в девятнадцатом веке *(франц.)*.
[2] Что за мысль! *(франц.)*.

ног. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке и по желтой спине Фифи, бледно-золотые пятна света; ровная тень обливала Аркадия и Катю; только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба; но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение: каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз: Аркадий казался спокойнее, Катя оживленнее, смелей.

— Не находите ли вы,— начал Аркадий,— что *ясень* по-русски очень хорошо назван: ни одно дерево так легко и *ясно* не сквозит на воздухе, как он.

Катя подняла глаза кверху и промолвила: «Да», а Аркадий подумал: «Вот эта не упрекает меня за то, что я *красиво* выражаюсь».

— Я не люблю Гейне,— заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках,— ни когда он смеется, ни когда он плачет: я его люблю, когда он задумчив и грустит.

— А мне нравится, когда он смеется,— заметил Аркадий.

— Это в вас еще старые следы вашего сатирического направления... («Старые следы! — подумал Аркадий.— Если б Базаров это слышал!») Погодите, мы вас переделаем.

— Кто меня переделает? Вы?

— Кто? — Сестра; Порфирий Платонович, с которым вы уже не ссоритесь; тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь.

— Не мог же я отказаться! А что касается до Анны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением.

— Сестра находилась тогда под его влиянием, так же как и вы.

— Как и я! Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?

Катя промолчала.

— Я знаю,— продолжал Аркадий,— он вам никогда не нравился.

— Я не могу судить о нем.

— Знаете ли что, Катерина Сергеевна? Всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю... Нет такого че-

ловека, о котором каждый из нас не мог бы судить! Это просто отговорка.

— Ну, так я вам скажу, что он... не то что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой.

— Это почему?

— Как вам сказать... Он хищный, а мы с вами ручные.

— И я ручной?

Катя кивнула головой.

Аркадий почесал у себя за ухом.

— Послушайте, Катерина Сергеевна: ведь это в сущности обидно.

— Разве вы хотели бы быть хищным?

— Хищным нет, но сильным, энергическим.

— Этого нельзя хотеть... Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это есть.

— Гм! Так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну?

— Да. Но над ней никто долго взять верх не может,— прибавила Катя вполголоса.

— Почему вы это думаете?

— Она очень горда... я не то хотела сказать... она очень дорожит своею независимостью.

— Кто же ею не дорожит? — спросил Аркадий, а у самого в уме мелькнуло: «На что она?»— «На что она?» — мелькнуло и у Кати. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли.

Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шёпотом:

— Сознайтесь, что вы немножко *ее* боитесь.

— Кого?

— *Ее*,— значительно повторил Аркадий.

— А вы? — в свою очередь спросила Катя.

— И я; заметьте, я сказал: *и* я.

Катя погрозила ему пальцем.

— Это меня удивляет,— начала она,— никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь, гораздо больше, чем в первый ваш приезд.

— Вот как!

— А вы этого не заметили? Вас это не радует?

Аркадий задумался.

— Чем я мог заслужить благоволение Анны Сергеевны? Уж не тем ли, что привез ей письма вашей матушки?

— И этим, и другие есть причины, которых я не скажу.
— Это почему?
— Не скажу.
— О! я знаю: вы очень упрямы.
— Упряма.
— И наблюдательны.
Катя посмотрела сбоку на Аркадия.
— Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете?
— Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недоверчивы; всех чуждаетесь...
— Я много жила одна: поневоле размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь?
Аркадий бросил признательный взгляд на Катю.
— Всё это прекрасно,— продолжал он,— но люди в вашем положении, я хочу сказать с вашим состоянием, редко владеют этим даром; до них, как до царей, истине трудно дойти.
— Да ведь я не богатая.
Аркадий изумился и не сразу понял Катю. «И в самом деле, имение-то всё сестрино!» — пришло ему в голову; эта мысль ему не была неприятна.
— Как вы это хорошо сказали! — промолвил он.
— А что?
— Сказали хорошо; просто, не стыдясь и не рисуясь. Кстати: я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие.
— Я ничего этого не испытала по милости сестры; я упомянула о своем состоянии только потому, что к слову пришлось.
— Так; но сознайтесь, что и в вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил.
— Например?
— Например, ведь вы,— извините мой вопрос,— вы бы не пошли замуж за богатого человека?
— Если б я его очень любила... Нет, кажется, и тогда бы не пошла.
— А! вот видите! — воскликнул Аркадий и, погодя немного, прибавил: — А отчего бы вы за него не пошли?
— Оттого, что и в песне про неровнюшку поется.
— Вы, может быть, хотите властвовать или...
— О нет! к чему это? Напротив, я готова покоряться, только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться,

это я понимаю; это счастье; но подчиненное существование... Нет, довольно и так.

— Довольно и так,— повторил за Катей Аркадий.— Да, да,— продолжал он,— вы недаром одной крови с Анной Сергеевной; вы так же самостоятельны, как она; но вы более скрытны. Вы, я уверен, ни за что первая не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято...

— Да как же иначе? — спросила Катя.

— Вы одинаково умны; у вас столько же, если не больше, характера, как у ней...

— Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста,— поспешно перебила Катя,— это для меня слишком невыгодно. Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница, и... вам в особенности, Аркадий Николаич, не следовало бы говорить такие слова, и еще с таким серьезным лицом.

— Что значит это: вам в особенности,— и из чего вы заключаете, что я шучу?

— Конечно, вы шутите.

— Вы думаете? А что, если я убежден в том, что я говорю? Если я нахожу, что я еще не довольно сильно выразился?

— Я вас не понимаю.

— В самом деле? Ну, теперь я вижу: я точно слишком превозносил вашу наблюдательность.

— Как?

Аркадий ничего не ответил и отвернулся, а Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям; но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не успевши клюнуть.

— Катерина Сергеевна! — заговорил вдруг Аркадий,— вам это, вероятно, всё равно; но знайте, что я вас не только на вашу сестру,— ни на кого в свете не променяю.

Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка.

А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки; но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство.

— Ты одна?— раздался возле нее голос Анны Сергеевны.— Кажется, ты пошла в сад с Аркадием.

Катя не спеша перевела свои глаза на сестру (изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши Фифи) и не спеша промолвила:

— Я одна.

— Я это вижу,— отвечала та со смехом,— он, стало быть, ушел к себе?

— Да.

— Вы вместе читали?

— Да.

Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо.

— Вы не поссорились, надеюсь?

— Нет,— сказала Катя и тихо отвела сестрину руку.

— Как ты торжественно отвечаешь! Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня всё просит об этом. Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их: я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты не довольно этим занимаешься, а у тебя еще такие прелестные ножки! И руки твои хороши... только велики; так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка.

Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем; Катя поднялась со скамейки и, взяв с собою Гейне, ушла тоже — только не примерять ботинки.

«Прелестные ножки,— думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы,— прелестные ножки, говорите вы... Ну, он и будет у них».

Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх.

Аркадий пошел по коридору к себе в комнату; дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров.

— Евгений! — пробормотал почти с испугом Аркадий,— давно ли он приехал?

— Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести.

«Уж не несчастье ли какое у нас дома?» — подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-преж-

нему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльною шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на оконнице; он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею.

— Вот неожиданно! Какими судьбами! — твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что радуется.— Ведь у нас всё в доме благополучно, все здоровы, не правда ли?

— Всё у вас благополучно, но не все здоровы,— проговорил Базаров.— А ты не тараторь, вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях.

Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился; но не почел нужным это выказать; он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди? и, получив ответ, что она — самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось и как-то стыдно. Базаров как будто его понял.

— Да, брат,— промолвил он,— вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к «отцам»,— так заключил Базаров,— и на дороге завернул сюда... чтобы всё это передать, сказал бы я, если б я не почитал бесполезную ложь — глупостью. Нет, я завернул сюда — чёрт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть себя вон, как редьку из гряды; это я совершил на днях... Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту гряду, где я сидел.

— Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся,— возразил с волнением Аркадий,— я надеюсь, что ты не думаешь расстаться *со мной*.

Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него.

— Будто это так огорчит тебя? Мне сдается, что *ты* уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький... должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично.

— Какие мои дела с Анной Сергеевной?

— Да разве ты не для нее сюда приехал из города, птенчик? Кстати, как там подвизаются воскресные школы?

Разве ты не влюблен в нее? Или уже тебе пришла пора скромничать?

— Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою; могу тебя уверить, божусь тебе, что ты ошибаешься.

— Гм! Новое слово,— заметил вполголоса Базаров.— Но тебе не для чего горячиться, мне ведь это совершенно всё равно. Романтик сказал бы: я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, а я просто говорю, что мы друг другу приелись.

— Евгений...

— Душа моя, это не беда; то ли еще на свете приедается! А теперь, я думаю, не проститься ли нам? С тех пор как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше. Кстати ж, я не велел откладывать лошадей.

— Помилуй, это невозможно!

— А почему?

— Я уже не говорю о себе; но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть.

— Ну, в этом ты ошибаешься.

— А я, напротив, уверен, что я прав,— возразил Аркадий.— И к чему ты притворяешься? Уж коли на то пошло, разве ты сам не для нее сюда приехал?

— Это, может быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься.

Но Аркадий был прав. Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней: оказалось, что он уложил свое новое платье так, что оно было у него под рукою.

Одинцова его приняла не в той комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение.

— Анна Сергеевна,— поторопился сказать Базаров,— прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы невесело унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением.

Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее

оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку. и отвечала на его пожатие.

— Кто старое помянет, тому глаз вон,— сказала она,— тем более что, говоря по совести, и я согрешила тогда если не кокетством. так чем-то другим. Одно слово: будемте приятелями по-прежнему. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит?

— Кто их помнит? Да притом любовь... ведь это чувство напускное.

— В самом деле? Мне очень приятно это слышать.

Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров: они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда, в их словах? Они сами этого не знали, а автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая. как будто они совершенно поверили друг другу.

Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых? Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она не подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он всё это время работал.

— А я,— промолвила Анна Сергеевна,— сперва хандрила, бог знает отчего. даже за границу собиралась, вообразите!.. Потом это прошло; ваш приятель, Аркадий Николаич, приехал, и я опять попала в свою колею, в свою настоящую роль.

— В какую это роль, позвольте узнать?

— Роль тетки, наставницы, матери, как хотите назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаичем; я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен... А главное, он молод, молод... не то, что мы с вами, Евгений Васильич.

— Он всё так же робеет в вашем присутствии? — спросил Базаров.

— А разве...— начала было Анна Сергеевна и, подумав немного, прибавила: — Теперь он доверчивее стал, говорит со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей.

Базарову стало досадно. «Не может женщина не хитрить!» — подумал он.

— Вы говорите, он избегал вас,— произнес он с холодною усмешкой,— но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен?

— Как? и он? — сорвалось у Анны Сергеевны.

— И он,— повторил Базаров с смиренным поклоном.— Неужели вы этого не знали и я вам сказал новость?

Анна Сергеевна опустила глаза.

— Вы ошибаетесь, Евгений Васильич.

— Не думаю. Но, может быть, мне не следовало упоминать об этом. «А ты вперед не хитри»,— прибавил он про себя.

— Отчего не упоминать? Но я полагаю, что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению. Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению.

— Не будемте лучше говорить об этом, Анна Сергеевна.

— Отчего же? — возразила она, а сама перевела разговор на другую дорогу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она и ему сказала и сама себя уверила, что всё позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе, в море, разговаривают и смеются беззаботно, ни дать ни взять, как на твердой земле; но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычайного, и тотчас же на всех лицах выступит выражение особенной тревоги, свидетельствующее о постоянном сознании постоянной опасности.

Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечать рассеянно и предложила ему, наконец, перейти в залу, где они нашли княжну и Катю. «А где же Аркадий Николаич?» — спросила хозяйка и, узнав, что он не показывался уже более часа, послала за ним. Его не скоро нашли: он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел, погруженный в думы. Они были глубоки и важны, эти думы, но не печальны. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым, и ревности он не чувствовал, как бывало; напротив, лицо его тихо светлело; казалось, он и дивился чему-то, и радовался, и решался на что-то.

XXVI

Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал «некоторую игру облагороженного вкуса» и вследствие этого воздвигнул у себя в саду, между теплицей и прудом, строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней, глухой стене этого портика, или га-

лереи, были вделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою: Уединение, Молчание, Размышление, Меланхолию, Стыдливость и Чувствительность. Одну из них, богиню Молчания, с пальцем на губах, привезли было и поставили; но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседний штукатур брался приделать ей нос «вдвое лучше прежнего», однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником: одни капители колонн виднелись над сплошною зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидала там ужа; но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамью, устроенную под одною из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в нас самих.

На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в «портик».

До завтрака оставалось около часа; росистое утро уже сменялось горячим днем. Лицо Аркадия сохраняло вчерашнее выражение, Катя имела вид озабоченный. Сестра ее, тотчас после чаю, позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожней в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченных и теткой и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе; да и сама Катя чувствовала смущение, точно сознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз.

— Катерина Сергеевна,— заговорил он с какою-то застенчивою развязностью,— с тех пор как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал, а между тем есть один очень важный для меня... вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали,— прибавил он, и ловя и избегая вопросительно устремленный на него взор Кати.—

Действительно, я во многом изменился, и это вы знаете лучше всякого другого,— вы, которой я, в сущности, и обязан этою переменой.

— Я?.. Мне?..— проговорила Катя.

— Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал,— продолжал Аркадий,— недаром же мне и минул двадцать третий год; я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине; но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде; они представляются мне... гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя, я задавал себе задачи, которые мне не по силам... Глаза мои недавно раскрылись благодаря одному чувству... Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете...

Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия.

— Я полагаю,— заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку,— я полагаю, что обязанность всякого честного человека быть вполне откровенным с теми... с теми людьми, которые... словом, с близкими ему людьми, а потому я... я намерен...

Но тут красноречие изменило Аркадию; он сбился, замялся и принужден был немного помолчать; Катя всё не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это всё ведет, и ждала чего-то.

— Я предвижу, что удивлю вас,— начал Аркадий, снова собравшись с силами,— тем более что это чувство относится некоторым образом... некоторым образом, заметьте,— до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности,— продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото, чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед, в надежде поскорее перебраться,— этот упрек часто направляется... падает... на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать; и если бы во мне было больше самоуверенности... («Да помоги же мне, помоги!» — с отчаянием думал Аркадий, но Катя по-прежнему не поворачивала головы.) Если б я мог надеяться...

— Если б я могла быть уверена в том, что вы говорите,— раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны.

Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых

кустов, заслонявших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и, как нарочно, остановились прямо перед портиком.

— Вот видите ли,— продолжала Анна Сергеевна,— мы с вами ошиблись; мы оба уже не первой молодости, особенно я; мы пожили, устали; мы оба,— к чему церемониться? — умны: сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было возбуждено... а потом...

— А потом я выдохся,— подхватил Базаров.

— Вы знаете, что не это было причиною нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге, вот главное; в нас слишком много было... как бы это сказать... однородного. Мы это не сразу поняли. Напротив, Аркадий...

— Вы в нем нуждаетесь? — спросил Базаров.

— Полноте, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он неравнодушен ко мне, и мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему в тетки, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть...

— Слово *обаяние* употребительнее в подобных случаях,— перебил Базаров; кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе.— Аркадий что-то секретничал вчера со мною и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре... Это симптом важный.

— Он с Катей совсем как брат,— промолвила Анна Сергеевна,— и это мне в нем нравится, хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними.

— Это в вас говорит... сестра? — произнес протяжно Базаров.

— Разумеется... Но что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами? Вы знаете, что я вас боюсь... и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры.

— Во-первых, я вовсе не добр; а во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр... Это всё равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца.

— Евгений Васильич, мы не властны...— начала было Анна Сергеевна; но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова.

— Ведь вы свободны,— произнес немного погодя Базаров.

Больше ничего нельзя было разобрать; шаги удалились... всё затихло.

Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении. только еще ниже опустила голову.

— Катерина Сергеевна,— проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки,— я люблю вас навек и безвозвратно, и никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат и чувствую, что готов на все жертвы... Вы не отвечаете? Вы мне не верите? Вы думаете, что я говорю легкомысленно? Но вспомните эти последние дни! Неужели вы давно не убедились, что всё другое — поймите меня,— всё, всё другое давно исчезло без следа? Посмотрите на меня, скажите мне одно слово... Я люблю... я люблю вас... поверьте же мне!

Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом и, после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила:

— Да.

Аркадий вскочил со скамьи.

— Да! Вы сказали: да, Катерина Сергеевна! Что значит это слово? То ли, что я вас люблю, что вы мне верите... Или... или... я не смею докончить...

— Да,— повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил: «Катя, Катя...», а она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, тот еще не испытал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек.

На следующий день, рано поутру, Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия: он в нем просил руки ее сестры.

Базаров быстро пробежал письмо и сделал усилие над собою, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди.

— Вот как,— проговорил он,— а вы, кажется, не далее как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскою любовью. Что же вы намерены теперь сделать?

— Что *вы* мне посоветуете? — спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться.

— Да я полагаю,— ответил Базаров тоже со смехом, хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться, так же как и ей,— я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая; состояние у Кирсанова изрядное, он один сын у отца, да и отец добрый малый, прекословить не будет.

Одинцова прошлась по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело.

— Вы думаете? — промолвила она.— Что ж? я не вижу препятствий... Я рада за Катю... и за Аркадия Николаича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Но вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди... Как это я ничего не видала? Это меня удивляет!

Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отворотилась.

— Нынешняя молодежь больно хитра стала,— заметил Базаров и тоже засмеялся.— Прощайте,— заговорил он опять после небольшого молчания.— Желаю вам окончить это дело самым приятным образом; а я издали порадуюсь.

Одинцова быстро повернулась к нему.

— Разве вы уезжаете? Отчего же вам *теперь* не остаться? Останьтесь... с вами говорить весело... точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь.

— Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уж и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду; позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию.

Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала его бледное лицо. «Этот меня любил!» — подумала она — и жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку.

Но и он ее понял.

— Нет! — сказал он и отступил на шаг назад.— Че-

ловек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайте-с и будьте здоровы.

— Я убеждена, что мы не в последний раз видимся,— произнесла Анна Сергеевна с невольным движением.

— Чего на свете не бывает! — ответил Базаров, поклонился и вышел.

— Так ты задумал гнездо себе свить? — говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан.— Что ж? дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого огорошило?

— Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою,— ответил Аркадий,— но зачем ты сам лукавишь и говоришь: «дело хорошее», точно мне неизвестно твое мнение о браке?

— Эх, друг любезный! — проговорил Базаров,— как ты выражаешься! Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было. Не обижайся, пожалуйста: ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только от того и слывет умною, что умно вздыхает; а твоя за себя постоит, да и так постоит, что и тебя в руки заберет,— ну, да это так и следует.— Он захлопнул крышку и приподнялся с полу.— А теперь повторяю тебе на прощанье... потому что обманываться нечего: мы прощаемся навсегда, и ты сам это чувствуешь... ты поступил умно; для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь — и уж воображаете себя молодцами,— а мы драться хотим. Да что! Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает, да ты и не дорос до нас, ты невольно любуешься собою, тебе приятно самого себя бранить; а нам это скучно — нам других подавай! нам других ломать надо! Ты славный малый; но ты все-таки мякенький, либеральный барич — *э волату*, как выражается мой родитель.

— Ты навсегда прощаешься со мною, Евгений? — печально промолвил Аркадий,— и у тебя нет других слов для меня?

Базаров почесал у себя в затылке.

— Есть, Аркадий, есть у меня другие слова, только я их не выскажу, потому что это романтизм.— это значит: рассыропиться. А ты поскорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге! я вижу, лошади готовы. Пора! Со всеми я простился... Ну что ж? обняться, что ли?

Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

— Что значит молодость! — произнес спокойно Базаров.— Да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит!

— Прощай, брат! — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: — Вот тебе! изучай!

— Это что значит? — спросил Аркадий.

— Как? Разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!

Телега задребезжала и покатилась.

Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей, и Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марьино, к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоявшем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастия не показалось ей самой немного тягостным; но вышло совершенно напротив: это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умилило наконец. Анна Сергеевна этому и обрадовалась и опечалилась. «Видно, прав Базаров,— подумала она,— любопытство, одно любопытство, и любовь к покою, и эгоизм...»

— Дети! — промолвила она громко,— что, любовь чувство напускное?

Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились; невольно подслушанный разговор не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их; и это было ей не трудно: она успокоилась сама.

XXVII

Старики Базаровы тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с «куропатицей»: куцый хвостик ее коротенькой кофточки действительно придавал ей нечто птичье. А сам он только мычал да покусывал сбоку янтарчик своего чубука да, прихватив шею пальцами, вертел головою, точно пробовал, хорошо ли она у него привинчена, и вдруг разевал широкий рот и хохотал безо всякого шума.

— Я к тебе на целых шесть недель приехал, старина,— сказал ему Базаров.— я работать хочу, так ты уж, пожалуйста, не мешай мне.

— Физиономию мою забудешь, вот как я тебе мешать буду! — отвечал Василий Иванович.

Он сдержал свое обещание. Поместив сына по-прежнему в кабинет, он только что не прятался от него и жену свою удерживал от всяких лишних изъявлений нежности. «Мы, матушка моя,— говорил он ей,— в первый приезд Енюшки ему надоедали маленько: теперь надо быть умней». Арина Власьевна соглашалась с мужем, но немного от этого выигрывала, потому что видела сына только за столом и окончательно боялась с ним заговаривать. «Енюшенька!» — бывало скажет она,— а тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюля и лепечет: «Ничего, ничего, я так»,— а потом отправится к Василию Ивановичу и говорит ему, подперши щеку: «Как бы, голубчик, узнать: чего Енюша желает сегодня к обеду, щей или борщу?» — «Да что ж ты у него сама не спросила?» — «А надоем!» Впрочем, Базаров скоро сам перестал запираться: лихорадка работы с него *соскочила* и заменилась тоскливою скукой и глухим беспокойством. Странная усталость замечалась во всех его движениях, даже походка его, твердая и стремительно смелая, изменилась. Он перестал гулять в одиночку и начал искать общества; пил чай в гостиной, бродил по огороду с Василием Ивановичем и курил с ним «в молчанку»; осведомился однажды об отце Алексее. Василий Иванович сперва обрадовался этой перемене, но радость его была непродолжительна. «Енюша меня сокрушает,— жаловался он втихомолку жене,— он не то что недоволен или сердит, это бы еще ничего; он огорчен, он грустен — вот что ужасно.

Всё молчит, хоть бы побранил нас с тобою; худеет, цвет лица такой нехороший».— «Господи, господи! — шептала старушка,— надела бы я ему ладанку на шею, да ведь он не позволит». Василий Иванович несколько раз пытался самым осторожным образом расспросить Базарова об его работе, об его здоровье, об Аркадии... Но Базаров отвечал ему нехотя и небрежно и однажды, заметив, что отец в разговоре понемножку подо что-то подбирается, с досадой сказал ему: «Что ты всё около меня словно на цыпочках ходишь? Эта манера еще хуже прежней».— «Ну, ну, ну, я ничего!» — поспешно отвечал бедный Василий Иванович. Так же бесплодны остались его политические намеки. Заговорив однажды, по поводу близкого освобождения крестьян, о прогрессе, он надеялся возбудить сочувствие своего сына; но тот равнодушно промолвил: «Вчера я прохожу мимо забора и слышу, здешние крестьянские мальчики, вместо какой-нибудь старой песни, горланят: *Время верное приход и т, сéрдца чувству и т любовь...* Вот тебе и прогресс».

Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну,— говорил он ему,— излагай мне свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, говорят, вся сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в истории,— вы нам дадите и язык настоящий и законы». Мужик либо не отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы могим... тоже, потому, значит... какой положóн у нас, примерно, придел».— «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? — перебивал его Базаров,— и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»

— Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах,— успокоительно, с патриархально-добродушною певучестью объяснял мужик,— а против нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику.

Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси.

— О чем толковал? — спросил у него другой мужик средних лет и угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при беседе его с Базаровым.— О недоимке, что ль?

— Какое о недоимке, братец ты мой! — отвечал первый мужик, и в голосе его уже не было следа патриархаль-

ной певучести, а, напротив, слышалась какая-то небрежная суровость,— так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?

— Где понять! — отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. Увы! презрительно пожимавший плечом, умевший говорить с мужиками Базаров (как хвалился он в споре с Павлом Петровичем), этот самоуверенный Базаров и не подозревал, что он в их глазах был все-таки чем-то вроде шута горохового...

Впрочем, он нашел, наконец, себе занятие. Однажды, в его присутствии, Василий Иванович перевязывал мужику раненую ногу, но руки тряслись у старика, и он не мог справиться с бинтами; сын ему помог и с тех пор стал участвовать в его практике, не переставая в то же время подсмеиваться и над средствами, которые сам же советовал, и над отцом, который тотчас же пускал их в ход. Но насмешки Базарова нисколько не смущали Василия Ивановича; они даже утешали его. Придерживая свой засаленный шлафрок двумя пальцами на желудке и покуривая трубочку, он с наслаждением слушал Базарова, и чем больше злости было в его выходках, тем добродушнее хохотал, выказывая все свои черные зубы до единого, его осчастливленный отец. Он даже повторял эти, иногда тупые или бессмысленные, выходки и, например, в течение нескольких дней, ни к селу ни к городу, всё твердил: «Ну, это дело девятое!» — потому только, что сын его, узнав, что он ходил к заутрене, употребил это выражение. «Слава богу! перестал хандрить! — шептал он своей супруге.— Как отделал меня сегодня, чудо!» Зато мысль, что он имеет такого помощника, приводила его в восторг, наполняла его гордостью. «Да, да,— говорил он какой-нибудь бабе в мужском армяке и рогатой кичке, вручая ей стклянку Гулярдовой воды или банку беленной мази,— ты, голубушка, должна ежеминутно бога благодарить за то, что сын мой у меня гостит: по самой научной и новейшей методе тебя лечат теперь, понимаешь ли ты это? Император французов, Наполеон, и тот не имеет лучшего врача». А баба, которая приходила жаловаться, что ее «на колотики подняло» (значения этих слов она, впрочем, сама растолковать не умела), только кланялась и лезла за пазуху, где у ней лежали четыре яйца, завернутые в конец полотенца.

Базаров раз даже вырвал зуб у заезжего разносчика

с красным товаром, и, хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович сохранил его как редкость и, показывая его отцу Алексею, беспрестанно повторял:

— Вы посмотрите, что за корни! Этакая сила у Евгения! Краснорядец так на воздух и поднялся... Мне кажется, дуб и тот бы вылетел вон!..

— Похвально! — промолвил, наконец, отец Алексей, не зная, что отвечать и как отделаться от пришедшего в экстаз старика.

Однажды мужичок соседней деревни привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал; темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъявил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома: он так и умер в телеге.

Дня три спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня?

— Есть; на что тебе?

— Нужно... ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь — откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.

— Ради самого бога,— промолвил Василий Иванович,— позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

— Экой ты охотник до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то не велика. Не больно?

— Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

— Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

— Это бы раньше надо сделать; а теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.

— Как... поздно...— едва мог произнести Василий Иванович.

— Еще бы! с тех пор четыре часа прошло с лишком.

Василий Иванович еще немного прижег ранку.

— Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

— Не было.

— Как же это, боже мой! Врач — и не имеет такой необходимой вещи!

— Ты бы посмотрел на его ланцеты,— промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы входить в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, всё скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось? Целых два дня он крепился, хотя вид сына, на которого он всё посматривал украдкой, ему очень не нравился... но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

— Отчего ты не ешь, Евгений? — спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение.— Кушанье, кажется, хорошо сготовлено.

— Не хочется, так и не ем.

— У тебя аппетиту нету? А голова? — прибавил он робким голосом,— болит?

— Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьевна выпрямилась и насторожилась.

— Не рассердись, пожалуйста, Евгений,— продолжал Василий Иванович,— но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

— Я и не щупая скажу тебе, что у меня жар.

— И озноб был?

— Был и озноб. Пойду прилягу, а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял,— промолвила Арина Власьевна.

— Простудился,— повторил Базаров и удалился.

Арина Власьевна занялась приготовлением чаю из липового цвету, а Василий Иванович вошел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провел в тяжелой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкафа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власьевна тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, «как дышит Енюша», и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лег опять. Василий Иванович молча ему прислуживал; Арина Власьевна вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше»— и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусила губу, чтобы не заплакать, и вышла вон. Всё в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там как истукан, словно пораженный несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она наконец схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой, промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к собственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почел нужным предуведомить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться.

Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.

— Старина,— начал Базаров сиплым и медленным голосом,— дело мое дрянное. Я заражен, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

— Евгений! — пролепетал он,— что ты это!.. Бог с тобою! Ты простудился...

— Полно,— не спеша перебил его Базаров.— Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

— Где же признаки... заражения, Евгений?.. помилуй!

— А это что? — промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

— Положим,— сказал он наконец,— положим... если... если даже что-нибудь вроде... заражения...

— Пиэмии,— подсказал сын.

— Ну да... вроде... эпидемии...

— *Пиэмии*,— сурово и отчетливо повторил Базаров.— Аль уж позабыл свои тетрадки?

— Ну да, да, как тебе угодно... А все-таки мы тебя вылечим!

— Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу.— Он отпил еще немного воды.— А я хочу попросить тебя об одной вещи... пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне всё казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

— Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно как следует.

— Тем лучше; ты мне сказал, ты послал за доктором... Этим ты себя потешил... потешь и меня: пошли ты нарочного...

— К Аркадию Николаичу,— подхватил старик.

— Кто такой Аркадий Николаич? — проговорил Базаров как бы в раздумье.— Ах да! птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне, тут есть такая помещица... Знаешь? (Василий Иванович кивнул головой.) Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?

— Исполню... Только возможное ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений... Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?

— Этого я не знаю; а только ты нарочного пошли.

— Сию минуту пошлю, и сам письмо напишу.

— Нет, зачем; скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно! хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно... и больше ничего.

Он опять тяжело повернулся к стене; а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнулся на колени перед образами.

— Молись, Арина, молись! — простонал он,— наш сын умирает.

Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.

— А вам случалось видеть, что люди в моем положении *не* отправляются в Елисейские? — спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжелый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.

— Сила-то, сила,— промолвил он,— вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот по крайней мере успел отвыкнуть от жизни, а я... Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет? — прибавил он, погодя немного.— Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иваныч, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли! Ведь ты хвастался, что ты философ?

— Какой я философ! — завопил Василий Иванович, и слезы так и закапали по его щекам.

Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при

хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить,— шептал он, сжимая кулаки,— что за вздор!» И тут же говорил: «Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?» — Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни... рвотное... горчишники к желудку... кровопускание»,— говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней тому назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием; сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой.

Ночь была не хороша для Базарова... Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтоб Арина Власьевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.

— Слава богу! — твердил он,— наступил кризис... прошел кризис.

— Эка, подумаешь! — промолвил Базаров,— слово-то что значит! Нашел его, сказал: «кризис» — и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут — он почувствует удовольствие.

Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление.

— Браво! прекрасно сказано, прекрасно! — воскликнул он, показывая вид, что бьет в ладоши.

Базаров печально усмехнулся.

— Так как же, по-твоему,— промолвил он,— кризис прошел или наступил?

— Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует,— отвечал Василий Иванович.

— Ну, и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?

— Послал, как же.

Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить — и не мог.

— Евгений! — произнес он наконец,— сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова... Он повернул немного голову и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес:

— Что, мой отец?

— Евгений,— продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть.— Евгений, тебе теперь лучше; ты, бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но еще ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это может вас утешить,— промолвил он наконец,— но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это всё в божьей воле, а исполнивши долг...

— Нет, я подожду,— перебил Базаров.— Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспамятных причащают.

— Помилуй, Евгений...

— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.

И он положил голову на прежнее место.

Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы...

Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса; вот уже послышалось фырканье лошадей... Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двуместная карета. Не отдавая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал на крыльцо... Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под черным вуалем, в черной мантилье, выходила из нее...

— Я Одинцова,— промолвила она.— Евгений Васильич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора.

— Благодетельница! — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам, между тем как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкою физиономией, вылезал не торопясь из кареты.— Жив еще, жив мой Евгений и теперь будет спасен! Жена! жена!.. К нам ангел с неба...

— Что такое, господи! — пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье.

— Что вы! что вы! — твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! ангел!»

— Wo ist der Kranke? [1] И где же есть пациент? — проговорил наконец доктор, не без некоторого негодования.

Василий Иванович опомнился.— Здесь, здесь, пожалуйте за мой, *вертестер герр коллега* [2],— прибавил он по старой памяти.

— Э! — произнес немец и кисло осклабился.

Василий Иванович привел его в кабинет.

— Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой,— сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына,— и она сама здесь.

Базаров вдруг раскрыл глаза:— Что ты сказал?

— Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.

Базаров повел вокруг себя глазами:

— Она здесь... я хочу ее видеть.

— Ты ее увидишь, Евгений; но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.

Базаров взглянул на немца:— Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни; я ведь понимаю, что значит: jam moritur [3].

— Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein [4],—

---

[1] Где больной? *(нем.)*

[2] уважаемый коллега (wertester Herr Collega — *нем.*).

[3] уже умирает *(лат.)*.

[4] Сударь, по-видимому, владеет немецким языком *(нем.)*.

начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.

— *Их... габе*[1]... — Говорите уж лучше по-русски,— промолвил старик.

— А. а! *так этто фот как этто*... Пошалуй...

И консультация началась.

Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.

Она взглянула на Базарова... и остановилась у двери, до того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила — мгновенно сверкнула у ней в голове.

— Спасибо,— усиленно заговорил он,— я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали.

— Анна Сергеевна так была добра...— начал Василий Иванович.

— Отец, оставь нас.— Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...

Он указал головою на свое распростертое бессильное тело.

Василий Иванович вышел.

— Ну, спасибо,— повторил Базаров.— Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих.

— Евгений Васильич, я надеюсь...

— Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и *фюить*! (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать... я любил вас! Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что — какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая...

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

— Ничего, не тревожьтесь... сядьте там... Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.

---

[1] Я . . . имею . . . (Ich habe — *нем.*).

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

— Великодушная! — шепнул он.— Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Всё равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток и боязливо дыша.

— Меня вы забудете,— начал он опять,— мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет... Это чепуха; но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось... вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать... Я нужен России... Нет, видно не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник... мясо продает... мясник... постойте, я путаюсь... Тут есть лес...

Базаров положил руку на лоб.

Анна Сергеевна наклонилась к нему:

— Евгений Васильич, я здесь...

Он разом принял руку и приподнялся.

— Прощайте,— проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском.— Прощайте... Послушайте... ведь я вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...

Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу.

— И довольно! — промолвил он и опустился на подушку.— Теперь... темнота...

Анна Сергеевна тихо вышла.

— Что? — спросил ее шёпотом Василий Иванович.

— Он заснул,— отвечала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно

отразилось на помертвелом лице. Когда же, наконец, он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу,— хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то,— и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так,— рассказывала потом в людской Анфисушка,— рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень...»

Но полуденный зной проходит, и настает вечер и ночь, а там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится измученным и усталым...

XXVIII

Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима с жестокою тишиной безоблачных морозов, плотным, скрипучим снегом, розовым инеем на деревьях, бледно-изумрудным небом, шапками дыма над трубами, клубами пара из мгновенно раскрытых дверей, свежими, словно укушенными лицами людей и хлопотливым бегом продрогших лошадок. Январский день уже приближался к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах марьинского дома зажигались огни; Прокофьич, в черном фраке и белых перчатках, с особенною торжественностию накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад, в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей состоялись две свадьбы: Аркадия с Катей и Николая Петровича с Фенечкой; а в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправлялся по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых.

Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же; у него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Фенечкой; «мужья» пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время: все как будто похорошели и возмужали; один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и *грансеньйорства* его выразительным чертам... Да и Фенечка стала другая. В свежем шёлковом платье, с широкою бархатною наколкой на волосах, с золотою цепочкой на шее, она си-

дела почтительно-неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало, и так улыбалась, как будто хотела сказать: «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна — другие все улыбались и тоже как будто извинялись; всем было немножко неловко, немножко грустно и в сущности очень хорошо. Каждый прислуживал другому с забавною предупредительностию, точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех: она доверчиво посматривала вокруг себя, и можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу.

— Ты нас покидаешь... ты нас покидаешь, милый брат,— начал он,— конечно, ненадолго; но всё же я не могу не выразить тебе, что я... что мы... сколь я... сколь мы... Вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичи! Аркадий, скажи ты.

— Нет, папаша, я не приготовлялся.

— А я хорошо приготовился! Просто, брат, позволь тебя обнять, пожелать тебе всего хорошего, и вернись к нам поскорее!

Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити; у Фенечки он, сверх того, поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом: «Будьте счастливы, друзья мои! Farewell!»[1] Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты.

— В память Базарова,— шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост.

Казалось бы, конец? Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждое из выведенных нами лиц. Мы готовы удовлетворить его.

Анна Сергеевна недавно вышла замуж, не по любви, но по убеждению, за одного из будущих русских деятелей, человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердою волей и замечательным даром слова,— человека еще молодого, доброго и холодного как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья... пожалуй, до любви. Княжна

---

[1] Прощайте! *(англ.)*.

Х......я умерла, забытая в самый день смерти. Кирсановы, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и «ферма» уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил; он беспрестанно разъезжает по своему участку; произносит длинные речи (он придерживается того мнения, что мужичков надо «вразумлять», то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы) и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией о *ман*ципации (произнося *ан* в нос), ни необразованных дворян, бесцеремонно бранящих «евту *мун*ципацию». И для тех и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосья Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку, и когда та садится за фортепьяно, рада целый день не отходить от нее. Упомянем кстати о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности, произносит все *е* как *ю*: *тюпюрь*, *обюспючюн*, но тоже женился и взял порядочное приданое за своею невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было: а у Петра не только были часы — у него были лаковые полусапожки.

В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства; они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена, «*a perfect gentleman*». С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, трунит над самим собой и над ними; но всё это выходит у него очень мило, и небрежно, и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений: известно, что в высшем свете это считается *très distingué*[1]. Он ничего русского

[1] весьма почтенным *(франц.)*.

не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич Колязин, находящийся *во временной оппозиции*, величаво посетил его, проезжая на богемские воды; а туземцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и т. д. никто не может так легко и скоро, как *der Herr Baron von Kirsanoff* [1]. Он всё делает добро, сколько может; он всё еще шумит понемножку: недаром же был он некогда львом; но жить ему тяжело... тяжелей, чем он сам подозревает... Стоит взглянуть на него в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься...

И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге и изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается с студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейдельберг и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютною ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения, да с великим Елисевичем Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает «дело» Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался: в одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его — трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком... и литератором.

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружавшие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между ними есть

[1] господин барон фон Кирсанов *(нем.)*.

одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка — муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1863—1866

ПРИЗРАКИ

Фантазия

> Миг один... и нет волшебной сказки —
> И душа опять полна возможным...
>
> *А. Фет.*

I

Я долго не мог заснуть и беспрестанно переворачивался с боку на бок. «Чёрт бы побрал эти глупости с вертящимися столами! — подумал я,— только нервы расстраивать...» Дремота начала наконец одолевать меня...

Вдруг мне почудилось, как будто в комнате слабо и жалобно прозвенела струна.

Я приподнял голову. Луна стояла низко на небе и прямо глянула мне в глаза. Белый как мел лежал ее свет на полу... Явственно повторился странный звук.

Я оперся на локоть. Легкий страх щипнул меня за сердце. Прошла минута, другая... Где-то далеко прокричал петух; еще дальше отозвался другой.

Я опустил голову на подушку. «Вот до чего можно довести себя,— подумал я опять,— в ушах звенеть станет».

Спустя немного я заснул — или мне казалось, что я заснул. Мне привиделся необыкновенный сон. Мне чудилось, что я лежу в моей спальне, на моей постели — и не сплю и даже глаз не могу закрыть. Вот опять раздается звук... Я оборачиваюсь... След луны на полу начинает тихонько приподниматься, выпрямляется, слегка округляется сверху... Передо мной, сквозя как туман, неподвижно стоит белая женщина.

— Кто ты? — спрашиваю я с усилием.

Голос отвечает, подобный шелесту листьев:

— Это я... я... я... Я пришла за тобой.

— За мной? Да кто ты?

— Приходи ночью на угол леса, где старый дуб. Я там буду.

Я хочу вглядеться в черты таинственной женщины — и вдруг невольно вздрагиваю: на меня пахнуло холодом. И вот я уже не лежу, а сижу в своей постели — и там, где, казалось, стоял призрак, свет луны белеется длинной чертою по полу.

II

День прошел кое-как. Я, помнится, принимался читать, работать... ничего не клеилось. Настала ночь. Сердце билось во мне, как будто ждало чего-то. Я лег и повернулся лицом к стене.

— Отчего же ты не пришел? — раздался в комнате явственный шёпот.

Я быстро оглянулся.

Опять она... опять таинственный призрак. Неподвижные глаза на неподвижном лице — и взор исполнен печали.

— Приходи! — слышится снова шёпот.

— Приду,— отвечаю я с невольным ужасом. Призрак тихо качнулся вперед, смешался весь, легко волнуясь, как дым,— и луна опять мирно забелела на гладком полу.

III

Я провел день в волнении. За ужином я выпил почти целую бутылку вина, вышел было на крыльцо, но вернулся и бросился в постель. Кровь тяжело колыхалась во мне.

Опять послышался звук... Я вздрогнул, но не оглянулся. Вдруг я почувствовал, что кто-то тесно обнял меня сзади и в самое ухо мне лепечет: «Приди, приди, приди...» Затрепетав от испуга, я простонал:

— Приду! — и выпрямился.

Женщина стояла наклонясь возле самого моего изголовья. Она слабо улыбнулась и исчезла. Я, однако, успел разглядеть ее лицо. Мне показалось, что я видел ее прежде; но где, когда? Я встал поздно и целый день бродил по полям, подходил к старому дубу на окраине леса и внимательно осматривался кругом.

Перед вечером я сел у раскрытого окна в своем кабинете. Старуха ключница поставила передо мною чашку чаю — но я не прикасался к ней... Я всё недоумевал и спрашивал себя: «Не с ума ли я схожу?» Солнце только что закатилось, и не одно небо зарделось — весь воздух внезапно наполнился каким-то почти неестественным багрянцем: листья и травы, словно покрытые свежим лаком, не шевелились; в их окаменелой неподвижности, в резкой яркости их очертаний, в этом сочетании сильного блеска и мертвой тишины было что-то странное, загадочное. Довольно большая серая птица вдруг, безо всякого шума, прилетела и села на самый край окна... Я посмотрел на

нее — и она посмотрела на меня сбоку своим круглым темным глазом. «Уж не прислали ли тебя, чтобы напомнить?» — подумал я.

Птица тотчас взмахнула своими мягкими крыльями и улетела по-прежнему без шума. Я долго еще сидел у окна, но я уже не предавался недоуменью: я как будто попал в заколдованный круг — и неодолимая, хотя тихая сила увлекала меня, подобно тому, как, еще задолго до водопада, стремление потока увлекает лодку. Я встрепенулся наконец. Багрянец воздуха давно исчез, краски потемнели, и прекратилась заколдованная тишина. Ветерок запорхал, луна всё ярче выступала на посиневшем небе,— и скоро листья деревьев заиграли серебром и чернью в ее холодных лучах. Моя старуха вошла в кабинет с зажженной свечкой, но из окна дохнуло на нее — и пламя погасло. Я не мог выдержать более, вскочил, нахлобучил шапку и отправился на угол леса к старому дубу.

IV

В этот дуб, много лет тому назад, ударила молния; верхушка переломилась и засохла, но жизни еще сохранилось в нем на несколько столетий. Когда я стал подходить к нему, на луну набежала тучка: было очень темно под его широкими ветвями. Сперва я не заметил ничего особенного; но глянул в сторону — и сердце во мне так и упало: белая фигура стояла неподвижно возле высокого куста, между дубом и лесом. Волосы слегка зашевелились у меня на голове; но я собрался с духом — и пошел к лесу.

Да, это была она, моя ночная гостья. Когда я приблизился к ней, месяц засиял снова. Она казалась вся как бы соткана из полупрозрачного, молочного тумана — сквозь ее лицо мне виднелась ветка, тихо колеблемая ветром,— только волосы да глаза чуть-чуть чернели, да на одном из пальцев сложенных рук блистало бледным золотом узкое кольцо. Я остановился перед нею и хотел заговорить; но голос замер у меня в груди, хотя собственно страха я уже не ощущал. Ее глаза обратились на меня: взгляд их выражал не скорбь и не радость, а какое-то безжизненное внимание. Я ждал, не произнесет ли она слова, но она оставалась неподвижной и безмолвной и всё глядела на меня своим мертвенно-пристальным взглядом. Мне опять стало жутко.

— Я пришел! — воскликнул я наконец с усилием.

Глухо и чудно раздался мой голос.

— Я тебя люблю.— послышался шёпот.

— Ты меня любишь! — повторил я с изумлением.

— Отдайся мне.— снова прошелестило мне в ответ.

— Отдаться тебе! Но ты призрак — у тебя и тела нет.— Странное одушевление овладело мною.— Что ты такое. дым. воздух. пар? Отдаться тебе! Отвечай мне сперва. кто ты? Жила ли ты на земле? Откуда ты явилась?

— Отдайся мне. Я тебе зла не сделаю. Скажи только два слова: возьми меня.

Я посмотрел на нее. «Что это она говорит? — подумал я.— Что это всё значит? И как же она возьмет меня? Или попытаться?»

— Ну. хорошо.— произнес я вслух и неожиданно громко, словно кто сзади меня подтолкнул.— Возьми меня!

Не успел я произнести эти слова. как таинственная фигура с каким-то внутренним смехом, от которого на миг задрожало ее лицо, покачнулась вперед, руки ее отделились и протянулись... Я хотел было отскочить; но я уже был в ее власти. Она обхватила меня. тело мое поднялось на пол-аршина от земли — и мы оба понеслись плавно и не слишком быстро над неподвижной мокрой травой.

V

Сперва у меня голова закружилась — и я невольно закрыл глаза... Минуту спустя я открыл их снова. Мы неслись по-прежнему. Но уже леса не было видно; под нами расстилалась равнина, усеянная темными пятнами. Я с ужасом убедился. что мы поднялись на страшную высоту.

«Я пропал. я во власти сатаны».— сверкнуло во мне, как молния. До того мгновенья мысль о наважденье нечистой силы. о возможности погибели мне в голову не приходила. Мы всё мчались и, казалось, забирали всё выше и выше.

— Куда ты несешь меня? — простонал я наконец.

— Куда хочешь,— отвечала моя спутница. Она вся прильнула ко мне; лицо ее почти прислонилось к моему лицу. Впрочем. я едва ощущал ее прикосновение.

— Опусти меня на землю; мне дурно на этой высоте.

— Хорошо; только закрой глаза и не дыши.

«ПРИЗРАКИ». НАБРОСКИ ПЛАНА. АВТОГРАФ.

Национальная библиотека, Париж.

Я послушался — и тотчас же почувствовал, что падаю, как брошенный камень... воздух засвистал в моих волосах. Когда я опомнился, мы опять плавно неслись над самой землей, так что цеплялись за верхушки высоких трав.

— Поставь меня на ноги,— начал я.— Что за удовольствие летать? Я не птица.

— Я думала, что тебе приятно будет. У нас другого занятия нет.

— У вас? Да кто вы такие?

Ответа не было.

— Ты не смеешь мне это сказать?

Жалобный звук, подобный тому, который разбудил меня в первую ночь, задрожал в моих ушах. Между тем мы продолжали чуть заметно двигаться по влажному ночному воздуху.

— Пусти же меня! — промолвил я. Спутница моя тихо отклонилась — и я очутился на ногах. Она остановилась передо мной и снова сложила руки. Я успокоился и посмотрел ей в лицо: по-прежнему оно выражало покорную грусть

— Где мы? — спросил я. Я не узнавал окрестных мест.

— Далеко от твоего дома, но ты можешь быть там в одно мгновенье.

— Каким это образом? опять довериться тебе?

— Я не сделала тебе зла и не сделаю. Полетаем с тобой до зари, вот и всё. Я могу тебя отнести, куда только ты вздумаешь — во все края земли. Отдайся мне! Скажи опять: возьми меня!

— Ну... возьми меня!

Она опять припала ко мне, ноги мои опять отделились от земли — и мы полетели.

VI

— Куда? — спросила она меня.

— Прямо, всё прямо.

— Но тут лес.

— Поднимись над лесом — только тише.

Мы взмыли кверху, как вальдшнеп, налетевший на березу, и опять понеслись в прямом направлении. Вместо травы вершины деревьев мелькали у нас под ногами. Чудно было видеть лес сверху, его щетинистую спину,

освещенную луной. Он казался каким-то огромным, заснувшим зверем и сопровождал нас широким непрестанным шорохом, похожим на невнятное ворчанье. Кое-где попадалась небольшая поляна; красиво чернела с одной ее стороны зубчатая полоса тени... Заяц изредка жалобно кричал внизу; вверху сова свистала, тоже жалобно; в воздухе пахло грибами, почками, зорей-травою; лунный свет так и разливался во все стороны — холодно и строго; «стожары» блистали над самой головой. Вот и лес остался назади; в поле протянулась полоса тумана: это река текла. Мы понеслись вдоль одного из ее берегов над кустами, отяжелевшими и неподвижными от сырости. Волны на реке то лоснились синим лоском, то катились темные и словно злые. Местами странно двигался над ними тонкий пар — и чашки водяных лилий девственно и пышно белели всеми своими распустившимися лепестками, точно знали, что до них добраться невозможно. Мне вздумалось сорвать одну из них — и вот я уже очутился над самой гладью реки... Сырость неприязненно ударила мне в лицо, как только я перервал тугой стебель крупного цветка. Мы начали перелетывать с берега на берег, как кулички-песочники, которых мы то и дело будили и за которыми гнались. Нам не раз случалось налетать на семейку диких уток, расположенных кружком на чистом местечке между тростниками, но они не шевелились; разве одна из них торопливо вынет шею из-под крыла, посмотрит, посмотрит и хлопотливо засунет опять нос в пушистые перья, а другая слабо крякнет, причем всё ее тело немножко дрогнет. Мы вспугнули одну цаплю: она поднялась из ракитового куста, болтая ногами и с неуклюжим усилием махая крыльями; тут она мне показалась действительно похожей на немца. Рыба нигде не плескалась — спала тоже. Я начинал привыкать к ощущению полета и даже находил в нем приятность: меня поймет всякий, кому случалось летать во сне. Я принялся с бо́льшим вниманием рассматривать странное существо, по милости которого со мной совершались такие неправдоподобные события.

VII

Это была женщина с маленьким нерусским лицом. Иссера-беловатое, полупрозрачное, с едва означенными тенями, оно напоминало фигуры на алебастровой, извнут-

ри освещенной вазе — и опять показалось мне знакомым.

— Можно с тобой говорить? — спросил я.

— Говори.

— Я вижу у тебя кольцо на пальце; ты, стало быть, жила на земле — ты была замужем?

Я остановился... Ответа не было.

— Как тебя зовут — или звали по крайней мере?

— Зови меня Эллис.

— Эллис! Это английское имя! Ты англичанка? Ты знала меня прежде?

— Нет.

— Отчего же ты именно ко мне явилась?

— Я тебя люблю.

— И ты довольна?

— Да; мы носимся, мы кружимся с тобою по чистому воздуху.

— Эллис! — сказал я вдруг.— ты, может быть, преступная, осужденная душа?

Голова моей спутницы наклонилась.

— Я тебя не понимаю,— шепнула она.

— Заклинаю тебя именем бога...— начал было я.

— Что ты говоришь? — промолвила она с недоумением.— Я не понимаю.— Мне показалось, что рука, лежавшая холодноватым поясом вокруг моего стана, тихо шевельнулась...

— Не бойся,— промолвила Эллис,— не бойся, мой милый! — Ее лицо обернулось и придвинулось к моему лицу... Я почувствовал на губах моих какое-то странное ощущение, как бы прикосновение тонкого и мягкого жала... Незлые пиявки так берутся.

VIII

Я взглянул вниз. Мы уже опять успели подняться на довольно значительную вышину. Мы пролетали над неизвестным мне уездным городом, расположенным на скате широкого холма. Церкви высились среди темной массы деревянных крыш, фруктовых садов; длинный мост чернел на изгибе реки; всё молчало, отягченное сном. Самые куполы и кресты, казалось, блестели безмолвным блеском; безмолвно торчали высокие шесты колодцев возле круглых шапок ракит; белесоватое шоссе узкой стрелой безмолвно впивалось в один конец города и

безмолвно выбегало из противоположного конца на сумрачный простор однообразных полей.

— Что это за город? — спросил я.

— ...сов.

— ...сов в ...ой губернии?

— Да.

— Далеко же я от дому!

— Для нас отдаленности нет.

— В самом деле? — Внезапная удаль вспыхнула во мне.— Так неси же меня в Южную Америку!

— В Америку не могу. Там теперь день.

— А мы с тобой ночные птицы. Ну, куда-нибудь, куда можно, только подальше.

— Закрой глаза и не дыши,— отвечала Эллис,— и мы помчались с быстротою вихря. С потрясающим шумом врывался воздух в мои уши.

Мы остановились, но шум не прекращался. Напротив: он превратился в какой-то грозный рев, в громовой гул...

— Теперь можешь открыть глаза,— сказала Эллис.

IX

Я повиновался... Боже мой, где я?

Над головой тяжелые дымные тучи; они теснятся, они бегут, как стадо злобных чудовищ... а там, внизу, другое чудовище: разъяренное, именно разъяренное море... Белая пена судорожно сверкает и кипит на нем буграми — и, вздымая косматые волны, с грубым грохотом бьет оно в громадный, как смоль черный, утес. Завыванье бури, леденящее дыхание расколыхавшейся бездны, тяжкий плеск прибоя, в котором по временам чудится что-то похожее на вопли, на далекие пушечные выстрелы, на колокольный звон, раздирающий визг и скрежет прибрежных голышей, внезапный крик невидимой чайки, на мутном небосклоне шаткий остов корабля — всюду смерть, смерть и ужас... Голова у меня закружилась — и я снова с замиранием закрыл глаза...

— Что это? где мы?

— На южном берегу острова Уайт, перед утесом Блакганг, где так часто разбиваются корабли,— промолвила Эллис, на этот раз особенно отчетливо и, как мне показалось, не без злорадства.

— Неси меня прочь, прочь отсюда... домой! домой!

Я сжался весь, стиснул лицо руками... Я чувствовал,

что мы понеслись еще быстрее прежнего; ветер уже не выл и не свистал — он визжал в моих волосах, в моем платье... дух захватывало...

— Стань же на ноги,— раздался голос Эллис.

Я силился овладеть собою, своим сознанием... Я ощущал под подошвами землю и не слышал ничего, точно всё замерло кругом... только в виски неровно стучала кровь и с слабым внутренним звоном всё еще кружилась голова. Я выпрямился и открыл глаза.

X

Мы находились на плотине моего пруда. Прямо передо мною, сквозь острые листья ракит, виднелась его широкая гладь с кое-где приставшими волокнами пушистого тумана. Направо тускло лоснилось ржаное поле; налево вздымались деревья сада, длинные, неподвижные и как будто сырые... Утро уже дохнуло на них. По чистому серому небу тянулись, словно полосы дыма, две-три косые тучки; они казались желтоватыми — первый слабый отблеск зари падал на них бог весть откуда: глаз еще не мог различить на побелевшем небосклоне то место, где она должна была заняться. Звезды исчезали; ничего еще не шевелилось, хотя всё уже просыпалось в очарованной тишине раннего полусвета.

— Утро! вот утро! — воскликнула над самым моим ухом Эллис...— Прощай! До завтра!

Я обернулся... Легко отделяясь от земли, она плыла мимо — и вдруг подняла обе руки над головою. Эта голова, и руки, и плечи мгновенно вспыхнули телесным, теплым цветом; в темных глазах дрогнули живые искры; усмешка тайной неги шевельнула покрасневшие губы... Прелестная женщина внезапно возникла передо мною... Но, как бы падая в обморок, она тотчас опрокинулась назад и растаяла, как пар.

Я остался недвижим.

Когда я опомнился и оглянулся, мне показалось, что телесная, бледно-розовая краска, пробежавшая по фигуре моего призрака, всё еще не исчезла и, разлитая в воздухе, обдавала меня кругом... Это заря загоралась. Я вдруг почувствовал крайнюю усталость и отправился домой. Проходя мимо птичьего двора, я услыхал первое утреннее лепетанье гусенят (раньше их ни одна птица не просыпается); вдоль крыши на конце каждой приту-

жины сидело по галке — и все они хлопотливо и молча очищались, четко рисуясь на молочном небе. Изредка они разом все поднимались — и, полетав немного, садились опять рядком, без крика... Из недальнего леса два раза принеслось сипло-свежее чуфыканье черныша-тетерева, только что слетевшего в росистую, ягодами заросшую траву... С легкой дрожью в теле я добрался до постели и скоро заснул крепким сном.

XI

На следующую ночь, когда я стал подходить к старому дубу, Эллис понеслась мне навстречу, как к знакомому. Я не боялся ее по-вчерашнему, я почти обрадовался ей; я даже не старался понять, что со мной происходило; мне только хотелось полетать подальше по любопытным местам.

Рука Эллис опять обвилась вокруг меня — и мы опять помчались.

— Отправимся в Италию,— шепнул я ей на ухо.

— Куда хочешь, мой милый,— отвечала она торжественно и тихо — и тихо и торжественно повернула ко мне свое лицо. Оно показалось мне не столь прозрачным, как накануне; более женственное и более важное, оно напомнило мне то прекрасное создание, которое мелькнуло передо мной на утренней заре перед разлукой.

— Нынешняя ночь — великая ночь,— продолжала Эллис.— Она наступает редко — когда семь раз тринадцать...

Тут я не дослушал несколько слов.

— Теперь можно видеть, что бывает закрыто в другое время.

— Эллис! — взмолился я,— да кто же ты? скажи мне, наконец!

Она молча подняла свою длинную белую руку.

На темном небе, там, куда указывал ее палец, среди мелких звезд красноватой чертой сияла комета.

— Как мне понять тебя? — начал я.— Или ты — как эта комета носится между планетами и солнцем — носишься между людьми... и чем?

Но рука Эллис внезапно надвинулась на мои глаза... Словно белый туман из сырой долины обдал меня...

— В Италию! в Италию! — послышался ее шёпот.— Эта ночь — великая ночь!

XII

Туман перед моими глазами рассеялся, и я увидал под собою бесконечную равнину. Но уже по одному прикосновению теплого и мягкого воздуха к моим щекам я мог понять, что я не в России; да и равнина та не походила на наши русские равнины. Это было огромное тусклое пространство, по-видимому не поросшее травой и пустое; там и сям, по всему его протяжению, подобно небольшим обломкам зеркала, блистали стоячие воды; вдали смутно виднелось неслышное, недвижное море. Крупные звезды сияли в промежутках больших красивых облаков; тысячеголосная, немолчная и все-таки негромкая трель поднималась отовсюду — и чуден был этот пронзительный и дремотный гул, этот ночной голос пустыни...

— Понтийские болота,— промолвила Эллис.— Слышишь лягушек? Чувствуешь запах серы?

— Понтийские болота...— повторил я, и ощущение величавой унылости охватило меня.— Но зачем принесла ты меня сюда, в этот печальный, заброшенный край? Полетим лучше к Риму.

— Рим близок,— отвечала Эллис...— Приготовься!

Мы спустились и помчались вдоль старинной латинской дороги. Буйвол медленно поднял из вязкой тины свою косматую чудовищную голову с короткими вихрами щетины между криво назад загнутыми рогами. Он косо повел белками бессмысленно-злобных глаз и тяжело фыркнул мокрыми ноздрями, словно почуял нас.

— Рим, Рим близок...— шептала Эллис.— Гляди, гляди вперед...

Я поднял глаза.

Что это чернеет на окраине ночного неба? Высокие ли арки громадного моста? Над какой рекой он перекинут? Зачем он порван местами? Нет, это не мост, это древний водопровод. Кругом священная земля Кампании, а там, вдали, Албанские горы — и вершины их и седая спина старого водопровода слабо блестят в лучах только что взошедшей луны...

Мы внезапно взвились и повисли на воздухе перед уединенной развалиной. Никто бы не мог сказать, чем она была прежде: гробницей, чертогом, башней... Черный плющ обвивал ее всю своей мертвенной силой — а внизу раскрывался, как зев, полуобрушенный свод. Тяжелым запахом погреба веяло мне в лицо от этой груды мелких,

тесно сплоченных камней, с которых давно свалилась гранитная оболочка стены.

— Здесь,— произнесла Эллис и подняла руку.— Здесь! Проговори громко, три раза сряду, имя великого римлянина.

— Что же будет?

— Ты увидишь.

Я задумался.

— Divus Cajus Julius Caesar!..[1] — воскликнул я вдруг.— divus Cajus Julius Caesar! — повторил я протяжно.— Caesar!

XIII

Последние отзвучия моего голоса не успели еще замереть, как мне послышалось...

Мне трудно сказать, что́ именно. Сперва мне послышался смутный, ухом едва уловимый, но бесконечно повторявшийся взрыв трубных звуков и рукоплесканий. Казалось, где-то, страшно далеко, в какой-то бездонной глубине, внезапно зашевелилась несметная толпа — и поднималась, поднималась, волнуясь и перекликаясь чуть слышно, как бы сквозь сон, сквозь подавляющий, многовековый сон. Потом воздух заструился и потемнел над развалиной... Мне начали мерещиться тени, мириады теней, миллионы очертаний, то округленных, как шлемы, то протянутых, как копья; лучи луны дробились мгновенными синеватыми искорками на этих копьях и шлемах — и вся эта армия, эта толпа надвигалась ближе и ближе, росла, колыхалась усиленно... Несказанное напряжение, напряжение, достаточное для того, чтобы приподнять целый мир, чувствовалось в ней; но ни один образ не выдавался ясно... И вдруг мне почудилось, как будто трепет пробежал кругом, как будто отхлынули и расступились какие-то громадные волны... «Caesar, Caesar venit!»[2],— зашумели голоса, подобно листьям леса, на который внезапно налетела буря... Прокатился глухой удар — и голова бледная, строгая, в лавровом венке, с опущенными веками, голова императора стала медленно выдвигаться из-за развалины...

---

[1] Божественный Кай Юлий Цезарь!.. *(лат.)*.
[2] «Цезарь, Цезарь идет!» *(лат.)*.

На языке человеческом нету слов для выражения ужаса, который сжал мое сердце. Мне казалось, что раскрой эта голова свои глаза, разверзи свои губы — и я тотчас же умру.

— Эллис! — простонал я,— я не хочу, я не могу, не надо мне Рима, грубого, грозного Рима... Прочь, прочь отсюда!

— Малодушный! — шепнула она,— и мы умчались. Я успел еще услыхать за собою железный, громовый на этот раз, крик легионов... Потом всё потемнело.

XIV

— Оглянись,— сказала мне Эллис,— и успокойся.

Я послушался — и, помню, первое мое впечатление было до того сладостно, что я мог только вздохнуть. Какой-то дымчато-голубой, серебристо-мягкий не то свет, не то туман — обливал меня со всех сторон. Сперва я не различал ничего: меня слепил этот лазоревый блеск — но вот понемногу начали выступать очертания прекрасных гор, лесов; озеро раскинулось подо мною с дрожавшими в глубине звездами, с ласковым ропотом прибоя. Запах померанцев обдал меня волной — и вместе с ним и тоже как будто волною принеслись сильные, чистые звуки молодого женского голоса. Этот запах, эти звуки так и потянули меня вниз — и я начал спускаться... спускаться к роскошному мраморному дворцу, приветно белевшему среди кипарисной рощи. Звуки лились из его настежь раскрытых окон; волны озера, усеянного пылью цветов, плескались в его стены — и прямо напротив, весь одетый темной зеленью померанцев и лавров, весь облитый лучезарным паром, весь усеянный статуями, стройными колоннами, портиками храмов, поднимался из лона вод высокий круглый остров...

— Isola Bella! — проговорила Эллис.— Lago Maggiore...

Я промолвил только: а! и продолжал спускаться. Женский голос всё громче, всё ярче раздавался во дворце; меня влекло к нему неотразимо... я хотел взглянуть в лицо певице, оглашавшей такими звуками такую ночь. Мы остановились перед окном.

Посреди комнаты, убранной в помпейяновском вкусе и более похожей на древнюю храмину, чем на новейшую

залу, окруженная греческими изваяниями, этрусскими вазами, редкими растениями, дорогими тканями, освещенная сверху мягкими лучами двух ламп, заключенных в хрустальные шары,— сидела за фортепьянами молодая женщина. Слегка закинув голову и до половины закрыв глаза, она пела итальянскую арию; она пела и улыбалась, и в то же время черты ее выражали важность, даже строгость... признак полного наслаждения! Она улыбалась... и Праксителев Фавн, ленивый, молодой, как она, изнеженный, сладострастный, тоже, казалось, улыбался ей из угла, из-за ветвей олеандра, сквозь тонкий дым, поднимавшийся с бронзовой курильницы на древнем треножнике. Красавица была одна. Очарованный звуками, красотою, блеском и благовонием ночи, потрясенный до глубины сердца зрелищем этого молодого, спокойного, светлого счастья, я позабыл совершенно о моей спутнице, забыл о том, каким странным образом я стал свидетелем этой столь отдаленной, столь чуждой мне жизни,— и я хотел уже ступить на окно, хотел заговорить...

Всё мое тело вздрогнуло от сильного толчка — точно я коснулся лейденской банки. Я оглянулся... Лицо Эллис было — при всей своей прозрачности — мрачно и грозно; в ее внезапно раскрывшихся глазах тускло горела злоба...

— Прочь! — бешено шепнула она, и снова вихрь, и мрак, и головокружение... Только на этот раз не крик легионов, а голос певицы, оборванный на высокой ноте, остался у меня в ушах...

Мы остановились. Высокая нота, та же нота, всё звенела и не переставала звенеть, хотя я чувствовал совсем другой воздух, другой запах... На меня веяло крепительной свежестью, как от большой реки,— и пахло сеном, дымом, коноплей. За долго протянутой нотой последовала другая, потом третья, но с таким несомненным оттенком, с таким знакомым, родным переливом, что я тотчас же сказал себе: «Это русский человек поет русскую песню» — и в то же мгновенье мне всё кругом стало ясно.

XV

Мы находились над плоским берегом. Налево тянулись, терялись в бесконечность скошенные луга, уставленные громадными скирдами; направо в такую же бесконечность

уходила ровная гладь великой многоводной реки. Недалеко от берега большие темные барки тихонько переваливались на якорях, слегка двигая остриями своих мачт, как указательными перстами. С одной из этих барок долетали до меня звуки разливистого голоса, и на ней же горел огонек, дрожа и покачиваясь в воде своим длинным, красным отраженьем. Кое-где, и на реке и в полях, непонятно для глаза — близко ли, далеко ли — мигали другие огоньки; они то жмурились, то вдруг выдвигались лучистыми крупными точками; бесчисленные кузнечики немолчно стрекотали, не хуже лягушек понтийских болот, и под безоблачным, но низко нависшим темным небом изредка кричали неведомые птицы.

— Мы в России? — спросил я Эллис.

— Это Волга,— отвечала она.

Мы понеслись вдоль берега.

— Отчего ты меня вырвала оттуда, из того прекрасного края? — начал я.— Завидно тебе стало, что ли? Уж не ревность ли в тебе пробудилась?

Губы Эллис чуть-чуть дрогнули, и в глазах опять мелькнула угроза... Но всё лицо тотчас же вновь оцепенело.

— Я хочу домой,— проговорил я.

— Погоди, погоди,— отвечала Эллис.— Теперешняя ночь — великая ночь. Она не скоро вернется. Ты можешь быть свидетелем... Погоди.

И мы вдруг полетели через Волгу, в косвенном направлении, над самой водой, низко и порывисто, как ласточки перед бурей. Широкие волны тяжко журчали под нами, резкий речной ветер бил нас своим холодным, сильным крылом... Высокий правый берег скоро начал воздыматься перед нами в полумраке. Показались крутые горы с большими расселинами. Мы приблизились к ним.

— Крикни: «Сарынь на кичку!» — шепнула мне Эллис.

Я вспомнил ужас, испытанный мною при появлении римских призраков, я чувствовал усталость и какую-то странную тоску, словно сердце во мне таяло,— я не хотел произнести роковые слова, я знал заранее, что в ответ на них появится, как в Волчьей Долине Фрейшюца, что-то чудовищное,— но губы мои раскрылись против воли, и я закричал, тоже против воли, слабым напряженным голосом: «Сарынь на кичку!»

XVI

Сперва всё осталось безмолвным, как и перед римской развалиной, но вдруг возле самого моего уха раздался грубый бурлацкий смех — и что-то со стоном упало в воду и стало захлебываться... Я оглянулся: никого нигде не было видно, но с берега отпрянуло эхо — и разом и отовсюду поднялся оглушительный гам. Чего только не было в этом хаосе звуков: крики и визги, яростная ругань и хохот, хохот пуще всего, удары весел и топоров, треск как от взлома дверей и сундуков, скрып снастей и колес, и лошадиное скакание, звон набата и лязг цепей, гул и рев пожара, пьяные песни и скрежещущая скороговорка, неутешный плач, моление жалобное, отчаянное, и повелительные восклицанья, предсмертное хрипенье, и удалой посвист, гарканье и топот пляски... «Бей! вешай! топи! режь! любо! любо! так! не жалей!»— слышалось явственно, слышалось даже прерывистое дыхание запыхавшихся людей,— а между тем кругом, насколько глаз доставал, ничего не показывалось, ничего не изменялось: река катилась мимо, таинственно, почти угрюмо; самый берег казался пустынней и одичалей — и только.

Я обратился к Эллис, но она положила палец на губы...

— Степан Тимофеич! Степан Тимофеич идет! — зашумело вокруг,— идет наш батюшка, атаман наш, наш кормилец! — Я по-прежнему ничего не видел, но мне внезапно почудилось, как будто громадное тело надвигается прямо на меня...— Фролка! где ты, пес? — загремел страшный голос.— Зажигай со всех концов — да в топоры их, белоручек!

На меня пахнуло жаром близкого пламени, горькой гарью дыма — и в то же мгновенье что-то теплое, словно кровь, брызнуло мне в лицо и на руки... Дикий хохот грянул кругом...

Я лишился чувств — и когда опомнился, мы с Эллис тихо скользили вдоль знакомой опушки моего леса, прямо к старому дубу...

— Видишь ту дорожку? — сказала мне Эллис,— там, где месяц тускло светит и свесились две березки?.. Хочешь туда?

Но я чувствовал себя до того разбитым и истощенным, что мог только проговорить в ответ:

— Домой... домой!..

— Ты дома,— отвечала Эллис.

Я действительно стоял перед самой дверью моего дома — один. Эллис исчезла. Дворовая собака подошла было, подозрительно оглянула меня — и с воем бросилась прочь.

Я с трудом дотащился до постели и заснул, не раздеваясь.

XVII

Всё следующее утро у меня голова болела, и я едва передвигал ноги; но я не обращал внимания на телесное мое расстройство, раскаяние меня грызло, досада душила.

Я был до крайности недоволен собою. «Малодушный! — твердил я беспрестанно,— да, Эллис права. Чего я испугался? как было не воспользоваться случаем?.. Я мог увидеть самого Цезаря — и я замер от страха, я запищал, я отвернулся, как ребенок от розги. Ну, Разин — это дело другое. В качестве дворянина и землевладельца... Впрочем, и тут, чего же я собственно испугался? Малодушный, малодушный!..»

— Да уж не во сне ли я всё это вижу? — спросил я себя наконец. Я позвал ключницу.

— Марфа, в котором часу я лег вчера в постель — не помнишь?

— Да кто ж тебя знает, кормилец... Чай, поздно. В сумеречки ты из дома вышел; а в спальне-то ты каблучищами-то за полночь стукал. Под самое под утро — да. Вот и третьего дня тож. Знать, забота у тебя завелась какая.

«Эге-ге! — подумал я.— Летанье-то, значит, не подлежит сомнению».— Ну, а с лица я сегодня каков? — прибавил я громко.

— С лица-то? Дай погляжу. Осунулся маленько. Да и бледен же ты, кормилец: вот как есть ни кровинки в лице.

Меня слегка покоробило... Я отпустил Марфу.

«Ведь этак умрешь, пожалуй, или сойдешь с ума,— рассуждал я, сидя в раздумье под окном.— Надо это всё бросить. Это опасно. Вон и сердце как странно бьется. А когда я летаю, мне всё кажется, что его кто-то сосет или как будто из него что-то сочится,— вот как весной сок из березы, если воткнуть в нее топор. А все-таки жалко. Да и Эллис... Она играет со мной, как кошка с мышью... А впрочем, едва ли она желает мне зла. Отдамся ей в пос-

ледний раз — нагляжусь — а там... Но если она пьет мою кровь? Это ужасно. Притом такое быстрое передвижение не может не быть вредным; говорят, и в Англии, на железных дорогах, запрещено ехать более ста двадцати верст в час...»

Так я размышлял с самим собою — но в десятом часу вечера я уже стоял перед старым дубом.

XVIII

Ночь была холодная, тусклая, серая; в воздухе пахло дождем. К удивлению моему, я никого не нашел под дубом; я прошелся несколько раз вокруг, доходил до опушки леса, возвращался, тщательно вглядывался в темноту... Всё было пусто. Я подождал немного, потом несколько раз сряду произнес имя Эллис всё громче и громче... но она не появлялась. Мне стало грустно, почти больно; прежние мои опасенья исчезли: я не мог примириться с мыслью, что моя спутница уже не вернется ко мне.

— Эллис! Эллис! приди же! Неужели ты не придешь?— закричал я в последний раз.

Ворон, которого мой голос разбудил, внезапно завозился в вершине соседнего дерева и, путаясь в ветвях, захлопал крыльями... Но Эллис не появлялась.

Понурив голову, я отправился домой. Впереди уже чернели ракиты на плотине пруда, и свет в окне моей комнаты мелькнул между яблонями сада, мелькнул и скрылся, словно глаз человека, который бы меня караулил,— как вдруг сзади меня послышался тонкий свист быстро рассекаемого воздуха, и что-то разом обняло и подхватило меня снизу вверх: кобчик так подхватывает когтем, «чокает» перепела... Это Эллис на меня налетела. Я почувствовал ее щеку на моей щеке, кольцо ее руки вокруг моего тела — и как острый холодок вонзился мне в ухо ее шёпот: «Вот и я». Я и испугался и обрадовался в одно и то же время... Мы неслись невысоко над землей.

— Ты не хотела прийти сегодня? — промолвил я.

— А ты соскучился по мне? Ты меня любишь? О, ты мой!

Последние слова Эллис меня смутили... Я не знал, что́ сказать.

— Меня задержали,— продолжала она,— меня караулили.

— Кто мог тебя задержать?

— Куда ты хочешь? — спросила Эллис, по обыкновению не отвечая на мой вопрос.

— Понеси меня в Италию, к тому озеру — помнишь?

Эллис слегка отклонилась и отрицательно покачала головой. Тут я в первый раз заметил, что она перестала быть прозрачной. И лицо ее как будто окрасилось; по туманной его белизне разливался алый оттенок. Я взглянул в ее глаза... и мне стало жутко: в этих глазах что-то двигалось — медленным, безостановочным и зловещим движением свернувшейся и застывшей змеи, которую начинает отогревать солнце.

— Эллис! — воскликнул я,— кто ты? Скажи же мне, кто ты?

Эллис только плечом пожала.

Мне стало досадно... мне захотелось отомстить ей,— и вдруг мне пришло на ум велеть ей перенестись со мною в Париж. «Вот уж где придется тебе ревновать»,— подумал я.

— Эллис! — промолвил я вслух,— ты не боишься больших городов, Парижа, например?

— Нет.

— Нет? Даже тех мест, где так светло, как на бульварах?

— Это не дневной свет.

— Прекрасно; так неси же меня сейчас на Итальянский бульвар.

Эллис накинула мне на голову конец своего длинного висячего рукава. Меня тотчас охватила какая-то белая мгла с снотворным запахом мака. Всё исчезло разом: всякий свет, всякий звук — и самое почти сознание. Одно ощущение жизни осталось — и это не было неприятно.

Внезапно мгла исчезла: Эллис сняла рукав с моей головы, и я увидел под собою громаду столпившихся зданий, полную блеска, движения, грохота... Я увидел Париж.

XIX

Я прежде бывал в Париже и потому тотчас узнал место, к которому направлялась Эллис. Это был Тюльерийский сад, с его старыми каштановыми деревьями, железными решетками, крепостным рвом и звероподобными зуавами на часах. Минуя дворец, минуя церковь св. Роха, на ступенях которой первый Наполеон в первый раз пролил французскую кровь, мы остановились высоко над Итали-

янским бульваром, где третий Наполеон сделал то же самое и с тем же успехом. Толпы народа, молодые и старые щеголи, блузники, женщины в пышных платьях теснились по панелям; раззолоченные рестораны и кофейные горели огнями; омнибусы, кареты всех родов и видов сновали вдоль бульвара; всё так и кипело, так и сияло, всё, куда ни падал взор... Но, странное дело! мне не захотелось покинуть мою чистую, темную, воздушную высь, не захотелось приблизиться к этому человеческому муравейнику. Казалось, горячий, тяжелый, рдяный пар поднимался оттуда, не то пахучий, не то смрадный: уж очень много жизней сбилось там в одну кучу. Я колебался... Но вот резкий, как лязг железных полос, голос уличной лоретки внезапно долетел до меня; как наглый язык, высунулся он наружу, этот голос; он кольнул меня, как жало гадины. Я тотчас представил себе каменное, скулистое, жадное, плоское парижское лицо, ростовщичьи глаза, белила, румяны, взбитые волосы и букет ярких поддельных цветов под остроконечной шляпой, выскребленные ногти вроде когтей, безобразный кринолин... Я представил себе также и нашего брата степняка, бегущего дрянной припрыжкой за продажной куклой... Я представил себе, как он, конфузясь до грубости и насильственно картавя, старается подражать в манерах гарсонам Вефура, пищит, подслуживается, юлит,— и чувство омерзения охватило меня... «Нет,— подумал я,— здесь Эллис ревновать не придется...»

Между тем я заметил, что мы понемногу начали понижаться... Париж вздымался к нам навстречу со всем своим гамом и чадом...

— Остановись! — обратился я к Эллис.— Неужели тебе не душно здесь, не тяжело?

— Ты сам просил меня перенести тебя сюда.

— Я виноват, я беру назад свое слово. Неси меня прочь, Эллис, прошу тебя. Так и есть: вот и князь Кульмаметов ковыляет по бульвару, и друг его, Серж Варакин, машет ему ручкой и кричит: «Иван Степаныч, аллон супэ[1], скорей, же ангаже[2] самое Ригольбош!» Неси меня прочь от этих мабилей и мезон-доре́, от ганденов и биш, от Жокей-клуба и Фигаро, от выбритых солдатских лбов и вылощенных казарм, от сержандевилей с эспаньолками и стаканов мутного абсенту, от игроков в домино по кофейным и игроков на бирже, от красных ленточек в петлице

[1] пойдем ужинать *(франц.)*.
[2] я пригласил *(франц.)*.

сюртука и в петлице пальто, от господина де Фуа, изобретателя «специальности браков» и даровых консультаций д-ра Шарля Альбера, от либеральных лекций и правительственных брошюр, от парижских комедий и парижских опер, от парижских острот и парижского невежества... Прочь! прочь! прочь!

— Взгляни вниз,— отвечала мне Эллис,— ты уже не над Парижем.

Я опустил глаза... Точно. Темная равнина, кой-где пересеченная беловатыми чертами дорог, быстро бежала под нами, и только назади, на небосклоне, как зарево огромного пожара, било кверху широкое отражение бесчисленных огней мировой столицы.

XX

Опять упала пелена на глаза мои... Опять я забылся. Она рассеялась наконец.

Что это там внизу? Какой это парк с аллеями стриженых лип, с отдельными елками в виде зонтиков, с портиками и храмами во вкусе помпадур, с изваяниями сатиров и нимф берниниевской школы, с тритонами рококо на средине изогнутых прудов, окаймленных низкими перилами из почерневшего мрамора? Не Версаль ли это? Нет, это не Версаль. Небольшой дворец, тоже рококо, выглядывает из-за купы кудрявых дубов. Луна неясно светит, окутанная паром, и по земле как будто разостлался тончайший дым. Глаз не может разобрать, что это такое: лунный свет или туман? Вон на одном из прудов спит лебедь: его длинная спина белеет, как снег степей, прохваченных морозом,— а вон светляки горят алмазами в голубоватой тени у подножья статуй.

— Мы возле Мангейма,— промолвила Эллис,— это Швецингенский сад.

«Так мы в Германии!» — подумал я и начал прислушиваться. Всё было безмолвно; только где-то уединенно и незримо плескалась и болтала струйка падавшей воды. Казалось, она твердила всё одни и те же слова: «Да, да, да, всегда, да». И вдруг мне почудилось, как будто по самой середине одной из аллей, между стенами стриженой зелени, жеманно подавая руку даме в напудренной прическе и пестром роброне, выступал на красных каблуках кавалер, в золоченом кафтане и кружевных манжетках, с легкой стальной шпагой на бедре... Странные, бледные

лица... Я хочу вглядеться в них... Но уже всё исчезло, и только по-прежнему болтает вода.

— Это сны бродят,— шепнула Эллис,— вчера можно было увидеть много... много. Сегодня и сны бегут человеческого глаза. Вперед! Вперед!

Мы поднялись кверху и полетели дальше. Так плавен и ровен был наш полет, что казалось: не мы двигались, а всё, напротив, к нам двигалось навстречу. Появились горы, темные, волнистые, покрытые лесом; они выросли и поплыли на нас... Вот уже они протекают под нами со всеми своими извилинами, ложбинами, узкими лугами, с огненными точками в заснувших деревушках у быстрых ручьев на дне долин; а впереди опять вырастают и плывут другие горы... Мы в недрах Шварцвальда.

Горы, всё горы... и лес, прекрасный, старый, могучий лес. Ночное небо ясно: я могу признать каждую породу деревьев; особенно великолепны пихты с их белыми прямыми стволами. Кое-где на опушках виднеются дикие козы; стройно и чутко стоят они на своих тонких ножках и прислушиваются, красиво повернув головы и насторожив большие трубчатые уши. Развалина башни печально и слепо выставляет с вершины голого утеса свои полуобрушенные зубцы; над старыми, забытыми камнями мирно теплится золотая звездочка. Из небольшого, почти черного озера поднимается, как таинственная жалоба, стенящее укание маленьких жаб. Мне чудятся другие звуки, длинные, томные, подобные звукам эоловой арфы... Вот она, страна легенд! Тот же самый тонкий лунный дым, который поразил меня в Швецингене, разлит здесь повсюду, и чем дальше расходятся горы, тем гуще этот дым. Я насчитываю пять, шесть, десять различных тонов, различных пластов тени по уступам гор, и над всем этим безмолвным разнообразием задумчиво царит луна. Воздух струится мягко и легко. Мне самому легко и как-то возвышенно спокойно и грустно...

— Эллис, ты должна любить этот край!

— Я ничего не люблю.

— Как же это? А меня?

— Да... тебя! — отвечает она равнодушно.

Мне сдается, что ее рука теснее прежнего обвивает мой стан.

— Вперед! Вперед! — говорит Эллис с каким-то холодным увлеченьем.

— Вперед! — повторяю я.

XXI

Сильный, переливчатый, звонкий крик раздался внезапно над нами и тотчас же повторился уже немного впереди.

— Это запоздалые журавли летят к вам, на север,— сказала Эллис,— хочешь к ним присоединиться?

— Да, да! подними меня к ним...

Мы взвились и в один миг очутились рядом с пролетавшей станицей.

Крупные красивые птицы (их всего было тринадцать) летели трехугольником, резко и редко махая выпуклыми крыльями. Туго вытянув голову и ноги, круто выставив грудь, они стремились неудержимо и до того быстро, что воздух свистал вокруг. Чудно было видеть на такой вышине, в таком удалении от всего живого такую горячую, сильную жизнь, такую неуклонную волю. Не переставая победоносно рассекать пространство, журавли изредка перекликались с передовым товарищем, с вожаком, и было что-то гордое, важное, что-то несокрушимо-самоуверенное в этих громких возгласах, в этом подоблачном разговоре. «Мы долетим небось, хоть и трудно»,— казалось, говорили они, ободряя друг друга. И тут мне пришло в голову, что таких людей, каковы были эти птицы, в России — где в России! в целом свете немного.

— Мы теперь летим в Россию,— промолвила Эллис. Я уже не в первый раз мог заметить, что она почти всегда знала, о чем я думаю.— Хочешь вернуться?

— Вернемся... или нет! Я был в Париже; неси меня в Петербург.

— Теперь?

— Сейчас... Только закрой мне голову твоей пеленой, а то мне дурно делается.

Эллис подняла руку... но прежде чем туман охватил меня, я успел почувствовать на губах моих прикосновение того мягкого, тупого жала...

XXII

«Слуша-а-а-ай!» — раздался в ушах моих протяжный крик. «Слуша-а-а-ай!» — словно с отчаянием отозвалось в отдалении. «Слуша-а-а-ай!» — замерло где-то на конце света. Я встрепенулся. Высокий золотой шпиль бросился мне в глаза: я узнал Петропавловскую крепость.

Северная, бледная ночь! Да и ночь ли это? Не бледный, не больной ли это день? Я никогда не любил петербургских ночей; но на этот раз мне даже страшно стало: облик Эллис исчезал совершенно, таял, как утренний туман на июльском солнце, и я ясно видел всё свое тело, как оно грузно и одиноко висело в уровень Александровской колонны. Так вот Петербург! Да, это он, точно. Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, желто-серые, серо-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами, яркими вывесками, железными навесами над крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колоды; золотая шапка Исаакия; ненужная пестрая биржа; гранитные стены крепости и взломанная деревянная мостовая; эти барки с сеном и дровами; этот запах пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаменелые дворники в тулупах у ворот, эти скорченные мертвенным сном извозчики на продавленных дрожках,— да, это она, наша Северная Пальмира. Всё видно кругом; всё ясно, до жуткости четко и ясно, и всё печально спит, странно громоздясь и рисуясь в тускло-прозрачном воздухе. Румянец вечерней зари — чахоточный румянец — не сошел еще, и не сойдет до утра с белого, беззвездного неба; он ложится полосами по шелковистой глади Невы, а она чуть журчит и чуть колышется, торопя вперед свои холодные синие воды...

— Улетим,— взмолилась Эллис.

И, не дожидаясь моего ответа, она понесла меня через Неву, через Дворцовую площадь, к Литейной. Шаги и голоса послышались внизу: по улице шла кучка молодых людей с испитыми лицами и толковала о танцклассах. «Подпоручик Столпаков седьмый!» — крикнул вдруг спросонку солдат, стоявший на часах у пирамидки ржавых ядер, а несколько подальше, у раскрытого окна высокого дома, я увидел девицу в измятом шелковом платье, без рукавчиков, с жемчужной сеткой на волосах и с папироской во рту. Она благоговейно читала книгу: это был том сочинений одного из новейших Ювеналов.

— Улетим! — сказал я Эллис.

Минута, и уже мелькали под нами гнилые еловые лесишки и моховые болота, окружающие Петербург. Мы направлялись прямо к югу: небо и земля, всё становилось понемногу темней и темней. Больная ночь, больной день, больной город — всё осталось назади.

XXIII

Мы летели тише обыкновенного, и я имел возможность уследить глазами, как постепенно развертывалось передо мною, подобно свитку нескончаемой панорамы, обширное пространство родной земли. Леса, кусты, поля, овраги, реки — изредка деревни, церкви — и опять поля, и леса, и кусты, и овраги... Грустно стало мне и как-то равнодушно скучно. И не потому стало мне грустно и скучно, что пролетал я именно над Россией. Нет! Сама земля, эта плоская поверхность, которая расстилалась подо мною; весь земной шар с его населением, мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным к глыбе презренного праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этот нарост на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, величаемая нами органическим, растительным царством; эти люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее мух; их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой, однообразной возни, их забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным,— как это мне вдруг всё опротивело! Сердце во мне медленно перевернулось, и не захотелось мне более глазеть на эти незначительные картины, на эту пошлую выставку... Да, мне стало скучно — хуже чем скучно. Даже жалости я не ощущал к своим собратьям: все чувства во мне потонули в одном, которое я назвать едва дерзаю: в чувстве отвращения, и сильнее всего, и более всего во мне было отвращение — к самому себе.

— Перестань,— шепнула Эллис,— перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжел становишься.

— Ступай домой,— отвечал я ей тем же голосом, каким я говаривал эти слова моему кучеру, выходя в четвертом часу ночи от московских приятелей, с которыми с самого обеда толковал о будущности России и значении общины.— Ступай домой,— повторил я и закрыл глаза.

XXIV

Но я скоро раскрыл их. Эллис как-то странно ко мне прижималась; она почти толкала меня. Я посмотрел на нее — и кровь во мне застыла. Кому случалось увидать на лице другого внезапное выражение глубокого ужаса, причину которого он не подозревает,— тот меня поймет. Ужас, томительный ужас кривил, искажал бледные, поч-

ти стертые черты Эллис. Я не видал ничего подобного даже на живом человеческом лице. Безжизненный, туманный призрак, тень... и этот замирающий страх...

— Эллис, что с тобой? — проговорил я наконец.

— Она... она...— отвечала она с усилием,— она!

— Она? Кто она?

— Не называй ее, не называй,— торопливо пролепетала Эллис.— Надо спасаться, а то всему конец — и навсегда... Посмотри: вон там!

Я обернул голову в сторону, куда указывала мне трепещущая рука,— и увидал нечто... нечто действительно страшное.

Это нечто было тем страшнее, что не имело определенного образа. Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, как брюхо ящерицы,— не туча и не дым, медленно, змеиным движением, двигалось над землей. Мерное, широкое колебание сверху вниз и снизу вверх, колебание, напоминающее зловещий размах крыльев хищной птицы, когда она ищет свою добычу; по временам неизъяснимо противное приникание к земле,— паук так приникает к пойманной мухе... Кто ты, что ты, грозная масса? Под ее веянием — я это видел, я это чувствовал — всё уничтожалось, всё немело... Гнилым, тлетворным холодком несло от нее — от этого холодка тошнило на сердце и в глазах темнело и волосы вставали дыбом. Это сила шла; та сила, которой нет сопротивления, которой всё подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла — всё видит, всё знает, и как хищная птица выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мерзлым жалом...

— Эллис! Эллис! — закричал я как исступленный.— Это смерть! сама смерть!

Жалобный звук, уже прежде слышанный мною, вырвался из уст Эллис — на этот раз он скорее походил на человеческий отчаянный вопль — и мы понеслись. Но наш полет был странно и страшно неровен; Эллис кувыркалась на воздухе, падала, бросалась из стороны в сторону, как куропатка, смертельно раненная или желающая отвлечь собаку от своих детей. А между тем, вслед за нами, отделившись от неизъяснимо-ужасной массы, покатились какие-то длинные, волнистые отпрыски, словно протянутые руки, словно когти... Громадный образ закутанной фигуры на бледном коне мгновенно встал и взвился под самое небо... Еще тревожнее, еще отчаяннее заметалась Эллис. «Она увидела! Всё кончено! Я пропа-

за!..— слышался ее прерывистый шёпот.— О, я несчастная! Я могла бы воспользоваться, набраться жизни... а теперь... Ничтожество, ничтожество!»

Это было слишком невыносимо... Я лишился чувств.

XXV

Когда я опомнился — я лежал навзничь в траве и чувствовал во всем теле глухую боль, как от сильного ушиба. На небе брезжило утро: я мог ясно различать предметы. Невдалеке, вдоль березовой рощицы, шла дорога, усаженная ракитами: места мне казались знакомые. Я начал припоминать, что произошло со мною,— и содрогнулся весь, как только пришло мне на ум то последнее безобразное видение...

«Но чего же испугалась Эллис? — подумал я.— Уже ли и она подлежит *ее* власти? Разве она не бессмертна? Разве и она обречена ничтожеству, разрушению? как это возможно?»

Тихий стон раздался вблизи. Я повернул голову. В двух шагах от меня недвижно лежала распростертая молодая женщина в белом платье, с разбросанными густыми волосами, с обнаженным плечом. Одна рука закинулась за голову, другая упала на грудь. Глаза были закрыты, и на стиснутых губах выступила легкая алая пена. Неужели это Эллис? Но Эллис — призрак, а я видел перед собою живую женщину. Я подполз к ней, наклонился...

— Эллис? ты ли это? — воскликнул я. Вдруг, медленно затрепетав, приподнялись широкие веки; темные пронзительные глаза впились в меня — и в то же мгновенье в меня впились и губы, теплые, влажные, с кровяным запахом... мягкие руки крепко обвились вокруг моей шеи, горячая полная грудь судорожно прижалась к моей.

— Прощай! прощай навек! — явственно произнес замиравший голос — и всё исчезло.

Я приподнялся, шатаясь на ногах словно пьяный — и, проведя несколько раз руками по лицу, огляделся внимательно. Я находился возле большой ...ой дороги, в двух верстах от своей усадьбы. Солнце уже встало, когда я добрался домой.

Все следующие ночи я ждал — и, признаюсь, не без страха — появления моего призрака; но он не посещал меня более. Я даже отправился однажды в сумерки к старому дубу, но и там не произошло ничего необыкновенного. Впрочем, я не слишком жалел о прекращении такого странного знакомства. Я много и долго размышлял об этом непонятном, почти бестолковом казусе — и я убедился, что не только наука его не объясняет, но что даже в сказках, в легендах не встречается ничего подобного. Что такое Эллис в самом деле? Привидение, скитающаяся душа, злой дух, сильфида, вампир, наконец? Иногда мне опять казалось, что Эллис — женщина, которую я когда-то знал,— и я делал страшные усилия, чтобы припомнить, где я ее видел... Вот-вот — казалось иногда,— сейчас, сию минуту вспомню... Куда! всё опять расплывалось как сон. Да, я думал много и, как водится, ни до чего не додумался. Спросить совета или мнения других людей я не решался, боясь прослыть за сумасшедшего. Я, наконец, бросил все свои размышления: правду сказать, мне было не до того. С одной стороны, подвернулась эмансипация с разверстанием угодий и пр. и пр.; а с другой, собственное здоровье расстроилось: грудь заболела, бессонница, кашель. Всё тело сохнет. Лицо желтое, как у мертвеца. Доктор уверяет, что у меня крови мало, называет мою болезнь греческим именем «анемией» — и посылает меня в Гастейн. А посредник божится, что без меня с крестьянами «не сообразишь»...

Вот тут и соображай!

Но что значат те пронзительно чистые и острые звуки, звуки гармоники, которые я слышу, как только заговорят при мне о чьей-нибудь смерти? Они становятся всё громче, всё пронзительней... И зачем я так мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожестве?

ДОВОЛЬНО

Отрывок из записок умершего художника

I

. . . .

II

. . . .

III

...«Довольно»,— говорил я самому себе, между тем как ноги мои, нехотя переступая по крутому скату горы, несли меня вниз, к тихой речке; — «довольно»,— повторял я, вдыхая смолистый запах сосновой рощи, которому свежесть наступавшего вечера придавала особенную крепость и остроту; — «довольно»,— сказал я еще раз, усевшись на моховом бугре над самой речкой и глядя на ее темные и небыстрые волны, над которыми толстый тростник поднимал свои бледно-зеленые стебли... «Довольно!»— Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора: пора взять голову в обе руки и велеть сердцу молчать. Полно нежиться сладкой негой неопределенных, но пленительных ощущений, полно бежать за каждым новым образом красоты, полно ловить каждое трепетание ее тонких и сильных крыл. Всё изведано — всё перечувствовано много раз... устал я.— Что мне в том, что в это самое мгновенье заря всё шире, всё ярче разливается по небу, словно распаленная какою-то всепобедною страстию? Что в том, что в двух шагах от меня, среди тишины и неги и блеска вечера, в росистой глубине неподвижного куста, соловей вдруг сказался такими волшебными звуками, точно до него на свете не водилось соловьев и он первый запел первую песнь о первой любви? Всё это было, было, повторялось, повторяется тысячу раз — и как вспомнишь, что всё это будет продолжаться так целую вечность, словно по указу, по закону,— даже досадно станет! Да... досадно!

IV

Эх, состарился я! Прежде подобные мысли и в голову бы мне не пришли — прежде, в те счастливые дни, когда я сам разгорался, как заря, и пел, как соловей. Надо

признаться: всё потускнело вокруг, вся жизнь поблекла. Свет, который дает ее краскам и значение и силу,— тот свет, который исходит из сердца человека,— погас во мне... Нет, он еще не погас— но едва тлеет, без лучей и без теплоты. Помнится, однажды поздней ночью, в Москве, я подошел к решетчатому окну старенькой церкви и прислонился к неровному стеклу. Было темно под низкими сводами — позабытая лампадка едва теплилась красным огоньком перед древним образом — и смутно виднелись одни только губы святого лика, строгие, скорбные; угрюмый мрак надвигался кругом и, казалось, готовился подавить своею глухою тяжестью слабый луч ненужного света... И в сердце моем — теперь такой же свет и такой же мрак.

V

И это я пишу тебе — тебе, мой единственный и незабвенный друг, тебе, дорогая моя подруга, которую я покинул навсегда, но которую не перестану любить до конца моей жизни... Увы! ты знаешь, что́ нас разлучило. Но я не хочу теперь упоминать об этом. Я тебя покинул... но и здесь, в этой глуши, в этой дали, в этом изгнании— я весь проникнут тобою, я по-прежнему в твоей власти, попрежнему чувствую сладостное тяготение твоей руки на моей склоненной голове! В последний раз приподнимаясь из немой могилы, в которой я теперь лежу, я пробегаю кротким и умиленным взором всё мое прошедшее, всё наше прошедшее... Надежды нет, и нет возврата — но и горечи нет во мне и нет сожаленья, и яснее небесной лазури, чище первого снега на горных высотах, восстают, как образы умерших богов, прекрасные воспоминанья... Они не теснятся толпами, они проходят тихой чередою, как те закутанные фигуры афинских феорий, которыми — помнишь? — мы так любовались на древних барельефах Ватикана...

VI

Я сейчас упомянул о свете, который исходит из сердца человеческого и озаряет всё, что его окружает... Мне хочется поговорить с тобою о том времени, когда и в моем сердце горел этот благодатный свет. Слушай... а я воображу, что ты сидишь передо мною и глядишь на меня твоими ласковыми и в то же время почти до строгости внимательными глазами. О незабвенные глаза! На кого, куда

устремлены вы теперь? Кто принимает в свою душу ваш взгляд — этот взгляд, который как будто вытекает из неведомой глубины, подобно тем таинственным ключам, как вы, и светлым и темным, которые бьют на самом дне тесных долин, под навесами скал?.. Слушай.

VII

Это было в конце марта, перед благовещением, вскоре после того, как я в первый раз тебя увидел, и, еще не подозревая, чем ты станешь для меня, уже носил тебя в сердце — безмолвно и тайно. Мне пришлось переезжать одну из главных рек России. Лед еще не тронулся на ней, но как будто вспух и потемнел; четвертый день стояла оттепель. Снег таял кругом — дружно, но тихо; везде сочилась вода; в рыхлом воздухе бродил беззвучный ветер. Один и тот же, ровный молочный цвет обливал землю и небо; тумана не было — но не было и света; ни один предмет не выделялся на общей белизне; всё казалось и близким, и неясным. Оставив свою кибитку далеко назади, я быстро шел по льду речному — и, кроме глухого стука собственных шагов, не слышал ничего; я шел, со всех сторон охваченный первым млением и веянием ранней весны... И понемногу, прибавляясь с каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то радостная, непонятная тревога... Она увлекала, она торопила меня — и так сильны были ее порывы, что я остановился наконец в изумлении и вопросительно посмотрел вокруг, как бы желая отыскать внешнюю причину моего восторженного состояния... Всё было тихо, бело, сонно; но я поднял глаза: высоко на небе неслись станицей прилетные птицы... «Весна! здравствуй, весна! — закричал я громким голосом.— здравствуй, жизнь, и любовь, и счастье!» — и в то же мгновенье, с сладостно потрясающей силой, подобно цвету кактуса, внезапно вспыхнул во мне твой образ — вспыхнул и стал, очаровательно яркий и прекрасный,— и я понял, что я люблю тебя, тебя одну, что я весь полон тобою...

VIII

Я думаю о тебе... и много других воспоминаний, других картин встает передо мною — и повсюду ты, на всех путях моей жизни встречаю я тебя. То является мне ста-

«ДОВОЛЬНО». ПЕРВАЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА.

Национальная библиотека, Париж.

рый русский сад на скате холма, освещенный последними лучами летнего солнца. Из-за серебристых тополей выглядывает тесовая крыша господского дома с тонким завитком алого дыма над белой трубой, а в заборе калитка чуть раскрылась, словно кто потянул ее нерешительной рукою,— и я стою и жду, и гляжу на эту калитку и на песок садовой дорожки — я дивлюсь и умиляюсь, всё, что я вижу, мне кажется необыкновенным и новым, всё обвеяно какой-то светлой, ласковой таинственностью,— и уже чудится мне быстрый шелест шагов — и стою я, весь напряженный и легкий, как птица, только что сложившая крылья и готовая взвиться вновь,— и сердце горит и трепещет веселым страхом перед близким, перед налетающим счастьем...

IX

То вижу я древний собор в далекой, прекрасной стране. Рядами теснится коленопреклоненный народ; молитвенным холодом, чем-то важным и унылым веет от высокого, нагого свода, от громадных, к верху разветвленных столбов. Ты стоишь возле меня безгласно и безучастно, точно ты мне чужая; каждая складка твоего темного плаща висит неподвижно, как изваянная; неподвижно лежат пестрые отраженья цветных окон у ног твоих, на потертых плитах. И вот, сильно потрясая тусклый от ладана воздух, внутренно нас потрясая, тяжелой волной прокатились звуки органа — и ты побледнела и выпрямилась — твой взор коснулся меня, скользнул выше и поднялся к небу,— а мне показалось, что только бессмертная душа может так глядеть и такими глазами...

X

То является мне другая картина. Не старинный храм подавляет нас своим суровым великолепием; низкие стены небольшой уютной комнатки отделяют нас от целого мира. Что я говорю! мы одни, одни в целом мире; кроме нас двоих, нет ничего живого; за этими дружелюбными стенами мрак, и смерть, и пустота. То не ветер воет, то не дождик струится ручьями: то жалуется и стонет Хаос; то плачут его слепые очи. А у нас тихо, и светло, и тепло, и приветно; что-то забавное, что-то детски-невинное, бабочкой — не правда ли? — порхает вокруг; мы приютились друг к дружке, мы прислонились друг к дружке головами и оба читаем хорошую книгу; я чувствую, как бьет-

ся тонкая жилка в твоем нежном виске, я слышу, как ты живешь, ты слышишь, как я живу, твоя улыбка рождается у меня на лице прежде, чем у тебя, ты отвечаешь безмолвно на мой безмолвный вопрос, твои мысли, мои мысли — как оба крыла одной и той же в лазури потонувшей птицы... Последние преграды пали — и так успокоилась, так углубилась наша любовь, так бесследно исчезло всякое разъединение, что нам даже не хочется меняться словом, взглядом... Только дышать, дышать вместе хочется нам, жить вместе, быть вместе... и даже не сознавать того, что мы вместе...

XI

Или, наконец, мне представляется то ясное, сентябрьское утро, когда мы гуляли с тобою по пустынному, еще не отцветшему саду заброшенного дворца, на берегу великой нерусской реки, при кротком сиянии безоблачного неба. О, как передать те ощущения! Эта бесконечно текущая река, эта безлюдность и спокойствие, и радость, и какая-то упоительная грусть, и колыхание счастья, незнакомый однообразный город, осенние крики галок в высоких светлых деревьях — и эти ласковые речи и улыбки, и взгляды, долгие, мягкие, до дна доходящие, и красота, красота в самих нас, кругом, повсюду — это выше слов. О скамейка, на которой мы сидели молча, с поникшими от избытка чувств головами,— не забыть мне тебя до смертного моего часа! Что за прелесть были эти редкие прохожие с их коротким приветом и добрыми лицами, и плывшие мимо большие тихие лодки (на одной из них — помнишь?— стояла лошадь и задумчиво глядела на скользившую у ней под носом воду) — ребяческий лепет мелких прибрежных волн и самый лай далеких собак над гладью реки, самое покрикивание дородного унтер-офицера на учившихся тут же в сторонке краснощеких рекрутов с их оттопыренными локтями и вынесенными вперед на журавлиный лад ногами!.. Мы чувствовали оба, что лучше этих мгновений ничего в мире не бывало и не будет для нас, что всё остальное... Да и какие тут сравнения! Довольно... довольно!.. Увы! да: довольно.

XII

В последний раз отдался я тем воспоминаниям и прощаюсь с ними безвозвратно. Так скупой. в последний раз налюбовавшись своим кладом, своим золотом, своим

светлым сокровищем,— засыпает его серой сырой землею; так светильня истощенной лампады, вспыхнув последним, ярким пламенем, покрывается холодным пеплом. Взглянул зверек в последний раз из своей норки на бархатную травку, на солнышко, на голубые ласковые воды — да и забился в самую глубь, свернулся калачиком и заснул. Будут ли ему хотя во сне мерещиться и солнышко, и травка, и голубые ласковые воды?

. . . .

. . . .

. . . .

XIII

Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба — и только на первых порах мы, занятые всякими случайностями, вздором, самими собою, не чувствуем ее черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать — можно жить и не стыдно надеяться. Истина — не полная истина — о той и помину быть не может, но даже та малость, которая нам доступна, замыкает тотчас нам уста, связывает нам руки, сводит нас «на нет». Тогда одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине самозабвения... самопрезрения: спокойно отвернуться ото всего, сказать: довольно! — и, скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества; то достоинство, на которое намекает Паскаль, когда он, называя человека мыслящим тростником, говорит, что если бы целая вселенная его раздавила — он, этот тростник, был бы все-таки выше вселенной, потому что он бы знал, что она его давит, а она бы этого не знала. Слабое достоинство! Печальное утешение! Как ты ни старайся проникнуться им, поверить ему — о, ты, кто бы ни был, мой бедный собрат,— не отразить тебе тех грозных слов поэта: «Наша жизнь — одна бродячая тень; жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене, а там пропадает без вести; сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости и не имеющая никакого смысла» *. Я при-

---

* *Макбет.* Акт V-й, сцена 5-я.

вел стихи из «Макбета», и пришли мне на память те ведьмы, призраки, привидения... Увы! не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна гофманщина, под каким бы видом она ни являлась... Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко-неинтересна и нищенски плоска. Проникнувшись *этим* сознаньем, отведав *этой* полыни, никакой уже мед не покажется сладким — и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности — даже оно теряет всё свое обаяние; всё его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Ну да: человек полюбил, загорелся, залепетал о вечном блаженстве, о бессмертных наслаждениях — смотришь: давным-давно уже нет следа самого того червя, который выел последний остаток его иссохшего языка. Так, поздней осенью, в морозный день, когда всё безжизненно и немо в поседелой траве, на окраине обнаженного леса,— стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю — тотчас отовсюду поднимутся мошки: они играют в теплом его луче, хлопочут, толкутся вверх, вниз, вьются друг около друга... Солнце скроется — мошки валятся слабым дождем — и конец их мгновенной жизни.

XIV

Но разве нет великих представлений, великих утешительных слов: «Народность, право, свобода, человечество, искусство?» Да; эти слова существуют, и много людей живет ими и для них. Но все-таки мне сдается, что если бы вновь народился Шекспир, ему не из чего было бы отказаться от своего Гамлета, от своего Лира. Его проницательный взор не открыл бы ничего нового в человеческом быту: всё та же пестрая и в сущности несложная картина развернулась бы перед ним в своем тревожном однообразии. То же легковерие и та же жестокость, та же потребность крови, золота, грязи, те же пошлые удовольствия, те же бессмысленные страданья во имя... ну хоть во имя того же вздора, две тысячи лет тому назад осмеянного Аристофаном, те же самые грубые приманки, на которые так же легко попадается многоголовый зверь — людская толпа, те же ухватки власти, те же привычки рабства, та же естественность неправды — словом, то же хлопотливое прыганье белки в том же старом, даже не подновленном коле-

се... Шекспир опять заставил бы Лира повторить свое жестокое: «нет виноватых» — что другими словами значит: «нет и правых» — и тоже бы промолвил: довольно! — и тоже бы отвернулся. Одно разве только: быть может, в противоположность мрачному, трагическому тирану — Ричарду — иронический гений великого поэта захотел бы нарисовать другой, более современный тип тирана, который почти готов поверить в собственную добродетель и спокойно почивает по ночам или жалуется на чересчур изысканный обед в то самое время, когда его полураздавленные жертвы стараются хоть тем себя утешить, что воображают его, как Ричарда III, окруженным призраками погубленных им людей...

Но к чему?

К чему доказывать — да еще подбирая и взвешивая слова, округляя и сглаживая речь,— к чему доказывать мошкам, что они точно мошки?

XV

Но искусство?.. красота?.. Да, это сильные слова; они, пожалуй, сильнее других, мною выше упомянутых слов. Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89-го года. Мне могут возразить — и сколько раз уже слышались эти возражения! — что и сама красота дело условное, что китайцу она представляется совсем иначе, чем европейцу... Но не условность искусства меня смущает; его бренность, опять-таки его бренность, его тлен и прах — вот что лишает меня бодрости и веры. Искусство, в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гёте,— и одни лишь тупые педанты или недобросовестные болтуны могут еще толковать об искусстве как о подражании природе; но в конце концов природа неотразима; ей спешить нечего, и рано или поздно она возьмет свое. Бессознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра; от века движущаяся, от века преходящая, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного... Человек ее дитя; но человеческое — искусственное — ей враждебно, именно потому, что оно силится быть неизменным и бессмертным. Человек дитя природы; но она всеобщая мать, и у ней нет предпочтений: всё, что существует в ее лоне, возникло только на счет

другого и должно в свое время уступить место другому — она создает, разрушая, и ей всё равно: что она создает, что она разрушает — лишь бы не переводилась жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих... А потому она так же спокойно покрывает плесенью божественный лик фидиасовского Юпитера, как и простой голыш, и отдает на съедение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла. Люди, правда, ревностно помогают ей в ее истребительной работе; но разве не та же стихийная сила, не сила природы сказалась в палице варвара, бессмысленно дробившего лучезарное чело Аполлона, в звериных воплях, с которыми он бросал в огонь картину Апеллеса? Где же нам, бедным людям, бедным художникам, сладить с этой глухонемой слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, всё пожирая? Как устоять против этих тяжелых, грубых, бесконечно и безустанно надвигающихся волн, как поверить, наконец, в значение и достоинство тех бренных образов, которые мы, в темноте, на краю бездны, лепим из праха и на миг?

XVI

Всё так... но одно преходящее прекрасно, сказал Шиллер; и сама природа, в непрерывной игре своих возникающих, исчезающих форм, не чуждается красоты. Не она ли старательно убирает самые мгновенные из своих детищ — лепестки цветов, крылья бабочек — такими прелестными красками, не она ли придает им такие изящные очертанья? Красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечной,— ей довольно одного мгновенья. Так; это, пожалуй, справедливо — но только там, где нет личности, нет человека, нет свободы: поблекшее крыло бабочки возникает вновь и через тысячу лет тем же самым крылом той же самой бабочки; тут строго и правильно, и безлично совершает свой круг необходимость... Но человек не повторяется, как бабочка, и дело его рук, его искусства, его свободное творение, однажды разрушенное,— погибает навсегда... Ему одному дано «творить»... но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на час,— как был, говорят, калиф на час. В этом наше преимущество — и наше проклятие: каждый из этих «творцов» сам по себе, именно он, не кто другой, именно это *я*, словно создан с предна-

мерением, с предначертанием; каждый более или менее смутно понимает свое значение, чувствует, что он сродни чему-то высшему, вечному — и живет, должен жить в мгновенье и для мгновенья.* Сиди в грязи, любезный, и тянись к небу! Величайшие из нас — именно те, которые глубже всех других сознают это коренное противоречие; но в таком случае — спрашивается — уместны ли слова: величайший, великий?

XVII

Что же сказать о тех, к которым, при всем желании, нельзя применить эти имена, даже в том значении, которое придает им слабый человеческий язык? Что сказать об обыкновенных, дюжинных, второстепенных, третьестепенных тружениках, кто бы они ни были — государственные люди, ученые, художники — особенно художники? Чем заставить их стряхнуть свою немую лень, свое унылое недоумение, чем привлечь их опять на поле битвы,— если только мысль о тщете всего человеческого, всякой деятельности, ставящей себе более высокую задачу, чем добывание насущного хлеба, закралась им в голову? Какими венками прельстятся они — они, для которых и лавры и тернья стали равно незначительны? Из чего они станут снова подвергаться смеху «толпы холодной» или «суду глупца» — старого глупца, который не может простить им, что они отвернулись от прежних кумиров, молодого глупца, который требует, чтобы они тотчас вместе с ним стали на колени, легли плашмя перед новыми, только что открытыми идолами? Зачем пойдут они опять на этот толкучий рынок призраков, на это торжище, где и продавец и покупатель равно обманывают друг друга, где всё так шумно, громко — и всё так бедно и дрянно? Зачем «с изнеможением в кости́» поплетутся они вновь в этот мир, где народы, как крестьянские мальчишки

---

* Как не вспомнить тут слов Мефистофеля к Фаусту:

Er (Gott) findet sich in einem ew'gen Glanze,
Uns hat er in die Finsterniss gebracht —
Und euch taugt einzig Tag und Nacht.

⟨Он (бог) обитает в вечном сиянии, нас он низринул в темноту, вам он отвел день и ночь *(нем.)*⟩.

в праздничный день, барахтаются в грязи из-за горсти пустых орехов или дивятся, разинув рты, на лубочные картины, раскрашенные сусальным золотом,— в этот мир, где живуче только то, что не имеет права на жизнь,— и, оглушая самого себя собственным криком, каждый судорожно спешит к неизвестной и непонятной ему цели? Нет... нет... Довольно... довольно... довольно!

XVIII

...The rest is silence[1] . . . .
. . . .

---

[1] Дальнейшее — молчанье *(англ.)*.

СОБАКА

...Но если допустить возможность сверхъестественного, возможность его вмешательства в действительную жизнь, то позвольте спросить, какую роль после этого должен играть здравый рассудок? — провозгласил Антон Степаныч и скрестил руки на желудке.

Антон Степаныч состоял в чине статского советника, служил в каком-то мудреном департаменте и, говоря с расстановкой, туго и басом, пользовался всеобщим уважением. Ему незадолго перед тем, по выражению его завистников, «влепили станислашку».

— Это совершенно справедливо,— заметил Скворевич.

— Об этом и спорить никто не станет,— прибавил Кинаревич.

— И я согласен,— поддакнул фистулой из угла хозяин дома, г. Финоплентов.

— А я, признаюсь, согласиться не могу, потому что со мной самим произошло нечто сверхъестественное,— проговорил мужчина среднего роста и средних лет, с брюшком и лысиной, безмолвно до тех пор сидевший за печкой. Взоры всех находившихся в комнате с любопытством и недоуменьем обратились на него — и воцарилось молчанье.

Этот мужчина был небогатый калужский помещик, недавно приехавший в Петербург. Он некогда служил в гусарах, проигрался, вышел в отставку и поселился в деревне. Новейшие хозяйственные перемены сократили его доходы, и он отправился в столицу поискать удобного местечка. Он не обладал никакими способностями и не имел никаких связей; но он крепко надеялся на дружбу одного старинного сослуживца, который вдруг ни с того ни с сего выскочил в люди и которому он однажды помог приколотить шулера. Сверх того он рассчитывал на свое счастье— и оно ему не изменило; несколько дней спустя он получил место надзирателя над казенными магазинами, место выгодное, даже почетное и не требовавшее отменных талантов: самые магазины существовали только в предположении и

даже не было с точностью известно, чем их наполнят,— а придумали их в видах государственной экономии.

Антон Степаныч первый прервал общее оцепенение.

— Как, милостивый государь мой! — начал он,— вы не шутя утверждаете, что с вами произошло нечто сверхъестественное — я хочу сказать: нечто не сообразное с законами натуры?

— Утверждаю,— возразил «милостивый государь мой», настоящее имя которого было Порфирий Капитоныч.

— Не сообразное с законами натуры! — повторил с сердцем Антон Степаныч, которому, видимо, понравилась эта фраза.

— Именно... да; вот именно такое, как вы изволите говорить.

— Это удивительно! Как вы полагаете, господа? — Антон Степаныч потщился придать чертам своим выражение ироническое, но ничего не вышло или, говоря правильнее, вышло только то, что вот, мол, господин статский советник дурной запах почуял.— Не потрудитесь ли вы, милостивый государь,— продолжал он, обращаясь к калужскому помещику,— передать нам подробности такого любопытного события?

— Отчего же? Можно! — отвечал помещик и, развязно пододвинувшись к середине комнаты, заговорил так:

— У меня, господа, как вам, вероятно, известно — а может быть, и неизвестно — небольшое именье в Козельском уезде. Прежде я извлекал из него некоторую пользу — но теперь, разумеется, ничего, кроме неприятностей, предвидеть нельзя. Однако побоку политику! Ну-с, в этом самом именье у меня усадьба «маxенькая»: огород, как водится, прудишко с карасишками, строения кой-какие — ну, и флигелек для собственного грешного тела... Дело холостое. Вот-с, однажды — годов этак шесть тому назад — вернулся я к себе домой довольно поздно: у соседа в картишки перекинул,— но притом, прошу заметить, ни в одном, как говорится, глазе; разделся, лег, задул свечку. И представьте вы себе, господа: только что я задул свечку, завозилось у меня под кроватью! Думаю — крыса? Нет, не крыса: скребет, возится, чешется... Наконец ушами захлопало!

Понятное дело: собака. Но откуда собаке взяться? Сам я не держу; разве, думаю, забежала какая-нибудь «*заболтущая*»? Я кликнул своего слугу; Филькой он у меня прозывается. Вошел слуга со свечкой. «Что это,— я го-

ворю,— братец Филька, какие у тебя беспорядки! Ко мне собака под кровать затесалась».— «Какая, говорит, собака?» — «А я почем знаю? — говорю я,— это твое дело — барина до беспокойства не допущать». Нагнулся мой Филька, стал свечкой под кроватью водить. «Да тут, говорит, никакой собаки нету». Нагнулся и я: точно, нет собаки.— Что за притча! — Вскинул я глазами на Фильку, а он улыбается. «Дурак,— говорю я ему,— что ты зубы-то скалишь? Собака-то, вероятно, как ты стал отворять дверь, взяла да и шмыгнула в переднюю. А ты, ротозей, ничего не заметил, потому что ты вечно спишь. Уж не воображаешь ли ты, что я пьян?» Он захотел было возражать, но я его прогнал, свернулся калачиком и в ту ночь уже ничего не слыхал.

Но на следующую ночь — вообразите! — то же самое повторилось. Как только я свечку задул, опять скребет, ушами хлопает. Опять я позвал Фильку, опять он поглядел под кроватью — опять ничего! Услал я его, задул свечку — тьфу ты чёрт! собака тут как тут. И как есть собака: так вот и слышно, как она дышит, как зубами по шерсти перебирает, блох ищет... Явственно таково! «Филька! — говорю я,— войди-ка сюда без свечки!» Тот вошел. «Ну, что, говорю, слышишь?»—«Слышу»,— говорит. Самого-то мне его не видать, но чувствую я, что струхнул малый. «Как, говорю, ты это понимаешь?» — «А как мне это понимать прикажете, Порфирий Капитоныч? — Наваждение!» — «Ты,— я говорю,— беспутный человек, молчи с наваждением-то с своим...» А у обоих-то у нас голоса словно птичьи, и дрожи́м-то мы как в лихорадке — в темноте-то. Зажег я свечку: ни собаки нет, ни шума никакого — а только оба мы с Филькой — белые, как глина. Так свечка у меня до утра и горела. И доложу я вам, господа,— верьте вы мне или нет — а только с самой той ночи в течение шести недель та же история со мной повторялась. Под конец я даже привык и свечку гасить стал, потому мне при свете не спится. Пусть, мол, возится! Ведь зла она мне не делает.

— Однако, я вижу, вы не трусливого десятка,— с полупрезрительным, полуснисходительным смехом перебил Антон Степаныч.— Сейчас видно гусара!

— Вас-то я бы ни в каком случае не испугался,— промолвил Порфирий Капитоныч и на мгновенье действительно посмотрел гусаром.— Но слушайте далее. Приезжает ко мне один сосед, тот самый, с которым я в картишки пере-

кидывал. Пообедал он у меня чем бог послал, спустил мне рубликов пятьдесят за визит; ночь на дворе — убираться пора. А у меня свои соображения. «Останься, говорю, ночевать у меня, Василий Васильич; завтра отыграешься, даст бог». Подумал, подумал мой Василий Васильич, остался. Я ему кровать у себя же в спальне поставить приказал... Ну-с, легли мы, покурили, покалякали — всё больше о женском поле, как оно и приличествует в холостой компании, посмеялись, разумеется; смотрю: погасил Василий Васильич свою свечку и спиной ко мне повернулся; значит: «шлафензиволь»[1]. Я подождал маленько и тоже погасил свечку. И представьте: не успел я подумать, что, мол, теперь какой карамболь произойдет? как уже завозилась моя голубушка. Да мало что завозилась: из-под кровати вылезла, через комнату пошла, когтями по полу стучит, ушами мотает, да вдруг как толкнет самый стул, что возле Василия Васильевичевой кровати! «Порфирий Капитоныч,— говорит тот, и таким, знаете, равнодушным голосом,— а я и не знал, что ты собаку приобрел. Какая она, легавая, что ли?» — «У меня, говорю, собаки никакой нет и не бывало никогда!» — «Как нет? а это что?» — «Что *это*? — говорю я,— а вот зажги свечку, так сам узнаешь».— «Это не собака?» — «Нет». Повернулся Василий Васильич на постели. «Да ты шутишь, чёрт?» — «Нет, не шучу». Слышу я: он чёрк, чёрк спичкой, а та-то, та-то всё не унимается, бок себе чешет. Загорелся огонек... и баста! След простыл! Глядит на меня Василий Васильич — и я на него гляжу. «Это, говорит, что за фокус?» — «А это,— говорю я,—такой фокус, что посади ты с одной стороны самого Сократа, а с другой Фридриха Великого, так и те ничего не разберут». И тут же я ему всё в подробности рассказал. Как вскочит мой Василий Васильич! Словно обожженный! В сапоги-то никак не попадет. «Лошадей! — кричит,— лошадей!» Стал я его уговаривать, так куда! Так и взахался. «Не останусь, кричит, ни минуты! — Ты, значит, после этого оглашенный человек! — Лошадей!..» Однако я его уломал. Только кровать его перетащили в другую комнату — и ночники везде запалили. Поутру, за чаем, он остепенился; стал советы мне давать. «Ты бы, говорит, Порфирий Капитоныч, попробовал на несколько дней из дому отлучиться: может, эта пакость от тебя бы отстала». А надо вам сказать:

---

[1] «спокойной ночи» *(нем.)*.

человек он — сосед мой — был ума обширного! Тещу свою, между прочим, так обработал чудесно: вексель ей подсунул; значит, выбрал же самый чувствительный час! Шёлковая стала; доверенность дала на управление всем имением — чего больше? А ведь это какое дело — тещу-то скрутить, а? Сами изволите посудить. Однако уехал он от меня в некотором неудовольствии: я-таки его опять рубликов на сотню наказал. Даже ругал меня; говорил, что ты-де неблагодарен, не чувствуешь; а я чем же тут виноват? Ну, это само собою,— а совет я его к сведению принял: в тот же день укатил в город, да и поселился на постоялом дворе у знакомого старичка из раскольников. Почтенный был старичок, хотя и суров маленько по причине одиночества: вся семья у него перемерла. Только уж очень табаку не жаловал и к собакам чувствовал омерзенье великое; кажется, чем, например, ему собаку в комнату впустить согласиться — скорей бы сам себя пополам перервал! «Потому, говорит, как же возможно! Тут у меня в светлице на стене сама Владычица пребывать изволит, и тут же пес поганый рыло свое нечестивое уставит». Известно — необразование! А впрочем, я такого мнения: кому какая премудрость далась, тот той и придерживайся!

— Да вы, я вижу, великий филозóф,— вторично и с тою же усмешкой перебил Антон Степаныч.

Порфирий Капитоныч на этот раз даже нахмурился.

— Какой я филозóф, это еще неизвестно,— промолвил он с угрюмым подергиваньем усов,— но вас бы я охотно взял в науку.

Мы все так и впились в Антона Степаныча; всякий из нас ожидал горделивого ответа или хотя молниеносного взгляда... Но господин статский советник перевел свою усмешку из презрительной в равнодушную, потом зевнул, поболтал ножкой — и только!

— Вот у этого-то старичка я и поселился,— продолжал Порфирий Капитоныч.— Комнатку он мне отвел, по знакомству, не из лучших; сам он помещался тут же за перегородкой — а мне только этого и нужно. Однако принял я в те поры муки! Комнатка небольшая, жара, этта, духота, мухи, да какие-то клейкие; в углу киотище необыкновенный, с древнейшими образами; ризы на них тусклые да дутые; маслом так и разит, да еще какою-то специей; на кровати два пуховика; подушку пошевелишь, а из-под нее таракан бежит... я уж со скуки чаю до невероятности напился — просто беда! Лег я;

спать нет возможности — а за перегородкой хозяин вздыхает, кряхтит, молитвы читает. Ну, однако, угомонился, наконец. Слышу: похрапывать стал — да так полегоньку, по-старомодному, вежливенько. Свечку-то я давно загасил — только лампадка перед образами горит... Помеха, значит! Вот я возьми да встань тихохонько, на босу ногу; подмостился к лампадке да и дунул на нее... Ничего. «Эге! — думаю,— знать, у чужих-то не берет...» Да только что опустился на постель — опять пошла тревога! И скребет, и чешет, и ушами хлопает... ну, как быть следует! Хорошо. Я лежу, жду, что будет? Слышу: просыпается старик. «Барин, говорит, а барин?» — «Что, мол?» — «Это ты лампадку погасил?» Да ответа моего не дождавшись, как залопочет вдруг: «Что это? что это? собака? собака! Ах ты, никонианец окаянный!» — «Погоди, говорю, старик, браниться — а ты лучше приди-ка сам сюда. Тут, я говорю, дела совершаются удивления достойные». Повозился старик за перегородкой и вошел ко мне со свечкой, тоненькой-претоненькой, из желтого воску; и удивился же я, на него глядючи! Сам весь шершавый, уши мохнатые, глаза злобные, как у хорька, на голове шапонька белая войлочная, борода по́ пояс, тоже белая, и жилет с медными пуговицами на рубахе, а на ногах меховые сапоги — и пахнет от него можжевельником. Подошел он в этаком виде к образам, перекрестился три раза крестом двуперстным, лампадку засветил, опять перекрестился — и, обернувшись ко мне, только хрюкнул: объясняй, мол! И тут я ему, нимало не медля, всё обстоятельно сообщил. Выслушал все мои объяснения старина и хоть бы словечко проронил: только знай головой потряхивает. Присел он потом, этта, ко мне на кроватку — и всё молчит. Чешет себе грудь, затылок и прочее — и молчит. «Что ж,— говорю я,— Федул Иваныч, как ты полагаешь: наваждение это какое, что ли?» Старик посмотрел на меня. «Что выдумал! наваждение! Добро бы у тебя, табашника,— а то здесь! Ты только то сообрази: что тут святости! Наваждения захотел!» — «А коли это не наваждение — так что же?» Старик опять помолчал, опять почесался и говорит наконец,— да глухо так, потому усы в рот лезут: «Ступай ты в град Белев. Окромя одного человека, тебе помочь некому. И живет сей человек в Белеве, из наших. Захочет он тебе поспособствовать — твое счастье; не захочет — так тому и быть».— «А как мне его найти, человека сего?» — говорю я. «Это мы тебя направить можем,— говорит,— а только какое это наваж-

дение? Это есть явление, а либо знамение; да ты этого не постигнешь: не твоего полета. Ложись-ка теперь спать, с батюшкой со Христом; я ладанком покурю; а на *утрие* мы побеседуем. Утро, знаешь, вечера мудренее».

Ну-с, и побеседовали мы на *утрие* — а только от этого от самого ладану я чуть не задохнулся. И дал мне старик наставление такого свойства: что, приехавши в Белев, пойти мне на площадь и во второй лавке направо спросить некоего Прохорыча; а отыскавши Прохорыча, вручить ему грамотку. И вся-то грамотка заключалась в клочке бумаги, на которой стояло следующее: «Во имя отца и сына и святаго духа. Аминь. Сергию Прохоровичу Первушину. Сему верь. Феодулий Иванович». А внизу: «Капустки пришли, бога для».

Поблагодарил я старика — да без дальнейших рассуждений велел заложить тарантас и отправился в Белев. Потому я так соображал: хотя, положим, от моего ночного посетителя мне большой печали нет, однако все-таки оно жутко, да и, наконец, не совсем прилично дворянину и офицеру — как вы полагаете?

— И неужели вы поехали в Белев? — прошептал г. Финоплентов.

— Прямо в Белев. Пошел я на площадь, спросил во второй лавке направо Прохорыча. «Есть, мол, говорю, такой человек?» — «Есть»,— говорят. «А где живет?» — «На Оке, за огородами».— «В чьем доме?» — «В своем». Отправился я на Оку, отыскал его дом, т. е. в сущности не дом, а простую лачугу. Вижу: человек в синей свитке с заплатами и в рваном картузе, так... мещанинишко по наружности, стоит ко мне спиной, копается в капустнике. Я подошел к нему. «Вы, мол, такой-то?» Он обернулся — и доложу вам поистине: этаких проницательных глаз я отроду не видывал. А впрочем, всё лицо с кулачок, бородка клином, и губы ввалились: старый человек. «Я такой-то,— говорит,— что вам *надобе*?» — «А вот, мол, что мне *надобе*», — да и грамоту ему в руку. Он посмотрел на меня пристально таково да и говорит: «Пожалуйте в комнату; я без очков читать не могу». Ну-с, пошли мы с ним в его хибарку — и уж точно хибарка: бедно, голо, криво; как только держится. На стене образ старого письма, как уголь черный: одни белки на ликах так и горят. Достал он из столика железные круглые очки, надел себе на нос, прочел грамотку да через очки опять на меня посмотрел. «Вам до меня нужда имеется?» — «Имеется, говорю, точ-

но».— «Ну, говорит, коли имеется, так докладывайте, а мы послушаем». И представьте вы себе: сам сел и платок клетчатый из кармана достал и у себя на коленях разложил — и платок-то дырявый — да так важно на меня взирает, хоть бы сенатору или министру какому, и не сажает меня. И что еще удивительнее: чувствую я вдруг, что робею, так робею... просто душа в пятки уходит. Нижет он меня глазами насквозь, да и полно! Однако я поправился да и рассказал ему всю мою историю. Он помолчал, поежился, пожевал губами, да и ну спрашивать меня, опять-таки как сенатор, величественно так, не торопясь: «Имя, мол, ваше как? Лета? Кто были родные? В холостом ли звании или женаты?» Потом он опять губами пожевал, нахмурился, палец уставил да и говорит: «Иконе святой поклонитесь, честным преподобным соловецким святителям Зосиме и Савватию». Я поклонился в землю — и так уж и не поднимаюсь; такой в себе страх к тому человеку ощущаю и такую покорность, что, кажется, чтó бы он ни прикажи, исполню тотчас же!.. Вы вот, я вижу, господа, ухмыляетесь, а мне не до смеху было тогда, ей-ей. «Встаньте, господин,— проговорил он наконец.— Вам помочь можно. Это вам не в наказание наслано, а в предостережение; это, значит, попечение о вас имеется; добре, знать, кто за вас молится. Ступайте вы теперь на базар и купите вы себе собаку-щенка, которого вы при себе держите неотлучно — день и ночь. Ваши виденья прекратятся, да и, кроме того, будет вам та собака на потребу».

Меня вдруг точно светом озарило: уж как же мне эти слова полюбились! Поклонился я Прохорычу и хотел было уйти, да вспомнил, что нельзя же мне его не поблагодарить,— достал из кошелька трехрублевую бумажку. Только он мою руку отвел от себя прочь и говорит мне: «Отдайте, говорит, в часовенку нашу али бедным, а услуга та неоплатная». Я опять ему поклонился — чуть не в пояс — и тотчас марш на базар! И вообразите: только что стал я подходить к лавкам — глядь, ползет ко мне навстречу фризовая шинель и под мышкой несет легавого щенка, двухмесячного, коричневой шерсти, белогубого, с белыми передними лапками. «Стой! — говорю я шинели,— за сколько продаешь?» — «А за два целковых».— «Возьми три!» Тот удивился, думает, с ума барин спятил — а я ему ассигнацию в зубы, щенка в охапку, да в тарантас! Кучер живо запряг лошадей, и в тот же вечер я был дома. Щенок всю дорогу у меня за пазухой сидел — и хоть бы

пикнул; а я ему всё: «Трезорушко! Трезорушко!» Тотчас его накормил, напоил, велел соломы принести, уложил его, и сам шмыг в постель! Дунул на свечку: сделалась темнота. «Ну, говорю, начинай!» Молчит. «Начинай же, говорю, такая-сякая!» Ни гугу, хоть бы на смех. Я куражиться стал: «Да начинай, ну же, растакая, сякая и этакая!» Ан не тут-то было — шабаш! Только и слышно, как щенок пыхтит. «Филька! — кричу,— Филька! Поди сюда, глупый человек!» — Тот вошел.— «Слышишь ты собаку?» — «Нет, говорит, барин, ничего не слышу» — а сам смеется.— «И не услышишь, говорю, уже больше никогда! Полтинник тебе на водку!» — «Пожалуйте ручку»,— говорит дурак и впотьмах-то лезет на меня... Радость, доложу вам, была большая.

— И так всё и кончилось? — спросил Антон Степаныч уже без иронии.

— Видения кончились, точно — и уже беспокойств никаких не было — но, погодите, всей штуке еще не конец. Стал мой Трезорушко расти — вышел из него гусь лапчатый. Толстохвостый, тяжелый, вислоухий, брылястый — настоящий «пиль-аванц». И притом ко мне привязался чрезвычайно. Охота в наших краях плохая — ну, а все-таки, как завел собаку, пришлось и ружьишком запастись. Стал я со своим Трезором таскаться по окрестностям: иногда зайца подшибешь (уж и гонялся же он за этими зайцами, боже мой!), а иногда и перепелку или уточку. Но только главное: Трезор от меня ни на шаг. Куда я — туда и он; даже и в баню его с собой водил, право! Одна наша барыня меня за самого за этого Трезора из гостиной приказала было вывести, да я такую штурму поднял: что одних стекол у ней перебил! Вот-с, однажды, дело было летом... И, скажу вам, засуха стояла тогда такая, что никто и не запомнит; в воздухе не то дым, не то туман, пахнет гарью, мгла, солнце, как ядро раскаленное, а что пыли — не прочихнешь! Люди так разинувши рты и ходят, ие хуже ворон. Соскучилось мне этак дома всё сидеть, в полнейшем дезабилье, за закрытыми ставнями; кстати же жара начинала сваливать... И пошел я, государи мои, к одной своей соседке. Жила же оная соседка от меня в версте — и уж точно благодетельная была дама. В молодых еще цветущих летах и наружности самой располагающей; только нрав имела непостоянный. Да это в женском поле не беда; даже удовольствие доставляет... Вот добрался я до ее крылечка — и солоно же мне пока-

залось это путешествие! Ну, думаю, ублаготворит меня теперь Нимфодора Семеновна брусничной водой, ну и другими прохладами — и уже за ручку двери взялся, как вдруг за углом дворовой избы поднялся топот, визг, крик мальчишек... Я оглядываюсь. Господи боже мой! прямо на меня несется огромный рыжий зверь, которого я с первого взгляда и за собаку-то не признал: раскрытая пасть, кровавые глаза, шерсть дыбом... Не успел я дыхание перевести, как уж это чудовище вскочило на крыльцо, поднялось на задние лапы и прямо ко мне на грудь — каково положение? Я замер от ужаса и руки не могу поднять, одурел вовсе... вижу только страшные белые клыки перед самым носом, красный язык, весь в пене. Но в то же мгновенье другое, темное тело взвилось передо мною, как мячик,— это мой голубчик Трезор заступился за меня; да как пиявка тому-то, зверю-то, в горло! Тот захрипел, заскрежетал, отшатнулся... Я разом рванул дверь и очутился в передней. Стою, сам не свой, всем телом на замок налег, а на крыльце, слышу, происходит баталья отчаянная. Я стал кричать, звать на помощь; все в доме всполошились. Нимфодора Семеновна прибежала с распущенной косой, на дворе загомонили голоса — и вдруг послышалось: «Держи, держи, запри ворота!» Я отворил дверь — так, чуточку — гляжу: чудовища уже нет на крыльце, люди в беспорядке мечутся по двору, махают руками, поднимают с земли поленья — как есть очумели. «На деревню! на деревню убегла!» — визжит какая-то баба в кичке необыкновенных размеров, высунувшись в слуховое окно. Я вышел из дома. «Где, мол, Трезор?» — и тут же увидал моего спасителя. Он шел от ворот, хромой, весь искусанный, в крови... «Да что такое, наконец?» — спрашиваю у людей, а они кружатся по двору, как угорелые. «Бешеная собака! — отвечают мне,— графская; со вчерашнего дня здесь мотается».

У нас был сосед, граф; тот заморских собак навез, престрашенных. Поджилки у меня затряслись; бросился к зеркалу, посмотреть, не укушен ли я? Нет, слава богу, ничего не видать; только рожа, натурально, вся зеленая; а Нимфодора Семеновна лежит на диване и клохчет курицей. Да оно и понятно: во-первых, нервы, во-вторых, чувствительность. Ну, однако, пришла в себя и спрашивает меня, томно так: жив ли я? Я говорю, жив, и Трезор мой избавитель. «Ах, говорит, какое благородство! И стало быть, бешеная собака его задушила?» — «Нет, говорю, не

задушила, а ранила сильно». — «Ах, говорит, в таком случае его надо сию минуту пристрелить!» — «Ну, нет, говорю, я на это не согласен; я попробую его вылечить...» Тем временем Трезор стал скрестись в дверь: я было пошел ему отворять.— «Ах, говорит, что вы это? Да он нас всех перекусает!» — «Помилуйте, говорю, яд не так скоро действует». — «Ах, говорит, как это возможно! Да вы с ума сошли!» — «Нимфочка, говорю, успокойся, прими резон...» А она как крикнет вдруг: «Уйдите, уйдите сейчас с вашей противной собакой!» — «И уйду»,— говорю.— «Сейчас, говорит, сию секунду! Удались, говорит, разбойник, и на глаза мне не смей никогда показываться. Ты сам можешь взбеситься!» — «Очень хорошо-с,— говорю я,— только дайте мне экипаж, потому что я теперь пешком идти домой опасаюсь». Она уставилась на меня. «Дать, дать ему коляску, карету, дрожки, что хочет, лишь бы провалился поскорее. Ах, какие глаза! ах, какие у него глаза!» Да с этими словами из комнаты вон, да встрешную девку по щеке — и слышу, с ней опять припадок. И поверите ли вы мне, господа, или нет, а только с самого того дня я с Нимфодорой Семеновной всякое знакомство прекратил; а по зрелом соображении всех вещей не могу не прибавить, что и за это обстоятельство я обязан моему другу Трезору благодарностью по самую гробовую доску.

Ну-с, велел я заложить коляску, усадил в нее Трезора и поехал к себе домой. Дома я его осмотрел, обмыл его раны — да и думаю: повезу я его завтра чуть свет к бабке в Ефремовский уезд. А бабка эта — старый мужик, удивительный: пошепчет на воду — а другие толкуют, что он в нее змеиную слюну пущает, даст выпить — как рукою снимет. Кстати, думаю, в Ефремове себе кровь брошу: оно против испуга хорошо бывает; только, разумеется, не из руки, а из соколка.

— А где это место — соколóк? — с застенчивым любопытством спросил г. Финоплентов.

— А вы не знаете? Самое вот это место, на кулаке, подле большого пальца, куда из рожка табак насыпают — вот тут! Для кровопускания первый пункт; потому сами посудите: из руки пойдет кровь жильная, а тут она — наигранная. Доктора этого не знают и не умеют; где им, дармоедам, немчуре? Больше кузнецы упражняются. И какие есть ловкие! Наставит долото, молотком тюкнет — и готово!.. Ну-с, пока я этаким образом размышлял, на дворе совсем стемнело, пора на боковую. Лег я в постель —

и Трезор, разумеется, тут же. Но от испуга ли, от духоты ли, от блох или от мыслей — только не могу заснуть, хоть ты что! Тоска такая напала, что и описать невозможно; и воду-то я пил, и окошко отворял, и на гитаре «камаринского» с итальянскими вариациями разыграл... нет! Прет меня вон из комнаты — да и полно! Я решился наконец: взял подушку, одеяло, простыню да и отправился через сад в сенной сарай; ну и расположился там. И так мне стало, господа, приятно: ночь тихая, претихая, только изредка ветерок словно женской ручкой по щеке тебе проведет, свежо таково; сено пахнет, что твой чай, на яблонях кузнечики потрюкивают; там вдруг перепел грянет — и чувствуешь ты, что и ему, канашке, хорошо, в росе-то с подружкой сидючи... А на небе такое благолепие: звездочки теплятся, а то тучка наплывет, белая, как вата, да и та еле движется...

На этом месте рассказа Скворевич чихнул; чихнул и Кинаревич, никогда и ни в чем не отстававший от своего товарища. Антон Степаныч посмотрел одобрительно на обоих.

— Ну-с,— продолжал Порфирий Капитоныч,— вот так-то лежу я и опять-таки заснуть не могу. Размышление нашло на меня; а размышлял я больше о премудрости: что вот как, мол, это Прохорыч мне справедливо объяснил насчет предостереженья — и почему это именно надо мной такие чудеса совершаются?.. Я удивляюсь собственно потому, что ничего не понимаю, а Трезорушко повизгивает, свернувшись в сене: больно ему от ран-то. И еще я вам скажу, что́ мне спать мешало — вы не поверите: месяц! Стоит он прямо передо мной, этакий круглый, большой, желтый, плоский, и сдается мне, что уставился он на меня, ей-богу; да так нагло, назойливо... Я ему даже язык наконец высунул, право. Ну чего, думаю, любопытствуешь? Отвернусь я от него — а он мне в ухо лезет, затылок мне озаряет, так вот и обдает, словно дождем; открою глаза — что же? Былинку каждую, каждый дрянной сучок в сене, паутинку самую ничтожную — так и чеканит, так и чеканит! На, мол, смотри! Нечего делать: опер я голову на руку, стал смотреть. Да и нельзя: поверите ли, глаза у меня, как у зайца, так и пучатся, так и раскрываются — словно им и неизвестно, что за сон бывает за такой. Так, кажется, и съел бы всё этими самыми глазами. Ворота сарая открыты настежь; верст на пять в поле видно: и явственно и нет, как оно всегда быва-

ет в лунную ночь. Вот гляжу я, гляжу — и не смигну даже... И вдруг мне показалось, как будто что-то мотанулось — далеко, далеко... так, словно что померещилось. Прошло несколько времени: опять тень проскочила — уже немножко ближе; потом опять, еще поближе. Что, думаю, это такое? заяц, что ли? Нет, думаю, это будет покрупнее зайца — да и побежка ие та. Гляжу: опять тень показалась, и движется она уже по выгону (а выгон-то от луны белесоватый) этаким крупным пятном; понятное дело: зверь, лисица или волк. Сердце во мне ёкнуло... а чего, кажись, я испугался? Мало ли всякого зверя ночью по полю бегает? Но любопытство-то еще пуще страха; приподнялся я, глаза вытаращил, а сам вдруг похолодел весь, так-таки застыл, точно меня в лед по уши зарыли, а отчего? Господь ведает! И вижу я: тень всё растет, растет, значит, прямо на сарай катит... И вот уж мне понятно становится, что это — точно зверь, большой, головастый... Мчится он вихрем, пулей... Батюшки! что это? Он разом остановился, словно почуял что... Да это... это сегодняшняя бешеная собака! Она... она! Господи! А я-то пошевельнуться не могу, крикнуть не могу... Она подскочила к воротам, сверкнула глазами, взвыла — и по сену прямо на меня!

А из сена-то, как лев, мой Трезор — и вот он! Пасть с пастью так и вцепились оба — да клубом оземь! Что уж тут происходило — не помню; помню только, что я, как был, кубарем через них, да в сад, да домой, к себе в спальню!.. Чуть под кровать не забился — что греха таить. А какие скачки, какие лансады по саду задавал! Кажется, самая первая танцорка, что у императора Наполеона в день его ангела пляшет,— и та за мной бы не угналась. Однако, опомнившись немного, я тотчас же весь дом на ноги поднял; велел всем вооружиться, сам взял саблю и револьвер. (Я, признаться, этот револьвер вскоре после эманципации купил, знаете, на всякий случай — только такой попался бестия разносчик, из трех выстрелов непременно две осечки.) Ну-с, взял я всё это, и таким манером мы целой оравой, с дрекольями, с фонарями и отправились в сарай. Подходим, окликаем — не слыхать ничего; входим, наконец, в сарай... И что же мы видим? Лежит мой бедный Трезорушко мертвый, с перерванным горлом — а той-то, проклятой, и след простыл.

И тут я, господа, взвыл как теленок и, не стыдясь, скажу: припал я к моему двукратному, так сказать, из-

«СОБАКА». ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА.

Национальная библиотека, Париж.

бавителю и долго лобзал его в голову. И пробыл я в этом положении до тех пор, пока в чувство меня не привела моя старая ключница Прасковья (она тоже прибежала на гвалт). «Что это вы, Порфирий Капитоныч,— промолвила она,— так обо псе убиваетесь? Да и простудитесь еще, боже сохрани! (Очень уж я был налегке.) А коли пес этот, вас спасаючи, жизни *решился*, так для него это за великую милость почесть можно!»

Я хотя с Прасковьей не согласился, однако пошел домой. А бешеную собаку на следующий день гарнизонный солдат из ружья застрелил. И, стало быть, уж ей такой был предел положо́н: в первый раз отродясь солдат-то из ружья выпалил, хоть и медаль имел за двенадцатый год. Так вот какое со мной произошло сверхъестественное событие.

Рассказчик умолк и стал набивать себе трубку. А мы все переглянулись в недоумении.

— Да вы, может быть, очень праведной жизни,— начал было г. Финоплентов,— так в возмездие...— Но на этом слове он запнулся, ибо увидал, что у Порфирия Капитоныча щеки надулись и покраснели и глаза съежились — вот сейчас прыснет человек...

— Но если допустить возможность сверхъестественного, возможность его вмешательства в ежедневную, так сказать, жизнь,— начал снова Антон Степаныч,— то какую же роль после этого должен играть здравый рассудок?

Никто из нас ничего не нашелся ответить — и мы попрежнему пребывали в недоумении.

ДЫМ

1867



I

10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною «Conversation» толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; всё кругом — зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы,— всё празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; всё улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человечьих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. Самые даже насурмленные, набеленные фигуры парижских лореток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования, а пестрые ленты, перья, золотые и стальные искры на шляпках и вуалях невольно напоминали взору оживленный блеск и легкую игру весенних цветов и радужных крыл; одна лишь повсюду рассыпавшаяся сухая, гортанная трескотня французского жаргона не могла ни заменить птичьего щебетанья, ни сравниться с ним.

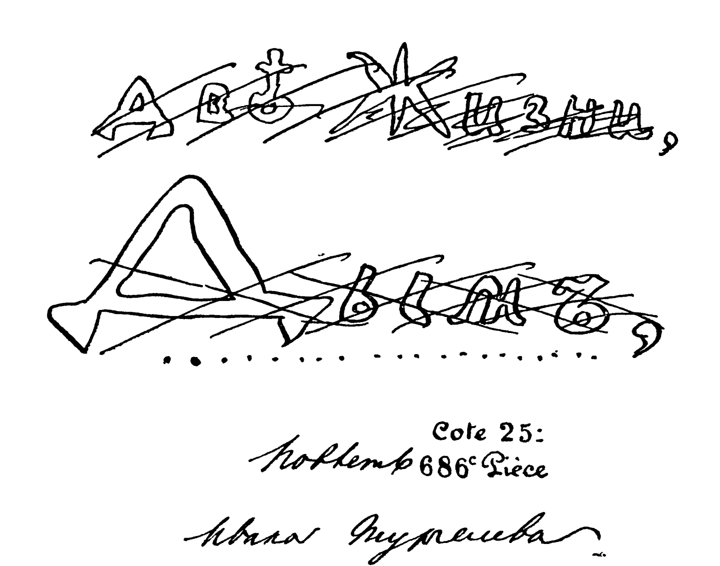
А впрочем, всё шло своим порядком. Оркестр в павильоне играл то попурри из «Травиаты», то вальс Штрауса, то «Скажите ей», российский романс, положенный на инструменты услужливым капельмейстером; в игорных залах, вокруг зеленых столов, теснились те же всем знакомые фигуры, с тем же тупым и жадным, не то изумленным, не то озлобленным, в сущности хищным выражением, которое придает каждым, даже самым аристократическим чертам картежная лихорадка; тот же тучноватый и чрезвычайно щегольски одетый помещик из Тамбова, с тою же непостижимою, судорожною поспешностью, выпуча глаза, ложась грудью на стол и не обращая внимания на холодные усмешки самих «крупиэ», в самое мгновенье возгласа «Rien ne va plus!»[1] рассыпал вспотевшею рукою по всем четвероугольникам рулетки золотые кружки луидоров и тем са-

---

[1] Возглас в игре, запрещающий делать дальнейшие ставки *(франц.)*.

мым лишал себя всякой возможности что-нибудь выиграть даже в случае удачи, что нисколько не мешало ему, в тот же вечер, с сочувственным негодованием поддакивать князю Кокó, одному из известных предводителей дворянской оппозиции, тому князю Кокó, который в Париже, в салоне принцессы Матильды, в присутствии императора, так хорошо сказал: «Madame, le principe de la propriété est profondément ébranlé en Russie»[1]. К русскому дереву — à l'Arbre russe — обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования, но, сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу, и пробавлялись либо дрянненьким переливанием из пустого в порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского экс-литератора, в жидовских башмачонках на мизерных ножках и с презренною бородкой на паскудной мордочке, шута и болтуна. Он им врал, à ces princes russes[2], всякую пресную дребедень из старых альманахов «Шаривари» и «Тентамарра», а они, ces princes russes, заливались благодарным смехом, как бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестранного умника и собственную окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное. А между тем тут была почти вся «fine fleur»[3] нашего общества, «вся знать и моды образцы». Тут был граф X., наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно «сказывает» романсы, а в сущности двух нот разобрать не может, не тыкая вкось и вкривь указательным пальцем по клавишам, и поет не то как плохой цыган, не то как парижский коафер; тут был и наш восхитительный барон Z., этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер; тут был и князь Y., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; и блестящий генерал О. О., который что-то покорил, кого-то усмирил и вот, однако, не знает, куда деться и чем себя

[1] «Сударыня, принцип собственности глубоко потрясен в России» *(франц.)*.
[2] этим русским князьям *(франц.)*.
[3] «верхушка, сливки» *(франц.)*.



«ДЫМ». ЗАГЛАВНАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ.
Национальная библиотека, Париж,

зарекомендовать; и Р. Р., забавный толстяк, который считает себя очень больным и очень умным человеком, а здоров как бык и глуп как пень... Тот же Р. Р. почти один в наше время еще сохранил предания львов сороковых годов, эпохи «Героя нашего времени» и графини Во́ротынской. Он сохранил и походку враска́чку на каблуках, и «le culte de la pose»[1] (по-русски этого даже сказать нельзя), и неестественную медлительность движений, и сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице, и привычку, зевая, перебивать чужую речь, тщательно рассматривать собственные пальцы и ногти, смеяться в нос, внезапно передвигать шляпу с затылка на брови и т. д. и т. д. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что золотая булла издана папой и что английский «poor-tax»[2] есть налог *на* бедных; тут были, наконец, и рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый французский говорун; но нет! не в ходу, знать, у нас родное,— и графиня Ш., известная законодательница мод и гран-жанра, прозванная злыми языками «Царицей ос» и «Медузою в чепце», предпочитала, в отсутствии говоруна, обращаться к тут же вертевшимся итальянцам, молдаванцам, американским «спиритам», бойким секретарям иностранных посольств, немчикам с женоподобною, но уже осторожною физиономией и т. п. Подражая примеру графини, и княгиня Babette, та самая, у которой на руках умер Шопен (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых он испустил дух), и княгиня Annette, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка; и княгиня Pachette, с которою случилось такое несчастие: муж ее попал на видное место и вдруг, Dieu sait pourquoi[3], прибил градского голову и украл двадцать тысяч рублей серебром казенных денег; и смешливая княжна Зизи́ и слезливая

---

[1] «культ позы» *(франц.)*.
[2] «налог в пользу бедных» *(англ.)*.
[3] бог знает почему *(франц.)*.

княжна Зозó — все они оставляли в стороне своих земляков, немилостиво обходились с ними... Оставим же и мы их в стороне, этих прелестных дам, и отойдем от знаменитого дерева, около которого они сидят в таких дорогих, но несколько безвкусных туалетах, и пошли им господь облегчения от грызущей их скуки!

II

В нескольких шагах от «русского» дерева, за маленьким столом перед кофейней Вебера, сидел красивый мужчина лет под тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Нагнувшись вперед и опираясь обеими руками на палку, он сидел спокойно и просто, как человек, которому и в голову не может прийти, чтобы кто-нибудь его заметил или занялся им. Его карие, с желтизной, большие, выразительные глаза медленно посматривали кругом, то слегка прищуриваясь от солнца, то вдруг упорно провожая какую-нибудь мимо проходившую эксцентрическую фигуру, причем быстрая, почти детская усмешка чуть-чуть трогала его тонкие усы, губы и выдающийся крутой подбородок. Одет он был в просторное пальто немецкого покроя, и серая мягкая шляпа закрывала до половины его высокий лоб. На первый взгляд он производил впечатление честного и дельного, несколько самоуверенного малого, каких довольно много бывает на белом свете. Он, казалось, отдыхал от продолжительных трудов и тем простодушнее забавлялся расстилавшеюся перед ним картиной, что мысли его были далеко, да и вращались они, эти мысли, в мире, вовсе не похожем на то, что его окружало в этот миг. Он был русский; звали его Григорием Михайловичем Литвиновым.

Нам нужно с ним познакомиться, и потому приходится рассказать в коротких словах его прошедшее, весьма незатейливое и несложное.

Сын отставного служаки-чиновника из купеческого рода, он воспитывался не в городе, как следовало ожидать, а в деревне. Мать его была дворянка, из институток, очень доброе и очень восторженное существо, не без характера однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она его перевоспитала, насколько могла, перетащила его из чиновничьей колеи в помещичью, укротила и смягчила его дюжий, терпкий нрав. По ее милости он

стал и одеваться опрятно, и держаться прилично, и браниться бросил; стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал, и всячески старался не уронить себя: даже ходить стал тише и говорил расслабленным голосом, всё больше о предметах возвышенных, что ему стоило трудов немалых. «Эх! взял бы да выпорол!» — думал он иногда про себя, а вслух произносил: «Да, да, это... конечно; это вопрос». Дом свой мать Литвинова тоже поставила на европейскую ногу; слугам говорила «вы» и никому не позволяла за обедом наедаться до сопения. Что же касается до имения, ей принадлежавшего, то ни она сама, ни муж ее ничего с ним сделать не сумели: оно было давно запущено, но многоземельно, с разными угодьями, лесами и озером, на котором когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностным, но безалаберным барином, процветавшая в руках плута купца и окончательно погибшая под управлением честного антрепренера из немцев. Госпожа Литвинова уже тем была довольна, что не расстроила своего состояния и не наделала долгов. К несчастью, здоровьем она похвалиться не могла и скончалась от чахотки в самый год поступления ее сына в Московский университет. Он не кончил курса по обстоятельствам (читатель узнает о них впоследствии) и угодил в провинцию, где потолокся несколько времени без дела, без связей, почти без знакомых. По милости не расположенных к нему дворян его уезда, проникнутых не столько западною теорией о вреде «абсентеизма», сколько доморощенным убеждением, что «своя рубашка к телу ближе», он в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от тифа в Крыму, где, не видав ни одного «союзника», простоял шесть месяцев в землянке на берегу Гнилого моря; потом послужил по выборам, конечно не без неприятностей, и, пожив в деревне, пристрастился к хозяйству. Он понимал, что имение его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлевшим отцом, не давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно; но он также понимал, что именно опыта и знания ему недоставало,— и он отправился за границу учиться агрономии и технологии, учиться с азбуки. Четыре года с лишком провел он в Мекленбурге, в Силезии, в Карлсруэ, ездил в Бельгию, в Англию, трудился добросовестно, приобрел познания: нелегко они ему давались; но он выдержал искус до конца, и вот теперь, уверенный в самом себе,

в своей будущности, в пользе, которую он принесет своим землякам, пожалуй даже всему краю, он собирается возвратиться на родину, куда с отчаянными заклинаниями и мольбами в каждом письме звал его отец, совершенно сбитый с толку эманципацией, разверстанием угодий, выкупными сделками, новыми порядками, одним словом... Но зачем же он в Бадене?

А затем он в Бадене, что он со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты — Татьяны Петровны Шестовой. Он знал ее чуть не с детства и провел с ней весну и лето в Дрездене, где она поселилась с своей теткой. Он искренно любил, он глубоко уважал свою молодую родственницу и, окончив свою темную, приготовительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать действительную, не коронную службу, предложил ей, как любимой женщине, как товарищу и другу, соединить свою жизнь с его жизнью — на радость и на горе, на труд и на отдых, «for better for worse»[1], как говорят англичане. Она согласилась, и он отправился в Карлсруэ, где у него оставались книги, вещи, бумаги... Но почему же он в Бадене, спросите вы опять?

А потому он в Бадене, что тетка Татьяны, ее воспитавшая, Капитолина Марковна Шестова, старая девица пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения; esprit fort[2] (она Штрауса читала — правда, тихонько от племянницы) и демократка, заклятая противница большого света и аристократии, не могла устоять против соблазна хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком модном месте, каков Баден... Капитолина Марковна ходила без кринолина и стригла в кружок свои белые волосы, но роскошь и блеск тайно волновали ее, и весело и сладко было ей бранить и презирать их... Как же было не потешить добрую старушку?

Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост, оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчетливо ясно лежит пред ним, что судьба его определилась и что он гордится этою судьбой и радуется ей, как делу рук своих.

---

[1] «на хорошее и на плохое» *(англ.)*.

[2] вольнодумка *(франц.)*.

III

— Ба! ба! ба! вот он где! — раздался вдруг над самым его ухом пискливый голос, и отекшая рука потрепала его по плечу. Он поднял голову — и узрел одного из своих немногочисленных московских знакомых, некоего Бамбаева, человека хорошего, из числа пустейших, уже немолодого, с мягкими, словно разваренными щеками и носом, взъерошенными жирными волосами и дряблым тучным телом. Вечно без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге, Ростислав Бамбаев шлялся с криком, но без цели, по лицу нашей многосносной матушки земли.

— Вот что называется встреча! — повторял он, расширяя заплывшие глаза и выдвигая пухлые губки, над которыми странно и неуместно торчали крашеные усы.— Ай да Баден! Все сюда как тараканы лезут. Как ты сюда попал?

Бамбаев «тыкал» решительно всех на свете.

— Я четвертого дня сюда приехал.

— Откуда?

— Да на что тебе знать?

— Как на что! Да постой, постой, тебе, может быть, не известно, кто еще сюда приехал? Губарев! Сам, своей особой! Вот кто здесь! Вчера из Гейдельберга прикатил. Ты, конечно, с ним знаком?

— Я слышал о нем.

— Только-то? Помилуй! Сейчас, сию минуту мы тебя к нему потащим. Этакого человека не знать! Да вот кстати и Ворошилов... Постой, ты, пожалуй, и с ним незнаком? Честь имею вас друг другу представить. Оба ученые! Этот даже феникс! Поцелуйтесь!

И, сказав эти слова, Бамбаев обратился к стоявшему возле него красивому молодому человеку с свежим и розовым, но уже серьезным лицом. Литвинов приподнялся и, разумеется, не поцеловался, а обменялся коротеньким поклоном с «фениксом», которому, судя по строгости осанки, не слишком понравилось это неожиданное представление.

— Я сказал: феникс, и не отступаю от своего слова,— продолжал Бамбаев, — ступай в Петербург, в — й корпус, и посмотри на золотую доску: чье там имя стоит первым? Ворошилова Семена Яковлевича! Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо! Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я

один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о... о... о!..

— О чем это сочинение? — спросил Литвинов.

— Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бёкля... только поглубже, поглубже... Всё там будет разрешено и приведено в ясность.

— А ты сам читал это сочинение?

— Нет, не читал, и это даже тайна, которую не следует разглашать; но от Губарева всего можно ожидать, всего! Да! — Бамбаев вздохнул и сложил руки.— Что, если б еще такие две, три головы завелись у нас на Руси, ну что бы это было, господи боже мой! Скажу тебе одно, Григорий Михайлович: чем бы ты ни занимался в это последнее время,— а я и не знаю, чем ты вообще занимаешься,— какие бы ни были твои убеждения,— я их тоже не знаю,— но у него, у Губарева, ты найдешь чему поучиться. К несчастию, он здесь ненадолго. Надо воспользоваться, надо идти. К нему, к нему!

Проходивший франтик с рыжими кудряшками и голубою лентою на низкой шляпе обернулся и с язвительною усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бамбаева. Литвинову досадно стало.

— Что ты кричишь? — промолвил он,— словно гончую на след накликаешь! Я еще не обедал.

— Что ж такое! Можно сейчас у Вебера... втроем... Отлично! У тебя есть деньги заплатить за меня? — прибавил он вполголоса.

— Есть-то есть; только я, право, не знаю...

— Перестань, пожалуйста; ты меня благодарить будешь, и он рад будет... Ах, боже мой! — перебил самого себя Бамбаев.— Это они финал из «Эрнани» играют. Что за прелесть!.. A som... mo Carlo... [1] Экой, однако, я! Сейчас в слезы. Ну, Семен Яковлевич! Ворошилов! Идем, что ли?

Ворошилов, который всё еще продолжал стоять неподвижно и стройно, сохраняя прежнее, несколько горделивое достоинство осанки, знаменательно опустил глаза, нахмурился и промычал что-то сквозь зубы... но не отказался; а Литвинов подумал: «Что же! проделаем и это, благо время есть». Бамбаев взял его под руку, но, прежде чем направился в кофейную, кивнул пальцем Изабелле, известной цветочнице Жокей-клуба: ему вздумалось взять у ней букет. Но аристократическая цветочни-

---

[1] Великому Карлу... *(итал.)*.

ца не пошевельнулась; да и с какой стати было ей подходить к господину без перчаток, в запачканной плисовой куртке, пестром галстухе и стоптанных сапогах, которого она и в Париже-то никогда не видала? Тогда Ворошилов в свою очередь кивнул ей пальцем. К нему она подошла, и он, выбрав в ее коробке крошечный букет фиалок, бросил ей гульден. Он думал удивить ее своею щедростью; но она даже бровью не повела и, когда он от нее отвернулся, презрительно скорчила свои стиснутые губы. Одет Ворошилов был очень щегольски, даже изысканно, но опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его турнюре, в самой его походке, носившей следы рановременной военной выправки, отсутствие настоящего, чистокровного «шику».

Усевшись у Вебера в главной зале и заказав обед, знакомцы наши вступили в разговор. Бамбаев громко и с жаром потолковал о высоком значении Губарева, но скоро умолк и, шумно вздыхая и жуя, хлопал стакан за стаканом. Ворошилов пил и ел мало, словно нехотя, и, расспросив Литвинова о роде его занятий, принялся высказывать собственные мнения... не столько об этих занятиях, сколько вообще о различных «вопросах»... Он вдруг оживился и так и помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слог, каждую букву, как молодец-кадет на выпускном экзамене, и сильно, но не в лад размахивая руками. С каждым мгновением он становился всё речистей, всё бойчей, благо никто его не прерывал: он словно читал диссертацию или лекцию. Имена новейших ученых, с прибавлением года рождения или смерти каждого из них, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, имена, имена — дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высокое наслаждение, отражавшееся в его запылавших глазах. Ворошилов, видимо, презирал всякое старье, дорожил одними сливками образованности, последнею, передовою точкой науки; упомянуть, хотя бы некстати, о книге какого-нибудь доктора Зауэрбенгеля о пенсильванских тюрьмах или о вчерашней статье в «Азиатик джёрнал» о Ведах и Пуранах (он так и сказал: «Джёрнал», хотя, конечно, не знал по-английски) — было для него истинною отрадой, благополучием. Литвинов слушал его, слушал и никак не мог понять, какая же собственно его специальность? То он вел речь о роли кельтийского племени в истории, то его уносило в древний мир и он рассуждал об эгинских мра-

морах, напряженно толковал о жившем до Фидиаса ваятеле Онатасе, который, однако, превращался у него в Нонатана и тем на миг наводил на всё его рассуждение не то библейский, не то американский колорит; то он вдруг перескакивал в политическую экономию и называл Бастиа дураком и деревяшкой, «не хуже Адама Смита и всех физиократов...» — «Физиократов! — прошептал ему вслед Бамбаев...— Аристократов?..» Между прочим Ворошилов вызвал выражение изумления на лице того же самого Бамбаева небрежно и вскользь кинутым замечанием о Маколее как о писателе устарелом и уже опереженном наукой; что же до Гнейста и Риля, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами. Бамбаев также плечами пожал. «И всё это разом, безо всякого повода, перед чужими, в кофейной,— размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы, светлые глаза, белые зубы своего нового знакомца (особенно смущали его эти крупные сахарные зубы да еще эти руки с их неладным размахом),— и не улыбнется ни разу; а со всем тем, должно быть, добрый малый и крайне неопытный...» Ворошилов угомонился, наконец; голос его, юношески звонкий и хриплый, как у молодого петуха, слегка порвался... Кстати ж Бамбаев начал декламировать стихи и опять чуть не расплакался, что произвело впечатление скандала за одним соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и хихиканье за другим: две лоретки обедали за этим вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Кельнер принес счет; приятели расплатились.

— Ну,— воскликнул Бамбаев, грузно приподнимаясь со стула,— теперь чашку кофе и марш! Вон она, однако, наша Русь,— прибавил он, остановившись в дверях и чуть не с восторгом указывая своей мягкой, красною рукой на Ворошилова и Литвинова...— Какова?

«Да, Русь»,— подумал Литвинов; а Ворошилов, который уже опять успел придать лицу своему сосредоточенное выражение, снисходительно улыбнулся и слегка щелкнул каблуками.

Минут через пять они все трое поднимались вверх по лестнице гостиницы, где остановился Степан Николаевич Губарев... Высокая стройная дама в шляпке с короткою черною вуалеткой проворно спускалась с той же лестницы и, увидав Литвинова, внезапно обернулась к нему и остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгно-

венно вспыхнуло и потом так же быстро побледнело под частой сеткой кружева; но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням.

IV

— Григорий Литвинов, рубашка-парень, русская душа, рекомендую,— воскликнул Бамбаев, подводя Литвинова к человеку небольшого роста и помещичьего склада, с расстегнутым воротом, в куцей куртке, серых утренних панталонах и в туфлях, стоявшему посреди светлой, отлично убранной комнаты,— а это,— прибавил он, обращаясь к Литвинову,— это он, тот самый, понимаешь? Ну, Губарев, одним словом.

Литвинов с любопытством уставился на «того самого». На первый раз он не нашел в нем ничего необыкновенного. Он видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкою шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом. Этот господин осклабился, промолвил: «Ммм... да... это хорошо... мне приятно...» — поднес руку к собственному лицу и, тотчас же, повернувшись к Литвинову спиной, ступил несколько раз по ковру, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись. У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и почесывая бороду концами длинных и твердых ногтей. Кроме Губарева, в комнате находилась еще одна дама в шёлковом поношенном платье, лет пятидесяти, с чрезвычайно подвижным, как лимон желтым лицом, черными волосиками на верхней губе и быстрыми, словно выскочить готовыми глазами, да еще какой-то плотный человек сидел, сгорбившись, в уголку.

— Ну-с, почтенная Матрена Семеновна,— начал Губарев, обращаясь к даме и, видно, не считая нужным знакомить ее с Литвиновым,— что бишь вы начали нам рассказывать?

Дама (ее звали Матреной Семеновной Суханчиковой, она была вдова, бездетная, небогатая, и второй уже год странствовала из края в край) заговорила тотчас с особенным, ожесточенным увлечением:

— Ну, вот он и является к князю, и говорит ему: Ваше сиятельство, говорит, вы в таком сане и в таком звании, говорит, что́ вам стоит облегчить мою участь? Вы, говорит, не можете не уважать чистоту моих убеждений! И раз-

ве можно, говорит, в наше время преследовать за убеждения? И что ж, вы думаете, сделал князь, этот образованный, высокопоставленный сановник?

— Ну, что он сделал? — промолвил Губарев, задумчиво закуривая папироску.

Дама выпрямилась и протянула вперед свою костлявую правую руку с отделенным указательным пальцем.

— Он призвал своего лакея и сказал ему: «Сними ты сейчас с этого человека сюртук и возьми себе. Я тебе дарю этот сюртук!»

— И лакей снял? — спросил Бамбаев, всплеснув руками.

— Снял и взял. И это сделал князь Барнаулов, известный богач, вельможа, облеченный особенною властью, представитель правительства! Что ж после этого еще ожидать?

Всё тщедушное тело г-жи Суханчиковой тряслось от негодования, по лицу пробегали судороги, чахлая грудь порывисто колыхалась под плоским корсетом; о глазах уже и говорить нечего: они так и прыгали. Впрочем, они всегда прыгали, о чем бы она ни говорила.

— Вопиющее, вопиющее дело! — воскликнул Бамбаев.— Казни нет достойной!

— Ммм... ммм... Сверху донизу всё гнило,— заметил Губарев, не возвышая, впрочем, голоса.— Тут не казнь... тут нужна... другая мера.

— Да полно, правда ли это? — промолвил Литвинов.

— Правда ли? — подхватила Суханчикова.— Да в этом и думать нельзя сомневаться, д-у-у-у-мать нельзя...— Она с такою силою произнесла это слово, что даже скорчилась.— Мне это сказывал один вернейший человек. Да вы его, Степан Николаевич, знаете — Елистратов Капитон. Он сам это слышал от очевидцев, от свидетелей этой безобразной сцены.

— Какой Елистратов? — спросил Губарев.— Тот, что был в Казани?

— Тот самый. Я знаю, Степан Николаич, про него распустили слух, будто он там с каких-то подрядчиков или винокуров деньги брал. Да ведь кто это говорит? Пеликанов! А возможно ли Пеликанову верить, когда всем известно, что он просто — шпион!

— Нет, позвольте, Матрена Семеновна,— вступился Бамбаев,— я с Пеликановым приятель; какой же он шпион?

— Да, да, именно шпион!

— Да постойте, помилуйте...

— Шпион, шпион! — кричала Суханчикова.

— Да нет же, нет, постойте; я вам что скажу,— кричал в свою очередь Бамбаев.

— Шпион, шпион! — твердила Суханчикова.

— Нет, нет! Вот Тентелеев, это другое дело! — заревел Бамбаев уже во всё горло.

Суханчикова мгновенно умолкла.

— Про этого барина я достоверно знаю,— продолжал он обыкновенным своим голосом,— что когда Третье отделение его вызывало, он у графини Блазенкрампф в ногах ползал и всё пищал: «Спасите, заступитесь!» А Пеликанов никогда до такой подлости не унижался.

— Мм... Тентелеев...— проворчал Губарев,— это... это заметить надо.

Суханчикова презрительно пожала плечом.

— Оба хороши,— заговорила она, —но только я про Тентелеева еще лучше анекдот знаю. Он, как всем известно, был ужаснейший тиран со своими людьми, хотя тоже выдавал себя за эманципатора. Вот он раз в Париже сидит у знакомых, и вдруг входит мадам Бичер-Стоу,— ну, вы знаете, «Хижина дяди Тома». Тентелеев, человек ужасно чванливый, стал просить хозяина представить его; но та, как только услыхала его фамилию: «Как? — говорит,— сметь знакомиться с автором Дяди Тома? — Да хлоп его по щеке! — Вон! — говорит,— сейчас!» И что ж вы думаете? Тентелеев взял шляпу да, поджавши хвост, и улизнул.

— Ну, это, мне кажется, преувеличено,— заметил Бамбаев. «Вон!» она ему точно сказала, это факт; но пощечины она ему не дала.

— Дала пощечину, дала пощечину! — с судорожным напряжением повторила Суханчикова,— я не стану пустяков говорить. И с такими людьми вы приятель!

— Позвольте, позвольте, Матрена Семеновна, я никогда не выдавал Тентелеева за близкого мне человека; я про Пеликанова говорил.

— Ну, не Тентелеев, так другой: Михнев, например.

— Что же этот такое сделал? — спросил Бамбаев, уже заранее оробев.

— Что? Будто вы не знаете? На Вознесенском проспекте всенародно кричал, что надо, мол, всех либералов в тюрьму; а то еще к нему приходит старый пансионский товарищ, бедный, разумеется, и говорит: «Можно у тебя по-

обедать?» А тот ему в ответ: «Нет, нельзя; у меня два графа сегодня обедают... п'шол прочь!»

— Да это клевета, помилуйте! — возопил Бамбаев.

— Клевета?.. клевета? Во-первых, князь Вахрушкин, который тоже обедал у вашего Михнева...

— Князь Вахрушкин,— строго вмешался Губарев,— мне двоюродный брат; но я его к себе не пускаю... Ну, и упоминать о нем, стало быть, нечего.

— Во-вторых,— продолжала Суханчикова, покорно наклонив голову в сторону Губарева,— мне сама Прасковья Яковлевна сказала.

— Нашли на кого сослаться! Она да вот еще Саркизов — это первые выдумщики.

— Ну-с, извините; Саркизов лгун, точно; он же с мертвого отца парчевой покров стащил, об этом я спорить никогда не стану; но Прасковья Яковлевна, какие сравненья! Вспомните, как она благородно с мужем разошлась! Но вы, я знаю, вы всегда готовы...

— Ну полноте, полноте, Матрена Семеновна,— перебил ее Бамбаев.— Бросимте эти дрязги и воспаримтека в горния. Я ведь старого закала кочерга. Читали вы «Mademoiselle de la Quintinie?» Вот прелесть-то! И с принципами вашими в самый раз!

— Я романов больше не читаю,— сухо и резко отвечала Суханчикова.

— Отчего?

— Оттого что теперь не то время; у меня теперь одно в голове: швейные машины.

— Какие машины? — спросил Литвинов.

— Швейные, швейные; надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут. Иначе они никак освободиться не могут. Это важный, важный социальный вопрос. У нас такой об этом был спор с Болéслав Стадницким. Болéслав Стадницкий чудная натура, но смотрит на эти вещи ужасно легкомысленно. Всё смеется... Дурак!

— Все будут в свое время потребованы к отчету, со всех взыщется,— медленно, не то наставническим, не то пророческим тоном произнес Губарев.

— Да, да,— повторил Бамбаев,— взыщется, именно взыщется. А что, Степан Николаич,— прибавил он, понизив голос,— сочинение подвигается?

— Материалы собираю,— отвечал, насупившись, Гу-

барев и, обратившись к Литвинову, у которого голова начинала ходить кругом от этой яичницы незнакомых ему имен, от этого бешенства сплетни, спросил его: чем он занимается?

Литвинов удовлетворил его любопытству.

— А! Значит, естественными науками. Это полезно как школа; как школа, не как цель. Цель теперь должна быть... мм... должна быть... другая. Вы, позвольте узнать, каких придерживаетесь мнений?

— Каких мнений?

— Да, то есть собственно какие ваши политические убеждения?

Литвинов улыбнулся.

— Собственно у меня нет никаких политических убеждений.

Плотный человек, сидевший в углу, при этих словах внезапно поднял голову и внимательно посмотрел на Литвинова.

— Что так? — промолвил с странною кротостью Губарев.— Не вдумались еще или уже устали?

— Как вам сказать? Мне кажется, нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем. Заметьте, что я придаю слову «политический» то значение, которое принадлежит ему по праву, и что...

— Ага! из недозрелых,— с тою же кротостью перебил его Губарев и, подойдя к Ворошилову, спросил его: прочел ли он брошюру, которую он ему дал?

Ворошилов, который, к удивлению Литвинова, с самого своего прихода словечка не проронил, а только хмурился и значительно поводил глазами (он вообще либо ораторствовал, либо молчал),— Ворошилов выпятил по-военному грудь и, щелкнув каблуками, кивнул утвердительно головой.

— Ну, и что ж? Остались довольны?

— Что касается до главных оснований, доволен; но с выводами не согласен.

— Ммм... Андрей Иваныч мне, однако, хвалил эту брошюру. Вы мне потом изложите ваши сомнения.

— Прикажете письменно?

Губарев, видимо, удивился: он этого не ожидал; однако, подумав немного, промолвил:

— Да, письменно. Кстати, я вас попрошу изложить

мне также свои соображения... насчет... насчет ассоциаций.

— По методе Лассаля прикажете или Шульце-Делича?

— Ммм... по обеим. Тут, понимаете, для нас, русских, особенно важна финансовая сторона. Ну, и артель... как зерно. Всё это нужно принять к сведению. Вникнуть надо. Вот и вопрос о крестьянском наделе...

— А вы, Степан Николаич, какого мнения насчет количества следуемых десятин? — с почтительною деликатностью в голосе спросил Ворошилов.

— Ммм... А община? — глубокомысленно произнес Губарев и, прикусив клок бороды, уставился на ножку стола.— Община... Понимаете ли вы? Это великое слово! Потом, что значат эти пожары... эти... эти правительственные меры против воскресных школ, читален, журналов? А несогласие крестьян подписывать уставные грамоты? И, наконец, то, что происходит в Польше? Разве вы не видите, к чему это всё ведет? Разве вы не видите, что... мм... что нам... нам нужно теперь слиться с народом, узнать... узнать его мнение? — Губаревым внезапно овладело какое-то тяжелое, почти злобное волнение; он даже побурел в лице и усиленно дышал, но всё не поднимал глаз и продолжал жевать бороду.— Разве вы не видите...

— Евсеев подлец! — брякнула вдруг Суханчикова, которой Бамбаев, из уважения к хозяину, рассказывал что-то вполголоса. Губарев круто повернул на каблуках и опять заковылял по комнате.

Стали появляться новые посетители; под конец вечера набралось довольно много народу. В числе их пришел и господин Евсеев, так жестоко обозванный Суханчиковой,— она очень дружелюбно с ним разговаривала и попросила его провести ее домой; пришел некто Пищалкин, идеальный мировой посредник, человек из числа тех людей, в которых, может быть, точно нуждается Россия, а именно — ограниченный, мало знающий и бездарный, но добросовестный, терпеливый и честный; крестьяне его участка чуть не молились на него, и он сам весьма почтительно обходился с самим собою как с существом, истинно достойным уважения. Пришло несколько офицерчиков, выскочивших на коротенький отпуск в Европу и обрадовавшихся случаю, конечно, осторожно и не выпуская из головы задней мысли о полковом командире, побаловаться с умными и немножко даже опасными людьми; прибежали двое жиденьких студентиков из Гейдель-

берга — один всё презрительно оглядывался, другой хохотал судорожно... обоим было очень неловко; вслед за ними втерся французик, так называемый *п'ти жёном*[1], грязненький, бедненький, глупенький... он славился между своими товарищами, коммивояжерами, тем, что в него влюблялись русские графини, сам же он больше помышлял о даровом ужине; явился, наконец, Тит Биндасов, с виду шумный бурш, а в сущности кулак и выжига, по речам террорист, по призванию квартальный, друг российских купчих и парижских лореток, лысый, беззубый, пьяный; явился он весьма красный и дрянной, уверяя, что спустил последнюю копейку этому «шельмецу Беназету», а на деле он выиграл шестнадцать гульденов... Словом, много набралось народу. Замечательно, поистине замечательно было то уважение, с которым все посетители обращались к Губареву как наставнику или главе; они излагали ему свои сомнения, повергали их на его суд; а он отвечал... мычанием, подергиванием бороды, вращением глаз или отрывочными, незначительными словами, которые тотчас же подхватывались на лету, как изречения самой высокой мудрости. Сам Губарев редко вмешивался в прения; зато другие усердно надсаживали грудь. Случалось не раз, что трое, четверо кричали вместе в течение десяти минут, и все были довольны и понимали. Беседа продолжалась за полночь и отличалась, как водится, обилием и разнообразием предметов. Суханчикова говорила о Гарибальди, о каком-то Карле Ивановиче, которого высекли его собственные дворовые, о Наполеоне III, о женском труде, о купце Плескачеве, заведомо уморившем двенадцать работниц и получившем за это медаль с надписью «за полезное», о пролетариате, о грузинском князе Чукчеулидзеве, застрелившем жену из пушки, и о будущности России; Пищалкин говорил тоже о будущности России, об откупе, о значении национальностей и о том, что он больше всего ненавидит пошлое; Ворошилова вдруг прорвало: единым духом, чуть не захлебываясь, он назвал Дрепера, Фирхова, г-на Шелгунова, Биша́, Гельмгольца, Стара, Стура, Реймонта, Иоганна Миллера физиолога, Иоганна Миллера историка, очевидно смешивая их, Тэна, Ренана, г-на Щапова, а потом Томаса Наша, Пиля, Грина... «Это что же за птицы?» — с изумлением пробормотал Бамбаев. «Предшественники Шекспира, от-

[1] незначительный молодой человек *(франц.)*.

носящиеся к нему, как отроги Альп к Монблану!» — хлестко отвечал Ворошилов и также коснулся будущности России. Бамбаев тоже поговорил о будущности России и даже расписал ее в радужных красках, но в особенный восторг привела его мысль о русской музыке, в которой он видел что-то «ух! большое» и в доказательство затянул романс Варламова, но скоро был прерван общим криком, что: «он, мол, поет Miserere из «Травaтора» и прескверно поет». Один офицерчик под шумок ругнул русскую литературу, другой привел стишки из «Искры», а Тит Биндасов поступил еще проще: объявил, что всем бы этим мошенникам зубы надо повышибать — и баста! не определяя, впрочем, кто собственно были эти мошенники. Дым от сигар стоял удушливый; всем было жарко и томно, все охрипли, у всех глаза посоловели, пот лил градом с каждого лица. Бутылки холодного пива появлялись и опоражнивались мгновенно. «Что бишь я такое говорил?» — твердил один; «Да с кем же я сейчас спорил и о чем?» — спрашивал другой. И среди всего этого гама и чада, попрежнему переваливаясь и шевеля в бороде, без устали расхаживал Губарев и то прислушивался, приникая ухом, к чьему-нибудь рассуждению, то вставлял свое слово, и всякий невольно чувствовал, что он-то, Губарев, всему матка и есть, что он здесь и хозяин и первенствующее лицо...

У Литвинова часам к десяти сильно разболелась голова, и он ушел потихоньку и незаметно, воспользовавшись усиленным взрывом всеобщего крика: Суханчикова вспомнила новую несправедливость князя Барнаулова — чуть ли не приказал он кому-то ухо откусить.

Свежий ночной воздух ласково прильнул к воспаленному лицу Литвинова, влился пахучею струей в его засохшие губы. «Что это,— думал он, идя по темной аллее,— при чем это я присутствовал? Зачем они собрались? Зачем кричали, бранились, из кожи лезли? К чему всё это?» Литвинов пожал плечами и отправился к Веберу, взял газету и спросил себе мороженого. В газете толковалось о римском вопросе, а мороженое оказалось скверным. Он уже собирался идти домой, как вдруг к нему подошел незнакомый человек в шляпе с широкими полями и, проговорив по-русски: «Я вас не беспокою?» — присел за его столик. Тут только Литвинов, вглядевшись попристальнее в незнакомца, узнал в нем того плотного господина, который забился в уголок у Губарева и с таким вниманием

окинул его глазами, когда речь зашла о политических убеждениях. В течение всего вечера господин этот не разевал рта, а теперь, подсев к Литвинову и сняв шляпу, глядел на него дружелюбным и несколько смущенным взглядом.

V

— Г-н Губарев, у которого я имел удовольствие вас видеть сегодня,— начал он,— меня вам не отрекомендовал; так уж, если вы позволите, я сам себя рекомендую: Потугин, отставной надворный советник, служил в министерстве финансов, в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что вы не найдете странным... я вообще не имею привычки так внезапно знакомиться... но с вами...

Тут Потугин замялся и попросил кельнера принести ему рюмочку киршвассера. «Для храбрости»,— прибавил он с улыбкой.

Литвинов с удвоенным вниманием посмотрел на это последнее изо всех тех новых лиц, с которыми ему в тот день пришлось столкнуться, и тотчас же подумал: «Этот не то, что те».

Действительно, не то. Пред ним сидел, перебирая по краю стола тонкими ручками, человек широкоплечий, с просторным туловищем на коротких ногах, с понурою курчавою головой, с очень умными и очень печальными глазками под густыми бровями, с крупным правильным ртом, нехорошими зубами и тем чисто русским носом, которому присвоено название картофеля; человек с виду неловкий и даже диковатый, но уже, наверное, недюжинный. Одет он был небрежно: старомодный сюртук сидел на нем мешком, и галстух сбился на сторону. Его внезапная доверчивость не только не показалась Литвинову назойливостью, но, напротив, втайне ему польстила: нельзя было не видеть, что за этим человеком не водилось привычки навязываться незнакомым. Странное впечатление произвел он на Литвинова: он возбуждал в нем и уважение, и сочувствие, и какое-то невольное сожаление.

— Так я не беспокою вас? — повторил он мягким, немного сиплым и слабым голосом, который как нельзя лучше шел ко всей его фигуре.

— Помилуйте,— возразил Литвинов,— я, напротив, очень рад.

— В самом деле? Ну, так и я рад. Я слышал об вас

много; я знаю, чем вы занимаетесь и какие ваши намерения. Дело хорошее. То-то вы и молчали сегодня.

— Да и вы, кажется, говорили мало,— заметил Литвинов.

Потугин вздохнул.

— Другие уж больно много рассуждали-с. Я слушал. Ну что,— прибавил он, помолчав немного и как-то забавно уставив брови,— понравилось вам наше Вавилонское столпотворение?

— Именно столпотворение. Вы прекрасно сказали. Мне всё хотелось спросить у этих господ, из чего они так хлопочут?

Потугин опять вздохнул.

— В том-то и штука, что они и сами этого не ведают-с. В прежние времена про них бы так выразились: «Они, мол, слепые орудия высших целей»; ну, а теперь мы употребляем более резкие эпитеты. И заметьте, что собственно я нисколько не намерен обвинять их; скажу более, они все... то есть почти все, прекрасные люди. Про г-жу Суханчикову я, например, наверное знаю очень много хорошего: она последние свои деньги отдала двум бедным племянницам. Положим, тут действовало желание пощеголять, порисоваться, но согласитесь, замечательное самоотвержение в женщине, которая сама небогата! Про г-на Пищалкина и говорить нечего; ему непременно, со временем, крестьяне его участка поднесут серебряный кубок в виде арбуза, а может быть, и икону с изображением его ангела, и хотя он им скажет в своей благодарственной речи, что он не заслуживает подобной чести, но это он неправду скажет: он ее заслуживает. У г-на Бамбаева, вашего приятеля, сердце чудное; правда, у него, как у поэта Языкова, который, говорят, воспевал разгул, сидя за книгой и кушая воду,— восторг собственно ни на что не обращенный, но всё же восторг; и г-н Ворошилов тоже добрейший; он, как все люди его школы, люди золотой доски, точно на ординарцы прислан к науке, к цивилизации, и даже молчит фразисто, но он еще так молод! Да, да, всё это люди отличные, а в результате ничего не выходит; припасы первый сорт, а блюдо хоть в рот не бери.

Литвинов с возрастающим удивлением слушал Потугина: все приемы, все обороты его неторопливой, но самоуверенной речи изобличали и уменье и охоту говорить.

Потугин точно и любил и умел говорить; но как человек, из которого жизнь уже успела повытравить самолюбие, он с философическим спокойствием ждал случая, встречи по сердцу.

— Да, да.— начал он снова, с особым, ему свойственным, не болезненным, но унылым юмором,— это всё очень странно-с. И вот еще что прошу заметить. Сойдется, например, десять англичан, они тотчас заговорят о подводном телеграфе, о налоге на бумагу, о способе выделывать крысьи шкуры, то есть о чем-нибудь положительном, определенном; сойдется десять немцев, ну, тут, разумеется, Шлезвиг-Гольштейн и единство Германии явятся на сцену; десять французов сойдется, беседа неизбежно коснется «клубнички», как они там ни виляй; а сойдется десять русских, мгновенно возникает вопрос,— вы имели случай сегодня в том убедиться,— вопрос о значении, о будущности России, да в таких общих чертах, от яиц Леды, бездоказательно, безвыходно. Жуют, жуют они этот несчастный вопрос, словно дети кусок гуммиластика: ни соку, ни толку. Ну, и конечно, тут же, кстати, достанется и гнилому Западу. Экая притча, подумаешь! Бьет он нас на всех пунктах, этот Запад,— а гнил! И хоть бы мы действительно его презирали,— продолжал Потугин,— а то ведь это всё фраза и ложь. Ругать-то мы его ругаем, а только его мнением и дорожим, то есть в сущности мнением парижских лоботрясов. У меня есть знакомый, и хороший, кажется, человек, отец семейства, уже немолодой; так тот несколько дней в унынии находился оттого, что в парижском ресторане спросил себе une portion de biftek aux pommes de terre[1], а настоящий француз тут же крикнул: «Garçon! biftek pommes!»[2] Сгорел мой приятель от стыда! И потом везде кричал: «Biftek pommes!» и других учил. Самые даже лоретки удивляются благоговейному трепету, с которым наши молодые степняки входят в их позорную гостиную... Боже мой! думают они, ведь это где я? У самой Annah Deslions!!

— Скажите, пожалуйста,— спросил Литвинов,— чему вы приписываете несомненное влияние Губарева на всех его окружающих? Не дарованиям, не способностям же его?

— Нет-с, нет-с; у него этого ничего не имеется...

---

[1] одну порцию бифштекса с картофелем *(франц.)*.
[2] «Человек! бифштекс, картошку!» *(франц.)*.

— Так характеру, что ли?

— И этого нет-с, а у него много воли-с. Мы, славяне, вообще, как известно, этим добром не богаты и перед ним пасуем. Г-н Губарев захотел быть начальником, и все его начальником признали. Что прикажете делать?! Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; нескоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет... теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело темное; такая уж, видно, наша натура. Но главное дело, чтоб был у нас барин. Ну, вот он и есть у нас; это, значит, наш, а на всё остальное мы наплевать! Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское уничижение. Новый барин народился — старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! Вспомните, какие в этом роде происходили у нас проделки! Мы толкуем об отрицании как об отличительном нашем свойстве; но и отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, а как лакей, лупящий кулаком, да еще, пожалуй, и лупит-то он по господскому приказу. Ну-с, а народ мы тоже мягкий; в руки нас взять не мудрено. Вот таким-то образом и г-н Губарев попал в барья; долбил-долбил в одну точку и продолбился. Видят люди: большого мнения о себе человек, верит в себя, приказывает — главное, приказывает; стало быть, он прав и слушаться его надо. Все наши расколы, наши Онуфриевщины да Акулиновщины именно так и основались. Кто палку взял, тот и капрал.

У Потугина покраснели щеки и глаза потускнели; но странное дело! речь его, горькая и даже злая, не отзывалась желчью, а скорее печалью, и правдивою, искреннею печалью.

— Вы как с Губаревым познакомились? — спросил Литвинов.

— Я его давно знаю-с. И заметьте, какая у нас опять странность: иной, например, сочинитель, что ли, весь свой век и стихами и прозой бранил пьянство, откуп укорял... да вдруг сам взял да два винные завода купил и снял сотню кабаков — и ничего! Другого бы с лица земли стерли, а его даже не упрекают. Вот и г-н Губарев: он и сла-

вянофил, и демократ, и социалист, и всё что угодно, а именьем его управлял и теперь еще управляет брат, хозяин в старом вкусе, из тех, что дантистами величали. И та же г-жа Суханчикова, которая заставляет г-жу Бичер-Стоу бить по щекам Тентелеева, перед Губаревым чуть не ползает. А ведь только за ним и есть, что он умные книжки читает да всё в глубину устремляется. Какой у него дар слова, вы сегодня сами судить могли; и это еще слава богу, что он мало говорит, всё только ежится. Потому что когда он в духе да нараспашку, так даже мне, терпеливому человеку, невмочь становится. Начнет подтрунивать да грязные анекдотцы рассказывать, да, да, наш великий г-н Губарев рассказывает грязные анекдоты и так мерзко смеется при этом...

— Будто вы так терпеливы? — промолвил Литвинов.— Я, напротив, полагал... Но позвольте узнать, как ваше имя и отчество?

Потугин отхлебнул немного киршвассеру.

— Меня зовут Созонтом... Созонтом Иванычем. Дали мне это прекрасное имя в честь родственника, архимандрита, которому я только этим и обязан. Я, если смею так выразиться, священнического поколения. А что вы насчет терпенья сомневаетесь, так это напрасно: я терпелив. Я двадцать два года под начальством родного дядюшки, действительного статского советника Иринарха Потугина, прослужил. Вы его не изволили знать?

— Нет.

— С чем вас поздравляю. Нет, я терпелив. Но «возвратимся на первое», как говорит почтенный мой собрат, сожженный протопоп Аввакум. Удивляюсь я, милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надеждой и чуть что, так на стену и лезут. Вот хоть бы славянофилы, к которым г-н Губарев себя причисляет: прекраснейшие люди, а та же смесь отчаяния и задора, тоже живут буквой «буки». Всё, мол, будет, будет. В наличности ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... Но постойте, потерпите: всё будет. А почему будет, позвольте полюбопытствовать? А потому, что мы, мол, образованные люди,— дрянь; но народ... о, это великий народ! Видите этот армяк? вот откуда всё пойдет. Все другие идолы разрушены; будемте же верить в армяк. Ну, а коли армяк выдаст? Нет, он не

выдаст, прочтите Кохановскую, и очи в потолоки! Право, если б я был живописцем, вот бы я какую картину написал: Образованный человек стоит перед мужиком и кланяется ему низко: вылечи, мол, меня, батюшка-мужичок, я пропадаю от болести; а мужик в свою очередь низко кланяется образованному человеку: научи, мол, меня, батюшка-барин, я пропадаю от темноты. Ну, и, разумеется, оба ни с места. А стоило бы только действительно смириться — не на одних словах — да попризанять у старших братьев, что они придумали и лучше нас и прежде нас! Кельнер, *нох эйн глэзхен кирш!*[1] Вы не думайте, что я пьяница, но алкоголь развязывает мне язык.

— После того, что вы сейчас сказали,— промолвил с улыбкой Литвинов,— мне нечего и спрашивать, к какой вы принадлежите партии и какого мнения вы о Европе. Но позвольте мне сделать вам одно замечание. Вот вы говорите, что нам следует занимать, перенимать у наших старших братьев; но как же возможно перенимать, не соображаясь с условиями климата, почвы, с местными, с народными особенностями? Отец мой, помнится, выписал от Бутенопов чугунную, отлично зарекомендованную веялку; веялка эта точно была очень хороша — и что же? Она целых пять лет простояла в сарае безо всякой пользы, пока ее не заменила деревянная американская — гораздо более подходящая к нашему быту и к нашим привычкам, как вообще все американские машины. Нельзя, Созонт Иванович, перенимать зря.

Потугин приподнял голову.

— Не ожидал я от вас такого возражения, почтеннейший Григорий Михайлович,— начал он погодя немного.— Кто же вас заставляет перенимать зря? Ведь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вам пригодно: стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатов — так вы не извольте беспокоиться: своеобразность в них будет в силу самых этих местных, климатических и прочих условий, о которых вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудок ее переварит по-своему; и со временем, когда организм окрепнет, он даст *свой* сок. Возьмите пример хоть с нашего языка. Петр Великий наводнил его тысячами чужеземных слов, голландских, французских, немецких: слова эти выражали понятия, с которыми нужно было

[1] еще стаканчик вишневки! *(нем.)*.

познакомить русский народ; не мудрствуя и не церемонясь, Петр вливал эти слова целиком, ушатами, бочками в нашу утробу. Сперва — точно вышло нечто чудовищное, а потом — началось именно то перевариванье, о котором я вам докладывал. Понятия привились и усвоились; чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел чем их заменить — и теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля... да-с, да-с, из Гегеля... не употребив ни одного неславянского слова. Что произошло с языком, то, должно надеяться, произойдет и в других сферах. Весь вопрос в том — крепка ли натура? а наша натура — ничего, выдержит: не в таких была передрягах. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могут одни нервные больные да слабые народы; точно так же как восторгаться до пены у рта тому, что мы, мол, русские,— способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своем здоровье, но в восторг от него не прихожу: совестно-с.

— Всё так, Созонт Иваныч,— заговорил в свою очередь Литвинов,— но зачем же непременно подвергать нас подобным испытаниям? Сами ж вы говорите, что сначала вышло нечто чудовищное! Ну — а коли это чудовищное так бы и осталось? Да оно и осталось, вы сами знаете.

— Только не в языке — а уж это много значит! А наш народ не я делал; не я виноват, что ему суждено проходить через такую школу. «Немцы правильно развивались,— кричат славянофилы,— подавайте и нам правильное развитие!» Да где ж его взять, когда самый первый исторический поступок нашего племени — призвание себе князей из-за моря — есть уже неправильность, ненормальность, которая повторяется на каждом из нас до сих пор; каждый из нас, хоть раз в жизни, непременно чему-нибудь чужому, не русскому сказал: «Иди владети и княжити надо мною!» Я, пожалуй, готов согласиться, что, вкладывая иностранную суть в собственное тело, мы никак не можем наверное знать наперед, что такое мы вкладываем: кусок хлеба или кусок яда? Да ведь известное дело: от худого к хорошему никогда не идешь через лучшее, а всегда через худшее,— и яд в медицине бывает полезен. Одним только тупицам или пройдохам прилично указывать с торжеством на бедность крестьян после освобождения, на усиленное их пьянство после уничтожения откупов... Через худшее к хорошему!

Потугин провел рукой по лицу.

— Вы спрашивали меня, какого я мнения о Европе,— начал он опять.— я удивляюсь ей и предан ее началам до чрезвычайности и нисколько не считаю нужным это скрывать. Я давно... нет, недавно... с некоторых пор, перестал бояться высказывать свои убеждения... Ведь вот и вы не усомнились заявить г-ну Губареву свой образ мыслей. Я, слава богу, перестал соображаться с понятиями, воззрениями, привычками человека, с которым беседую. В сущности я ничего не знаю хуже той ненужной трусости, той подленькой угодливости, в силу которой, посмотришь, иной важный сановник у нас подделывается к ничтожному в его глазах студентику, чуть не заигрывает с ним, зайцем к нему забегает. Ну, положим, сановник так поступает из желания популярности, а нашему брату, разночинцу, из чего вилять? Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются,— цивилизации,— да, да, это слово еще лучше,— и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово: ци...ви...ли...зация (Потугин отчетливо, с ударением произнес каждый слог) — и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут... бог с ними!

— Ну, а Россию, Созонт Иваныч, свою родину, вы любите?

Потугин провел рукой по лицу.

— Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу.

Литвинов пожал плечами.

— Это старо, Созонт Иваныч, это общее место.

— Так что же такое? Что за беда? Вот чего испугались! Общее место! Я знаю много хороших общих мест. Да вот, например: свобода и порядок — известное общее место. Что ж, по-вашему, лучше, как у нас: чиноначалие и безурядица? И притом разве все эти фразы, от которых так много пьянеет молодых голов: презренная буржуазия, souverainité du peuple[1], право на работу,— разве они тоже не общие места? А что до любви, неразлучной с ненавистью...

— Байроновщина,— перебил Литвинов,— романтизм тридцатых годов.

— Вы ошибаетесь, извините-с; первый указал на по-

---

[1] главенство народа *(франц.)*.

добное смешение чувств Катулл, римский поэт Катулл *, две тысячи лет тому назад. Я это у него вычитал, потому что несколько знаю по-латыни, вследствие моего, если смею так выразиться, духовного происхождения. Да-с; я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину. Я теперь вот ее покинул: нужно было проветриться немного после двадцатилетнего сидения за казенным столом, в казенном здании; я покинул Россию, и здесь мне очень приятно и весело; но я скоро назад поеду, я это чувствую. Хороша садовая земля... да не расти на ней морошке!

— Вам весело, вам приятно, и мне здесь хорошо,— сказал Литвинов,— и я сюда учиться приехал; но это не мешает мне видеть хоть бы вот подобные штучки...— Он указал на двух проходивших лореток, около которых кривлялось и картавило несколько членов Жокей-клуба, и на игорную залу, набитую битком, несмотря на позднее время дня.

— Да кто ж вам сказал, что и я слеп на это? — подхватил Потугин.— Только, извините меня, ваше замечание напоминает мне торжествующие указания наших несчастных журнальцев во время Крымской кампании на недостатки английского военного управления, разоблаченные «Тэймсом». Я сам не оптимист, и всё человеческое, вся наша жизнь, вся эта комедия с трагическим концом не представляется мне в розовом свете; но зачем навязывать именно Западу то, что, быть может, коренится в самой нашей человеческой сути? Этот игорный дом безобразен, точно; ну, а доморощенное наше шулерство небось красивее? Нет, любезнейший Григорий Михайлович, будемте посмирнее да потише: хороший ученик видит ошибки своего учителя, но молчит о них почтительно; ибо самые эти ошибки служат ему в пользу и наставляют его на прямой путь. А если вам непременно хочется почесать зубки насчет гнилого Запада, то вот бежит рысцой князь Кокó; он, вероятно, спустил в четверть часа за зеленым столом трудовой, вымученный оброк полутораста семейств, нервы его раздражены, притом я видел, он сегодня у Маркса перелистывал брошюру Вельйо... Отличный вам будет собеседник!

---

* Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris? Nescio: sed fieri sentio et excrucior. ⟨Ненавижу и люблю. Почему это бывает, может быть ты спросишь? Не знаю, но чувствую, что это так, и это мучительно *(лат.)*⟩. Катулл, LXXXVI.

— Да позвольте, позвольте,— поспешно проговорил Литвинов, видя, что Потугин приподнимается с места.— Я князя Кокó знаю очень мало и уж, конечно, предпочитаю беседу с вами...

— Очень вам благодарен,— перебил его Потугин, вставая и раскланиваясь,— но я уже так-таки многонько беседовал с вами, то есть собственно говорил я один, а вы, вероятно, сами по себе заметили, что человеку всегда как-то совестно и неловко становится, когда он много наговорит — один. Особенно так, с первого раза: вот, мол, я каков, посмотри! До приятного свиданья... А я, повторяю, очень рад моему знакомству с вами.

— Да постойте, Созонт Иваныч, скажите по крайней мере, где вы живете и долго ли здесь намерены остаться?

Потугина как будто слегка покоробило.

— С неделю я еще останусь в Бадене, а впрочем, мы можем сходиться вот тут, у Вебера или у Маркса. А не то я к вам зайду.

— Все-таки мне нужно знать ваш адрес.

— Да. Но вот что: я не один.

— Вы женаты? — внезапно спросил Литвинов.

— Нет, помилуйте... зачем так несообразно говорить?.. Но со мной девица.

— А! — с вежливою ужимкой, как бы извиняясь, промолвил Литвинов и потупил глаза.

— Ей всего шесть лет,— продолжал Потугин.— Она сирота... дочь одной дамы... одной моей хорошей знакомой. Уж мы лучше будем сходиться здесь. Прощайте-с.

Он нахлобучил шляпу на свою курчавую голову и быстро удалился, мелькнув раза два под газовыми рожками, довольно скупо освещающими дорогу, ведущую к Лихтенталевской аллее.

VI

«Странный человек! — думал Литвинов, направляясь к гостинице, в которой остановился.— Странный человек! Надо будет отыскать его». Он вошел в свою комнату: письмо на столе бросилось ему в глаза. «А! от Тани!» — подумал он и заранее обрадовался; но письмо было из деревни, от отца. Литвинов сломил крупную гербовую печать и принялся было читать... Сильный, очень приятный и знакомый запах поразил его. Он оглянулся и увидел на окне в стакане воды большой букет свежих гелиотро-

пов. Литвинов нагнулся к ним не без удивления, потрогал их, понюхал... Что-то как будто вспомнилось ему, что-то весьма отдаленное... но что именно, он не мог придумать. Он позвонил слугу и спросил его, откуда взялись эти цветы? Слуга отвечал, что их принесла дама, которая не хотела назваться, но сказала, что он, мол, «герр Злуитенгоф», по самым этим цветам непременно должен догадаться, кто она такая. Литвинову опять как будто что-то вспомнилось... Он спросил у слуги, какой наружности была дама? Слуга объяснил, что она была высокого роста и прекрасно одета, а на лице имела вуаль.

— Вероятно, русская графиня,— прибавил он.

— Почему вы так полагаете? — спросил Литвинов.

— Она мне дала два гульдена,— ответил слуга и осклабился.

Литвинов услал его и долго потом стоял в раздумье перед окном; наконец, однако, махнул рукой и снова принялся за письмо из деревни. Отец изливал в нем свои обычные жалобы, уверял, что хлеба никто даже даром не берет, что люди вышли вовсе из повиновения и что, вероятно, скоро наступит конец света. «Вообрази ты себе,— писал он между прочим,— последнего моего кучера, калмычонка, помнишь? испортили, и непременно так бы и пропал человек, и ездить было бы не с кем, да, спасибо, добрые люди надоумили и посоветовали отослать больного в Рязань к священнику, известному мастеру против порчи; и лечение действительно удалось как нельзя лучше, в подтверждение чего прилагаю письмо самого батюшки, яко документ». Литвинов с любопытством пробежал этот документ. В нем обозначалось, что «дворовый человек Никанор Дмитриев был одержим болезнию, по медицинской части недоступною; и эта болезнь зависящая от злых людей; а причиной он сам, Никанор, ибо свое обещание перед некою девицей не сполнил, а потому она через людей сделала его никуда неспособным, и если б не я в этих обстоятельствах объявился ему помощником, то он должен был совершенно погибнуть, как червь капустная; но аз, надеясь на всевидящее око, сделался ему подпорой в его жизни; а как я оное совершил, сие есть тайна; а ваше благородие прошу, чтоб оной девице впредь такими злыми качествами не заниматься, и даже пригрозить не мешает, а то она опять может над ним злодействовать». Задумался Литвинов над этим документом; повеяло на него степною глушью, слепым мраком заплесневшей

жизни, и чудно показалось ему, что он прочел это письмо именно в Бадене. Между тем полночь уже давно пробила; Литвинов лег в постель и задул свечу. Но он не мог заснуть: виденные им лица, слышанные им речи то и дело вертелись и кружились, странно сплетаясь и путаясь в его горячей, от табачного дыма разболевшейся голове. То чудилось ему мычанье Губарева и представлялись его вниз устремленные глаза с их тупым и упрямым взглядом; то вдруг эти самые глаза разгорались и прыгали, и он узнавал Суханчикову, слышал ее трескучий голос и невольно, шёпотом, повторял за нею: «Дала, дала пощечину»; то выдвигалась перед ним нескладная фигура Потугина, и он в десятый, в двадцатый раз припоминал каждое его слово; то, как куколка из табакерки, выскакивал Ворошилов в своем общелкнутом пальто, сидевшем на нем, как новый мундирчик, и Пищалкин мудро и важно кивал отлично выстриженною и действительно благонамеренною головой; а там Биндасов гаркал и ругался, и Бамбаев восторгался слезливо... А главное: этот запах, неотступный, неотвязный, сладкий, тяжелый запах не давал ему покоя, и всё сильней и сильней разливался в темноте, и всё настойчивее напоминал ему что-то, чего он никак уловить не мог... Литвинову пришло в голову, что запах цветов вреден для здоровья ночью в спальне, и он встал, ощупью добрел до букета и вынес его в соседнюю комнату; но и оттуда проникал к нему в подушку, под одеяло, томительный запах, и он тоскливо переворачивался с боку на бок. Уже лихорадка начинала подкрадываться к нему; уже священник, «мастер против порчи», два раза в виде очень прыткого зайца с бородой и косичкой перебежал ему дорогу, и, сидя в огромном генеральском султане, как в кусте, соловьем защелкал над ним Ворошилов... как вдруг он приподнялся с постели и, всплеснув руками, воскликнул: «Неужели *она*, не может быть!»

Но для того, чтоб объяснить это восклицание Литвинова, мы должны попросить снисходительного читателя вернуться с нами за несколько лет назад...

VII

В начале пятидесятых годов проживало в Москве, в весьма стесненных обстоятельствах, чуть не в бедности, многочисленное семейство князей Осининых. То были настоящие, не татаро-грузинские, а чистокровные князья,

Рюриковичи; имя их часто встречается в наших летописях при первых московских великих князьях, русской земли собирателях; они владели обширными вотчинами и многими поместьями, неоднократно были жалованы за «работы и кровь и увечья», заседали в думе боярской, один из них даже писался с «вичем»; но попали в опалу по вражьему наговору в «ведунстве и кореньях»; их разорили «странно и всеконечно», отобрали у них честь, сослали их в места заглазные; рухнули Осинины и уже не справились, не вошли снова в силу; опалу с них сняли со временем и даже «московский дворишко» и «рухлядишку» возвратили, но ничто не помогло. Забеднял, «захудал» их род — не поднялся ни при Петре, ни при Екатерине и, всё мельчая и понижаясь, считал уже частных управляющих, начальников винных контор и квартальных надзирателей в числе своих членов. Семейство Осининых, о котором у нас зашла речь, состояло из мужа, жены и пяти человек детей. Проживало оно около Собачьей площадки, в одноэтажном деревянном домике, с полосатым парадным крылечком на улицу, зелеными львами на воротах и прочими дворянскими затеями, и едва-едва сводило концы с концами, должая в овощную лавочку и частенько сидя без дров и без свеч по зимам. Сам князь был человек вялый и глуповатый, некогда красавец и франт, но совершенно опустившийся; ему, не столько из уважения к его имени, сколько из внимания к его жене, бывшей фрейлине, дали одно из московских старозаветных мест с небольшим жалованьем, мудреным названием и безо всякого дела; он ни во что не вмешивался и только курил с утра до вечера, не выходя из шлафрока и тяжело вздыхая. Супруга его была женщина больная и озлобленная, постоянно озабоченная хозяйственными дрязгами, помещением детей в казенные заведения и поддержкой петербургских связей; она никак не могла свыкнуться с своим положением и удалением от двора.

Отец Литвинова, в бытность свою в Москве, познакомился с Осиниными, имел случай оказать им некоторые услуги, дал им однажды рублей триста взаймы; и сын его, будучи студентом, часто к ним наведывался, кстати ж его квартира находилась не в дальнем расстоянии от их дома. Но не близость соседства привлекала его, не плохие удобства их образа жизни его соблазняли: он стал часто посещать Осининых с тех пор, как влюбился в их старшую дочь, Ирину.

Ей минуло тогда семнадцать лет; она только что оставила институт, откуда мать ее взяла по неприятности с начальницей. Неприятность произошла от того, что Ирина должна была произнести на публичном акте приветственные стихи попечителю на французском языке, а перед самым актом ее сменила другая девица, дочь очень богатого откупщика. Княгиня не могла переварить этот афронт; да и сама Ирина не простила начальнице ее несправедливости; она уже заранее мечтала о том, как на виду всех, привлекая всеобщее внимание, она встанет, скажет свою речь, и как Москва потом заговорит о ней... И точно: Москва, вероятно, заговорила бы об Ирине. Это была девушка высокая, стройная, с несколько впалою грудью и молодыми узкими плечами, с редкою в ее лета бледно-матовою кожей, чистою и гладкою как фарфор, с густыми белокурыми волосами; их темные пряди оригинально перемежались другими, светлыми. Черты ее лица, изящно, почти изысканно правильные, не вполне еще утратили то простодушное выражение, которое свойственно первой молодости; но в медлительных наклонениях ее красивой шейки, в улыбке, не то рассеянной, не то усталой, сказывалась нервическая барышня, а в самом рисунке этих чуть улыбавшихся, тонких губ, этого небольшого, орлиного, несколько сжатого носа было что-то своевольное и страстное, что-то опасное и для других и для нее. Поразительны, истинно поразительны были ее глаза, исчерна-серые, с зеленоватыми отливами, с поволокой, длинные, как у египетских божеств, с лучистыми ресницами и смелым взмахом бровей. Странное выражение было у этих глаз: они как будто глядели, внимательно и задумчиво глядели из какой-то неведомой глубины и дали. В институте Ирина слыла за одну из лучших учениц по уму и способностям, но с характером непостоянным, властолюбивым и с бедовою головой; одна классная дама напророчила ей, что ее страсти ее погубят — «Vos passions vous perdront»; зато другая классная дама ее преследовала за холодность и бесчувственность и называла ее «une jeune fille sans coeur»[1]. Подруги Ирины находили ее гордою и скрытною, братья и сестры ее побаивались, мать ей не доверяла, а отцу становилось неловко, когда она устремляла на него свои таинственные глаза; но и отцу и матери она внушала чувство невольного уважения не

[1] «молодой бессердечной девушкой» *(франц.)*.

в силу своих качеств, а в силу особенных, неясных ожиданий, которые она в них возбуждала, бог ведает почему.

— Вот ты увидишь, Прасковья Даниловна,— сказал однажды старый князь, вынимая чубук изо рта,— Аринка-то нас еще вывезет.

Княгиня рассердилась и сказала мужу, что у него «des expressions insupportables»[1], но потом задумалась и повторила сквозь зубы:

— Да... и хорошо бы нас вывезти.

Ирина пользовалась почти неограниченною свободою в родительском доме; ее не баловали, даже немного чуждались ее, но и не прекословили ей: она только того и хотела... Бывало, при какой-нибудь уже слишком унизительной сцене: лавочник ли придет и станет кричать на весь двор, что ему уж надоело таскаться за своими же деньгами, собственные ли люди примутся в глаза бранить своих господ, что вы, мол, за князья, коли сами с голоду в кулак свищете,— Ирина даже бровью не пошевельнет и сидит неподвижно, со злою улыбкою на сумрачном лице; а родителям ее одна эта улыбка горше всяких упреков, и чувствуют они себя виноватыми, без вины виноватыми перед этим существом, которому как будто с самого рождения дано было право на богатство, на роскошь, на поклонение.

Литвинов влюбился в Ирину, как только увидал ее (он был всего тремя годами старше ее), и долгое время не мог добиться не только взаимности, но и внимания. На ее обращении с ним лежал даже отпечаток какой-то враждебности; точно он обидел ее и она глубоко затаила обиду, а простить ее не могла. Он был слишком молод и скромен в то время, чтобы понять, что могло скрываться под этою враждебною, почти презрительною суровостью. Бывало, забыв лекции и тетради, сидит он в невеселой гостиной осининского дома, сидит и украдкой смотрит на Ирину: сердце в нем медленно и горестно тает и давит ему грудь; а она как будто сердится, как будто скучает, встанет, пройдется по комнате, холодно посмотрит на него, как на стол или на стул, пожмет плечом и скрестит руки; или в течение целого вечера, даже разговаривая с Литвиновым, нарочно ни разу не взглянет на него, как бы отказывая ему и в этой милостыне; или, наконец, возьмет книжку и уставится в нее, не читая, хмурится и кусает губы, а не

[1] «невозможные выражения» *(франц.)*.

то вдруг громко спросит у отца или у брата: как по-немецки терпение? Он попытался вырваться из заколдованного круга, в котором мучился и бился безустанно, как птица, попавшая в западню; он отлучился на неделю из Москвы. Чуть не сошед с ума от тоски и скуки, весь исхудалый, больной, вернулся он к Осининым... Странное дело! Ирина тоже заметно похудела за эти дни, лицо ее пожелтело, щеки осунулись... но встретила она его с большей еще холодностью, с почти злорадным небрежением, точно он еще увеличил ту тайную обиду, которую ей нанес... Так мучила она его месяца два. Потом в один день всё изменилось. Словно вспыхнула пожаром, словно грозовою тучею налетела любовь. Однажды — он долго помнил этот день — он опять сидел в гостиной Осининых у окна и смотрел бессмысленно на улицу, и досадно ему было, и скучно, и презирал он самого себя, и с места двинуться он не мог... Казалось, теки река тут же под окном, бросился бы он в нее с ужасом, но без сожаления. Ирина поместилась недалеко от него и как-то странно молчала и не шевелилась. Она уже несколько дней не говорила с ним вовсе, да и ни с кем она не говорила; всё сидела, подпершись руками, словно недоумевала, и лишь изредка медленно осматривалась кругом. Это холодное томление пришлось, наконец, невмочь Литвинову; он встал и, не прощаясь, начал искать свою шапку. «Останьтесь»,— послышался вдруг тихий шёпот. Сердце дрогнуло в Литвинове, он не сразу узнал голос Ирины: что-то небывалое прозвучало в одном этом слове. Он поднял голову и остолбенел: Ирина ласково, да, ласково глядела на него. «Останьтесь,— повторила она,— не уходите. Я хочу быть с вами». Она еще понизила голос. «Не уходите... я хочу». Ничего не понимая, не сознавая хорошенько, что он делает, он приблизился к ней, протянул руки... Она тотчас подала ему обе свои, потом улыбнулась, вспыхнула вся, отвернулась и, не переставая улыбаться, вышла из комнаты... Через несколько минут она возвратилась вместе с младшею сестрой, опять взглянула на него тем же долгим и кротким взглядом и усадила его возле себя... Сперва она ничего не могла сказать: только вздыхала и краснела; потом начала, словно робея, расспрашивать его об его занятиях, чего она прежде никогда не делала. Вечером того же дня она несколько раз принималась извиняться перед ним в том, что не умела оценить его до сих пор, уверяла его, что она теперь совсем другая стала, удивила

его внезапною республиканскою выходкой (он в то время благоговел перед Робеспьером и не дерзал громко осуждать Марата), а неделю спустя он уже знал, что она его полюбила. Да; он долго помнил тот первый день... но не забыл он также и последующих — тех дней, когда, еще силясь сомневаться и боясь поверить, он с замираниями восторга, чуть не испуга, видел ясно, как нарождалось, росло и, неотразимо захватывая всё перед собою, нахлынуло, наконец, неожиданное счастье. Наступили светлые мгновенья первой любви, мгновенья, которым не суждено, да и не следует повторяться в одной и той же жизни. Ирина стала вдруг повадлива как овечка, мягка как шёлк и бесконечно добра; принялась давать уроки своим младшим сестрам — не на фортепьяно,— она не была музыкантшей,— но во французском языке, в английском; читала с ними их учебники, входила в хозяйство; всё ее забавляло, всё занимало ее; она то болтала без умолку, то погружалась в безмолвное умиление; строила различные планы, пускалась в нескончаемые предположения о том, что она будет делать, когда выйдет замуж за Литвинова (они нисколько не сомневались в том, что брак их состоится), как они станут вдвоем... «Трудиться?» — подсказывал Литвинов... «Да, трудиться,— повторяла Ирина,— читать... но главное — путешествовать». Ей особенно хотелось оставить поскорее Москву, и когда Литвинов представлял ей, что он еще не кончил курса в университете, она каждый раз, подумав немного, возражала, что можно доучиться в Берлине или... там где-нибудь. Ирина мало стеснялась в выражении чувств своих, а потому для князя и княгини расположение ее к Литвинову оставалось тайной недолго. Обрадоваться они не обрадовались, но, сообразив все обстоятельства, не сочли нужным наложить тотчас свое «veto»[1]. Состояние Литвинова было порядочное... «Но фамилия, фамилия!..» — замечала княгиня. «Ну, конечно, фамилия,— отвечал князь,— да всё ж он не разночинец, а главное: ведь Ирина не послушается нас. Разве было когда-нибудь, чтоб она не сделала того, чего захотела? Vous connaissez sa violence![2] Притом же определительного еще ничего нэт». Так рассуждал князь, и тут же, однако, мысленно прибавил: «Мадам Литвинова — и только? Я ожидал другого». Ирина вполне завла-

[1] «запрет» *(лат.)*.
[2] Вы знаете ее строптивость! *(франц.)*.

дела своим будущим женихом, да и он сам охотно отдался ей в руки. Он словно попал в водоворот, словно потерял себя... И жутко ему было, и сладко, и ни о чем он не жалел, и ничего не берег. Размышлять о значении, об обязанностях супружества, о том, может ли он, столь безвозвратно покоренный, быть хорошим мужем, и какая выйдет из Ирины жена, и правильны ли отношения между ними — он не мог решительно; кровь его загорелась, и он знал одно: идти за нею, с нею, вперед и без конца, а там будь что будет! Но, несмотря на всякое отсутствие сопротивления со стороны Литвинова, на избыток порывистой нежности со стороны Ирины, дело все-таки не обошлось без некоторых недоразумений и толчков. Однажды он забежал к ней прямо из университета, в старом сюртуке, с руками, запачканными в чернилах. Она бросилась к нему навстречу с обычным ласковым приветом — и вдруг остановилась.

— У вас нет перчаток,— с расстановкою проговорила она и тотчас же прибавила: — фи! какой вы... студент!

— Вы слишком впечатлительны, Ирина,— заметил Литвинов.

— Вы... настоящий студент,— повторила она,— vous n'êtes pas distingué[1].

И, повернувшись к нему спиной, она вышла вон из комнаты. Правда, час спустя она умоляла его простить ее... Вообще она охотно казнилась и винилась перед ним; только — странное дело! она часто, чуть не плача, обвиняла себя в дурных побуждениях, которых не имела, и упорно отрицала свои действительные недостатки. В другой раз он застал ее в слезах, с головою, опертою на руки, с распущенными локонами; и когда, весь перетревоженный, он спросил о причине ее печали, она молча указала пальцем себе на грудь. Литвинов невольно вздрогнул. «Чахотка!» — мелькнуло у него в голове, и он схватил ее за руку.

— Ты больна? — произнес он трепетным голосом (они уже начали в важных случаях говорить «ты» друг другу).— Так я сейчас за доктором...

Но Ирина не дала ему докончить и с досадой топнула ножкой.

— Я совершенно здорова... но это платье... разве вы не понимаете?

---

[1] у вас неблагородный облик *(франц.)*.

— Что такое?.. это платье...— проговорил он с недоумением.

— Что такое? А то, что у меня другого нет, и что оно старое, гадкое, и я принуждена надевать это платье каждый день... даже когда ты... когда вы приходите... Ты, наконец, разлюбишь меня, видя меня такой замарашкой!

— Помилуй, Ирина, что ты говоришь! И платье это премилое... Оно мне еще потому дорого, что я в первый раз в нем тебя видел.

Ирина покраснела.

— Не напоминайте мне, пожалуйста, Григорий Михайлович, что у меня уже тогда не было другого платья.

— Но уверяю вас, Ирина Павловна, оно прелесть как идет к вам.

— Нет, оно гадкое, гадкое,— твердила она, нервически дергая свои длинные мягкие локоны.— Ох, эта бедность, бедность, темнота! Как избавиться от этой бедности! Как выйти, выйти из темноты!

Литвинов не знал, что сказать, и слегка отворотился...

Вдруг Ирина вскочила со стула и положила ему обе руки на плечи.

— Но ведь ты меня любишь? Ты любишь меня? — промолвила она, приблизив к нему свое лицо, и глаза ее, еще полные слез, засверкали веселостью счастья.— Ты любишь меня и в этом гадком платье?

Литвинов бросился перед ней на колени.

— Ах, люби меня, люби меня, мой милый, мой спаситель,— прошептала она, пригибаясь к нему.

Так дни неслись, проходили недели, и хотя никаких еще не произошло формальных объяснений, хотя Литвинов всё еще медлил с своим запросом, конечно не по собственному желанию, а в ожидании повеления от Ирины (она как-то раз заметила, что мы-де оба смешно молоды, надо хоть несколько недель еще к нашим годам прибавить), но уже всё подвигалось к развязке, и ближайшее будущее обозначалось ясней и ясней, как вдруг совершилось событие, рассеявшее, как легкую дорожную пыль, все те предположения и планы.

VIII

В ту зиму двор посетил Москву. Одни празднества сменялись другими; наступил черед и обычному большому балу в Дворянском собрании. Весть об этом бале, правда

в виде объявления в «Полицейских ведомостях», дошла и до домика на Собачьей площадке. Князь всполошился первый; он тотчас решил, что надо непременно ехать и везти Ирину, что непростительно упускать случай видеть своих государей, что для столбовых дворян в этом заключается даже своего рода обязанность. Он настаивал на своем мнении с особенным, вовсе ему не свойственным жаром; княгиня до некоторой степени соглашалась с ним и только вздыхала об издержках; но решительное сопротивление оказала Ирина. «Не нужно, не поеду»,— отвечала она на все родительские доводы. Ее упорство приняло такие размеры, что старый князь решился наконец попросить Литвинова постараться уговорить ее, представив ей, в числе других «резонов», что молодой девушке неприлично дичиться света, что следует «и это испытать», что уж и так ее никто нигде не видит. Литвинов взялся представить ей эти «резоны». Ирина пристально и внимательно посмотрела на него, так пристально и так внимательно, что он смутился, и, поиграв концами своего пояса, спокойно промолвила:

— Вы этого желаете? вы?

— Да... я полагаю,— отвечал с запинкой Литвинов.— Я согласен с вашим батюшкой... Да и почему вам не поехать... людей посмотреть и себя показать,— прибавил он с коротким смехом.

— Себя показать,— медленно повторила она.— Ну, хорошо, я поеду... Только помните, вы сами этого желали.

— То есть, я...— начал было Литвинов.

— Вы сами этого желали,— перебила она.— И вот еще одно условие: вы должны мне обещать, что вас на этом бале не будет.

— Но отчего же?

— Мне так хочется.

Литвинов расставил руки.

— Покоряюсь... но, признаюсь, мне было бы так весело видеть вас во всем великолепии, быть свидетелем того впечатления, которое вы непременно произведете... Как бы я гордился вами! — прибавил он со вздохом.

Ирина усмехнулась.

— Всё это великолепие будет состоять в белом платье, а что до впечатления... Ну, словом, я так хочу.

— Ирина, ты как будто сердишься?

Ирина усмехнулась опять.

— О нет! Я не сержусь. Только ты... (Она вперила в него свои глаза, и ему показалось, что он еще никогда не видал в них такого выражения.) Может быть, это нужно,— прибавила она вполголоса.

— Но, Ирина, ты меня любишь?

— Я люблю тебя,— ответила она с почти торжественною важностью и крепко, по-мужски, пожала ему руку.

Все следующие дни Ирина тщательно занималась своим туалетом, своею прической; накануне бала она чувствовала себя нездоровою, не могла усидеть на месте, всплакнула раза два в одиночку: при Литвинове она как-то однообразно улыбалась... впрочем, обходилась с ним по-прежнему нежно, но рассеянно и то и дело посматривала на себя в зеркало. В самый день бала она была очень молчалива и бледна, но спокойна. Часу в девятом вечера Литвинов пришел посмотреть на нее. Когда она вышла к нему в белом тарлатановом платье, с веткой небольших синих цветов в слегка приподнятых волосах, он так и ахнул: до того она ему показалась прекрасною и величественною, уж точно не по летам. «Да она выросла с утра,— подумал он,— и какая осанка! Что значит, однако, порода!» Ирина стояла перед ним с опущенными руками, не улыбаясь и не жеманясь, и глядела решительно, почти смело, не на него, а куда-то вдаль, прямо перед собою.

— Вы точно сказочная царевна,— промолвил наконец Литвинов,— или нет: вы, как полководец перед сражением, перед победой... Вы не позволили мне ехать на этот бал,— продолжал он, между тем как она по-прежнему не шевелилась и не то чтобы не слушала его, а следила за другою, внутреннею речью,— но вы не откажетесь принять от меня и взять с собою эти цветы?

Он подал ей букет из гелиотропов.

Она быстро взглянула на Литвинова, протянула руки и, внезапно схватив конец ветки, украшавшей ее голову, промолвила:

— Хочешь? Скажи только слово, и я сорву всё это и останусь дома.

У Литвинова сердце так и покатилось. Рука Ирины уже срывала ветку...

— Нет, нет, зачем же? — подхватил он торопливо, в порыве благодарных и великодушных чувств,— я не эгоист, зачем стеснять свободу... когда я знаю, что твое сердце...

— Ну, так не подходите, платье изомнете,— поспешно проговорила она.

Литвинов смешался.

— А букет возьмете? — спросил он.

— Конечно: он очень мил, и я очень люблю этот запах. Merci... Я его сохраню на память...

— Первого вашего выезда,— заметил Литвинов,— первого вашего торжества.

Ирина посмотрела на себя в зеркало через плечо, чуть согнувши стан.

— И будто я в самом деле так хороша? Вы не пристрастны?

Литвинов рассыпался в восторженных похвалах. Но Ирина уже не слушала его и, поднеся букет к лицу, опять глядела куда-то вдаль своими странными, словно потемневшими и расширенными глазами, а поколебленные легким движением воздуха концы тонких лент слегка приподнимались у ней за плечами, словно крылья.

Появился князь, завитый, в белом галстухе, черном полинялом фраке и с владимирскою лентой дворянской медали в петлице; за ним вошла княгиня в шелковом платье шинé, старого покроя, и с тою суровою заботливостию, под которою матери стараются скрыть свое волнение, оправила сзади дочь, то есть безо всякой нужды встряхнула складками ее платья. Четвероместный ямской рыдван, запряженный двумя мохнатыми клячами, подполз к крыльцу, скрыпя колесами по сугробам неразметенного снега, и тщедушный лакей в неправдоподобной ливрее выскочил из передней и с некоторою отчаянностью доложил, что карета готова... Благословив на ночь оставшихся детей и облачившись в меховые одежды, князь и княгиня направились к крыльцу; Ирина в жиденьком коротеньком салопчике,— уж как же ненавидела она этот салопчик! — молча последовала за ними. Провожавший их Литвинов надеялся получить прощальный взгляд от Ирины, но она села в карету, не оборачивая головы.

Около полуночи он прошелся под окнами Собрания. Бесчисленные огни громадных люстр сквозили светлыми точками из-за красных занавесей, и по всей площади, заставленной экипажами, нахальным, праздничным вызовом разносились звуки штраусовского вальса.

На другой день, часу в первом, Литвинов отправился к Осининым. Он застал дома одного князя, который тотчас же ему объявил, что у Ирины болит голова, что она лежит

в постели и не встанет до вечера, что, впрочем, такое расстройство нимало не удивительно после первого бала.

— C'est très naturel, vous savez, dans les jeunes filles [1],— прибавил он по-французски, что несколько поразило Литвинова, который в то же мгновение заметил, что на князе был не шлафрок, как обыкновенно, а сюртук.— И притом,— продолжал Осинин,— как ей было не занемочь после вчерашних происшествий!

— Происшествий? — пробормотал Литвинов.

— Да, да, происшествий, происшествий, de vrais événements [2]. Вы не можете себе представить, Григорий Михайлович, quel succès elle a eu! [3] Весь двор заметил ее! Князь Александр Федорович сказал, что ей место не здесь и что она напоминает ему графиню Девонширскую... ну, вы знаете, ту... известную... А старик граф Блазенкрампф объявил во всеуслышание, что Ирина — la reine du bal [4], и пожелал ей представиться; он и мне представился, то есть он мне сказал, что он меня помнит гусаром, и спрашивал, где я теперь служу. Презабавный этот граф, и такой adorateur du beau sexe! [5] Да что я! княгиня моя... и той не давали покоя: Наталья Никитишна сама с ней заговаривала... чего больше? Ирина танцевала avec tous les meilleurs cavaliers [6]; уж подводили мне их, подводили... я и счет потерял. Поверите ли: так все и ходят толпами вокруг нас; в мазурке только ее и выбирали. Один иностранный дипломат, узнав, что она москвичка, сказал государю: «Sire,— сказал он,— décidément c'est Moscou qui est le centre de votre empire!» [7] — а другой дипломат прибавил: «C'est une vraie révolution, sire»,— révélation или révolution... [8] что-то в этом роде. Да... да... это... это... я вам скажу: это было что-то необыкновенное.

— Ну, а сама Ирина Павловна? — спросил Литвинов, у которого во время княжеской речи похолодели ноги и руки,— веселилась, казалась довольна?

---

[1] Это, знаете ли, очень естественно в молодых девушках *(франц.)*.

[2] подлинных событий *(франц.)*.

[3] какой она имела успех! *(франц.)*

[4] царица бала *(франц.)*.

[5] обожатель прекрасного пола! *(франц.)*.

[6] со всеми самыми лучшими кавалерами *(франц.)*.

[7] «Государь, несомненно Москва является центром вашей империи!» *(франц.)*

[8] «Это настоящая революция, государь»,— откровение или революция..., *(франц.)*

— Конечно, веселилась; еще бы ей не быть довольной! А впрочем, вы знаете, ее сразу не разберешь. Все мне говорят вчера: как это удивительно! jamais on ne dirait que mademoiselle votre fille est à son premier bal[1]. Граф Рейзенбах, между прочим... да вы его наверное, знаете...

— Нет, я его вовсе не знаю и не знал никогда.

— Двоюродный брат моей жены...

— Не знаю я его.

— Богач, камергер, в Петербурге живет, в ходу человек, в Лифляндии всем вертит. До сих пор он нами пренебрегал... да ведь я за этим не гонюсь. J'ai l'humeur facile, comme vous savez[2]. Ну, так вот он. Подсел к Ирине, побеседовал с ней четверть часа, не более, и говорит потом моей княгине: «Ma cousine, говорит, votre fille est une perle; c'est une perfection[3]; все поздравляют меня с такой племянницей...» А потом я гляжу: подошел он к... важной особе и говорит, а сам всё посматривает на Ирину... ну, и особа посматривает...

— И так-таки Ирина Павловна целый день не покажется? — опять спросил Литвинов.

— Да; у ней голова очень болит. Она велела вам кланяться и благодарить вас за ваш букет, qu'on a trouvé charmant[4]. Ей нужно отдохнуть... Княгиня моя поехала с визитами... да и я сам вот...

Князь закашлялся и засеменил ногами, как бы затрудняясь что еще прибавить. Литвинов взял шляпу, сказал, что не намерен мешать ему и зайдет позже осведомиться о здоровье, и удалился.

В нескольких шагах от осининского дома он увидел остановившуюся перед полицейскою будкой щегольскую двуместную карету. Ливрейный, тоже щегольской лакей, небрежно нагнувшись с козел, расспрашивал будочника из чухонцев, где здесь живет князь Павел Васильевич Осинин. Литвинов заглянул в карету: в ней сидел человек средних лет, геморроидальной комплексии, с сморщенным и надменным лицом, греческим носом и злыми губами, закутанный в соболью шубу, по всем признакам важный сановник.

---

[1] никогда не скажешь, что ваша дочь на первом своем балу *(франц.)*.

[2] У меня покладистый характер, как вы знаете *(франц.)*.

[3] Кузина, ваша дочь — жемчужина: это совершенство *(франц.)*.

[4] который нашли очаровательным *(франц.)*.

IX

Литвинов не сдержал своего обещания зайти попозже; он сообразил, что лучше отложить посещение до следующего дня. Войдя, часов около двенадцати, в слишком знакомую гостиную, он нашел там двух младших княжон, Викториньку и Клеопатриньку. Он поздоровался с ними, потом спросил, легче ли Ирине Павловне и можно ли ее видеть.

— Ириночка уехала с мамасей,— отвечала Викторинька; она хотя и сюсюкала, но была бойчее своей сестры.

— Как... уехала? — повторил Литвинов, и что-то тихо задрожало у него в самой глубине груди.— Разве... разве... разве она об эту пору не занимается с вами, не дает вам уроков?

— Ириночка теперь усь больсе нам уроков давать не будет,— отвечала Викторинька.

— Теперь уж не будет,— повторила за ней Клеопатринька.

— А папа́ ваш дома? — спросил Литвинов.

— И папаси нет дома,— продолжала Викторинька,— а Ириночка нездорова: она всю ночь плакала, плакала...

— Плакала?

— Да, плакала... Мне Егоровна сказала, и глаза у ней такие красные, так они и распу-ухли...

Литвинов прошелся раза два по комнате, чуть-чуть вздрагивая, словно от холода, и возвратился к себе на квартиру. Он испытывал ощущение, подобное тому, которое овладевает человеком, когда он смотрит с высокой башни вниз: вся внутренность его замирала и голова кружилась тихо и приторно. Тупое недоумение и мышья беготня мыслей, неясный ужас и немота ожидания, и любопытство, странное, почти злорадное, в сдавленном горле горечь непролитых слез, на губах усилие пустой усмешки, и мольба, бессмысленная, ни к кому не обращенная... о, как это всё было жестоко и унизительно безобразно! «Ирина не хочет меня видеть,— беспрестанно вертелось у него в голове,— это ясно; но почему же? Что такое могло произойти на этом злополучном бале? И как же возможна вдруг такая перемена? Так внезапно... (Люди беспрестанно видят, что смерть приходит внезапно, но привыкнуть к ее внезапности никак не могут и находят ее бессмысленною.) Ничего мне не велеть сказать, не хотеть объясниться со мною...»

— Григорий Михайлыч,— произнес чей-то напряженный голос над самым его ухом.

Литвинов встрепенулся и увидал перед собою своего человека с запиской в руках. Он узнал почерк Ирины... Еще не распечатав записки, он уже предчувствовал беду и склонил голову на грудь и поднял плечи, как бы хоронясь от удара.

Он собрался наконец с духом и разом разорвал куверт. На небольшом листке почтовой бумаги стояли следующие слова:

«Простите меня, Григорий Михайлыч. Всё кончено между нами: я переезжаю в Петербург. Мне ужасно тяжело, но дело сделано. Видно, моя судьба... да нет, я не хочу оправдываться... Предчувствия мои сбылись. Простите меня, забудьте меня: я не стóю вас.

Ирина»

«Будьте великодушны: не старайтесь меня увидеть».

Литвинов прочел эти пять строк и медленно опустился на диван, словно кто пихнул его в грудь. Он выронил записку, поднял ее, прочел снова, шепнул: «В Петербург», снова ее выронил, и только. На него нашла даже тишина; он даже своими закинутыми назад руками поправил подушку под головой. «Убитые насмерть не мечутся,— подумал он,— как налетело, так и улетело... Всё это естественно; я всегда этого ожидал... (Он лгал перед самим собою: он никогда ничего подобного не ожидал.) Плакала?.. Она плакала?.. О чем же она плакала? Ведь она не любила меня! Впрочем, всё это понятно и согласно с ее характером. Она, она меня не стóит... Вот как! (Он горько усмехнулся.) Она сама не знала, какая в ней таилась сила, ну, а убедившись в ее действии на бале, как же ей было остановиться на ничтожном студенте... Всё это понятно».

Но тут он вспомнил ее нежные слова, ее улыбки и эти глаза, незабвенные глаза, которых он никогда не увидит, которые и светлели и таяли при одной встрече с его глазами; он вспомнил еще одно быстрое, робкое, жгучее лобзание — и он вдруг зарыдал, зарыдал судорожно, бешено, ядовито, перевернулся ниц и, захлебываясь и задыхаясь, с неистовым наслаждением, как бы жаждая растерзать и самого себя и всё вокруг себя, забил свое воспаленное лицо в подушку дивана, укусил ее...

Увы! тот господин, кого Литвинов видел накануне в карете, был именно двоюродный брат княгини Осини-

ной, богач и камергер, граф Рейзенбах. Заметив впечатление, произведенное Ириной на высокопоставленные лица и мгновенно сообразив, какие «mit etwas Accuratesse»[1] из этого факта можно извлечь выгоды, граф, как человек энергический и умеющий прислуживаться, тотчас составил свой план. Он решился действовать быстро, по-наполеоновски. «Возьму эту оригинальную девушку к себе в дом,— так размышлял он,— в Петербург; сделаю ее своею, чёрт возьми, наследницей, ну хоть не всего имения; кстати ж у меня нет детей, она же мне племянница, и графиня моя скучает одна... Всё же приятней, когда в гостиной хорошенькое личико... Да, да; это так: es ist eine Idee, es ist eine Idee»[2]. Надобно было ослепить, отуманить, поразить родителей. «Им же есть нечего,— продолжал граф свои размышления, уже сидя в карете и направляясь к Собачьей площадке,— так небось упрямиться не станут. Не такие же уж они чувствительные. Можно и сумму денег дать. А она? И она согласится. Мед сладок... она его вчера лизнула. Это мой каприз, положим; пускай же они им воспользуются... дураки. Я им скажу: так и так; решайтесь. А не то я возьму другую; сироту — еще удобнее. Да или нет, двадцать четыре часа сроку, und damit Punctum»[3].

С этими самыми словами на губах предстал граф перед князем, которого уже накануне, на бале, предварил о своем посещении. О последствиях же этого посещения, кажется, много распространяться не стоит. Граф не ошибся в своих расчетах: князь и княгиня действительно не упрямились и взяли сумму денег, и Ирина действительно согласилась, не дав истечь назначенному сроку. Нелегко ей было разорвать связь с Литвиновым; она его любила и, пославши ему записку, чуть не слегла в постель, беспрестанно плакала, похудела, пожелтела... Но со всем тем, месяц спустя, княгиня отвезла ее в Петербург и поселила у графа, поручив ее попечениям графини, женщины очень доброй, но с умом цыпленка и с наружностью цыпленка.

А Литвинов бросил тогда университет и уехал к отцу в деревню. Мало-помалу его рана зажила. Сперва он никаких сведений не имел об Ирине, да он и избегал разговоров о Петербурге и петербургском обществе. Потом понемногу начали бродить на ее счет слухи, не дурные, но странные;

[1] «при некоторой ловкости» *(нем.)*.
[2] это мысль, это мысль *(нем.)*.
[3] и на этом точка *(нем.)*.

молва занялась ею. Имя княжны Осининой, окруженное блеском, отмеченное особенною печатью, стало чаще и чаще упоминаться даже в губернских кружках. Оно произносилось с любопытством, с уважением, с завистью, как произносилось некогда имя графини Воротынской. Наконец распространилась весть об ее замужестве. Но Литвинов едва обратил внимание на эту последнюю новинку: он был уже женихом Татьяны.

Теперь читателю, вероятно, понятно стало, что именно вспомнилось Литвинову, когда он воскликнул: «Неужели!» — а потому мы снова вернемся в Баден и снова примемся за нить прерванного нами рассказа.

X

Литвинов заснул очень поздно и спал недолго: солнце только что встало, когда он поднялся с постели. Видные из его окон вершины темных гор влажно багровели на ясном небе. «Как там, должно быть, свежо под деревьями!» — подумалось ему, и он поспешно оделся, рассеянно глянул на букет, еще пышнее распустившийся за ночь, взял палку и отправился за «Старый за́мок», на известные «Скалы». Утро обхватило его своею сильною и тихою лаской. Бодро дышал он, бодро двигался; здоровье молодости играло в каждой его жилке; сама земля словно подбрасывала его легкие ноги. С каждым шагом ему становилось всё привольней, всё веселей: он шел в росистой тени, по крупному песку дорожек, вдоль елок, по всем концам ветвей окаймленных яркою зеленью весенних отпрысков. «Эко славно как!» — то и дело твердил он про себя. Вдруг послышались ему знакомые голоса: он глянул вперед и увидал Ворошилова и Бамбаева, шедших к нему навстречу. Его так и покоробило: как школьник от учителя, бросился он в сторону и спрятался за куст... «Создатель! — взмолился он,— пронеси соотчичей!» Кажется, никаких бы денег в это мгновенье не пожалел он, лишь бы они его не увидали... И они действительно не увидали его: создатель пронес соотчичей мимо. Ворошилов своим кадетски-самодовольным голосом толковал Бамбаеву о различных «фазисах» готической архитектуры, а Бамбаев только подмычивал одобрительно; заметно было, что Ворошилов уже давно пробирает его своими фазисами, и добродушный энтузиаст начинал скучать. Долго, закусив губу и вытянув шею, прислушивался Литвинов к удаляв-

шимся шагам; долго звучали то гортанные, то носовые переливы наставительной речи; наконец всё затихло. Литвинов вздохнул, вышел из своей засады и отправился далее.

Часа три пробродил он по горам. Он то покидал дорожку и перепрыгивал с камня на камень, изредка скользя по гладкому мху; то садился на обломок скалы под дубом или буком и думал приятные думы под немолчное шептание ручейков, заросших папоротником, под успокоительный шелест листьев, под звонкую песенку одинокого черного дрозда; легкая, тоже приятная дремота подкрадывалась к нему, словно обнимала его сзади, и он засыпал... Но вдруг улыбался и оглядывался: золото и зелень леса, лесного воздуха били мягко ему в глаза — и он снова улыбался и снова закрывал их. Ему захотелось позавтракать, и он направился к Старому за́мку, где за несколько крейцеров можно получить стакан хорошего молока с кофеем. Но не успел он поместиться за одним из белых крашеных столиков, находящихся на платформе перед замком, как послышался тяжелый храп лошадей и появились три коляски, из которых высыпало довольно многочисленное общество дам и кавалеров... Литвинов тотчас признал их за русских, хотя они все говорили по-французски... потому что они говорили по-французски. Туалеты дам отличались изысканным щегольством; на кавалерах были сюртуки с иголочки, но в обтяжку и с перехватом, что не совсем обыкновенно в наше время, панталоны серые с искоркой и городские, очень глянцевитые шляпы. Низенький черный галстух туго стягивал шею каждого из этих кавалеров, и во всей их осанке сквозило нечто воинственное. Действительно, они были военные люди; Литвинов попал на пикник молодых генералов, особ высшего общества и с значительным весом. Значительность их сказывалась во всем: в их сдержанной развязности, в миловидно-величавых улыбках, в напряженной рассеянности взгляда, в изнеженном подергивании плеч, покачивании стана и сгибании колен; она сказывалась в самом звуке голоса, как бы любезно и гадливо благодарящего подчиненную толпу. Все эти воины были превосходно вымыты, выбриты, продушены насквозь каким-то истинно дворянским и гвардейским запахом, смесью отличнейшего сигарного дыма и удивительнейшего пачули. И руки у всех были дворянские. белые, большие, с крепкими, как слоновая кость, ногтями; у всех усы так и лоснились, зубы

сверкали, а тончайшая кожа отливала румянцем на щеках, лазурью на подбородке. Иные из молодых генералов были игривы, другие задумчивы; но печать отменного приличия лежала на всех. Каждый, казалось, глубоко сознавал собственное достоинство, важность своей будущей роли в государстве и держал себя и строго и вольно, с легким оттенком той резвости, того «чёрт меня побери», которые так естественно появляются во время заграничных поездок. Рассевшись шумно и пышно, общество позвало засуетившихся кельнеров. Литвинов поторопился допить стакан молока, расплатился и, нахлобучив шляпу, уже проскользнул было мимо генеральского пикника...

— Григорий Михайлыч,— проговорил женский голос,— вы не узнаете меня?

Он невольно остановился. Этот голос... Этот голос слишком часто в былое время заставлял биться его сердце... Он обернулся и увидал Ирину.

Она сидела у стола и, скрестив руки на спинке отодвинутого стула, склонив голову набок и улыбаясь, приветливо, почти радостно глядела на него.

Литвинов тотчас ее узнал, хотя она успела измениться с тех пор, как он видел ее в последний раз, десять лет тому назад, хотя она из девушки превратилась в женщину. Ее тонкий стан развился и расцвел, очертания некогда сжатых плеч напоминали теперь богинь, выступающих на потолках старинных итальянских дворцов. Но глаза остались те же, и Литвинову показалось, что они глядели на него так же, как и тогда, в том небольшом московском домике.

— Ирина Павловна...— проговорил он нерешительно.

— Вы узнали меня? Как я рада! как я... (Она остановилась, слегка покраснела и выпрямилась.) Это очень приятная встреча,— продолжала она уже по-французски.— Позвольте познакомить вас с моим мужем. Valérien, мсьё Литвинов, un ami d'enfance[1]; Валериан Владимирович Ратмиров, мой муж.

Один из молодых генералов, едва ли не самый изящный изо всех, привстал со стула и чрезвычайно вежливо раскланялся с Литвиновым, между тем как остальные его товарищи чуть-чуть насупились или не столько насупились, сколько углубились на миг каждый в самого себя, как бы заранее протестуя против всякого сближения

[1] друг детства *(франц.)*.

с посторонним штатским, а другие дамы, участвовавшие в пикнике, сочли за нужное и прищуриться немного, и усмехнуться, и даже изобразить недоумение на лицах.

— Вы... вы давно в Бадене? — спросил генерал Ратмиров, как-то не по-русски охорашиваясь и, очевидно, не зная, о чем беседовать с другом детства жены.

— Недавно,— отвечал Литвинов.

— И долго намерены остаться? — продолжал учтивый генерал.

— Я еще не решил.

— А! Это очень приятно... очень.

Генерал умолк. Литвинов тоже безмолвствовал. Оба держали шляпы в руках и, нагнув вперед туловище и осклабясь, глядели друг другу в брови.

— «Deux gendarmes un beau dimanche»[1],— запел, разумеется фальшиво,— не фальшиво поющий русский дворянин доселе нам не попадался,— подслеповатый и желтоватый генерал с выражением постоянного раздражения на лице, точно он сам себе не мог простить свою наружность. Среди всех своих товарищей он один не походил на розу.

— Да что же вы не сядете, Григорий Михайлыч,— промолвила наконец Ирина.

Литвинов повиновался, сел.

— I say, Valérien, give me some fire[2],— проговорил другой генерал, тоже молодой, но уже тучный, с неподвижными, словно в воздух уставленными глазами и густыми шелковистыми бакенбардами, в которые он медленно погружал свои белоснежные пальцы. Ратмиров подал ему серебряную коробочку со спичками.

— Avez-vous des papiros?[3] — спросила, картавя, одна из дам.

— De vrais papelitos, comtesse[4].

— «Deux gendarmes un beau dimanche»,— чуть не со скрипом зубов затянул опять подслеповатый генерал.

— Вы должны непременно посетить нас,— говорила между тем Литвинову Ирина.— Мы живем в Hôtel de l'Europe[5]. От четырех до шести я всегда дома. Мы с вами так давно не видались.

---

[1] «Два жандарма в воскресенье» *(франц.)*.
[2] Я говорю, Валерьян, дайте мне огня *(англ.)*.
[3] Нет ли у вас папирос? *(франц.)*
[4] Настоящие папироски, графиня *(франц.)*.
[5] Европейской гостинице *(франц.)*.

Литвинов глянул на Ирину, она не опустила глаз.

— Да, Ирина Павловна, давно. С Москвы.

— С Москвы, с Москвы,— повторила она с расстановкой.— Приходите, мы потолкуем, старину вспомянем. А знаете ли, Григорий Михайлыч, вы не много переменились.

— В самом деле? А вы вот переменились, Ирина Павловна.

— Я постарела.

— Нет. Я не то хотел сказать...

— Irène? — вопросительно промолвила одна из дам с желтою шляпкой на желтых волосах, предварительно пошептавшись и похихикавши с сидевшим возле нее кавалером.— Irène?

— Я постарела,— продолжала Ирина, не отвечая даме,— но я ие переменилась. Нет, нет, я ни в чем не переменилась.

— «Deux gendarmes un beau dimanche!» — раздалось опять. Раздражительный генерал помнил только первый стих известной песенки.

— Всё еще покалывает, ваше сиятельство,— громко и на *о* проговорил тучный генерал с бакенбардами, вероятно намекая на какую-нибудь забавную, всему бомонду[1] известную историю, и, засмеявшись коротким деревянным смехом, опять уставился в воздух. Всё остальное общество также засмеялось.

— What a sad dog you are, Bòris! [2] — заметил вполголоса Ратмиров. Он самое имя «Борис» произнес на английский лад.

— Irène? — в третий раз спросила дама в желтой шляпке. Ирина быстро обернулась к ней.

— Eh bien, quoi? Que me voulez-vous? [3]

— Je vous le dirai plus tard [4],— жеманно отвечала дама. При весьма непривлекательной наружности она постоянно жеманилась и кривлялась; какой-то остряк сказал про нее, что она «minaudait dans le vide» — «кривлялась в пустом пространстве».

Ирина нахмурилась и нетерпеливо пожала плечом.

— Mais que fait donc monsieur Verdier? Pourquoi

---

[1] светскому обществу *(франц.)*.
[2] Какой вы шутник, Борис! *(англ.)*.
[3] Ну что? Чего вы от меня хотите? *(франц.)*.
[4] Я скажу вам это позднее *(франц.)*.

ne vient-il pas?[1] — воскликнула одна дама с теми для французского слуха нестерпимыми протяжными ударениями, которые составляют особенность великороссийского выговора.

— Ах, вуй, ах, вуй, мсьё Вердие, мсьё Вердие[2],— простонала другая, родом прямо уже из Арзамаса.

— Tranquillisez-vous, mesdames,— вмешался Ратмиров,— monsieur Verdier m'a promis de venir se mettre à vos pieds[3].

— Хи, хи, хи! — Дамы заиграли веером.

Кельнер принес несколько стаканов пива.

— Байриш бир?[4] — спросил генерал с бакенбардами, нарочно бася и притворяясь изумленным.— Гутен морген.

— А что? Граф Павел всё еще там? — холодно и вяло спросил один молодой генерал другого.

— Там,— также холодно отвечал тот.— Mais c'est provisoire. Serge[5], говорят, на его место.

— Эге! — процедил первый сквозь зубы.

— Н-да,— процедил и второй.

— Я не могу понять,— заговорил генерал, напевавший песенку,— я не могу понять, что за охота была Полю оправдываться, приводить разные там причины... Ну, он поприжал купца, il lui a fait rendre gorge... ну, и что ж такое? У него могли быть свои соображения.

— Он боялся... обличения в журналах,— пробурчал кто-то.

Раздражительный генерал вспыхнул.

— Ну, уж это последнее дело! Журналы! Обличение! Если б это от меня зависело, я бы в этих в ваших журналах только и позволил печатать, что таксы на мясо или на хлеб да объявления о продаже шуб да сапогов.

— Да дворянских имений с аукциона,— ввернул Ратмиров.

— Пожалуй, при теперешних обстоятельствах... Однако что за разговор в Бадене, au Vieux Château!..[6]

— Mais pas du tout! pas du tout![7] — залепетала дама

---

[1] Но что ж делает господин Вердье? Почему он не идет? *(франц.)*

[2] Ах, да, да, господин Вердье, господин Вердье *(франц.)*.

[3] Успокойтесь, сударыни, господин Вердье обещал мне быть у ваших ног *(франц.)*

[4] Баварское пиво? *(нем.)*.

[5] Но это временно. Сергей *(франц.)*

[6] в Старом замке!.. *(франц.)*

[7] Но совсем нет! совсем нет! *(франц.)*

в желтой шляпе.— J'adore les questions politiques[1].

— Madame a raison[2],— вмешался другой генерал, с чрезвычайно приятным и как бы девическим лицом.— Зачем нам избегать этих вопросов... даже в Бадене? — Он при этих словах учтиво взглянул на Литвинова и снисходительно улыбнулся.— Порядочный человек нигде и ни в каком случае не должен отступаться от своих убеждений. Не правда ли?

— Конечно,— отвечал раздражительный генерал, также взбрасывая глазами на Литвинова и как бы косвенно его распекая,— но я не вижу надобности...

— Нет, нет,— с прежнею мягкостью перебил снисходительный генерал.— Вот наш приятель, Валериан Владимирович, упомянул о продаже дворянских имений. Что ж? Разве это не факт?

— Да их и продать теперь невозможно; никому они не нужны! — воскликнул раздражительный генерал.

— Может быть... может быть. Потому-то и надо заявлять этот факт... этот грустный факт на каждом шагу. Мы разорены — прекрасно; мы унижены — об этом спорить нельзя; но мы, крупные владельцы, мы все-таки представляем начало... un principe[3]. Поддерживать этот принцип — наш долг. Pardon, madame[4], вы, кажется, платок уронили. Когда некоторое, так сказать, омрачение овладевает даже высшими умами, мы должны указывать — с покорностью указывать (генерал протянул палец),— указывать перстом гражданина на бездну, куда всё стремится. Мы должны предостерегать; мы должны говорить с почтительною твердостию: «Воротитесь, воротитесь назад...» Вот что мы должны говорить.

— Нельзя же, однако, совсем воротиться,— задумчиво заметил Ратмиров.

Снисходительный генерал только осклабился.

— Совсем; совсем назад, mon très cher[5]. Чем дальше назад, тем лучше.

Генерал опять вежливо взглянул на Литвинова. Тот не вытерпел.

— Уж не до семибоярщины ли нам вернуться, ваше превосходительство?

---

[1] Я обожаю политические вопросы *(франц.)*.
[2] Сударыня права *(франц.)*.
[3] принцип *(франц.)*.
[4] Извините, сударыня *(франц.)*.
[5] дражайший *(франц.)*.

— А хоть бы и так! Я выражаю свое мнение не обинуясь; надо переделать... да... переделать всё сделанное.

— И девятнадцатое февраля?

— И девятнадцатое февраля — насколько это возможно. On est patriote ou on ne l'est pas[1]. А воля? — скажут мне. Вы думаете, сладка народу эта воля? Спросите-ка его...

— Попытайтесь,— подхватил Литвинов,— попытайтесь отнять у него эту волю...

— Comment nommez-vous ce monsieur?[2] — шепнул генерал Ратмирову.

— Да о чем вы тут толкуете? — заговорил вдруг тучный генерал, очевидно разыгрывавший в этом обществе роль избалованного ребенка.— О журналах всё? О щелкоперах? Позвольте, я вам расскажу, какой у меня был анекдот с щелкопером — чудо! Говорят мне: написал на вас un folliculaire[3] пашквиль. Ну я, разумеется, тотчас его под цугундер. Привели голубчика... «Как же это ты так, говорю, друг мой, folliculaire, пашквили пишешь? Аль патриотизм одолел?» — «Одолел», говорит. «Ну, а деньги, говорю, folliculaire, любишь?» — «Люблю», говорит. Тут я ему, милостивые государи мои, дал набалдашник моей палки понюхать. «А это ты любишь, ангел мой?» — «Нет, говорит, этого не люблю».— «Да ты, я говорю, понюхай как следует, руки-то у меня чистые».— «Не люблю», говорит, и полно. «А я, говорю, душа моя, очень это люблю, только не для себя. Понимаешь ты сию аллегорию, сокровище ты мое?» — «Понимаю», говорит. «Так смотри же, вперед будь паинька, а теперь вот тебе целковый-рупь, ступай и благословляй меня денно и нощно». И ушел folliculaire.

Генерал засмеялся, и все опять за ним засмеялись — все, исключая Ирины, которая даже не улыбнулась и как-то сумрачно посмотрела на рассказчика.

Снисходительный генерал потрепал Бориса по плечу.

— Всё это ты выдумал, друг ты мой сердечный... Станешь ты палкой кому-нибудь грозить... У тебя и палки-то нет. C'est pour faire rire ces dames[4]. Для красного словца. Но дело не в том. Я сейчас сказал, что надобно совсем назад вернуться. Поймите меня. Я не враг так называемого

---

[1] Быть или не быть патриотом *(франц.)*.

[2] Как вы именуете этого господина? *(франц.)*.

[3] газетный писака *(франц.)*.

[4] Это чтобы дам насмешить *(франц.)*.

прогресса; но все эти университеты да семинарии там, да народные училища, эти студенты, поповичи, разночинцы, вся эта мелюзга, tout ce fond du sac, la petite propriété, pire que le prolétariat[1] (генерал говорил изнеженным, почти расслабленным голосом),— voilà ce qui m'effraie...[2] вот где нужно остановиться... и остановить. (Он опять ласково взглянул на Литвинова.) Да-с, нужно остановиться. Не забудьте, ведь у нас никто ничего не требует, не просит. Самоуправление, например,— разве кто его просит? *Вы* его разве просите? Или ты? или ты? или вы, mesdames? Вы уж и так не только самими собою, всеми нами управляете. (Прекрасное лицо генерала оживилось забавною усмешкой.) Друзья мои любезные, зачем же зайцем-то забегать? Демократия вам рада, она кадит вам, она готова служить вашим целям... да ведь это меч обоюдоострый. Уж лучше по-старому, по-прежнему... верней гораздо. Не позволяйте умничать черни да вверьтесь аристократии, в которой одной и есть сила... Право, лучше будет. А прогресс... я собственно ничего не имею против прогресса. Не давайте нам только адвокатов, да присяжных, да земских каких-то чиновников, да дисциплины,— дисциплины пуще всего не трогайте, а мосты, и набережные, и гошпитали вы можете строить, и улиц газом отчего не освещать?

— Петербург со всех четырех концов зажгли, вот вам и прогресс! — прошипел раздражительный генерал.

— Да ты, я вижу, злобен,— промолвил, лениво покачиваясь, тучный генерал,— тебя бы хорошо в обер-прокуроры произвести, а по-моему, avec «Orphée aux enfers» le progrès a dit son dernier mot[3].

— Vous dites toujours des bêtises[4],—захихикала дама из Арзамаса.

Генерал приосанился.

— Je ne suis jamais plus sérieux, madame, que quand je dis des bêtises[5].

— Мсьё Вердиe эту самую фразу уже несколько раз сказал,— заметила вполголоса Ирина.

---

[1] все эти подонки, мелкие собственники, хуже пролетариата *(франц.)*.

[2] вот что меня пугает *(франц.)*.

[3] «Орфей в аду» — последнее слово прогресса *(франц.)*.

[4] Вы всегда говорите глупости *(франц.)*.

[5] Я всего серьезнее, сударыня, когда говорю глупости *(франц.)*.

— De la poigne et des formes![1] — воскликнул тучный генерал,— de la poigne surtout![2] А сие по-русски можно перевести тако: вежливо, но в зубы!

— Ах ты, шалун, шалун неисправимый! — подхватил снисходительный генерал.— Mesdames, не слушайте его, пожалуйста. Комара не зашибет. Он довольствуется тем, что сердца пожирает.

— Ну, однако, нет, Борис,— начал Ратмиров, обменявшись взглядом с женою,— шалость шалостью, а это преувеличение. Прогресс — это есть проявление жизни общественной, вот что не надо забывать; это симптом. Тут надо следить.

— Ну да,— возразил тучный генерал и сморщил нос.— Дело известное, ты в государственные люди метишь!

— Вовсе не в государственные люди... Какие тут государственные люди! А правду нельзя не признать.

«Boris» опять запустил пальцы в бакенбарды и уставился в воздух.

— Общественная жизнь, это очень важно, потому что в развитии народа, в судьбах, так сказать, отечества...

— Valérien,— перебил «Boris» внушительно,— il y a des dames ici[3]. Я этого от тебя не ожидал. Или ты в комитет попасть желаешь?

— Да они все теперь, слава богу, уже закрыты,— подхватил раздражительный генерал и снова запел: «Deux gendarmes un beau dimanche...»

Ратмиров поднес батистовый платок к носу и грациозно умолк; снисходительный генерал повторил: «Шалун! Шалун!» А «Boris» обратился к даме, кривлявшейся в пустом пространстве, и, не понижая голоса, не изменяя даже выражения лица, начал расспрашивать ее о том, когда же она «увенчает его пламя», так как он влюблен в нее изумительно и страдает необыкновенно.

С каждым мгновением, в течение этого разговора, Литвинову становилось всё более и более неловко. Его гордость, его честная, плебейская гордость так и возмущалась. Что было общего между ним, сыном мелкого чиновника, и этими военными петербургскими аристократами? Он любил всё, что они ненавидели, он ненавидел всё то, что они любили; он слишком ясно это сознавал, он всем

---

[1] Сильная власть и обхождение! *(франц.)*.
[2] сильная власть в особенности! *(франц.)*.
[3] здесь дамы *(франц.)*.

существом своим это чувствовал. Шутки их он находил плоскими, тон невыносимым, каждое движение ложным; в самой мягкости их речей ему слышалось возмутительное презрение — и однако же он как будто робел перед ними, перед этими людьми, этими врагами... «Фу, какая гадость! Я их стесняю, я им кажусь смешным,— вертелось у него в голове,— зачем же я остаюсь? Уйдем, уйдем тотчас!» Присутствие Ирины не могло удержать его: невеселые ощущения возбуждала в нем и она. Он поднялся со стула и начал прощаться.

— Вы уже уходите? — промолвила Ирина, но, подумав немного, не стала настаивать и только взяла с него слово, что он непременно посетит ее. Генерал Ратмиров с прежнею утонченною вежливостью раскланялся с ним, пожал ему руку, довел его до конца платформы... Но едва Литвинов успел завернуть за первый угол дороги, как дружный взрыв хохота раздался за ним. Хохот этот относился не к нему, а к давно ожиданному мсьё Вердие, который внезапно появился на платформе, в тирольской шляпе, синей блузе и верхом на осле; но кровь так и хлынула Литвинову в щеки, и горько стало ему: словно полынь склеила его стиснутые губы. «Презренные, пошлые люди!» — пробормотал он, не соображая того, что несколько мгновений, проведенных в обществе этих людей, еще не давали ему повода так жестоко выражаться. И в этот-то мир попала Ирина, его бывшая Ирина! В нем она вращалась, жила, царствовала, для него она пожертвовала собственным достоинством, лучшими чувствами сердца... Видно, так следовало; видно, она не заслуживала лучшей участи! Как он радовался тому, что ей не вздумалось расспрашивать его о его намерениях! Ему бы пришлось высказываться перед «ними», в «их» присутствии... «Ни за что! никогда!»— шептал Литвинов, глубоко вдыхая свежий воздух и чуть не бегом спускаясь по дороге в Баден. Он думал о своей невесте, о своей милой, доброй, святой Татьяне, и как чиста, благородна, как правдива казалась она ему! С каким неподдельным умилением припоминал он ее черты, ее слова, самые ее привычки... с каким нетерпением ожидал ее возвращения!

Быстрая ходьба успокоила его нервы. Возвратясь домой, он уселся за стол, взял книгу в руки и внезапно ее выронил, даже вздрогнул... Что с ним случилось? Ничего не случилось с ним, но Ирина... Ирина... Удивительным, странным, необычайным вдруг показалось ему его свида-

ние с нею. Возможно ли? он встретился, говорил с тою самой Ириной... И почему на ней не лежит того противного, светского отпечатка, которым так резко отмечены все те другие? Почему ему сдается, что она как будто скучает, или грустит, или тяготится своим положением? Она в их стане, но она не враг. И что могло ее заставить так радушно обратиться к нему, звать его к себе?

Литвинов встрепенулся.

— О Таня, Таня! — воскликнул он с увлечением,— ты одна мой ангел, мой добрый гений, тебя я одну люблю и век любить буду. А к той я не пойду. Бог с ней совсем! Пусть она забавляется с своими генералами!

Литвинов снова взялся за книгу.

XI

Литвинов взялся за книгу, но ему не читалось. Он вышел из дому, прогулялся немного, послушал музыку, поглазел на игру и опять вернулся к себе в комнату, опять попытался читать — всё без толку. Как-то особенно вяло влачилось время. Пришел Пищалкин, благонамеренный мировой посредник, и посидел часика три. Побеседовал, потолковал, ставил вопросы, рассуждал вперемежку — то о предметах возвышенных, то о предметах полезных и такую, наконец, распространил скуку, что бедный Литвинов чуть не взвыл. В искусстве наводить скуку, тоскливую, холодную, безвыходную и безнадежную скуку, Пищалкин не знал соперников даже между людьми высочайшей нравственности, известными мастерами по этой части. Один вид его остриженной и выглаженной головы, его светлых и безжизненных глаз, его доброкачественного носа возбуждал невольную унылость, а баритонный, медлительный, как бы заспанный его голос казался созданным для того, чтобы с убеждением и вразумительностью произносить изречения, состоявшие в том, что дважды два четыре, а не пять и не три, вода мокра, а добродетель похвальна; что частному лицу, равно как и государству, а государству, равно как и частному лицу, необходимо нужен кредит для денежных операций. И со всем тем человек он был превосходный! Но уж таков предел судеб на Руси: скучны у нас превосходные люди. Пищалкин удалился; его заменил Биндасов и немедленно, с великою наглостью, потребовал у Литвинова взаймы сто гульденов, которые тот ему и дал, несмотря на то что не

только не интересовался Биндасовым, но даже гнушался им и знал наверное, что денег своих не получит ввек; притом он сам в них нуждался. Зачем же он дал их ему? — спросит читатель. А чёрт знает зачем! На это русские тоже молодцы. Пусть читатель положит руку на сердце и вспомнит, какое множество поступков в его собственной жизни не имело решительно другой причины. А Биндасов даже не поблагодарил Литвинова: потребовал стакан аффеиталера (баденского красного вина) и ушел, не обтерев губ и нахально стуча сапогами. И уж как же досадовал на себя Литвинов, глядя на красный загривок удалявшегося кулака! Перед вечером он получил письмо от Татьяны, в котором она его извещала, что, вследствие нездоровья ее тетки, раньше пяти, шести дней она в Баден приехать не может. Это известие неприятно подействовало на Литвинова: оно усилило его досаду, и он лег спать рано, в дурном настроении духа. Следующий день выдался не лучше предшествовавшего, чуть ли не хуже. С самого утра комната Литвинова наполнилась соотечественниками: Бамбаев, Ворошилов, Пищалкин, два офицера, два гейдельбергские студента, все привалили разом и так-таки не уходили вплоть до обеда, хотя скоро выболтались и, видимо, скучали. Они просто не знали куда деться и, попав на квартиру Литвинова, как говорится, «застряли» в ней. Сперва они потолковали о том, что Губарев уехал обратно в Гейдельберг и что надо будет к нему отправиться; потом немного пофилософствовали, коснулись польского вопроса; потом приступили к рассуждениям об игре, о лоретках, принялись рассказывать скандальные анекдотцы; наконец, разговор завязался о том, какие бывают силачи, какие толстые люди и какие обжоры. Выступили на свет божий старые анекдоты о Лукине, о дьяконе, съевшем на пари тридцать три селедки, об известном своею тучностью уланском полковнике Изъединове, о солдате, ломавшем говяжью кость о собственный лоб, а там пошло уже совершенное вранье. Сам Пищалкин рассказал, зевая, что знал в Малороссии бабу, в которой при смерти оказалось двадцать семь пудов с фунтами, и помещика, который за завтраком съедал трех гусей и осетра; Бамбаев вдруг пришел в экстаз и объявил, что он сам в состоянии съесть целого барана, «разумеется, с приправами», а Ворошилов брякнул что-то такое несообразное насчет товарища, силача-кадета, что все помолчали, помолчали, посмотрели друг на друга, взялись за

шапки и разбрелись. Оставшись наедине, Литвинов хотел было заняться, но ему точно копоти в голову напустили; он ничего не мог сделать путного, и вечер тоже пропал даром. На следующее утро он собирался завтракать, кто-то постучался к нему в дверь. «Господи,— подумал Литвинов,— опять кто-нибудь из вчерашних приятелей»,— и не без некоторого содрогания промолвил:

— Herein! [1]

Дверь тихонько отворилась, и в комнату вошел Потугин.

Литвинов чрезвычайно ему обрадовался.

— Вот это мило! — заговорил он, крепко стискивая руку нежданному гостю,— вот спасибо! Я сам непременно навестил бы вас, да вы не хотели мне сказать, где вы живете. Садитесь, пожалуйста, положите шляпу. Садитесь же.

Потугин ничего не отвечал на ласковые речи Литвинова, стоял, переминаясь с ноги на ногу, посреди комнаты и только посмеивался да покачивал головой. Радушный привет Литвинова его видимо тронул, но в выражении его лица было нечто принужденное.

— Тут... маленькое недоразумение...— начал он не без запинки.— Конечно, я всегда с удовольствием... но меня собственно... меня к вам прислали.

— То есть вы хотите сказать,— промолвил жалобным голосом Литвинов,— что сами собой вы бы не пришли ко мне?

— О нет, помилуйте!.. Но я... я, может быть, не решился бы сегодня вас беспокоить, если бы меня не попросили зайти к вам. Словом, у меня есть к вам поручение.

— От кого, позвольте узнать?

— От одной вам известной особы, от Ирины Павловны Ратмировой. Вы третьего дня обещались навестить ее и не пришли.

Литвинов с изумлением уставился на Потугина.

— Вы знакомы с госпожою Ратмировой?

— Как видите.

— И коротко знакомы?

— Я до некоторой степени ей приятель.

Литвинов помолчал.

— Позвольте вас спросить,— начал он наконец,— вам известно, для чего Ирине Павловне угодно меня видеть?

---

[1] Войдите! *(нем.)*.

Потугин подошел к окну.

— До некоторой степени известно. Она, сколько я могу судить, очень обрадовалась встрече с вами, ну и желает возобновить прежние отношения.

— Возобновить,— повторил Литвинов.— Извините мою нескромность, но позвольте мне еще спросить вас. Вам известно, какого рода были эти отношения?

— Собственно — нет, не известно. Но я полагаю,— прибавил Потугин, внезапно обратившись к Литвинову и дружелюбно глядя на него,— я полагаю, что они были хорошего свойства. Ирина Павловна очень вас хвалила, и я должен был дать ей слово, что приведу вас. Вы пойдете?

— Когда?

— Теперь... сейчас.

Литвинов только руками развел.

— Ирина Павловна,— продолжал Потугин,— полагает, что та... как бы выразиться... та среда, что ли, в которой вы ее застали третьего дня, не должна возбудить ваше особенное сочувствие; но она велела вам сказать, что чёрт не такой черный, каким его изображают.

— Гм... Это изречение применяется собственно к той... среде?

— Да... и вообще.

— Гм... Ну, а вы, Созонт Иваныч, какого мнения о чёрте?

— Я думаю, Григорий Михайлыч, что он во всяком случае не такой, каким его изображают.

— Он лучше?

— Лучше ли, хуже ли, это решить трудно, но не такой. Ну что же, идем мы?

— Да вы посидите сперва немножко. Мне, признаться, все-таки кажется немного странным...

— Что, смею спросить?

— Каким образом вы, собственно вы, могли сделаться приятелем Ирины Павловны?

Потугин окинул самого себя взглядом.

— С моею фигурой, с положением моим в обществе оно точно неправдоподобно; но вы знаете — уже Шекспир сказал: «Есть многое на свете, друг Горацио», и так далее. Жизнь тоже шутить не любит. Вот вам сравнение: дерево стоит перед вами, и ветра нет; каким образом лист на нижней ветке прикоснется к листу на верхней ветке? Никоим образом. А поднялась буря, всё перемешалось — и те два листа прикоснулись.

— Ага! Стало быть, бури были?

— Еще бы! Без них разве проживешь? Но в сторону философию. Пора идти.

Литвинов всё еще колебался.

— О господи! — воскликнул с комической ужимкой Потугин,— какие нынче стали молодые люди! Прелестнейшая дама приглашает их к себе, засылает за ними гонцов, нарочных, а они чинятся! Стыдитесь, милостивый государь, стыдитесь. Вот ваша шляпа. Возьмите ее, и «форвертс!»[1] — как говорят наши друзья, пылкие немцы.

Литвинов постоял еще немного в раздумье, но кончил тем, что взял шляпу и вышел из комнаты вместе с Потугиным.

XII

Они пришли в одну из лучших гостиниц Бадена и спросили генеральшу Ратмирову. Швейцар сперва осведомился об их именах, потом тотчас отвечал, что «die Frau Fürstin ist zu Hause»[2],— и сам повел их по лестнице, сам постучал в дверь номера и доложил о них. «Die Frau Fürstin» приняла их немедленно; она была одна: муж ее отправился в Карлсруэ для свидания с проезжавшим сановным тузом из «влиятельных».

Ирина сидела за небольшим столиком и вышивала по канве, когда Потугин с Литвиновым переступили порог двери. Она проворно бросила шитье в сторону, оттолкнула столик, встала; выражение неподдельного удовольствия распространилось по ее лицу. На ней было утреннее, доверху закрытое платье; прекрасные очертания плеч и рук сквозили через легкую ткань; небрежно закрученная коса распустилась и падала низко на тонкую шею. Ирина бросила Потугину быстрый взгляд, шепнула «merci» и, протянув Литвинову руку, любезно упрекнула его в забывчивости. «А еще старый друг»,— прибавила она.

Литвинов начал было извиняться. «C'est bien, c'est bien»[3],— поспешно промолвила она и, с ласковым насилием отняв у него шляпу, заставила его сесть. Потугин тоже сел, но тотчас же поднялся и, сказав, что у него есть безотлагательное дело и что он зайдет после обеда, стал

[1] «вперед!» *(нем.)*.
[2] «княгиня дома» *(нем.)*.
[3] «Хорошо, хорошо» *(франц.)*.

раскланиваться. Ирина снова бросила ему быстрый взгляд и дружески кивнула ему головой, но не удерживала его и. как только он исчез за портьеркой, с нетерпеливою живостью обратилась к Литвинову.

— Григорий Михайлыч,— заговорила она по-русски своим мягким и звонким голосом,— вот мы одни наконец, и я могу сказать вам, что я очень рада нашей встрече, потому что она... она даст мне возможность... (Ирина посмотрела ему прямо в лицо) попросить у вас прощения.

Литвинов невольно вздрогнул. Такого быстрого натиска он не ожидал. Он не ожидал, что она сама наведет речь на прежние времена.

— В чем... прощения...— пробормотал он.

Ирина покраснела.

— В чем?.. вы знаете в чем,— промолвила она и слегка отвернулась.— Я была виновата перед вами, Григорий Михайлыч... хотя, конечно, такая уж мне выпала судьба (Литвинову вспомнилось ее письмо), и я не раскаиваюсь... это было бы во всяком случае слишком поздно; но, встретив вас так неожиданно, я сказала себе, что мы непременно должны сделаться друзьями, непременно... и мне было бы очень больно, если б это не удалось... и мне кажется, что для этого мы должны объясниться с вами, не откладывая и раз навсегда, чтоб уже потом не было никакой... gêne[1], никакой неловкости, раз навсегда, Григорий Михайлыч; и что вы должны сказать мне, что вы меня прощаете, а то я буду предполагать в вас... de la rancune. Voilà![2] Это с моей стороны, может быть, большая претензия, потому что вы, вероятно, давным-давно всё забыли, но всё равно, скажите мне, что вы меня простили.

Ирина произнесла всю эту речь не переводя духа, и Литвинов мог заметить, что в глазах ее заблистали слезы... да, действительные слезы.

— Помилуйте, Ирина Павловна,— поспешно начал он,— как вам не совестно извиняться, просить прощения... То дело прошедшее, в воду кануло, и мне остается только удивляться, как вы, среди блеска, который вас окружает, могли еще сохранить воспоминание о темном товарище первой вашей молодости...

— Вас это удивляет? — тихо проговорила Ирина.

---

[1] стеснительности *(франц.)*.
[2] злопамятство. Вот! *(франц.)*.

— Меня это трогает,— подхватил Литвинов,— потому что я никак не мог вообразить...

— А вы все-таки мне не сказали, что вы меня простили,— перебила Ирина.

— Я искренно радуюсь вашему счастью, Ирина Павловна, я от всей души желаю вам всего лучшего на земле...

— И не помните зла?

— Я помню только те прекрасные мгновенья, которыми я некогда был вам обязан.

Ирина протянула ему обе руки. Литвинов крепко стиснул их и не разом их выпустил... Что-то давно небывалое тайно шевельнулось в его сердце от этого мягкого прикосновения. Ирина опять глядела ему прямо в лицо; но на этот раз она улыбалась... И он в первый раз прямо и пристально посмотрел на нее... Он опять узнал черты, когда-то столь дорогие, и те глубокие глаза с их необычайными ресницами, и родинку на щеке, и особый склад волос надо лбом, и привычку как-то мило и забавно кривить губы и чуть-чуть вздрагивать бровями,— всё, всё узнал он... Но как она похорошела! Какая прелесть, какая сила женского молодого тела! И ни румян, ни белил, ни сурьмы, ни пудры, никакой фальши на свежем, чистом лице... Да, это была точно красавица!

Раздумье нашло на Литвинова... Он всё глядел на нее, но уже мысли его были далеко... Ирина это заметила.

— Ну вот и прекрасно,— громко заговорила она,— ну вот теперь совесть моя покойна, и я могу удовлетворить мое любопытство...

— Любопытство,— повторил Литвинов, как бы недоумевая.

— Да, да... Я непременно хочу знать, что вы делали всё это время, какие ваши планы; я всё хочу знать, как, что, когда... всё, всё. И вы должны говорить мне правду, потому что я предуведомляю вас, я не теряла вас из вида... насколько это было возможно.

— Вы меня не теряли из вида, вы... там... в Петербурге?

— Среди блеска, который меня окружал, как вы сейчас выразились. Именно, да, не теряла. Об этом блеске мы еще поговорим с вами; а теперь вы должны рассказывать, много, долго рассказывать, никто нам не помешает. Ах, как это будет чудесно! — прибавила Ирина, весело усаживаясь и охорашиваясь в кресле.— Ну же, начинайте.

— Прежде чем рассказывать, я должен благодарить вас,— начал Литвинов.

— За что?

— За букет цветов, который очутился у меня в комнате.

— Какой букет? Я ничего не знаю.

— Как?

— Говорят вам, я ничего не знаю... Но я жду... жду вашего рассказа... Ах, какой этот Потугин умница, что привел вас!

Литвинов навострил уши.

— Вы с этим господином Потугиным давно знакомы? — спросил он.

— Давно... но рассказывайте.

— И близко его знаете?

— О да! — Ирина вздохнула.— Тут есть особенные причины... Вы, конечно, слыхали про Элизу Вельскую... Вот та, что умерла в позапрошлом году такой ужасной смертью?.. Ах, да ведь я забыла, что вам неизвестны наши истории... К счастью, к счастью, неизвестны. Oh, quelle chance! [1] Наконец-то, наконец один человек, живой человек, который нашего ничего не знает! И по-русски можно с ним говорить, хоть дурным языком, да русским, а не этим вечным приторным, противным, петербургским французским языком!

— И Потугин, говорите вы, находился в отношениях с...

— Мне очень тяжело даже вспоминать об этом,— перебила Ирина.— Элиза была моим лучшим другом в институте, и потом, в Петербурге au château [2] мы беспрестанно видались. Она мне доверяла все свои тайны: она была очень несчастна, много страдала. Потугин в этой истории вел себя прекрасно, как настоящий рыцарь! Он пожертвовал собою. Я только тогда его оценила! Но мы опять отбились в сторону. Я жду вашего рассказа, Григорий Михайлович.

— Да мой рассказ нисколько не может интересовать вас, Ирина Павловна.

— Это уж не ваше дело.

— Вспомните, Ирина Павловна, мы десять лет не видались, целых десять лет. Сколько воды утекло с тех пор!

---

[1] О, какая удача! *(франц.)*.

[2] во дворце *(франц.)*.

— Не одной воды! не одной воды! — повторила она с особым, горьким выражением,— потому-то я и хочу вас слушать.

— И притом я, право, не могу придумать, с чего же мне начать?

— С начала. С самого того времени, как вы... как я переехала в Петербург. Вы тогда оставили Москву... Знаете ли, я с тех пор уже никогда не возвращалась в Москву!

— В самом деле?

— Прежде было невозможно; а потом, когда я вышла замуж...

— А вы давно замужем?

— Четвертый год.

— Детей у вас нет?

— Нет,—сухо ответила она.

Литвинов помолчал.

— А до вашего замужества вы постоянно жили у этого, как бишь его, графа Рейзенбаха?

Ирина пристально посмотрела на него, как бы желая отдать себе отчет, зачем он это спрашивает...

— Нет...— промолвила она наконец.

— Стало быть, ваши родители... Кстати, я и не спросил у вас об них. Что они...

— Они оба здоровы.

— И по-прежнему живут в Москве?

— По-прежнему в Москве.

— А ваши братья, сестры?

— Им хорошо; я их всех пристроила.

— А! — Литвинов исподлобья взглянул на Ирину.— По-настоящему, Ирина Павловна, не мне бы следовало рассказывать, а вам, если только...

Он вдруг спохватился и умолк.

Ирина поднесла руки к лицу и повертела обручальным кольцом на пальце.

— Что ж? Я не отказываюсь,— промолвила она наконец.— Когда-нибудь... пожалуй... Но сперва вы... потому, вот видите, я хоть и следила за вами, но об вас почти ничего не знаю; а обо мне... ну обо мне вы, наверно, слышали довольно. Не правда ли? Ведь вы слышали, скажите?

— Вы, Ирина Павловна, занимали слишком видное место в свете, чтобы не возбуждать толков... особенно в провинции, где я находился и где всякому слуху верят.

— А вы верили этим слухам? И какого роду были они?

— Признаться сказать, Ирина Павловна, эти слухи доходили до меня очень редко. Я вел жизнь весьма уединенную.

— Как так? Ведь вы были в Крыму, в ополчении?

— Вам и это известно?

— Как видите. Говорят вам, за вами следили.

Литвинову снова пришлось изумиться.

— Зачем же я стану вам рассказывать, что вы и без меня знаете? — проговорил Литвинов вполголоса.

— А затем... затем, чтобы исполнить мою просьбу. Ведь я прошу вас, Григорий Михайлович.

Литвинов наклонил голову и начал... начал несколько сбивчиво, в общих чертах передавать Ирине свои незатейливые похождения. Он часто останавливался и вопросительно взглядывал на Ирину, дескать, не довольно ли? Но она настойчиво требовала продолжения рассказа и, откинув волосы за уши, облокотившись на ручку кресла, казалось, с усиленным вниманием ловила каждое слово. Глядя на нее со стороны и следя за выражением ее лица, иной бы, пожалуй, мог подумать, что она вовсе не слушала того, что Литвинов ей говорил, а только погружалась в созерцание... Но не Литвинова созерцала она, хотя он и смущался и краснел под ее упорным взглядом. Пред нею возникла целая жизнь, другая, не его, ее собственная жизнь.

Литвинов не кончил, а умолк под влиянием неприятного чувства постоянно возраставшей внутренней неловкости. Ирина на этот раз ничего не сказала ему, не попросила его продолжать и, прижав ладонь к глазам, точно усталая, медленно прислонилась к спинке кресла и осталась неподвижной. Литвинов подождал немного и, сообразив, что визит его продолжался уже более двух часов, протянул было руку к шляпе, как вдруг в соседней комнате раздался быстрый скрып тонких лаковых сапогов и, предшествуемый тем же отменным дворянски-гвардейским запахом, вошел Валериан Владимирович Ратмиров.

Литвинов встал со стула и обменялся поклоном с благовидным генералом. А Ирина отняла, не спеша, руку от лица и, холодно посмотрев на своего супруга, промолвила по-французски:

— А! вот вы уже вернулись! Но который же теперь час?

— Скоро четыре часа, ma chère amie[1], а ты еще не одета — нас княгиня ждать будет,— отвечал генерал и, изящно нагнув перетянутый стан в сторону Литвинова, с свойственною ему почти изнеженною игривостью в голосе прибавил: — Видно, любезный гость заставил тебя забыть время.

Читатель позволит нам сообщить ему на этом месте несколько сведений о генерале Ратмирове. Отец его был естественный... Что вы думаете? Вы не ошибаетесь — но мы не то желали сказать... естественный сын знатного вельможи Александровских времен и хорошенькой актрисы француженки. Вельможа вывел сына в люди, но состояния ему не оставил — и этот сын (отец нашего героя) тоже не успел обогатиться: он умер в чине полковника, в звании полицмейстера. За год до смерти он женился на красивой молодой вдове, которой пришлось прибегнуть под его покровительство. Сын его и вдовы, Валериан Владимирович, по протекции попав в Пажеский корпус, обратил на себя внимание начальства — не столько успехами в науках, сколько фронтовой выправкой, хорошими манерами и благонравием (хотя подвергался всему, чему неизбежно подвергались все бывшие воспитанники казенных военных заведений),— и вышел в гвардию. Карьеру он сделал блестящую, благодаря скромной веселости своего нрава, ловкости в танцах, мастерской езде верхом ординарцем на парадах — большей частью на чужих лошадях — и, наконец, какому-то особенному искусству фамильярно-почтительного обращения с высшими, грустно-ласкового, почти сиротливого прислуживанья, не без примеси общего, легкого, как пух, либерализма... Этот либерализм не помешал ему, однако, перепороть пятьдесят человек крестьян в взбунтовавшемся белорусском селении, куда его послали для усмирения. Наружностью он обладал привлекательной и необычайно моложавой: гладкий, румяный, гибкий и липкий, он пользовался удивительными успехами у женщин: знатные старушки просто с ума от него сходили. Осторожный по привычке, молчаливый из расчета, генерал Ратмиров, подобно трудолюбивой пчеле, извлекающей сок из самых даже плохих цветков, постоянно обращался в высшем свете — и без нравственности, безо всяких сведений, но с репутацией дельца, с чутьем на людей и пониманьем обстоятельств, а главное

[1] мой дорогой друг *(франц.)*.

с неуклонно-твердым желанием добра самому себе видел наконец перед собою все пути открытыми...

Литвинов принужденно усмехнулся, а Ирина только плечами пожала.

— Ну что,— промолвила она тем же холодным тоном.— видели вы графа?

— Как же, видел. Он приказал тебе кланяться.

— А! Он всё глуп по-прежнему. этот ваш покровитель?

Генерал Ратмиров ничего не отвечал. а только слегка посмеялся в нос, как бы снисходя к опрометчивости женского суждения. Благосклонные взрослые люди таким точно смехом отвечают на вздорные выходки детей.

— Да,— прибавила Ирина,— глупость вашего графа слишком поразительна, а уж я, кажется, на что успела насмотреться.

— Вы сами меня к нему послали,— заметил сквозь зубы генерал и, обратившись к Литвинову, спросил его по-русски: — Пользуется ли он баденскими водами?

— Я, слава богу, здоров,— отвечал Литвинов.

— Это лучше всего,— продолжал генерал, любезно осклабясь,— да и вообще в Баден не затем ездят, чтобы лечиться; но здешние воды весьма действительны, je veux dire efficaces[1]; и кто страдает, как я, например, нервическим кашлем...

Ирина быстро встала.

— Мы еще увидимся с вами, Григорий Михайлович, и, я надеюсь, скоро,— проговорила она по-французски, презрительно перебивая мужнину речь,— а теперь я должна идти одеваться. Эта старая княгиня несносна с своими вечными parties de plaisir[2], где ничего нет, кроме скуки.

— Вы сегодня очень строги ко всем,— пробормотал ее супруг и проскользнул в другую комнату.

Литвинов направился к двери... Ирина его остановила.

— Вы мне всё рассказали,— промолвила она,— а главное утаили.

— Что такое?

— Вы, говорят, женитесь?

Литвинов покраснел до ушей... Он действительно с намерением не упомянул о Тане; но ему стало страх досадно, во-первых, что Ирина знает о его свадьбе, а во-

---

[1] я хочу сказать целебны *(франц.)*.

[2] увеселительными прогулками *(франц.)*.

вторых, что она как будто уличила его в желании скрыть от нее эту самую свадьбу. Он решительно не знал что сказать, а Ирина не спускала с него глаз.

— Да, я женюсь,— проговорил он наконец и тотчас удалился.

Ратмиров вернулся в комнату.

— Ну что же ты не одеваешься? — спросил он.

— Ступайте одни; у меня голова болит.

— Но княгиня...

Ирина обмерила мужа взглядом с ног до головы, повернулась к нему спиной и ушла в свой кабинет.

XIII

Литвинов был весьма недоволен собою, словно в рулетку проигрался или не сдержал данного слова. Внутренний голос говорил ему, что как жениху, как человеку уже степенному, не мальчику, ему не следовало поддаваться ни подстреканию любопытства, ни обольщениям воспоминаний. «Очень нужно было идти! — рассуждал он.— С ее стороны кокетство одно, прихоть, каприз... Она скучает, ей всё приелось, она ухватилась за меня... Иному лакомке вдруг захочется черного хлеба... Ну и прекрасно. Я-то зачем побежал? Разве я могу... не презирать ее? — Это последнее слово он произнес даже мысленно не без усилия.— Конечно, тут опасности никакой нет и быть не может,— продолжал он свои рассуждения.— Ведь я знаю, с кем дело имею. Но все-таки с огнем шутить не следует... Моей ноги у нее не будет». Литвинов самому себе не смел или не мог еще признаться, до какой степени Ирина ему казалась красивою и как сильно она возбуждала его чувство.

День опять прошел тупо и вяло. За обедом Литвинову довелось сидеть возле осанистого бель-ома[1] с нафабренными усами, который всё молчал и только пыхтел да глаза таращил... но, внезапно икнув, оказался соотечественником, ибо тут же с сердцем промолвил по-русски: «А я говорил, что не надо было есть дыни!» Вечером тоже не произошло ничего утешительного: Биндасов в глазах Литвинова выиграл сумму вчетверо больше той, которую у него занял, но не только не возвратил ему своего долга, а даже с угрозой посмотрел ему в лицо, как бы собираясь

[1] толстяка *(франц.)*.

наказать его еще чувствительнее именно за то, что он был свидетелем выигрыша. На следующее утро снова нахлынула ватага соотечественников; Литвинов едва-едва от них отделался и, отправившись в горы, сперва наткнулся на Ирину,— он притворился, что не узнал ее, и быстро прошел мимо,— потом на Потугина. С Потугиным он заговорил было, но тот неохотно отвечал ему. Он вел за руку нарядно одетую девочку с пушистыми, почти белыми локонами, большими темными глазами на бледном, болезненном личике и с тем особенным, повелительным и нетерпеливым выражением, которое свойственно избалованным детям. Литвинов провел часа два в горах и возвращался домой по Лихтенталевской аллее... Сидевшая на скамейке дама с синим вуалем на лице проворно встала и подошла к нему... Он узнал Ирину.

— Зачем вы избегаете меня, Григорий Михайлович,— проговорила она нетвердым голосом, какой бывает у человека, у которого накипело на сердце.

Литвинов смутился.

— Я вас избегаю, Ирина Павловна?

— Да, вы... вы...

Ирина казалась взволнованною, почти рассерженною.

— Вы ошибаетесь, уверяю вас.

— Нет, не ошибаюсь. Разве я сегодня утром — вот, когда мы с вами встретились,— разве я не видела, что вы меня узнали? Скажите, разве вы не узнали меня? Скажите?

— Я, право... Ирина Павловна...

— Григорий Михайлович, вы человек прямой, вы всегда говорили правду: скажите, скажите мне, ведь вы узнали меня? вы с намерением отвернулись?

Литвинов взглянул на Ирину. Глаза ее блестели странным блеском, а щеки и губы мертвенно белели сквозь частую сетку вуаля. В выражении ее лица, в самом звуке ее порывистого шёпота было что-то до того неотразимо скорбное, молящее... Литвинов не мог притворяться долее.

— Да... я узнал вас,— промолвил он не без усилия.

Ирина тихонько вздрогнула и тихонько опустила руки.

— Отчего же вы не подошли ко мне? — прошептала она.

— Отчего... отчего! — Литвинов сошел в сторону с дорожки, Ирина молча последовала за ним.— Отчего? — повторил он еще раз, и лицо его внезапно вспыхнуло, и

чувство, похожее на злобу, стиснуло ему грудь и горло.— Вы... вы это спрашиваете, после всего, что произошло между нами? Не теперь, конечно не теперь, а там... там... в Москве.

— Но ведь мы с вами решили, ведь вы обещали...— начала было Ирина.

— Я ничего не обещал! Извините резкость моих выражений, но вы требуете правды — так посудите сами: чему, как не кокетству — признаюсь, для меня непонятному,— чему, как не желанию испытать, насколько вы еще властны надо мною, могу я приписать вашу... я не знаю, как назвать... вашу настойчивость? Наши дороги так далеко разошлись! Я всё забыл, всё это переболело давно, я совсем другой человек стал; вы замужем, счастливы, по крайней мере по наружности, пользуетесь завидным положением в свете; к чему же, зачем это сближение? Что я вам, что вы мне? Мы теперь и понять друг друга не можем, между нами теперь нет уже решительно ничего общего ни в прошедшем, ни в настоящем! Особенно... особенно в прошедшем!

Литвинов произнес всю эту речь торопливо, отрывисто, не поворачивая головы. Ирина не шевелилась и только по временам чуть-чуть протягивала к нему руки. Казалось, она умоляла его остановиться и выслушать ее, а при последних его словах слегка прикусила нижнюю губу, как бы подавляя ощущение острого и быстрого уязвления.

— Григорий Михайлыч,— начала она, наконец, голосом уже более спокойным и отошла еще дальше от дорожки, по которой изредка проходили люди...

Литвинов в свою очередь последовал за ней.

— Григорий Михайлыч, поверьте мне: если б я могла вообразить, что у меня осталось на волос власти над вами, я бы первая избегала вас. Если я этого не сделала, если я решилась, несмотря на... на мою прошедшую вину, возобновить знакомство с вами, то это потому... потому...

— Почему? — почти грубо спросил Литвинов.

— Потому,— подхватила с внезапною силой Ирина,— что мне стало уже слишком невыносимо, нестерпимо душно в этом свете, в этом завидном положении, о котором вы говорите; потому что, встретив вас, живого человека, после всех этих мертвых кукол — вы могли видеть образчики их четвертого дня, там, au Vieux Château,— я обрадовалась как источнику в пустыне, а вы называете меня кокеткой, и подозреваете меня, и отталкиваете меня под

тем предлогом, что я действительно была виновата перед вами, а еще больше перед самой собою!

— Вы сами выбрали свой жребий, Ирина Павловна,— угрюмо промолвил Литвинов, по-прежнему не оборачивая голову.

— Сама, сама... я и не жалуюсь, я не имею права жаловаться,— поспешно проговорила Ирина, которой, казалось, самая суровость Литвинова доставляла тайную отраду,— я знаю, что вы должны осуждать меня, я и не оправдываюсь, я только хочу объяснить вам мое чувство, я хочу убедить вас, что мне не до кокетства теперь... Мне кокетничать с вами! Да в этом смыслу нет... Когда я вас увидала, всё мое хорошее, молодое во мне пробудилось... то время, когда я еще не выбрала своего жребия, всё, что лежит там, в той светлой полосе, за этими десятью годами...

— Да позвольте же, наконец, Ирина Павловна! Сколько мне известно, светлая полоса в вашей жизни началась именно с той поры, как мы расстались...

Ирина поднесла платок к губам.

— Это очень жестоко, что вы говорите, Григорий Михайлыч; но я сердиться на вас не могу. О нет, не светлое то было время, не на счастье покинула я Москву, ни одного мгновенья, ни одной минуты счастья я не знала... поверьте мне, что бы ни рассказывали вам. Если б я была счастлива, могла ли бы я говорить с вами так, как я теперь говорю... Я повторяю вам, вы не знаете, что это за люди... Ведь они ничего не понимают, ничему не сочувствуют, даже ума у них нет, ni esprit, ni intelligence [1], а одно только лукавство да сноровка; ведь в сущности и музыка, и поэзия, и искусство им одинаково чужды... Вы скажете, что я ко всему этому была сама довольно равнодушна; но не в такой степени, Григорий Михайлыч... не в такой степени! Не светская женщина теперь перед вами, вам стоит только взглянуть на меня, не львица... так, кажется, нас величают... а бедное, бедное существо, которое, право, достойно сожаления. Не удивляйтесь моим словам... мне не до гордости теперь! Я протягиваю к вам руку как нищая, поймите же это, наконец, как нищая... Я милостыни прошу,— прибавила она вдруг с невольным, неудержимым порывом,— я прошу милостыни, а вы...

Голос изменил ей. Литвинов поднял голову и посмот-

---

[1] ни ума, ни развития *(франц.)*.

рел на Ирину; она дышала быстро, губы ее дрожали. Сердце в нем вдруг забилось, и чувство злобы исчезло.

— Вы говорите, что наши дороги разошлись,— продолжала Ирина,— я знаю, вы женитесь по склонности, у вас уже составлен план на всю вашу жизнь, да, это всё так, но мы не стали друг другу чужды, Григорий Михайлыч, мы можем еще понять друг друга. Или вы полагаете, что я совсем отупела, что я совсем погрязла в этом болоте? Ах нет, не думайте этого, пожалуйста! Дайте мне душу отвести, прошу вас, ну хоть во имя тех прежних дней, если вы не хотите забыть их. Сделайте так, чтобы наша встреча не пропала даром, это было бы очень горько, она и без того недолго продолжится... Я не умею говорить как следует, но вы поймете меня, потому что я требую малого, очень малого... только немножко участия, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести...

Ирина умолкла, в голосе ее звенели слезы. Она вздохнула и робко, каким-то боковым, ищущим взором посмотрела на Литвинова, протянула ему руку...

Литвинов медленно взял эту руку и слабо пожал ее.

— Будемте друзьями,— шепнула Ирина.

— Друзьями,— задумчиво повторил Литвинов.

— Да, друзьями... а если это слишком большое требование, то будемте по крайней мере хорошими знакомыми... Будемте запросто, как будто никогда ничего не случалось...

— Как будто ничего не случалось...— повторил опять Литвинов.— Вы сейчас сказали мне, Ирина Павловна, что я не хочу забыть прежних дней... Ну, а если я не могу забыть их?

Блаженная улыбка мелькнула на лице Ирины и тотчас же исчезла, сменившись заботливым, почти испуганным выражением.

— Будьте, как я, Григорий Михайлыч, помните только хорошее; а главное, дайте мне теперь слово... честное слово...

— Какое?

— Не избегать меня... не огорчать меня понапрасну... Вы обещаетесь? скажите!

— Да.

— И всякие дурные мысли из головы выкинете?

— Да... но понять вас я все-таки отказываюсь.

— Это и не нужно... а впрочем, погодите, вы меня поймете. Но вы обещаетесь?

— Я уже сказал: да.

— Ну спасибо. Смотрите же, я привыкла вам верить. Я буду ждать вас сегодня, завтра, я из дому не буду выходить. А теперь я должна вас оставить. Герцогиня идет по аллее... Она увидала меня, и я не могу не подойти к ней... До свиданья... Дайте же мне вашу руку, vite, vite[1]. До свидания.

И, крепко стиснувши руку Литвинова, Ирина направилась к особе средних лет и сановитой наружности, тяжело выступавшей по песчаной дорожке в сопровождении двух других дам и ливрейного, чрезвычайно благообразного лакея.

— Eh bonjour, chère madame[2],— проговорила особа, между тем как Ирина почтительно приседала перед нею.— Comment allez-vous aujourd'hui? Venez un peu avec moi[3].

— Votre Altesse a trop de bonté[4],— послышался вкрадчивый голос Ирины.

XIV

Литвинов дал удалиться герцогине со всей ее свитой и тоже вышел на аллею. Он не мог отдать себе ясного отчета в том, что он ощущал: и стыдно ему было, и даже страшно, и самолюбие его было польщено... Нежданное объяснение с Ириной застигло его врасплох; ее горячие, быстрые слова пронеслись над ним, как грозовой ливень. «Чудаки эти светские женщины,— думал он,— никакой в них нет последовательности... И как извращает их среда, где они живут и безобразие которой они сами чувствуют!..» Собственно он совсем не то думал, а только машинально повторял эти избитые фразы, как бы желая тем самым отделаться от других, более жутких дум. Он понимал, что серьезно размышлять ему теперь не следовало, что ему, вероятно, пришлось бы обвинить себя, и он шел замедленными шагами, чуть не усиленно обращая внимание на всё, что попадалось ему навстречу... Он вдруг очутился перед скамейкой, увидал возле нее чьи-то ноги, повел вверх по ним глазами... Ноги эти принадлежали человеку, сидевшему на скамейке и читавшему газету; человек этот

---

[1] скорей, скорей *(франц.)*.

[2] Здравствуйте, дорогая *(франц.)*.

[3] Как вы сегодня себя чувствуете? Пройдемте немного со мной *(франц.)*.

[4] Ваше высочество слишком добры *(франц.)*.

оказался Потугиным. Литвинов издал легкое восклицание. Потугин положил газету на колени и внимательно, без улыбки посмотрел на Литвинова; и Литвинов посмотрел на Потугина тоже внимательно и тоже без улыбки.

— Можно сесть возле вас? — спросил он наконец.

— Садитесь, сделайте одолжение. Только предуведомляю вас: если вы хотите со мной разговор вести, не прогневайтесь — я нахожусь теперь в самом мизантропическом настроении и все предметы представляются мне в преувеличенно скверном виде.

— Это ничего, Созонт Иваныч,— промолвил Литвинов, опускаясь на скамью,— это даже очень кстати... Но отчего на вас нашел такой стих?

— По-настоящему, мне бы не следовало злиться,— начал Потугин.— Я вот сейчас вычитал в газете проект о судебных преобразованиях в России и с истинным удовольствием вижу, что и у нас хватились, наконец, ума-разума и не намерены более, под предлогом самостоятельности там, народности или оригинальности, к чистой и ясной европейской логике прицеплять доморощенный хвостик, а, напротив, берут хорошее чужое целиком. Довольно одной уступки в крестьянском деле... Подите-ка развяжитесь с общим владением!.. Точно, точно, мне не следовало бы злиться; да на мою беду наскочил я на русский самородок, побеседовал с ним, а эти самородки да самоучки меня в самой могиле тревожить будут!

— Какой самородок? — спросил Литвинов.

— Да тут такой господин бегает, гениальным музыкантом себя воображает. «Я, говорит, конечно, ничего, я нуль, потому что я не учился, но у меня не в пример больше мелодий и больше идей, чем у Мейербера». Во-первых, я скажу: зачем же ты не учился? а во-вторых, не то что у Мейербера, а у последнего немецкого флейтщика, скромно высвистывающего свою партию в последнем немецком оркестре, в двадцать раз больше идей, чем у всех наших самородков; только флейтщик хранит про себя эти идеи и не суется с ними вперед в отечестве Моцартов и Гайднов; а наш брат самородок «трень-брень» вальсик или романсик, и смотришь — уже руки в панталоны и рот презрительно скривлен: я, мол, гений. И в живописи то же самое, и везде. Уж эти мне самородки! Да кто же не знает, что щеголяют ими только там, где нет ни настоящей, в кровь и плоть перешедшей науки, ни настоящего искусства? Неужели же не пора сдать в архив это щего-

лянье, этот пошлый хлам вместе с известными фразами о том, что у нас, на Руси, никто с голоду не умирает, и езда по дорогам самая скорая, и что мы шапками всех закидать можем? Лезут мне в глаза с даровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом, с Кулибиным... Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетанье спросонья, а не то полузвериная сметка. Инстинкт! Нашли чем хвастаться! Возьмите муравья в лесу и отнесите его на версту от его кочки: он найдет дорогу к себе домой; человек ничего подобного сделать не может; что ж? разве он ниже муравья? Инстинкт, будь он распрегениальный, не достоин человека: рассудок, простой, здравый, дюжинный рассудок — вот наше прямое достояние, наша гордость; рассудок никаких таких штук не выкидывает; оттого-то всё на нем и держится. А что до Кулибина, который, не зная механики, смастерил какие-то пребезобразные часы, так я бы эти самые часы на позорный столб выставить приказал; вот, мол, смотрите, люди добрые, как не надо делать. Кулибин сам тут не виноват, да дело его дрянь. Хвалить Телушкина, что на адмиралтейский шпиль лазил, за смелость и ловкость — можно; отчего не похвалить? Но не следует кричать, что, дескать, какой он нос наклеил немцам архитекторам! и на что они? только деньги берут... Никакого он им носа не наклеивал: пришлось же потом леса́ вокруг шпиля поставить да починить его обыкновенным порядком. Не поощряйте, ради бога, у нас на Руси мысли, что можно чего-нибудь добиться без учения! Нет; будь ты хоть семи пядей во лбу, а учись, учись с азбуки! Не то молчи да сиди, поджавши хвост! Фу! даже жарко стало!

Потугин снял шляпу и помахал на себя платком.

— Русское художество,— заговорил он снова,— русское искусство!.. Русское пруженье я знаю и русское бессилие знаю тоже, а с русским художеством, виноват, не встречался. Двадцать лет сряду поклонялись этакой пухлой ничтожности, Брюллову, и вообразили, что и у нас, мол, завелась школа, и что она даже почище будет всех других... Русское художество, ха-ха-ха! хо-хо!

— Но, однако, позвольте, Созонт Иваныч,— заметил Литвинов.— Глинку вы. стало быть, тоже не признаете?

Потугин почесал у себя за ухом.

— Исключения, вы знаете, только подтверждают правило, но и в этом случае мы не могли обойтись без хвастовства! Сказать бы, например, что Глинка был действительно

замечательный музыкант, которому обстоятельства, внешние и внутренние, помешали сделаться основателем русской оперы,— никто бы спорить не стал; но нет, как можно! Сейчас надо его произвести в генерал-аншефы, в обергофмаршалы по части музыки да другие народы кстати оборвать: ничего, мол, подобного у них нету, и тут же указывают вам на какого-нибудь «мощного» доморощенного гения, произведения которого не что иное, как жалкое подражание второстепенным чужестранным деятелям — именно второстепенным: этим легче подражать. Ничего подобного? О, убогие дурачки-варвары, для которых не существует преемственности искусства, и художники нечто вроде Раппо: чужак, мол, шесть пудов одной рукой поднимает, а наш — целых двенадцать! Ничего подобного??! А у меня, осмелюсь доложить вам, из головы следующее воспоминание не выходит. Посетил я нынешнею весной Хрустальный дворец возле Лондона; в этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность — энциклопедия человечества, так сказать надо. Ну-с, расхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей; и подумал я в те поры: если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца всё то, что тот народ выдумал,— наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная: всё бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы. Подобного опыта даже с Сандвичевскими островами произвести невозможно; тамошние жители какие-то лодки да копья изобрели: посетители заметили бы их отсутствие. Это клевета! это слишком резко — скажете вы, пожалуй... А я скажу: во-первых, что я не умею порицать, воркуя; а во-вторых, что, видно, не одному чёрту, а и самому себе прямо в глаза посмотреть никто не решается, и не одни дети у нас любят, чтоб их баюкали. Старые наши выдумки к нам приползли с Востока, новые мы с грехом пополам с Запада перетащили, а мы всё продолжаем толковать о русском самостоятельном искусстве! Иные молодцы даже русскую науку открыли: у нас, мол, дважды два тоже четыре, да выходит оно как-то бойчее.

— Но постойте, Созонт Иваныч,— воскликнул Литвинов.— Постойте! Ведь посылаем же мы что-нибудь на всемирные выставки, и Европа чем-нибудь да запасается у нас.

— Да, сырьем, сырыми продуктами. И заметьте. милостивый государь: это наше сырье большею частию только потому хорошо, что обусловлено другими прескверными обстоятельствами: щетина наша, например, велика и жестка оттого, что свиньи плохи; кожа плотна и толста оттого, что коровы худы; сало жирно оттого, что вываривается пополам с говядиной... Впрочем, что же я с вами об этом распространяюсь: вы ведь занимаетесь технологией, лучше меня всё это знать должны. Говорят мне: изобретательность! Российская изобретательность! Вот наши господа помещики и жалуются горько и терпят убытки, оттого что не существует удовлетворительной зерносушилки, которая избавила бы их от необходимости сажать хлебные снопы в овины, как во времена Рюрика: овины эти страшно убыточны, не хуже лаптей или рогож, и горят они беспрестанно. Помещики жалуются, а зерносушилок всё нет как нет. А почему их нет? Потому что немцу они не нужны; он хлеб сырым молотит, стало быть и не хлопочет об их изобретении, а мы... не в состоянии! Не в состоянии — и баста! Хоть ты что! С нынешнего дня обещаюсь, как только подвернется мне самородок или самоучка,— стой, скажу я ему, почтенный! а где зерносушилка? подавай ее! Да куда им! Вот поднять старый, стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурие, и, почтительно возложив его на голову, носиться с ним, как со святыней,— это мы в состоянии; или статейку настрочить об историческом и современном значении пролетариата в главных городах Франции — это тоже мы можем; а попробовал я как-то предложить одному такому сочинителю и политико-эконому, вроде вашего господина Ворошилова, назвать мне двадцать городов в этой самой Франции, так знаете ли, что из этого вышло? Вышло то, что политико-эконом, с отчаяния, в числе французских городов назвал наконец Монфермель, вспомнив, вероятно, польдекоковский роман. И пришел мне тут на память следующий анекдот. Пробирался я однажды с ружьем и собакой по лесу...

— А вы охотник? — спросил Литвинов.

— Постреливаю помаленьку. Пробирался я в болото за бекасами; натолковали мне про это болото другие

охотники. Гляжу, сидит на поляне перед избушкой купеческий приказчик, свежий и ядреный, как лущеный орех, сидит, ухмыляется, чему — неизвестно. И спросил я его: «Где, мол, тут болото, и водятся ли в нем бекасы?»— «Пожалуйте, пожалуйте,— запел он немедленно и с таким выражением, словно я его рублем подарил,— с нашим удовольствием-с, болото первый сорт; а что касательно до всякой дико́й птицы — и боже ты мой! — в отличном изобилии имеется». Я отправился, но не только никакой дико́й птицы не нашел, самое болото давно высохло. Ну скажите мне на милость, зачем врет русский человек? Политико-эконом зачем врет, и тоже о дико́й птице?

Литвинов ничего не отвечал и только вздохнул сочувственно.

— А заведите речь с тем же политико-экономом,— продолжал Потугин,— о самых трудных задачах общественной науки, но только вообще, без фактов... фррррр! так птицей и взовьется, орлом. Мне раз, однако, удалось поймать такую птицу: приманку я употребил, как вы изволите увидеть, хорошую, видную. Толковали мы с одним из наших нынешних «вьюношей» о различных, как они выражаются, вопросах. Ну-с, гневался он очень, как водится; брак, между прочим, отрицал с истинно детским ожесточением. Представлял я ему такие резоны, сякие... как об стену! Вижу: подъехать ни с какой стороны невозможно. И блесни мне тут счастливая мысль! «Позвольте доложить вам,— начал я,— с „вьюношами“ надо всегда говорить почтительно,— я вам, милостивый государь, удивляюсь; вы занимаетесь естественными науками — и до сих пор не обратили внимания на тот факт, что все плотоядные и хищные животные, звери, птицы, все те, кому нужно отправляться на добычу, трудиться над доставлением живой пищи и себе и своим детям... а вы ведь человека причисляете к разряду подобных животных?» — «Конечно, причисляю,— подхватил «вьюноша»,— человек вообще не что иное, как животное плотоядное».— «И хищное»,— прибавил я. «И хищное»,— подтвердил он. «Прекрасно сказано,— подтвердил я.—Так вот я и удивляюсь тому, как вы не заметили, что все подобные животные пребывают в единобрачии?» Вьюноша дрогнул. «Как так?» — «Да так же. Вспомните льва, волка, лисицу, ястреба, коршуна; да и как же им поступать иначе, соблаговолите сообразить? И вдвоем-то детей едва выкормишь». Задумался мой вьюноша. «Ну, говорит, в этом случае

зверь человеку не указ». Тут я обозвал его идеалистом, и уж огорчился же он! Чуть не заплакал. Я должен был его успокоить и обещать ему, что не выдам его товарищам. Заслужить название идеалиста — легко ли! В том-то и штука, что нынешняя молодежь ошиблась в расчете. Она вообразила, что время прежней, темной, подземной работы прошло, что хорошо было старичкам-отцам рыться наподобие кротов, а для нас-де эта роль унизительна, мы на открытом воздухе действовать будем, мы будем действовать... Голубчики! и ваши детки еще действовать не будут, а вам не угодно ли в норку, в норку опять по следам старичков?

Наступило небольшое молчание.

— Я, сударь мой, такого мнения,— начал опять Потугин,— что мы не одним только знанием, искусством, правом обязаны цивилизации, но что самое даже чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации и что так называемое народное, наивное, бессознательное творчество есть нелепость и чепуха. В самом Гомере уже заметны следы цивилизации утонченной и богатой; самая любовь облагораживается ею. Славянофилы охотно повесили бы меня за подобную ересь, если б они не были такими сердобольными существами; но я все-таки настаиваю на своем — и сколько бы меня ни потчевали госпожой Кохановской и «Роем на спокое», я этого triple extrait de mougik russe [1] нюхать не стану, ибо не принадлежу к высшему обществу, которому от времени до времени необходимо нужно уверить себя, что оно не совсем офранцузилось, и для которого собственно и сочиняется эта литература en cuir de Russie [2]. Попытайтесь прочесть простолюдину — настоящему — самые хлесткие, самые «народные» места из «Роя»: он подумает, что вы ему сообщаете новый заговор от лихоманки или запоя. Повторяю, без цивилизации нет и поэзии. Хотите ли уяснить себе поэтический идеал нецивилизованного русского человека? Разверните наши былины, наши легенды. Не говорю уже о том, что любовь в них постоянно является как следствие колдовства, приворота, производится питием «забыдущим» и называется даже присухой, зазнобой; не говорю также о том, что наша так называемая эпическая литература одна, между всеми другими, европейскими и

[1] тройного экстракта русского мужика *(франц.)*.
[2] из русской кожи *(франц.)*.

азиятскими, одна, заметьте, не представила — коли Ваньку-Таньку не считать — никакой типической пары любящихся существ; что святорусский богатырь свое знакомство с суженой-ряженой всегда начинает с того, что бьет ее по белому телу «нежалухою», отчего «и женский пол пухол живет»,— обо всем этом я говорить не стану; но позволю себе обратить ваше внимание на изящный образ юноши, жёнь-премье[1], каким он рисовался воображению первобытного, нецивилизованного славянина. Вот, извольте посмотреть: идет жёнь-премье; шубоньку сшил он себе куныю, по всем швам строченую, поясок семишелковый под самые мышки подведен, персты закрыты рукавчиками, ворот в шубе сделан выше головы, спереди-то не видать лица румяного, сзади-то не видать шеи беленькой, шапочка сидит на одном ухе, а на ногах сапоги сафьянные, носы шилом, пяты востры — вокруг носика-то носа яйцо кати; под пяту-пяту воробей лети-перепурхивай. И идет молодец частой, мелкой походочкой, той знаменитой «щепливой» походкой, которою наш Алкивиад, Чурило Пленкович, производил такое изумительное, почти медицинское действие в старых бабах и молодых девках, той самой походкой, которою до нынешнего дня так неподражаемо семенят наши по всем суставчикам развинченные половые, эти сливки, этот цвет русского щегольства, это nec plus ultra[2] русского вкуса. Я это не шутя говорю: мешковатое ухарство — вот наш художественный идеал. Что, хорош образ? Много в нем материалов для живописи, для ваяния? А красавица, которая пленяет юношу и у которой «кровь в лице быдто у заицы?..» Но вы, кажется, не слушаете меня?

Литвинов встрепенулся. Он действительно не слышал, что говорил ему Потугин: он думал, неотступно думал об Ирине, о последнем свидании с нею...

— Извините меня, Созонт Иваныч,— начал он,— но я опять к вам с прежним вопросом насчет... насчет госпожи Ратмировой.

Потугин сложил газету и засунул ее в карман.

— Вам опять хочется узнать, как я с ней познакомился?

— Нет, не то; я бы желал услыхать ваше мнение... о той роли, которую она играла в Петербурге. В сущности, какая это была роль?

[1] первого любовника *(франц.)*.
[2] высшая степень *(лат.)*.

— А я, право, не знаю, что сказать вам, Григорий Михайлыч. Я сошелся с госпожою Ратмировой довольно близко... но совершенно случайно и ненадолго. Я в ее мир не заглядывал и что там происходило — осталось для меня неизвестным. Болтали при мне кое-что, да вы знаете, сплетня царит у нас не в одних демократических кружках. Впрочем, я и не любопытствовал. Однако я вижу,— прибавил он, помолчав немного,— она вас занимает.

— Да; мы побеседовали раза два довольно откровенно. Я все-таки себя спрашиваю: искренна ли она?

Потугин потупился.

— Когда увлекается — искренна, как все страстные женщины. Гордость также иногда мешает ей лгать.

— А она горда? Я скорей полагаю — капризна.

— Горда как бес; да это ничего.

— Мне кажется, она иногда преувеличивает...

— И это ничего; все-таки она искренна. Ну, а вообще говоря, у кого захотели вы правды? Лучшие из этих барынь испорчены до мозга костей.

— Но, Созонт Иваныч, вспомните, не сами ли вы назвали себя ее приятелем? Не сами ли вы почти насильно повели меня к ней?

— Что ж такое? Она просила меня вас доставить; я и подумал: отчего же нет? А я действительно ее приятель. Она не без хороших качеств: очень добра, то есть щедра, то есть дает другим, что ей не совсем нужно. Впрочем, ведь вы сами должны знать ее не хуже меня.

— Я знавал Ирину Павловну десять лет тому назад; а с тех пор...

— Эх, Григорий Михайлыч, что вы говорите! Характер людской разве меняется? Каким в колыбельку, таким и в могилку. Или, может быть...— Тут Потугин нагнулся еще ниже,— может быть, вы ей в руки попасть боитесь? Оно точно... Да ведь чьих-нибудь рук не миновать.

Литвинов насильственно засмеялся.

— Вы полагаете?

— Не миновать. Человек слаб, женщина сильна, случай всесилен, примириться с бесцветною жизнию трудно, вполне себя позабыть невозможно... А тут красота и участие, тут теплота и свет,— где же противиться? И побежишь, как ребенок к няньке. Ну, а потом, конечно, холод, и мрак, и пустота... как следует. И кончится тем, что ото всего отвыкнешь, всё перестанешь понимать. Сперва

не будешь понимать, как можно любить; а потом не будешь понимать, как жить можно.

Литвинов посмотрел на Потугина, и ему показалось, что он никогда еще не встречал человека более одинокого, более заброшенного... более несчастного. Он не робел на этот раз, не чинился; весь понурый и бледный, с головою на груди и руками на коленях, он сидел неподвижно и только усмехался унылой усмешкой. Жалко стало Литвинову этого бедного, желчного чудака.

— Мне Ирина Павловна между прочим упомянула,— начал он вполголоса,— об одной своей хорошей знакомой, которую звали, помнится, Вельской или Дольской...

Потугин вскинул на Литвинова свои печальные глазки.

—А! — промолвил он глухо.— Она упомянула... ну и что ж? Впрочем,— прибавил он, как-то неестественно зевнув,— мне домой пора, обедать. Прощения просим.

Он вскочил со скамейки и проворно удалился, прежде чем Литвинов успел промолвить слово... Досада сменила в нем жалость, досада, разумеется, на самого себя. Всякого рода нескромность была ему несвойственна, он хотел выразить свое участие Потугину, а вышло нечто подобное неловкому намеку. С тайным неудовольствием на сердце вернулся он в свою гостиницу.

«Испорчена до мозгу костей,— думал он несколько времени спустя...— но горда как бес. Она, эта женщина, которая чуть не на колени становится передо мною, горда? горда, а не капризна?»

Литвинов попытался изгнать из головы образ Ирины; но это ему не удалось. Он именно потому и не вспоминал о своей невесте; он чувствовал: сегодня тот образ своего места не уступит. Он положил, не тревожась более, ждать разгадки всей этой «странной истории»; разгадка эта не могла замедлиться, и Литвинов нисколько не сомневался в том, что она будет самая безобидная и естественная. Так думал он, а между тем не один образ Ирины не покидал его — все слова ее поочередно приходили ему на память.

Кельнер принес ему записку: она была от той же Ирины.

«Если вам нечего делать сегодня вечером, приходите: я не буду одна; у меня гости — и вы еще ближе увидите наших, наше общество. Мне очень хочется, чтобы вы их увидали: мне сдается, что они покажут себя в полном блеске. Надобно ж вам знать, каким я воздухом дышу.

Приходите; я буду рада вас видеть, да и вы не соскучаетесь (Ирина хотела сказать: соскучитесь). Докажите мне, что наше сегодняшнее объяснение навсегда сделало невозможным всякое недоразумение между нами. Преданная вам И.».

Литвинов надел фрак и белый галстух и отправился к Ирине. «Всё это неважно,— мысленно повторял он дорогой,— а посмотреть на *них*... отчего не посмотреть? Это любопытно». Несколько дней тому назад эти самые люди возбуждали в нем другое чувство: они возбуждали в нем негодованье.

Он шел учащенными шагами, с нахлобученною на глаза шляпой, с напряженною улыбкой на губах, а Бамбаев, сидя перед кофейной Вебера и издали указывая на него Ворошилову и Пищалкину, восторженно воскликнул: «Видите вы этого человека? Это камень! Это скала!! это гранит!!!»

XV

Литвинов застал у Ирины довольно много гостей. В углу, за карточным столом, сидело трое из генералов пикника: тучный, раздражительный и снисходительный. Они играли в вист с болваном, и нет слов на человеческом языке, чтобы выразить важность, с которою они сдавали, брали взятки, ходили с треф, ходили с бубен... уж точно государственные люди! Предоставив разночинцам, aux bourgeois[1], обычные во время игры присказки и прибаутки, господа генералы произносили лишь самые необходимые слова; тучный генерал позволил себе, однако, между двумя сдачами энергически отчеканить: «Ce satané as de pique!»[2] В числе посетительниц Литвинов узнал дам, участниц пикника; но были также и другие, которых он еще не видал. Была одна до того старая, что казалось, вот-вот сейчас разрушится: она поводила обнаженными, страшными, темно-серыми плечами и, прикрыв рот веером, томно косилась на Ратмирова уже совсем мертвыми глазами; он за ней ухаживал: ее очень уважали в высшем свете как последнюю фрейлину императрицы Екатерины. У окна, одетая пастушкой, сидела графиня Ш., «царица ос», окруженная молодыми людьми; в числе их отличался своей надменной осанкой, совершенно плоским черепом и

---

[1] буржуа *(франц.)*.
[2] «Этот чёртов пиковый туз!» *(франц.)*.

бездушно-зверским выражением лица, достойным бухарского хана или римского Гелиогабала, знаменитый богач и красавец Фиников; другая дама, тоже графиня, известная под коротким именем Lise, разговаривала с длинноволосым белокурым и бледным «спиритом»; рядом стоял господин, тоже бледный и длинноволосый, и значительно посмеивался: господин этот также верил в спиритизм, но, сверх того, занимался пророчеством и, на основании апокалипсиса и талмуда, предсказывал всякие удивительные события; ни одно из этих событий не совершалось — а он не смущался и продолжал пророчествовать. За фортепьянами поместился тот самый самородок, который возбудил такое негодование в Потугине; он брал аккорды рассеянною рукой, d'une main distraite, и небрежно посматривал кругом. Ирина сидела на диване между князем Коко́ и г-жою Х., известною некогда красавицей и всероссийской умницей, давным-давно превратившеюся в дрянной сморчок, от которого отдавало постным маслом и выдохшимся ядом. Увидев Литвинова, Ирина покраснела, встала и, когда он подошел к ней, крепко пожала ему руку. На ней было черное креповое платье с едва заметными золотыми украшениями; ее плечи белели матовою белизной, а лицо, тоже бледное под мгновенною алою волной, по нем разлитою, дышало торжеством красоты, и не одной только красоты: затаенная, почти насмешливая радость светилась в полузакрытых глазах, трепетала около губ и ноздрей...

Ратмиров приблизился к Литвинову и, поменявшись с ним обычными приветствиями, не сопровожденными, однако, обычною игривостью, представил его двум-трем дамам: старой развалине, царице ос, графине Лизе... Они приняли его довольно благосклонно. Литвинов не принадлежал к их кружку... но он был собой недурен, даже очень, и выразительные черты его молодого лица возбудили их внимание. Только он не сумел упрочить за собою это внимание; он отвык от общества и чувствовал некоторое смущение, а тут еще тучный генерал на него уставился. «Ага! рябчик! вольнодумец! — казалось, говорил этот неподвижный, тяжелый взгляд,— приполз-таки к нам; ручку, мол, пожалуйте». Ирина пришла на помощь Литвинову. Она так ловко распорядилась, что он очутился в уголку, возле двери, немного позади ее. Заговаривая с ним, ей всякий раз приходилось к нему оборачиваться и он всякий раз любовался красивым изгибом ее блестя-

щей шеи, он впивал тонкий запах ее волос. Выражение благодарности, глубокой и тихой, не сходило с ее лица: он не мог не сознаться, что именно благодарность выражали эти улыбки, эти взоры, и сам он весь закипал тем же чувством, и совестно становилось ему, и сладко, и жутко... И в то же время она постоянно как будто хотела сказать: «Ну что? каковы?» Особенно ясно слышался Литвинову этот безмолвный вопрос, как только кто-нибудь из присутствовавших произносил или совершал пошлость, а это случилось не однажды во время вечера. Раз даже она не выдержала и громко засмеялась.

Графиня Лиза, дама весьма суеверная и склонная ко всему чрезвычайному, натолковавшись досыта с белокурым спиритом об Юме, вертящихся столах, самоиграющих гармониках и т. п., кончила тем, что спросила его, существуют ли такие животные, на которые действует магнетизм.

— Одно такое животное во всяком случае существует,— отозвался издали князь Коко́.— Вы ведь знаете Мильвановского? Его при мне усыпили, и он храпел даже, ей-ей!

— Вы очень злы, mon prince[1]; я говорю о настоящих животных, je parle des bêtes.

— Mais moi aussi, madame, je parle d'une bête...[2]

— Есть и настоящие,— вмешался спирит,— например раки; они очень нервозны и легко впадают в каталепсию.

Графиня изумилась.

— Как? Раки? Неужели? Ах, это чрезвычайно любопытно! Вот это я бы посмотрела! Мсьё Лужин,— прибавила она, обратившись к молодому человеку с каменным, как у новых кукол, лицом и каменными воротничками (он славился тем, что оросил это самое лицо и эти самые воротнички брызгами Ниагары и Нубийского Нила, впрочем ничего не помнил изо всех своих путешествий и любил одни русские каламбуры...),— мсьё Лужин, будьте так любезны, достаньте нам рака.

Мсьё Лужин осклабился.

— Живого-с или только живо? — спросил он.

Графиня не поняла его.

— Mais oui, рака,— повторила она,— une écrevisse[3].

— Как, что такое? рака? рака? — строго вмешалась

---

[1] князь *(франц.)*.
[2] Но я, сударыня, также говорю об одном животном... *(франц.)*.
[3] Ну да, рака *(франц.)*.

графиня Ш. Отсутствие мсьё Вердие ее раздражало; она понять не могла, зачем Ирина не пригласила этого прелестнейшего из французов. Развалина, уже давно ничего не понимавшая — притом и глухота ее одолевала,— только помотала головою.

— Oui, oui, vous allez voir[1]. Мсьё Лужин, пожалуйста...

Молодой путешественник поклонился, вышел и возвратился вскоре. Кельнер выступал за ним и, улыбаясь во весь рот, нес блюдо, на котором виднелся большой черный рак.

— Voici, madame[2],— воскликнул Лужин,— теперь можно приступить к операции рака. Ха, ха, ха! (Русские люди всегда первые смеются собственным остротам.)

— Хе, хе, хе! — снисходительно, в качестве патриота и покровителя всяких отечественных продуктов, отозвался князь Коко́.

(Просим читателя не удивляться и не негодовать: кто может отвечать за себя, что, сидя в партере Александринского театра и охваченный его атмосферой, не хлопал еще худшему каламбуру?)

— Merci, merci,— промолвила графиня.— Allons, allons, monsieur Fox, montrez-nous ça[3].

Кельнер поставил блюдо на круглый столик. Произошло небольшое движение между гостями; несколько голов вытянулось; одни генералы за карточным столом сохранили невозмутимую торжественность позы. Спирит взъерошил свои волосы, нахмурился и, приблизившись к столику, начал поводить руками по воздуху: рак топорщился, пятился и приподнимал клешни. Спирит повторил и участил свои движения: рак по-прежнему топорщился.

— Mais que doit-elle donc faire? [4] — спросила графиня.

— Elle doâ rester immobile et se dresser sur sa quiou[5],— отвечал с сильным американским акцентом г-н Фокс, судорожно потрясая пальцами над блюдом; но магнетизм не действовал, рак продолжал шевелиться. Спирит объявил, что он не в ударе, и с недовольным видом отошел

---

[1] Да, да, вы сейчас увидите *(франц.)*

[2] Вот, сударыня *(франц.)*.

[3] Благодарю, благодарю. Ну, ну, господин Фокс, покажите нам это *(франц.)*.

[4] Но что он должен сделать? *(франц.)*.

[5] Он должен остаться неподвижным и выпрямиться на своем хвосте *(франц.)*.

от столика. Графиня принялась утешать его, уверяя, что даже с мсьё Юмом случались иногда подобные неудачи... Князь Кокó подтвердил ее слова. Знаток апокалипсиса и талмуда подошел украдкой к столику и, быстро, но сильно тыкая пальцами в направлении рака, также попытал свое счастье, но безуспешно: признаков каталепсии не оказалось. Тогда призвали кельнера и велели ему унести рака, что он и исполнил с прежнею улыбкой во весь рот; слышно было, как он фыркнул за дверями... В кухне потом много смеялись über diese Russen [1]. Самородок, который продолжал брать аккорды во время опытов над раком, придерживаясь минорных тонов, потому нельзя ведь знать, как что действует,— самородок сыграл свой неизменный вальс и, разумеется, удостоился самого лестного одобрения. Увлеченный соревнованием, граф X., наш несравненный дилетант (смотри главу I), «сказал» шансонетку своего изобретения, целиком выкраденную у Оффенбаха. Ее игривый припев на слова: «Quel oeuf? quel boeuf?» [2] — заставил закачаться вправо и влево почти все дамские головы; одна даже застонала слегка, и неотразимое, неизбежное слово «Charmant! charmant!» [3] промчалось по всем устам. Ирина переглянулась с Литвиновым, и опять затрепетало около ее губ то затаенное, насмешливое выражение... Но еще сильнее заиграло оно несколько мгновений спустя, оно приняло даже злорадный оттенок, когда князь Кокó, этот представитель и защитник дворянских интересов, вздумал излагать свои воззрения перед тем же самым спиритом и, разумеется, немедленно пустил в ход свою знаменитую фразу о потрясении собственности в России, причем, конечно, досталось и демократам. Американская кровь заговорила в спирите: он начал спорить. Князь, как водится, тотчас принялся кричать во всю голову, вместо всяких доводов беспрестанно повторяя: c'est absurde! cela n'a pas le sens commun! [4] Богач Фиников принялся говорить дерзости, не разбирая, к кому они относились; талмудист запищал, сама графиня Ш. задребезжала... Словом, поднялся почти такой же несуразный гвалт, как у Губарева; только разве вот что — пива не было да табачного дыма и одежда на всех была получше. Ратмиров попытался восстановить тишину (ге-

[1] над этими русскими *(нем.)*.
[2] «Какое яйцо? какой бык?» *(франц.)*.
[3] «Очаровательно! очаровательно!» *(франц.)*.
[4] это нелепо! в этом нет здравого смысла! *(франц.)*.

нералы изъявили неудовольствие, послышалось восклицание Бориса: «Encore cette satanée politique!»[1]), но попытка не удалась, и тут же находившийся сановник из числа мягко-пронзительных, взявшись представить le résumé de la question en peu de mots[2], потерпел поражение; правда, он так мямлил и повторялся, так очевидно не умел ни выслушивать, ни понимать возражения и так, несомненно, сам не ведал, в чем собственно состояла la question[3], что другого исхода ожидать было невозможно; а тут еще Ирина исподтишка подзадоривала и натравливала друг на друга споривших, то и дело оглядываясь на Литвинова и слегка кивая ему... А он сидел как очарованный, ничего не слышал и только ждал, когда сверкнут опять перед ним эти великолепные глаза, когда мелькнет это бледное, нежное, злое, прелестное лицо... Кончилось тем, что дамы взбунтовались и потребовали прекращения спора... Ратмиров упросил дилетанта повторить свою шансонетку и самородок снова сыграл свой вальс...

Литвинов остался за полночь и ушел позднее всех. Разговор в течение вечера коснулся множества предметов, тщательно избегая всё мало-мальски интересное; генералы, окончив свою величественную игру, величественно к нему присоединились: влияние этих государственных людей сказалось тотчас. Речь зашла о парижских полусветских знаменитостях, имена и таланты которых оказались всем коротко известными, о последней пиесе Сарду, о романе Абу, о Патти в «Травиате». Кто-то предложил играть в «секретари», au secretaire; но это не удалось. Ответы выдавались плоские и не без грамматических ошибок; тучный генерал рассказал, что он однажды на вопрос: «Qu'est ce que l'amour?»[4] — отвечал: «Une colique remontée au coeur»[5] — и немедленно захохотал своим деревянным хохотом; развалина с размаху ударила его веером по руке; кусок белил свалился с ее лба от этого резкого движения. Высохший сморчок упомянул было о славянских княжествах и о необходимости православной пропаганды за Дунаем, но, не найдя отголоска, зашипел и стушевался. В сущности больше всего толковали об Юме; даже «царица ос» рассказала, как по ней ползали руки и как она

[1] «Опять эта проклятая политика!» *(франц.)*.
[2] суть вопроса в немногих словах *(франц.)*.
[3] суть вопроса *(франц.)*.
[4] «Что такое любовь?» *(франц.)*.
[5] «Колика, поднявшаяся к сердцу» *(франц.)*.

их видела и надела на одну из них свое собственное кольцо. Ирине точно пришлось торжествовать: если б Литвинов обращал даже больше внимания на то, что говорилось вокруг него, он все-таки не вынес бы ни одного искреннего слова, ни одной дельной мысли, ни одного нового факта изо всей этой бессвязной и безжизненной болтовни. В самых криках и возгласах не слышалось увлечения; в самом порицании не чувствовалось страсти; лишь изредка, из-под личины мнимо-гражданского негодования, мнимо-презрительного равнодушия, плаксивым писком пищала боязнь возможных убытков да несколько имен, которых потомство не забудет, произносилось со скрипением зубов... И хоть бы капля живой струи подо всем этим хламом и сором! Какое старье, какой ненужный вздор, какие плохие пустячки занимали все эти головы, эти души, и не в один только этот вечер занимали их они, не только в свете, но и дома, во все часы и дни, во всю ширину и глубину их существования! И какое невежество в конце концов! Какое непонимание всего, на чем зиждется, чем украшается человеческая жизнь!

Прощаясь с Литвиновым, Ирина снова стиснула ему руку и знаменательно шепнула: «Ну что? Довольны вы? Насмотрелись? Хорошо?» Он ничего не отвечал ей и только поклонился тихо и низко.

Оставшись наедине с мужем, Ирина хотела было уйти к себе в спальню... Он остановил ее.

— Je vous ai beaucoup admirée ce soir, madame [1],— промолвил он, закуривая папироску и опираясь на камин,— vous vous êtes parfaitement moquée de nous tous [2].

— Pas plus cette fois-ci que les autres [3],— равнодушно отвечала она.

— Как прикажете понять вас? — спросил Ратмиров.

— Как хотите.

— Гм. C'est clair [4].— Ратмиров осторожно, по-кошачьи, стряхнул пепел папироски концом длинного ногтя на мизинце.— Да, кстати! Этот новый ваш знакомец — как бишь его?.. господин Литвинов,— должно быть, пользуется репутацией очень умного человека.

При имени Литвинова Ирина быстро обернулась.

— Что вы хотите сказать?

---

[1] Сегодня вечером я был вами восхищен, сударыня *(франц.)*.
[2] вы посмеялись над нами в свое удовольствие *(франц.)*.
[3] На этот раз не больше, чем в остальные *(франц.)*.
[4] Понятно *(франц.)*.

Генерал усмехнулся.

— Он всё молчит... видно, боится скомпрометироваться.

Ирина тоже усмехнулась, только вовсе не так, как ее муж.

— Лучше молчать, чем говорить... как говорят иные.

— Attrapé![1] — промолвил Ратмиров с притворным смирением.— Шутки в сторону, у него очень интересное лицо. Такое... сосредоточенное выражение... и вообще осанка... Да.— Генерал поправил галстух и посмотрел, закинув голову, на собственные усы.— Он, я полагаю, республиканец, вроде другого вашего приятеля, господина Потугина; вот тоже умник из числа безмолвных.

Брови Ирины медленно приподнялись над расширенными, светлыми глазами, а губы сжались и чуть-чуть скривились.

— К чему вы это говорите, Валерьян Владимирыч? — как бы с участием заметила она.— Только заряды на воздух тратите... Мы не в России, и никто вас не слышит.

Ратмирова передернуло.

— Это не мое только мнение, Ирина Павловна,— заговорил он каким-то внезапно гортанным голосом,— другие также находят, что этот барин смотрит карбонарием.

— В самом деле? Кто же эти другие?

— Да Борис, например...

— Как? И этому нужно было выразить свое мнение?

Ирина передвинула плечами, как бы пожимаясь от холода, и тихонько провела по ним концами пальцев.

— Этому... да, этому... этому. Позвольте доложить вам, Ирина Павловна, вы словно сердитесь; а вы сами знаете, кто сердится...

— Я сержусь? С какой стати?

— Не знаю; может быть, на вас неприятно подействовало замечание, которое я позволил себе насчет...

Ратмиров замялся.

— Насчет? — вопросительно повторила Ирина.— Ах, пожалуйста, без иронии и поскорее. Я устала, спать хочу.— Она взяла свечку со стола.— Насчет?..

— Да насчет всё того же господина Литвинова. Так как теперь уже нет никакого сомнения в том, что он очень вас занимает...

Ирина подняла руку, в которой держала подсвечник,— пламя пришлось в уровень с лицом ее мужа,—

---

[1] Попался! *(франц.)*.

и, внимательно, почти с любопытством посмотрев ему в глаза, внезапно захохотала.

— Что с вами? — спросил, нахмурившись, Ратмиров.

Ирина продолжала хохотать.

— Да что такое? — повторил он и топнул ногой.

Он чувствовал себя обиженным, уязвленным, и в то же время красота этой женщины, так легко и смело стоявшей перед ним, его невольно поражала... она терзала его. Он видел всё, все ее прелести, даже розовый блеск изящных ногтей на тонких пальцах, крепко охвативших темную бронзу тяжелого подсвечника,— даже этот блеск не ускользнул от него... и обида еще глубже въедалась в его сердце. А Ирина всё хохотала.

— Как? вы? вы ревнуете? — промолвила она наконец и, обернувшись спиной к мужу, вышла вон из комнаты. «Он ревнует!» — послышалось за дверями, и снова раздался ее хохот.

Ратмиров сумрачно посмотрел вслед своей жене,— он и тут не мог не заметить обаятельной стройности ее стана, ее движений,— и, сильным ударом разбив папироску о мраморную плиту камина, швырнул ее далеко прочь. Щеки его внезапно побледнели, судорога пробежала по подбородку, и глаза тупо и зверски забродили по полу, словно отыскивая что-то... Всякое подобие изящества исчезло с его лица. Подобное выражение должно было принять оно, когда он засекал белорусских мужиков.

А Литвинов пришел к себе в комнату и, присев на стул перед столом, взял голову в обе руки и долго оставался неподвижным. Он поднялся наконец, раскрыл ящик и, достав портфель, вынул из внутреннего кармана карточку Татьяны. Печально глянуло на него ее лицо, искаженное и, как водится, состаренное фотографией. Невеста Литвинова была девушка великороссийской крови, русая, несколько полная и с чертами лица немного тяжелыми, но с удивительным выражением доброты и кротости в умных, светло-карих глазах, с нежным белым лбом, на котором, казалось, постоянно лежал луч солнца. Литвинов долго не сводил глаз с карточки, потом тихонько ее отодвинул и снова схватился обеими руками за голову. «Всё кончено! — прошептал он, наконец.— Ирина! Ирина!»

Он только теперь, только в это мгновение понял, что безвозвратно и безумно влюбился в нее, влюбился с самого дня первой встречи с нею в Старом замке, что никогда не переставал ее любить. А между тем как бы он удивился,

как бы он не поверил, рассмеялся бы, пожалуй, если б это ему сказали несколько часов тому назад!

— Но Таня, Таня, боже мой, Таня! Таня! — повторил он с сокрушением; а образ Ирины так и воздвигался перед ним в своей черной, как бы траурной одежде, с лучезарною тишиной победы на беломраморном лице.

XVI

Литвинов не спал всю ночь и не раздевался. Очень ему было тяжело. Как человек честный и справедливый, он понимал важность обязанностей, святость долга и почел бы за стыд хитрить с самим собой, с своею слабостью, с своим проступком. Сперва нашло на него оцепенение: долго не мог он выбиться из-под темного гнета одного и того же полусознанного, неясного ощущения; потом им овладел ужас при мысли, что будущность, его почти завоеванная будущность, опять заволоклась мраком, что его дом, его прочный, только что возведенный дом внезапно пошатнулся... Он начал безжалостно упрекать себя, но тотчас же сам остановил свои порывы. «Что за малодушие? — подумал он.— Не до упреков теперь; надо теперь действовать; Таня моя невеста, она поверила моей любви, моей чести, мы соединены навек и не можем, не должны разъединиться». Он живо представил себе все качества Татьяны, он мысленно перебирал и пересчитывал их; он старался возбудить в себе и умиление и нежность. «Остается одно,— думал он опять,— бежать, бежать немедленно, не дожидаясь ее прибытия, бежать ей навстречу; буду ли я страдать, буду ли мучиться с Таней,— это невероятно,— но во всяком случае рассуждать об этом, принимать это в соображение — нечего; надо долг исполнить, хоть умри потом! — Но ты не имеешь права ее обманывать,— шептал ему другой голос,— ты не имеешь права скрывать от нее перемену, происшедшую в твоих чувствах; быть может, узнав, что ты полюбил другую, она не захочет стать твоей женой? — Вздор! вздор! — возражал он,— это всё софизмы, постыдное лукавство, ложная добросовестность; я не имею права не сдержать данного слова, вот это так. Ну, прекрасно... Тогда надо уехать отсюда, не видавшись с тою...»

Но тут у Литвинова защемило на сердце, холодно ему стало, физически холодно: мгновенная дрожь пробежала по телу, слабо стукнули зубы. Он потянулся и зевнул,

как в лихорадке. Не настаивая более на своей последней мысли, заглушая эту мысль, отворачиваясь от нее, он принялся недоумевать и удивляться, каким образом он мог опять... опять полюбить это испорченное, светское существо, со всею его противною, враждебною обстановкой. Он попытался было спросить самого себя: да полно, точно полюбил ли ты? — и только махнул рукой. Он еще удивлялся и недоумевал, а вот уже перед ним, словно из мягкой, душистой мглы, выступал пленительный облик, поднимались лучистые ресницы — и тихо и неотразимо вонзались ему в сердце волшебные глаза, и голос звенел сладостно, и блестящие плечи, плечи молодой царицы, дышали свежестью и жаром неги...

К утру в душе Литвинова созрело, наконец, решение. Он положил уехать в тот же день навстречу Татьяне и, в последний раз увидавшись с Ириной, сказать ей, если нельзя иначе, всю правду — и расстаться с ней навсегда.

Он привел в порядок и уложил свои вещи, дождался двенадцатого часа и отправился к ней. Но при виде ее полузавешенных окон сердце в Литвинове так и упало... духа не достало переступить порог гостиницы. Он прошелся несколько раз по Лихтенталевской аллее. «Господину Литвинову наше почтение!» — раздался вдруг насмешливый голос с высоты быстро катившегося «дог-карта». Литвинов поднял глаза и увидал генерала Ратмирова, сидевшего рядом с князем М., известным спортсменом и охотником до английских экипажей и лошадей. Князь правил, а генерал перегнулся набок и скалил зубы, высоко приподняв шляпу над головой. Литвинов поклонился ему и в ту же минуту, как бы повинуясь тайному повелению, бегом пустился к Ирине.

Она была дома. Он велел доложить о себе; его тотчас приняли. Когда он вошел, она стояла посреди комнаты. На ней была утренняя блуза, с широкими открытыми рукавами; лицо ее, бледное по-вчерашнему, но не по-вчерашнему свежее, выражало усталость; томная улыбка, которою она приветствовала своего гостя, еще яснее обозначила это выражение. Она протянула ему руку и посмотрела на него ласково, но рассеянно.

— Спасибо, что пришли,— заговорила она слабым голосом и опустилась на кресло.— Я не совсем здорова сегодня; я дурно ночь провела. Ну, что вы скажете о вчерашнем вечере? Не права я была?

Литвинов сел.

— Я пришел к вам, Ирина Павловна,— начал он...

Она мгновенно выпрямилась и обернулась, глаза ее так и вперились в Литвинова.

— Что с вами? — воскликнула она.— Вы бледны как мертвец, вы больны. Что с вами?

Литвинов смутился.

— Со мною, Ирина Павловна?

— Вы получили дурное известие? Несчастье случилось, скажите, скажите...

Литвинов в свою очередь посмотрел на Ирину.

— Никакого дурного известия я не получал,— промолвил он не без усилия,— а несчастье действительно случилось, большое несчастье... и оно-то привело меня к вам.

— Несчастье? Какое?

— А такое... что...

Литвинов хотел продолжать... и не мог. Только руки он стиснул так, что пальцы хрустнули. Ирина наклонилась вперед и словно окаменела.

— Ах! я люблю вас! — вырвалось наконец глухим стоном из груди Литвинова, и он отвернулся, как бы желая спрятать свое лицо.

— Как, Григорий Михайлыч, вы...— Ирина тоже не могла докончить речь и, прислонившись к спинке кресла, поднесла к глазам обе руки.— Вы... меня любите?

— Да... да... да,— повторил он с ожесточением, всё более и более отворачивая свое лицо.

Всё смолкло в комнате; залетевшая бабочка трепетала крыльями и билась между занавесом и окном.

Первый заговорил Литвинов.

— Вот, Ирина Павловна,— начал он,— вот то несчастье, которое меня... поразило, которое я должен бы был предвидеть и избежать, если б, как и тогда, как в то московское время, я не попал тотчас в водоворот. Видно, судьбе угодно было опять заставить меня, и опять через вас, испытать все те муки, которые, казалось, не должны были уже повториться более... Недаром я противился... старался противиться; да, знать, чему быть, того не миновать. А говорю я вам всё это для того, чтобы кончить поскорее эту... эту трагикомедию,— прибавил он с новым порывом ожесточения и стыда.

Литвинов опять умолк; бабочка по-прежнему билась и трепетала. Ирина не отнимала рук от лица.

— И вы не обманываетесь? — послышался ее шёпот из-под этих белых, словно бескровных рук.

— Я не обманываюсь,— отвечал Литвинов беззвучным голосом.— Я вас люблю так, как никогда и никого не любил, кроме вас. Я не стану упрекать вас: это было бы слишком нелепо; не стану повторять вам, что, быть может, ничего бы этого не случилось, если бы вы сами иначе поступили со мною... Конечно, я один виноват, моя самонадеянность меня погубила; я поделом наказан, и вы этого никак ожидать не могли. Конечно, вы не сообразили, что было бы гораздо безопаснее для меня, если бы вы не так живо чувствовали свою вину... свою мнимую вину передо мною и не желали б ее загладить... Но ведь сделанного не переделаешь. Я только хотел уяснить вам мое положение: оно уж и так довольно тяжело... По крайней мере не будет, как вы говорите, недоразумений, а откровенность моего признания, я надеюсь, уменьшит то чувство оскорбления, которое вы не можете не ощутить.

Литвинов говорил, не поднимая глаз; да если б он и взглянул на Ирину, он бы все-таки не мог увидеть, что происходило у ней на лице, так как она по-прежнему не отнимала рук. А между тем то, что происходило на этом лице, вероятно бы его изумило: и страх, и радость выражало оно, и какое-то блаженное изнеможение, и тревогу; глаза едва мерцали из-под нависших век, и протяжное, прерывистое дыхание холодило раскрытые, словно жаждавшие губы...

Литвинов помолчал, подождал отзыва, звука... Ничего!

— Мне остается одно,— начал он снова,— удалиться; я пришел проститься с вами.

Ирина медленно опустила руки на колени.

— Но мне помнится, Григорий Михайлыч,— начала она,— та... та особа, о которой вы мне говорили, она должна сюда приехать? Вы ее ожидаете?

— Да; но я ей напишу... она остановится где-нибудь на дороге... в Гейдельберге, например.

— А! в Гейдельберге... Да... Там хорошо... Но всё это должно расстроить ваши планы. Уверены ли вы, Григорий Михайлыч, что вы не преувеличиваете, et que ce n'est pas une fausse alarme?[1]

Ирина говорила тихо, почти холодно, с небольшими

---

[1] и что это не ложная тревога? *(франц.)*.

расстановками и глядя в сторону, в окно. Литвинов не ответил на ее последний вопрос.

— Только зачем вы упомянули об оскорблении? — продолжала она.— Я не оскорблена... о нет! И если кто-нибудь из нас виноват, так во всяком случае не вы; не вы одни... Вспомните наши последние разговоры, и вы убедитесь, что виноваты не вы.

— Я никогда не сомневался в вашем великодушии,— произнес сквозь зубы Литвинов,— но я желал бы знать: одобряете ли вы мое намерение?

— Уехать?

— Да.

Ирина продолжала глядеть в сторону.

— В первую минуту ваше намерение мне показалось преждевременным... Но теперь я обдумала то, что вы сказали... и если вы точно не ошибаетесь, то я полагаю, что вам следует удалиться. Этак будет лучше... лучше для нас обоих.

Голос Ирины становился всё тише и тише, и самая речь замедлялась всё более и более.

— Генерал Ратмиров действительно мог бы заметить,— начал было Литвинов...

Глаза Ирины опустились снова, и что-то странное мелькнуло около ее губ — мелькнуло и замерло.

— Нет. Вы меня не поняли,— перебила она его.— Я не думала о моем муже. С какой стати? Ему и замечать было бы нечего. Но я повторяю: разлука необходима для нас обоих.

Литвинов поднял шляпу, упавшую на пол.

«Всё кончено,— подумал он,— надо уйти».— Итак, мне остается проститься с вами, Ирина Павловна,— промолвил он громко, и жутко ему стало вдруг, точно он сам собирался произнести приговор над собою.— Мне остается только надеяться, что вы не станете поминать меня лихом... и что если мы когда-нибудь...

Ирина опять его перебила:

— Погодите, Григорий Михайлыч, не прощайтесь еще со мною. Это было бы слишком поспешно.

Что-то дрогнуло в Литвинове, но жгучая горечь нахлынула тотчас и с удвоенною силой в его сердце.

— Да не могу я остаться! — воскликнул он.— К чему? К чему продолжать это томление?

— Не прощайтесь еще со мною,— повторила Ирина.— Я должна увидать вас еще раз... Опять такое немое рас-

ставанье, как в Москве,— нет, я этого не хочу. Вы можете теперь уйти, но вы должны обещать мне, дать мне честное слово, что вы не уедете, не увидевшись еще раз со мною.

— Вы этого желаете?

— Я этого требую. Если вы уедете, не простившись со мною, я вам никогда, никогда этого не прощу, слышите ли: никогда! Странно! — прибавила она, словно про себя,— я никак не могу себе представить, что я в Бадене... Мне так и чудится, что я в Москве... Ступайте.

Литвинов встал.

— Ирина Павловна,— проговорил он,— дайте мне вашу руку.

Ирина покачала головой.

— Я вам сказала, что не хочу прощаться с вами...

— Я не на прощание прошу...

Ирина протянула было руку, но взглянула на Литвинова, в первый раз после его признания,— и отвела ее назад.

— Нет, нет,— шепнула она,— я не дам вам моей руки. Нет... нет. Ступайте.

Литвинов поклонился и вышел. Он не мог знать, отчего Ирина ему отказала в последнем дружеском пожатии... Он не мог знать, чего она боялась.

Он вышел, а Ирина снова опустилась на кресло и снова закрыла себе лицо.

XVII

Литвинов не вернулся домой: он ушел в горы и, забравшись в лесную чащу, бросился на землю лицом вниз и пролежал там около часа. Он не мучился, не плакал; он как-то тяжело и томительно замирал. Никогда он еще не испытал ничего подобного: то было невыносимо ноющее и грызущее ощущение пустоты, пустоты в самом себе, вокруг, повсюду... Ни об Ирине, ни о Татьяне не думал он. Он чувствовал одно: пал удар, и жизнь перерублена, как канат, и весь он увлечен вперед и подхвачен чем-то неведомым и холодным. Иногда ему казалось, что вихорь налетал на него и он ощущал быстрое вращение и беспорядочные удары его темных крыл... Но решимость его не поколебалась. Остаться в Бадене... об этом и речи быть не могло. Мысленно он уже уехал: он уже сидел в гремящем и дымящем вагоне и бежал, бежал в немую, мертвую

даль. Он приподнялся, наконец, и, прислонив голову к дереву, остался неподвижным; только одною рукой он, сам того не замечая, схватил и в такт раскачивал верхний лист высокого папоротника. Шум приближавшихся шагов вывел его из оцепенения: два угольщика с большими мешками на плечах пробирались по крутой тропинке. «Пора!» — шепнул Литвинов и вслед за угольщиками спустился в город, повернул к зданию железной дороги и отправил телеграмму на имя Татьяниной тетки, Капитолины Марковны. В этой телеграмме он извещал ее о своем немедленном отъезде и назначил ей свидание в Шрадеровой гостинице в Гейдельберге. «Кончать, так кончать разом,— подумал он,— нечего откладывать до завтра». Потом он зашел в игорную залу, с тупым любопытством посмотрел двум-трем игрокам в лицо, заметил издали гнусный затылок Биндасова, безукоризненное чело Пищалкина и, постояв немного под колоннадой, отправился не спеша к Ирине. Не в силу внезапного, невольного увлечения отправился он к ней; решившись уехать, он также решился сдержать данное слово и еще раз с нею повидаться. Он вступил в гостиницу, не замеченный швейцаром, поднялся по лестнице, никого не встречая,— и, не постучав в дверь, машинально толкнул ее и вошел в комнату. В комнате, на том же кресле, в том же платье, в том же точно положении, как три часа тому назад, сидела Ирина... Видно было, что она не тронулась с места, не шевельнулась всё это время. Она медленно приподняла голову и, увидав Литвинова, вся вздрогнула и ухватилась за ручку кресла. «Вы меня испугали»,— прошептала она.

Литвинов глядел на нее с безмолвным изумлением. Выражение ее лица, угасших глаз — поразило его.

Ирина улыбнулась насильственно и поправила развившиеся волосы.

— Это ничего... я, право, не знаю... я, кажется, заснула тут.

— Извините меня, Ирина Павловна,— начал Литвинов,— я вошел без доклада... Я хотел исполнить то, что вам было угодно от меня потребовать. Так как я сегодня уезжаю...

— Сегодня? Но вы, кажется, сказали мне, что вы хотели сперва написать письмо...

— Я послал телеграмму.

— А! вы нашли нужным поспешить. И когда вы уезжаете? В котором часу то есть?

— В семь часов вечера.

— А! в семь часов! И вы пришли проститься?

— Да, Ирина Павловна, проститься.

Ирина помолчала.

— Я должна благодарить вас, Григорий Михайлыч; вам, вероятно, нелегко было сюда прийти.

— Да, Ирина Павловна, очень нелегко.

— Жить вообще нелегко, Григорий Михайлыч; как вы полагаете?

— Как кому, Ирина Павловна.

Ирина опять помолчала, словно задумалась.

— Вы мне доказали вашу дружбу тем, что пришли,— промолвила она наконец.— Благодарю вас. И вообще я одобряю ваше намерение как можно поскорее всё покончить... потому что всякое замедление... потому что... потому что я, та самая я, которую вы упрекали в кокетстве, называли комедианткой — так, кажется, вы меня называли?..

Ирина быстро встала и, пересев на другое кресло, приникла и прижалась лицом и руками к краю стола...

— Потому что я люблю вас...— прошептала она сквозь стиснутые пальцы.

Литвинов пошатнулся, словно кто его в грудь ударил.

Ирина тоскливо повернула голову прочь от него, как бы желая в свою очередь спрятать от него свое лицо, и положила ее на стол.

— Да, я вас люблю... я люблю вас... и вы это знаете.

— Я? я это знаю? — проговорил наконец Литвинов.— Я?

— Ну, а теперь вы видите,— продолжала Ирина,— что вам точно надо уехать, что медлить нельзя... и вам и мне нельзя медлить. Это опасно, это страшно... Прощайте! — прибавила она, порывисто вставая с кресла,— прощайте.

Она сделала несколько шагов в направлении двери кабинета и, занеся руку за спину, торопливо повела ею по воздуху, как бы желая встретить и пожать руку Литвинова; но он стоял, как вкопанный, далеко... Она еще раз проговорила: «Прощайте, забудьте» — и, не оглядываясь, бросилась вон.

Литвинов остался один и всё еще не мог прийти в себя. Он опомнился наконец, проворно подошел к двери кабинета, произнес имя Ирины раз, два, три раза... Он уже

ухватился за замок... С крыльца гостиницы послышался звонкий голос Ратмирова.

Литвинов надвинул шляпу на глаза и вышел на лестницу. Изящный генерал стоял перед ложей швейцара и дурным немецким языком объяснял ему, что желает нанять карету на целый завтрашний день. Увидав Литвинова, он опять неестественно высоко приподнял шляпу и опять выразил ему свое «почитание»: он, очевидно, трунил над ним, но Литвинову было не до того. Он едва ответил на поклон Ратмирова и, добравшись до своей квартиры, остановился перед своим, уже уложенным и закрытым, чемоданом. Голова у него кружилась и сердце дрожало, как струна. Что было теперь делать? И мог ли он это предвидеть?

Да, он это предвидел, как оно ни казалось невероятным. Это оглушило его как громом, но он это предвидел, хоть и сознаться в том не смел. А впрочем, он ничего не знал наверное. Всё в нем перемешалось и спуталось; он потерял нить собственных мыслей. Вспомнил он Москву, вспомнил, как «оно» и тогда налетело внезапною бурей. Он задыхался: восторг, но восторг безотрадный и безнадежный, давил и рвал его грудь. Ни за что в свете он бы не согласился па то, чтобы слова, произнесенные Ириной, не были в действительности ею произнесены... Но что же? переменить принятое решение эти слова все-таки не могли. Оно по-прежнему не колебалось и стояло твердо, как брошенный якорь. Литвинов потерял нить своих мыслей... да; но воля его осталась при нем пока, и он распоряжался собою, как чужим подчиненным человеком. Он позвонил кельнера, велел подать себе счет, удержал место в вечернем омнибусе: он с намерением отрезывал себе все пути. «Там потом хоть умри,— твердил он, как в прошедшую, бессонную ночь; эта фраза ему особенно пришлась по вкусу.— Там потом хоть умри»,— повторял он, медленно расхаживая взад и вперед по комнате, и лишь изредка невольно закрывал глаза и переставал дышать, когда эти слова, эти слова Ирины вторгались ему в душу и жгли ее огнем. «Видно, два раза не полюбишь,— думал он,— вошла в тебя другая жизнь, впустил ты ее — не отделаешься ты от этого яда до конца, не разорвешь этих нитей! Так; но что ж это доказывает? Счастье... Разве оно возможно? Ты ее любишь, положим... и она.. она тебя любит...»

Но тут ему опять пришлось взять себя в руки. Как

путник в темную ночь, видя впереди огонек и боясь сбиться с дороги, ни на мгновение не спускает с него глаз, так и Литвинов постоянно устремлял всю силу своего внимания на одну точку, на одну цель. Явиться к своей невесте, и даже не собственно к невесте (он старался не думать о ней), а в комнату гейдельбергской гостиницы — вот что стояло перед ним незыблемо, путеводным огоньком. Что дальше будет, он не ведал, да и ведать не хотел... Одно было несомненно: назад он не вернется. «Там хоть умри»,— повторил он в десятый раз и взглянул на часы.

Четверть седьмого! Как долго еще приходилось ждать! Он снова зашагал взад и вперед. Солнце склонялось к закату, небо зарделось над деревьями, и алый полусвет ложился сквозь узкие окна в его потемневшую комнату. Вдруг Литвинову почудилось, как будто дверь растворилась за ним тихо и быстро, и так же быстро затворилась снова... Он обернулся; у двери, закутанная в черную мантилью, стояла женщина...

— Ирина! — воскликнул он и всплеснул руками...

Она подняла голову и упала к нему на грудь.

Два часа спустя он сидел у себя на диване. Чемодан стоял в углу, раскрытый и пустой, а на столе, посреди беспорядочно разбросанных вещей, лежало письмо от Татьяны, только что полученное Литвиновым. Она писала ему, что решилась ускорить свой отъезд из Дрездена, так как здоровье ее тетки совершенно поправилось, и что если никаких не встретится препятствий, они обе на следующий день к двенадцати часам прибудут в Баден и надеются, что он придет к ним навстречу на железную дорогу. Квартира для них была нанята Литвиновым в той самой гостинице, где он стоял.

В тот же вечер он послал записку к Ирине, а на следующее утро он получил от нее ответ. «Днем позже, днем раньше,— писала она,— это было неизбежно. А я повторяю тебе, что вчера сказала: жизнь моя в твоих руках, делай со мной что хочешь. Я не хочу стеснять твою свободу, но знай, что если нужно, я всё брошу и пойду за тобой на край земли. Мы ведь увидимся завтра? Твоя Ирина».

Последние два слова были написаны крупным и размашистым, решительным почерком.

XVIII

В числе лиц, собравшихся 18 августа к двенадцати часам на площадку железной дороги, находился и Литвинов. Незадолго перед тем он встретил Ирину: она сидела в открытой карете с своим мужем и другим уже пожилым господином. Она увидала Литвинова, и он это заметил: что-то темное пробежало по ее глазам, но она тотчас же закрылась от него зонтиком.

Странная перемена произошла в нем со вчерашнего дня — во всей его наружности, в движениях, в выражении лица; да и он сам чувствовал себя другим человеком. Самоуверенность исчезла, и спокойствие исчезло тоже, и уважение к себе; от прежнего душевного строя не осталось ничего. Недавние, неизгладимые впечатления заслонили собою всё остальное. Появилось какое-то небывалое ощущение, сильное, сладкое — и недоброе; таинственный гость забрался в святилище и овладел им, и улегся в нем, молчком, но во всю ширину, как хозяин на новоселье. Литвинов не стыдился более, он трусил — и в то же время отчаянная отвага в нем загоралась; взятым, побежденным знакома эта смесь противоположных чувств; не безызвестна она и вору после первой кражи. А Литвинов был побежден, побежден внезапно... и что сталось с его честностью?

Поезд опоздал несколькими минутами. Томление Литвинова перешло в мучительную тоску: он не мог устоять на месте и, весь бледный, терся и толпился между народом. «Боже мой,— думал он,— хоть бы еще сутки...» Первый взгляд на Таню, первый взгляд Тани... вот что его страшило, вот что надо было поскорей пережить... А после? А после — будь что будет!.. Он уже не принимал более никакого решения, он уже не отвечал за себя. Вчерашняя фраза болезненно мелькнула у него в голове... И вот как он встречает Таню!..

Продолжительный свист раздался наконец, послышался тяжелый, ежеминутно возраставший гул, и, медленно выкатываясь из-за поворота дороги, появился паровик. Толпа подалась ему навстречу, и Литвинов двинулся за нею, волоча ноги, как осужденный. Лица, дамские шляпки стали показываться из вагонов, в одном окошке замелькал белый платок... Капитолина Марковна им махала... Кончено: она увидела Литвинова, и он ее узнал. Поезд остановился. Литвинов бросился к дверцам, отворил их:

Татьяна стояла возле тетки и, светло улыбаясь, протягивала руку.

Он помог им обеим сойти, проговорил несколько приветных слов, недоконченных и неясных, и тотчас же засуетился, начал отбирать билеты, дорожные мешки, пледы, побежал отыскивать носильщика, подозвал карету; другие люди суетились вокруг него, и он радовался их присутствию, их шуму и крику. Татьяна отошла немного в сторону и, не переставая улыбаться, спокойно выжидала конца его торопливых распоряжений. Капитолина Марковна, напротив, не могла устоять на месте; ей всё не верилось, что она наконец попала в Баден. Она вдруг закричала: «А зонтики? Таня, где зонтики?» — не замечая, что она крепко держала их под мышкой; потом начала громко и продолжительно прощаться с другой дамой, с которой познакомилась во время переезда из Гейдельберга в Баден. Дама эта была не кто иная, как известная нам г-жа Суханчикова. Она отлучалась в Гейдельберг на поклонение Губареву и возвращалась с «инструкциями». На Капитолине Марковне была довольно странная пестрая мантилья и круглая дорожная шляпка в виде гриба, из-под которой в беспорядке выбивались стриженые белые волосы; небольшого роста, худощавая, она раскраснелась от дороги и говорила по-русски пронзительным певучим голосом... Ее тотчас заметили.

Литвинов усадил наконец ее и Татьяну в карету, и сам поместился против них. Лошади тронулись. Поднялись расспросы, возобновились пожатия рук, взаимные улыбки, приветы... Литвинов вздохнул свободно: первые мгновенья прошли благополучно. Ничего в нем, по-видимому, не поразило, не смутило Тани: она так же ясно и доверчиво смотрела, так же мило краснела, так же добродушно смеялась. Он наконец сам решился взглянуть, не вскользь и мельком, а прямо и пристально взглянуть на нее: до тех пор его собственные глаза ему не повиновались. Невольное умиление стиснуло его сердце: безмятежное выражение этого честного, открытого лица отдалось в нем горьким укором. «Вот — ты приехала сюда, бедная девушка,— думал он,— ты, которую я так ждал и звал, с которою я всю жизнь хотел пройти до конца, ты приехала, ты мне поверила... а я... а я...» Литвинов наклонил голову; но Капитолина Марковна не дала ему задуматься; она осыпала его вопросами.

— Это что за строение с колоннами? Где тут играют?

Это кто идет? Таня, Таня, посмотри, какие кринолины! А вот это кто? Здесь, должно быть, всё больше француженки из Парижа? Господи, что за шляпка? Здесь всё можно найти, как в Париже? Только, я воображаю, всё ужасно дорого? Ах, с какою отличною, умною женщиной я познакомилась! Вы ее знаете, Григорий Михайлыч; она мне сказала, что встретилась с вами у одного русского, тоже удивительно умного. Она обещалась навещать нас. Как она всех этих аристократов отделывает — просто чудо! Это что за господин с седыми усами? Прусский король? Таня, Таня, посмотри, это прусский король. Нет? не прусский король? Голландский посланник? Я не слышу, колеса так стучат. Ах, какие чудесные деревья!

— Да, тетя, чудесные,— подтвердила Таня,— и как всё здесь зелено, весело! Не правда ли, Григорий Михайлыч...

— Весело...— отвечал он сквозь зубы.

Карета остановилась наконец перед гостиницей. Литвинов проводил обеих путешественниц в удержанный для них нумер, обещал зайти через час и вернулся в свою комнату. Затихшее на миг очарование овладело им немедленно, как только он вступил в нее. Здесь, в этой комнате, со вчерашнего дня царствовала Ирина; всё говорило о ней, самый воздух, казалось, сохранил тайные следы ее посещения... Литвинов опять почувствовал себя ее рабом. Он выхватил ее платок, спрятанный у него на груди, прижался к нему губами, и тонким ядом разлились по его жилам знойные воспоминания. Он понял, что тут уже нет возврата, нет выбора; горестное умиление, возбужденное в нем Татьяной, растаяло, как снег на огне, и раскаяние замерло... замерло так, что даже волнение в нем угомонилось и возможность притворства, представившись его уму, не возмущала его... Любовь, любовь Ирины — вот что стало теперь его правдой, его законом, его совестью... Предусмотрительный, благоразумный Литвинов даже не помышлял о том, как ему выбраться из положения, ужас и безобразие которого он и чувствовал как-то легко и словно со стороны.

Часу еще не протекло, как уже явился к Литвинову кельнер от имени новоприезжих дам: они просили его пожаловать к ним в общую залу. Он отправился вслед за посланцем и нашел их уже одетыми и в шляпках. Обе изъявили желание тотчас пойти осматривать Баден, благо погода была прекрасная. Особенно Капитолина Марковна

так и горела нетерпением; она даже опечалилась немного, когда узнала, что час фешенебельного сборища перед Конверсационсгаузом еще не наступил. Литвинов взял ее под руку — и началась официальная прогулка. Татьяна шла рядом с теткой и с спокойным любопытством осматривалась кругом; Капитолина Марковна продолжала свои расспросы. Вид рулетки, осанистых крупиэ, которых она — встреть она их в другом месте — наверное, приняла бы за министров, вид их проворных лопаточек, золотых и серебряных кучек на зеленом сукне, игравших старух и расписных лореток привел Капитолину Марковну в состояние какого-то немотствующего исступления; она совсем позабыла, что ей следовало вознегодовать,— и только глядела, глядела во все глаза, изредка вздрагивая при каждом новом возгласе... Жужжание костяного шарика в углублении рулетки проникало ее до мозгу костей — и только очутившись на свежем воздухе, она нашла в себе довольно силы, чтобы, испустив глубокий вздох, назвать азартную игру безнравственною выдумкой аристократизма. На губах Литвинова появилась неподвижная, нехорошая улыбка; он говорил отрывисто и лениво, словно досадовал или скучал... Но вот он обернулся к Татьяне и втайне смутился: она глядела на него внимательно и с таким выражением, как будто сама себя спрашивала, какого рода впечатление возбуждалось в ней? Он поспешил кивнуть ей головой, она отвечала ему тем же и опять посмотрела на него вопросительно, не без некоторого напряжения, словно он стоял от нее гораздо дальше, чем то было на самом деле. Литвинов повел своих дам прочь от Конверсационсгауза и, минуя «русское дерево», под которым уже восседали две соотечественницы, направился к Лихтенталю. Не успел он вступить в аллею, как увидал издали Ирину.

Она шла к ним навстречу с своим мужем и Потугиным. Литвинов побледнел как полотно, однако не замедлил шагу и, поравнявшись с нею, отвесил безмолвный поклон. И она ему поклонилась любезно, но холодно и, быстро окинув глазами Татьяну, скользнула мимо... Ратмиров высоко приподнял шляпу, Потугин что-то промычал.

— Кто эта дама? — спросила вдруг Татьяна. Она до того мгновенья почти не раскрывала губ.

— Эта дама? — повторил Литвинов.— Эта дама?.. Это некая госпожа Ратмирова.

— Русская?

— Да.

— Вы с ней здесь познакомились?

— Нет; я ее давно знаю.

— Какая она красивая!

— Заметила ты ее туалет? — вмешалась Капитолина Марковна.— Десять семейств можно бы целый год прокормить на те деньги, которых стоят одни ее кружева! Это с ней шел ее муж? — обратилась она к Литвинову.

— Муж.

— Он, должно быть, ужасно богат?

— Право, не знаю; не думаю.

— А чин у него какой?

— Чин генеральский.

— Какие у нее глаза! — проговорила Татьяна.— И выражение в них какое странное: и задумчивое и проницательное... я таких глаз не видывала.

Литвинов ничего не отвечал; ему казалось, что он опять чувствует на лице своем вопрошающий взгляд Татьяны, но он ошибался: она глядела себе под ноги, на песок дорожки.

— Боже мой! Кто этот урод? — воскликнула вдруг Капитолина Марковна, указывая пальцем на низенький шарабан, в котором, нагло развалясь, лежала рыжая и курносая женщина в необыкновенно пышном наряде и лиловых чулках.

— Этот урод! Помилуйте, это известная мамзель Кора́.

— Кто?

— Мамзель Кора́... Парижская... знаменитость.

— Как? эта моська? Да ведь она пребезобразная?

— Видно, это не мешает.

Капитолина Марковна только руками развела.

— Ну ваш Баден! — промолвила она, наконец.— А можно тут на скамейке присесть? Я что-то устала.

— Конечно, можно, Капитолина Марковна... На то и скамейки поставлены.

— Да ведь господь вас знает! Вон, говорят, в Париже на бульварах тоже стоят скамейки, а сесть на них неприлично.

Литвинов ничего не возразил Капитолине Марковне; он только в это мгновенье сообразил, что в двух шагах оттуда находилось то самое место, где он имел с Ириной объяснение, которое всё решило. Потом он вспомнил, что он сегодня заметил у ней на щеке небольшое розовое пятно...

Капитолина Марковна опустилась на скамейку, Татьяна села возле нее. Литвинов остался на дорожке; между им и Татьяной — или это ему только чудилось? — совершалось что-то... бессознательно и постепенно.

— Ах, она шутовка, шутовка,— произнесла Капитолина Марковна, с сожалением покачивая головой.— Вот *ее* туалет продать, так не десять, а сто семейств прокормить можно. Видели вы, у ней под шляпкой, на рыжих-то на волосах, бриллианты? Это днем-то бриллианты, а?

— У ней волоса не рыжие,— заметил Литвинов,— она их красит в рыжий цвет, теперь это в моде.

Капитолина Марковна опять руками развела и даже задумалась.

— Ну,— проговорила она наконец,— у нас, в Дрездене, до такого скандала еще не дошло. Потому все-таки подальше от Парижа. Вы того же мнения, не правда ли, Григорий Михайлыч?

— Я? — отвечал Литвинов, а сам подумал: «О чем бишь это она?» — Я? Конечно... конечно...

Но тут послышались неторопливые шаги, и к скамейке приблизился Потугин.

— Здравствуйте, Григорий Михайлыч,— проговорил он, посмеиваясь и кивая головой.

Литвинов тотчас схватил его за руку.

— Здравствуйте, здравствуйте, Созонт Иваныч. Я, кажется, сейчас встретил вас с... вот сейчас, в аллее.

— Да, это был я.

Потугин почтительно поклонился сидевшим дамам.

— Позвольте вас представить, Созонт Иваныч. Мои хорошие знакомые, родственницы, только что приехали в Баден. Потугин, Созонт Иваныч, наш соотечественник, тоже баденский гость.

Обе дамы приподнялись немного. Потугин возобновил свои поклоны.

— Здесь настоящий раут,— начала тонким голоском Капитолина Марковна; добродушная старая девица легко робела, но пуще всего старалась не ударить в грязь лицом.— все считают приятным долгом побывать здесь.

— Баден точно приятное место,— ответил Потугин, искоса посматривая на Татьяну,— очень приятное место Баден.

— Да; только уж слишком аристократично, сколько я могу судить. Вот мы с ней жили в Дрездене всё это

время... очень интересный город; но здесь решительно раут.

«Понравилось словцо»,— подумал Потугин.— Это вы совершенно справедливо изволили заметить,— произнес он громко,— зато природа здесь удивительная и местоположение такое, какое редко можно найти. Ваша спутница в особенности должна это оценить. Не правда ли, сударыня? — прибавил он, обращаясь на этот раз прямо к Татьяне.

Татьяна подняла на Потугина свои большие ясные глаза. Казалось, она недоумевала, чего хотят от нее, и зачем Литвинов познакомил ее, в первый же день приезда, с этим неизвестным человеком, у которого, впрочем, умное и доброе лицо и который глядит на нее приветливо и дружелюбно.

— Да,— промолвила она наконец,— здесь очень хорошо.

— Вам надобно посетить Старый замок,— продолжал Потугин,— в особенности советую вам съездить в Ибург.

— Саксонская Швейцария,— начала было Капитолина Марковна...

Взрыв трубных звуков прокатился по аллее: это военный прусский оркестр из Раштадта (в 1862 году Раштадт был еще союзною крепостью) начинал свой еженедельный концерт в павильоне. Капитолина Марковна тотчас встала.

— Музыка! — промолвила она.— Музыка à la Conversation!.. Надо туда идти. Ведь теперь четвертый час, не правда ли? Общество теперь собирается?

— Да,— отвечал Потугин,— теперь самый для общества модный час, и музыка прекрасная.

— Ну, так мешкать нечего. Таня, пойдем.

— Вы позволите сопровождать вас? — спросил Потугин, к немалому удивлению Литвинова: ему и в голову прийти не могло, что Потугина прислала Ирина. Капитолина Марковна осклабилась.

— С великим удовольствием, мсьё... мсьё...

— Потугин,— подсказал тот и предложил ей руку. Литвинов подал свою Татьяне, и обе четы направились к Конверсационсгаузу.

Потугин продолжал рассуждать с Капитолиной Марковной. Но Литвинов шел, ни слова не говоря, и только раза два безо всякого повода усмехнулся и слабо прижал к себе руку Татьяны. Ложь была в этих пожатиях, на которые она не отвечала, и Литвинов сознавал эту ложь.

Не взаимное удостоверение в тесном союзе двух отдавшихся друг другу душ выражали они, как бывало; они заменяли — пока — слова, которых он не находил. То безмолвное, что началось между ими обоими, росло и утверждалось. Татьяна опять внимательно, почти пристально посмотрела на него.

То же самое продолжалось и перед Конверсационсгаузом, за столиком, около которого они уселись все четверо, с тою только разницей, что при суетливом шуме толпы, при громе и треске музыки молчание Литвинова казалось более понятным. Капитолина Марковна пришла, как говорится, в совершенный азарт; Потугин едва успевал поддакивать ей, удовлетворять ее любопытству. На его счастье, в массе проходивших лиц внезапно появилась худощавая фигура Суханчиковой и блеснули ее вечно прыгающие глаза. Капитолина Марковна тотчас ее признала, подозвала ее к своему столику, усадила ее — и поднялась словесная буря.

Потугин обратился к Татьяне и начал беседовать с нею тихим и мягким голосом, с ласковым выражением на слегка наклоненном лице; и она, к собственному изумлению, отвечала ему легко и свободно; ей было приятно говорить с этим чужим, с незнакомцем, между тем как Литвинов по-прежнему сидел неподвижно, с тою же неподвижной и нехорошей улыбкой на губах.

Наступило наконец время обеда. Музыка умолкла, толпа стала редеть. Капитолина Марковна сочувственно простилась с Суханчиковой. Великое она к ней возымела уважение, хоть и говорила потом своей племяннице, что уж очень озлоблена эта особа; но зато всё про всех ведает! А швейные машины действительно надо завести, как только отпразднуется свадьба. Потугин раскланялся; Литвинов повел своих дам домой. При входе в гостиницу ему вручили записку: он отошел в сторону и торопливо сорвал куверт. На небольшом клочке веленевой бумажки стояли следующие, карандашом начертанные слова: «Приходите сегодня вечером в семь часов ко мне на одну минуту, умоляю вас. Ирина». Литвинов сунул бумажку в карман и, обернувшись, усмехнулся опять... кому? зачем? Татьяна спиной к нему стояла. Обед происходил за общим столом. Литвинов сидел между Капитолиной Марковной и Татьяной и, как-то странно оживившись, разговаривал, рассказывал анекдоты, наливал вина себе и дамам. Он так развязно держал себя, что сидевший напротив французский

пехотный офицер из Страсбурга, с эспаньолкой и усами à la Napoléon III[1], нашел возможным вмешаться в разговор и даже кончил тостом à la santé des belles moscovites![2] После обеда Литвинов проводил обеих дам в их комнату и, постояв немного у окна и насупившись, внезапно объявил, что должен отлучиться на короткое время по делу, но вернется к вечеру непременно. Татьяна ничего не сказала, побледнела и опустила глаза. Капитолина Марковна имела привычку спать после обеда; Татьяне было известно, что Литвинов знал эту привычку за ее теткой: она ожидала, что он этим воспользуется, что он останется, так как он с самого приезда еще не был наедине с нею, не поговорил с ней откровенно. И вот он уходит! Как это понять? И вообще всё его поведение в течение дня...

Литвинов поспешил удалиться, не дожидаясь возражений; Капитолина Марковна легла на диван и, поохавши и вздохнувши раза два, заснула безмятежным сном, а Татьяна отошла в угол и села на кресло, крепко скрестив на груди руки.

XIX

Литвинов проворно всходил по лестнице Hôtel de l'Europe... Девочка лет тринадцати, с калмыцким лукавым личиком, которая, по-видимому, его караулила, остановила его, сказавши ему по-русски: «Пожалуйте сюда; Ирина Павловна сейчас придут». Он посмотрел на нее с недоумением. Она улыбнулась, повторила: «Пожалуйте, пожалуйте»,— и ввела его в небольшую комнату, находившуюся напротив Ирининой спальни и наполненную дорожными сундуками и чемоданами, а сама тотчас исчезла, легохонько притворивши дверь. Не успел Литвинов оглянуться, как та же дверь быстро распахнулась и в розовом бальном платье, с жемчугом в волосах и на шее, появилась Ирина. Она так и бросилась к нему, схватила его за обе руки и несколько мгновений оставалась безмолвной; глаза ее сияли и грудь поднималась, словно она взбежала на высоту.

— Я не могла принять... вас там,— начала она торопливым шёпотом,— мы сейчас едем на званый обед, но я

---

[1] как у Наполеона III *(франц.)*.
[2] за здоровье прекрасных москвитянок! *(франц.)*.

непременно хотела вас видеть... Ведь это ваша невеста была, с которой я вас встретила сегодня?

— Да, это была моя невеста,— проговорил Литвинов, упирая на слове «была».

— Так вот я хотела увидать вас на одну минуту, чтобы сказать вам, что вы должны считать себя совершенно свободным, что всё то, что произошло вчера, не должно нисколько менять ваши решения...

— Ирина! — воскликнул Литвинов,— зачем ты это говоришь?

Он произнес эти слова громким голосом... Беззаветная страсть прозвучала в них. Ирина на миг невольно закрыла глаза.

— О, мой милый! — продолжала она шёпотом еще более тихим, но с увлечением неудержимым,— ты не знаешь, как я тебя люблю, но вчера я только долг свой заплатила, я загладила прошедшую вину... Ах! я не могла отдать тебе мою молодость, как бы я хотела, но никаких обязанностей я не наложила на тебя, ни от какого обещания я не разрешила тебя, мой милый! Делай что хочешь, ты свободен как воздух, ты ничем не связан, знай это, знай!

— Но я не могу жить без тебя, Ирина,— перебил ее уже шёпотом Литвинов,— я твой навек и навсегда со вчерашнего дня... Только у ног твоих могу я дышать...

Он трепетно припал к ее рукам. Ирина посмотрела на его наклоненную голову.

— Ну так знай же,— промолвила она,— что и я на всё готова, что и я не пожалею никого и ничего. Как ты решишь, так и будет. Я тоже навек твоя... твоя.

Кто-то осторожно постучался в дверь. Ирина нагнулась, еще раз шепнула: «Твоя... прощай!» — Литвинов почувствовал на волосах своих ее дыхание, прикосновение ее губ. Когда он выпрямился, ее уже не было в комнате, только платье ее прошумело в коридоре и издали послышался голос Ратмирова: «Eh bien! Vous ne venez pas?»[1]

Литвинов присел на высокий сундук и закрыл себе лицо. Женский запах, тонкий и свежий, повеял на него... Ирина держала его руки в своих руках. «Это слишком... слишком»,— думалось ему. Девочка вошла в комнату и, снова улыбнувшись в ответ на его тревожный взгляд, промолвила:

---

[1] «Ну что же! Вы не идете?» *(франц.)*.

— Извольте идти-с, пока...

Он встал и вышел из гостиницы. Нечего было и думать тотчас возвратиться домой: надо было остепениться. Сердце в нем билось протяжно и неровно; земля, казалось, слабо двигалась под ногами. Литвинов опять отправился по Лихтенталевской аллее. Он понимал, что наступало мгновенье решительное, что откладывать дальше, скрываться, отворачиваться — становилось невозможным, что объяснение с Татьяной неизбежно; он представлял, как она там сидит и не шевелится и ждет его... он предчувствовал, что он ей скажет; но как приступить, как начать? Он махнул рукой на всё свое правильное, благоустроенное, добропорядочное будущее: он знал, что он бросается очертя голову в омут, куда и заглядывать не следовало... Но не это его смущало. То дело было поконченное, а как предстать перед своего судью? И хоть бы точно судья его встретил — ангел с пламенным мечом: легче было бы преступному сердцу... а то еще самому придется нож вонзать... Безобразно! А вернуться назад, отказаться от того, другого, воспользоваться свободой, которую ему сулят, которую признают за ним... Нет! лучше умереть! Нет, не надо той постылой свободы... а низвергнуться в прах, и чтобы те глаза с любовию склонились...

— Григорий Михайлыч! — промолвил чей-то печальный голос, и чья-то рука тяжело легла на Литвинова.

Он оглянулся не без испуга и узнал Потугина.

— Извините меня, Григорий Михайлыч,— начал тот с обычной своей ужимкой,— я, может быть, вас обеспокоил, но, увидав вас издали, я подумал... Впрочем, если вам не до меня...

— Напротив, я очень рад,— процедил сквозь зубы Литвинов.

Потугин пошел с ним рядом.

— Прекрасный вечер,— начал он,— так тепло! Вы давно гуляете?

— Нет, недавно.

— Да что же я спрашиваю; я видел, как вы шли из Hôtel de l'Europe.

— Так вы за мной шли следом?

— Да.

— Вы имеете мне что сказать?

— Да,— чуть слышно повторил Потугин.

Литвинов остановился и посмотрел на своего непрошенного собеседника. Лицо его было бледно, глаза блуж-

дали; давнишнее, старое горе, казалось, выступило на его искаженных чертах.

— Что же собственно такое вы хотите мне сказать? — медленно проговорил Литвинов и опять двинулся вперед.

— А вот позвольте... сейчас. Если вам всё равно — присядемте вот тут на скамеечку. Здесь будет удобнее.

— Да это что-то таинственное,— промолвил Литвинов, садясь возле него.— Вам словно не по себе, Созонт Иваныч.

— Нет, мне ничего; и таинственного тоже ничего нет. Я собственно хотел вам сообщить... то впечатление, которое произвела на меня ваша невеста... ведь она, кажется, ваша невеста?.. ну, словом, та девица, с которой вы меня сегодня познакомили. Я должен сказать, что я в течение всей своей жизни не встречал существа более симпатичного. Это золотое сердце, истинно ангельская душа.

Потугин произнес все эти слова с тем же горьким и скорбным видом, так что даже Литвинов не мог не заметить странного противоречия между выражением его лица и его речами.

— Вы совершенно справедливо оценили Татьяну Петровну,— начал Литвинов,— хотя мне приходится удивляться, во-первых, тому, что вам известны мои отношения к ней, а во-вторых, и тому, как скоро вы ее разгадали. У ней точно ангельская душа; но позвольте узнать, вы об этом хотели со мной беседовать?

— Ее нельзя не разгадать тотчас,— подхватил Потугин, как бы уклоняясь от последнего вопроса,— стоит ей раз заглянуть в глаза. Она заслуживает всевозможного счастья на земле, и завидна доля того человека, которому придется доставить ей это счастье! Нужно желать, чтоб он оказался достойным подобной доли.

Литвинов нахмурился слегка.

— Позвольте, Созонт Иваныч,— промолвил он,— я, признаюсь, нахожу наш разговор вообще довольно оригинальным... Я хотел бы знать: намек, который содержит ваши слова, относится ко мне?

Потугин не тотчас отвечал Литвинову: он, видимо, боролся сам с собою.

— Григорий Михайлыч,— начал он наконец,— или я совершенно ошибся в вас, или вы в состоянии выслушать правду, от кого бы она ни шла и под какой бы невзрачной оболочкой она ни явилась. Я сейчас сказал вам, что видел, откуда вы шли.

— Ну да, из Hôtel de l'Europe. Что же из того?
— Ведь я знаю, с кем вы там виделись!
— Как?
— Вы виделись с госпожой Ратмировой.
— Ну да, я был у ней. Что же далее?
— Что далее?.. Вы, жених Татьяны Петровны, вы виделись с госпожою Ратмировой, которую вы любите... и которая любит вас.

Литвинов мгновенно приподнялся со скамейки; кровь ударила ему в голову.

— Что это? — промолвил он наконец озлобленным, сдавленным голосом,— плоская шутка, шпионство? Извольте объясниться.

Потугин бросил на него унылый взгляд.

— Ах! не оскорбляйтесь моими словами, Григорий Михайлыч; меня же вы оскорбить не можете. Не для того заговорил я с вами, и не до шуток мне теперь.

— Может быть, может быть. Я готов верить в чистоту ваших намерений; но я все-таки позволю себе спросить вас, с какого права вы вмешиваетесь в домашние дела, в сердечную жизнь чужого человека и на каком основании вы вашу... выдумку так самоуверенно выдаете за правду?

— Мою выдумку! Если б я это выдумал, вы бы не рассердились! А что до права, то я еще не слыхивал, чтобы человек поставил себе вопрос: имеет ли он право, или нет протянуть руку утопающему.

— Покорно благодарю за заботливость,— подхватил запальчиво Литвинов,— только я вовсе не нуждаюсь в ней, и все эти фразы о гибели, уготовляемой светскими дамами неопытным юношам, о безнравственности высшего света и так далее считаю именно за фразы и даже в некотором смысле презираю их; а потому прошу вас не утруждать своей спасительной десницы и преспокойно позволить мне утонуть.

Потугин опять поднял глаза на Литвинова. Он трудно дышал, губы его подергивало.

— Да посмотрите вы на меня, молодой человек,— вырвалось у него наконец, и он стукнул себя в грудь,— неужели я похож на дюжинного, самодовольного моралиста, на проповедника? Разве вы не понимаете, что из одного участия к вам, как бы сильно оно ни было, я бы слова не проронил, не дал бы вам права упрекнуть меня в том, что пуще всего мне ненавистно,— в нескромности, в на-

зойливости? Разве вы не видите, что тут дело совсем другого рода, что перед вами человек разбитый, разрушенный, окончательно уничтоженный тем самым чувством, от последствий которого он желал бы предохранить вас, и... и к той же самой женщине!

Литвинов отступил шаг назад.

— Возможно ли! что вы сказали?.. Вы... вы... Созонт Иваныч? Но госпожа Вельская... этот ребенок...

— Ах, не расспрашивайте меня... верьте мне! То темная, страшная история, которую я вам рассказывать не стану. Госпожу Вельскую я почти не знал, ребенок этот не мой, а взял я всё на себя... потому... потому что *она* того хотела, потому что *ей* это было нужно. Зачем бы я находился здесь, в вашем противном Бадене? И, наконец, неужели вы полагаете, неужели вы на одну минуту могли вообразить, что я из сочувствия к вам решился предостеречь вас? Мне жаль той доброй, хорошей девушки, вашей невесты, а впрочем, какое мне дело до вашей будущности, до вас обоих?.. Но я за нее боюсь... за нее.

— Много чести, господин Потугин,— начал Литвинов,— но так как мы, по вашим словам, находимся оба в одинаковом положении, то почему же вы самому себе не читаете подобных наставлений, и не должен ли я приписать ваши опасения другому чувству?

— То есть ревности, хотите вы сказать? Эх, молодой человек, молодой человек, стыдно вам финтить и лукавить, стыдно не понять, какое горькое горе говорит теперь моими устами. Нет, не в одинаковом мы положении с вами! Я, я, старый, смешной, вполне безвредный чудак... а вы! Да что тут толковать! Вы ни на одну секунду не согласились бы принять на себя ту роль, которую я разыгрываю, и разыгрываю с благодарностью! А ревность? Не ревнует тот, у кого нет хоть бы капли надежды, и не теперь бы мне пришлось испытать это чувство впервые. Мне только страшно... страшно за нее, поймите вы это. И мог ли я ожидать, когда она посылала меня к вам, что чувство вины, которую она признавала за собою, так далеко ее завлечет?

— Но позвольте, Созонт Иваныч, вы как будто знаете...

— Я ничего не знаю и знаю всё. Я знаю,— прибавил он и отвернулся,— я знаю, где она была вчера. Но ее не удержать теперь: она, как брошенный камень, должна докатиться до дна. Я был бы еще большим безумцем, если бы вообразил, что слова мои тотчас удержат вас... вас, которому такая женщина... Но полно об этом. Я не мог

переломить себя, вот всё мое извинение. Да и, наконец, как знать и почему не попытаться? Может быть, вы одумаетесь; может быть, какое-нибудь мое слово западет вам в душу, вы не захотите погубить и ее, и себя, и то невинное, прекрасное существо... Ах! не сердитесь, не топайте ногой! Чего мне бояться, чего церемониться? Не ревность говорит во мне теперь, не досада... Я готов упасть к вашим ногам, умолять вас... А впрочем, прощайте. Не бойтесь, всё это останется в тайне. Я желал вам добра.

Потугин зашагал по аллее и скоро исчез в уже надвигавшемся мраке... Литвинов его не удерживал.

«Страшная, темная история...» — говорил Потугин Литвинову и не хотел ее рассказывать... Коснемся и мы ее всего двумя словами.

Лет за восемь перед тем ему пришлось быть временно прикомандированным от своего министерства к графу Рейзенбаху. Дело происходило летом. Потугин ездил к нему на дачу с бумагами и проводил там целые дни. Ирина жила тогда у графа. Она никогда не гнушалась людей, низко поставленных, по крайней мере не чуждалась их, и графиня не раз пеняла ей за ее излишнюю, московскую фамильярность. Ирина скоро отгадала умного человека в этом скромном чиновнике, облеченном в мундирный, доверху застегнутый фрак. Она часто и охотно беседовала с ним... а он... он полюбил ее страстно, глубоко, тайно... Тайно! *Он* так думал. Прошло лето; граф перестал нуждаться в постороннем помощнике. Потугин потерял Ирину из виду, но забыть ее не мог. Года три спустя он совершенно неожиданно получил приглашение от одной мало знакомой ему дамы средней руки. Дама эта сперва немного затруднилась высказаться, но, взяв с него клятву сохранить всё, что он услышит, в величайшем секрете, предложила ему... жениться на одной девице, которая занимала видное положение в свете и для которой свадьба стала необходимостью. На главное лицо дама едва решилась намекнуть и тут же обещала Потугину денег... много денег. Потугин не оскорбился, удивление заглушило в нем чувство гнева, но, разумеется, отказался наотрез. Тогда дама вручила ему записку к нему — от Ирины. «Вы благородный, добрый человек,— писала она,— и я знаю, вы для меня всё сделаете; я прошу у вас этой жертвы. Вы спасете существо, мне дорогое. Спасая ее, вы спасете и меня... Не спрашивайте — как. Я ни к кому не решилась бы обратиться с подобною просьбой, но к вам я протяги-

ваю руки и говорю вам: сделайте это для меня». Потугин задумался и сказал, что для Ирины Павловны он точно готов сделать многое, но хотел бы услышать ее желание из ее же уст. Свидание состоялось в тот же вечер; оно продолжалось недолго, и никто не знал о нем, кроме той дамы. Ирина не жила уже у графа Рейзенбаха.

— Почему вы вспомнили именно обо мне? — спросил ее Потугин.

Она начала было распространяться об его хороших качествах, да вдруг остановилась...

— Нет,— промолвила она,— вам надобно правду говорить. Я знала, я знаю, что вы меня любите, вот отчего я решилась... И тут же рассказала ему всё.

Элиза Бельская была сирота; родственники ее не любили и рассчитывали на ее наследство... Ей предстояла гибель. Спасая ее, Ирина действительно оказывала услугу тому, кто был всему причиной и кто сам теперь стал весьма близок к ней, к Ирине... Потугин молча, долго посмотрел на Ирину — и согласился. Она заплакала и вся в слезах бросилась ему на шею. И он заплакал... но различны были их слезы. Уже всё приготовлялось к тайному браку, мощная рука устранила все препятствия... Но случилась болезнь... а там родилась дочь, а там мать... отравилась. Что было делать с ребенком? Потугин взял его на свое попечение из тех же рук, из рук Ирины.

Страшная, темная история... Мимо, читатель, мимо!

Больше часу прошло еще, прежде чем Литвинов решился вернуться в свою гостиницу. Он уже приближался к ней, как вдруг услышал шаги за собой. Казалось, кто-то упорно следил за ним и шел скорее, когда он прибавлял шагу. Подойдя под фонарь, Литвинов оглянулся и узнал генерала Ратмирова. В белом галстухе, в щегольском пальто нараспашку, с вереницей звездочек и крестиков на золотой цепочке в петле фрака, генерал возвращался с обеда, один. Взгляд его, прямо и дерзко устремленный на Литвинова, выражал такое презрение и такую ненависть, вся его фигура дышала таким настойчивым вызовом, что Литвинов почел своею обязанностью пойти, скрепя сердце, ему навстречу, пойти на «историю». Но, поравнявшись с Литвиновым, лицо генерала мгновенно изменилось: опять появилось на нем обычное игривое изящество, и рука в светло-лиловой перчатке высоко приподняла вылощенную шляпу. Литвинов молча снял свою, и каждый пошел своею дорогой.

«Верно, заметил что-нибудь!» — подумал Литвинов.

«Хоть бы... другой кто-нибудь!»— подумал генерал.

Татьяна играла в пикет с своею теткой, когда Литвинов вошел к ним в комнату.

— Однако хорош ты, мой батюшка! — воскликнула Капитолина Марковна и бросила карты на стол.— В первый же день, да на целый вечер пропал! Уж мы ждали вас, ждали, бранили, бранили...

— Я, тетя, ничего не говорила,— заметила Татьяна.

— Ну, ты известная смиренница! Стыдитесь, милостивый государь! Еще жених!

Литвинов кое-как извинился и подсел к столу.

— Зачем же вы перестали играть? — спросил он после небольшого молчания.

— Вот тебе на! Мы с ней в карты от скуки играем, когда делать нечего... а теперь вы пришли.

— Если вам угодно послушать вечернюю музыку,— промолвил Литвинов,— я с великою охотой провожу вас.

Капитолина Марковна посмотрела на свою племянницу.

— Пойдемте, тетя, я готова,— сказала та,— но не лучше ли остаться дома?

— И то дело! Будемте чай пить, по-нашему, по-московскому, с самоваром; да поболтаемте хорошенько. Мы еще не покалякали как следует.

Литвинов велел принести чаю, но поболтать хорошенько не удалось. Он чувствовал постоянное угрызение совести; что бы он ни говорил, ему всё казалось, что он лжет и что Татьяна догадывается. А между тем в ней не замечалось перемены; она так же непринужденно держалась... только взор ее ни разу не останавливался на Литвинове, а как-то снисходительно и пугливо скользил по нем — и бледнее она была обыкновенного.

Капитолина Марковна спросила ее, не болит ли у ней голова?

Татьяна хотела было сперва отвечать, что нет, но, одумавшись, сказала: «Да, немножко».

— С дороги,— промолвил Литвинов и даже покраснел от стыда.

— С дороги,— повторила Татьяна, и взор ее опять скользнул по нем.

— Надо тебе отдохнуть, Танечка.

— Я и так скоро спать лягу, тетя.

На столе лежал «Guide des Voyageurs»[1]; Литвинов принялся читать вслух описание баденских окрестностей.

— Всё это так,— перебила его Капитолина Марковна,— но вот что не надо забыть. Говорят, здесь полотно очень дешево, так вот бы купить для приданого.

Татьяна опустила глаза.

— Успеем, тетя. Вы о себе никогда не думаете, а вам непременно надо сшить себе платье. Видите, какие здесь все ходят нарядные.

— Э, душа моя! к чему это? Что я за щеголиха! Добро бы я была такая красивая, как эта ваша знакомая, Григорий Михайлыч, как бишь ее?

— Какая знакомая?

— Да вот, что мы встретили сегодня.

— А, та! — с притворным равнодушием проговорил Литвинов, и опять гадко и стыдно стало ему. «Нет! — подумал он,— этак продолжать невозможно».

Он сидел подле своей невесты, а в нескольких вершках расстояния от нее, в боковом его кармане, находился платок Ирины.

Капитолина Марковна вышла на минуту в другую комнату.

— Таня...— сказал с усилием Литвинов. Он в первый раз в тот день назвал ее этим именем.

Она обернулась к нему.

— Я... я имею сказать вам нечто очень важное.

— А! В самом деле? Когда? Сейчас?

— Нет, завтра.

— А! завтра. Ну, хорошо.

Бесконечная жалость мгновенно наполнила душу Литвинова. Он взял руку Татьяны и поцеловал ее смиренно, как виноватый; сердце в ней тихонько сжалось, и не порадовал ее этот поцелуй.

Ночью, часу во втором, Капитолина Марковна, которая спала в одной комнате с своей племянницей, вдруг приподняла голову и прислушалась.

— Таня! — промолвила она.— ты плачешь?

Татьяна не тотчас отвечала.

— Нет, тетя,— послышался ее кроткий голосок,— у меня насморк.

---

[1] «Путеводитель» *(франц.)*.

XX

«Зачем я это ей сказал?» — думал на следующее утро Литвинов, сидя у себя в комнате, перед окном. Он с досадой пожал плечами: он именно для того и сказал это Татьяне, чтоб отрезать себе всякое отступление. На окне лежала записка от Ирины: она звала его к себе к двенадцати часам. Слова Потугина беспрестанно приходили ему на память; они проносились зловещим, хотя слабым, как бы подземным гулом; он сердился и никак не мог отделаться от них. Кто-то постучался в дверь.

— Wer da?[1] — спросил Литвинов.

— А! вы дома! Отоприте! — раздался хриплый бас Биндасова.

Ручка замка затрещала.

Литвинов побледнел со злости.

— Нет меня дома,— промолвил он резко.

— Как нет дома? Это еще что за штука?

— Говорят вам — нет дома; убирайтесь.

— Вот это мило! А я пришел было денежек попризанять,— проворчал Биндасов.

Однако он удалился, стуча по обыкновению каблуками.

Литвинов чуть не выскочил ему вслед: до того захотелось ему намять шею противному наглецу. События последних дней расстроили его нервы: еще немного — и он бы заплакал. Он выпил стакан холодной воды, запер, сам не зная зачем, все ящики в мебелях и пошел к Татьяне.

Он застал ее одну. Капитолина Марковна отправилась по магазинам за покупками. Татьяна сидела на диване и держала обеими руками книжку: она ее не читала и едва ли даже знала, что это была за книжка. Она не шевелилась, но сердце сильно билось в ее груди и белый воротничок вокруг ее шеи вздрагивал заметно и мерно.

Литвинов смутился... однако сел возле нее, поздоровался, улыбнулся; и она безмолвно ему улыбнулась. Она поклонилась ему, когда он вошел, поклонилась вежливо, не по-дружески — и не взглянула на него. Он протянул ей руку; она подала ему свои похолодевшие пальцы, тотчас высвободила их и снова взялась за книжку. Литвинов чувствовал, что начать беседу с предметов маловажных значило оскорбить Татьяну; она, по обыкновению,

[1] Кто там? *(нем.)*.

ничего не требовала, но всё в ней говорило: «Я жду, я жду...» Надо было исполнить обещание. Но он — хотя почти всю ночь ни о чем другом не думал,— он не приготовил даже первых, вступительных слов и решительно не знал, каким образом перервать это жестокое молчание.

— Таня,— начал он наконец,— я сказал вам вчера, что имею сообщить вам нечто важное (он в Дрездене наедине с нею начинал говорить ей «ты», но теперь об этом и думать было нечего). Я готов, только прошу вас заранее не сетовать на меня и быть уверенной, что мои чувства к вам...

Он остановился. Ему дух захватило. Татьяна всё не шевелилась и не глядела на него, только крепче прежнего стискивала книгу.

— Между нами,— продолжал Литвинов, не докончив начатой речи,— между нами всегда была полная откровенность; я слишком уважаю вас, чтобы лукавить с вами; я хочу доказать вам, что умею ценить возвышенность и свободу вашей души, и хотя я... хотя, конечно...

— Григорий Михайлыч,— начала Татьяна ровным голосом, и всё лицо ее покрылось мертвенною бледностью,— я приду вам на помощь: вы разлюбили меня и не знаете, как мне это сказать.

Литвинов невольно вздрогнул.

— Почему же?..— проговорил он едва внятно.— Почему вы могли подумать?.. Я, право, не понимаю...

— Что же, не правда это? Не правда это, скажите? скажите?

Татьяна повернулась к Литвинову всем телом; лицо ее с отброшенными назад волосами приблизилось к его лицу, и глаза ее, так долго на него не глядевшие, так и впились в его глаза.

— Не правда это? — повторила она.

Он ничего не сказал, не произнес ни одного звука. Он бы не мог солгать в это мгновение, если бы даже знал, что она ему поверит и что его ложь спасет ее; он даже взор ее вынести был не в силах. Литвинов ничего не сказал, но она уже не нуждалась в ответе; она прочла этот ответ в самом его молчании, в этих виноватых, потупленных глазах — и откинулась назад и уронила книгу... Она еще сомневалась до того мгновенья, и Литвинов это понял; он понял, что она еще сомневалась — и как безо-

бразно, действительно безобразно было всё, что он сделал!

Он бросился перед нею на колени.

— Таня,— воскликнул он,— если бы ты знала, как мне тяжело видеть тебя в этом положении, как ужасно мне думать, что это я... я! У меня сердце растерзано; я сам себя не узнаю; я потерял себя, и тебя, и всё... Всё разрушено, Таня, всё! Мог ли я ожидать, что я... я нанесу такой удар тебе, моему лучшему другу, моему ангелу-хранителю!.. Мог ли я ожидать, что мы так с тобой увидимся, такой проведем день, каков был вчерашний!..

Татьяна хотела было встать и удалиться. Он удержал ее за край ее одежды.

— Нет, выслушай меня еще минуту. Ты видишь, я перед тобою на коленях, но не прощения пришел я просить — ты не можешь и не должна простить меня,— я пришел тебе сказать, что друг твой погиб, что он падает в бездну и не хочет увлекать тебя с собою... А спасти меня... нет! даже ты не можешь спасти меня. Я сам бы оттолкнул тебя... Я погиб, Таня, я безвозвратно погиб!

Татьяна посмотрела на Литвинова.

— Вы погибли? — проговорила она, как бы не вполне его понимая.— Вы погибли?

— Да, Таня, я погиб. Всё прежнее, всё дорогое, всё, чем я доселе жил,— погибло для меня; всё разрушено, всё порвано, и я не знаю, что меня ожидает впереди. Ты сейчас мне сказала, что я разлюбил тебя... Нет, Таня, я не разлюбил тебя, но другое, страшное, неотразимое чувство налетело, нахлынуло на меня. Я противился, пока мог.

Татьяна встала; ее брови сдвинулись; бледное лицо потемнело. Литвинов тоже поднялся.

— Вы полюбили другую женщину,— начала она,— и я догадываюсь, кто она... Мы с ней вчера встретились, не правда ли?.. Что ж! Я знаю, что мне теперь остается делать. Так как вы сами говорите, что это чувство в вас неизменно... (Татьяна остановилась на миг; быть может, она еще надеялась, что Литвинов не пропустит этого последнего слова без возражения, но он ничего не сказал), то мне остается возвратить вам... ваше слово.

Литвинов наклонил голову, как бы с покорностью принимая заслуженный удар.

— Вы имеете право негодовать на меня,— промол-

вил он,— вы имеете полное право упрекать меня в малодушии... в обмане.

Татьяна снова посмотрела на него.

— Я не упрекала вас, Литвинов, я не обвиняю вас. Я с вами согласна: самая горькая правда лучше того, что происходило вчера. Что за жизнь теперь была бы наша!

«Что за жизнь будет моя теперь!» — скорбно отозвалось в душе Литвинова.

Татьяна приблизилась к двери спальни.

— Я вас прошу оставить меня одну на несколько времени, Григорий Михайлыч,— мы еще увидимся, мы еще потолкуем. Всё это было так неожиданно. Мне надо немного собраться с силами... оставьте меня... пощадите мою гордость. Мы еще увидимся.

И, сказав эти слова, Татьяна проворно удалилась и заперла за собою дверь на ключ.

Литвинов вышел на улицу, как отуманенный, как оглушенный; что-то темное и тяжелое внедрилось в самую глубь его сердца; подобное ощущение должен испытать человек, зарезавший другого, и между тем легко ему становилось, как будто он сбросил, наконец, ненавистную ношу. Великодушие Татьяны его уничтожило, он живо чувствовал всё, что он терял... И что же? К раскаянию его примешивалась досада; он стремился к Ирине как к единственно оставшемуся убежищу — и злился на нее. С некоторых пор и с каждым днем чувства Литвинова становились всё сложнее и запутаннее; эта путаница мучила, раздражала его, он терялся в этом хаосе. Он жаждал одного: выйти наконец на дорогу, на какую бы то ни было, лишь бы не кружиться более в этой бестолковой полутьме. Людям положительным, вроде Литвинова, не следовало бы увлекаться страстью; она нарушает самый смысл их жизни... Но природа не справляется с логикой, с нашей человеческою логикой; у ней есть своя, которую мы не понимаем и не признаем до тех пор, пока она нас, как колесом, не переедет.

Расставшись с Татьяной, Литвинов держал одно в уме: увидеться с Ириной; он и отправился к ней. Но генерал был дома, так по крайней мере сказал ему швейцар, и он не захотел войти, он не чувствовал себя в состоянии притвориться и поплелся к Конверсационсгаузу. Неспособность Литвинова притворяться в этот день испытали на себе и Ворошилов и Пищалкин, которые попались

ему навстречу: он так и брякнул одному, что он пуст, как бубен, другому, что он скучен до обморока; хорошо еще, что Биндасов не подвернулся: наверное, произошел бы «grosser Scandal»[1]. Оба молодые человека изумились; Ворошилов даже вопрос себе поставил: не требует ли офицерская честь удовлетворения? — но, как гоголевский поручик Пирогов, успокоил себя в кофейной бутербродами. Литвинов увидал издали Капитолину Марковну, хлопотливо перебегавшую в своей пестрой мантилье из лавки в лавку... Совестно стало ему перед доброю, смешною, благородною старушкой. Потом он вспомнил о Потугине, о вчерашнем разговоре... Но вот что-то повеяло на него, что-то неосязаемое и несомненное; если бы дуновение шло от падающей тени, оно бы не было неуловимее, он он тотчас почувствовал, что это приближалась Ирина. Действительно: она появилась в нескольких шагах от него под руку с другой дамой; глаза их тотчас встретились. Ирина, вероятно, заметила что-то особенное в выражении лица у Литвинова; она остановилась перед лавкой, в которой продавалось множество крошечных деревянных часов шварцвальдского изделия, подозвала его к себе движением головы и, показывая ему одни из этих часиков, прося его полюбоваться миловидным циферблатом с раскрашенной кукушкой наверху, промолвила не шёпотом, а обыкновенным своим голосом, как бы продолжая начатую фразу,— оно меньше привлекает внимание посторонних:

— Приходите через час, я буду дома одна.

Но тут подлетел к ней известный дамский угодник мсьё Вердие и начал приходить в восторг от цвета feuille morte[2] ее платья, от ее низенькой испанской шляпки, надвинутой на самые брови... Литвинов исчез в толпе.

XXI

— Григорий,— говорила ему два часа спустя Ирина, сидя возле него на кушетке и положив ему обе руки на плечо,— что с тобой? Скажи мне теперь, скорее, пока мы одни.

— Со мною? — промолвил Литвинов.— Я счастлив, счастлив, вот что со мной.

---

[1] «крупный скандал» *(нем.)*.
[2] увядшего листа *(франц.)*.

Ирина потупилась, улыбнулась, вздохнула.
— Это не ответ на мой вопрос, мой милый.
Литвинов задумался.
— Ну так знай же... так как ты этого непременно требуешь (Ирина широко раскрыла глаза и слегка отшатнулась), я сегодня всё сказал моей невесте.
— Как всё? Ты меня назвал?
Литвинов даже руками всплеснул.
— Ирина, ради бога, как могла тебе такая мысль в голову прийти! чтобы я...
— Ну извини меня... извини меня. Что же ты сказал?
— Я сказал ей, что я не люблю ее более.
— Она спросила, почему?
— Я не скрыл от нее, что я полюбил другую и что мы должны расстаться.
— Ну... и что же она? Согласна?
— Ах, Ирина! что это за девушка! Она вся самоотвержение, вся благородство.
— Верю, верю... впрочем, ей другого ничего и не оставалось.
— И ни одного упрека, ни одного горького слова мне, человеку, который испортил всю ее жизнь, обманул ее, бросил безжалостно...
Ирина рассматривала свои ногти.
— Скажи мне, Григорий... она тебя любила?
— Да, Ирина, она любила меня.
Ирина помолчала, оправила платье.
— Признаюсь,— начала она, — я хорошенько не понимаю, зачем это тебе вздумалось с нею объясняться?
— Как зачем, Ирина! Неужели бы ты хотела, чтоб я лгал, притворялся перед нею, перед этою чистою душой? Или ты полагала...
— Я ничего не полагала,— перебила Ирина.— Я, каюсь, мало о ней думала... Я не умею думать о двух людях разом.
— То есть ты хочешь сказать...
— Ну и что ж? Она уезжает, эта чистая душа? — вторично перебила Ирина.
— Я ничего не знаю,— отвечал Литвинов.— Я еще должен увидаться с ней. Но она не останется.
— А! счастливый путь!
— Нет, она не останется. Впрочем, я теперь тоже не о ней думаю, я думаю о том, что *ты* мне сказала, что *ты* обещала мне.

Ирина исподлобья посмотрела на него.

— Неблагодарный! ты еще не доволен?

— Нет, Ирина, я не доволен. Ты меня осчастливила, но я не доволен, и ты меня понимаешь.

— То есть я...

— Да, ты понимаешь меня. Вспомни твои слова, вспомни, что ты мне писала. Я не могу делиться с другим, нет, нет, я не могу согласиться на жалкую роль тайного любовника, я не одну мою жизнь, я и другую жизнь бросил к твоим ногам, я от всего отказался, я всё разбил в прах, без сожаления и без возврата, но зато я верю, я твердо убежден, что и ты сдержишь свое обещание и соединишь навсегда твою участь с моею...

— Ты хочешь, чтоб я бежала с тобою? Я готова... (Литвинов восторженно припал к ее рукам.) Я готова, я не отказываюсь от своего слова. Но ты сам обдумал ли те затруднения... приготовил ли средства?

— Я? Я еще ничего не успел ни обдумать, ни приготовить, но скажи только: да, позволь мне действовать, и месяца не пройдет...

— Месяца! Мы через две недели уезжаем в Италию.

— Мне и двух недель достаточно. О Ирина! ты как будто холодно принимаешь мое предложение, быть может, оно кажется тебе мечтательным, но я не мальчик, я не привык тешиться мечтами, я знаю, какой это страшный шаг, знаю, какую я беру на себя ответственность; но я не вижу другого исхода. Подумай наконец, мне уже для того должно навсегда разорвать все связи с прошедшим, чтобы не прослыть презренным лгуном в глазах той девушки, которую я в жертву тебе принес!

Ирина вдруг выпрямилась, и глаза ее засверкали.

— Ну уж извините, Григорий Михайлыч! Если я решусь, если я убегу, так убегу с человеком, который это сделает для меня, собственно для меня, а не для того, чтобы не уронить себя во мнении флегматической барышни, у которой в жилах вместо крови вода с молоком, du lait coupé! [1] И еще скажу я вам: мне, признаюсь, в первый раз довелось услышать, что тот, к кому я благосклонна, достоин сожаления, играет жалкую роль! Я знаю роль более жалкую: роль человека, который сам не знает, что происходит в его душе!

Литвинов выпрямился в свою очередь.

---

[1] разбавленное молоко! *(франц.)*.

— Ирина,— начал было он...

Но она вдруг прижала обе ладони ко лбу и, с судорожным порывом бросившись ему на грудь, обняла его с неженскою силой.

— Прости меня, прости меня,— заговорила она трепетным голосом,— прости меня, Григорий. Ты видишь, как я испорчена, какая я гадкая, ревнивая, злая! Ты видишь, как я нуждаюсь в твоей помощи, в твоем снисхождении! Да, спаси меня, вырви меня из этой бездны, пока я не совсем еще погибла! Да, убежим, убежим от этих людей, от этого света в какой-нибудь далекий, прекрасный, свободный край! Быть может, твоя Ирина станет, наконец, достойнее тех жертв, которые ты ей приносишь! Не сердись на меня, прости меня, мой милый,— и знай, что я сделаю всё, что ты прикажешь, пойду всюду, куда ты меня поведешь!

Сердце перевернулось в Литвинове. Ирина сильнее прежнего прижималась к нему всем своим молодым и гибким телом. Он нагнулся к ее душистым рассыпанным волосам и, в опьянении благодарности и восторга, едва дерзал ласкать их рукой, едва касался до них губами.

— Ирина, Ирина,— твердил он,— мой ангел...

Она внезапно приподняла голову, прислушалась...

— Это шаги моего мужа... он вошел в свою комнату,— прошептала она и, проворно отодвинувшись, пересела на кресло. Литвинов хотел было встать...— Куда же ты? — продолжала она тем же шёпотом,— останься, он уж и так тебя подозревает. Или ты боишься его? — Она не спускала глаз с двери.— Да, это он; он сейчас сюда придет. Рассказывай мне что-нибудь, говори со мною.— Литвинов не мог тотчас найтись и молчал.— Вы не пойдете завтра в театр? — произнесла она громко.— Дают «le Verre d'eau»[1], устарелая пиеса, и Плесси ужасно кривляется... Мы точно в лихорадке,— прибавила она, понизив голос,— этак нельзя; это надо хорошенько обдумать. Я должна предупредить тебя, что все мои деньги у него; mais j'ai mes bijoux[2]. Уедем в Испанию, хочешь? — Она снова возвысила голос.— Отчего это все актрисы толстеют? Вот, хоть Madeleine Brohan... Да говори же, не сиди так молча. У меня голова кружится. Но ты не должен сомневаться во мне... Я тебе дам знать, куда тебе завтра прийти.

[1] «Стакан воды» *(франц.)*.
[2] но у меня есть драгоценности *(франц.)*.

Только ты напрасно сказал той барышне... Ah, mais c'est charmant![1] — воскликнула она вдруг и, засмеявшись нервически, оборвала оборку платка.

— Можно войти? — спросил из другой комнаты Ратмиров.

— Можно... можно.

Дверь отворилась, и на пороге появился генерал. Он поморщился при виде Литвинова, однако поклонился ему, то есть качнул верхнею частью корпуса.

— Я не знал, что у тебя гость,— промолвил он,— je vous demande pardon de mon indiscrétion[2]. А вас Баден всё еще забавляет, мсьё... Литвинов?

Ратмиров всегда произносил фамилию Литвинова с запинкой, точно он всякий раз забывал, не тотчас припоминал ее... Этим да еще преувеличенно приподнятою шляпой при поклоне он думал его уязвить.

— Я здесь не скучаю, мсьё le général[3].

— В самом деле? А мне Баден страшно приелся. Мы скоро отсюда уезжаем, не правда ли, Ирина Павловна? Assez de Bade comme ça[4]. Впрочем, я на ваше счастье сегодня пятьсот франков выиграл.

Ирина кокетливо протянула руку.

— Где ж они? Пожалуйте. На булавки.

— За мной, за мной... А вы уже уходите, мсьё... Литвинов.

— Да-с, ухожу, как изволите видеть.

Ратмиров опять качнул корпусом.

— До приятного свидания!

— Прощайте, Григорий Михайлыч,— промолвила Ирина.— А я сдержу свое обещание.

— Какое? Можно полюбопытствовать? — спросил ее муж.

Ирина улыбнулась.

— Нет, это так... между нами. C'est à propos du voyage... où il vous plaira[5]. Ты знаешь — сочинение Сталя?

— А! как же, как же, знаю. Премилые рисунки.

Ратмиров казался в ладах с женою: он говорил ей «ты».

---

[1] Ах, это прелестно! *(франц.)*.
[2] извините мою нескромность *(франц.)*.
[3] генерал *(франц.)*.
[4] Довольно Бадена *(франц.)*.
[5] Это насчет путешествия... куда вздумается *(франц.)*.

XXII

«Уж лучше не думать, право,— твердил Литвинов, шагая по улице и чувствуя, что внутренняя возня снова поднимается в нем.— Дело решенное. Она сдержит свое обещание, и мне остается принять все нужные меры... Но она словно сомневается...» Он встряхнул головой. Ему самому в странном свете представлялись собственные намерения; чем-то натянутым и неправдоподобным отзывались они. Нельзя долго носиться с одними и теми же мыслями: они передвигаются постепенно, как стеклышки калейдоскопа... смотришь: уж образы совсем не те перед глазами. Ощущение глубокой усталости овладело Литвиновым... Отдохнуть бы хоть часик... Но Таня? Он встрепенулся и, уже не рассуждая, покорно побрел домой, и только в голову ему пришло, что его сегодня как мяч перебрасывает от одной к другой... Всё равно: надо было покончить. Он вернулся в гостиницу и так же покорно, почти бесчувственно, без колебания и замедления, отправился к Татьяне.

Его встретила Капитолина Марковна. С первого взгляда на нее он уже знал, что ей всё было известно: глаза бедной девицы опухли от слез, и окаймленное взбитыми белыми локонами покрасневшее лицо выражало испуг и тоску негодования, горя и безграничного изумления. Она устремилась было к Литвинову, но тут же остановилась и, закусив трепетавшие губы, глядела на него так, как будто и умолить его хотела, и убить, и увериться, что всё это сон, безумие, невозможное дело, не правда ли?

— Вот вы... вы пришли, пришли,— заговорила она... Дверь из соседней комнаты мгновенно распахнулась — и до прозрачности бледная, но спокойная, легкою походкой вошла Татьяна.

Она тихонько обняла тетку одною рукой и посадила ее возле себя.

— Сядьте и вы, Григорий Михайлыч,— сказала она Литвинову, который стоял, как потерянный, у двери.— Я очень рада, что еще раз вижусь с вами. Я сообщила тетушке ваше решение, наше общее решение, она вполне его разделяет и одобряет... Без взаимной любви не может быть счастья, одного взаимного уважения недостаточно (при слове «уважение» Литвинов невольно потупился), и лучше расстаться прежде, чем раскаиваться потом. Не правда ли, тетя?

— Да, конечно,— начала Капитолина Марковна,— конечно, Танюша, тот, кто не умеет оценить тебя... кто решился...

— Тетя, тетя,— перебила ее Татьяна,— помните, что вы мне обещали. Вы сами мне всегда говорили: правда, Татьяна, правда прежде всего — и свобода. Ну, а правда не всегда сладка бывает, и свобода тоже; а то какая была бы наша заслуга?

Она нежно поцеловала Капитолину Марковну в ее белые волосы и, обратившись к Литвинову, продолжала:

— Мы с тетей положили уехать из Бадена... Я думаю, для всех нас этак будет лучше.

— Когда вы думаете уехать? — глухо проговорил Литвинов. Он вспомнил, что те же самые слова ему недавно сказала Ирина.

Капитолина Марковна подалась было вперед, но Татьяна удержала ее, ласково коснувшись ее плеча.

— Вероятно, скоро, очень скоро.

— И позволите ли вы мне спросить, куда вы намерены ехать? — тем же голосом проговорил Литвинов.

— Сперва в Дрезден, потом, вероятно, в Россию.

— Да на что же вам теперь это нужно знать, Григорий Михайлыч?..— воскликнула Капитолина Марковна.

— Тетя, тетя,— вмешалась опять Татьяна.

Наступило небольшое молчание.

— Татьяна Петровна,— начал Литвинов,— вы понимаете, какое мучительно-тяжелое и скорбное чувство я должен испытывать в это мгновение...

Татьяна встала.

— Григорий Михайлыч,— промолвила она,— не будемте говорить об этом... Пожалуйста, прошу вас, если не для вас, так для меня. Я не со вчерашнего дня вас знаю и хорошо могу себе представить, что вы должны чувствовать теперь. Но к чему говорить, к чему растравливать... (Она остановилась: видно было, что она хотела переждать поднявшееся в ней волнение, поглотить уже накипавшие слезы; ей это удалось.) К чему растравливать рану, которую нельзя излечить? Предоставимте это времени. А теперь у меня до вас просьба, Григорий Михайлыч; будьте так добры, я вам дам сейчас письмо: отнесите это письмо на почту сами, оно довольно важно, а нам с тетей теперь некогда... Я вам очень буду благодарна. Подождите минутку... я сейчас...

На пороге двери Татьяна с беспокойством оглянулась на Капитолину Марковну; но она так важно и чинно сидела, с таким строгим выражением в нахмуренных бровях и крепко сжатых губах, что Татьяна только головой ей кивнула и вышла.

Но едва лишь дверь за ней закрылась, как всякое выражение важности и строгости мгновенно исчезло с лица Капитолины Марковны: она встала, на цыпочках подбежала к Литвинову и. вся сгорбившись и стараясь заглянуть ему в глаза, заговорила трепетным, слезливым шёпотом.

— Господи боже мой,— заговорила она,— Григорий Михайлыч, что ж это такое: сон это, что ли? *Вы* отказываетесь от Тани, *вы* ее разлюбили, *вы* изменяете своему слову! Вы это делаете, Григорий Михайлыч, вы, на кого мы все надеялись, как на каменную стену! Вы? Вы? Вы? Ты, Гриша?..— Капитолина Марковна остановилась.— Да ведь вы ее убьете, Григорий Михайлыч,— продолжала она, не дождавшись ответа, а слезы так и покатились мелкими капельками по ее щекам.— Вы не смотрите на нее, что она теперь храбрится, вы ведь знаете, какой у ней нрав! Она никогда не жалуется; она себя не жалеет, так другие должны ее жалеть! Вот она теперь мне толкует: «Тетя, надо сохранить наше достоинство!», а какое тут достоинство, когда я смерть, смерть предвижу...— Татьяна стукнула стулом в соседней комнате.— Да, смерть предвижу,— подхватила еще тише старушка.— И что такое могло сделаться? Приворожили вас, что ли? Давно ли вы писали ей самые нежные письма? Да и, наконец, разве честный человек так может поступать? Я, вы знаете, женщина без всяких предрассудков, esprit fort[1], я и Тане дала такое же воспитание, у ней тоже свободная душа...

— Тетя! — раздался из соседней комнаты голос Татьяны.

— Но честное слово — это долг, Григорий Михайлыч. Особенно для людей с вашими, с нашими правилами! Коли мы долга признавать не будем, что ж у нас останется? Этого нельзя нарушать — так, по собственной прихоти, не соображаясь с тем, что каково, мол, другому! Это бессовестно... да, это — преступление; какая же это свобода!

---

[1] свободомыслящая *(франц.)*.

— Тетя, поди сюда, пожалуйста,— послышалось снова.

— Сейчас, душа моя, сейчас...— Капитолина Марковна схватила Литвинова за руку.— Я вижу, вы сердитесь, Григорий Михайлыч... («Я?! я сержусь?!» — хотелось ему воскликнуть, но язык его онемел.) Я не хочу сердить вас — о господи! до того ли мне! — я, напротив, просить вас хочу: одумайтесь, пока есть время, не губите ее, не губите собственного счастия, она еще поверит вам, Гриша, она поверит тебе, ничего еще не пропало; ведь она тебя любит так, как никто, никогда не полюбит тебя! Брось этот ненавистный Баден-Баден, уедем вместе, выйдь только из-под этого волшебства, а главное: пожалей, пожалей...

— Да тетя,— промолвила Татьяна с оттенком нетерпения в голосе.

Но Капитолина Марковна не слушала ее.

— Скажи только «да!» — твердила она Литвинову,— а уж я всё улажу... Ну хоть головой мне кивни! головкой-то хоть разочек, вот так!

Литвинов охотно, кажется, умер бы в эту минуту; но слова «да!» он не произнес; и головой он не кивнул.

С письмом в руке появилась Татьяна. Капитолина Марковна тотчас отскочила от Литвинова и, отвернув лицо в сторону, низко нагнулась над столом, как бы рассматривая лежавшие на нем счеты и бумаги.

Татьяна приблизилась к Литвинову.

— Вот,— сказала она,— то письмо, о котором я вам говорила... Вы сейчас пойдете на почту, не правда ли?

Литвинов поднял глаза... Перед ним действительно стоял его судья. Татьяна показалась ему выше, стройнее; просиявшее небывалою красотой лицо величаво окаменело, как у статуи; грудь не поднималась, и платье, одноцветное и тесное, как хитон, падало прямыми, длинными складками мраморных тканей к ее ногам, которые оно закрывало. Татьяна глядела прямо перед собой, не на одного только Литвинова, и взгляд ее, ровный и холодный, был также взглядом статуи. Он прочел в нем свой приговор; наклонился, взял письмо из неподвижно протянутой к нему руки и удалился молча.

Капитолина Марковна бросилась к Татьяне, но та отклонила ее объятия и опустила глаза, краска распространилась по ее лицу, и с словами: «Ну, теперь скорее!» —

она вернулась в спальню; Капитолина Марковна последовала за ней, повесив голову.

На письме, врученном Литвинову Татьяной, стоял адрес одной ее дрезденской приятельницы, немки, которая отдавала в наем небольшие меблированные квартиры. Литвинов опустил письмо в ящик, и ему показалось, что вместе с этим маленьким клочком бумажки он всё свое прошедшее, всю жизнь свою опустил в могилу. Он вышел за город и долго бродил по узким тропинкам между виноградниками; он не мог отбиться, как от жужжания назойливой летней мухи, от постоянного ощущения презрения к самому себе: уж очень незавидную роль разыграл он в этом последнем свидании... А когда он вернулся в гостиницу и спустя несколько времени осведомился о своих дамах, ему ответили, что они тотчас после его ухода велели отвезти себя на железную дорогу и отправились с почтовым поездом неизвестно куда. Вещи их были уложены и счеты уплачены с утра. Татьяна попросила Литвинова отнести письмо на почту, очевидно, с целью удалить его. Он попытался спросить швейцара, не оставили ли эти дамы на его имя записки; но швейцар отвечал отрицательно и даже изумился; видно было, что и ему этот внезапный отъезд с нанятой за неделю квартиры казался сомнительным и странным. Литвинов повернулся к нему спиной и заперся у себя в комнате.

Он не выходил из нее до следующего дня: большую часть ночи он просидел за столом, писал и рвал написанное... Заря уже занималась, когда он окончил свою работу,—то было письмо к Ирине.

XXIII

Вот что стояло в этом письме к Ирине:

«Моя невеста уехала вчера: мы с ней никогда больше не увидимся... я даже не знаю наверное, где она жить будет. Она унесла с собою всё, что мне до сих пор казалось желанным и дорогим; все мои предположения, планы, намерения исчезли вместе с нею; самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась в ничто, все мои занятия не имеют никакого смысла и применения; всё это умерло, мое я, мое прежнее я умерло и похоронено со вчерашнего дня. Я это ясно чувствую, вижу, знаю... и нисколько об этом не жалею. Не для того, чтобы жаловаться, заговорил я об этом с тобою... Мне ли жаловаться,

когда ты меня любишь, Ирина! Я только хотел сказать тебе, что из всего этого мертвого прошлого, изо всех этих — в дым и прах обратившихся — начинаний и надежд осталось одно живое, несокрушимое: моя любовь к тебе. Кроме этой любви, у меня ничего нет и не осталось; назвать ее моим единственным сокровищем было бы недостаточно; я весь в этой любви, эта любовь — весь я; в ней мое будущее, мое призвание, моя святыня, моя родина! Ты меня знаешь, Ирина, ты знаешь, что всякая фраза мне чужда и противна, и, как ни сильны слова, в которых я стараюсь выразить мое чувство, ты не заподозришь их искренности, ты не найдешь их преувеличенными. Не мальчик в пòрыве минутного восторга лепечет пред тобою необдуманные клятвы, а человек, уже испытанный летами, просто и прямо. чуть не с ужасом, высказывает то, что он признал несомненною правдой. Да, любовь твоя всё для меня заменила — всё, всё! Суди же сама: могу ли я оставить это *всё* в руках другого, могу ли я позволить ему располагать тобою? Ты, ты будешь принадлежать ему, всё существо мое, кровь моего сердца будет принадлежать ему — а я сам... где я? что я? В стороне, зрителем... зрителем собственной жизни! Нет, это невозможно, невозможно! Участвовать, украдкой участвовать в том, без чего незачем, невозможно *дышать*... это ложь и смерть. Я знаю, какой великой жертвы я требую от тебя, не имея на то никакого права, да и что может дать право на жертву? Но не из эгоизма поступаю я так: эгоисту было бы легче и спокойнее не поднимать вовсе этого вопроса. Да, требования мои тяжелы, и я не удивлюсь, если они тебя испугают. Тебе ненавистны люди, с которыми ты жить должна, ты тяготишься светом, но в силах ли ты бросить этот самый свет, растоптать венец, которым он тебя венчал, восстановить против себя общественное мнение, мнение тех ненавистных людей? Вопроси себя, Ирина, не бери на себя ношу не по плечам. Я не хочу упрекать тебя, но помни: ты уже раз не устояла против обаяния. Я так мало могу тебе дать взамен того, что ты потеряешь! Слушай же мое последнее слово: если ты не чувствуешь себя в состоянии завтра же, сегодня же всё оставить и уйти вслед за мною — видишь, как я смело говорю, как я себя не жалею,— если тебя страшит неизвестность будущего, и отчуждение, и одиночество. и порицание людское, если ты не надеешься на себя, одним словом — скажи мне это откровенно и безотлагательно, и я уйду; я

уйду с растерзанною душою, но благословлю тебя за твою правду. Если же ты, моя прекрасная, лучезарная царица, действительно полюбила такого маленького и темного человека, каков я, и действительно готова разделить его участь — ну, так дай мне руку и отправимся вместе в наш трудный путь! Только знай, мое решение несомненно: или всё, или ничего! Это безумно... но я не могу иначе, не могу, Ирина! Я слишком сильно тебя люблю.

Твой *Г. Л.*»

Письмо это не очень понравилось самому Литвинову; оно не совсем верно и точно выражало то, что он хотел сказать; неловкие выражения, то высокопарные, то книжные, попадались в нем, и, уж конечно, оно не было лучше многих других, им изорванных писем; но оно пришлось последним, главное все-таки было высказано,— и, усталый, измученный, Литвинов не чувствовал себя способным извлечь что-нибудь другое из своей головы. К тому же он не обладал умением литературно изложить всю мысль и, как все люди, которым это не в привычку, заботился о слоге. Первое его письмо было, вероятно, самым лучшим: оно горячее вылилось из сердца. Как бы то ни было, Литвинов отправил к Ирине свое послание.

Она отвечала ему коротенькою запиской.

«Приходи сегодня ко мне,— писала она ему: — *он* отлучился на целый день. Твое письмо меня чрезвычайно взволновало. Я всё думаю, думаю... и голова кружится от дум. Мне очень тяжело, но ты меня любишь, и я счастлива. Приходи.

Твоя *И.*»

Она сидела у себя в кабинете, когда Литвинов вошел к ней. Его ввела та же тринадцатилетняя девочка, которая накануне караулила его на лестнице. На столе перед Ириной стоял раскрытый полукруглый картон с кружевами; она рассеянно перебирала их одною рукой, в другой она держала письмо Литвинова. Она только что перестала плакать: ресницы ее смокли и веки припухли; на щеках виднелись следы неотертых слез. Литвинов остановился на пороге: она не заметила его входа.

— Ты плачешь? — проговорил он с изумлением.

Она встрепенулась, провела рукой по волосам и улыбнулась.

— Отчего ты плачешь? — повторил Литвинов. Она мол-

ча показала ему на письмо.— Так ты от этого...— промолвил он с расстановкой.

— Подойди сюда, сядь,— сказала она,— дай мне руку. Ну, да, я плакала... Чему же ты удивляешься? Разве *это* легко? — Она опять указала на письмо.

Литвинов сел.

— Я знаю, что это нелегко, Ирина, я то же самое говорю тебе в моем письме... Я понимаю твое положение. Но если ты веришь в значение твоей любви для меня, если слова мои тебя убедили, ты должна также понять, что я чувствую теперь при виде твоих слез. Я пришел сюда как подсудимый и жду: что мне объявят? Смерть или жизнь? Твой ответ всё решит. Только не гляди на меня такими глазами... Они напоминают мне прежние, московские глаза.

Ирина вдруг покраснела и отвернулась, как будто сама чувствуя что-то неладное в своем взоре.

— Что ты это говоришь, Григорий? Как не стыдно тебе! Ты желаешь знать мой ответ... да разве ты можешь в нем сомневаться! Тебя смущают мои слезы... но ты их не понял. Твое письмо, друг мой, навело меня на размышления. Вот ты пишешь, что моя любовь для тебя всё заменила, что даже все твои прежние занятия теперь должны остаться без применения; а я спрашиваю себя, может ли мужчина жить одною любовью? Не прискучит ли она ему наконец, не захочет ли он деятельности и не будет ли он пенять на то, что его от нее отвлекло? Вот какая мысль меня пугает, вот чего я боюсь, а не то, что ты предполагал.

Литвинов внимательно поглядел на Ирину, и Ирина внимательно поглядела на него, точно каждый из них желал глубже и дальше проникнуть в душу другого, глубже и дальше того, чего может достигнуть, что может выдать слово.

— Ты напрасно этого боишься,— начал Литвинов,— я, должно быть, дурно выразился. Скука? Бездействие? При тех новых силах, которые мне даст твоя любовь? О Ирина, поверь, в твоей любви для меня целый мир, и я сам еще не могу теперь предвидеть всё, что может развиться из него!

Ирина задумалась.

— Куда же мы поедем? — шепнула она.

— Куда? Об этом мы еще поговорим. Но, стало быть... стало быть, ты согласна? согласна, Ирина?

Она посмотрела на него.

— И ты будешь счастлив?

— О Ирина!

— Ни о чем жалеть не будешь? Никогда?

Она нагнулась к картону с кружевами и снова принялась перебирать их.

— Не сердись на меня, мой милый, что я в подобные минуты занимаюсь этим вздором... Я принуждена ехать на бал к одной даме, мне прислали эти тряпки, и я должна выбрать сегодня. Ах! мне ужасно тяжело! — воскликнула она вдруг и приложилась лицом к краю картона. Слезы снова закапали из ее глаз... Она отвернулась: слезы могли попасть на кружева.

— Ирина, ты опять плачешь,— начал с беспокойством Литвинов.

— Ну да, опять,— подхватила Ирина.— Ах, Григорий, не мучь меня, не мучь себя!.. Будем свободные люди! Что за беда, что я плачу! Да и я сама, понимаю ли я, отчего льются эти слезы? Ты знаешь, ты слышал мое решение, ты уверен, что оно не изменится, что я согласна на... как ты это сказал?.. на всё или ничего... чего же еще? Будем свободны! К чему эти взаимные цепи? Мы теперь одни с тобою, ты меня любишь; я люблю тебя; неужели нам только и дела, что выпытывать друг у друга наши мнения? Посмотри на меня, я не хотела рисоваться перед тобою, я ни единым словом не намекнула о том, что мне, может быть, не так-то легко было попрать супружеские обязанности... а я ведь себя не обманываю, я знаю, что я преступница и что *он* вправе меня убить. Ну и что же! Будем свободны, говорю я. День наш — век наш.

Она встала с кресла и посмотрела на Литвинова сверху вниз, чуть улыбаясь и щурясь и обнаженною до локтя рукою отводя от лица длинный локон, на котором блистали две-три капли слез. Богатая кружевная косынка соскользнула со стола и упала на пол, под ноги Ирины. Она презрительно наступила на нее.

— Или я тебе не нравлюсь сегодня? Подурнела я со вчерашнего дня? Скажи мне, часто видал ты более красивую руку? А эти волосы? Скажи, любишь ты меня?

Она обхватила его обеими руками, прижала его голову к своей груди, гребень ее зазвенел и покатился, и рассыпавшиеся волосы обдали его пахучею и мягкою волной.

XXIV

Литвинов расхаживал по комнате у себя в гостинице, задумчиво потупив голову. Ему предстояло теперь перейти от теории к практике, изыскать средства и пути к побегу, к переселению в неведомые края... Но, странное дело! он не столько размышлял об этих средствах и путях, как о том, действительно ли, несомненно ли состоялось решение, на котором он так упорно настаивал? Было ли произнесено окончательное, бесповоротное слово? Но ведь Ирина сказала ему при прощании: «Делай, делай. и когда будет готово, предуведомь только». Кончено! В сторону все сомнения... Надо приступить. И Литвинов приступил — пока — к соображениям. Прежде всего деньги. У Литвинова налицо оказалась тысяча триста двадцать восемь гульденов, на французскую монету — две тысячи восемьсот пятьдесят пять франков, сумма незначительная; но на первые потребности хватит, а там надо тотчас написать отцу, чтоб он выслал елико возможно; продал бы лес, часть земли... Но под каким предлогом?.. Ну, предлог найдется. Ирина говорила, правда, о своих bijoux [1], но это никак в соображение принимать не следует: это, кто знает, про черный день пригодится. Притом в наличности находился также хороший женевский полухронометр, за который можно получить... ну, хоть четыреста франков. Литвинов отправился к банкиру и завел обиняком речь о том, что нельзя ли, при случае, занять денег; но банкиры в Бадене народ травленый и осторожный и в ответ на подобные обиняки немедленно принимают вид преклонный и увялый, ни дать ни взять полевой цветок, которому коса надрезала стебель; некоторые же бодро и смело смеются вам в лицо, как бы сочувствуя вашей невинной шутке. Литвинов, к стыду своему, попытал даже счастье свое на рулетке, даже — о позор! — поставил талер на тридцатый нумер, соответствовавший числу его лет. Он это сделал в видах увеличения и округления капитала; и он действительно если не увеличил, то округлил этот капитал, спустив излишние двадцать восемь гульденов. Второй вопрос, тоже немаловажный: это паспорт. Но для женщины паспорт не так обязателен, и есть страны, где его вовсе не требуют. Бельгия например, Англия; наконец, можно и не русский паспорт достать.

---

[1] драгоценностях *(франц.)*.

Литвинов очень серьезно размышлял обо всем этом: решимость его была сильная, без малейшего колебания, а между тем, против его воли, мимо его воли, что-то несерьезное, почти комическое проступало, просачивалось сквозь все его размышления, точно самое его предприятие было делом шуточным и никто ни с кем никогда не бегивал в действительности, а только в комедиях да романах, да, пожалуй, где-нибудь в провинции, в какомнибудь чухломском или сызранском уезде, где, по уверению одного путешественника, людей со скуки даже рвет подчас. Пришло тут Литвинову на память, как один из его приятелей, отставной корнет Бацов, увез на ямской тройке с бубенчиками купеческую дочь, напоив предварительно родителей, да и самое невесту, и как потом оказалось, что его же надули и чуть ли не приколотили вдобавок. Литвинов чрезвычайно сердился на самого себя за подобные неуместные воспоминания и тут же, вспомнив Татьяну, ее внезапный отъезд, всё это горе, и страдание, и стыд, слишком глубоко почувствовал, что дело он затеял нешуточное и как он был прав, когда говорил Ирине, что для самой его чести другого исхода не оставалось... И снова при одном этом имени что-то жгучее мгновенно, с сладостной болью, обвилось и замерло вокруг его сердца.

Конский топот раздался за ним... Он посторонился... Ирина верхом обогнала его; рядом с нею ехал тучный генерал. Она узнала Литвинова, кивнула ему головой и, ударив лошадь по боку хлыстиком, подняла ее в галоп, потом вдруг пустила ее во всю прыть. Темный вуаль ее взвился по ветру...

— Pas si vite! Nom de Dieu! pas si vite![1] — закричал генерал и тоже поскакал за нею.

XXV

На другое утро Литвинов только что возвратился домой от банкира, с которым еще раз побеседовал об игривом непостоянстве нашего курса и лучшем способе высылать за границу деньги, как швейцар вручил ему письмо. Он узнал почерк Ирины и, не срывая печати,— недоброе предчувствие, бог знает почему, проснулось в нем,— ушел к себе в комнату. Вот что прочел он (письмо было написано по-французски):

[1] Не так быстро! Ради бога! не так быстро! *(франц.)*.

«Милый мой! я всю ночь думала о твоем предложении... Я не стану с тобой лукавить. Ты был откровенен со мною, и я буду откровенна: я не *могу* бежать с тобою, я не *в силах* это сделать. Я чувствую, как я перед тобою виновата; вторая моя вина еще больше первой,— я презираю себя, свое малодушие, я осыпаю себя упреками, но я не могу себя переменить. Напрасно я доказываю самой себе, что я разрушила твое счастие, что ты теперь точно вправе видеть во мне одну легкомысленную кокетку, что я сама вызвалась, сама дала тебе торжественные обещания... Я ужасаюсь, я чувствую ненависть к себе, но я не могу поступать иначе, не могу, не могу. Я не хочу оправдываться, не стану говорить тебе, что я сама была увлечена... всё это ничего не значит; но я хочу сказать тебе и повторить, и повторить еще раз: я твоя, твоя навсегда, располагай мною как хочешь, когда хочешь, безответно и безотчетно, я твоя... Но бежать, всё бросить... нет! нет! нет! Я умоляла тебя спасти меня, я сама надеялась всё изгладить, сжечь всё как в огне... Но, видно, мне нет спасения; видно, яд слишком глубоко проник в меня; видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом! Я долго колебалась, писать ли тебе это письмо, мне страшно подумать, какое ты примешь решение, я надеюсь только на любовь твою ко мне. Но я сочла, что было бы бесчестным с моей стороны не сказать тебе правды — тем более что ты, быть может, уже начал принимать первые меры к исполнению нашего замысла. Ах! он был прекрасен, но несбыточен. О мой друг, считай меня пустою, слабою женщиной, презирай меня, но не покидай меня, не покидай твоей Ирины!.. Оставить этот свет я не в силах, но и жить в нем без тебя не могу. Мы скоро вернемся в Петербург, приезжай туда, живи там, мы найдем тебе занятия, твои прошедшие труды не пропадут, ты найдешь для них полезное применение... Только живи в моей близости, только люби меня, какова я есть, со всеми моими слабостями и пороками, и знай, что ничье сердце никогда не будет так нежно тебе предано, как сердце твоей Ирины. Приходи скорее ко мне, я не буду иметь минуты спокойствия, пока я тебя не увижу.

Твоя, твоя, твоя *И*.»

Молотом ударила кровь в голову Литвинова, а потом медленно и тяжело опустилась на сердце и так камнем в нем и застыла. Он перечел письмо Ирины и, как в тот

раз в Москве, в изнеможении упал на диван и остался неподвижным. Темная бездна внезапно обступила его со всех сторон, и он глядел в эту темноту бессмысленно и отчаянно. Итак, опять, опять обман, или нет, хуже обмана — ложь и пошлость... И жизнь разбита, всё вырвано с корнем, дотла, и то единственное, за которое еще можно было ухватиться — та последняя опора,— вдребезги тоже! «Поезжай за нами в Петербург,— повторял он с горьким внутренним хохотом,— мы там тебе найдем занятия...» «В столоначальники, что ли, меня произведут? И кто эти *мы*? Вот когда сказалось ее прошедшее! Вот то тайное, безобразное, которого я не знаю, но которое она пыталась было изгладить и сжечь как бы в огне! Вот тот мир интриг, тайных отношений, историй Вельских, Дольских... И какая будущность, какая прекрасная роль меня ожидает! Жить в ее близости, посещать ее, делить с ней развращенную меланхолию модной дамы, которая и тяготится и скучает светом, а вне его круга существовать не может, быть домашним другом ее и, разумеется, его превосходительства... пока... пока минет каприз и приятель-плебей потеряет свою пикантность и тот же тучный генерал или господин Фиников его заменит — вот это возможно, и приятно, и, пожалуй, полезно... говорит же она о полезном применении моих талантов! — а тот умысел несбыточен! несбыточен...» В душе Литвинова поднимались, как мгновенные удары ветра перед грозой, внезапные, бешеные порывы... Каждое выражение в письме Ирины возбуждало его негодование, самые уверения ее в неизменности ее чувства оскорбляли его. «Этого нельзя так оставить,— воскликнул он наконец,— я не позволю ей так безжалостно играть моею жизнию...»

Литвинов вскочил, схватил шляпу. Но что было делать? Бежать к ней? Отвечать на ее письмо? Он остановился и опустил руки.

Да; что было делать?

Не сам ли он предложил ей тот роковой выбор? Он выпал не так, как ему хотелось... Всякий выбор подвержен этой беде. Она изменила свое решение, правда; она сама, первая, объявила, что бросит всё и последует за ним, правда и то; но она и не отрицает своей вины, она прямо называет себя слабою женщиной; она не хотела обмануть его, она сама в себе обманулась... Что на это возразить? По крайней мере она не притворяется, не лукавит... она откровенна с ним, беспощадно откровенна.

Ничто не заставляло ее тотчас высказываться, ничто не мешало ей успокоивать его обещаниями, оттягивать и оставлять всё в неизвестности до самого отъезда... до отъезда с мужем в Италию! Но она жизнь его загубила, она две жизни загубила!.. Мало ли чего нет!

А перед Татьяной виновата не она, виноват он, один он, Литвинов, и не имеет он права стряхивать с себя ту ответственность, которую железным ярмом на него наложила его вина... Всё так; но что же теперь оставалось делать?

Он снова бросился на диван, и снова темно, и глухо, и бесследно, с пожирающею быстротой, побежали мгновения...

«А не то послушаться ее? — мелькнуло в его голове.— Она меня любит, она моя, и в самом нашем влечении друг к другу, в этой страсти, которая, после стольких лет, с такой силой пробилась и вырвалась наружу, нет ли чего-то неизбежного, неотразимого, как закон природы? Жить в Петербурге... да разве я первый буду находиться в таком положении? Да и где бы мы приютились с ней...»

И он задумался, и образ Ирины в том виде, в каком он навек напечатлелся в его последних воспоминаниях, тихо предстал перед ним...

Но ненадолго... Он опомнился и с новым порывом негодования оттолкнул прочь от себя и те воспоминания и тот обаятельный образ.

«Ты мне даешь пить из золотой чаши,— воскликнул он,— но яд в твоем питье, и грязью осквернены твои белые крылья... Прочь! Оставаться здесь с тобою, после того как я... прогнал, прогнал мою невесту... бесчестное, бесчестное дело!» Он стиснул горестно руки, и другое лицо, с печатью страданья на неподвижных чертах, с безмолвным укором в прощальном взоре, возникло из глубины...

И долго так еще мучился Литвинов; долго, как трудный больной, металась из стороны в сторону его истерзанная мысль... Он утих наконец; он наконец решился. С самой первой минуты он предчувствовал это решение... оно явилось ему сначала как отдаленная, едва заметная точка среди вихря и мрака внутренней борьбы; потом оно стало надвигаться всё ближе и ближе и кончило тем, что врезалось холодным лезвием в его сердце.

Литвинов снова вытащил свой чемодан из угла, сно-

ва уложил, не торопясь и даже с какою-то тупою заботливостью, все свои вещи, позвонил кельнера, расплатился и отправил к Ирине записку на русском языке следующего содержания:

«Не знаю, больше ли вы теперь передо мной виноваты, чем тогда; но знаю, что теперешний удар гораздо сильнее... Это конец. Вы мне говорите: „Я не могу"; и я вам повторяю тоже: „Я не могу... того, что вы хотите. Не могу и не хочу". Не отвечайте мне. Вы не в состоянии дать мне единственный ответ, который я бы принял. Я уезжаю завтра рано с первым поездом. Прощайте, будьте счастливы... Мы, вероятно, больше не увидимся».

Литвинов до самой ночи не выходил из своей комнаты; ждал ли он чего, бог ведает! Около семи часов вечера дама в черной мантилье, с вуалем на лице, два раза подходила к крыльцу его гостиницы. Отойдя немного в сторону и поглядев куда-то вдаль, она вдруг сделала решительное движение рукой и в третий раз направилась к крыльцу...

— Куда вы, Ирина Павловна? — раздался сзади ее чей-то напряженный голос.

Она обернулась с судорожною быстротой... Потугин бежал к ней.

Она остановилась, подумала и так и бросилась к нему, взяла его под руку и увлекла в сторону.

— Уведите, уведите меня,— твердила она, задыхаясь.

— Что с вами, Ирина Павловна? — пробормотал он, изумленный.

— Уведите меня,— повторила она с удвоенною силой,— если вы не хотите, чтоб я навсегда осталась... там!

Потугин наклонил покорно голову, и оба поспешно удалились.

На следующее утро, рано, Литвинов уже совсем собрался в дорогу — в комнату к нему вошел... тот же Потугин.

Он молча приблизился к нему и молча пожал ему руку. Литвинов тоже ничего не сказал. У обоих были длинные лица, и оба напрасно старались улыбнуться.

— Я пришел пожелать вам счастливого пути,— промолвил наконец Потугин.

— А почему вы знаете, что я уезжаю сегодня? — спросил Литвинов.

Потугин поглядел вокруг себя по полу...

— Мне это стало известным... как видите. Наш последний разговор получил под конец такое странное направление... Я не хотел расстаться с вами, не выразив вам моего искреннего сочувствия.

— Вы сочувствуете мне теперь... когда я уезжаю?

Потугин печально посмотрел на Литвинова.

— Эх, Григорий Михайлыч, Григорий Михайлыч,— начал он с коротким вздохом,— не до того нам теперь, не до тонкостей и препираний. Вы вот, сколько я мог заметить, довольно равнодушны к родной словесности и потому, быть может, не имеете понятия о Ваське Буслаеве?

— О ком?

— О Ваське Буслаеве, новогородском удальце... в сборнике Кирши Данилова.

— Какой Буслаев? — промолвил Литвинов, несколько озадаченный таким неожиданным оборотом речи.— Я не знаю.

— Ну, всё равно. Так вот я на что хотел обратить ваше внимание. Васька Буслаев, после того как увлек своих новгородцев на богомолье в Ерусалим и там, к ужасу их, выкупался нагим телом в святой реке Иордане, ибо не верил «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай»,— этот логический Васька Буслаев взлезает на гору Фавор, а на вершине той горы лежит большой камень, через который всякого роду люди напрасно пытались перескочить... Васька хочет тоже свое счастье изведать. И попадается ему на дороге мертвая голова, человечья кость; он пихает ее ногой. Ну и говорит ему голова: «Что ты пихаешься? Умел я жить, умею и в пыли валяться — и тебе то же будет». И точно: Васька прыгает через камень и совсем было перескочил, да каблуком задел и голову себе сломил. И тут я кстати должен заметить, что друзьям моим славянофилам, великим охотникам пихать ногою всякие мертвые головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься над этою былиной.

— Да к чему всё это? — перебил наконец с нетерпеньем Литвинов.— Мне пора, извините...

— А к тому,— отвечал Потугин, и глаза его засветились таким дружелюбным чувством, какого Литвинов даже не ожидал от него,— к тому, что вот вы не отталкиваете мертвой человечьей головы и вам, быть может, за вашу доброту и удастся перескочить через роковой

камень. Не стану я вас больше удерживать, только вы позвольте обнять вас на прощанье.

— Я и пытаться не буду прыгать,— промолвил Литвинов, троекратно целуясь с Потугиным, и к скорбным ощущениям, переполнявшим его душу, примешалось на миг сожаление об одиноком горемыке.— Но надо ехать, ехать...— Он заметался по комнате.

— Хотите, я вам понесу что-нибудь? — предложил свои услуги Потугин.

— Нет, благодарствуйте, не беспокойтесь, я сам...— Он надел шапку, взял в руки мешок.— Итак, вы говорите,— спросил он, уже стоя на пороге,— вы видели ее?

— Да, видел.

— Ну... и что же она?

Потугин помолчал.

— Она вас ждала вчера... и сегодня ждать вас будет.

— А! Ну так скажите ей... Нет, не нужно, ничего не нужно. Прощайте... Прощайте!

— Прощайте, Григорий Михайлыч... Дайте мне еще вам слово сказать. Вы еще успеете меня выслушать: до отхода железной дороги осталось больше получаса. Вы возвращаетесь в Россию... Вы будете там... со временем... действовать... Позвольте же старому болтуну — ибо я, увы! болтун и больше ничего — дать вам напутственный совет. Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя: служите ли вы цивилизации — в точном и строгом смысле слова,— проводите ли одну из ее идей, имеет ли ваш труд тот педагогический, европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас? Если так — идите смело вперед: вы на хорошем пути, и дело ваше — благое! Слава богу! Вы не одни теперь. Вы не будете «сеятелем пустынным»; завелись уже и у нас труженики... пионеры... Но вам теперь не до того. Прощайте, не забывайте меня!

Литвинов бегом спустился с лестницы, бросился в карету и доехал до железной дороги, не оглянувшись ни разу на город, где осталось столько его собственной жизни... Он как будто отдался волне: она подхватила его, понесла, и он твердо решился не противиться ее влечению... От всякого другого изъявления воли он отказался.

Он уже садился в вагон.

— Григорий Михайлович... Григорий...— послышался за его спиной умоляющий шёпот.

Он вздрогнул... Неужели Ирина? Точно: она. Заку-

танная в шаль своей горничной, с дорожною шляпою на неубранных волосах, она стоит на платформе и глядит на него померкшими глазами. «Вернись, вернись, я пришла за тобой»,— говорят эти глаза. И чего, чего не сулят они! Она не движется, не в силах прибавить слово; всё в ней, самый беспорядок ее одежды, всё как бы просит пощады...

Литвинов едва устоял на ногах, едва не бросился к ней... Но та волна, которой он отдался, взяла свое... Он вскочил в вагон и, обернувшись, указал Ирине на место возле себя. Она поняла его. Время еще не ушло. Один только шаг, одно движение, и умчались бы в неведомую даль две навсегда соединенные жизни... Пока она колебалась, раздался громкий свист, и поезд двинулся.

Литвинов откинулся назад, а Ирина подошла, шатаясь, к скамейке и упала на нее, к великому изумлению заштатного дипломата, случайно забредшего на железную дорогу. Он мало был знаком с Ириной, но очень ею интересовался и, увидав, что она лежит, как в забытьи, подумал, что с ней случилась une attaque de nerfs[1], а потому счел своим долгом, долгом d'un galant chevalier[2], прийти ей на помощь. Но изумление его приняло гораздо большие размеры, когда при первом слове, к ней обращенном, она вдруг поднялась, оттолкнула предложенную руку и, выбежав на улицу, чрез несколько мгновений исчезла в молочной мгле тумана, столь свойственного шварцвальдскому климату в первые осенние дни.

XXVI

Нам случилось однажды войти в избу крестьянки, только что потерявшей единственного, горячо любимого сына, и, к немалому нашему удивлению, найти ее совершенно спокойною, чуть не веселою. «Не замайте,— сказал ее муж, от которого, вероятно, не скрылось это удивление,— она теперь закостенела». И Литвинов так же «закостенел». Такое же спокойствие нашло на него в первые часы его путешествия. Совершенно уничтоженный и безнадежно несчастный, он, однако, отдыхал, отдыхал после тревог и терзаний последней недели, после всех этих ударов, раз за разом обрушившихся на его голову. Они тем силь-

[1] нервный припадок *(франц.)*.
[2] галантного кавалера *(франц.)*.

нее его потрясли, чем менее он был создан для подобных бурь. Он уж точно ни на что не надеялся теперь и старался не вспоминать — пуще всего не вспоминать; он ехал в Россию...— надо же было куда-нибудь деваться! — но уже никаких, лично до собственной особы касающихся, предположений не делал. Он не узнавал себя; он не понимал своих поступков, точно он свое настоящее «я» утратил, да и вообще он в этом «я» мало принимал участия. Иногда ему сдавалось, что он собственный труп везет, и лишь пробегавшие изредка горькие судороги неизлечимой душевной боли напоминали ему, что он еще носится с жизнью. По временам ему казалось непостижимым, каким образом может мужчина — мужчина! — допустить такое влияние на себя женщины, любви... «Постыдная слабость!» — шептал он и встряхивал шинелью и плотнее усаживался: вот, дескать, старое кончено, начнем новое... Минута — и он только улыбался горько и дивился самому себе. Он принялся глядеть в окно. День стоял серый и сырой; дождя не было, но туман еще держался и низкие облака заволокли всё небо. Ветер дул навстречу поезду; беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались бесконечною вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов. Он стал следить за этим паром, за этим дымом. Беспрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цепляясь за траву, за кусты, как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами: они непрестанно менялись и оставались те же... Однообразная, торопливая, скучная игра! Иногда ветер менялся, дорога уклонялась — вся масса вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне; потом опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвинову вид широкой прирейнской равнины. Он глядел, глядел, и странное напало на него размышление... Он сидел один в вагоне: никто не мешал ему. «Дым, дым»,— повторил он несколько раз; и всё вдруг показалось ему дымом, всё, собственная жизнь, русская жизнь — всё людское, особенно всё русское. Всё дым и пар, думал он; всё как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности всё то же да то же; всё торопится, спешит куда-то — и всё исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул — и бросилось всё в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и — ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на

его глазах в последние годы... Дым, шептал он, дым; вспомнились горячие споры, толки и крики у Губарева, у других, высоко- и низкопоставленных, передовых и отсталых, старых и молодых людей... Дым, повторял он, дым и пар. Вспомнился, наконец, и знаменитый пикник, вспомнились и другие суждения и речи других государственных людей — и даже всё то, что проповедовал Потугин... дым, дым и больше ничего. А собственные стремления, и чувства, и попытки, и мечтания? Он только рукой махнул.

А между тем поезд бежал да бежал; уже давно и Раштадт, и Карлсруэ, и Брухзаль остались назади; горы с правой стороны дороги сперва отклонились, ушли вдаль, потом надвинулись опять, но уже не столь высокие и реже покрытые лесом... Поезд круто повернул в сторону... вот и Гейдельберг. Вагоны подкатились под навес станции; раздались крики разносчиков, продающих всякие, даже русские, журналы; путешественники завозились на своих местах, вышли на платформу; но Литвинов не покидал своего уголка и продолжал сидеть, потупив голову. Вдруг кто-то назвал его по имени; он поднял глаза: рожа Биндасова просунулась в окно, а за ним — или это ему только померещилось? — нет, точно, всё баденские, знакомые лица: вот Суханчикова, вот Ворошилов, вот и Бамбаев; все они подвигаются к нему, а Биндасов орет:

— А где же Пищалкин? Мы его ждали; но всё равно; вылезай, сосюля, мы все к Губареву.

— Да, братец, да, Губарев нас ждет,— подтвердил, выдвигаясь, Бамбаев,— вылезай.

Литвинов рассердился бы, если б не то мертвое бремя, которое лежало у него на сердце. Он глянул на Биндасова и отвернулся молча.

— Говорят вам, здесь Губарев! — воскликнула Суханчикова, и глаза ее чуть не выскочили.

Литвинов не пошевелился.

— Да послушай, Литвинов,— заговорил наконец Бамбаев,— здесь не один только Губарев, здесь целая фаланга отличнейших, умнейших молодых людей, русских — и все занимаются естественными науками, все с такими благороднейшими убеждениями! Помилуй, ты для них хоть останься. Здесь есть, например, некто... эх! фамилию забыл! но это просто гений!

— Да бросьте его, бросьте его, Ростислав Ардалионыч,— вмешалась Суханчикова,— бросьте! Вы видите, что

он за человек; и весь его род такой. Тетка у него есть; сначала мне показалась путною, а третьего дня еду я с ней сюда — она перед тем только что приехала в Баден, и глядь! уж назад летит,— ну-с, еду я с ней, стала ее расспрашивать... Поверите ли, слова от гордячки не добилась. Аристократка противная!

Бедная Капитолина Марковна — аристократка! Ожидала ли она подобного посрамления?!

А Литвинов всё молчал, и отвернулся, и фуражку на глаза надвинул. Поезд тронулся наконец.

— Да скажи хоть что-нибудь на прощанье, каменный ты человек!— закричал Бамбаев.— Этак ведь нельзя!

— Дрянь! колпак! — завопил Биндасов. Вагоны катились всё шибче и шибче, и он мог безнаказанно ругаться.— Скряга! слизняк! каплюжник!!

Изобрел ли Биндасов на месте это последнее наименование, перешло ли оно к нему из других рук, только оно, по-видимому, очень понравилось двум тут же стоявшим благороднейшим молодым людям, изучавшим естественные науки, ибо несколько дней спустя оно уже появилось в русском периодическом листке, издававшемся в то время в Гейдельберге под заглавием: «*A tout venant ie crache!*» или «Бог не выдаст, свинья не съест» *.

А Литвинов опять затвердил свое прежнее слово: дым, дым, дым! Вот, думал он, в Гейдельберге теперь более сотни русских студентов; все учатся химии, физике, физиологии — ни о чем другом и слышать не хотят... А пройдет пять-шесть лет, и пятнадцати человек на курсах не будет у тех же знаменитых профессоров... ветер переменится, дым хлынет в другую сторону... дым... дым... дым! **

К ночи он проехал мимо Касселя. Вместе с темнотой тоска несносная коршуном на него спустилась, и он заплакал, забившись в угол вагона. Долго текли его слезы, не облегчая сердца, но как-то едко и горестно терзая его; а в то же время в одной из гостиниц Касселя, на постели, в жару горячки, лежала Татьяна; Капитолина Марковна сидела возле нее.

---

* Исторический факт.

** Предчувствия Литвинова сбылись. В 1866 г. было в Гейдельберге учащихся русских в летний семестр тринадцать, а в зимний — двенадцать.

— Таня,— говорила она,— ради бога, позволь мне послать телеграмму к Григорию Михайловичу; позволь, Таня.

— Нет, тетя,— отвечала она,— не надо, не пугайся. Дай мне воды; это скоро пройдет.

И действительно, неделю спустя здоровье ее поправилось, и обе подруги продолжали свое путешествие.

XXVII

Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, Литвинов вернулся в свое поместье. Он испугался, увидав отца: до того тот похилел и опустился. Старик обрадовался сыну, насколько может радоваться человек, уже покончивший с жизнью; тотчас сдал ему все, сильно расстроенные, дела и, проскрипев еще несколько недель, сошел с земного поприща. Литвинов остался один в своем ветхом господском флигельке и с тяжелым сердцем, без надежды, без рвения и без денег — начал хозяйничать. Хозяйничанье в России невеселое, слишком многим известное дело; мы не станем распространяться о том, как солоно оно показалось Литвинову. О преобразованиях и нововведениях, разумеется, не могло быть и речи; применение приобретенных за границею сведений отодвинулось на неопределенное время; нужда заставляла перебиваться со дня на день, соглашаться на всякие уступки — и вещественные и нравственные. Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумелый сталкивался с недобросовестным; весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно великое слово «свобода» носилось как божий дух над водами. Терпение требовалось прежде всего, и терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости подчас... Литвинову, при душевном его настроении, приходилось вдвойне тяжело. Охоты жить в нем оставалось мало... Откуда же было взяться охоте хлопотать и работать?

Но минул год, за ним минул другой, начинался третий. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила в кровь и плоть: выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его врагам — ни явным, ни тайным. Сам Литвинов хотя кончил тем, что отдал большую часть земли крестьянам исполу, т. е. обратился к убогому, первобытному хозяйству, однако кой в чем успел: возобно-

вил фабрику, завел крошечную ферму с пятью вольнонаемными работниками,— а перебывало их у него целых сорок,— расплатился с главными частными долгами... И дух в нем окреп: он снова стал походить на прежнего Литвинова. Правда, грустное, глубоко затаенное чувство не покидало его никогда, и затих он не по летам, замкнулся в свой тесный кружок, прекратил все прежние сношения... Но исчезло мертвенное равнодушие, и среди живых он снова двигался и действовал, как живой. Исчезли также и последние следы овладевшего им очарования: как сквозь сон являлось ему всё, что произошло в Бадене... А Ирина?.. И она побледнела и скрылась тоже, и только смутно чуялось Литвинову что-то опасное под туманом, постепенно окутавшим ее образ. О Татьяне изредка доходили вести; он знал, что она вместе с своею теткой поселилась в своем именьице, верстах в двухстах от него, живет тихо, мало выезжает и почти не принимает гостей,— а впрочем, покойна и здорова. Вот однажды в прекрасный майский день сидел он у себя в кабинете и безучастно перелистывал последний нумер петербургского журнала; слуга вошел к нему и доложил о приезде старика дяди. Дядя этот доводился двоюродным братом Капитолине Марковне и недавно посетил ее. Он купил имение по соседству Литвинова и пробирался туда. Целые сутки погостил он у своего племянника и много рассказывал о житье-бытье Татьяны. На другой день после его отъезда Литвинов отправил к ней письмо, первое после их разлуки. Он просил позволения возобновить хотя письменное знакомство и также желал знать, навсегда ли он должен покинуть мысль когда-нибудь с ней увидеться? Не без волнения ожидал он ответа... ответ пришел, наконец. Татьяна дружелюбно откликнулась на его запрос. «Если вам вздумается нас посетить,— так кончала она,— милости просим, приезжайте: говорят, даже больным легче вместе, чем порознь». Капитолина Марковна присоединяла свой поклон. Как дитя, обрадовался Литвинов; уже давно и ни от чего так весело не билось его сердце. И легко ему стало вдруг и светло... Так точно, когда солнце встает и разгоняет темноту ночи, легкий ветерок бежит вместе с солнечными лучами по лицу воскреснувшей земли. Весь этот день Литвинов всё посмеивался, даже когда обходил свое хозяйство и отдавал приказания. Он тотчас стал снаряжаться в дорогу, а две недели спустя он уже ехал к Татьяне.

XXVIII

Ехал он довольно медленно, проселками, без особенных приключений: раз только шина лопнула на заднем колесе; кузнец ее сваривал-сваривал, обругал и ее и себя, да так и бросил; к счастью, оказалось, что и с лопнувшею шиной можно у нас прекрасно путешествовать, особенно по «мякенькому», то есть по грязи. Зато с Литвиновым произошли две-три довольно любопытные встречи. На одной станции он застал мировой съезд и в челе его Пищалкина, который произвел на него впечатление Солона или Соломона: такою возвышенною мудростью дышали его речи, с таким безграничным уважением относились к нему и помещики и крестьяне... И по наружности Пищалкин стал походить на древнего мудреца: волосы его на темени вылезли, а пополневшее лицо совершенно застыло в какое-то величавое желе уже ничем не обузданной добродетели. Он поздравил Литвинова с прибытием «в мой — если смею употребить такое амбиционное выражение — собственный уезд», а впрочем, тут же так и замер в припадке благонамеренных ощущений. Одно известие он, однако, успел сообщить, а именно о Ворошилове. Витязь с золотой доски снова поступил на военную службу и уже успел прочесть лекцию офицерам своего полка «о буддизме» или «динамизме», что-то в этом роде... Пищалкин хорошенько не помнил. На другой станции Литвинову долго не закладывали лошадей; дело было на утренней зорьке, и он задремал, сидя в своей коляске. Голос, показавшийся ему знакомым, разбудил его: он раскрыл глаза...

Господи! да не г-н ли Губарев стоит в серой куртке и отвислых спальных панталонах на крыльце почтовой избы и ругается?.. Нет, это не г-н Губарев... Но какое поразительное сходство!.. Только у этого барина рот еще шире и зубастее, и взор понурых глаз еще свирепее, и нос крупнее, и борода гуще, и весь облик еще грузнее и противнее.

— Па-адлецы, па-адлецы! — твердил он медленно и злобно, широко разевая свой волчий рот.— Мужичье поганое... Вот она... хваленая свобода-то... и лошадей не достанешь... па-адлецы!

— Па-адлецы, па-адлецы! — послышался тут другой голос за дверями, и на крыльце предстал — тоже в серой куртке и отвислых спальных панталонах,— предстал на этот раз, действительно, несомненно, сам настоящий господин Губарев, Степан Николаевич Губарев.— Мужичье поганое! — продолжал он в подражание брату

(оказалось, что первый господин был его старший брат, «тот дантист» прежней школы, который заправлял его имением).— Бить их надо, вот что, по мордам бить; вот им какую свободу — в зубы... Толкуют... волостной голова!.. Я б их!.. Да где же этот мусье Ростон?.. Чего же он смотрит?.. Это его дело, дармоеда этакого... до беспокойства не доводить...

— А я ж вам сказывал, братец,— заговорил Губарев старший,— что он ни на что не годен, именно дармоед! Только вы вот по старой памяти... Мусье Ростон, мусье Ростон!.. Где ты пропадаешь?

— Ростон! Ростон! — закричал младший, великий Губарев.— Да покличьте же его хорошенько, братец Доримедонт Николаич.

— Я и то, братец Степан Николаич, его кличу.— Мусье Ростон!

— Вот я, вот я, вот я! — послышался торопливый голос, и из-за угла избы выскочил — Бамбаев.

Литвинов так и ахнул. На злосчастном энтузиасте плачевно болталась обтерханная венгерка с прорехами на рукавах; черты его не то что переменились, а скривились и сдвинулись, перетревоженные глазки выражали подобострастный испуг и голодную подчиненность; но крашеные усы по-прежнему торчали над пухлыми губами. Братья Губаревы немедленно и дружно принялись распекать его с вышины крыльца; он остановился перед ними внизу, в грязи и, униженно сгорбив спину, пытался умилостивить робкою улыбочкой, и картуз мял в красных пальцах, и ногами семенил, и бормотал, что лошади, мол, сейчас явятся... Но братья не унимались, пока младший не вскинул наконец глазами на Литвинова. Узнал ли он его, стыдно ли ему стало чужого человека, только он вдруг повернулся на пятках, по-медвежьи, и, закусив бороду, заковылял в станционную избу; братец тотчас умолк и, тоже повернувшись по-медвежьи, отправился за ним вслед. Великий Губарев, видно, и на родине не утратил своего влияния.

Бамбаев побрел было за братьями... Литвинов кликнул его по имени. Он оглянулся, воззрелся и, узнав Литвинова, так и ринулся к нему с протянутыми руками; но, добежав до коляски, ухватился за дверцы, припал к ним грудью и зарыдал в три ручья.

— Полно, полно же, Бамбаев,— твердил Литвинов, наклонясь над ним и трогая его за плечо.

Но он продолжал рыдать.

— Вот... вот... вот до чего...— бормотал он, всхлипывая.

— Бамбаев! — загремели братья в избе.

Бамбаев приподнял голову и поспешно утер слезы.

— Здравствуй, душа моя,— прошептал он,— здравствуй и прощай!.. Слышишь, зовут.

— Да какими судьбами ты здесь? — спросил Литвинов,— и что всё это значит? Я думал, они француза зовут...

— Я у них... домовым управляющим, дворецким,— отвечал Бамбаев и ткнул пальцем в направлении избы.— А во французы я попал так, для шутки. Что, брат, делать! Есть ведь нечего, последнего гроша лишился, так поневоле в петлю полезешь. Не до амбиции.

— Да давно ли *он* в России? и как же он с прежними товарищами разделался?

— Э! брат! Это теперь всё побоку... Погода вишь переменилась... Суханчикову, Матрену Кузьминишну, просто в шею прогнал. Та с горя в Португалию уехала.

— Как в Португалию? Что за вздор?

— Да, брат, в Португалию, с двумя матреновцами.

— С кем?

— С матреновцами: люди ее партии так прозываются.

— У Матрены Кузьминишны есть партия? И многочисленна она?

— Да вот именно эти два человека. А *он* с полгода скоро будет как сюда воротился. Других под сюркуп взяли, а ему ничего. В деревне с братцем живет, и послушал бы ты теперь...

— Бамбаев!

— Сейчас, Степан Николаич, сейчас. А ты, голубчик, процветаешь, наслаждаешься! Ну и слава богу! Куда это тебя несет теперь?.. Вот не думал, не гадал... Помнишь Баден? Эх, было житье! Кстати, Биндасова тоже ты помнишь? Представь, умер. В акцизные попал да подрался в трактире: ему кием голову и проломили. Да, да, тяжелые подошли времена! А всё же я скажу: Русь... экая эта Русь! Посмотри хоть на эту пару гусей: ведь в целой Европе ничего нет подобного. Настоящие арзамасские!

И, заплатив эту последнюю дань неистребимой потребности восторгаться, Бамбаев побежал в станционную избу, где опять и не без некоторых загвоздок произносилось его имя.

К концу того же дня Литвинов подъезжал к Татьяниной деревне. Домик, где жила бывшая его невеста, стоял на холме, над небольшой речкой, посреди недавно разведенного сада. Домик тоже был новенький, только что построенный, и далеко виднелся через речку и поле. Литвинову он открылся версты за две с своим острым мезонином и рядом окошек, ярко рдевших на вечернем солнце. Уже с последней станции он чувствовал тайную тревогу; но тут просто смятение овладело им, смятение радостное, не без некоторого страха. «Как меня встретят,— думал он,— как я предстану?..» Чтобы чем-нибудь развлечься, он заговорил с ямщиком, степенным мужиком с седою бородой, который, однако, взял с него за тридцать верст, тогда как и двадцати пяти не было. Он спросил его: знает ли он Шестовых помещиц?

— Шестовых-то? Как не знать! Барыни добрые, что толковать! Нашего брата тоже лечат. Верно говорю. Лекарки! К ним со всего округа ходят. Право. Так и ползут. Как кто, например, заболел, или порезался, или что, сей час к ним, и они сей час примочку там, порошки или флястырь — и ничего, помогает. А благодарность представлять не моги; мы, говорят, на это не согласны; мы не за деньги. Школу тоже завели... Ну, да это статья пустая!

Пока ямщик рассказывал, Литвинов не спускал глаз с домика... Вот женщина в белом вышла на балкон, постояла, постояла и скрылась... «Уж не она ли?» Сердце так и подпрыгнуло в нем. «Скорей! скорей!» — крикнул он на ямщика: тот погнал лошадей. Еще несколько мгновений... и коляска вкатилась в раскрытые ворота... А на крыльце уже стояла Капитолина Марковна и, вся вне себя, хлопая в ладоши, кричала: «Я узнала, я первая узнала! Это он! это он!.. Я узнала!»

Литвинов выскочил из коляски, не дав подбежавшему казачку открыть дверцы, и, торопливо обняв Капитолину Марковну, бросился в дом, через переднюю, в залу... Перед ним, вся застыдившись, стояла Татьяна. Она взглянула на него своими добрыми, ласковыми глазами (она несколько похудела, но это шло к ней) и подала ему руку. Но он не взял руки, он упал перед ней на колени. Она никак этого не ожидала и не знала, что сказать, что делать... Слезы выступили у ней на глаза. Испугалась она, а всё лицо расцветало радостью... «Григорий Михайлыч, что это, Григорий Михайлыч?» — говорила она... а он продолжал лобызать край ее одежды... и с умилением вспом-

нилось ему, как он в Бадене так же лежал перед ней на коленях... Но тогда — и теперь!

— Таня,— твердил он,— Таня, ты меня простила, Таня?

— Тетя, тетя, что ж это? — обратилась Татьяна к вошедшей Капитолине Марковне.

— Не мешай, не мешай ему, Таня,— отвечала добрая старушка,— видишь: повинную голову принес.

Однако пора кончить; да и прибавлять нечего; читатель догадается и сам... Но что ж Ирина?

Она всё так же прелестна, несмотря на свои тридцать лет; молодые люди влюбляются в нее без счета и влюблялись бы еще более, если б... если б...

Читатель, не угодно ли вам перенестись с нами на несколько мгновений в Петербург, в одно из первых тамошних зданий? Смотрите: перед вами просторный покой, убранный не скажем богато — это выражение слишком низменно,— но важно, представительно, внушительно. Чувствуете ли вы некий трепет подобострастия? Знайте же: вы вступили в храм, в храм, посвященный высшему приличию, любвеобильной добродетели, словом: неземному. Какая-то тайная, действительная тайная тишина вас объемлет. Бархатные портьерки у дверей, бархатные занавески у окон, пухлый, рыхлый ковер на полу, всё как бы предназначено и приспособлено к укрощению, к смягчению всяких грубых звуков и сильных ощущений. Тщательно завешанные лампы внушают степенные чувства; благопристойный запах разлит в спертом воздухе, самый самовар на столе шипит сдержанно и скромно. Хозяйка дома, особа важная в петербургском мире, говорит чуть слышно; она всегда говорит так, как будто в комнате находится трудный, почти умирающий больной; другие дамы, в подражание ей, едва шепчут; а сестра ее, разливающая чай, уже совсем беззвучно шевелит губами, так что сидящий перед ней молодой человек, случайно попавший в храм приличия, даже недоумевает, чего она от него хочет? а она в шестой раз шелестит ему: «Voulez-vous une tasse de thé?»[1] По углам виднеются молодые благообразные мужчины; тихое искательство светится в их взорах; безмятежно тихо, хотя и вкрадчиво, выражение их лиц; множество знаков отличия тихо мерцает на их гру-

---

[1] «Не хотите ли чашку чая?» *(франц.)*.

дях. Беседа ведется тоже тихая; касается она предметов духовных и патриотических, «Таинственной капли» Ф. Н. Глинки, миссий на Востоке, монастырей и братчиков в Белоруссии. Изредка, глухо выступая по мягкому ковру, проходят ливрейные лакеи; громадные их икры, облеченные в тесные шёлковые чулки, безмолвно вздрагивают при каждом шаге; почтительное трепетание дюжих мышц только усугубляет общее впечатление благолепия, благонамеренности, благоговения... Это храм! это храм!

— Видели вы сегодня госпожу Ратмирову? — кротко спрашивает одна особа.

— Я встретила ее сегодня у Lise,— отвечает эоловою арфой хозяйка,— мне жаль ее... У ней ум озлобленный... elle n'a pas la foi[1].

— Да, да,— повторяет особа...— это, помнится, Петр Иваныч про нее сказал, и очень верно сказал, qu'elle a... qu'elle a[2] l'озлобленный ум.

— Elle n'a pas la foi,— испаряется, как дым кадильный, голос хозяйки.— C'est une âme égarée[3]. У ней озлобленный ум.

— У ней озлобленный ум,— повторяет одними губами сестра.

И вот отчего молодые люди не все сплошь влюбляются в Ирину... Они ее боятся... они боятся ее «озлобленного ума». Такая составилась о ней ходячая фраза; в этой фразе, как во всякой фразе, есть доля истины. И не одни молодые люди ее боятся; ее боятся и взрослые, и высокопоставленные лица, и даже особы. Никто не умеет так верно и тонко подметить смешную или мелкую сторону характера, никому не дано так безжалостно заклеймить ее незабываемым словом... И тем больнее жжется это слово, что исходит оно из благоухающих, прекрасных уст... Трудно сказать, что происходит в этой душе; но в толпе ее обожателей молва ни за кем не признает названия избранника.

Муж Ирины быстро подвигается па том пути, который у французов называется путем почестей. Тучный генерал обскакивает его; снисходительный остается сзади. И в том же городе, где проживает Ирина, проживает и наш приятель, Созонт Потугин: он редко с ней видится, и нет для нее особенной надобности поддерживать с ним связь... Та девочка, которую поручили его попечениям, недавно умерла.

---

[1] у нее нет веры *(франц.)*.
[2] что у ней... у ней *(франц.)*.
[3] Это заблудшая душа *(франц.)*.

ПРИЛОЖЕНИЕ

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТДЕЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ «ДЫМА»⟩

Ввиду многоразличных нареканий, которым подверглась повесть «Дым», некоторые приятели автора советовали ему снабдить отдельное ее издание предисловием, в котором он бы постарался разъяснить возникшие недоразумения. Но по зрелом обсуждении дела автор не почел нужным последовать данному совету. Подобные объяснения всегда сбиваются на оправдания — а оправдываться ему не в чем, так как он виноватым себя не почитает. Притом никакие доводы не убедят тех из его читателей, которые не захотят или не сумеют признать мысль, положенную в основание характеру Потугина — лица, по-видимому, более всех других оскорбившего патриотическое чувство публики; пускай же это лицо само говорит за себя. Автор ограничился тем, что придал ему несколько новых черт, еще определительнее высказывающих его значение, сущность и смысл.

Отвечать на обвинения в отступничестве, в клевете, в недобросовестном незнании России и т. п. автор, конечно, не станет. Справедливо сказал А. де Виньи: «Les lettres ont cela de fatal, que la position n'y est jamais conquise définitivement. Le nom est, à chaque oeuvre, remis en lotterie et tiré au sort pêle-mele avec les plus indignes. Chaque oeuvre nouvelle est presque comme un dèbut. Aussi n'est-ce pas une carrière que celle des lettres» [1].

Печатая второе отдельное издание «Дыма», автор не находит нужным прибавить что-либо новое к словам, которые он предпослал первому изданию. Он радуется тому, что его книгу читают; он надеется, что она принесет пользу, несмотря на неизбежные недостатки.

Баден-Баден.
Апрель 1868 г.

---

[1] Литература имеет то роковое свойство, что положение в ней никогда не бывает завоевано окончательно. С каждым произведением имя писателя разыгрывается вперемежку с самыми недостойными. Каждое новое произведение — это почти дебют. Вот почему в литературе нельзя сделать карьеру *(франц.)*.

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ[1]

Гутьяр — Гутьяр Н. М. И. С. Тургенев. Юрьев, 1907.

Достоевский, *Письма* — Достоевский Ф. М. Письма, тт. I—IV./ Под ред. и с примеч. А. С. Долинина. М.; Л.: ГИЗ — Academia — Гослитиздат, 1928—1959.

Никитенко — Никитенко А. В. Дневник в 3-х т. Л.: Гослитиздат, 1955—1956.

Писемский — Писемский А. Ф. Письма. Подготовка текста и комментарии М. К. Клемана и А. П. Могилянского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936 (Литературный архив).

Т, *Дым*, *1868* — «Дым», соч. Ив. Тургенева. М.: Изд. 1-е и 2-е бр. Салаевых, 1868.

Т, *Отцы и дети*, *1862* — «Отцы и дети». Сочинение Ив. Тургенева.

---

[1] В настоящем списке раскрываются условные сокращения, вводимые впервые.

Настоящий том объединяет произведения, написанные в 1860—1867 годах: роман «Отцы и дети» (1860—1862), рассказы «Призраки» (1863—1864), «Довольно» (1862—1865), «Собака» (1864—1866), роман «Дым» (1865—1867).

В следующем после «Накануне» романе, в «Отцах и детях», Тургенев изобразил русского героя, с ярко выраженным национальным характером, вступившего в непримиримый конфликт с внутренними врагами родины. Он отверг религию, эстетику, этику — все верования поколения «отцов», противопоставив им революционно-демократическую мораль, отрицавшую самодержавно-крепостнический строй. В письме к М. Н. Каткову от 30 октября (11 ноября) 1861 г. Тургенев писал о Базарове: «...он — в моих глазах — действительно герой нашего времени». Однако, сделав Базарова нигилистом и революционером, Тургенев не верил в возможность победы этого рода исторических деятелей. Раздумья писателя о будущем России и Запада, об их историческом пути, о прогрессе и цивилизации нашли отражение в спорах с Герценом и Огаревым, в ходе которых рождался замысел нового романа — «Дым». Тургенев склонен был объяснять тяжелое состояние духа «давлением времени», обстоятельствами историческими, общественными. В письме к Ф. М. Достоевскому от 13 (25) мая 1863 г. Тургенев говорит о «теперешнем тяжелом и важном времени». О «трудном времени», о «трагической стороне в судьбах *всей европейской* семьи (включая, разумеется, и Россию)» идет речь в письмах к В. П. Боткину от 21 сентября (3 октября) 1863 г. и к А. И. Герцену от 13 (25) ноября 1862 г. Сочувственно откликаясь на замечание П. В. Анненкова: «...мы теперь живем с такой судорожной быстротою, с какой положительно ни в одном углу Европы не живется. А происходит это от простой причины. Начиная с первого министра до последнего мужика никто не знает, что теперь дозволено и что запрещено»,— Тургенев писал ему 29 ноября (11 декабря) 1865 г.: «...очень я смеялся Вашему описанию современной каши».

Положение дел в пореформенной России далеко не оправдывало прежних оптимистических надежд Тургенева. Полагая, впрочем, как и раньше, что отмена крепостного права — величайшее благо,

громадный исторический «переворот» в русской жизни, который определит в ней всё к лучшему, писатель с горечью должен был констатировать необычайную скудость результатов, исторических итогов «благополезных» реформ.

Побывав на родине в 1868 году, Тургенев писал 16 (28) июля 1868 г. брату Н. С. Тургеневу: «...бессилие, вялость и невылазная грязь и бедность везде. Картина невеселая — но *верная*». Ничего утешительного не открывалось художнику и в области политических отношений. С тревогой наблюдал Тургенев растущий изо дня в день натиск реакции, запрещение «Времени», «Современника», «Русского слова», подавление студенческого движения, террор и административные бесчинства властей, усилившиеся в годы польского восстания, а затем в особенности после каракозовского выстрела. Тургенев видел, что получают силу наглые притязания вчерашних крепостников, утверждавших, что спасти Россию от «смут и разорения» можно только возвращением назад, к старым порядкам.

Проявлявшаяся у Тургенева и ранее склонность к трагическому восприятию жизни, к философскому скепсису, под влиянием бурных политических событий и классовых конфликтов, обостряется. Писателю весьма импонируют пессимистические парадоксы Шопенгауэра, Паскаля, и даже в себе самом он улавливает склонность к «мизантропическим выходкам». Не случайно ему пришлась по душе книга Э. Кине «La Révolution» (1865). «Ни одна книга,— писал он 17 (29) января 1866 г. П. В. Анненкову,— еще не оскорбляла французской публики так, как книга Кине́: все партии скрежещут зубами. Они не могут простить ему его презрительное неверие в будущность, силу и интеллигенцию латинских рас вообще и французского народа в особенности...»

В беспокойной идейной атмосфере в эти годы Тургеневу меньше всего свойственна позиция равнодушного наблюдателя. Он активно отстаивает свои взгляды, в которых видна подлинная забота о социально-культурном прогрессе родины, но с тем вместе и принципиальные разногласия с теориями социалистическими, революционно-демократическими.

Всё еще не отшумевшая полемика вокруг «Отцов и детей» продолжала доставлять Тургеневу неприятнейшие минуты, когда он чувствовал неприязнь, вражду к себе людей молодого поколения.

В письмах Тургенева середины шестидесятых годов нередки признания, что он охладел к литературному труду, предпочитает молчать и, может быть, вообще расстанется с литературным творчеством. Несмотря на это, какого-либо особого понижения писательской активности Тургенева не наблюдается. Но писать он начинает несколько иначе, чем раньше. Об этих переменах свидетель-

ствовал сам Тургенев. В письме к В. П. Боткину от 26 ноября (8 декабря) 1863 г. он заявлял, например, имея в виду необычность содержания и формы «Призраков»: «Никакого нет сомнения, что я либо перестану вовсе писать, либо буду писать совсем не то и не так, как до сих пор». А в письме к М. В. Авдееву от 25 января (6 февраля) 1867 г. сообщал: «Роман мой озаглавлен: „Дым" — может быть, заглавие это переменится — и написан в новом для меня роде».

Общественные и личные обстоятельства, о которых шла речь, оставили заметный след в большинстве произведений, входящих в настоящий том, довольно сложный по своему составу. «Призраки» и «Довольно» созданы после «Отцов и детей» и в значительной мере под влиянием полемики вокруг этого романа; завершением мыслей и переживаний, выраженных в «Призраках» и «Довольно», явился «Дым». В свою очередь «Собака» начинает обозначившийся позднее в творчестве Тургенева цикл так называемых таинственных повестей.

В письме к М. Н. Лонгинову от 7 (19) ноября 1856 г., откликаясь на критические толки о повести «Фауст», тогда появившейся в печати, Тургенев, между прочим, заявил: «И „Фауст" неудачно выбран — и напрасно хватил я фантастического элемента. Видно, мне было написано на роду заплатить ему дань. Теперь мы с ним квиты». Однако случилось нечто другое. Через несколько лет Тургенев вновь обратился к фантастическому. В «Призраках», «Собаке», а затем и в позднейших произведениях («Странная история», «Сон», «Песнь торжествующей любви» и т. д.) речь идет не просто об иррациональном, подсознательном в аспекте психологическом, как это в значительной мере еще было в «Фаусте»,— здесь появляются вполне фантастические образы (Эллис), таинственные, необъяснимые ситуации.

К мистицизму Тургенев никогда не был привержен. Об этом он недвусмысленно заявлял сам. Но вторжение в поэтику тургеневских вещей таинственного, фантастического — не прихотливая случайность, не вызов трезвому вкусу современников и не дерзкое использование элементов «старого» романтизма. Обращение к фантастике подчинено у Тургенева своего рода закону идейно-эстетической целесообразности. Таинственное, необычное появляется тогда и там, когда и где художник особенно мрачно расценивает жизнь, окружающий его мир. Ведь идейная сердцевина «Призраков» — философия отчаяния, крайне пессимистического мироощущения. Человек — жалкая пылинка в грозной игре стихий природы, он совершенно бессилен перед властью неизбежного; вся его жизнь, история — цепь страшных призраков, заблуждений, слепоты преступлений, деспотической тирании и унизительного малодушия. И тщетны его усилия обрести счастье, красоту, любовь. В такие-то

минуты, как полагал художник, и «вторгается» в обычное человеческое существование необычное, таинственное как знак неких не подвластных людям сил. Особенностью художественной структуры «Призраков» и «Собаки» является чередование сугубо реалистических до прозаизма картин и фантастических эпизодов, как бы прорывающих мир осязаемой повседневности и увлекающих человека в загадочную сферу безотрадной, величественно-гнетущей вечности. В авторском пессимизме «Призраков» и «Довольно» явственно проступают социальные мотивы, конкретизирующиеся в непримиримо резкой, бичующей характеристике политического быта современной Тургеневу российской и европейской действительности. Помимо фантастических форм именно этот углубившийся социально-философский критицизм и ощущался Тургеневым как нечто заметно новое в его творческой работе.

Характерно, что своеобразие художественного строения романа «Дым» и манеры повествования автор подчеркнул в письме к П.В. Анненкову от 19 (21) января 1867 г. словами: «очень я безумствую в этом новом продукте». Действительно, наиболее популярным в русской общественной мысли историко-политическим и идеологическим концепциям и учениям Тургенев открыто, резко, бескомпромиссно, даже запальчиво противопоставил либерально-западническую программу развития России. Суть ее — освоение отсталой Россией основ европейской цивилизации. Тургенев подверг сатирическому осмеянию своих идейных противников: ничтожество побуждений, чувств и поступков светской аристократической черни (а за нею стояла официальная императорская Россия); бесплодность мессианских доктрин славянофилов; жизненную несостоятельность революционной эмиграции, олицетворенную в романе губаревским кружком бездельников и крикунов.

Полемический замысел «Дыма», весь идейный состав романа требовали особых, в данном случае публицистических и сатирических форм. Тонкий художник-стилист Тургенев смело пошел на это. Речи Потугина, выражающего важные пункты и авторских воззрений, напоминают публичное выступление или журнальную статью,— так порой близки они к ним политической обнаженностью содержания, логикой посылок и следствий, специфическими словесными оборотами и лексикой, наконец, ораторской интонацией.

Сатирическая струя идет в творчестве Тургенева с сороковых годов. Но ни в одном из предшествующих произведений писателя сатирические темы, положения и образы, гротескные и памфлетные характеристики не были столь целеустремленно, столь богато художнически разработаны, как в «Дыме». Политика и сатира утвердились в тургеневском романе как его органические жанровые при-

знаки, в полной мере проявившиеся и в последнем романе писателя «Новь».

Тексты произведений, входящих в настоящий том, печатаются по отредактированным самим автором томам (IV, V, VIII) полного собрания его сочинений (СПб., 1883), с исправлением явных опечаток и устранением некоторых дефектов текста по другим авторитетным источникам.

Тексты публикуемых произведений подготовили и примечания к ним написали: *А. И. Батюто* («Отцы и дети»), *Е. И. Кийко* (общая часть примечаний к «Призракам», «Дым»), *А. П. Могилянский* («Призраки» — текст и реальный комментарий), *Г. Ф. Перминов* при участии *Н. Н. Мостовской* («Довольно», «Собака»). Вводная статья к примечаниям написана *Е. И. Покусаевым* при участии *Е. И. Кийко.*

В подготовке тома к печати принимала участие *Е. М. Лобковская.*

Редакторы тома *Е. И. Кийко* и *С. А. Макашин.*

ОТЦЫ И ДЕТИ

(с. 5)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Беловой автограф. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*; Slave 74; описание см.: *Mazon*, p. 64—65; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 355.

Беловой автограф XII и XIII глав. Хранится в *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1264.

Предисловие к отдельному изданию романа. Копия. Хранится в *ЦГАОР*, ф. 279—И, оп. 1, ед. хр. 1062, л. 298. Опубликовано: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 290.

Рус Вестн, 1862, № 2, с. 473—663.

Рус Вестн, *ИРЛИ* — Вырезка из «Русского вестника», 1862, № 2. Журнальный текст с беглыми поправками автора, сделанными вскоре после выхода романа в свет. Хранится в библиотеке *ИРЛИ*.

Рус Вестн, *ГПБ* — Оттиск из «Русского вестника», 1862, № 2. Журнальный текст с авторскими поправками и дополнениями, сделанными в период подготовки отдельного издания 1862. Хранится в рукописном отделе *ГПБ*.

Т, *Отцы и дети*, *1862*— Отцы и дети. Сочинение Ив. Тургенева. М., 1862.

Т, *Соч*, *1865*, ч. 5, с. 77—296.

Т, *Соч*, *1869*, ч. 5, с. 77—291.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 5, с. 75—286.

Т, *Соч*, *1880*, т. 4, с. 173—387.

Т, *ПСС*, *1883*, т. 4, с. 193—440.

Впервые опубликовано: *Рус Вестн*, 1862, № 2, с. 473—663, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* с учетом списков опечаток, приложенных к *Т*, *Соч*, *1874* и *Т*, *Соч*, *1880*, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 18, *строка 33:* «лаковые полусапожки» вместо «лайковые полусапожки» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865*, *Т*, *Соч*, *1869*).

Стр. 23, *строка 22:* «Мне неловко» вместо «Мне нелегко» (по всем другим печатным источникам и беловому автографу).

Стр. 25, *строка 35:* «любоваться вами будем» вместо «любоваться будем» (по всем другим печатным источникам и беловому автографу).

Стр. 27, *строка 5:* «Фома „дибоширничает“» вместо «Фома дибоширничает» (по всем печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 34, *строки 25—26:* «время, в которое он жил» вместо «время, в котором он жил» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865*).

Стр. 63, *строка 44:* «всё это еще не готово» вместо «всё еще не

готово» (по беловому автографу и по всем печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 67, *строка 14:* «выскочил» вместо «вскочил» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865*, *Т*, *Соч*, *1869*).

Стр. 69, *строки 4—5:* «подвел Аркадия к Одинцовой» вместо «провел Аркадия к Одинцовой» (по всем другим источникам).

Стр. 70, *строка 2:* «ни единого слова» вместо «единого слова» (по всем другим источникам).

Стр. 83, *строка 32:* «ни перед чем не отступала» вместо «ни перед чем не уступала» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865)*.

Стр. 85, *строка 25:* «с дворецким» вместо «с дворецкими» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*).

Стр. 85, *строки 34—35:* «так и обедать» вместо «так обедать» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865*, *Т*, *Соч*, *1869*, *Т*, *Соч*, *1874)*.

Стр. 89, *строка 2:* «Арина Власьевна» вместо «Арина Васильевна» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865)*.

Стр. 112, *строки 20—21*: «его она боялась» вместо «она его боялась» (по всем другим печатным источникам и беловому автографу).

Стр. 113, *строка 10:* «в ваши счастливые лета» вместо «в наши счастливые лета» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 120, *строки 37—38:* «нашего старосты» вместо «вашего старосты» (по смыслу; описка в рукописи, не исправленная ни в одном из прижизненных изданий).

Стр. 132, *строки 31—32:* «Но он вспоминал» вместо «Но он вспомнил» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865)*.

Стр. 141, *строка 14:* «Чего же больше?» вместо «Чего больше?» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865*, *Т*, *Соч. 1869*, *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 150, *строка 39:* «Нет-с... да-с...» вместо «Нет-с...» (по всем другим источникам).

Стр. 178, *строки 29—30*: «и, внезапно схватив» вместо «и, внезапно схватил» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865)*.

Стр. 179, *строка 25:* «прошел кризис» вместо «пришел кризис» (по беловому автографу, *Рус Вестн*, *Т*, *Отцы и дети*, *1862*, *Т*, *Соч*, *1865*, *Т*, *Соч*, *1869)*.

I

Замысел романа «Отцы и дети» возник летом 1860 г. Первое упоминание о нем содержится в письме к графине Е. Е. Ламберт от 6 (18) августа 1860 г., которой Тургенев сообщал, что «начал понемногу работать; задумал новую большую повесть...». В течение почти двух месяцев Тургенев был занят обдумыванием плана. По-видимому, план романа, по принятому писателем обыкновению, был зафиксирован на бумаге, но до нас он не дошел. К 30 сентября (12 октября) 1860 г. план уже был «готов до малейших подробностей» и обсужден с В. П. Боткиным, который его одобрил. Сообщая об этом в письме к П. В. Анненкову от 30 сентября (12 октября) 1860 г.,

Тургенев в то же время просил передать записку былому товарищу по «Современнику», И. И. Панаеву. Написанная холодно и официально, она представляла собою формальный отказ от продолжения сотрудничества в журнале и уведомление о том, что новый роман предназначен для «Русского вестника». Как видно из того же письма к П. В. Анненкову, Тургенев был крайне раздражен напечатанной в июньской книжке «Современника» за 1860 г. неподписанной рецензией на книгу Н. Готорна «Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии». В рецензии были резкие суждения о романе «Рудин», и Тургенев считал, что она принадлежит Добролюбову, ранее написанная статья которого о «Накануне» явилась, как известно, одной из важнейших причин его конфликта с «Современником». В действительности автором рецензии был Н. Г. Чернышевский.

В октябре и ноябре 1860 г. Тургенев работает мало. Только со второй половины ноября он «серьезно» принимается за «новую повесть». В течение двух-трех недель треть ее была написана, и к концу февраля 1861 г. Тургенев предполагает закончить всю работу, о чем он сообщил М. Н. Каткову 7 (19) декабря 1860 г. Однако в дальнейшем снова наступает продолжительный застой.

В феврале 1861 г. Тургенев выражает согласие на просьбу Е. В. Салиас де Турнемир и Е. М. Феоктистова о напечатании в издававшейся ими газете «Русская речь» одной из глав романа. Для этого потребовалось разрешение редактора «Русского вестника» М. Н. Каткова, которое было дано, по-видимому, неохотно. Судя по письмам Тургенева к Феоктистову от 1 (13) февраля и 8 (20) марта 1861 г., Катков проявил при этом подозрительность и меркантильность. Несмотря на разрешение Каткова, глава из романа в «Русской речи» не появилась. Рукопись ее, соответствующая главам XII и XIII окончательного текста и хранящаяся ныне в *ИРЛИ*, имеет заглавие: «Отрывок из романа „Отцы и дети". Глава двенадцатая». В редакционном примечании на полях первого листа, написанном Катковым, сказано, что весь роман появится в «Русском вестнике», а эта глава печатается с согласия редакции этого журнала. Текст отрывка отличается от соответствующего текста основной рукописи лишь мелкими разночтениями.

14 (26) марта 1861 г., обещая Л. Н. Толстому, в письме из Парижа в Брюссель, прочесть при встрече в России «Отцов и детей», Тургенев предупреждает, что чтение совершится «едва ли скоро», так как «вся штука застряла на половине». А в письме к П. В. Анненкову, написанном через восемь дней, 22 марта (3 апреля), Тургенев заявляет: «Работа моя совсем приостановилась; окончу ее, бог даст, в деревне». О возобновлении работы над романом после возвращения из-за границы Тургенев впервые упоминает в письме к Ламберт от 19 (31) мая 1861 г.

Вторая половина романа была закончена в июле или в августе 1861 г. 6 (18) августа 1861 г. Тургенев извещал П. В. Анненкова: «Мой труд окончен наконец, 20 июля написал я блаженное последнее слово». Но в статье «По поводу „Отцов и детей"» названа другая дата — 30 июля 1861 г., а в рукописи романа — третья: «Кончено в августе 1861». Очевидно, между 20 июля и отъездом из Спасского — 29 августа ст. ст. 1861 г.— Тургенев вносил в первоначальную рукопись романа какие-то добавления и поправки; кроме того, он переписывал ее.

По сравнению с другими романами Тургенева «Отцы и дети» были написаны им очень быстро. В его письмах за летние месяцы 1861 г. чувствуется и увлечение работой и удовлетворение ее темпом. Но в этих же письмах звучат и другие ноты — неуверенность в том, что роман «удался», и предчувствие, что он не будет принят демократическим лагерем. «Не знаю, каков будет успех,— записал Тургенев в дневнике 30 июля ст. ст. 1861 г.— „Современник", вероятно, обольет меня презрением за Базарова — и не поверит, что во всё время писания я чувствовал к нему невольное влечение...» (см. подстрочные примечания Тургенева к статье «По поводу „Отцов и детей"»).

29 августа ст. ст. 1861 г. Тургенев отправился в Петербург с заездом в Москву, увозя с собой две рукописи «Отцов и детей» — первоначальную беловую и вновь перебеленную. Первую из них Тургенев оставил у себя («парижская рукопись»), а вторую передал сотруднику редакции «Русского вестника» Н. В. Щербаню, и она явилась оригиналом при наборе романа в журнале. Накануне отъезда из Спасского, 28 августа (9 сентября) 1861 г., Тургенев писал П. В. Анненкову: «Моя повесть будет вручена Каткову с особенной инструкцией, а именно: по прибытии Вашем в Москву рукопись должна быть вручена Вам, и Вы, по прочтении, напишите мне в Париж подробное Ваше мнение, с критикою того, что Вы найдете недостаточным; я сейчас же примусь за поправки...»

В Петербурге Тургенев давал читать «Отцов и детей» Е. Я. Колбасину, Н. Н. и А. П. Тютчевым и, судя по воспоминаниям М. А. Паткуль, сам прочел роман ей и графине Ламберт. Н. Н. и А. П. Тютчевы, старые знакомые писателя, «осудили ⟨...⟩ повесть на сожжение или по крайней мере на отложение ее в дальний ящик» (см. письмо Тургенева к Анненкову от 26 сентября (8 октября) 1861 г.). П. В. Анненков, видевшийся с Тютчевыми в Петербурге после отъезда Тургенева в Париж, отмечает в своих воспоминаниях, что «приговор» Тютчевых над романом «Отцы и дети» «вышел из начал совершенно противуположных тем, которые руководили мнением г. Каткова; они боялись за антилиберальный дух, который отделялся от Базарова, и отчасти предвидели неприятные последствия для Тургенева из этого обстоятельства» (*Анненков*, с. 479). Е. Я. Колбасину роман показался скучным; однако впоследствии, ознакомившись с ним по печатному тексту, Е. Я. Колбасин сообщил Тургеневу свой положительный отзыв, в котором содержалась, в частности, информация, что и А. П. Тютчева также изменила свое первоначальное мнение о романе (см.: *Т и круг Совр*, с. 360). Что касается графини Ламберт и М. А. Паткуль, то, как вспоминает последняя, «Базаров не понравился» им, «личность Базарова» была им «антипатична» (*ИВ*, 1902, № 7, с. 60).

В сентябре 1861 г. П. В. Анненков приехал в Москву, и ему немедленно была доставлена рукопись с просьбой не задерживать ее. «Исполняя предписание,— пишет Анненков,— я в два дня *проглотил* роман, который мне показался грандиозным созданием, каким он действительно и был. Помню, что меня поразила одна особенность в характере Базарова: он относится с таким же холодным презрением к собственному своему искреннему чувству, как к идеям и обществу, между которыми живет. Эта монотонность, прямолинейность отрицания мешает в него вглядеться и распознать его психическую основу. Кажется, я тотчас же и передал это замечание авто-

ру романа, но в общем известии о получении отзыва моего не видно, чтобы он дал ему какую-либо цену. То же самое было почти и со всеми другими отзывами: Тургенев был доволен романом и не принимал в соображение замечаний, которые могли бы изменить физиономию лиц или расстроить план романа» (*Анненков*, с. 477). Последние утверждения Анненкова не соответствуют истине. В действительности Тургенев произвел большую доработку рукописи в связи с отзывами, стекавшимися к нему со всех сторон. И если общий «план романа» в результате такой доработки не изменился, этого нельзя сказать о «физиономии лиц» произведения.

По поручению Тургенева Анненков должен был добиться от Каткова согласия на напечатание «Отцов и детей» в *одной* книжке журнала. Во время беседы на эту тему между ними состоялся обмен мнениями о Базарове. По воспоминаниям Анненкова, Катков «не восхищался романом, а, напротив, с первых же слов заметил: „Как не стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином“.— „Но, М. Н.,— возражал я,— этого не видно в романе, Базаров возбуждает там ужас и отвращение“.— „Это правда,— отвечал он,— но в ужас и отвращение может рядиться и затаенное благоволение, а опытный глаз узнает птицу в этой форме...“— „Неужели вы думаете, М. Н.,— воскликнул я,— что Тургенев способен унизиться до апофеозы радикализму, до покровительства всякой умственной и нравственной распущенности?..“— „Я этого не говорил,— отвечал г. Катков горячо и, видимо, одушевляясь,— а выходит похоже на то. Подумайте только, молодец этот, Базаров, господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора. Даже и смерть его есть еще торжество, венец, коронующий эту достославную жизнь, и это, хотя и случайное, но все-таки самопожертвование. Далее идти нельзя!“— „Но, М. Н.,— замечал я,— в художественном отношении никогда не следует выставлять врагов своих в неприглядном виде, а напротив, рисовать их с лучших сторон“.— „Прекрасно-с,— полуиронически и полуубежденно возражал г. Катков,— но тут, кроме искусства, припомните, существует еще и политический вопрос. Кто может знать, во что обратится этот тип? Ведь это только начало его. Возвеличивать спозаранку и украшать его цветами творчества значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии. Впрочем,— добавил г. Катков, подымаясь с дивана,— я напишу об этом Тургеневу и подожду его ответа“» (там же, с. 477—478).

По существу в мнениях Каткова и Анненкова о Базарове как выразителе разночинно-демократической идеологии глубокого различия не было. Но искренность и объективность воспоминаний Анненкова, изображающего беседу с Катковым как горячий спор, не приведший к взаимному согласию, остается вне подозрений. Анненков, по-видимому, опасался со стороны воинственного редактора «Русского вестника» таких действий, которые могли поставить под угрозу судьбу романа в целом или по крайней мере создать обременительные для автора затруднения при его прохождении в печати.

16 (28) сентября 1861 г. Тургенев приехал в Париж и вскоре устроил чтение романа в кругу друзей и знакомых — В. П. Боткина, Н. В. Ханыкова, К. К. Случевского, В. Д. Скарятина, Н. В. Щербаня. По свидетельству Щербаня, роман встретил горячее одобрение слушателей и в особенности В. П. Боткина, суждениями которого Тургенев очень дорожил (*Рус Вестн*, 1890, № 7, с. 17—18).

1 (13) октября Тургенев получил письмо П. В. Анненкова от

26 сентября (8 октября) 1861 г. с подробным отзывом о романе [1]. В тот же день Тургенев писал Анненкову: «Оно ⟨мнение Анненкова⟩ меня очень порадовало, тем более, что доверие к собственному труду было сильно потрясено во мне. Со всеми замечаниями Вашими я вполне согласен (тем более, что и В. П. Боткин находит их справедливыми) и с завтрашнего дня принимаюсь за исправления и переделки, которые примут, вероятно, довольно большие размеры...» Эта работа вместо предполагавшихся двух недель тянулась около трех с половиной месяцев. Правка текста велась по рукописи, привезенной Тургеневым из Спасского; дополнения, вставки и исправления были собраны затем в отдельной тетради и отправлены в редакцию «Русского вестника».

Сопоставив содержание письма Анненкова с текстом романа, в статье «К творческой истории романа И. С. Тургенева „Отцы и дети“» (Русская литература, 1958, № 1), В. Архипов установил, что Анненков подсказал Тургеневу ряд добавлений и изменений, внесенных писателем в его произведение. К таким добавлениям относится прежде всего знаменитое суждение Павла Петровича Кирсанова в X главе о Базарове и его сторонниках как представителях «дикой монгольской силы», не имеющей ничего общего с «прогрессом» и «цивилизацией». Однако характеристика Базарова в духе Анненкова, вложенная в уста антипода «нигилиста», многое утратила от своего первоначального смысла. Во-первых, отношение Тургенева к П. П. Кирсанову на всем протяжении романа скорее насмешливое, чем сочувственное, и, следовательно, то, что думает Кирсанов, нельзя всецело приписывать Тургеневу. Во-вторых,—и это гораздо важнее,— сентенция Анненкова удачно использована Тургеневым в качестве выразительной характеристики отношения либерала к демократии, а это было одной из существенных задач романа, рассчитанного на уловление самого духа, на передачу атмосферы общественно-политической борьбы шестидесятых годов.

Далее Анненков писал Тургеневу: «...Вы сумели действительно кинуть на Базарова плутарховский оттенок, благодаря тому, что не дали ему даже „жгучего, болезненного самолюбия“, отличающего всё поколение нигилистов ⟨...⟩ Ведь это жизненная черта, и отсутствие ее именно делает то, что Базарова заподозревают в непринадлежности к здешнему миру, относя его к героическому циклу, к родству с Оссианом наизнанку и т. д. Для того, чтоб высказать оборотную сторону этого характера, мало превосходной сцены с Аркадием у копны сена, надо, чтоб в Базарове по временам или когда-нибудь проскользнул и Ситников ⟨...⟩ Делу, впрочем, пособить легко, если, сохраняя всё презрение к Ситникову, он когда-нибудь заметит Аркадию, что Ситниковых надо беречь на основании правила, изложенного еще князем Воронцовым, который на жалобы о мерзостях какого-то исправника отвечал: „Я знаю, что он негодяй, но у него есть важное достоинство — он ко мне искренно привязан“» (Русская литература, 1958, № 1, с. 148). Совет Анненкова был принят Тургеневым, в результате чего на полях «парижской рукописи», в соответствующем месте девятнадцатой главы, появилось рассуждение об «олухах» Ситниковых (см. с. 102 от слов «а потом произнес следующее» до слов: «— Да,— повторил угрюмо База-

[1] Этот отзыв впервые опубликован В. Архиповым в журнале «Русская литература», 1958, № 1, с. 147—149.

ров,—ты еще глуп»). Эта вставка послужила в дальнейшем одним из поводов для нападок на роман в демократических журналах.

В то же время «парижская рукопись» свидетельствует, что предположение В. Архипова, будто результатом правки под влиянием приведенного замечания Анненкова следует считать также и слова о Базарове в пятнадцатой главе: «и, развалясь в кресле не хуже Ситникова»,— неверно. Эти слова не были вписаны над строкой или на полях; они находятся в первоначальном слое рукописи.

Следующее замечание Анненкова касалось образа Анны Сергеевны Одинцовой. «Этот тип нарисован у вас так тонко,— писал Анненков Тургеневу,— что вряд ли и уразумеют его вполне будущие судители. В одном только месте становится он смутен, именно в 25-й главе, где у А. С. в разговоре с Базаровым выражается новая ее покатость в сторону Аркадия. Черты делаются тут так мелки, что требуют сильной умственной лупы, которую не всякий обязан иметь для уразумения их. Кажется, следует намекнуть на новое ее психическое состояние каким-либо сильным оборотом, а то выходит точно японская табакерка, где заключены миниатюрные деревца с плодами, прудики и лодочки; и тем более досадно это, что общий тон повести рельефен, резок и ход ее весьма тверд. А что касается до сцены с Базаровым после получения просьбы Аркадия на бракосоизволение с Катей, то она уже просто невыносима. Это что-то вроде князь кугушевщины или вообще новой российской драматической литературы, где происходит говорение людей ради говорения и царствует какая-то противная, тепленькая и припахивающая психология. Заместите эту сцену, как хотите, хоть взаимной веселостью разговаривающих, из которых один смеется от злобы, а другая от отчаяния, но заместите непременно, коль дорожите моим уважением» (там же, с. 148—149).

Обращение к гл. XXV—XXVI рукописи показывает, что Тургенев учел и это замечание Анненкова. Он ввел некоторые новые штрихи в психологическую характеристику сцены разговора Одинцовой с Базаровым, убрав в то же время часть прежнего текста (см. соответствующие сопоставления в вариантах рукописи: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. VIII, с. 472, 474—475). В результате такой правки настроения героя и героини приобрели бóльшую ясность и определенность.

Если замечание о сцене Базаров — Одинцова имело чисто эстетический смысл, то другое замечание Анненкова — о Кавуре — было связано с отражением в романе идейно-политической борьбы и литературно-журнальной полемики эпохи. Анненков писал Тургеневу: «В одном из разговоров Базарова с Павлом Петровичем один из них упоминает о Кавуре, цитирует прямо место из „Современника“. Это, мне кажется, надо переменить; так близко, обличительно подходить к специальному явлению жизни — нельзя. Повесть отражает его мысль, а не слово, выражение, ухватку» (Русская литература, 1958, № 1, с. 148). В десятой главе романа есть такой выпад П. П. Кирсанова по адресу «нигилистов»: «А теперь им стоит только сказать: всё на свете вздор — и дело в шляпе!» В рукописи эта фраза вписана над строкой взамен зачеркнутого: «А теперь появились новые наставники и говорят каждому из них: да ты скажи только, что всё на свете вздор: наука — вздор, искусство — вздор, гражданский порядок — вздор, само обличение даже — вздор, самый народ — пустяки, Пальмерстон — осел, Кавур — идиот, — и будешь первым умницей!»

Разумеется, это не цитата из «Современника», как полагал Анненков, но речь здесь шла, конечно, об идеях именно этого журнала, выраженных в карикатурной форме. В этом убеждают и слова П. П. Кирсанова о «наставниках» молодежи — явный намек на Добролюбова и Чернышевского — и позднейший авторский комментарий Тургенева к журнальным выступлениям Добролюбова, посвященным характеристике западноевропейской — главным образом, итальянской — политической жизни. В «Воспоминаниях о Белинском» (1869) Тургенев писал: «Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов; он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура, Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас, в России, в 1862 году [2]) подобных нападений; он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им!» В подстрочном примечании к этой странице Тургенев отмечал: «Пишущий эти строки своими ушами слышал, как один молодой почитатель Добролюбова, за карточным столом, желая упрекнуть своего партнера в сделанной им грубой ошибке, воскликнул: „Ну, брат, какой же ты Кавур!“ Признаюсь, мне стало грустно: не за Кавура, разумеется!» (там же). Как видно из этих воспоминаний, Тургенев отнесся к выступлениям Добролюбова весьма критически, но без ожесточения, свойственного его герою П. П. Кирсанову. С другой стороны, Тургенев — и опять же вопреки Кирсанову — склонен все-таки допустить «справедливость упреков, заслуженных Кавуром». Важно отметить также, что до и в пору создания «Отцов и детей», т. е. в период, когда в «Современнике» одна за другой появлялись статьи, направленные против западноевропейского либерализма, имя Кавура даже не упоминается Тургеневым в его письмах и сочинениях. Тургенев в этот период восхищается Гарибальди — подлинным выразителем интересов итальянского народа. В письме к Герцену от 15 (27) августа 1862 г. он пишет: «А каков Гарибальди? С невольным трепетом следишь за каждым движением этого последнего из героев». Всё это, вместе взятое, заставляет предполагать в суждениях П. П. Кирсанова отражение не столько субъективно-авторского отношения к «Современнику», сколько объективную передачу политической позиции тогдашних либералов, чьим кумиром был Кавур. И действительно, речь П. П. Кирсанова представляет собою как бы квинтэссенцию тех оценок разночинно-демократической идеологии либеральным лагерем, которые то и дело мелькали на страницах журналов, противостоящих демократическому лагерю (см. ниже, с. 460).

Правка рукописи под влиянием Анненкова не ограничилась учетом замечаний, присланных им в цитированном письме.

В рукописи, служившей Тургеневу рабочим экземпляром, не был зачеркнут эпиграф:

Молодой человек человеку средних лет:
В вас было содержание, но не было силы.
Человек средних лет: А в вас — сила без содержания.
(Из современного разговора).

---

[2] Характерная ошибка Тургенева: статьи Добролюбова, напечатанные в 1860—1861 годах, он относит к году выхода в свет своего романа.

Однако в журнальной публикации романа он не появился. Когда роман уже набирался, Н. В. Щербань 15 (27) февраля 1862 г. сообщил Тургеневу: «По совету Анненкова, совершенно сходному с мнением редакции и с тем, к чему Вы больше склонялись, *эпиграф* не помещается» (*ИРЛИ*, 5770. XXXб. 60, л. 3). Таким образом, совет Анненкова послужил толчком к принятию решения, которым закончились собственные колебания Тургенева в отношении эпиграфа. Возможно, с этими колебаниями связана правка, сделанная Тургеневым в описании последних дней Базарова. После слов: «— Сила-то, сила,—промолвил он,— вся еще тут, а надо умирать!» в рукописи было такое продолжение: «Вот уже точно, как говорил этот шут, как бишь его — Павел Петрович, сила без содержания!» Эту фразу Тургенев, быть может, зачеркнул потому, что считал ее уже неуместной без «переклички» с эпиграфом.

II

1 (13) октября 1861 г., перед началом доработки «парижской рукописи» по замечаниям Анненкова, Тургенев писал Каткову, обеспокоенный его бурной реакцией на роман: «Я надеюсь, что вследствие моих поправок — фигура Базарова уяснится Вам и не будет производить на Вас впечатления апотеозы, чего не было в моих мыслях». Письма Каткова к Тургеневу с замечаниями о романе неизвестны. Однако с полной уверенностью можно утверждать, что редакторское давление Каткова на писателя в смысле требования ослабить элементы привлекательности в образе Базарова было очень сильно и граничило с прямым нажимом. Тургенев пошел на некоторые уступки Каткову. Он сам признавался в этом в письме к Герцену от 16 (28) апреля 1862 г., отвечая на упреки в тенденциозном отношении к Базарову. «Катков,— писал он,— на первых порах ужаснулся и увидел в нем ⟨Базарове⟩ *апофеозу* „Современника“ и вследствие этого уговорил меня выбросить немало смягчающих черт, в чем я раскаиваюсь».

Изменения, сделанные по настоянию Каткова, коснулись в основном глав, насыщенных непосредственными откликами на идейно-политическую «злобу дня». В письме от 30 октября (11 ноября) 1861 г., соглашаясь с некоторыми замечаниями Каткова, Тургенев добавлял: «Кстати, *спор* между П. П. и Базаровым совсем переделан и сокращен». Речь тут шла о том месте десятой главы «парижской рукописи», где Базаров выражает уверенность в сочувствии народа его идеям. Перед фразой: «От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела,— ответил Базаров» (с. 52) — Тургенев вычеркнул часть диалога:

«— А по-вашему лучше подлаживаться под него?

— Вы одни с целым народом?

— Мы не одни и народ не против нас.

— Одни с народом? — упорно повторял в свою очередь Павел Петрович».

Требованием снижения «апофеозы „Современника“», на чем настаивал Катков, было вызвано возникновение одного существенного изменения, внесенного Тургеневым в философскую беседу Базарова с Одинцовой в гл. XVI. Базаров выступает здесь пропагандистом, проводником некоторых идей и мыслей Чернышевского.

Убедиться в этом можно из следующего сопоставления:

Базаров (в главе XVI): «...изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой ⟨. . .⟩ Мы приблизительно знаем, отчего происходят телесные недуги; а нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы; от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет» (с. 78—79).

Чернышевский (в статье «Русский человек на rendez-vous»)
«Каждый человек — как все люди, в каждом точно то же, что и в других... Различия только потому кажутся важны, что лежат на поверхности и бросаются в глаза, а под видимым, кажущимся различием скрывается совершенное тождество ⟨. . .⟩ Из двух здоровых людей ⟨. . .⟩ у одного пульс бьется, конечно, несколько сильнее и чаще, нежели у другого; но велико ли это различие? Оно так ничтожно, что наука даже не обращает на него внимания ⟨. . .⟩ Разница — не в устройстве организма, а в обстоятельствах, при которых наблюдается организм ⟨. . .⟩ Если все люди существенно одинаковы, то откуда же возникает разница в их поступках? ⟨. . .⟩ все зависит от общественных привычек и от обстоятельств...»

(*Чернышевский*, т. 5, с. 164, 165).

Приведенное сопоставление может быть продолжено. Так, например, внушительное резюме медика и демократа Базарова: «Исправьте общество, и болезней не будет» — звучит почти как цитата из статьи Чернышевского о «Губернских очерках» Щедрина (1857), где Чернышевский, намекая на необходимость радикального переустройства существующего социального порядка, писал: «Надобно отыскать причины, на которых основывается неприятное нам явление общественного быта, и против них обратить свою ревность. Основное правило медицины: „отстраните причину, тогда пройдет и болезнь...“» (*Чернышевский*, т. 4, с. 273).

Но вкладывая в уста Базарова слова, пропагандирующие один из основных тезисов революционно-демократического просветительства, Тургенев психологически тут же снижает эту проповедь передовых идей указанием на полное безразличие, с которым относится Базаров к тому, как поймут то, что он говорит. Слова Базарова, которые мы привели, сопровождаются, в окончательном тексте, такой ремаркой автора романа: «Базаров говорил всё это с таким видом, как будто в то же время думал про себя: „Верь мне или не верь, это мне всё едино!“ Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бегали по углам». Обращение к «парижской рукописи» устанавливает, что эта ремарка была вписана Тургеневым на полях в процессе дополнительной работы над произведением. Она заменила другой текст, располагавшийся непосредственно после слов: «Исправьте общество, и болезней не бу-

дет» (с. 79): «— Да как его исправить? — спросила Анна Сергеевна.— Надо, разумеется, начать с уничтожения всего старого — и мы этим занимаемся помаленьку. Вы изволили видеть, как сжигают негодную прошлогоднюю траву? Если в почве не иссякла сила — она даст двойной рост». Зачеркнутые слова были единственной в романе характеристикой созидательной стороны в «нигилизме» 1860-х годов. В своем ответе на вопрос капитальной важности — о способах переустройства общества — Базаров выражал сознание своей ответственности перед будущими поколениями. С его точки зрения, «старое» следует уничтожать во имя того, что «почве», в которой «не иссякла сила», это принесет пользу: после уничтожения «старого», отжившего она окажется в состоянии дать «двойной рост» [3].

Вместе с тем в комментируемом отрывке было нечто, что потенциально предрасполагало к заключениям, подрывающим престиж Базарова-идеолога. Заканчивая беседу с Базаровым, Одинцова говорит: «А теперь, я слышу, тетушка идет чай пить; мы должны пощадить ее уши». И добавляет многозначительно: «Она стара, а все-таки ее уничтожать не следует» (с. 79). Эта добавочная ироническая реплика была тоже вычеркнута (см. ниже). Однако самый факт ее появления в тексте рукописи намекал на уязвимость воззрений Базарова на старое с точки зрения этической. Исключая этот отрывок, Тургенев, быть может, стремился заранее оградить Базарова от аналогичных нареканий критики и читателей, и в первую очередь Достоевского. Дело в том, что в начале октября 1861 года, то есть в пору усиленной доработки Тургеневым своего романа, стали достоянием гласности горячие и по-своему убедительные нападки Достоевского на разночинцев-демократов, которых писатель упрекал в недостаточном уважении к старому. В объявлении о подписке на журнал «Время» на 1862 год Достоевский писал: «Как не согласиться, что многие явления *даже прошедшей*, *отжившей жизни нашей* мы меряли слишком узкой меркой? 〈...〉 Мы *поскорее хотели успокоить себя*, что во всем правы, а это значит сами про себя боялись: не лжем ли? Даже во многих явлениях, прямо отнесенных нами к „темному царству“, мы проглядели почвенную силу, законы развития, любовь 〈...〉 *Мы уничтожали всё сплошь, потому только, что оно старое. Боже нас сохрани от старых форм в жизни...*» И далее: «Случается, что переселенцы, когда идут за тысячи верст, *со старого места на новое*, плачут, целуют землю, на которой родились их отцы и деды; им кажется неблагодарностью покинуть *старую почву — старую мать их*, за то, что *иссякли и иссохли сосцы ее*, *их кормившие*» (*Достоевский*, т. 19, с. 148). (Курсив всюду наш, за исключением курсива в слове «поскорее».— *Ред.*)

Появление тенденциозного отрывка, в котором Базаров назван «шутом гороховым» (см. гл. XXVII от слов «А чем строже барин взыщет» до слов «он нашел, наконец, себе занятие» — (с. 172—173),

---

[3] Едва ли правомерна точка зрения на этот отрывок В. М. Марковича, который отказывается видеть в нем характеристику созидательной стороны базаровского нигилизма (см.: Маркович В. М. Всегда ли бесспорно «бесспорное»? — В кн.: От Грибоедова до Горького. Из истории русской литературы. Межвузовский сборник. Л., 1979, с. 149—150). Возражения В. М. Марковичу см. в статье Н. С. Никитиной «К проблеме научного комментария».— Русская литература, 1980, № 3, с. 133—136.

по всей вероятности, следует объяснить воздействием Каткова. Отрывок является вставкой, следовательно, возник в процессе дополнительной работы над рукописью. Следующие строки из письма Тургенева к Каткову от 30 октября (11 ноября) 1861 г. относятся, конечно, к нему: «Не могу согласиться с одним: „Ни Одинцова не должна иронизировать, ни мужик стоять выше Базарова, хоть он сам пуст и бесплоден“». «Пустоту и бесплодие» Базарова Тургенев под давлением Каткова оттенил изображением безуспешной попытки героя найти общий язык с крестьянами. По-видимому, несколько ранее Тургенев сообщил об этой вставке Каткову и получил от него дополнительные критические замечания. Тургенев отказался выполнить новые требования редактора «Русского вестника» и вступил с ним в полемику.

Заявление в письме к Каткову: «Не могу согласиться...» — не единственное свидетельство тому, что в своей доработке романа Тургенев учитывал далеко не все пожелания и требования редактора, отношения с которым отличались уже в это время трудно сдерживаемой неприязнью и даже брезгливостью (см. характерные высказывания Тургенева о Каткове в письмах к Анненкову от 11 (23) декабря 1861 г. и Достоевскому от 26 декабря 1861 г. (7 января 1862 г.)).

В ряде случаев изменения и дополнения, вносившиеся Тургеневым в текст, противоречили по общей своей тенденции линии Каткова-редактора. Так, Тургенев пересмотрел текст всех бесед Базарова с Одинцовой на учено-философские темы, и пересмотр этот дал результат, отнюдь не отвечавший желанию Каткова показать Базарова в наиболее неприглядном виде. Результат этот заключался в том, что иронические, а порою и остро полемические выпады Одинцовой против Базарова, довольно многочисленные в рукописи до начала ее доработки, были сведены до минимума в окончательном тексте. Как уже отмечалось, Тургенев зачеркнул фразу, произнесенную Одинцовой с оттенком насмешливо-снисходительного высокомерия: «Она стара, а все-таки ее уничтожать не следует». Несколько выше он вычеркнул развернутое полемическое замечание Одинцовой в ответ на заявление Базарова, что «все люди друг на друга похожи ⟨...⟩ Люди что деревья в лесу...»: «Я не могу согласиться с вашей аналогией,— сказала она,—мне в ней чувствуется либо непонимание людей, либо равнодушие, даже презрение к ним. Я, напротив, нахожу, что каждое живое лицо достойно изучения, что ни один человек не похож на другого, что всякий из нас целая тайна, загадка.

— Вроде ребуса,— подхватил Базаров.— Это-с романтизм, позвольте заметить».

Еще одно вычеркивание было сделано в том месте текста, где заканчивается диалог Базарова и Анны Сергеевны: «По крайней мере при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек, или умен, зол или добр.

— Да, понимаю; у всех будет одна и та же селезенка.

— Именно так-с, сударыня».

После этих слов Тургенев зачеркнул полемическое возражение Одинцовой: «Признаюсь,— заметила Одинцова,— я очень рада, что мы еще не дожили до такого усовершенствованного состояния. Какое ваше мнение, Аркадий Николаевич?» Тургенев заменяет это возражение вполне нейтральной фразой: «Одинцова обратилась к Аркадию: „А ваше какое мнение?“» Последовательно,

притом трижды, лишив высказывания Одинцовой их полемической остроты и ослабив их иронию, Тургенев нашел нужным оставить лишь ядовитый пассаж об «одинаковой селезенке».

Таковы основные изменения, внесенные Тургеневым в текст «Отцов и детей» в связи с редакторской цензурой и замечаниями Каткова, поскольку их можно установить в результате сопоставления правки «парижской рукописи» с перепиской Тургенева и воспоминаниями Анненкова.

Более скудными данными располагаем мы для определения тех изменений, которые были внесены в «парижскую рукопись» вследствие советов и замечаний В. П. Боткина. Письма В. П. Боткина с суждениями о романе, как и письма Каткова, неизвестны. Возможно, их и не было, поскольку осенью и зимой 1861—1862 г. и Боткин и Тургенев находились в Париже. Но, как свидетельствует Н. В. Щербань, В. П. Боткин, слушая в Париже чтение рукописи «Отцов и детей», потирал руки от удовольствия и глядел на автора с умилением. Роман он одобрял вполне и только сетовал на Тургенева в связи с затянувшейся окончательной правкой текста. «Залижешь, Иван Сергеевич ⟨...⟩ залижешь»,— повторял он (см.: *Рус Вестн*, 1890, № 7, с. 17—18).

Сам Тургенев впоследствии (в письме к К. К. Случевскому от 14 (26) апреля 1862 г.) утверждал, что его намерения при создании образа Базарова «совершенно поняли ⟨...⟩ только два человека — Достоевский и Боткин». Таким образом, всё говорит за то, что у Боткина возникло значительно меньше критических замечаний о романе, чем у Каткова и Анненкова. Доподлинно же известно из них, в сущности, только одно. В письме от 1 (13) октября 1861 г. Тургенев сообщал Анненкову: «Боткин ⟨...⟩ сделал мне тоже несколько дельных замечаний и расходится с вами только в одном: ему лицо Анны Сергеевны мало нравится». «Но мне кажется,— продолжал тут же Тургенев,— я вижу, как и что́ надо сделать, чтобы привести всю штуку в надлежащее равновесие». О каком «равновесии» идет здесь речь и по какой причине именно «лицо Анны Сергеевны» навлекло критику со стороны Боткина? Косвенный ответ на этот вопрос содержится в письме Тургенева к Каткову, датированном 30 октября (11 ноября) 1861 г.: «Что же касается до Одинцовой, то неясность впечатления, производимого этим характером, показывает мне, что надо и над ним еще потрудиться». То, что Тургенев намекает здесь именно на мнение В. П. Боткина, явствует из сопоставления правки рукописи с перепиской Тургенева и Каткова. Последнего волновала не «неясность» характера Одинцовой, а скорее ее женская нетвердость в обращении с Базаровым. Каткову хотелось видеть в Одинцовой нечто вроде безупречной матроны, то и дело осаживающей Базарова суровым словом. Между тем среди вставок на полях «парижской рукописи» есть одна, рассчитанная на придание именно «равновесия всей штуке» и на устранение «неясности» в характере главной героини. В главе XVI кусок текста размером в целую страницу вписан на полях рукописи (со слов: «Анна Сергеевна была довольно странное существо», кончая словами «хотя ей казалось, что ей хотелось всего» — с. 83—84). Нетрудно заметить, что эта большая вставка представляет собою не что иное, как излюбленную Тургеневым предварительную характеристику героя, в данном случае Одинцовой. Характеристика указывает на такие черты личности героини, которые как бы заранее предопределяют развитие любовной коллизии романа и ее неудач-

ный для Базарова финал. Одинцова здесь изображается женщиной, не способной к риску в интимной жизни. С появлением этой вставки яснее ощущается зависимость между поступками Одинцовой и их тайными пружинами. В отрывке точно очерчена основа характера Одинцовой — ленивая любовь к покою, привычка к комфорту, к размеренной усадебной барской жизни, которые неизменно берут верх над всеми другими чувствами и склонностями героини.

Разумеется, Тургенев дорабатывал «парижскую рукопись» и независимо от критических суждений и замечаний, полученных со стороны. Большая группа поправок и изменений в этой рукописи связана с последовательным стремлением Тургенева резче оттенить некоторые специфические свойства и особенности характера Базарова. 16 (28) апреля 1862 г. Тургенев писал Герцену о Базарове: «Штука была бы неважная представить его — идеалом; а сделать его волком и все-таки оправдать его — это было трудно...» Реализация этой трудной задачи продолжалась в процессе правки «парижской рукописи».

Демократ-разночинец, человек с новым материалистическим мировоззрением и новыми практическими требованиями к жизни — Базаров показан Тургеневым в соприкосновении с чужой и чуждой ему средой. Эта ситуация, постоянно и остро осознаваемая Базаровым, служит психологической мотивировкой для раскрытия определенных сторон в характере героя: его угрюмой сдержанности, враждебной недоверчивости, презрительной насмешливости, черствости, сухости и грубости. Базаров держится особняком, смиряет свои порывы, постоянно пресекает попытки к сближению и взаимопониманию со стороны Одинцовой, Аркадия и Николая Кирсановых. При доработке «парижской рукописи» Тургенев с виду малоприметными штрихами, вставками, репликами подчеркивает «волчье» в настроениях Базарова, попутно устраняя психологические характеристики, вступающие в противоречие с этим создающимся о нем впечатлением. В этом отношении наиболее примечательны следующие случаи правки текста:

В главе XXI появление Василия Ивановича прерывает угрозы Базарова схватить Аркадия за горло; сцена стычки их у стога сена заканчивается жесткой репликой Базарова: «Жаль, что помешал» (с. 123). В рукописи Тургенев зачеркнул прямо противоположную реплику, являвшуюся первоначальным вариантом этой фразы: «Вот тебе и доказательство, что до всего можно договориться. Ты меня извини». После вызова на дуэль Базаров думает с досадой: «...а тут Аркадий... и эта божья коровка Николай Петрович» (с. 142). В рукописи этот отрывок был гораздо объемнее, а чувства героя свидетельствовали о том, что он совсем «рассыропился»; Тургеневым зачеркнут текст: «и та, та, которую я любил, которую я люблю и теперь... Теперь? Теперь я дерусь, как мальчишка, за что, за кого?» В сцене объяснения Базарова с Одинцовой в гл. XXV, после слов «сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости» (с. 161), Тургенев зачеркнул в рукописи: «Перед вами человек, с которым вы некогда беседовали дружески». Ниже, после слов: «что вы вспоминаете обо мне с отвращением» (там же) опять зачеркнуто: «Я собственно и явился сюда в надежде на вашу доброту». Навсегда прощаясь с Аркадием, Базаров «спокойно» замечает: «Что значит молодость!» (с. 170). В рукописи вместо «спокойно» было: «не без волнения».

Настойчивое желание Тургенева не «рассыропливать» База-

[...]са сказалось также в правке предсмертного диалога героя с отцом:
«Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

— Положим,— сказал он наконец,— положим... если... если даже что-нибудь вроде... *заражения...*

— *Пиэмии,— подсказал сын.*

— Ну да... вроде... *эпидемии...*

— *Пиэмии,— сурово и отчетливо повторил Базаров.— Аль уж позабыл свои тетрадки?*

— *Ну да, да, как тебе угодно... А все-таки* мы тебя вылечим!»

Слова, набранные курсивом, вписаны Тургеневым в процессе доработки «парижской рукописи».

Характер Базарова в результате такой правки стал более суровым и волевым, а водораздел между благовоспитанными дворянскими «отцами» либерального толка и «волосатым» разночинцем-демократом — более определенным и резким. Вместе с тем наряду с усилением «волчьих» признаков в характере Базарова во время правки «парижской рукописи» происходило и нечто вроде обратного процесса. Стремясь к тому, чтобы суровое волевое начало в характере героя не заслонило собою его человеческих качеств, Тургенев вносит в текст романа несколько соответствующих изменений. Так, например, в гл. XVII рукописи Одинцова говорит Базарову: «...ведь и вы такой же: равнодушный и холодный, как я». Слова «равнодушный и холодный» Тургенев зачеркивает (см. с. 92). В гл. XIX рукописи после слов: «Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней» (с. 103),— зачеркнута другая характеристика, намекавшая на холодок в эмоциях Базарова: «Ему было очень тяжело: не одно самолюбие в нем страдало; он, насколько мог, полюбил Одинцову». Этой характеристикой, в особенности же словами «насколько мог», Тургенев сначала хотел подчеркнуть неспособность Базарова к настоящему чувству, но потом отказался от такого намерения.

III

Следующая, и последняя, стадия работы Тургенева над текстом романа началась при подготовке его отдельного издания, вышедшего в свет в начале сентября 1862 г. под наблюдением Н. Х. Кетчера (цензурное разрешение — 27 июня ст. ст. 1862 г.; о поступлении издания в продажу сообщалось в «Московских ведомостях» 11 сентября ст. ст. 1862 г.). На этот раз рабочим экземпляром служил Тургеневу отдельный оттиск журнальной публикации «Отцов и детей». Приводим полностью две записи, расположенные на внутренней стороне переплета оттиска, хранящегося в *ГПБ*.

«Рукописные изменения в этом экземпляре романа „Отцы и дети“ (напеч. в „Русском вестнике“) сделаны рукою самого автора, И. С. Тургенева, и вошли в состав издания этого романа отдельной книгой.

15 апреля 1865.

В. С.»

И ниже:

«Все поправки сделанные в этой книге карандашом — писаны мною; а другие поправки, хотя не мною писаны — а сделаны по моим указаньям.

20-го мая 1874 Ив. Тургенев».

Обе записи — первая принадлежит В. В. Стасову — вновь возвращают нас к до сих пор окончательно не решенной проблеме редакторского вмешательства Каткова в текст произведения при его публикации в «Русском вестнике».

Впоследствии Стасов вспоминал по поводу этих записей: «В 1865 году императорской Публичной библиотеке был принесен в дар М. В. Трубниковой печатный экземпляр „Отцов и детей", с дополнениями на полях собственною рукою Тургенева тех мест, которые были изменены или выпущены вон М. Н. Катковым при напечатании этого романа в „Русском вестнике". Во время пребывания Тургенева в Петербурге, в мае 1874 года, я попросил его засвидетельствовать на том экземпляре, что все вставки на полях писаны действительно его собственною рукою, что он и сделал. Я об этом напечатал небольшую заметку в „С.-Петербургских ведомостях" 1874 г., № 299. На это Катков отвечал в „Московских ведомостях", № 273, что в „Отцах и детях" все изменения сделаны с согласия самого автора...» (*Сев Вестн*, 1888, № 10, с. 170).

Катков заявлял Стасову в соответствующей части своего ответа следующее: «Если при печатании этой повести делались в ней какие-либо изменения, то самим автором, который был тогда в лучшей поре своего дарования и вообще умственных способностей и мог сам разобрать, что вернее соответствовало типам, изображенным в его повести. Если бы в его повести были сделаны редакцией какие-либо изменения вопреки ему или без его разрешения, то, конечно, он не оставил бы этого без протеста» (*Моск Вед*, 1874, № 273, 1 ноября ст. ст., с. 3).

Тургенев был возмущен заявлением Каткова. 13 (25) ноября 1874 г. он писал Стасову: «Поступок Каткова достоин его; этому человеку следовало бы быть бонапартистом — до такой степени он лжет самоуверенно и нагло. Когда печатались „Отцы и дети", меня совсем не было в Москве — я находился в Париже,— а рукопись романа была передана мною г-ну Н. В. Щербаню, который из Москвы извещал меня о требованиях и опасениях редакции. Прилагаю вам записочку этого самого Щербаня, который находится теперь в Париже и, прочитав заявление „Московских ведомостей", пожелал восстановить факты ⟨. . . .⟩ Я все-таки виноват был в том, что согласился на урезывания „Русского вестника", по крайней мере не протестовал против них...» Всё, что сообщает Тургенев в этом письме, соответствует действительности. С сентября 1861 г. по апрель 1862 г. он не возвращался в Россию, а значит и не имел возможности непосредственно контролировать печатание романа. О том, что делается с наборной рукописью, он узнавал только по сообщениям из Москвы от Щербаня и самого Каткова, на добросовестность и аккуратность которых он вынужден был, волею случая, всё время полагаться. Между тем в корректуре, которую держали Катков, Щербань и Леонтьев (см. письмо Щербаня к Тургеневу от 2 (14) апреля 1862 г.— *ИРЛИ*, 5770, XXXб. 60, л. 5), были не замечены «жестокие» опечатки, на которые Тургенев жаловался в письме к Анненкову от 25 марта (6 апреля) 1862 г. «Записочка» Щербаня, о которой упоминает Тургенев в письме к Стасову, сохранилась. Она датирована 11 (23) ноября 1874 г. (*ГПБ*, ф. 738. В. В. Стасов, № 223). В записке нет конкретных сведений о редакторской цензуре Каткова, однако нет и возражений против доводов Тургенева. В той части записки, которая имеет непосредственное отношение к интересующему нас вопросу, Щербань выражал готовность встретиться с

Тургеневым, чтобы «возобновить в памяти ⟨...⟩ обстоятельства, сопровождавшие корректуру „Отцов и детей“...»[4]

Письмо Тургенева было показано Стасовым В. П. Буренину, сотруднику «С.- Петербургских ведомостей», который выступил в этой газете с отповедью Каткову (см.: *СПб Вед*, 1874, № 336, 6 (18) декабря, с. 2, фельетон «Кастрация художественных произведений. Двойная ложь»). Узнав о выступлении Буренина, Тургенев писал 12 (24) декабря 1874 г. Стасову о Каткове: «Нет сомнения, что это подаст повод этому господину клеветать и ругаться и лгать снова; но ведь это специальный симптом ренегатства, и я все-таки рад, что Буренин упомянул об этом деле. Кто захочет мне поверить, милости просим; а кто не захочет — убеждать я того не стану».

У Стасова, а также у ряда позднейших исследователей творчества Тургенева не возникало, по-видимому, никаких сомнений в достоверности версии об «урезывании» Катковым текста «Отцов и детей» при печатании романа в «Русском вестнике». Во всяком случае Н. М. Гутьяр в своей монографии не почел даже нужным сослаться на свидетельство Тургенева в публикации Стасова. О редакторской цензуре Каткова он пишет как о факте само собою разумеющемся. Приведя сводку почти всех главных разночтений между журнальным текстом романа и его отдельным изданием, он отмечает: «Легко заметить, что все эти изменения и урезки были направлены на то, чтобы посильнее развенчать Базарова в глазах читателя» (*Гутьяр*, с. 387). Точка зрения Н. М. Гутьяра была поставлена под сомнение Б. М. Эйхенбаумом. «Объективных данных для такого утверждения нет,— заявлял он по поводу основного тезиса Гутьяра,— по письмам же видно, что Тургенев сам боялся нападок с обеих сторон, лавируя между ними и делая уступки то тем, то другим. Как это было и с „Рудиным“ — в „Отцах и детях“, при постоянных колебаниях Тургенева в отношении к своему герою, остались противоречия и следы разных редакций» (*Т*, *Сочинения*, т. 6, с. 378).

Анализ «парижской рукописи» на первый взгляд приводит к наблюдениям, противоречащим точке зрения Н. М. Гутьяра. Все сло̀ва и выражения, которые Н. М. Гутьяр считает правкой Каткова, в действительности имеются в «парижской рукописи», и принадлежность их Тургеневу, таким образом, бесспорна. Речь идет, например, о тенденциозном эпитете «угреватый» в портретной характеристике Базарова; об отрицательной частице «не» в базаровской характеристике П. П. Кирсанова «этакой человек не мужчина, не самец» (с. 34); об осуждающей Базарова фразе из гл. XXIV: «Ему и в голову не пришло, что он в этом самом доме нарушил все права гостеприимства»[5].

С другой стороны, в «парижской рукописи» нет тех положительных характеристик Базарова, которые, по мнению Н. М. Гутьяра, были изъяты из авторского текста Катковым при первой публикации

---

[4] Состоялась ли такая встреча Тургенева со Щербанем — неизвестно.

[5] Доказательством того, что удаление из отдельного издания последней фразы было продиктовано соображениями, не связанными с каким бы то ни было воздействием Каткова, является замечание Тургенева о ней как о «ненужном резонерстве» в письме к Н. Х. Кетчеру от 2 (14) августа 1862 года.

романа (см. *Гутьяр*, с. 386—387). Тем не менее заявление Тургенева в письмах к Герцену и Стасову о редакторском давлении и вмешательстве Каткова соответствует истине.

В цитированном письме к Стасову Тургенев высказывает сожаление, что «согласился на урезывания „Русского вестника", по крайней мере не протестовал против них...» О каких же «урезываниях», сделанных редакцией или самим Тургеневым под нажимом редакции, то есть того же Каткова, идет речь? Можно ли установить их? Ведь восстановленные Тургеневым в отдельном издании фрагменты текста отсутствуют в «парижской рукописи». Откуда же взялись они? Ответ может быть двояким. Во-первых, фрагменты могли быть в той тетрадке с изменениями и дополнениями к тексту рукописи романа, находившейся в «Русском вестнике», которая по поручению Каткова была привезена в феврале 1862 г. Щербанем из Парижа в Москву. Об этой тетрадке неоднократно упоминается в письмах Тургенева к Каткову от 11 (23) января 1862 г. и от 15 (27) февраля 1862 г. и в воспоминаниях Н. В. Щербаня (см.: *Рус Вестн*, 1890, № 7, с. 18—19). Во-вторых, они могли быть в наборной рукописи. В письме к П. В. Анненкову от 6 (18) августа 1861 г. Тургенев назвал рукопись романа, которую он увез из Спасского в Париж, «черновой тетрадью». Следовательно, рукопись, переданная Каткову — «наборная рукопись» — была несколько более позднего происхождения, была перебеленным авторским списком. Если же это так, то не исключено, что куски текста, подвергшиеся впоследствии «урезыванию», были созданы Тургеневым в процессе переписывания «черновой тетради». Это заключение косвенно подкрепляется и частично конкретизируется перепиской Тургенева с Ф. М. Достоевским, К. К. Случевским и Н. Х. Кетчером.

14 (26) апреля 1862 г. Тургенев писал К. К. Случевскому: «Базаров в одном месте у меня говорил (я это выкинул для цензуры) — Аркадию...: „Твой отец честный малый; но будь он расперевзяточник — ты все-таки дальше благородного смирения или кипения не дошел бы, потому что ты дворянчик"». Письмо написано всего через какой-нибудь месяц с небольшим после опубликования романа; между тем в нем уже есть фраза, появившаяся в печати лишь осенью 1862 года, когда вышло отдельное издание «Отцов и детей». Высказывание Базарова, приведенное в письме к Случевскому, воспроизведено в отдельном издании по существу точно, но не буквально. Обстоятельство это следует объяснить тем, что и в письме к Случевскому и при подготовке отдельного издания романа Тургенев восстанавливал выпущенный отрывок по памяти, а не по первоисточнику (наборной рукописи или тетради с поправками), который, будучи передан или переслан в редакцию «Русского вестника», не вернулся к автору. Отсюда сходство разновременных редакций фразы и малосущественные несовпадения в отдельных словах. О другом отрывке, не попавшем в журнальный текст по аналогичной причине, Тургенев говорит в письме к Ф. М. Достоевскому от 18 (30) марта 1862 г.: «...в свидании Аркадия с Базаровым, в том месте, где, по Вашим словам, недостает чего-то, Базаров, рассказывая о дуэли, трунил над *рыцарями*, и Аркадий слушал его с тайным ужасом и т. д.— Я выкинул это — и теперь сожалею». Речь шла об отрывке из гл. XXV: «...а на сердце ему и жутко сделалось и как-то стыдно. Базаров как будто его понял.— Да, брат,— промолвил он,— вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с...» (с. 160).

Важным добавлением к вышеизложенному служит еще одно свидетельство, имеющееся в письме Тургенева к Н. Х. Кетчеру от 18 (30) июня 1862 г. Тургенев писал здесь, имея в виду журнальный оттиск, на который им наносились исправления при подготовке отдельного издания романа: «...посылаю ⟨...⟩ исправленный экземпляр „О⟨тцов⟩ и Д⟨етей⟩“ ⟨...⟩ на стр. 554, 633, 643 и 658 я сделал небольшие прибавления, или, лучше сказать, восстановил выкинутое». На страницах оттиска, указанных Тургеневым, речь идет: 1) о шведе, с которым Одинцова встретилась за границей; 2) об отрывке, упомянутом Тургеневым в письме к Достоевскому; 3) об отрывке, на память процитированном в письме к Случевскому; 4) об отрывке из предсмертного разговора Базарова с Одинцовой: «И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать» (с. 183) (слова о шведе вписаны чернилами и не рукой Тургенева — см. выше, с. 430).

Таким образом, свидетельства Тургенева, относящиеся к последнему этапу его работы над романом — к этапу подготовки текста для отдельного издания,— позволяют документально установить четыре отрывка, которые подверглись «урезыванию» при печатании произведения в «Русском вестнике». Два из них заключали в себе положительные характеристики Базарова-демократа в общении с представителями чуждого ему дворянского сословия, в третьем Базаров представал перед читателем человеком большой доброты.

При подготовке отдельного издания романа некоторые черты, рисующие Базарова в невыгодном свете, были устранены Тургеневым или получили совсем другой, отнюдь не одиозный смысл [6]. Однако часть тенденциозных поправок, дополнительно внесенных Тургеневым в текст «парижской рукописи» под влиянием редакторской цензуры Каткова и дружеских советов Анненкова, осталась в романе навсегда без изменений.

История текста романа в период подготовки его публикации в «Русском вестнике», несмотря на некоторую ее неясность и противоречивость, все же позволяет сделать вывод: уже в 1861 г. между Тургеневым и Катковым не было ни единомыслия, ни тем более тесного идейного союза. Противоположная точка зрения, высказанная в работах Б. П. Козьмина, основана на ошибочном представлении о происхождении и значении термина «нигилизм» в романе «Отцы и дети». Б. П. Козьмин утверждает, что этот термин заимствован Тургеневым из статей Каткова «Старые боги и новые боги» (*Рус Вестн*, 1861, № 2) и «Кое-что о прогрессе» (там же, № 10), посвященных злобной полемике с разночинцами-демократами [7].

---

[6] В статье А. Батюто «Признаки великого сердца» высказывается предположение, что под влиянием Достоевского при подготовке отдельного издания романа Тургенев убрал из портретной характеристики Базарова эпитет «угреватый». Там же высказывается предположение, что реплика о Базарове как о «шуте гороховом» и замечание о «пропасти базаровского самолюбия» не были изъяты при подготовке отдельного издания потому, что в свете оценки романа Достоевским они утрачивали первоначальный оттенок злой насмешки и намекали на духовную трагедию Базарова (см.: Русская литература, 1977, № 2, с. 36—37).

[7] См.: К о з ь м и н Б. П. Два слова о слове «нигилизм».— Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. X, вып. 4, М.; Л., 1951, с. 378—385; е г о ж е.

Это утверждение исследователя опровергается с помощью «парижской рукописи». Первое упоминание о «нигилизме» содержится уже в четвертой ее главе. И в четвертой и во всех последующих главах рукописи не наблюдается ни одного случая вписывания слова «нигилизм» над строкой или на полях. Следовательно, оно появилось в процессе создания первоначального текста белового автографа, а не в ходе позднейшей его доработки под воздействием Каткова и других лиц. Кроме того, из переписки Тургенева известно, что к 28 ноября ст. ст. 1860 г., т. е. за несколько месяцев до появления в «Русском вестнике» статьи Каткова «Старые боги и новые боги», он «написал уже около трети» романа, а в начале следующего года вел переговоры с Феоктистовым о напечатании в «Русской речи» главы XII «Отцов и детей» (см. письмо Тургенева к Е. М. Феоктистову от 1 (13) февраля 1861 г.).

Отдельное издание «Отцов и детей» Тургенев посвятил Белинскому. Посвящение имело программный характер и полемический оттенок. Тургенев заявлял им о своей верности тому идейному движению, связанному с именем великого критика, которое в новых исторических условиях продолжали русские революционные демократы шестидесятых годов, не признавшие себя в образе Базарова и почти единодушно выступившие с острой критикой политической позиции писателя. Вместе с посвящением Тургенев предполагал поместить в отдельном издании романа обширное предисловие, но от этого его отговорили Боткин и Фет (см. письмо Тургенева к Н. Х. Кетчеру от 28 июня (10 июля) 1862 г.). Затем Тургенев намеревался ограничиться следующими вступительными строчками вместо предисловия: «„Отцы и дети“ возбудили в публике столько противоречащих толков, что, издавая отдельно этот роман, я возымел было намерение предпослать ему нечто вроде предисловия, в котором я бы сам попытался объяснить читателю, какую собственно поставил я себе задачу. Но, размыслив, я отказался от своего намерения. Если само дело не говорит за себя, все возможные объяснения автора ничего не помогут. Ограничусь двумя словами: я сам знаю, и мои друзья в этом уверены, что мои убеждения ни на волос не изменились с тех пор, как я вступил на литературное поприще, и я с спокойной совестью могу выставить на первом листе этой книги дорогое имя моего незабвенного друга». Но и из этого ничего не вышло, так как вмешался Н. Х. Кетчер. По свидетельству Фета, Кетчер говорил ему в связи с выходом в свет статьи Тургенева «По поводу „Отцов и детей“»: «Два раза издавал я сочинения Тургенева и два раза вычеркивал ему его постыдное подлизывание к мальчишкам. Нет таки,— напечатал, и с той поры ко мне не является: знает, что обругаю» (см.: *Фет*, ч. II, с. 306).

История создания романа заканчивается подготовкой отдельного издания 1862 г. В дальнейшем Тургенев не правил и не дополнял текста «Отцов и детей», ограничиваясь лишь устранением опечаток.

Еще о слове «нигилизм» — там же, т. 12, вып. 6. М., 1953, с. 526—528. О различном употреблении термина «нигилизм» до Тургенева см. в статье: Алексеев М. П. К истории слова «нигилизм».— Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского. Л.: Изд-во АН СССР, 1928, с. 413—417.

IV

С выходом романа в свет началось оживленное обсуждение его в печати, сразу же получившее острый полемический характер. Почти все русские журналы и газеты откликнулись на появление «Отцов и детей» специальными статьями и литературными обзорами. Отклики были весьма разнообразны и поражали противоречивостью, неожиданностью, парадоксальностью. Однако за всем этим внешним многообразием и пестротой таились глубокие принципиальные различия в подходе к произведению, отразилась сложность идейной борьбы. Роман Тургенева порождал разногласия и борьбу мнений как между политическими противниками, так и в среде идейных единомышленников. Так, отношение к роману в демократических журналах «Современник» и «Русское слово» оказалось прямо противоположным. Аналогичная картина наблюдалась в горячих спорах о романе на студенческих сходках и вечеринках в Москве и Петербурге, на собраниях русских студентов и эмигрантов в Женеве и Гейдельберге, в светских гостиных, в ученой и писательской среде. В воспоминаниях и статьях, в письмах и в общении с друзьями об «Отцах и детях» высказывали несходные суждения Чернышевский и Герцен, Салтыков-Щедрин и Достоевский, Д. И. Писарев и П. А. Кропоткин, Л. Н. Толстой и К. А. Тимирязев, поэты Майков и Фет, А. Ф. Писемский, И. С. Аксаков, В. Ф. Одоевский и многие другие, менее известные общественные деятели, писатели и ученые, современники Тургенева. С разных сторон Тургенев слышал по своему адресу изъявления и восторга и негодования: столь актуальной и злободневной оказалась тема двух поколений, двух идеологий, развернутая в «Отцах и детях». При обсуждении романа спор по существу шел о типе нового деятеля русской истории — во всех его модификациях, до революционера включительно.

«Современник» откликнулся на роман статьей М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», напечатанной в мартовской книжке журнала за 1862 г. Обстоятельства, сопровождавшие создание «Отцов и детей» и связанные с уходом Тургенева из «Современника», сложились таким образом, что Антонович вынужден был придавать исключительно большое значение либеральным предубеждениям автора. Задолго до появления романа в печати в обществе ходили слухи о нем, распространяемые близкими Тургеневу людьми и в особенности лицами, имевшими возможность предварительно познакомиться с содержанием романа (Катков, Анненков, участники чтения «Отцов и детей» в Париже и т. д.— см. выше). Благодаря этим слухам члены редакции «Современника» не сомневались в том, что в новом своем произведении Тургенев собирается выступить против Добролюбова. Об этом свидетельствует прежде всего фельетон И. И. Панаева «Петербургская жизнь. Заметки Нового поэта», посвященный похоронам критика. Имея в виду литературных противников Добролюбова, главным образом Тургенева, И. И. Панаев следующим образом излагал их точку зрения: «Мы,— или, что всё равно, некоторые из нас,— решили, что новое поколение, несмотря на свой действительно замечательный ум и сведения, поколение сухое, холодное, черствое, бессердечное, всё отрицающее, вдавшееся в ужасную доктрину — в *нигилизм*! Нигилисты! Если мы не решились заклеймить этим страшным именем всё поколение, то по крайней мере уверили себя, что Добролюбов принадлежал к нигилистам из нигилистов» (*Совр*, 1861, № 11, с. 76).

Таким образом, Антонович, как и вся редакция «Современника», был заранее предрасположен к отрицательной оценке нового романа Тургенева. Кроме того, сам роман давал достаточно поводов для острой полемики. В условиях 1862 г., когда революционная демократия все свои надежды на лучшее будущее связывала с крестьянской революцией и страстно стремилась к ее осуществлению, скептицизм тургеневского героя оказывался неприемлемым для редакции «Современника». В первую очередь этим обстоятельством объяснялся резкий тон статьи Антоновича.

Правильно отмечая насыщенность романа демократической идейностью, которая сказалась в том, что «под категорию „детей" г. Тургенев подвел значительную часть современной литературы, так называемое ее отрицательное направление», и вложил в уста главного героя «слова и фразы, часто встречающиеся в печати и выражающие мысли, одобряемые молодым поколением», Антонович справедливо упрекал Тургенева за тенденциозные излишества в этом смысле. Намекая на заимствование Базаровым мыслей Добролюбова, изложенных сначала в статье «Литературные мелочи прошлого года», а затем в «Свистке», Антонович писал: «Вот, например, об искусстве, о взятках, о бессознательном творчестве, о парламентаризме и адвокатуре действительно много рассуждали у нас в последнее время; еще больше было рассуждений о гласности ⟨...⟩ Но скажите же на милость ⟨...⟩ Кто имел безумие восставать против свободы, „о которой хлопочет правительство", кто это говорил, что свобода не пойдет впрок мужику? ⟨...⟩ Кто же эти люди? Скорей они принадлежат к числу „отцов" ⟨...⟩ а уж никак не к „детям"» (*Совр*, 1862, № 3, отдел «Русская литература», с. 77, 105). Характеризуя любовное объяснение Базарова с Одинцовой как результат замаскированной полемики Тургенева с высказываниями о новых людях в статье Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» (там же, с. 80), Антонович категорически утверждал, что «Отцы и дети» представляют собой клевету на молодое поколение и панегирик «отцам»; что роман Тургенева очень слаб в художественном отношении; что Тургенев, в целях дискредитации Базарова, постоянно прибегает к злостной карикатуре, изображая своего главного героя в непривлекательном обличье пьяницы, обжоры, неудачливого картежника и хвастунишки, чудовища «с крошечной головкой и гигантским ртом, с маленьким лицом и пребольшущим носом» (там же, с. 72). Реакция на отдельные выпады Тургенева против демократов зачастую порождала у Антоновича беспомощные возражения по существу отдельных литературных и общественных проблем, затронутых в романе. Это следует сказать прежде всего о попытках Антоновича защищать от «нападок» Тургенева женскую эмансипацию и эстетические принципы демократии. Без тени сомнения он доказывал, что «Кукшина не так пуста и ограниченна, как Павел Петрович» (там же, с. 96). По поводу отрицания Базаровым искусства Антонович с эффектным негодованием заявил: «ложь», «клевета», молодое поколение отрицает только «чистое искусство», осуждает только беспредметный эстетизм. Однако здесь же к числу представителей беспредметного эстетизма Антонович относил и Пушкина и самого автора «Отцов и детей» (там же, с. 94). Так декларативная защита искусства и поэзии превращалась под пером Антоновича в брюзгливое отрицание творчества Пушкина и Тургенева.

Антонович не дал в своей статье объективной и глубокой оценки романа Тургенева. Однако и в момент выхода его статьи и позд-

нее редакция журнала, по-видимому, не придавала особого значения этому обстоятельству. Нет никакого сомнения в том, что выступление против такого писателя как Тургенев было заранее обдумано в редакции «Современника» и носило программный характер. Созданный талантом Тургенева образ «нигилиста» — т. е. нового деятеля молодой России — не мог, при всех симпатичных чертах этого образа, быть принят революционными демократами; поэтому редакция «Современника» склонна была одобрить критику романа Тургенева в любой форме, даже самой резкой.

В воспоминаниях Г. З. Елисеева очень точно охарактеризован, применительно к 1862 г., взгляд всей редакции «Современника» на статью Антоновича. По словам Елисеева, Антонович показал в этой статье «неспособность ⟨...⟩ быть критиком беллетристических произведений», но он достиг «партийной цели», так как его статья представляла собою мнение «Современника» (см. в сб.: Шестидесятые годы, М.; Л.: Academia, 1933, с. 274). С другой стороны, в статье «Итоги», принадлежащей тоже видному сотруднику «Современника» Ю. Г. Жуковскому, была резко подчеркнута еще одна причина отрицательного отношения в журнале к роману Тургенева, указанная еще И. И. Панаевым в его некрологической статье о Добролюбове (см. выше). Жуковский писал о Тургеневе: «Талант этого писателя стал бледнеть перед теми требованиями, которые поставила в задачу романисту критика Добролюбова ⟨...⟩ Тургенев оказался бессилен учить общество тому, чему должна была научать это общество литература, по мнению Добролюбова. Г-н Тургенев стал терять понемногу свои лавры. Ему стало жаль этих лавров, и он, в отмщение критику, сочинил пасквиль на Добролюбова и, изобразив его в лице Базарова, назвал его нигилистом» (*Совр*, 1865, № 8, с.316). Много лет спустя, вспоминая о взаимоотношениях Тургенева с Добролюбовым, о романе «Отцы и дети» и вспыхнувшей в связи с этим полемике, Чернышевский также отмечал, что «открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову был, как известно, роман „Отцы и дети“». Правда, здесь же, в отличие от Жуковского, Чернышевский делал существенные оговорки, принимая во внимание позднейшие разъяснения Тургенева — и устные и в статье «По поводу „Отцов и детей“». Чернышевский писал: «Основываясь на фактах, известных мне о „Рудине“, я полагаю, что справедливо было мнение публики, находившей в „Отцах и детях“ намерение Тургенева говорить дурно о Добролюбове. Но я расположен думать, что и Тургенев не совершенно лицемерил, отрекаясь от приписываемых ему мыслей дать в лице Базарова портрет Добролюбова и утверждая, что подлинником этому портрету служил совершенно иной человек ⟨...⟩ Но если предположить, что публика была права, находя в „Отцах и детях“ не только намерение чернить Добролюбова косвенными намеками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я должен сказать, что сходства нет никакого, хотя бы и карикатурного» (*Чернышевский*, т. 1, с. 737, 740—741).

Вслед за Панаевым и Жуковским Чернышевский также затрагивал все еще злободневную проблему о прототипах Базарова. Стремясь раз навсегда опровергнуть широко распространенные в литературных кругах представления о главном герое романа как злой карикатуре на вождей революционной демократии, Тургенев утверждал в статье «По поводу „Отцов и детей“» (1868): «... в основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача ⟨...⟩ В этом замеча-

тельном человеке воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма» [8]. И далее: «Рисуя фигуру Базарова, я исключил из круга его симпатий всё художественное, я придал ему резкость и бесцеремонность тона — не из нелепого желания оскорбить молодое поколение, а просто вследствие наблюдений над моим знакомцем, доктором Д., и подобными ему лицами». Что касается Добролюбова, Тургенев писал в той же статье: «... с какой стати стал бы я писать памфлет на Добролюбова, с которым я почти не видался, но которого высоко ценил как человека и как талантливого писателя? Какого бы я ни был скромного мнения о своем даровании — я все-таки считал и считаю сочинение памфлета, „пасквиля" ниже его, недостойным его» (наст. изд., т. 11). Однако, считая памфлет и карикатурное портретное сходство делом недостойным даже скромного дарования, Тургенев отнюдь не пренебрегал полемикой. К числу лиц, подобных врачу или доктору Д., он несомненно относил как Добролюбова, так и Чернышевского, и в ряде эпизодов романа очевидна прямая или косвенная полемика с ними прежде всего по вопросам эстетики (см. ниже реальный комментарий, с. 459, 462, 465). В таком смысле «прототипом» Базарова был отчасти и Писарев. По крайней мере одна из «нигилистических» статей этого критика, напечатанная осенью 1861 года, определенно успела попасть в поле зрения Тургенева при работе над романом (см. ниже реальный комментарий, с. 465). Наконец, как это, на первый взгляд, ни парадоксально, но в таком смысле прототипом Базарова (или антиподом Тургенева) мог быть и Л. Н. Толстой, отличавшийся уже в пятидесятые — шестидесятые годы крайне «нигилистическими» суждениями не только по вопросам литературы и искусства (см. ниже реальный комментарий, с. 466—467).

Возвращаясь к оценкам романа Чернышевским, следует подчеркнуть, что в 1862 году эти оценки были более определенными и резкими, чем впоследствии, в его воспоминаниях о Добролюбове и Тургеневе. В политико-экономической статье «Безденежье» (1862 г.; при жизни критика она не была напечатана) Чернышевский писал: «Вот картина, достойная Дантовой кисти,— что это за лица — исхудалые, зеленые, с блуждающими глазами, с искривленными злобной улыбкой ненависти устами, с немытыми руками, с скверными

---

[8] Прототипом Базарова Тургенев считал и некоего своего спутника по железнодорожному путешествию, сосланного потом в Сибирь. В беседе с Н. А. Островской писатель рассказывал о нем: «Я встретился с ним на железной дороге и, благодаря случаю, мог узнать его. Наш поезд от снежных заносов должен был простоять сутки на одной маленькой станции. Мы уж и дорогой с ним разговорились, и он меня заинтересовал, а тут пришлось даже ночевать вместе в каком-то маленьком станционном чуланчике. Спать было неудобно, и мы проговорили всю ночь» (И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969. Т. II, с. 69). Об этом же эпизоде рассказывает в своих воспоминаниях и Е. В. Панаева-Дягилева (см.: Русская литература, 1972, № 4, с. 122). Н. М. Чернов полагает, что прототипом Базарова мог быть Виктор Якушкин (см.: Вопросы литературы, 1961, № 8, с. 188—193). Эта точка зрения ставится под сомнение Вильямом Эджертоном (см.: Русская литература, 1967, № 1, с. 149—154).

сигарами в зубах? Это — нигилисты, изображенные г. Тургеневым в романе „Отцы и дети“. Эти небритые, нечесанные юноши отвергают всё, всё: отвергают картины, статуи, скрипку и смычок, оперу, театр, женскую красоту,— всё, всё отвергают, и прямо так и рекомендуют себя: мы, дескать, нигилисты, всё отрицаем и разрушаем» (*Чернышевский*, т. 10, с. 185).

Из отзыва Чернышевского видно, что критик считал карикатурным изображение *всех* нигилистов в романе, не исключая, разумеется, и Базарова. Это было явное преувеличение со стороны Чернышевского. которое можно объяснить только исключительным накалом полемики вокруг романа Тургенева. В условиях мобилизации демократических сил для решительной борьбы с самодержавием критическое отношение Тургенева к идеям разночинной демократии, сказавшееся при разработке образа Базарова, воспринималось деятелями «Современника» как подчеркнуто враждебный акт.

В третьей книжке журнала «Русское слово» за 1862 год появилась статья Д. И. Писарева «Базаров». От Писарева не укрылись признаки тенденциозной преднамеренности автора при изображении Базарова. Писарев отметил, что Тургенев в ряде случаев «не благоволит к своему герою», что автора «коробит от разъедающего реализма», что он испытывает «невольную антипатию к этому направлению мысли» и поэтому выводит его «перед читающею публикою в возможно неграциозном экземпляре» (*Рус Сл*, 1862, № 3, отдел «Русская литература», с. 10). Однако общее заключение Писарева о романе, в отличие от Антоновича, основывалось не на этом. Он подчеркивал демократизм Базарова, его незаурядный ум и способности, находил в этом образе художественный синтез наиболее существенных сторон мировоззрения разночинной демократии, изображенных правдиво вопреки первоначальному «коварному умыслу», побежденному искренностью писателя, его честным отношением к взятой на себя задаче. Даже критическое отношение Тургенева к молодому поколению не встречало возражений Писарева, отмечавшего в связи с этим, что «со стороны виднее достоинства и недостатки, и потому строго критический взгляд на Базарова ⟨...⟩ в настоящую минуту оказывается гораздо плодотворнее, чем голословное восхищение или раболепное обожание» (там же, с. 28). Тургенева, по определению Писарева, «не удовлетворяют ни отцы, ни дети»; он «никому и ничему в своем романе не сочувствует вполне» (там же, с. 27, 26); несмотря на это, «отцы» в романе предстают людьми, о которых «не пожалеет Россия», а Базаров — человеком, против которого автор «не нашел ни одного существенного обвинения» (там же, с. 25, 29).

Сравнивая Базарова с литературными типами недавнего прошлого, Писарев сделал вывод, прямо противоположный первоначальному убеждению Тургенева, выраженному в снятом эпиграфе к роману (см. выше): «У Печориных есть воля без знания, у Рудиных — знанье без воли; у Базаровых есть и знание и воля. Мысль и дело сливаются в одно твердое целое» (там же, с. 18). Но для настоящего дела, по убеждению Писарева, в действительности еще нет благоприятных условий, и в этом трагедия Базарова. Писарев намекал на реформы и вообще на общественный подъем конца 1850-х — начала 1860-х годов, когда говорил о том, что скептик Базаров «не примет случайной оттепели за наступление весны и проведет всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не

произойдет существенных изменений» (там же, с. 48). Время для широкой общественно-политической деятельности еще не наступило, полагал Писарев, и потому, «не имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает 〈...〉 Оттого, что Базаров умер твердо и спокойно, никто не почувствовал себе ни облегчения, ни пользы, но такой человек, который умеет умирать спокойно и твердо, не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью» (там же, с. 48, 49).

Эти писаревские оценки соответствовали объективному содержанию образа Базарова, в котором Тургенев стремился нарисовать «лицо трагическое», пока еще обреченное «на погибель» ввиду неподготовленности народа к революции (см. письмо Тургенева к К. К. Случевскому от 14 (26) апреля 1862 г.). Суждения Писарева о романе Тургенева показывают, почему «Современник» не признал в Базарове своего героя. Писарев принадлежал к особой группе русской демократии 1860-х годов. Эта группа, идейным штабом которой был журнал «Русское слово», солидаризировалась с «Современником» в программных вопросах революционной деятельности, но расходилась с ним в вопросе тактики. Писарев и его единомышленники из «Русского слова» не возлагали надежд на народное восстание в ближайшее время. Поэтому настроения тургеневского Базарова были им во многом близки и созвучны. Отмечая в характере Базарова силу, самостоятельность, энергию, большие потенциальные способности к революционному делу, Писарев заканчивал свою статью об «Отцах и детях» признанием, что для Базаровых «нет деятельности, нет любви,— стало быть, нет и наслаждения». На вопрос: «а что же делать» Писарев отвечал: «Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры» (*Рус Сл*, 1862, № 3, отдел «Русская литература», с. 54). Эти полные горечи и скептицизма строки писались, когда русские революционеры вели работу по созданию тайного общества «Земля и воля», будучи уверены, что крестьянское восстание очень близко. Через год, находясь уже в Петропавловской крепости, Чернышевский в своем романе «Что делать?» отвечал на тургеневского Базарова Рахметовым, а на писаревский совет «не мечтать» — четвертым сном Веры Павловны.

В пылу полемики Писарев непомерно преувеличивал индивидуалистическое начало в характере Базарова, говоря о нем и людях его типа: «Эти люди могут быть честными и бесчестными, гражданскими деятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствам и по личным вкусам. Ничто, кроме личного вкуса, не мешает им убивать и грабить, и ничто, кроме личного вкуса, не побуждает людей подобного закала делать открытия в области наук и общественной жизни» (там же, с. 4—5). Точно так же Писарев явно преувеличивал вульгарно-материалистическое начало во взглядах Базарова. Особое расположение к вульгарно-материалистической философии сказалось и в тех немногих снисходительных упреках, которые были сделаны герою Писаревым в связи с неприятием «романтизма» и отрицанием искусства. Еще не выступая в этой статье в роли отрицателя искусства, Писарев, однако, назвал наслаждение музыкой и поэзией Пушкина «чисто физическими ощущениями», «приятным раздражением зрительных и слуховых нервов», не противоречащим «чистому эмпиризму» (там же. с. 23).

Несмотря на крайности и преувеличения, статья Писарева была самой яркой и талантливой трактовкой романа Тургенева в шестидесятые годы. Писарев первый указал на искренность Тургенева-художника в создании образа Базарова. По этому поводу он писал в своей статье: «Создавая Базарова, Тургенев хотел разбить его в прах, и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения» (там же, с. 52). Однако большинство читателей из демократических кругов в своих оценках романа не примкнуло к Писареву. В марте или в начале апреля 1862 г. Тургенев через поэта К. Случевского узнал об отрицательном мнении о романе и, в частности, о Базарове в среде русской студенческой молодежи, учившейся в Гейдельберге. Дорожа мнением молодежи, Тургенев написал 14 (26) апреля 1862 г. письмо К Случевскому, в котором, подробно излагая свою точку зрения, утверждал, что вся его повесть «направлена против дворянства как передового класса», а Базаров является революционером, хотя и «называется нигилистом».

Как видно из следующего письма Тургенева к Случевскому (от 11 (23) мая 1862 г.), это объяснение в какой-то мере убедило гейдельбергских студентов. Вместе с тем развернутая авторская характеристика замысла романа и образа Базарова, данная в первом из названных писем к Случевскому, свидетельствовала о принципиальном несогласии Тургенева с некоторыми важными критическими замечаниями о его романе, высказанными в статье Евгении Тур «Несколько беглых заметок после чтения романа г. И. Тургенева „Отцы и дети“» и в специальном отзыве Герцена.

В тургеневских «Отцах и детях» Е. Тур отказалась признать типических представителей старшего и молодого поколений шестидесятых годов. Правда романа Тургенева, писала она в своей статье, «ограничена весьма тесной сферой ⟨...⟩ лучшие исключения из старого поколения он воплотил в отцах, а самые уродливые в сыновьях, в детях. Это большой грех на его авторской совести, самая тяжкая вина его» (*Сев Пчела*, 1862, № 91, 4 апреля, с. 361) [9]. Этот «грех» Е. Тур считала результатом неправомерного смещения в повествовании Тургенева различных исторических эпох, повлекшего за собою неправдоподобное изображение основного конфликта и характера Базарова. «Как у таких мягких, добрых, благородных отцов вышли такие угловатые, резкие, всеосуждающие, ничему не верящие дети? — спрашивала Е. Тур.— Что-то непонятно! Уж не выдуманы ли отцы эти?» (там же, № 92, 5 апреля, с. 365). Е. Тур утверждала, что «отцы» Тургенева взяты из другой эпохи, что они очень похожи на «образованных людей царствования Александра I, воспитанных в понятиях Новикова и Радищева» (там же), и что благодаря такой вольности со стороны Тургенева формирование характера Базарова не получило удовлетворительного объяснения в романе. По мнению Е. Тур, картина взаимоотношений двух поколений, нарисованная Тургеневым, выглядела бы вполне убедительно только в том случае, если бы родители Базарова походили на лиц из «повестей Щедрина», ибо натуры, подобные базаровской, обязаны

---

[9] С 1862 г. «Северная пчела» — газета с реакционной репутацией — редактировалась участником революционного движения Артуром Бенни. Е. Тур в это время сочувственно относилась к демократическому движению (см. также ее отзыв о «Накануне» — наст. изд., т. 6).

своим развитием «вариациям самых изобретательных и разнообразных до бесконечности давлений. Судьба в лице разных руководителей и опекунов (длинную вереницу которых нанимал в детстве отец-генерал, отец-чиновник, отец-помещик, отец-купец) гнела их нестерпимо. В темном царстве прошло их детство, в темном царстве прошла их юность, безрадостная, смятая, скомканная, задавленная ⟨...⟩ Ужасные открытия! Они убивают слабых, они до изуверства озлобляют сильных, и вот откуда родятся Базаровы» (там же, с. 366). Объяснив таким образом происхождение основных черт психологического облика Базарова, Е. Тур указывала, что неблагоприятная среда не всегда приводила к столь печальным последствиям. «Были еще иные, которых спасла от конечного отрицания их идеальная натура. Вот таких людей не вывел Тургенев» (там же, с. 366). Последнее замечание Е. Тур также звучало явным упреком Тургеневу.

Герцен в своем отзыве не уличал Тургенева в смещении эпох и неверном изображении «отцов», но отсутствие четких указаний на первоначальные источники формирования нигилистических черт в характере Базарова он, подобно Е. Тур, воспринял как один из существенных недостатков романа. 9 (21) апреля 1862 г. он писал Тургеневу:

«Ты сильно сердился на Базарова — с сердцов карикировал его, заставлял говорить нелепости — хотел его покончить „свинцом“ — покончил тифусом,— а он все-таки подавил собой и пустейшего человека с душистыми усами, и размазню отца Арк⟨адия⟩ и бланманже Аркадия. За Базаровым — мастерски очерченные лица лекаря и его жены — совершенно живые и живущие не для того, чтоб поддерживать твою полемику, а потому, что родились. Это люди в самом деле. Мне кажется, что ты, как достолюбезный бретер, остановился на дерзкой, сломанной, желчевой наружности, на плебейско-мещанском обороте,— и, приняв это за оскорбление, пошел далее. Но где же объяснение, каким образом сделалась его молодая душа черствой снаружи, угловатой, раздражительной?.. Что воротило в нем назад всё нежное, экспансивное?.. Не книга же Бюхнера?

Вообще, мне кажется, что ты несправедлив к серьезному, реалистическому, опытному воззрению и смешиваешь ⟨его?⟩ с каким-то грубым, хвастливым материализмом, но ведь это — вина не материализма, а тех Неуважай-Корыто, которые его скотски понимают ⟨...⟩

Requiem на конце — с дальним апрошем к бессмертию души — хорош, но опасен, ты эдак не дай стречка в мистицизм.

Вот на первый случай на лету схваченное впечатление. Мне кажется, что великая сила твоего таланта не в Tendenz-Schrift'ах. Если б, писавши, сверх того, ты забыл о всех Чернышевских в мире, было бы для Базарова лучше» (*Герцен*, т. 27, кн. 1, с. 217).

В письме к Герцену от 16 (28) апреля 1862 г. Тургенев высказал несколько возражений на его замечания, но от обсуждения вопроса, «каким образом сделалась ⟨...⟩ молодая душа» Базарова «черствой снаружи, угловатой, раздражительной», уклонился, обещая продолжить разговор о романе при личной встрече. Следующий отрывок из письма к Случевскому от 14 (26) апреля 1862 г., направленный против статьи Е. Тур, показывает в то же время, каким мог быть ответ Тургенева на полемический вопрос Герцена: «Взять чиновников, генералов, грабителей и т. д. было бы грубо ⟨...⟩ и неверно. Все истинные *отрицатели*, которых я знал — без исключения (Бе-

линский, Бакунин, Герцен, Добролюбов, Спешнев и т. д.), происходили от сравнительно добрых и честных родителей. И в этом заключается великий смысл: это отнимает у *деятелей*, у отрицателей всякую тень *личного* негодования, личной раздражительности. Они идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни. Графиня Сальяс неправа, говоря, что лица, подобные Н⟨иколаю⟩ П⟨етровичу⟩ и П⟨авлу⟩ П⟨етровичу⟩,— наши деды: Н⟨иколай⟩ П⟨етрович⟩ — это я, Огарев и тысячи других; П⟨авел⟩ П⟨етрович⟩ — Столыпин, Есаков, Россет, тоже наши современники. Они лучшие из дворян — и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность. Представить с одной стороны взяточников, а с другой — идеального юношу — эту картинку пускай рисуют другие».

Разъяснения Тургенева выглядели очень внушительно, но в то время они были известны лишь небольшому кругу лиц. Между тем сам роман не давал четкого ответа на вопрос о формировании натуры Базарова, в нем даже не было предыстории «нигилиста», обычной для всех главных героев романов Тургенева. Еще Писарев в своей статье указывал на эту особенность романа, отмечая, что «у Тургенева мы видим только результаты, к которым пришел Базаров ⟨...⟩ Психологического анализа, связного перечня мыслей Базарова мы не находим; мы можем только отгадывать, что он думал и как формулировал перед самим собою свои убеждения» (*Рус Сл*, 1862, № 3, отдел «Русская литература», с. 30). Всё это приводило к тому, что наряду с критикой, разделявшей убеждение Антоновича о клевете на молодое поколение в «Отцах и детях» и т. п. (см., например, отклики на роман в журналах «Век», 1862, № 15-16, 22 апреля, «Искра», 1862, № 15, 27 апреля, 1863, № 11, 24 марта, и в газете «Очерки», 1863, № 56-58, 27 февраля — 1 марта) в печати появлялись отзывы на роман, в которых продолжала звучать нота, заданная в письме Герцена и статье Е. Тур, и предпринимались попытки раскрыть читателю «биографию» Базарова, формирование его характера. Так, анонимный автор статьи «Кто лучше?», напечатанной в либеральной газете «Современное слово», писал: «Мало сказать о ком-нибудь, что он *злой* и неприятный человек: нужно, чтобы читатель понимал, откуда взялись эти качества ⟨...⟩. Тургенев скрыл от нас тот мучительный процесс, которым Базаров пришел к своей раздражительности и желчному настроению, те бесчисленные муки и оскорбления, которые наверно испытал бедный студент медико-хирургической академии, прежде чем закипела в нем злоба против всего statu quo. Таким образом, у г. Тургенева вышло, что Базаров зол и груб не оттого, что его сделала таким тяжелая обстановка, но эта злость и грубость возведены в закон природы для всех людей, разделяющих его образ мыслей. Мы уж не хотим распространяться о том, что обыкновенно и родители-то у Базаровых бывают совсем непохожи на тех милых и добрых старичков, которые выведены в романе...» (Современное слово, 1862, № 14, 16 июня, с. 55).

Отзыв, в известной мере созвучный мнению этой газеты, получили «Отцы и дети» в статье «Не в бровь, а в глаз», напечатанной в апрельской и майской книжках журнала «Библиотека для чтения» за 1862 г. Признавая в Базарове типического представителя «передового умственного движения века», автор статьи писал, что этот герой «задуман хорошо и прочно с знанием всей его подноготной. Но г. Тургенев не хотел, чтобы из его романа вышел скучнейший

трактат о воспитании ⟨. . .⟩. Он хотел остаться верен своей службе художника и потому опустил все ненужные ему подробности, изучение которых, однако, составляло для него необходимый подготовительный труд» (*Б-ка Чт*, 1862, № 5, отд. II, с. 149). Переходя затем к анализу «подноготной» Базарова, критик в числе причин, которые, по его мнению, предопределили «уродливости» характера и «причуды ума» героя, назвал общественные условия мрачного семилетия, в которых прошли его гимназические годы, и бурсацкий быт медико-хирургической академии. Критик утверждал, что «недостатки и несовершенство людей базаровского типа составляют с тем вместе и несчастие этих людей», и возражал против предъявляемых Тургеневу «обвинений в клеветливости на своего героя и во враждебном к нему расположении» (там же, с. 160, 148).

Обстоятельный разговор о Базарове, обещанный Герцену в цитированном выше письме Тургенева, по-видимому, состоялся между ними в мае 1862 г., во время трехдневного пребывания писателя в Лондоне, но не привел к взаимному пониманию. Об этом свидетельствует статья «Новая фаза русской литературы» (1864), в которой Герцен развивает свои прежние мысли о романе, но уже с учетом авторских указаний на принципиальное родство нигилизма Базарова с убеждениями крупнейших деятелей русского освободительного движения, в частности Белинского. Как видно из статьи, эти указания не удовлетворили Герцена. Несомненно считаясь с ними, он тем не менее отказывал тургеневской трактовке нигилизма в подлинной глубине и объективности. Вместе с тем Герцен отмечал: «И все-таки этот роман Тургенева — единственное замечательное произведение новой литературной фазы... фазы консервативной» (*Герцен*, т. 18, с. 219). Герцен писал о губительном воздействии реакции на литературу и утверждал, что и Тургенев не избежал этого влияния. В связи с этим Герцен иронически причислял автора к маститым «литературным камергерам», для которых нестерпимы внешние формы проявления нигилизма, которым неизвестна подлинная его история. Обращаясь непосредственно к оценке «Отцов и детей» и позиции Тургенева, Герцен писал:

«Что за задача — раскрывать истину с терпением Агассиса, наблюдающего день и ночь зародыш черепахи, улавливать связь, существующую между ненавистью сына к взяточничеству и вынужденным воровством отца, прослеживать, как слезы матери превращаются в социалистические мечты! Да, подобная задача стоила труда. Но для этого надо было быть независимым от каких бы то ни было влияний.

Тургенев сделал из своего нигилиста „брюзгу-племянника“, наделенного кучей всевозможных пороков ⟨. . .⟩, которые он боится исследовать глубже наружного их покрова» (там же, с. 218).

Впрочем, в дальнейшем, и в столь же темпераментной форме, Герцен высказывал суждения о романе более благоприятные для автора. В пору острых разногласий с «молодой эмиграцией» в Женеве Герцен советовал Огареву: «...позабудь ты существование Тург⟨ева⟩ и отрешись от наших популярничаний,— тогда ты поймешь ⟨. . .⟩ нагую верность типа. Базаров нравственно — выше последующих базароидов. Он у Тургенева храбр, умен, не вор, не доносчик, не вонючий клоп» (*Гéрцен*, т. 29, кн. 1, с. 332. Об отношениях Герцена с «молодой эмиграцией» см.: *Герцен*, т. 20, кн. 2, с. 789—791). К «базароидам» Герцен относил и Писарева. Ознакомившись с I частью издания «Сочинений» Писарева, печатавшихся в то время в

Петербурге, Герцен писал Огареву, что это знакомство доставило ему «перцовое наслаждение». «Он,— писал Герцен, имея в виду Писарева,— заставил меня иначе взглянуть на роман Турген⟨ева⟩ и на Базарова» (*Герцен*, т. 29, кн. 1, с. 256). В статье «Еще раз Базаров» (1868) Герцен выступил с критикой первой писаревской статьи об «Отцах и детях», в которой апофеоз Базарова нередко сопровождался огрубленным истолкованием сущности его «нигилизма». В последний раз обращаясь к проблеме двух поколений, Герцен подчеркивал победу художественной правды над тенденциозностью в романе Тургенева. Он писал: «Странные судьбы *отцов и детей*! Что Тургенев вывел Базарова не для того, чтоб погладить по головке,— это ясно; что он хотел что-то сделать в пользу отцов,— и это ясно. Но в соприкосновении с такими жалкими и ничтожными отцами, как Кирсановы, крутой Базаров увлек Тургенева, и, вместо того, чтобы посечь сына, он выпорол отцов» (*Герцен*, т. 20, кн. 1, с. 339). В этой же статье Герцен категорически возражал против односторонней трактовки Писаревым поколений, предшествующих шестидесятникам, напоминая, что «тип того времени ⟨...⟩ это — *декабрист*, а не Онегин» (там же, с. 341), а современные «отцы» не все Кирсановы.

В ряде журналов преобладала точка зрения на роман как на произведение, разоблачающее в лице Базарова пороки разночинно-демократической идеологии. В статье «Принципы и ощущения» (*Отеч Зап*, 1862, № 3) разночинцам-демократам приписывалась теория ощущений, в основе которой лежит голый эгоизм, примитивно-беспощадные зоологические инстинкты и побуждения. «Ястреб, волк, тигр, щука проводят теорию ощущений каждый в своей области, самым последовательным образом,— отмечалось в статье,— и они лучшие адепты школы. Ястреб никогда не вступится за голубя, и Базаров совершенно логически похвалил муравья, который тащил муху ⟨...⟩. Наше общество отвергает эту философию. Каким образом? — спросите вы. Прочтите роман г. Тургенева...» (с. 109). Намеренно игнорируя сложное отношение автора к своим героям, критик «Отечественных записок» приветствовал в Тургеневе защитника незыблемых основ «жизни», против которых бессильно отрицание Базаровых. «Герой г. Тургенева умирает совершенно естественно,— говорится в статье: — это не случайность, это результат тех убеждений, которыми жил Базаров. Что-нибудь одно: или признай какие-нибудь принципы для жизни и живи с людьми, или живи своими одинокими ощущениями, и когда они опротивят — умри» (там же, с. 119). Симпатии критика были всецело на стороне «отцов». «Лучшие лица в художественном отношении,— писал он,— не Базаров, не Одинцова, а братья Кирсановы и старики Базаровы» (там же, с. 117).

Идея о торжестве «жизни» над нигилизмом наиболее полное развитие получила в статье Н. Страхова «„Отцы и дети" И. Тургенева», напечатанной в журнале «Время», но едва ли вполне отражавшей позицию его редактора Достоевского. Страхов заявлял о своем сочувствии личности Базарова и не отрицал сочувствия автора герою романа, что не мешало ему квалифицировать нигилизм как течение общественной мысли, бесплодное в настоящем и лишенное перспективы в будущем.

«Таинственное нравоучение», заложенное в романе Тургенева, Страхов определял следующим образом: «Базаров отворачивается от природы; не корит его за это Тургенев, а только рисует природу

во всей красоте. Базаров не дорожит дружбою и отрекается от романтической любви; не порочит его за это автор, а только изображает дружбу Аркадия к самому Базарову и его счастливую любовь к Кате. Базаров отрицает тесные связи между родителями и детьми; не упрекает его за это автор, а только развертывает перед нами картину родительской любви. Базаров чуждается жизни; не выставляет его автор за это злодеем, а только показывает нам жизнь во всей ее красоте. Базаров отвергает поэзию; Тургенев не делает его за это дураком, а только изображает его самого со всею роскошью и проницательностью поэзии ⟨...⟩ Тургенев стоит за вечные начала человеческой жизни, за те основные элементы, которые могут бесконечно изменять свои формы, но в сущности всегда остаются неизменными ⟨...⟩ Общие силы жизни — вот на что устремлено все его внимание ⟨...⟩ Базаров — это титан, восставший против своей матери земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей ⟨...⟩ Базаров ⟨...⟩ побежден не лицами и не случайностями жизни, но самою идеею этой жизни» (Время, 1862, № 4, отд. II, с. 81).

Скептическое отношение Страхова к Базарову и демократии, облеченное в цитированной статье в обманчивые формы показной благожелательности и сочувственного понимания, с полной ясностью определилось позднее. Страхов был крайне раздражен появлением в печати в 1869 г. мемуарного очерка Тургенева «По поводу „Отцов и детей“», в котором писатель открыто заявил о своем сочувствии базаровскому типу и принял «часть» упреков, предъявленных ему демократическим лагерем. «Выпущенным мною словом „нигилист“,— писал Тургенев,— воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом». В связи с этим выступлением Страхов направил в редакцию журнала «Заря» письмо («Еще за Тургенева»), в котором заявлял: «Поэтам не всегда следует верить, когда они принимаются сами истолковывать свои творения», и отказывал Тургеневу «в его притязаниях» «выставить себя нигилистом и записаться в последователи лица, созданного им самим» (Заря, 1869, № 12, с. 122, 124). В предисловии ко второму изданию своих «Критических статей об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом» (СПб., 1887) Страхов писал о том, что «нигилизм ничего не произвел и не мог произвести; он оказался простым подражанием, и только повторил давнишние ходы мысли, приводящие ко всякому злу, но ничего не созидающие»; что он был «запоздалою реакциею против николаевского царствования, и никаких семян мысли в нем не было ⟨...⟩ Пусть же читатели мне простят, что я когда-то не хотел поверить такому печальному взгляду на наше литературное движение, а также, что приписал сперва Тургеневу силу, которой у него не было» (цит. изд., с. VIII—IX).

В реакционных изданиях, откликнувшихся на роман, враждебное отношение к «нигилизму» высказывалось без всяких оговорок и прикрас. Так, например, Аскоченский, имея в виду базаровско-писаревский атеизм, патетически восклицал: «Люди, люди! Чем вы играете и что бросаете на необъятную ставку вечности!.. Мысль цепенеет от ужаса» (Домашняя беседа, 1862, вып. 19, 12 мая, отдел «Блестки и изгарь», с. 449).

В анонимной заметке «Русского вестника» «Диковинки русской журналистики», посвященной в основном сопоставлению и тенденциозному истолкованию наиболее слабых мест из статей Антоновича и Писарева, утверждалось: «Для всех непредубежденных глаз Ба-

заров — неприятная личность, чтобы не сказать более» (*Рус Вестн*, 1862, «Современная летопись», № 18, с. 17). М. Н. Катков выступил в своем журнале с двумя статьями о романе. В первой из них, «Роман Тургенева и его критики» — подверглись очень злому и пристрастному разбору отзывы о романе, написанные Антоновичем, Писаревым и Страховым (последнего Катков упрекал в положительной трактовке «умственного аскетизма» Базарова — см.: *Рус Вестн*, 1862, № 5, с. 416—417). В статье «О нашем нигилизме. По поводу романа Тургенева» Катков писал о разночинно-демократической идеологии: «Отрицание для отрицания, вот вся ее тайна; ничего в начале и ничего в конце; вот вся ее сила» (*Рус Вестн*, 1862, № 7, с. 421). Такой же враждебностью и вместе с тем принципиальным нежеланием вникнуть в анализ сложного вопроса примечательны в статье Каткова многочисленные характеристики Базарова, например, следующая: «Его научные исследования — фраза; его заботы об общественных язвах — фраза; его общие воззрения, его толки об искусстве, о знании, о людях, об общественных учреждениях, о всеобщей несостоятельности, о необходимости повальной ломки, о непризнавании авторитетов, об отрицании всех начал жизни и мысли,— всё это совершеннейшие празднომыслие и пустословие» (там же, с. 422).

Обсуждение романа Тургенева в 1863—1865 годах происходило в иной исторической и литературной обстановке, чем в 1862 г. Это было время краха революционной ситуации и натиска реакции, особенно усилившейся после подавления польского восстания,— время глубокого кризиса в рядах революционной демократии, нашедшего, в частности, выражение в полемике «Современника» с «Русским словом». Одной из причин этой полемики был различный подход к роману «Отцы и дети».

В статьях «Нерешенный вопрос» (*Рус Сл*, 1864, № 9—11), «Цветы невинного юмора» (*Рус Сл*, 1864, № 2), «Посмотрим!» (*Рус Сл*, 1865, № 9), «Новый тип» («Мыслящий пролетариат») (*Рус Сл*, 1865, № 10) Писарев продолжал развивать свои прежние взгляды на роман Тургенева, с той, однако, разницей, что теперь его упор на базаровскую формулу: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник» — стал более очевидным. Такой крен в оценке «Отцов и детей» вел к обеднению образа Базарова, к затушевыванию в нем черт разрушителя социально-политических основ, но он был логичен для Писарева и его единомышленников из «Русского слова», занятых в этот период, под влиянием спада революционных настроений в обществе, усиленной пропагандой естественных наук. Писарев и его группа не отказывались от поддержки революции в том случае, если она все-таки произойдет, но считали необходимыми поиски других путей борьбы за общественное переустройство. В связи с этим Писарев писал в статье «Цветы невинного юмора»: «Народное чувство, народный энтузиазм остаются при всех своих правах ⟨...⟩ Но ⟨...⟩ если даже чувство и энтузиазм приведут к какому-нибудь результату, то упрочить этот результат могут только люди, умеющие мыслить. Стало быть, размножать мыслящих людей — вот альфа и омега всякого разумного общественного развития. Стало быть, естествознание составляет в настоящее время самую животрепещущую потребность нашего общества» (*Рус Сл*, 1864, № 2, «Литературное обозрение», с. 42). Отношение к роману Тургенева в журнале «Русское слово» предопределялось этим общественно-политическим кредо.

Апофеоз Базарова-естественника в статьях Писарева сопровождался отрицанием искусства и нормативной эстетики, известным пересмотром литературно-критических принципов Добролюбова и проповедью вульгарного материализма. Главным противником Писарева в этой полемике был Антонович, в ряде статей подтверждавший свое прежнее отрицательное отношение к роману «Отцы и дети» (см.: «Современные романы» — *Совр*, 1864, № 4; «Промахи» — *Совр*, 1865, № 2, 4; «Современная эстетическая теория» — *Совр*, 1865, № 3; «Лжереалисты» — *Совр*, 1865, № 7 и др.).

Свое отношение к роману высказали и славянофилы. В газете «День» было напечатано обозрение Н. М. Павлова «Текучая беллетристика», в котором роман «Отцы и дети» был назван публицистическим и на этом основании поставлен в один ряд с романами: «Марево» Клюшникова, «Взбаламученное море» Писемского, «Что делать?» Чернышевского. Славянофильский подход к теме выразился, однако, не в самой статье, а в сопровождавшем ее редакционном резюме, принадлежащем, по-видимому, редактору «Дня» И. С. Аксакову: «Нигилизм,— писал он,— есть естественный, исторический плод того *отрицательного* отношения к жизни, в которое стала русская мысль и русское искусство с первого шага своей деятельности после Петра. Вспомним, что история нашей литературы ⟨...⟩ начинается *сатирой*! Это отрицание должно дойти наконец до отрицания самого себя. Таков процесс нашего общественного сознания и таков исторический смысл нигилизма. В частности же он имеет значение протеста, не всегда справедливого, но с одной стороны воздерживает от примирения с многою ложью и пошлостью, а с другой — нападениями на истину — вызывает ее приверженцев на более разумную, строгую, критическую ее поверку и защиту» (День, 1864, № 31, 1 августа. Критический отдел, с. 18).

Первые относительно спокойные оценки «Отцов и детей» относятся к самому концу шестидесятых годов. Так, в статье Н. В. Шелгунова «Люди сороковых и шестидесятых годов» говорилось о том, что «правда, намеченная в Базарове, жива и не умрет. Эта правда заключается в сущности тех новых исторических требований, которые создались освобождением крестьян, в том реализме, без которого немыслим социально-экономический прогресс в России ⟨...⟩ В лице Базарова г. Тургенев заставляет новое поколение выразить свой протест против всякого крепостничества, в какой бы форме, в какой бы сфере, в каком бы притязании оно ни выражалось» (Дело, 1869, № 12, с. 31, 44).

Революционно-демократическое начало в идейно-психологическом облике тургеневского героя было отмечено также в книге писателя М. В. Авдеева. «Базаров,— указывал он,— умер вследствие случайности ⟨...⟩ Эта случайность могла быть преднамеренно придумана правдивым автором, который сознавал невозможность описывать мощного общественного деятеля в то время ⟨...⟩ Это та естественная случайность, вследствие которой умерло у нас столько молодых и замечательных людей ⟨...⟩ Не будь этой случайности — эти люди всё равно умерли бы рано, не довершив дела, умерли бы печально и трагически. Передовые бойцы, бросающиеся на твердыню, почти всегда гибнут: она сдается только упорным последователям» (А в д е е в М. В. Наше общество в героях и героинях литературы. СПб., 1874, с. 116—117).

Свое отношение к роману Тургенева высказали — главным образом в частной переписке и мемуарах — крупнейшие русские

писатели, ученые, революционные и общественные деятели. Сопоставление этих отзывов лишний раз свидетельствует о противоречивом восприятии «Отцов и детей» современниками Тургенева.

Известный анархист П. А. Кропоткин писал брату 18 февраля ст. ст. 1862 г.: «Я жду с нетерпением нового романа Тургенева „Отцы и дети“. Ведь Рудин, Лаврецкий, эти типы Тургенева уже отживают свой век, их оттеснило новое поколение. Каким-то он его представит?» (Кропоткины Петр и Ал-др. Переписка. 1857—1862. М.—Л.: Academia, 1932. Т. 1, с. 256). Впоследствии, сравнивая Базарова с нигилистом Марком Волоховым из романа Гончарова «Обрыв», он же писал: «Тургенев был слишком тонкий художник и слишком уважал новый тип, чтобы быть способным на карикатуру; но и его Базаров не удовлетворял нас. Мы в то время нашли его слишком грубым,— например, в отношениях к старикам-родителям, а в особенности, мы думали, что он слишком пренебрегал своими обязанностями как гражданин. Молодежь не могла быть удовлетворена исключительно отрицательным ко всему отношением тургеневского героя. Нигилизм, с его декларацией прав личности и отрицанием лицемерия, был только переходным моментом к появлению „новых людей“ 〈. . .〉 В нигилистах Чернышевского, выведенных в несравненно менее художественном романе „Что делать?“, мы видели лучшие портреты самих себя» (Кропоткин П. Записки революционера. СПб., 1906. Т. 1, с. 271).

Поэт А. Н. Майков писал Тургеневу 10 (22) марта 1862 г.: «„Отцы и дети“ ваши точно первый ясный весенний день после сумрачного холодного марта! Свежо, душа отдыхает, поэзией упивается грудь! Много надо иметь сердца, чтобы создать Базарова и притом так художественно изобразить вырабатывающийся в жизни нашей тип, в сущности прекрасный, но *головной* еще, отрицающий — по теории, сам себя не сознающий, по теории той же себя уродующий, как изуродовано всё, что его окружает и что он отрицает всею силою желчного негодования! Вы не *учите* — вот чего я боялся, чего боялись все друзья ваши,— вы рисуете, но рисуете последний распустившийся цветок нашей жизни, цветок со своим особенным запахом, не дворянским...» (*Т сб*, вып. 1, с. 256. Публикация Е. И. Кийко).

20 марта ст. ст. 1862 г. П. А. Плетнев писал из Петербурга Л. Н. Толстому: «Нам очень хотелось бы знать, читали ли Вы новую повесть И. С. Тургенева: „Отцы и дети“ — и как Вы нашли ее сравнительно с прежними его повестями. Здесь все, особенно Ф. И. Тютчев, в восхищении от этой изумительной художественности автора. Талант его, так сказать, отстоялся. Нет ничего ни преувеличенного, ни изысканного. Жизнь взята во всей ее истине. А между тем сколько трогательного и назидательного»[10]. Толстой отвечал 1 (13) мая 1862 г.: «Тургеневский роман меня очень занимал и понравился мне гораздо меньше, чем я ожидал. Главный упрек, который я ему делаю — он холоден, что не годится для тургеневского дарованья. Всё умно, всё тонко, всё художественно, я соглашусь с Вами; многое назидательно и справедливо, но нет ни одной страницы, которая бы была написана одним почерком с замираньем сердца, и потому

[10] Толстой. 1850—1860. Материалы, статьи./Под ред. В. И. Срезневского. Труды Толстовского музея Академии наук СССР. Л., 1927, с. 25—26.

нет ни одной страницы, которая бы брала за душу. Я очень жалею, что не согласен с Вами и Ф. И. Тютчевым — но не согласен. Между прочим, во избежание недоразумений считаю нужным Вам сообщить, что между мной и г-ном Тургеневым прерваны всякие личные сношения» (там же, с. 27).

И. С. Аксаков, в письме к Н. С. Сохановой от 6 (18) мая 1862 г., подчеркивал колебания в отношении Тургенева к двум поколениям. «Роман замечательный по своей социальной задаче,— отмечал И. С. Аксаков,— но художник n'est pas à la portée du sujet ⟨не на уровне сюжета.—*Ред.*⟩,— и вышло довольно уродливое произведение. Тургенев очень умный, очень добродушный человек, но —вот что замечательно умно и верно сказала о нем дочь известного поэта Тютчева ⟨...⟩: „il lui manque l'épine dorsale *morale*“ ⟨он морально бесхребетен.—*Ред.*⟩. Действительно — в нем костей совсем нет, а всё хрящ» (*Рус Обозр*, 1897, № 5, с. 95).

В 1863 г., в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (печатались в февральской и мартовской книжках журнала «Время») появился отзыв Ф. М. Достоевского, полемически противопоставленный отрицательным суждениям о романе в демократической печати. О первоначальном — не сохранившемся — отзыве Достоевского, а также о несохранившемся отрицательном отзыве на роман Фета см. в письмах Тургенева к Достоевскому от 18 (30) марта и к Фету от 6 (18) апреля 1862 г. В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский писал о некоторых деятелях «Современника», отнесшихся отрицательно к герою тургеневского романа: «Зато как мы спокойны, величаво спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и всё разрешили и подписали. С каким спокойным самодовольствием мы отхлестали, например, Тургенева за то, что он осмелился не успокоиться с нами и не удовлетвориться нашими величавыми личностями и отказался принять их за свой идеал, а искал чего-то получше, чем мы. Лучше чем мы, господи помилуй! Да что же нас краше и безошибочнее в подсолнечной? Ну, и досталось же ему за Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы его и за Кукшину, за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из русской действительности нам напоказ, да еще прибавили, что он идет против эмансипации женщины» (*Достоевский*, т. 5, с. 59—60). В этом отзыве Достоевского заслуживает особого внимания указание на признаки «великого сердца» Базарова, тоску и беспокойство — следствие глубокой неудовлетворенности окружающей действительностью, следствие разлада с нею. Не исключено, что в Базарове Достоевский увидел тип потенциального почвенника [11].

Писемский писал Тургеневу 8 (20) марта 1862 г.: «Что такое Базаров —немножко мужиковатый, но в то же время скромный, сдержанный честолюбец, говорящий редко, но метко, а главное

---

[11] Подробнее об этом см. в статье: Б а т ю т о А. И. Признаки великого сердца (к истории восприятия Достоевским романа Тургенева «Отцы и дети»).— Русская литература, 1977, № 2, с. 22—37. Там же (см. с. 33—34, 35) обращается внимание на пародийное сближение Достоевским, в статье «Щекотливый вопрос» (1862), англомана М. Н. Каткова с тургеневским англоманом Павлом Петровичем Кирсановым.

человек темперамента — вот ведь вы что хотели вывести, а у вас во всей первой половине повести вышел фразер ⟨...⟩ сократите его в первой половине повести, стушуйте до полусвета — и вышло бы прелесть!!!» Вместе с тем Писемский признавался, что Базаров ему все-таки «дорог» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 174).

Сложным было отношение Салтыкова-Щедрина к «Отцам и детям». В 1863 и 1864 годах оно в значительной степени определялось условиями полемики «Современника» с «Русским словом». В январском обозрении «Современника» за 1864 год «Наша общественная жизнь» Щедрин изобразил несколько своих «разговоров» с «кающимися нигилистами». Последние не были поименованы, а предмет «разговора» с ними, в видах цензуры, изложен Эзоповым языком. Однако при этом ясно было, что Щедрин в своих «разговорах» намекал на различное решение «нигилистами» из «Русского слова» и «Современником» вопроса о дальнейших путях развития России. «Некоторые из них,— многозначительно писал Щедрин, имея в виду публицистов „Русского слова“,— уже начинают исподволь поговаривать о „скромном служении науке“, а к „жизненным трепетаниям“ относятся уже с некоторою игривостью, как к чему-то, не имеющему никакой солидности и приличному только мальчишескому возрасту» (*Совр*, 1864, № 1, с. 27). Под «жизненными трепетаниями» сатирик подразумевал революцию, идейную подготовку которой «нигилисты» из «Русского слова» стремились подменить «служением науке». В связи с этим Щедрин едко констатировал «понижение тона» у «нигилистов», саркастически определяя «всю суть человеческой мудрости», исповедуемой в «Русском слове», двумя словами: «со временем».

Резкая оценка общественно-политической ориентации «Русского слова» неоднократно подкреплялась ссылками Щедрина на истолкование романа Тургенева в этом журнале. С другой стороны, резкий тон Щедрина как по адресу «Русского слова», так и по адресу Тургенева, объяснялся в это время началом «расцвета» эпигонской антидемократической беллетристики, в которой тургеневские идеи о нигилизме получали намеренно уродливую, реакционную окраску. Щедрин защищал демократические идеи «Современника» в борьбе с литературной реакцией, которая рассматривала свои нападки на революционно-демократическую молодежь как продолжение дела, якобы начатого Тургеневым в романе «Отцы и дети», и тем самым дезориентировала читателя.

В мартовской книжке «Современника» за 1864 год Щедрин продолжил полемику с журналом «Русское слово», который своей нигилистической фразеологией невольно помогал сгущению «тумана», создаваемого охранителями вокруг идей молодого поколения. Туман этот,— отмечал Щедрин,— «еще более способствует размножению тех темных личностей, которые упомянуты мной ⟨...⟩ под именем юродствующих и вислоухих и которые сами совершенно серьезно готовы признать воришку Басардина[12] за тип современного прогрессиста, как признали таковым, в недавнее время, болтуна Базарова» (*Совр*, 1864, № 3, с. 56—57). Далее Щедрин продолжал: «В позапрошлом году пущено было в ход слово „нигилизм“, слово,

---

[12] Герой антинигилистического романа Писемского «Взбаламученное море».

не имеющее смысла и всего менее характеризующее стремления молодого поколения ⟨...⟩ Между тем слово пошло в ход и получило право гражданственности ⟨...⟩ именно благодаря тем вислоухим, которые ухватились за него, словно утопающие за соломинку, стали драпироваться в него, как в некую златотканую мантию, и из бессмыслицы сделали себе знамя» (там же, с. 58).

Определение «болтун», которое распространялось, разумеется, и на Писарева, было вызвано резко-критическим отношением Щедрина к общественно-политической позиции журнала «Русское слово», не соответствовавшей революционному демократизму в духе Чернышевского и его последователей. Отсюда — суровое отношение в этот период к роману «Отцы и дети» и его автору, который, по мнению Щедрина, «нечаянно» (см.: *Салтыков-Щедрин*, т. 5, с. 169) нанес вред демократическому движению, так как дал реакции повод воспользоваться негативным определением «нигилист» для опорочивания всех оппозиционных сил [13]. Щедрин и впоследствии не прощал Тургеневу этой его невольной вины. Вместе с тем в дальнейшем, когда изменилась историческая обстановка, Щедрин подчеркивал большое положительное значение романа Тургенева [14].

В конце 1875 или в начале 1876 г. Тургенев получил от сатирика письмо, посвященное его роману. Это письмо не сохранилось, но ответ на него Тургенева свидетельствует о том, что общая оценка романа Салтыковым-Щедриным, несмотря на веские критические замечания и упреки, была высокой. В связи с этим 3 (15) января 1876 г. Тургенев писал Щедрину: «Ну а теперь скажу два слова и об „Отцах и детях“, так как Вы об них говорили. Неужели Вы полагаете, что всё, в чем Вы меня упрекаете, не приходило мне в голову? Оттого мне и не хотелось бы исчезнуть с лица земли, не кончив моего большого романа ⟨. . .⟩ [15] Не удивляюсь, впрочем, что Базаров остался для многих загадкой; я сам не могу хорошенько себе представить, как я его написал. Тут был — не смейтесь, пожалуйста,— какой-то фатум, что-то сильнее самого автора, что-то независимое от него. Знаю одно: никакой предвзятой мысли, никакой тенденции во мне тогда не было ⟨. . .⟩. Скажите по совести,

---

[13] О том, что невольная роль Тургенева и его романа была именно такова, свидетельствует следующая выдержка из «Отчета о действиях III отделения е. и. в. канцелярии и корпуса жандармов» за 1862 г.: «Справедливость требует сказать, что благотворное влияние на умы имело сочинение известного писателя Ивана Тургенева „Отцы и дети“. Находясь во главе современных русских талантов и пользуясь симпатиею образованного общества, Тургенев этим сочинением, неожиданно для молодого поколения, недавно ему рукоплескавшего, заклеймил наших недорослей-революционеров едким именем „нигилистов“ и поколебал учение материализма и его представителей» (*Центрархив*, *Документы*, с. 165).

[14] О других, завуалированных, отзывах Щедрина о романе Тургенева см. в статье: Н и к и т и н а Н. С. Из полемики Салтыкова-Щедрина с автором «Отцов и детей» и его критиками.— В сб.: Тургенев и его современники. Л.: Наука, 1977, с. 72—77.

[15] Речь идет о романе «Новь», который, по мысли Тургенева, должен был ему вернуть былые симпатии демократической молодежи, осуждавшей его за романы «Отцы и дети» и «Дым».

разве кому-нибудь может быть обидно сравнение его с Базаровым? Не сами ли Вы замечаете, что эта самая симпатичная из всех моих фигур? „Тонкий некий запах“ присочинен читателями; но я готов сознаться (и уже печатно сознался в своих „Воспоминаниях“), что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за кличку, за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину — и потому я признаю справедливыми и отчуждение от меня молодежи и всяческие нарекания ⟨...⟩ Возникший вопрос был поважнее художественной правды — и я должен был это знать наперед».

Несколько позднее Щедрин также высоко оценивал роман Тургенева, усматривая в нем — в богатстве его социального содержания — влияние традиции «Современника». 15 (27) февраля ⟨1876 г.⟩, в ожидании выхода в свет тургеневской «Нови», он писал П. В. Анненкову: «Тургенев — писатель субъективный, и то, что не выливается прямо, выходит у него плохо ⟨...⟩ Нет никого, кто бы вызывал его на споры и будил его мысль. В этом отношении разрыв с „Современником“ и убил его. Последнее, что он написал, „Отцы и дети“, было плодом общения с „Современником“. Там были озорники неприятные, но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать себя самого» (*Салтыков-Щедрин*, т. 18, кн. II, с. 262). В некрологе Тургенева Салтыков-Щедрин указывал, что Тургенев вслед за Пушкиным умел пробуждать «те простые, всем доступные общечеловеческие „добрые чувства“, в основе которых лежит глубокая вера в торжество света, добра и нравственной красоты»; что все его сочинения «проникнуты тою страстною жаждой добра и света, неудовлетворение которой составляет самое жгучее больное место современного существования. Базаровы, Рудины, Инсаровы — всё это действительные носители „добрых чувств“, всё это подлинные мученики той темной свиты призраков, которые противопоставляют добрым стремлениям свое бесконтрольное и угрюмое non possumus» (там же, т. 9, с. 458). Из писательских суждений о романе особого упоминания заслуживает отзыв В. Ф. Одоевского, относящийся, по всей вероятности, к 1867 году. В характере и поведении Базарова Одоевский усмотрел отсутствие цельности, логически и психологически недостаточно оправданное (а потому и едва ли извинительное) противоречивое соединение разнородных черт и элементов. Формулируя в связи с этим свои претензии Тургеневу, Одоевский отмечал: «Для сопряжения разнородных элементов часто необходим посредствующий элемент; так, нужна известная степень жара для соединения серы и ртути, т. е. для образования киновари. То же и в мире искусства, могут быть соединены весьма разные черты в одном и том же лице и образовать цельный характер; напротив, в другом случае эти черты составляют агломерат, хотя и могущий образоваться в цельный организм — но лишь хитростию искусства. Все характеры, даже второстепенные, в „Отцах и детях“ представляют нам эту органическую цельность — дело высокого таланта. Отца и дядю, мать ⟨...⟩ Ситникова и даже Фенечку ⟨...⟩ видим перед собою живьем; нельзя того же сказать о Базарове». Подробный анализ отношения Одоевского к роману «Отцы и дети» и его главному герою см. в статье: Т у р ь я н М. А. В. Ф. Одоевский в полемике с И. С. Тургеневым.— Русская литература, 1972, № 1, с. 98—101. Замечание Одоевского о том, что Базаров лицо недостаточно живое по сравнению с другими лицами романа, а главное — лицо, поведение которого, в иных случаях, осталось без

должного авторского «объяснения», перекликалось с некоторыми замечаниями Герцена (см. выше, с. 443).

Незадолго до кончины писателя с ним встретился К. А. Тимирязев. Тургенев был растроган восторженным отношением молодого Тимирязева к Базарову и подарил ему экземпляр «Отцов и детей» со своим автографом. Впоследствии, в работе «Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов», Тимирязев отмечал, что «в неизвестном провинциальном докторе» Тургенев «угадал будущих Боткина, Сеченова и вообще всё могучее движение русской науки» (Тимирязев К. А. Сочинения. М., 1939. Т. 8, с. 173). Сравнивая далее тургеневского Базарова с Петром I, К. А. Тимирязев писал по этому поводу: «Тот и другой были прежде всего воплощением „вечного работника" всё равно „на троне" или в мастерской науки. Оба властной рукой „втолкнули" русского человека в круговорот — один современной ему общеевропейской жизни, другой в еще труднее доступную область общечеловеческой научной мысли. Оба, убежденные реалисты, ставили выше всего знание, науку и с каким-то умственным аскетизмом отталкивали от себя всё смягчающее, скрашивающее жизнь, во имя служения тому, что представлялось им настоятельной потребностью минуты. Оба с безжалостною грубостью и нетерпимостью шли напролом. Оба созидали — разрушая» (там же, с. 174).

Роман Тургенева получил высокую оценку в марксистской критике, стремившейся к историческому осмыслению типа Базарова. «Пусть Тургенев,— писал В. В. Боровский,— неверно изобразил Базарова в тех или других деталях, пусть он — в силу психической чуждости этому типу — утрировал в нем как раз отрицательные черты,— одно несомненно: в основу характеристики нигилиста он положил действительные черты реального общественного типа, развернувшегося вскоре пышным цветом и заполнившего своей проповедью рационализма и индивидуализма целое десятилетие» (Воровский В. В. Сочинения. Л., 1931. Т. 2, с. 74).

Рассматривая Базарова как типичного представителя передовой разночинно-демократической интеллигенции писаревской ориентации, Воровский отмечал, что его индивидуализм «был пропитан общественными интересами», что соображение «общей пользы» «играло решающую роль в утилитарной морали Базарова» (там же, с. 85, 98).

А. В. Луначарский называл Тургенева писателем, который своими романами возвестил о «ликвидации идейной гегемонии дворянства» (Луначарский А. В. Русская литература. М., 1947, с. 83). «По тому, как крепко Базаров стоит на двух своих ногах,— отмечал А. В. Луначарский,— по всему презрению, которое он чувствует к пустой болтовне и лишним людям, вы чувствуете, что это — не *лишний* человек, что это — очень нужный человек в России, что за какую бы задачу он ни взялся, он разрешит ее практично своими крепкими умелыми руками» (там же, с. 86—87). Вместе с тем Луначарский, подобно революционным демократам-шестидесятникам, критиковал Тургенева за то, что он изобразил своего героя «упершимся в стену, не видящим в жизни никакого смысла» (там же, с. 85).

Роман Тургенева, замысел которого теснейшим образом связан с действительностью шестидесятых годов прошлого века, остается живым и в известном смысле по-прежнему злободневным явлением в русской литературе. В связи с этим особенно примечательны горя-

чие споры о его значении и идейном содержании, порождаемые подчас крайне односторонним подходом к некоторым вопросам его творческой истории [16].

V

В 1863 г. вышел в свет французский перевод «Отцов и детей» (Pères et Enfants par Ivan Tourguénef. Paris, 1863), который Тургенев впоследствии, в письме к Л. Пичу от 3 (15) января 1869 г. назвал «превосходным». В предисловии к этому переводу П. Мериме писал: «В этом небольшом произведении г. Тургенев показал себя, по обыкновению, проницательным и тонким наблюдателем; однако, избрав предметом изучения два поколения своих соотечественников, он совершил ошибку, не польстив ни одному из них. Каждое из поколений находит портрет другого очень схожим, но кричит, что его собственный портрет является карикатурой ⟨...⟩ Отцы протестовали, а дети, еще более обидчивые, громко возопили, увидя свое воплощение в положительном Базарове» (*Лит Насл*, т. 31—32, с. 720—721).

Назвав перевод романа на французский язык «очень точным», П. Мериме отмечал, что «переводить с русского на французский не так легко. Русский язык создан для поэзии, он необычайно богат и, в особенности, замечателен по тонкости выражаемых им оттенков. Вы представляете себе, что может извлечь из подобного языка искусный писатель, отдающийся наблюдению и анализу, и какие непреодолимые трудности готовит он для переводчика. В конце концов, если портреты г. Тургенева теряют для нас кое-что в блестящем колорите, всегда сохранятся их правдивость и непосредственная прелесть, характеризующие все добросовестно с натуры написанные произведения» (там же, с. 722).

На немецком языке «Отцы и дети» впервые появились в штутгартской газете «Der Beobachter», 1865, № 228—303, 30 September — 31 Dezember. В основу этого перевода, «весьма неудовлетворительного», по отзыву Тургенева в письме к Людвигу Пичу от 3 (15) января 1869 г., лег не русский оригинал, а французский текст с предисловием Мериме, о котором говорилось выше. В дальнейшем перевод романа в штутгартской газете был, по просьбе Тургенева, отредактирован Л. Пичем и в 1869 г. включен в первый том избран-

---

[16] Статья В. Архипова «К творческой истории романа И. С. Тургенева „Отцы и дети“» (Русская литература, 1958, № 1) вызвала ряд полемических откликов, в которых проблемы творчества Тургенева рассматриваются как близкие нам, нашей современности. Вот перечень этих выступлений по поводу романа Тургенева: О с е т р о в Е. Новые вариации на старую тему.— Литература и жизнь, 1958, № 33, 22 июня; С т а р и к о в Д. Актуальность и академизм.— Литературная газета, 1958, № 78, 1 июля; Б я л ы й Г. В. Архипов против Тургенева.— Новый мир, 1958, № 8, с. 255—259; К р у т и к о в а Л. Новый журнал.— Нева, 1958, № 9, с. 241—242; К у н и ц ы н Г. Научная статья... или пасквиль.— Подъем, 1958, № 4, с. 189—195; П у с т о в о й т П. В погоне за сенсацией.— Вопросы литературы, 1958, № 9, с. 79—88; П е т р о в С. О некоторых вопросах изучения творчества И. С. Тургенева в школе.— Литература в школе, 1958, № 5, с. 11—15; Д е м е н т ь е в А. Критические заметки.— Новый мир, 1958, № 11, с. 233.

ных сочинений Тургенева на немецком языке, изданных Е. Бере (см.: Turgenjew I. S. Väter und Söhne. Autorisirte Ausgabe mit einem Vorwort des Verfassers. Mitau, 1869). Тургенев написал следующее предисловие к этому переводу: «Вместо предисловия я позволю себе довести до сведения благосклонного читателя, что я гарантирую самым настойчивым образом полную точность данного перевода. Это — удовлетворение, редко или даже никогда не выпадавшее мне на долю. Тут по крайней мере судят о тебе, хвалят или бранят тебя, по тому, что ты действительно сделал, по твоим, а не по чужим словам» [17].

Первый перевод «Отцов и детей» на английский язык был сделан в 1867 году Е. Скайлером (см.: *Стасюлевич*, т. 3, с. 1—2).

Стр. 8. ... *вышел из университета кандидатом*...— Степень кандидата, введенная в 1804 г., давалась лицам, окончившим с отличием курс университета, лицея или академии и представившим письменную работу на избранную ими тему. Эта степень употреблялась в сочетании с названием учебного заведения или отрасли знаний (кандидат Петербургского университета, кандидат словесности). При поступлении на государственную службу она давала право на чин 10-го класса (коллежский секретарь).

...*английский клуб*...— Первый в России клуб, учрежденный по английскому образцу. Открыт в Петербурге в 1770 г. Был популярен в высших слоях общества и в литературных кругах. Членами английского клуба были Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов. Позднее английский клуб открылся также в Москве.

... *министерство уделов* — министерство, ведавшее управлением имений, принадлежавших царской семье.

Стр. 17. *Как грустно мне твое явленье*...— Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. VII, строфа II).

Стр. 19. ... *толковал о предстоящих правительственных мерах, о комитетах, о депутатах*...— 3 января 1857 г. под председательством Александра II был создан Секретный комитет по крестьянскому делу, через год (8 января 1858 г.) преобразованный в Главный комитет. В 1858 г. по царским рескриптам на всей территории России создавались губернские комитеты — выборные дворянско-помещичьи органы, в задачу которых входила предварительная подготовка проектов освобождения крестьян.

Стр. 21. ... *на широком гамбсовом кресле*...— Мебель, получившая название по имени французского мебельного мастера Гамбса (1765—1831), жившего в Петербурге.

... *Galignani* — ежедневная либеральная газета «Galignani's Messenger» («Вестник Галиньяни»), издававшаяся с 1804 г. в Париже на английском языке. Основатель газеты — Галиньяни (Galignani) Джованни Антонио.

Стр. 25. ... *дай вам бог здоровья и генеральский чин*...— Ср. «Горе от ума» Грибоедова (действие II, явл. 5): «. . . дай бог здоровье вам /И генеральский чин...»

---

[17] Ковалевская Е. Заметки о переводах романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» на немецкий язык.— Изв. Крымск. пед. ин-та им. М. В. Фрунзе. Симферополь, 1957, с. 469—470. Там же, с. 468—486, см. характеристику последующих переводов «Отцов и детей» на немецкий язык.

Прежде были гегелисты...— Подразумевается русская дворянская интеллигенция 1840-х годов, увлекавшаяся философией Гегеля. Главным средоточием изучения в России гегелевской философии был кружок Н. В. Станкевича.

С т р. 28. *Искусство наживать деньги, или нет более геморроя!* — Эта грубо полемическая реплика состоит из названий двух книг, получивших в конце 1840-х годов анекдотическую славу. Одна из них: «Искусство наживать деньги, способом простым, приятным и доступным всякому». Соч. Ротшильда. Перевод с франц. СПб., 1849; вторая — немецкого автора: «Нет более геморроя!» Доктора Макензи. Перевод с седьмого издания. СПб., 1846. Употребляя эту реплику, Базаров подчеркивает свое отрицательное отношение к искусству как к занятию, которое граничит, по его убеждению, с шарлатанством. См.: М е л ь н и к В. И. Источник одной реплики Базарова.— Русская литература, 1977, № 1, с. 173—175.

. . . Либих сделал удивительные открытия насчет удобрения полей.— Либих (Liebig) Юстус (1803—1873), немецкий химик, один из основателей агрохимии. Автор теории минерального питания растений (1840), способствовавшей широкому внедрению минеральных удобрений в земледелии. Сочинения Либиха в русском переводе: Письма о химии. СПб., 1861. Т. I—II; Химия в приложении к земледелию и физиологии. М.; Л., 1936.

С т р. 30. *Пажеский корпус* — среднее военное учебное заведение в дореволюционной России для сыновей высших сановников и генералов.

С т р. 33. . . . *Павел, напротив ∽ старость еще не настала.*— Эта характеристика П. П. Кирсанова автобиографична: в письме к Фету от 16 (28) июля 1860 г. Тургенев точно таким же образом охарактеризовал свое собственное душевное состояние.

Веллингтон (Wellington) Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и политический деятель. При содействии прусской армии одержал победу над Наполеоном при Ватерлоо (1815).

Людовик-Филипп (Louis-Philipe; 1773—1850) — французский король (1830—1848). Во время февральской революции 1848 года отрекся от престола и бежал в Англию.

С т р. 34. *И что за таинственные отношения между мужчиной и женщиной! ∽ чепуха, гниль, художество.*— В данном случае Базаров повторяет, внешне огрубляя их, аналогичные рассуждения Н. А. Добролюбова в рецензии «Органическое развитие человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» (1858). «Мы совестимся,— писал Добролюбов,— представить себе вещи, как они есть; мы непременно стараемся украсить, облагородить их ⟨. . .⟩ Кто не убирал розовыми цветами идеализма — простой, весьма понятной склонности к женщине? ⟨. . .⟩ Нет, что ни говорите, а желание поидеальничать в нас очень сильно; врачи и натуралисты „имеют резон“» (*Добролюбов*, т. 3, с. 99).

С т р . 36. *Мелисса* — многолетняя трава семейства губоцветных, с запахом лимона, употребляется как лечебное средство и как пряность.

С т р. 37. *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — генерал, соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова, герой Отечественной войны 1812 г., видный полководец и дипломат.

. . . разрозненный том С т р е л ь ц о в Масальского...— Четырехтомный исторический роман К. П. Масальского (1802—1861) вышел в свет в 1832 г.

Стр. 43. *«Ожидание» Шуберта* — песня «Die Erwartung» (1815), не вошедшая в известные циклы песен композитора. Первоначальный интерес к творчеству Шуберта в России был связан с эстетическими исканиями, шедшими в русле романтизма (см. наст. изд., т. 5, с. 411).

Стр. 45. *... Пушкина читает ∽ это никуда не годится.*— Вкладывая эти слова в уста разночинца-демократа Базарова, Тургенев полемизировал с Добролюбовым, в статьях и рецензиях которого нередко встречались резкие суждения о Пушкине. Так, например, в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858) Добролюбов писал, что со времени Пушкина «литература вошла в жизнь общества, стала необходимой принадлежностью образованного класса. Но опять вопрос: как относится этот класс по количеству и качеству к населению целой России? Здесь нельзя не сознаться, даже с некоторым удовольствием, что класс людей, изображенных Пушкиным и находящихся в близких отношениях к нему, следовательно, им интересующихся, весьма малочислен у нас. Повторяем: говорим это с удовольствием» (*Добролюбов*, т. 1, с. 235). В ряде других своих статей и рецензий Добролюбов приходил к выводу, что «художественный, младенчески-беззаботный и грациозно-ребяческий период нашей поэзии был уже завершен Пушкиным», и утверждал, что «теперь, если бы явился опять поэт с тем же содержанием, как Пушкин, мы бы на него и внимания не обратили...» (*Добролюбов*, т. 2, с. 594, 579).

Комментируемая фраза любопытна связью (по контрасту) с письмом Тургенева к М. А. Маркович от 10 (22) июля 1859 г., в котором есть такие строки: «Читайте, читайте Пушкина: это самая полезная, самая здоровая пища для нашего брата, литератора; когда мы свидимся — мы вместе будем читать его». Суровые отзывы Добролюбова о Пушкине находят себе объяснение в представлениях демократии о новых задачах литературы в период революционной ситуации в России. Анализ позиций Тургенева-художника в связи с этим см. в книге: Батюто А. Тургенев-романист. Л.: Наука, 1972, с. 219—239.

... Бюхнерово «Stoff und Kraft»...— Русский перевод книги немецкого физиолога и вульгарного материалиста Бюхнера (Büchner) Людвига (1824—1899) появился в 1860 г. В связи с этим упоминанием о Бюхнере любопытно письмо В. П. Боткина к Тургеневу, относящееся еще к 1857 г. Недовольный религиозным финалом рассказа Л. Н. Толстого «Люцерн», Боткин писал Тургеневу: «В одном из писем я ему рекомендовал было прочесть „Stoff und Kraft“ Бюхнера — весьма отрезвляющую книгу в его несколько опьяненном состоянии» (*Боткин и Т*, с. 124). Об этом письме Тургенев, возможно, вспомнил, создавая проникнутую юмором пародийную сцену с книжкой Бюхнера в X гл. романа.

...Вот как мы с тобой ∽ песенка наша спета (см. также с. 53. *Вот,— начал наконец ∽ с унылым вздохом Николай Петрович)*.— Появление в романе этих сцен навеяно раздумьями и переживаниями Тургенева по поводу отношений с редакцией «Современника» и, в частности, с Добролюбовым, резко критиковавшим его творчество в ряде своих статей. Об этом свидетельствует следующий отрывок из письма Тургенева к Фету от 27 и 31 августа ст. ст. 1860 г.: «...судя по отзывам так называемых молодых критиков, пора и мне подать в отставку из литературы. Вот и мы попали с Вами в число Подолинских, Трилунных и других почтенных отставных майоров!

Что, батюшка, делать? Пора уступать дорогу юношам. Только где они, где наши наследники?».

С т р. 46. *...тайный советник!* — Гражданский чин 3-го класса по Табели о рангах. Титуловался «ваше превосходительство». Действительный тайный советник — гражданский чин 2-го класса. Титуловался «ваше высокопревосходительство». Немногие гражданские чиновники именовались действительными тайными советниками 1-го класса. Производство в чины 1—3-го классов осуществлялось по усмотрению императора. Чиновниками такого ранга обычно занимались должности министра, генерал-губернатора. Они могли быть также сенаторами и членами государственного совета.

...я бы теперь был генерал-адъютантом! — то есть человеком, носящим одно из высших воинских званий в России. Генерал-адъютанты состояли при царе, генерал-фельдмаршалах и их помощниках, при полных генералах; несли адъютантские обязанности (лат. adjutans — помогающий) и вели делопроизводство. С начала XIX в. генерал-адъютант — чин свиты императора.

С т р. 49. *...не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...*— Подразумевается отрицание Базаровым всех «в людском быту принятых постановлений», то есть существующего политического и общественного строя, религиозных представлений и проч.

С т р. 52. *...наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком ∽ фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает.*— В Ватикане (резиденции пап в Риме) много музеев с ценнейшими памятниками искусства (живописи, скульптуры и т. п.). В письме к Анненкову из Рима от 21 октября (2 ноября) 1857 г. Тургенев, отозвавшись положительно о картине А. А. Иванова «Явление Христа народу», отмечал: «Остальные здешние русские артисты — плохи. Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и „всё“ дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую рассейскую замашку. Невежество их всех губит». Аналогичный отзыв о Рафаэле (по-видимому того же Е. С. Сорокина) упоминается Тургеневым в статье «Поездка в Альбано и Фраскати».

А теперь им стоит сказать: всё на свете вздор! — и дело в шляпе.— Вместо этой фразы в первоначальном тексте «парижской рукописи» была другая, в которой «наставникам» молодежи вменялось в вину крайне неуважительное отношение к западноевропейским государственным деятелям, отрицательное отношение к науке и искусству и т. п. (см. выше, с. 422). Аналогичные обвинения деятелям «Современника» в пору создания романа неоднократно высказывались в журналах, противостоящих демократическому лагерю. Так, один из сотрудников «Отечественных записок», умиляясь «единением» между жителями Пьемонта и его правительством, возглавляемым «великим государственным человеком» Кавуром, писал в своей статье, посвященной ожесточенной полемике с Добролюбовым: «„Современнику“ нужно, чтоб ничего этого не было; чтоб всё это было не более, как чистым вздором, порождением тупого идиотизма или младенческого легковерия» (*Отеч Зап*, 1861, № 4, отд. Политическое обозрение, с. 93). В статье Н. Ко (псевдоним Н. Страхова) «Еще о петербургской литературе. Письмо к редактору „Времени“», напечатанной в июньской книжке журнала «Время» за 1861 г., Чернышевский, Добролюбов и Писарев обвинялись в огульно отрицательном отношении к истории, философии и искусству (подробнее см.: Б а т ю т о А. И. Парижская рукопись романа

И. С. Тургенева «Отцы и дети».— Русская литература, 1961, № 4, с. 72—73).

Стр. 57. *...губернатора из молодых ᔕ с собственными чиновниками.*— В этой зарисовке, по предположению С. А. Макашина, проступает «портрет» М. Е. Салтыкова, рязанского вице-губернатора.

Стр 58. *Гизо* (Guizot) Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский государственный деятель, историк.

...готовясь идти на вечер к г-же Свечиной...— С. П. Свечина (1782—1859) — писательница-мистик. Ее сочинения, изданные в 1860 г., оживленно обсуждались в дворянских кругах русского общества.

...прочитывали поутру страницу из Кондильяка...— Очевидно, имеется в виду книга «Трактат об ощущениях» (1754), написанная французским просветителем, философом-деистом и сенсуалистом Э. Кондильяком (Condillac; 1715—1780).

Стр. 60. *Бурдалу* (Bourdaloue) Луи (1632—1704) — французский проповедник. Его проповеди переведены на русский язык в начале XIX века.

Стр. 64. *...статью Кислякова ᔕ в «Московских ведомостях»?* — Фамилия Кисляков, очевидно, вымышленная. «Московские ведомости» — официозная газета, издававшаяся с 1756 по 1917 г.

...опять стали хвалить Жорж Санда. Отсталая женщина и больше ничего! — Эпоха наибольшей популярности в России французской писательницы Жорж Санд (George Sand; настоящее имя — Аврора Дюдеван) (1804—1876), пропагандировавшей идеи женской эмансипации,— 1840-е годы. В 1860-е годы кумирами разночинной демократии стали ученые-естественники и философы-материалисты.

...сравнить ее с Эмерсоном.— Эмерсон (Emerson) Рольф Уолдо (1803—1882) — американский писатель.

...какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! — По мнению М. К. Клемана, Тургенев в данном случае иронически намекает на сотрудников «Современника» Г. З. Елисеева и М. А. Антоновича (см.: Тургенев И. С. Накануне. Отцы и дети. М.; Л.: Academia, 1936, с. 556).

Патфайндер — следопыт; герой романов американского писателя Купера (Cooper) Джеймса Фенимора (1789—1851) «Кожаный чулок», «Следопыт», «Прерия», «Последний из могикан».

Бунзен (Bunsen) Роберт Вильгельм (1811—1899) — немецкий химик, с 1852 по 1889 г. профессор Гейдельбергского университета.

Стр. 65. *...Pierre Сапожников.*— Прототипом этого персонажа послужил С. П. Колошин (см.: *Лит Насл*, т. 71, с. 31).

Вы, стало быть, разделяете мнение Прудона? — Прудон (Proudhon) Пьер Жозеф (1809—1865), французский публицист, экономист и социолог, был противником женской эмансипации, полагая, что главное назначение женщины — быть матерью и заниматься домашним хозяйством.

Стр. 66. *Маколей* (Macaulay) Томас Бабингтон (1800—1859)— английский либеральный историк. Главная работа — «История Англии» (1848—1855).

Вы последователь Домостроя. — «Домострой» — литературное произведение XVI века, содержащее свод правил поведения горожанина, которыми он должен руководствоваться в отношении к светским властям и церкви, семье и слугам. «Домострой» требует безусловного подчинения главе семьи. Жена, по «Домострою»,

подлежит, в случае провинности, физическому наказанию наравне с детьми и слугами.

...прочтите лучше книгу Мишле «De l'amour».— «О любви» — книга французского историка и публициста Жюля Мишле (Michelet; 1798—1874), напечатанная в 1859 г.

«Et toc, et toc, et tin-tin-tin!..» — цитата из песни Беранже «L'ivrogne et sa femme» («Пьяница и его жена»). См.: Я м п о л ь с к и й И. Г. «Отцы и дети». Стих из Беранже в тексте романа Тургенева.— *Т сб*, вып. 3, с. 118.

С т р. 67. *...романс Сеймур-Шиффа «Дремлет сонная Гранада».*— Речь идет о романсе «Ночь в Гранаде» на слова К. А. Тарновского, заключительные строки стихотворения которого Тургенев далее приводит не совсем точно. Сеймур Шифф (Seymour Schiff) — пианист и композитор, известный своими импровизациями, в частности — на темы из «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы»; в середине XIX века неоднократно выступал в России с концертами.

С т р. 75. *...живописью al fresco...*— Живопись, получившая свое название от способа писания водяными красками по «свежему», то есть еще влажному, цементному покрову стен, сводов и потолков; fresco — свежий (итал.).

С т р. 76. *Как Сперанский...*— Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839), государственный деятель, граф (1839); сын священника. Под руководством Сперанского были составлены Полное собрание законов Российской империи в 45 тт. (1830). Свод законов Российской империи в 15 тт. (1832) и др. Высшее дворянство третировало Сперанского как выскочку.

С т р. 77. *...легкое барежевое платье.*— Платье из шерстяной, шелковой или бумажной ткани. Бареж (франц. barége) — шерстяная ткань.

С т р. 78. *...не предполагаете во мне художественного смысла ∽ изложено на целых десяти страницах.*— Базаров перефразирует одно из положений диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Чернышевский писал: «Искусство вернее достигает своей цели, нежели простой рассказ, тем более ученый рассказ: под формою жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо скорее начинаем интересоваться им, нежели тогда, когда находим сухое указание на предмет» (*Чернышевский*, т. 2, с. 85).

С т р. 82. *...ремизился да ремизился.*— В карточной игре ремиз означает недобор взятки, то есть проигрыш.

С т р. 87. *...в желтый дом Тоггенбурга.*— Тоггенбург — романтический герой одноименной баллады Шиллера; желтый дом — дом для сумасшедших.

Миннезингеры (нем. Minnesinger, «певцы любви») — средневековые придворные певцы и поэты, воспевавшие любовь рыцаря к «даме сердца».

Трубадуры (франц. troubadour) — провансальские странствующие певцы XI—XIII вв., воспевали рыцарские доблести и любовь.

С т р. 89. *...Pelouse et Frémy, Notions générales de Chimie.*— Эта книга, написанная французскими учеными-химиками Теофилем Жюлем Пелузом (1807—1867) и Эдмондом Фреми (1814—1894), вышла в свет в Париже в 1853 г.

С т р. 105. *...мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка.*— Эта же поговорка встречается у Тургенева

и по-испански — в письме к Г. Флоберу от 8 (20) февраля 1870 г.; однако ее не удалось найти ни в одном из испанских словарей (см. об этом статью: Б р о н ь Т. И. Испанские цитаты у Тургенева.— *Т сб*, вып. 1, с. 303—312).

С т р. 108. *Гуфеланд* Христофор Вильгельм (1762—1836) — немецкий ученый, автор книги «Искусство продления человеческой жизни (Макробиотика)» (1796).

С т р. 109. ...*Лазаря петь*...— Жаловаться на судьбу, плакаться, прикидываться несчастным. Выражение восходит к евангельской притче о нищем Лазаре (от Луки, гл. XVI, ст. 20—26; от Иоанна, гл. XI, ст. 2).

«Друг здравия» на 1855 год — врачебная газета, издававшаяся в Петербурге с 1833 по 1869 г.

...*и о френологии имеем понятие*...— Согласно этому ложному учению, те или иные психические способности локализуются в различных участках мозга, якобы различаемых путем непосредственного ощупывания внешнего рельефа человеческого черепа. Основоположником френологии (от греч. phrēn — душа, ум, сердце) был австрийский врач и анатом Галль (Gall) Франц Иозеф (1758—1828).

С т р. 110. *Шенлейн* (Schönlein) Иоганн Лукас (1793—1864) — немецкий врач, профессор.

Радемахер Иоганн Готфрид (1772—1849) — немецкий ученый, медик, последователь Парацельса.

Гуморалист — сторонник идеалистической умозрительной теории гуморальной патологии, согласно которой причины болезней коренятся в нарушении соотношения соков в организме; humor — жидкость (лат.). *Гофман* Фридрих (1660—1742) — немецкий ученый, медик.

Броун (Brown) Джон (1735—1788)— английский врач, терапевт.

Витгенштейн Петр Христианович (1768—1842) — фельдмаршал русской армии, участник Отечественной войны 1812 г. В 1818—1828 гг. командовал Второй (южной) армией, в которой образовалось Южное тайное общество (см. след. примеч.).

Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете...— Намек на «Южное общество» декабристов, возглавлявшееся П. И. Пестелем.

С т р. 111. *Парацельсий* (Paracelsus) (Парацельс) Теофраст Бомбаст (1493—1541) — знаменитый швейцарский врач и химик.

С т р. 112. ...*о тяжких опасениях, внушаемых ему наполеоновскою политикой и запутанностью итальянского вопроса*.— Вопрос о борьбе Италии за освобождение от австрийского владычества и за национальное освобождение горячо обсуждался в русской периодической печати, в частности — в революционно-демократическом «Современнике» и в «Свистке».

...*любимых Горацием*.— Древнеримским поэтом-лириком Квинтом Горацием Флакком (Quintus Horatius Flaccus) (65 до н. э.— 8 н. э.).

С т р. 113. *Морфей* (миф.) — бог сновидений.

...*верила* ∽ *в четверговую соль*...— соль, «пережженная в великий четверг с квасною гущею». Служила «общим лекарством от всего» (см.: Д а л ь В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. IV, с. 601). Великий четверг или «великий четверток» — четверг на страстной неделе — последней неделе великого поста (см. там же).

Земляная груша — или топинамбур — многолетнее клубненосное растение, наземной частью напоминающее подсолнечник.

Стр. 113—114. *...взрезанный арбуз напоминает голову Иоанна Предтечи.*— По библейскому преданию, предшественник и провозвестник Иисуса Христа Иоанн Предтеча (или Иоанн Креститель) был казнен по требованию Иродиады, мстившей ему за разоблачения ее порочной жизни. Отрубленная голова Иоанна Предтечи была преподнесена ей на блюде. Изображения головы Иоанна Крестителя распространены в живописи и в скульптуре.

Стр. 114. *...ни одной книги, кроме Алексиса, или Хижины в лесу.*— Имеется в виду сентиментально-нравоучительный роман французского писателя Дюкре-Дюминиля (Ducray-Duminil) Франсуа Гийома (1761—1819), написанный в 1788 г. На русском языке издавался трижды (1794, 1800, 1804) в переводе Печенегова.

...как некий Цинциннат.— Римский патриций и диктатор Луций Квинкций Цинциннат (VI—V вв. до н. э.) вел простой образ жизни и сам обрабатывал землю, чем снискал славу образцового гражданина.

Стр. 115. *...надо трудиться самому. И выходит, что Жан-Жак Руссо прав.*— В книге «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) Ж.- Ж. Руссо (1712—1778) противопоставлял современное ему общество «счастливой жизни людей» в «естественном» состоянии, вне губительных влияний роскоши и излишеств, свойственных, по его мнению, современной цивилизации. Одним из условий воспитания и счастливой жизни человека Руссо считал физический труд.

Стр. 117. *...и запел из Роберта...*— Из оперы Джакомо Мейербера (1791—1864) «Роберт-Дьявол» (1831).

Стр. 119. *Узенькое местечко, которое я занимаю ∽ Что за безобразие! Что за пустяки!* — Этот монолог Базарова текстуально близок следующему монологу скептика и атеиста из «Мыслей» Б. Паскаля: «Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить, назначено мне именно в этом, а не в другом пункте целой вечности, которая мне предшествовала и которая за мной следует. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которые заключают меня в себе, как атом ⟨...⟩ Всё, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть...» (Паскаль Блез. Мысли. С предисловием Прево-Пародоля. Перевод П. Д. Первова. СПб., 1888, с. 32). В сущности то же у Марка Аврелия, философские суждения которого также учитывались Тургеневым: «Какая частица безмерного и беспредельного времени уделена каждому из нас? Еще немного — и она исчезнет в вечности... На каком клочке земли мы пресмыкаемся?.. Ничтожна жизнь каждого, ничтожен тот уголок земли, где он живет... Ведь вся земля только точка. А какой крошечный уголок ее занимает место твоего пребывания?..» (Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. М., 1914, с. 181—182, 30—32, 40). О связях философии Тургенева с философией античного мира см. в кн.: Батюто А. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 89, 94—108 и др.

Аналогичные отрывки из сочинений Паскаля Тургенев неоднократно сочувственно пересказывал и цитировал в письмах, напр.,

к П. Виардо от 18 (30) апреля 1848 г. и к Фету от 30 марта (11 апреля) 1864 г. Вместе с тем трактовка базаровского атеизма противопоставлена философии Паскаля, который считал атеистов людьми безнравственными и единственное спасение от скепсиса видел в обращении к религии. Именно за это Тургенев еще в 1848 г. в письме к Полине Виардо от 18 (30) апреля назвал Паскаля «рабом католицизма». В связи с этим особое звучание приобретает изображение смерти Базарова. Паскаль спрашивал: «Неужели это мужество, если умирающий человек станет, среди слабости и агонии, вооружаться против бога, всемогущего и вечного?» (цит. перевод, с. 223). Тургенев отвечал на этот вопрос утвердительно — словами умирающего Базарова, с печальной иронией советующего отцу: «Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить ее на пробу». Базаров не принимает услуг священника и умирает нераскаявшимся «грешником». В противоположность Паскалю, атеизм в изображении Тургенева овеян сочувственным пониманием.

С т р. 121.— *Что ж? и честность — ощущение? — Еще бы!* — Этих слов, подчеркивающих вульгарно-материалистическую сторону научно-философских взглядов Базарова, в первоначальном слое «парижской рукописи» не было. Появление этой характерной вставки на полях «парижской рукописи» в период окончательной доработки текста романа перед его опубликованием в «Русском вестнике» (октябрь 1861 — январь — начало февраля 1862 г.) можно объяснить кругом последних чтений Тургенева. Дело в том, что с осени 1861 г. в журнале «Русское слово» начали появляться статьи Писарева, пропагандировавшие естественнонаучное опытное знание в духе вульгарного материализма. В одной из этих статей Писарев декларировал: «Надо полагать и надеяться, что понятия психическая жизнь, психологическое явление будут со временем разложены на свои составные части. Их участь решена; они пойдут туда же, куда пошел философский камень, жизненный эликсир, квадратура круга, чистое мышление и жизненная сила. Слова и иллюзии гибнут — факты остаются» (*Рус Сл*, 1861, № 9, отд. «Иностранная литература», с. 15).

На бой, на бой, за честь России.— Здесь почти с буквальной точностью воспроизведена характеристика поэзии Пушкина, данная в 1861 г. писателем-разночинцем Н. В. Успенским при его встрече с Тургеневым в Париже (январь 1861 г.), описанной в письме Тургенева к П. В. Анненкову от 7 (19) января 1861 г. Однако не случайно упоминание в этом письме рядом с именем Н. Успенского имени Добролюбова, который представлялся Тургеневу еще более законченным, чем Н. Успенский, отрицателем поэзии Пушкина (см. с. 459).

С т р. 123. *Кастор и Поллукс*— они же Диоскуры — мифологические герои-близнецы, сыновья Зевса и Леды. Здесь — в смысле неразлучные друзья.

С т р. 125. *...понятия не имели о счете на серебро...*— Подчеркивается бедность родителей Базарова. Стоимость бумажных денег (ассигнаций) была в три с половиной раза ниже стоимости денег из серебра (звонкой монеты).

С т р. 132. *...под предлогом изучения механизма воскресных школ, скакал в город...*— Первые воскресные школы, ставившие своей задачей первоначальное образование неграмотного и малограмотного, главным образом взрослого населения, возникли в Петербурге

(апрель 1859 г.) и Киеве (октябрь 1859 г.). Затем они появились в Могилеве, Одессе, Оренбурге, Чернигове, Харькове, Казани, Нежине, Архангельске и других городах. В создании воскресных школ большую роль сыграла революционная интеллигенция, рассматривавшая их не только как одну из форм просвещения народа, но и как легальную форму антиправительственной пропаганды.

Стр. 133. ...*по поводу модного в то время вопроса о правах остзейских дворян*...— Эксплуатация прибалтийских крестьян немецкими баронами была разоблачена еще в конце 1840-х годов Ю. Самариным в его «Письмах из Риги», распространявшихся в рукописном виде в Москве и Петербурге. Начиная с 1856 года, реакционная политика остзейских дворян в крестьянском вопросе неоднократно подвергалась критике в печати. Несколько позднее на хищнический характер «прав» и привилегий остзейских баронов указывал Чернышевский (*Чернышевский*, т. 7, с. 520).

Стр. 137. ...*статью «о креозоте»*...— Креозот — маслянистая желтовая жидкость с запахом древесного дегтя и жгучим вкусом. Обладает антимикробным действием.

Стр. 139. *Селадон* — персонаж романа «Астрея» (ч. 1—3 — 1607—1618, ч. 4—5 — посм. изд. 1627—1628) французского писателя Юрфе (d'Urfé) Оноре (1568—1625), сентиментальный влюбленный. Имя его стало нарицательным для галантного кавалера, а также синонимом волокиты.

Стр. 141. ...*комильфо*...— тот, кто отвечает правилам светского приличия (от франц. comme il faut). В данном случае выражение употреблено с ироническим оттенком.

Стр. 147. ...*таинственный незнакомец, о котором некогда так много толковала госпожа Ратклифф*.— Для произведений английской писательницы Редклифф (Radcliffe) Энн (1764—1823), в свое время пользовавшихся огромным успехом не только в Англии и вызвавших массу подражаний и подделок, характерна поэтика готического романа (фантастические ужасы, таинственные происшествия и т. п.). Таинственный незнакомец — неизменный персонаж ее романов. Наиболее значительное ее произведение — роман «Удольфские тайны» (1794). Базаров неспроста называет русского мужика «таинственным незнакомцем». Его «ощущение» в данном случае вполне совпадает с авторским. Вскоре после опубликования романа Тургенев писал из Парижа П. В. Анненкову 25 марта (6 апреля) 1862 г.: «Дела происходят у вас в Петербурге — нечего сказать! Отсюда это кажется какой-то кашей, которая пучится, кипит — да, пожалуй, и вблизи остается впечатление каши ⟨...⟩ Всё это крутится перед глазами, как лица макабрской пляски, а там внизу, как черный фон картины, народ-сфинкс...».

Пиль (Peel) Роберт (1788—1850) — английский государственный деятель, консерватор.

Стр. 149. *Мой бедный брат, конечно, виноват* ∽ *постоянным антагонизмом ваших взаимных воззрений*.—Ср. с письмом Тургенева к Л. Н. Толстому от 28 мая (9 июня) 1861 г., в котором точно таким же образом подытожены отношения двух писателей. Наряду с некоторыми другими прямыми и косвенными данными, это место романа свидетельствует о том, что при изображении распри между П. П. Кирсановым и Базаровым определенную роль сыграла биография писателя, в частности его ссора с Толстым, чуть было не закончившаяся дуэлью (см. статью: Батюто А. К вопросу о замысле «Отцов и детей».— *Т сб*, вып. 1, с. 77—95). Некоторые дополни-

тельные данные, подтверждающие правомерность догадки о психологическом сближении «своего рода нигилизма» Толстого с «нигилизмом» Базарова см. в издании: *Т*, *СС*, *1975*, т. 3, с. 372—374.

С т р. 161. *...точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше.*— Базаров говорит это летом 1859 г. Между тем имеется в виду главным образом письмо Н. В. Гоголя к А. О. Смирновой от 6 июня 1846 г., входившее в «Выбранные места из переписки с друзьями», но изъятое цензурой и впервые напечатанное, под заглавием «Что такое губернаторша», в газете «Современность и экономический листок» (1860, № 1, с. 9—12).

С т р. 167. *...мы не властны...*— По всей вероятности, отголосок стихотворения Е. А. Баратынского «Признание» (1823), в котором есть такие строки:

> Печаль бесплодную рассудком усмири
> И не вступай, молю, в напрасный суд со мною,
> Не властны мы в самих себе
> И, в молодые наши леты,
> Даем поспешные обеты,
> Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

В дальнейшей жизни Одинцовой, с грустью сознающей свою неспособность к горячему чувству, пророчески сбывается предчувствие, которым томим лирический герой «Признания»:

> Подругу без любви — кто знает — изберу я.
> На брак обдуманный я руку ей подам...
> Мы не сердца под брачными венцами —
> Мы жребии свои соединим.

За несколько лет до создания «Отцов и детей» Тургенев написал предисловие к публикации «XV стихотворений Баратынского» (*Совр*, 1854, № 10; наст. изд., т. 11).

С т р. 169. *Я ждал от тебя совсем другой дирекции.* — Базаров ждал от Аркадия других действий, других поступков. Слово дирекция (франц. direction) употреблено здесь в значении направление.

Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает.— Здесь и выше суждения Базарова напоминают следующее высказывание Чернышевского в статье «Политико-экономические письма к президенту Американских соединенных штатов» Г. К. Кэре (*Совр*, 1861, № 1, отд. «Современное обозрение»): «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное» (*Чернышевский*, т. 7, с. 923). Вместе с тем комментируемое суждение Базарова текстуально близко некоторым высказываниям самого Тургенева. 27 марта (8 апреля) 1858 г. он писал Л. Н. Толстому, которого до этого неоднократно предостерегал от слишком тесной дружбы с аполитичным критиком-эстетом А. В. Дружининым: «Политическая возня Вам противна; точно, дело грязное, пыльное, пошлое; да ведь и на улицах грязь и пыль — а без городов нельзя же».

С т р. 172. *...вместо какой-нибудь старой песни, горланят: Время верное приход и т, сердце чувству и т любовь...*— В песенниках конца XVIII — первой половины XIX века, упоминаемых в

картотеке В. И. Чернышева (*ИРЛИ*, сектор фольклора), такая песня не зафиксирована. Однако зачин ее, быть может, собственно тургеневского сочинения, пародийно напоминает зачины «старых песен», во множестве представленных в упомянутой картотеке; таких, например:

«Время нам пришло расстаться
И друг друга покидать»;
«Время слезное настало
Разлучиться мне с тобой»;
«Время в горести проходит
И несносных суетах» и др.

Стр. 173. *...вручая ей стклянку Гулярдовой воды...*— Речь идет о свинцовой примочке. Ее латинское название: Aqua vegetomineralis Goulardii. Гулар (Thomas Goulard) — французский врач-практик (ум. в 1784 г.).

Император французов, Наполеон...— Наполеон III (1808—1873).

Стр. 174. *...с кусочком адского камня...*— Подразумевается ляпис (селитро-азотнокислое серебро), применявшийся врачами для прижигания. Ляпис (лат.) — камень.

Стр. 178. *...отправляются в Елисейские* — умирают. В греческой мифологии Елисейские поля — страна на краю земли, где блаженствуют избранники богов.

...будь философом, стоиком, что ли!— Базаров советует своему безутешному отцу вспомнить о следующих возражениях стоиков тем людям, которые сетуют на краткость человеческой жизни: «...рассуди по справедливости: ты ли должен подчиняться природе, или природа тебе? Какая разница, скоро или нескоро уйдешь ты оттуда, откуда все равно придется уйти? ⟨...⟩ Я не откажусь, конечно, если мой срок продлится на много лет, но если он будет урезан, не стану говорить, будто мне чего-то не хватило для блаженной жизни ⟨...⟩ на всякий день я смотрю как на последний ⟨...⟩ Не с таким уж большим разрывом обгоняем мы друг друга; смерть никого не минует, убийца спешит вслед за убитым. То, о чем ты так хлопочешь, ничтожно» (Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию. («Литературные памятники»). М.: Наука, 1977, с. 218, 219).

Стр. 180. *...по лицу его сына ⟨...⟩ проползло что-то странное.*— Это место, а также заключительные слова романа подали повод Герцену писать Тургеневу сразу же по прочтении «Отцов и детей»: «Requiem на конце— с дальним апрошем к бессмертию души — хорош, но опасен, ты эдак не дай стречка в мистицизм» (*Герцен*, т. 27, кн. 1, с. 217). Отвечая Герцену 16 (28) апреля 1862 г., Тургенев писал: «В мистицизм я не ударился и не ударюсь».

В статье «Об одном сюжетном совпадении...» М. К. Азадовский утверждает, что в заключительных главах и в эпилоге романа «Отцы и дети» Тургенев изображает атеиста Базарова раскаявшимся и перед смертью примирившимся с «небом» (М.; Л.: АН СССР, 1935. Сб. XLV, с. 589). Иная точка зрения на этот вопрос высказана в статье: Батюто А. И. Тургенев и Б. Паскаль.— Русская литература, 1964, № 1, с. 153—162.

Стр. 183. *Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...*— Образ «умирающей лампады» создает в сущности аналогичное настроение и на страницах романа «Рудин». Беседуя в послед-

ний раз с Лежневым, Рудин говорит о себе устало и печально: «...всё кончено, и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль... Смерть, брат, должна примирить наконец...» В обоих случаях подчеркивается мысль о трагической гибели большой интеллектуальной и нравственной силы. В этом смысле «лишний человек» Рудин — предтеча «нигилиста» Базарова. По-видимому, не случайно в эпилоге обоих романов провозглашаются тосты «за здоровье Рудина» и «в память Базарова».

Когда его соборовали...— Соборование — церковный обряд у постели тяжело больного или умирающего с помазанием его тела елеем.

С т р. 186. *Брюлевская терраса.*— Была расположена на бывшей крепостной стене Дрездена, над Эльбой. Брюль Генрих (1700—1763) — министр Августа III, короля польского и курфюрста саксонского.

С т р. 187. *...богемские воды* — Карлсбад (ныне Карловы Вары) и Мариенбад (ныне Марианске Лазне).

И Кукшина попала за границу. Она теперь в Гейдельберге ᔕ бездействием и абсолютною ленью.— Это место романа было воспринято с особым раздражением русскими студентами в Гейдельберге. В связи с этим в журнале «Время» (1862, № 7, с. 171—181) появилась статья члена русской конспиративной пропагандистской организации в Гейдельберге, так называемой Гейдельбергской читальни, П. Новицкого «С берегов Рейна», в которой Тургенев обвинялся в незнании «русских учащихся в Гейдельберге» (см. подробнее в письме Тургенева к К. К. Случевскому от 14 (26) апреля 1862 г. и в примеч. к нему).

С т р. 188. *...говорят нам ᔕ о великом спокойствии «равнодушной» природы ᔕ и о жизни бесконечной...*— Две скрытые цитаты: из Пушкина (ср. заключительную строфу стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных» (1829): «И пусть у гробового входа /Младая будет жизнь играть/, И равнодушная природа /Красою вечною сиять») и из церковного песнопения «Со святыми упокой», которое исполняется при отпеваниях и панихидах и в котором есть следующие слова: «...идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПРИЗРАКИ

(с. 191)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф первоначального варианта главы I и начала главы II (в пагинации окончательного текста); датируется концом 1855 г. (поправки и дополнения сделаны в 1861 г.), 2 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 74; описание см.: *Mazon*, p. 97; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 294.

Наброски плана; датируются 1861 годом. 2 с. в рукописи чернового автографа первоначального варианта первой и начала второй главы (см. выше).

Призраки. Фантазия. Черновой автограф; датируется 1861—1863 гг. На первом листе: «Задумана весьма давно, в 50-х годах, начата тоже давно. Кончена в Бадене, в субботу 1/13-го июня 1863 г.», 46 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 88; описание см.: *Mazon*, p. 61; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 202.

Призраки. Фантазия. Беловой автограф, с поправками, 1863 г. 50 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 74; описание см.: *Mazon*, p. 65; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 293.

Беловой автограф предисловия. 1863 г. 1 с. Хранится в *ЦГАЛИ*, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 97.

Журнал «Эпоха», 1864, № 1-2, январь-февраль, с. 1—31.

Вырезка из журнала «Эпоха» с поправками Тургенева. 32 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 74; описание см.: *Mazon*, p. 65; микрофильм — *ИРЛИ*.

Т*, *Соч*, *1865, ч. 5, с. 297—333.

Т*, *Соч*, *1868—1871, ч. 5, с. 293—329.

Т*, *Соч*, *1874, ч. 5, с. 287—323.

Т*, *Соч*, *1880, т. 8, с. 5—41.

Т*, *ПСС*, *1883, т. 8, с. 1—40.

Впервые опубликовано: Эпоха, 1864, № 1-2, с подписью: Ив. Тургенев (вышли из печати 24 марта 1864 г.).

Печатается по тексту *Т*, ***ПСС***, *1883* с учетом списка опечаток, приложенного к изданию 1880 г., с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 194, строка 8: «увлекала» вместо «увлекла» (по черновому и беловому автографам).

Стр. 194, строка 24: «но глянул в сторону» вместо «но взглянул в сторону» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 199, строка 25: «кипит на нем» вместо «кипит в нем» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 199, строки 37—38: «Блакганг» вместо «Блакгант» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 215, строка 25: «он ложится полосами» вместо «он ложится» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 217, строки 21—22: «Под ее веянием» вместо «Под ее влиянием» (по беловому автографу).

Стр. 218, строки 22—23: «закинулась за голову» вместо «закинулась на голову» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Замысел «Призраков», как свидетельствуют письма Тургенева и его же отметка на титульном листе чернового автографа, возник не позже 1855 года. Самая форма объединения «душевных отрывочных впечатлений» в художественное целое была найдена не сразу [1]. А. В. Половцев в своих воспоминаниях передает следующий рассказ Тургенева о создании «Призраков»: «„Призраки“ произошли случайно. У меня набрался ряд картин, эскизов, пейзажей. Сперва я хотел сделать картинную галерею, по которой проходит художник, рассматривая отдельные картины, но выходило сухо. Поэтому я выбрал ту форму, в которой и появились „Призраки“» (Новое время, 1883, № 2731, 5 (17) октября).

Первое упоминание в переписке Тургенева о работе над «Призраками» относится к 1855 г. «Любезный Катков,— писал Тургенев 28 ноября (10 декабря) 1855 г.— ⟨...⟩ Вы желаете знать заглавие моего рассказа, предназначенного в Ваш журнал,— вот оно: „Призраки“, рассказ И. Т. Готов он будет к 15-му и непременно уже к 20-му декабря». Очевидно, в это время Тургенев написал первоначальный вариант первой главы «Призраков». Характер этого автографа (текст его см.: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. 9, с. 377—378) свидетельствует о том, что к ноябрю 1855 г. композиция задуманного ранее произведения уже определилась. В качестве сюжетной нити, объединяющей разрозненные картины в единое целое, писатель избрал не прогулку героя с художником по картинной галерее, а его фантастические ночные полеты с призраком белой женщины.

Однако, едва начав в ноябре 1855 г. работу над «Призраками», Тургенев оставил ее, увлекшись замыслом повести «Фауст». Заверив М. Н. Каткова в письме к нему от 13 (25) декабря 1855 г., что «Призраки» будут представлены для опубликования в «Русском вестнике» не позднее 1 (13) января 1856 г., Тургенев и на этот раз обещание свое не сдержал.

В конце 1856 г. между Тургеневым и редактором «Русского вестника» возникла полемическая переписка, продолжавшаяся и в начале 1857 г. М. Н. Катков, приняв повесть «Фауст», опубликованную в сентябрьской книжке «Современника», за «переодетые „Призраки“», публично обвинил Тургенева в том, что он не выполнил взятые на себя обязательства и напечатал в «Современнике» рас-

---

[1] Работа Тургенева над «Призраками» впервые была освещена — по печатным источникам — в статье Н. К. Пиксанова «История „Призраков“» (*Т и его время*, с. 164—192). В тургеневедении высказывалось мнение, что «Призраки» на протяжении своей продолжительной творческой истории имели три редакции, оформившиеся в самостоятельные произведения («Фауст», «Призраки» и «Довольно») (см.: А з а д о в с к и й М. К. Три редакции «Призраков».— Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та, серия филолог. наук, 1939, № 20, вып. 1, с. 123—154). Гипотеза эта оказалась несостоятельной, так как она не подтверждается рукописями «Призраков», которые впервые были изучены в ходе подготовки издания *Т, ПСС и П, Сочинения.*

сказ, обещанный «Русскому вестнику», о чем было заранее объявлено читателям (об этом см. письмо Тургенева к М. Н. Лонгинову от 4 (16) декабря 1856 г.). Прежде эту «прескверную повесть», как назвал Тургенев «Призраки» в письме к П. В. Анненкову от 3 (15) января 1857 г., он собирался сжечь, теперь же решил непременно закончить и поместить в «Современнике», «хотя бы для того, чтобы доказать г-пу Каткову, что „Призраки“ — не „Фауст“» (см. письмо Тургенева И. И. Панаеву от 16 (28) декабря 1856 г.).

Однако в течение нескольких лет Тургенев не возвращался к работе над «Призраками». Лишь в 1861 г., завершив роман «Отцы и дети», Тургенев дал обещание Ф. М. Достоевскому написать для его нового журнала «Время» повесть, известив его в письме от 16 (28) октября 1861 г., что он уже на днях принялся за работу и что повесть эта будет закончена к новому, 1862 году. Тургенев имел в виду «Призраки».

Таким образом, следующий этап работы Тургенева над «Призраками» начался в октябре 1861 г. Видимо, в это время писатель пересмотрел набросок, сделанный им в 1855 г., и внес в него некоторые изменения. В первоначальном варианте повествование велось от третьего лица, теперь, начиная от слов «Молодой человек хочет вглядеться» (*Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 378) — от первого. К записи 1855 г. Тургенев прибавил также два неполных абзаца, составивших в окончательном тексте начало второй главы до слов: «Я быстро оглянулся» (см. с. 192).

Внеся эти изменения и дополнения, Тургенев прервал работу и записал на одном из листов чернового автографа первоначального варианта план всего произведения, в котором зафиксировал только самое важное: «картины». Общий замысел произведения к этому времени определился настолько, что Тургенев перечислил в плане эпизоды, составившие содержание «Призраков», в той же последовательности, в какой они вошли в окончательный текст:

1. Высоко наверху.
2. Над лесом.
3. Над рекой.
4. Уездный город.
5. Остр⟨ов⟩ Уайт.
6. Пруд. Дома.
7. Понтийские болота.
8. Окрес⟨тности⟩ Рима.
9. Лаго Маджиоре.
10. Волга.
11. Париж.
12. Швецинген.
13. Шварцвальд.
14. Петербург.
15. Общий вид России.

Между перечисленными в плане под арабскими цифрами «картинами» и главами, обозначенными в окончательном тексте римскими цифрами, устанавливаются следующие соответствия: 1—V, 2—VI, 3—VI, 4—VIII, 5—IX, 6—X, 7—XII, 8—XII, 9—XIV, 10—XV, 11—XIX, 12—XX, 13—XX, 14—XXII, 15—XXIII.

Помимо общего плана «Призраков», Тургенев на том же листе набросал несколько отрывочных фраз (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 378—379), большая часть которых была реализована в окончательном тексте. Например: «Смерть, крик и стон Эллис» — описаны в XXIV главе; «Швецинген (светлые мгновения, появление напудренных модников)» — конспективная запись содержания XX главы; «Журавли» — полет журавлей описан в XXI главе. Запись «О *будущем* — судьбу» передает содержание разговора героя и Эллис, исключенного из окончательного текста (см. ниже, с. 475—476). Фраза: «Я уже не удивляюсь, я вошел в очарованный

круг» — в несколько измененном виде вошла в главу III (см. с. 192). Заметки — «лунный дым», «звук Waldhorn'a» определили характер описания Шварцвальда (см. с. 213). В рукописях «Призраков» и в окончательном тексте не нашла отражения только одна заметка плана — «Тишина полудня в Англии с Гарсией», смысл которой неясен и которая, вероятно, не имеет отношения к «Призракам».

Записав в октябре 1861 г. план «Призраков», Тургенев опять прервал работу над этим произведением. В письме к Ф. М. Достоевскому от 30 октября (11 ноября) 1861 г. он сообщал: «Повесть, назначенная для „Времени", не подвинулась в эти последние дни, много других мыслей (не литературных) вертелось у меня в голове... Но я либо ничего не буду писать, или напишу эту вещь для Вас. А писать ее хочется». В начале декабря 1861 г. положение всё еще не изменилось. В письме от 4 (16) декабря 1861 г. Тургенев писал М. Н. Каткову, перепутавшему на этот раз «Отцы и дети» с «Призраками»: «*„Отцы и дети" назначены для „Русского вестника" и появятся только в нем* ⟨...⟩ Редакции „Времени" я действительно обещал небольшую повесть, которая вся будет состоять из 40 страниц — из которых написано 2 или 3; между ею и Вашей повестью нет ничего общего».

Вновь к работе над «Призраками» Тургенев приступил, вероятно, во второй половине декабря 1861 г., так как 26 декабря 1861 (7 января 1862 г.) он писал Ф. М. Достоевскому: «Повесть, назначенная для „Времени", подвинулась в последнее время — и я имею твердую надежду, что она будет готова ко 2-му Nомеру; но ведь Вы сами знаете — дело это прихотливое».

Работа Тургенева над черновым автографом началась с того, что он переписал текст сделанного им ранее наброска первой и начала второй глав «Призраков», сократив начальный абзац (описание неудавшегося спиритического сеанса) и введя форму рассказа от первого лица и в ту часть текста, которая осталась неисправленной в октябре 1861 г. (см. выше).

Несмотря на обещание закончить «Призраки» в ближайшее время, Тургенев писал их с большими перерывами. Так, 2 (14) марта 1862 г. он признался Ф. М. Достоевскому, что в последние два месяца «почти ничего не работал» и что повесть «едва-едва подвигается». Некоторый перелом в работе наступил в середине марта 1862 г., когда Тургенев оставил, как он сообщил Достоевскому 18 (30) марта 1862 г., начатую им «другую вещь» (т. е. «Довольно») и писал «несколько дней с увлечением» повесть, предназначенную для «Времени».

Полемика вокруг «Отцов и детей» (1862) опять почти на год отвлекла Тургенева от работы над «Призраками». Хотя писатель и утверждал в письме к П. В. Анненкову около 6 (18) мая 1862 г., что в течение года он сможет писать только «сказки», «лирические штуки», к которым он относил и «Призраки», интенсивная работа над ними началась только весною 1863 г. и была закончена 1 (13) июня того же года. Параллельно, еще до завершения произведения в целом, Тургенев начал переписывать «Призраки», о чем он сообщал Достоевскому 13 (25) мая 1863 г.: «Теперь могу Вас уведомить, что я начал переписывать вещь — право, не знаю, как назвать ее — во всяком случае не повесть, скорее фантазию, под заглавием: „Призраки"! ⟨...⟩ В ней с лишком два листа печатных, по моему расчету».

Черновой автограф содержит большое количество вариантов, что свидетельствует о напряженности творческих поисков писателя. Особенно это относится к центральным главам произведения, посвященным описаниям Рима, Парижа и Петербурга. Бо́льшая часть поправок, внесенных в текст чернового автографа, носила стилистический характер [2].

Переписывая «Призраки», Тургенев, очевидно, делал исправления и в рукописи, которую он копировал, так как окончательный текст чернового автографа мало отличается от текста беловой рукописи. Однако в последней имеется несколько существенных элементов текста, которых нет в черновом автографе. Так, заключительный абзац последней главы, в которой герой рассказывает о звуковых ассоциациях, возникающих у него при упоминании о чьей-либо смерти (см. с. 219), появился только в беловом автографе. В черновом автографе нет также развернутого сравнения света в окне комнаты с человеческим глазом, который как бы караулит героя (см. с. 209).

К аналогичным добавлениям, сделанным Тургеневым в беловом автографе и усиливающим трагическую напряженность повествования, относится и образ фигуры на «бледном коне» (см. с. 217), отделившийся от «неизъяснимо ужасной массы» — символа смерти. В главе, посвященной Степану Разину, Тургенев добавил в беловом автографе два штриха, подчеркивающих непримиримость интересов дворян и восставших мужиков. Слов: «да в топоры их, белоручек» (с. 207) и «В качестве дворянина и землевладельца...» (с. 208) — в черновом автографе нет [3].

26 июня (8 июля) 1863 г. Тургенев сообщил Н. В. Щербаню, что он закончил работу над беловым автографом, а затем начал еще раз переписывать «Призраки» — для того, чтобы отправить рукопись в Петербург в качестве наборной. Н. В. Щербань хотел помочь Тургеневу выполнить эту работу, но писатель отказался. «Ваше предложение переписать „Призраки“ очень любезно,— отвечал Тургенев Щербаню 1 (13) июля 1863 г.,— но, переписывая, я *исправляю*, что несколько облегчает эту противную работу или по крайней мере дает ей смысл».

15 (27) сентября 1863 г. наборная рукопись «Призраков» вместе с сопроводительным письмом была отправлена Тургеневым П. В. Анненкову.

Посылая «Призраки» П. В. Анненкову, Тургенев просил его ознакомить с рукописью литературных друзей. Одновременно Тургенев давал читать оставшийся у него экземпляр «Призраков» (беловой автограф) своим знакомым в Баден-Бадене и в Париже. Так, при личном свидании в Париже Тургенев вручил 17 (29) ноября 1863 г. «Призраки» Н. В. Щербаню с просьбой прочитать и высказать о них свое мнение (см. воспоминания Н. В. Щербаня о Тургеневе — *Рус Вестн*, 1890, № 8, с. 11). Возвращая рукопись «Призраков» Тургеневу, Н. В. Щербань подчеркнул в тексте неудачные, с его точки зрения, выражения и обозначил эти места крестиками на полях [4].

---

[2] Наиболее существенные варианты чернового автографа см.: *Т сб*, вып. 5, с. 112—146.

[3] Свод вариантов белового автографа см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 377—388.

[4] См.: К и й к о Е. И. «Призраки». Пометы Н. В. Щербаня на беловом автографе.— *Т сб*, вып. 2, с. 167—170.

Ознакомившись с пометами Н. В. Щербаня, Тургенев писал ему 24 ноября (6 декабря) 1863 г.: «Приношу вам ⟨...⟩ *искреннее* спасибо за ваши замечания на мои „Призраки". Это спасибо не одно пустое слово, в чем вы будете в состоянии *убедиться*, когда прочтете „Призраки" *в печати*. За исключением двух-трех, я согласен *со всеми* вашими замечаниями; некоторые — очень верны и тонки [5]. Но, например, „широкий шорох" мне именно нужен как звукоподражательность [6]; Тюльерийский сад отделен от частного Наполеонского сада — чисто крепостным рвом; и сам г. Базанкур сравнивает зуавов с тиграми» [7]. Отчасти под влиянием отзывов друзей, а отчасти потому, что многое в «Призраках» не удовлетворяло самого автора, он еще раз пересмотрел текст и внес в него изменения. «Что касается „Призраков",— писал 13 (25) декабря 1863 г. Тургенев П. В. Анненкову,— то я получаю отовсюду столько увещаний их не печатать, что я сам начинаю думать, что появление сего продукта моей музы было бы крайне неуместно; а потому, если возможно, уговорите Достоевского повременить и, во всяком случае, не печатать до моего приезда, потому что я намерен (и уже сделал) делать некоторые поправки».

Поправки, сделанные в тексте «Призраков» на этом этапе, не отражены в беловом автографе, так как Тургенев записал их на отдельных листах, чтобы иметь возможность послать П. В. Анненкову для перенесения в наборную рукопись. 20 декабря 1863 г. (1 января 1864 г.) Тургенев писал П. В. Анненкову: «Завтра я вам вышлю небольшой списочек поправок (в случае, если вы скажете: печатать) и прошу вас с низким поклоном продержать корректуру».

Помимо значительного числа исправлений стилистического характера, которые были сделаны главным образом в местах текста, отмеченных Н. В. Щербанем, основной текст «Призраков» отличается от белового автографа некоторыми сокращениями. Так, образ Эллис, благодаря сокращениям, приобрел в основном тексте еще более фантастический характер.

Возможно, что изменение некоторых черт образа Эллис было сделано Тургеневым под впечатлением отзыва Ф. М. Достоевского, который писал ему 23 декабря ст. ст. 1863 г.: «Если что в „Призраках" и можно бы покритиковать, так это то, что они *не совсем вполне* фантастичны. Еще бы больше надо. Тогда бы *смелости* больше было. У Вас являющееся существо объяснено как упырь. По-моему бы не надо этого объяснения» (*Достоевский*, *Письма*, т. 1, с. 344).

Достоевский, очевидно, имел в виду исключенный Тургеневым текст, который следовал в беловом автографе за фразой: «Но всё лицо тотчас же вновь оцепенело» (с. 206):

«— Ревность! — воскликнул я.— Но что значит твоя любовь? — И притом ты меня обманула: ты хотела предсказать мне мою судьбу.

---

[5] В действительности из 31-й пометы Щербаня Тургенев принял во внимание только 16 (см. там же, с. 169).

[6] Ср.: «Чудно было видеть лес сверху, его щетинистую спину, освещенную луной. Он казался каким-то огромным, заснувшим зверем и сопровождал нас широким непрестанным шорохом, похожим на невнятное ворчанье» (с. 196—197).

[7] Ср.: «Это был Тюльерийский сад, с его старыми каштановыми деревьями, железными решетками, крепостным рвом и звероподобными зуавами на часах» (с. 210).

— Я сказала: может быть.

— Разве это не от тебя зависит? Ты мне не отвечаешь? Это несносно! И я опять-таки повторяю: как можешь ты, без тела, без крови, любить меня?

— У *тебя* есть кровь,— промолвила моя спутница, и мне показалось, что она улыбнулась.

Сердце во мне ёкнуло. Рассказы об упырях, о вампирах пришли мне на ум. „Неужели я во власти подобного существа?..“» (*Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 383—384).

В основном тексте Тургенев убрал еще несколько публицистических, злободневных намеков. Так, исключены строки о том, что время Цезаря «только теперь наступает», и вместо упоминания о томе «сочинений г-на Вс. Крестовского» сказано: «том сочинений одного из новейших Ювеналов» (с. 215).

Получив от Тургенева список поправок, которые нужно было внести в наборную рукопись «Призраков», П. В. Анненков в ответном письме от 1 (13) января 1864 г. посоветовал автору сделать еще одну поправку в тексте: « ...я прошу позволенья к Вашим поправкам присовокупить одну мою,— писал он,— именно уничтожить то место, где Эллис указывает на дорогу, по которой гуляют *треугольные люди*. Меня постоянно спрашивали — что это значит, а так как я решительно не мог отвечать на вопросы, то и прошу об исключении места. Вы лучше моего знаете, что фантастическое никак не должно быть бессмысленным, впрочем — власть Ваша!..» [8] Тургенев с замечанием П. В. Анненкова согласился (см. с. 207).

«Призраки» были опубликованы в конце марта 1864 г. в сдвоенном (1 и 2) номере журнала братьев Достоевских «Эпоха», который был разрешен 27 января ст. ст. взамен закрытого «Времени» (см.: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М., 1975, с. 12). Первой публикации «Призраков» предпослано было небольшое вступление: «Вместо предисловия. Всякое настоящее произведение искусства должно говорить само за себя, стоять на своих ногах — а потому не нуждается в предварительных объяснениях и толкованиях. Не имея убеждения, что „Призраки“ принадлежат к подобного рода произведениям, я решаюсь просить читателя, который, быть может, в праве ожидать от меня что-нибудь посерьезнее, не искать в предлагаемой фантазии никакой аллегории или скрытого значенья, а просто видеть в ней ряд картин, связанных между собою довольно поверхностно» (Эпоха, 1864, №№ 1 и 2, с. 1). В дальнейшем текст «Призраков» перепечатывался без каких-либо существенных исправлений. «Вместо предисловия» в собраниях сочинений Тургенева не воспроизводилось.

Исследователи неоднократно отмечали, что многие главы «Призраков», несмотря на их фантастический колорит, написаны либо по личным впечатлениям Тургенева (описание Лаго-Маджоре, Понтийских болот, острова Уайта, окрестностей Рима), либо являются переработкой семейных преданий (глава о Степане Разине). «Призраки» отличаются точностью пейзажных зарисовок различных мест Европы, сделанных как бы с натуры, но особенная достоверность

---

[8] Цитата приведена по изданию: *Достоевский и Т*, с. 86, где письмо П. В. Анненкова к Тургеневу от 1 (13) января 1864 г. напечатано в отрывках (автограф — в *ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 8).

соблюдена Тургеневым при описании усадьбы героя, воспроизводящем Спасское-Лутовиново (пруд, плотина, усаженная ракитами дорога, березовая рощица). Оценки империи Наполеона III и самодержавного Петербурга также очень близки к суждениям самого Тургенева и зачастую являются почти дословными цитатами из его писем [9].

«Призраки» Тургенева имели не только реальные, но и литературные источники. Избрав сюжетным стержнем своей «фантазии» полеты героя с таинственным существом, писатель воспользовался давней литературной традицией. В ряду непосредственных предшественников Тургенева по разработке этого мотива в русской литературе А. С. Орлов называл В. Ф. Одоевского — автора «Сильфиды» (1837) и Гоголя — автора «Страшной мести» и «Вия» [10]. К названным произведениям можно было бы прибавить еще «Странника» (1832) А. Ф. Вельтмана, «Тарантас» (1845) В. А. Соллогуба (заключительная глава), «Сон» (1844) Шевченко [11]. В работах последних лет о Тургеневе отмечены параллели между «Призраками» и «Фаустом» Гёте, книгой Марка Аврелия «Наедине с собой» и др.[12]

Немецкая критика 1860-х годов настаивала на общности мотивов «фантазии» Тургенева и «таинственных рассказов» Э. По («Tales of mystery»), вышедших в 1852 г.[13]

Современный немецкий исследователь высказывает также предположение, что какие-то черты образа Эллис могли быть почерпнуты Тургеневым из сказаний баденской земли[14].

---

[9] См.: *Гутьяр;* а также: Пиксанов Н. К. История «Призраков» (*Т и его время*, с. 164—192); Андреева А. «Призраки» как исповедь Ив. С. Тургенева. — *ВЕ*, 1904, т. 5, с. 17—22. Винникова И. И. С. Тургенев в шестидесятые годы. Саратов, 1965, с. 55—65; Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей». Л., 1972, с. 17—26 и др.

[10] Орлов А. «Призраки» Тургенева. (Одоевский — Гоголь — Тургенев).— В кн.: Родной язык в школе. М., 1927. Кн. I, с. 46—75.

[11] См.: Мочульський М. Літературні паралелі. Шевченків «Сон» і «Призраки» Тургенева.— Україна, 1924, № 3, с. 62—70; Прийма Ф. Я. Шевченко и русская литература XIX века. М.; Л., 1961, с. 308—309.

[12] См.: Муратов А. Б. Указ. соч., с. 14—15; Батюто А. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 147.

[13] См.: Раппих Хорст. Мюнхенское издание повестей Тургенева в оценке немецкой и австрийской критики.— *Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 346—349. О необходимости обследовать творчество Э. По, литературу раннего французского декадентства и английского прерафаэлитизма с точки зрения выявления возможных связей «Призраков» с этой литературной традицией писал Л. В. Пумпянский в статье «Группа „таинственных повестей“» (см.: *Т*, *Сочинения*, т. 8, с. XIII, XVIII; см. также: Турьян Мариэтта. Тургенев и Эдгар По.— Studia Slavica Hung. XIX. Budapest, 1973, с. 407—415).

[14] В статье Г. Швирца «Баден в жизни и творчестве Тургенева» высказано предположение, что одна из фресок, украшавших галерею главного лечебного корпуса в Баден-Бадене, описана в главе IV «Призраков». На этой фреске изображен рыцарь, стоящий

«Призраки» Тургенева насыщены не только широкими литературными ассоциациями: философско-историческая основа этой «фантазии» также опирается на давнюю традицию, истоки которой можно обнаружить в проникнутых пессимизмом поучениях Экклезиаста [15]. Марк Аврелий, Светоний, Паскаль, Шопенгауэр — вот мыслители, в философских системах которых исследователи находят точки соприкосновения с теми или иными мотивами «Призраков» [16]. Следует, однако, отметить, что в период работы над «Призраками» Тургенев испытывал повышенный интерес именно к Шопенгауэру, находя в его книгах подтверждение своим собственным представлениям об исторической перспективе развития Запада и России. Полемизируя с Герценом, Тургенев писал ему 23 октября (4 ноября) 1862 г.: «Тот *самум*, о котором ты говоришь, дует не на один Запад — он разливается и у нас ⟨...⟩ Россия — не Венера Милосская в черном теле и в узах; это — такая же девица, как и старшие ее сестры ⟨...⟩ Шопенгауэра, брат, надо читать поприлежнее, Шопенгауэра».

Следы чтения Шопенгауэра обнаруживаются и в рукописных материалах к «Призракам». Так, среди заметок, сделанных Тургеневым в октябре 1861 г. на автографе первой редакции «фантазии» имеется запись: «Вид земли (Шопенгауэр)» [17].

Вид земли с птичьего полета изображен в XXIII главе (см. выше, с. 216), и это описание навеяно следующими строками книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление»: «В беспредельном пространстве бесчисленные светящиеся шары; вкруг каждого из них вращаются около дюжины меньших, освещенных; горячие изнутри, они покрыты оцепенелой холодной корой, на которой налет плесени породил живые и познающие существа,— вот эмпирическая истина, реальное, мир» [18].

Пессимистическая философия «Призраков» не ограничивала, однако, страстных стремлений человеческой личности к счастью и не лишала ее способности наслаждаться прекрасным, о чем свидетельствуют, например, такие картины, как описание острова Isola Bella в главе XIV. Герой «Призраков» выражает также активное неприятие конкретных форм социальной жизни Европы и России [19].

на коленях перед женщиной-призраком, низко парящей над землей; над обоими кружит птица. Фон картины образует опушка леса, на переднем плане виден старый дуб (см.: Schwirtz G. Baden im Leben und Schaffen Turgenevs.— В сб.: I. S. Turgenev und Deutschland, Bd I. Herausgegeben von G. Ziegengeist. Berlin, 1965).

[15] См.: Страхов Н. Новая повесть Тургенева (*Отеч Зап*, 1867, № 5, с. 169); *Иванов*, с. 183, 461.

[16] См.: Пумпянский Л. В. Тургенев-новеллист.— В кн.: *Т, Сочинения*, т. 7, с. 5—24; Винникова И. Указ. соч., с. 53—74; Батюто А. Указ. соч., с. 38—166; Муратов А. Указ. соч., с. 7—37.

[17] Об этом см.: Кийко Е. И. «Призраки». Реминисценции из Шопенгауэра.— *Т сб*, вып. 3, с. 123—125.

[18] Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1901. Т. 2, с. 1 (перевод Ю. И. Айхенвальда).

[19] См.: Бялый Г. Тургенев и русский реализм. Л., 1962, с. 174—175.

Критика буржуазных нравов и социально-политических учреждений Западной Европы имела в русской литературе давнюю традицию: она сказалась уже в творчестве русских просветителей XVIII в. В XIX в. эта традиция была продолжена в критических статьях Белинского, в цикле Герцена «Концы и начала» (1862—1863), в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевского, в статье Салтыкова-Щедрина «Драматурги-паразиты во Франции» (1863).

Герцен, критикуя буржуазную цивилизацию и отказывая ей в перспективе исторического прогресса, выражал уверенность, что Россия избежит пройденного Европой буржуазного пути развития и выработает свои собственные формы социального устройства (*Герцен*, т. 15, с. 159, 198). Достоевский, исходя из иных идейных предпосылок, чем Герцен, пришел тем не менее в «Зимних заметках» к заключению, близкому к выводам автора «Концов и начал» (см.: *Достоевский*, т. 5, с. 360). Чернышевский связывал будущее прогрессивное развитие как Европы, так и России с активностью народных масс (*Чернышевский*, т. 7, с. 618).

Обнаружив в «Призраках» неприятие буржуазной цивилизации, их автор с не меньшей резкостью отрицал и дворянско-бюрократический Петербург. Заявив об общности исторического пути развития Европы и России, Тургенев в то же время не дал ответа на вопрос, каким именно будет этот путь.

Еще в процессе работы над «Призраками» Тургенев неоднократно высказывал сомнение в их актуальности. Писатель назвал свое новое произведение «фантазией» и опасался, что читатели сочтут ее «несколько детской», не имеющей «человеческого смысла», «очепушившейся».

Первым читателем «Призраков» был П. В. Анненков. «Не фантазией следовало бы назвать Вашу статью, а элегией,— писал он Тургеневу 25 сентября ст. ст. 1863 г.— Нет никакого сомнения, что в теперешнее время никто не даст себе труда уразуметь этого *автобиографического* очерка. Вряд ли даже найдет признание достодолжное и поэтическая его сторона...» (отрывок: *Достоевский и Т*, с. 73, автограф: *ИРЛИ*, ф. 7, № 8). Считая, что «фантазия» Тургенева «покажется всем странностью», Анненков тем не менее предсказал ей успех, потому что «странность эта привязывается к громкому и почетному имени» (там же).

В ответном письме Тургенев отдал должное проницательности П. В. Анненкова, распознавшего автобиографическую основу «Призраков». «Я даже дрогнул, прочтя слово: „автобиография“, и невольно подумал, что когда у доброго легавого пса нос чуток, то ни один тетерев от него не укроется, в какую бы он ни забился чащу»,— писал Тургенев Анненкову 28 сентября (10 октября) 1863 г.

Ф. М. Достоевский, так же как и П. В. Анненков, считал, что «Призраки» следовало напечатать, ибо появление произведения, написанного в фантастическом роде, должно было пробудить, по его мнению, в «здоровой части общества» интерес к «поэтической правде». «Форма „Призраков“ всех изумит,— писал Достоевский 23 декабря ст. ст. 1863 г. Тургеневу.— А реальная их сторона даст выход всякому изумлению» (*Достоевский*, *Письма*, т. 1, с. 343). Достоевский подчеркнул, что в «„Призраках“ слишком много реального. Это реальное есть *тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время*, уловленная тоска. Этой тоской наполнены

все „Призраки“» (там же). Но многое в «Призраках» Достоевского и не удовлетворило: «...по-моему, в них много дряни: что-то гаденькое, больное, старческое, *неверующее* от бессилия, одним словом весь Тургенев с его убеждениями, но поэзия много выкупит; я перечел в другой раз» (там же, с. 352).

Расхождения в мировоззрении, а затем и личная ссора Достоевского с Тургеневым как автором «Дыма»[20] сделали возможным появление впоследствии в «Бесах» (1871) пародической фигуры писателя Кармазинова, выступившего с публичным чтением этюда «Merci», в котором наряду с «Довольно» и другими произведениями высмеивались и «Призраки» (см.: *Достоевский*, т. 12, с. 226, 311).

Среди первых читателей «Призраков» были и такие, которые, признавая «прелесть описаний и картин», с недоумением спрашивали: «но эта летающая Эллис — что она?» (*Боткин и Т*, с. 192).

В. П. Боткин высказал предположение, что «тут кроется какая-то аллегория». Однако, по его мнению, «эта аллегория остается неразгаданной и производит то, что впечатление целого сводится не то на диссонанс, не то на неразрешенный аккорд какого-то смутного тона. Очевидно, что эта аллегория чего-то внутреннего, личного, тяжкого, глухого и неразрешенного». К Боткину присоединился и А. Д. Галахов (там же, с. 192—193). С. С. Дудышкин, возвращая прочитанные «Призраки» П. В. Анненкову, писал, что эта вещь ему «беспредельно нравится», но что читатели «это летание двух душ над землей примут за тягу вальдшнепов или фантастическую сказку» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 37).

В связи с недоумениями по поводу Эллис Тургенев писал Боткину 26 ноября (8 декабря) 1863 г.: «Тут нет решительно никакой аллегории, я так же мало сам понимаю Эллис, как и ты. Это ряд каких-то душевных dissolving views, вызванных переходным и действительно тяжелым и темным состоянием моего *Я*». Н. Страхов впоследствии иначе, чем Боткин, истолковал образ Эллис. В статье о «Дыме» Тургенева он писал: «Эллис, сама воплощенная поэзия, носит поэта по земле, показывает ему современный мир и воскрешает перед ним грозные картины истории» (*Отеч Зап*, 1867, № 5, с. 170). От аллегорического толкования образа Эллис Тургенев предостерегал и в предисловии, которое было предпослано журнальному тексту «Призраков» (см. выше, с. 476).

Появление «Призраков» было встречено в печати немногочисленными и по большей части недоуменными отзывами.

Критик «Современника» М. А. Антонович писал: картины, изображенные в новом произведении Тургенева, «уж до того бессвязны и мало проникнуты чем-нибудь одним и до того разнохарактерны, что вся фантазия производит очень неясное и неопределенное впечатление» (*Совр*, 1864, № 4, Современное обозрение, с. 236). Д. И. Писарев в статье «Реалисты» (1864) назвал «Призраки» в числе «пустяков» (*Писарев*, т. 3, с. 106). Анонимный рецензент «Книжного

---

[20] Одна из первых попыток проанализировать причины неприязненного отношения Достоевского к Тургеневу была сделана в книге: Никольский Ю. Тургенев и Достоевский. История одной вражды. София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1921; см. также: Долинин А. Тургенев в «Бесах».— В кн.: Достоевский. Статьи и материалы, сб. II/Под ред. А. С. Долинина. Л.: Мысль, 1925, с. 119—136.

вестника» заявил, что «Призраки» надо понимать «как художественный каприз, довольно эффектный, но не прибавляющий ничего к нашему общественному сознанию» (Книжный вестник, 1864, № 8, с.162). О падении таланта Тургенева в связи с появлением «Призраков» писал также Вл. Зотов (Северное сияние, 1865, т. 4, с. 78), а сатирические журналы (Искра, 1864, № 13, Будильник, 1865, № 58) напечатали иллюстрированные пародии, высмеивающие полет героя фантазии с Эллис (см.: Клевенский М. М. Тургенев в карикатурах и пародиях.— *Гол Мин*, 1918, № 1—3, с. 200—201), и тем самым подтвердили предсказание П. В. Анненкова, что «„Искра“ представит карикатуру автора, летающего по поднебесью» (*Достоевский и Т*, с. 73).

Критик «Библиотеки для чтения» Е. Эдельсон, отметив «частные поэтические достоинства» «Призраков», писал о том, что произведение в целом проникнуто «безотрадным, тяжелым чувством», мешающим писателю отнестись к «судьбам родной страны» с прежним «горячим участием» и заставляющим его смотреть с «холодною, бессильною грустью на неизбежный порядок вещей» (*Б-ка Чт*, 1864, апрель-май, с. 5).

Как бы подводя итог обсуждению «Призраков» в печати, Тургенев писал 21 мая (2 июня) 1864 г. П. В. Анненкову: «По всем известиям, „Призраки“ потерпели общее фиаско. А все-таки мне сдается, недурной человек был покойник».

М. М. Ковалевский, известный историк и социолог, близкий знакомый Тургенева, не согласился с высказанной в печати оценкой «Призраков». В его архиве сохранился незавершенный набросок статьи, относящейся, по-видимому, к 1870-м годам, в которой он намеревался возразить критикам «Призраков» [21].

«„Призраки“,— писал Ковалевский,— это вся субъективно понятая история человечества, это раскрытие того, как понимает поэт поворотные эпохи в ее развитии: Рим цезарей, период возрождения, торжество индустриализма и буржуазии, и как противовес ей романтизм Герм⟨ании⟩ — какое впечатление выносит он из сопоставления этих эпох и соответствующих им цивилизаций с русской современностью и во что, в частности, вылилась эта современность» [22]. Своеобразие художественной задачи, поставленной перед собою автором «Призраков», Ковалевский видел в том, что Тургенев стремился вызвать в воображении своих читателей не исторические лица и события, а «современную им народную психологию» (там же).

Замысел Ковалевского остался неосуществленным, но мысли, близкие к основным положениям неопубликованного конспекта его статьи о «Призраках», впоследствии были высказаны П. Л. Лавровым.

В 1884 г. в статье «И. С. Тургенев и развитие русского общества» Лавров писал, что появление таких произведений Тургенева, как «Призраки» (1863), «Довольно» (1864) и «Дым» (1867), связано с углублением в русском обществе реакции, которая в это время «открыто вступила в свои обычные права» [23]. Считая создание

---

[21] См.: Никитина Н.С. «Призраки». Неоконченная статья М. М. Ковалевского.— *Т сб*, вып. 2, с. 171—172.

[22] Там же, с. 172.

[23] Лавров П. И. С. Тургенев и развитие русского общества.— Вестник народной воли, 1884, № 2, с. 102.

«Призраков» своеобразным откликом писателя на общественно-политическую обстановку в России в начале 1860-х годов, Лавров, как и Ковалевский, увидел за фантастическими образами этого произведения раздумья автора об истории человечества. «Фантастические образы „Призраков“,— писал он,— поэт перевел на язык точной мысли в „Довольно“, когда он говорил о природе (охватывающей и бессознательный исторический процесс)» (там же, с. 104). При этом Лавров подчеркивал, что «народ, сближению которого с передовою интеллигенциею никогда не верил Иван Сергеевич, представлялся ему не смирным и примиренным со своею судьбою, но в „великую ночь“, когда „можно видеть, что бывает закрыто в другое время“, сны этого народа воплощались для поэта в грозное видение» (там же, с. 103).

Еще при жизни Тургенева «Призраки» были переведены на немецкий (1865), французский (1866), датский (1873) и шведский (1876) языки. Особый интерес представляют немецкий и французский переводы.

На немецкий язык «Призраки» были переведены Фридрихом Боденштедтом [24] при непосредственном участии Тургенева, который дважды редактировал перевод в рукописи, а затем просмотрел и корректурные листы [25].

Французский перевод принадлежал П. Мериме и был напечатан впервые в журнале «Revue des Deux Mondes» (в номере от 15 июня 1866 г.). Однако этот перевод не отличался точностью, что заставило Тургенева внести в него, перед опубликованием в сборнике «Nouvelles moscovites» (1869), большое количество исправлений [26].

Стр. 191. *Миг один... и нет волшебной сказки — И душа полна возможным...*— Последние стихи седьмой строфы стихотворения А. А. Фета «Фантазия» (1847 г.). В тексте Фета: «Миг еще...». 1 (13) октября 1863 г. Тургенев писал Фету: «...я, несмотря на свое бездействие, угобзился, однако, сочинить и отправить Анненкову вещь, которая, вероятно, Вам понравится — *ибо не имеет никакого человеческого смысла* — даже эпиграф взят у Вас». Проводя здесь некоторую шутливую параллель между стихотворением Фета «Фантазия» и своей «фантазией» в прозе, Тургенев имел в виду то обстоятельство, что в 1856 г., когда готовился сборник стихов поэта, было много толков по поводу «темного» смысла именно этого стихотворения (см.: Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. I, с. 105).

---

[24] См.: Erzählungen von Iwan Turgénijew, Bd. II. Deutsch von Fridrich Bodenstedt. München, 1865.

[25] См.: Pietsch L. Erinnerungen an Iwan Turgenjew.— Vossische Zeitung, 1883, № 425, 12 сентября, а также: *Т, ПСС и П, Письма*, т. 5, № 1477, 1491, 1502, 1584, 1589 и примеч. к ним. См. также: Раппих Хорст. Тургенев и Боденштедт.— *Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 340—342.

[26] Список разночтений текстов перевода «Призраков» в «Revue des Deux Mondes» и в сборнике «Nouvelles moscovites» приведен в работе: Mongault H. Mérimée et la littérature russe. Paris, 1931, p. 561—581. См. также: Горохова Р. М. К истории издания сборника Тургенева «Nouvelles moscovites».— *Т сб.* вып. 1, с. 263—264.

...глупости с вертящимися столами! — Сатирическую зарисовку спиритического сеанса Тургенев дал в главе XV «Дыма» (см. с. 336—337). Об ироническом отношении Тургенева к спиритизму свидетельствует и его письмо из Парижа от 9 (21) марта 1857 г. П. В. Анненкову.

С т р. 197. ... *«стожары» блистали над самой головой.* — Стожары — народное название некоторых созвездий. В данном случае речь идет о Плеядах.

...всякий, кому случалось летать во сне.— 1 (13) августа 1849 г. Тургенев писал Полине Виардо из Куртавнеля: «Мне этой ночью приснился весьма странный сон, как это иногда со мною бывает; я вам его сейчас расскажу. Мне казалось, что я иду вдоль дороги, обсаженной тополями 〈...〉 Вдруг я вижу, что на меня идет какая-то высокая белая фигура и делает мне знак следовать за нею 〈...〉 Несколько мгновений спустя мне кажется, что мы стоим на сильном ветру; я оглядываюсь кругом и, несмотря на темноту, могу различить, что мы находимся на вершине чрезвычайно высокого утеса, поднимающегося над морем.— Да куда же мы идем? — спрашиваю я у своего путеводителя.— Мы птицы,— отвечает он,— летим 〈...〉 Но в это самое мгновение меня подхватывает ветер. Не могу вам передать тот трепет счастья, который я почувствовал, развертывая свои широкие крылья; я поднялся против ветра, испустив громкий победоносный крик, а затем ринулся вниз к морю, порывисто рассекая воздух, как это делают чайки. В эту минуту я был птицей, уверяю вас...»

С т р. 199. *С потрясающим шумом ∽ закрыл глаза...*— Эти строки близки к описанию бушующего моря в письме Тургенева к Полине Виардо от 1 (13) августа 1849 г.

На южном берегу острова Уайт...— Остров в проливе Ла-Манш у южного берега Великобритании. Тургенев жил на о. Уайт в августе 1860 г.

С т р. 201. *...семь раз тринадцать...*— Имеется в виду суеверное представление о магическом значении чисел 7 и 13.

С т р. 202. *Понтийские болота* — обширная заболоченная местность на северо-запад от древнего города Террацина.

...вдоль старинной латинской дороги...— Имеется в виду знаменитая Аппиева дорога, проложенная в 312 году до н. э. от Рима до Капуи.

С т р. 202—203. *Мы внезапно взвились ∽ повторил я протяжно: — Caesar!* — В этой сцене отразился один из эпизодов пребывания Тургенева в Италии в 1840 г., о котором он рассказал в воспоминаниях о Н. В. Станкевиче (см. наст. изд., т. 5, с. 363). *Кай Юлий Цезарь* (102 или 100—44 г. до н. э.), древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель. Разгромив войска политических противников, Цезарь за год до смерти сосредоточил в своих руках всю полноту власти, сохранив, однако, римские республиканские формы правления.

С т р. 203—204. *И вдруг мне почудилось ∽ Прочь, прочь отсюда.*— Тургенев еще раз коснулся личности Цезаря в речи о Шекспире (1864 г.), сказав, что победы Шекспира «прочней побед Наполеонов и Цезарей».

С т р . 204. *Isola Bella! — проговорила Эллис.— Lago Maggiore...*— Речь идет об острове Изола Белла на озере Лаго-Маджоре на южном склоне Альп. Тургенев посетил это место в 1840 г. (см.: Г р е в с И. М. Тургенев и Италия. Л., 1925, с. 66—72).

...в помпейяновском вкусе...— Имеется в виду художественный стиль богатых зданий города Помпеи (лат. Pompei), засыпанного при извержении Везувия в 79 году н. э.

С т р. 205. *...этрусскими вазами...*— Глиняные вазы с росписью или рельефами, относящиеся к культуре, созданной племенем этрусков на территории древней Италии (VII—II вв. до н. э.).

Праксителев Фавн — статуя, изваянная греческим скульптором Праксителем (IV в. до н. э.). Известна по римским копиям.

...лейденской банки.— Электрический конденсатор в виде стеклянного сосуда. Одним из изобретателей его был профессор Лейденского университета Мушенбрук (Musschenbroek) Питер ван (1692—1761).

С т р. 206. *«Сарынь на кичку!»* — повелительный возглас старинных волжских разбойников при нападении на судно, приказ его команде собраться на носу («сарынь» — сброд, «кичка» — нос корабля).

...в Волчьей Долине Фрейшюца...— Речь идет о месте действия второй картины второго акта оперы Вебера (Weber, Карл-Мария, 1786—1826) «Волшебный стрелок».

С т р. 207. *Сперва всё осталось безмолвным ∽ что-то со стоном упало в воду и стало захлебываться...*— Возможно, что этот эпизод навеян расправой казаков Разина в 1670 г. в Царицыне с воеводой Тимофеем Васильевичем Тургеневым. Он был утоплен ими в Волге (см.: К о с т о м а р о в Н. И. Бунт Стеньки Разина. Изд. 2-е. СПб., 1859, с. 110—112, а также: *Гутьяр*, с. 7—8).

Степан Тимофеевич! — Речь идет о Степане Разине, вожде крестьянского восстания 1667—1671 годов. Эпизод «Призраков», посвященный Степану Разину, находится в явной зависимости от материалов, сообщаемых Н. И. Костомаровым (см. выше).

Фролка! где ты, пес? — О брате Степана Разина Фроле Тимофеевиче Разине в указанной выше монографии Н. И. Костомарова говорится неоднократно (с. 48, 103, 175, 211—215, 217, 218), причем именуется он также «Фролкой».

...да в топоры их, белоручек! — О поголовном истреблении Степаном Разиным помещиков Костомаров в своей книге говорит постоянно (с. 138—139, 143, 145, 157 и др.).

С т р. 210. *...звероподобными зуавами...*— Имеются в виду французские воинские части, созданные в 1830 г. в Алжире. Название получили от зуауа — одного из африканских племен.

Минуя дворец ∽ пролил французскую кровь...— Речь идет о подавлении мятежа монархистов против Конвента, поднятого ими в Париже 4 октября 1795 г. Подавлением руководил Наполеон Бонапарт. Особенно кровавой была расправа с восставшими на паперти церкви св. Роха.

С т р. 211. *...третий Наполеон сделал то же самое.*— Речь идет о кровавых событиях 4 декабря 1851 г.— расправе Наполеона III с противниками государственного переворота, произведенного им за два дня до этих событий.

Толпы народа ∽ ревновать не придется...».— См. высказывания Тургенева об империи Наполеона III в письмах к П. В. Анненкову от 1 (13) августа 1859 г. и А. А. Фету от 5 (17) ноября 1860 г.

...гарсонам Вефура — официантам парижского ресторана Вефур (Véfour).

Ригольбош — прозвище, под которым в 1855—1860 гг. выст-

пала танцовщица парижских публичных балов Маргарита Бадель. В 1860 году были изданы ее мемуары.

...от этих мабилей ⁓ жокей-клуба... — *Мабиль* — правильнее Мабий — место, где устраивались публичные балы (франц. bal Mabille) с канканом, кадрилью и пр. Герцен в «Письмах из Франции и Италии» (1847—1852) утверждал, что эти балы были доступны только для состоятельных буржуа. Мабий, как характерная принадлежность Парижа, назван также в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевского (см.: *Достоевский*, т. 5, с. 49). *Мезон-дорэ* (франц. Maison Dorée, золотой дом) — комфортабельный ресторан в Париже, расположенный на углу Итальянского бульвара и улицы Лафит. Ресторан получил название от здания, в котором он находился (архитектор Лёмэр, 1839). *Ганден* (франц. gandin — «богатый бездельник»); слово это вошло в употребление от фамилии персонажа пьесы Теодора Барьера «Парижане» (1855). *Бишь* — от парижского арготизма biche (также bibiche), означающего проститутку, пристающую на улице и в публичных местах к мужчинам. *Жокей-клуб* (Jockey-Club) — парижский аристократический клуб любителей конного спорта. Основан в 1833 г.

Фигаро — герой комедий Бомарше (Beaumarchais) Пьера-Огюстена (1732—1799) «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро»; здесь — в значении «сводник».

...сержандевилей — от франц. sergent de ville — городовой (полицейский).

Стр. 212. *...де-Фуа...* — Речь идет о французском гигиенисте и фармацевте Франсуа Фуа (Foy, 1793—1867).

...д-ра Шарля Альбера... — D-r Charles-Albert, псевдоним Шомоно (Chaumonnot), парижский врач-венеролог.

...во вкусе помпадур... — Речь идет о рококо — стиле искусства, развившемся в первой половине XVIII века. Распространению стиля рококо содействовала маркиза Помпадур (Pompadour, 1721—1764), фаворитка французского короля Людовика XV.

...берниниевской школы... — Бернини (Bernini) Джованни Лоренцо (1598—1680), итальянский архитектор и скульптор, крупнейший представитель искусства барокко.

Мангейм (Manheim) — город великого герцогства Баденского, культурный, торговый и промышленный центр южной Германии. Тургенев был в Мангейме весною 1840 г.

Швецингенский сад — парк в городе Швецинген (Schwetzingen) в великом герцогстве Баденском.

Стр. 213. *Шварцвальд* (Schwarzwald) — старинное название горного хребта на правобережье верхнего течения Рейна. Горный хребет покрыт хвойным лесом, определившим его название («черный лес») . В горах Шварцвальда расположен Баден-Баден, в котором Тургенев жил в 1863—1871 гг.

...подобные звукам эоловой арфы... — Имеется в виду музыкальный инструмент, состоящий из деревянного ящика с натянутыми струнами, звучащими от движения воздуха. Название получил от мифологического бога ветров Эола.

Стр. 214. *Сильный, переливчатый ⁓ в целом свете немного.* — Об этом же Тургенев сообщал П. Виардо в письме от 2(14) сентября 1850 г.

Стр. 215. *Северная Пальмира.* — Пальмира — древний город в Сирии, знаменитый своими архитектурными памятниками.

С середины XVIII века Северной Пальмирой начали называть Петербург.

Она благоговейно читала книгу: это был том сочинений одного из новейших Ювеналов.— Ювенал (Juvenalis) Децим Юний (ок. 60—ок. 127 г.), римский поэт-сатирик. Здесь речь идет об одном из представителей русской обличительной поэзии шестидесятых годов. В черновом и беловом автографах Тургеневым было названо имя Вс. Крестовского (см. *Т ПСС и П, Сочинения*, т. 9, с. 387; см. также: *Т сб*, вып. 5, с. 141).

Стр. 217. *Громадный образ закутанной фигуры на бледном коне...*— Образ заимствован Тургеневым из Библии: «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть» (Откровение Иоанна Богослова, гл. 6, стих 8).

Стр. 219. *...сильфида...*— В кельтской и германской мифологии, а также в средневековом фольклоре многих европейских народов, сильфидами и сильфами называли духов воздуха.

...эманципация — от франц. émancipation — освобождение, раскрепощение. Здесь имеется в виду реформа 19 февраля 1861 г.

Гастейн (Гаштейн, Gastein) — австрийский курорт, расположенный в одноименной долине Зальцбургского герцогства.

А посредник божится...— Речь идет о «мировых посредниках», назначавшихся губернаторами из среды местных дворян-землевладельцев и утверждавшихся Сенатом для разрешения некоторых земельных и финансовых конфликтов между помещиками и крестьянами в пору реализации реформы 1861 г.

ДОВОЛЬНО

(с. 220)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Первый черновой автограф, 2 л. Датируется мартом-апрелем 1862 г. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 88; описание см.: *Mazon*, p. 66; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 206.

Второй черновой автограф, 10 л. Подпись «И. Т.» и помета: «Баден 11 марта н. с. 1864». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 94; описание см.: *Mazon*, p. 66; микрофильм — *ИРЛИ*, кор. V, № 1—2.

Т, *Соч*, *1865*, ч. 5, с. 335—350.
Т, *Соч*, *1869*, ч. 5, с. 331—346.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 5, с. 325—340.
Т, *Соч*, *1880*, т. 8, с. 43—58.
Т, *ПСС*, *1883*, т. 8, с. 41—55.

Впервые опубликовано: *Т*, *Соч*, *1865*, ч. 5, с. 335—350.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также с исправлением (по всем другим источникам до *Т*, *Соч*, *1880*) на с. 225 строка 33: «в сторонке» вместо «в стороне».

Первая рукопись «Довольно» имеет три страницы чернового текста, поля которых в большей своей части заполнены поправками. Рукопись озаглавлена: «Несколько писем без [конца и] начала и конца». Над заглавием Тургенев надписал: «Начало: „Довольно". См.— в другой тетради». Повествование открывается теми же са-

мыми словами («Довольно, говорил я самому себе»), что и в основном тексте. Главки с отточиями вписаны на полях. Далее главы не обозначены, но отделены друг от друга черточками.

Первый черновой автограф имеет много вариантов, большей частью стилистического характера. На полях содержатся заметки, которые, очевидно, предполагалось развить в дальнейшем: 1) «Досадно даже на себя за то, что постарался всё это красиво выразить [как будто и это что-нибудь]». 2) «И потекли накипевшие слезы, не облегчая сердца, но как-то сладко и горестно терзая его». Эти заметки не зачеркнуты, но в окончательный текст не вошли, так же как и отрывок текста, вынесенный Тургеневым на поля с пометой «позже»: «[Но те] воспоминания теперь приятны мне только тогда, когда они воскрешают в уме не прежние события, а прежние [старые] другие воспоминания. Старые люди любят ходить по одним торным дорожкам. Вот как [стар я стал]. Я изжился!» [1] На первом листе рукописи есть обведенная чертой запись с пометой NB: «Диди ⟨т. е. Клоди Виардо⟩ в золотом дожде листьев». На втором листе рисунок пером — мужской головы.

Текст рукописи обрывается в конце третьей страницы. Он доведен до начала седьмой главки. Во втором автографе весь этот отрывок переписан набело (с. 1—5), с небольшими поправками. Очевидно, Тургенев перенес его в новую тетрадь и в этой же тетради продолжал работу.

Вторая рукопись занимает 18 страниц в тетради, имеющей двойную пагинацию: рукой Тургенева (по страницам) и печатную (по листам). На первом листе дан перечень сочинений Тургенева 1844—1864 гг., с третьего листа, без заглавия, начинается второй автограф «Довольно».

Текст второй рукописи (второй черновой автограф), содержащий многочисленные поправки и пометы на полях, в верхнем его слое близок к окончательному, хотя композиционно несколько отличается от него. В конце автографа подпись: «И. Т.» и дата: «Баден 11 марта н. с. 1864».

Во второй рукописи то же количество главок (обозначены штрихами) и расположены они в той же последовательности, что и в окончательном тексте,— за исключением двух случаев: главка X помещена между текстами, соответствующими XIII и XIV главам; главка XVII начата и не закончена, далее следует текст XII главки, после которой отчеркнуто и заново написана глава XVII, т. е. главка XII расположена между XVI и XVII. Таким образом во втором черновом автографе две лирические главки были включены в текст философского содержания. В дальнейшем Тургенев перенес их в первую половину «Довольно», где преобладали главы-воспоминания.

Одна из разнохарактерных заметок на полях второго чернового автографа, намеченная еще в первой рукописи, была развернута, затем отвергнута и повторена в окончательном тексте более лаконично. Вместо «Всё это было ꙍ Да... досадно!» (с. 220, строки 30—33) было: *а.* [«Досадно между прочим и на себя за то, что постарался всё это покрасивее выразить»]. *б.* «Досадно, как подумаешь, что в прежних самых пылких, самых порывистых восторгах твоей молодости, в самом смелом их выражении опять-таки не было ничего

[1] См.: П е р м и н о в Г. Ф. «Довольно». Черновой автограф.— *Т сб*, вып. 3, с. 15.

того, собственного, личного, непредвиденного. Всё закон, закон, глухой и неизменный, как закон тяготения...» [2].

Другие заметки представляют собой наброски мыслей, которые Тургенев, по-видимому, собирался развить, но в дальнейшем отказался от своего намерения. Это — мысль о тиране (в гл. XIV): «(а есть тираны и без венцов на голове)»; о стихийности жизни (в гл. XV): «какая бы ни была — только жизнь, жующая, глотающая, [воспроизводящая] жизнь, истребляющая жертв [которых сама создала самцами и самками»]; об экономической подоплеке войн (в гл. XV): «в миллионах людских существ, истерзанных войной, которых истребили, как червей, для того чтобы число желудков не превзошло [количества] числа [вероят⟨ного⟩] возможного запаса» [3].

Характерно, что количество вариантов и вставок нарастает по мере приближения к последним, философским главкам; к тому же исправления становятся значительнее и по объему и по содержанию. Вставки в первых главках уточняют предыдущую мысль сравнением или описанием, а в последних — это уже философские размышления самого писателя о смысле жизни, о месте и роли человека, о стихийном развитии природы.

Очевидно, после 11 марта н.с. 1864 г. (дата завершения второго чернового автографа) Тургенев работал над рукописью, перебеляя ее и внося композиционные и стилистические уточнения. В книге А. Мазона «Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev» зафиксированы сведения о двух авторских списках «Довольно». Один из них почти чистый, с небольшим количеством исправлений, другой — полностью беловой. Рукописи не датированы. (*Mazon*, p. 66).

Первое упоминание о замысле «Довольно» содержится в письме Н. В. Щербаня к Тургеневу от 15 (27) февраля 1862 г. из Москвы: «Я раззвонил, что Вы задумали „Довольно", и Вам собираются писать, просить „не миновать нашего порога". Да и в самом деле: дайте „Довольно" „Русскому вестнику"» (*ИРЛИ*, ф. 5770, л. 2 об.). В ответном письме от 26 февраля (10 марта) 1862 г., написанном до выхода в свет «Отцов и детей» и до развернувшейся по их поводу полемики, Тургенев сообщал своему корреспонденту: «„Довольно" обещано во „Время", но подвигается оно ужасно медленно». Речь шла, по-видимому, о начале работы над «Довольно». Об этом же произведении Тургенев писал из Парижа 18 (30) марта 1862 г. Достоевскому, обещая привезти в Петербург в конце апреля «Призраки»: «Я было начал другую вещь ⟨„Довольно"⟩ — и вдруг схватился за ту ⟨„Призраки"⟩ и работал несколько дней с увлечением».

О том, что первая рукопись «Довольно» может быть датирована мартом-апрелем 1862 г., свидетельствует и дважды помеченная в ней фамилия Schumann. В письме к В. П. Боткину от 12 (24) апреля 1862 г. Тургенев упоминает о музыке Р. Шумана и ее исполнительнице пианистке К. Шуман: «У нас здесь теперь Шуманн в ходу, благодаря прибытию его жены, которая дает концерты». По-видимому, под впечатлением от концерта К. Шуман Тургенев и занес в автограф эту фамилию.

В дальнейшей переписке Тургенева — до 6 (18) января 1865 г.— нет никаких упоминаний о «Довольно». Однако в статье Щербаня «Из Парижа», опубликованной в ноябрьском номере «Современной летописи» за 1862 г., сообщалось, очевидно, не без ведома писате-

---

[2] См. указ. статью Г. Ф. Перминова в *Тсб*, вып. 3, с. 17.

[3] Там же, с. 24—25.

ля: «Замечу к слову, что Тургенев пишет теперь повесть „Довольно“, с которою познакомятся в будущем году читатели „Русского вестника“» (Современная летопись, еженедельное приложение к *Рус Вестн*, 1862, № 48, ноябрь, с. 8—9). После прочтения этой статьи И. П. Борисов писал Тургеневу 11 января 1863 г.: «Известие об Вас в „Совр⟨еменной⟩ лет ⟨описи⟩“ про „Довольно“ всех взбудоражило, все ожидают от Вас нового слова» (*Т сб*, вып. 4, с. 370). О работе Тургенева над «Довольно» было известно и А. Ф. Писемскому: «Ждем от вас, мой дорогой, Вашего „Довольно“,— напоминал он Тургеневу в марте 1864 г.,— „Русский вестник“ совершенно уверен, что вы отдадите его им» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 180).

11 марта н. с. 1864 г. Тургенев завершил вторую черновую рукопись и включил «Довольно» с датой 1864 г. в список своих произведений, вошедших в издание 1865 г. На отдельном листе второго чернового автографа, содержащем перечень сочинений 1844—1864 гг., рукой Тургенева помечено: «Дозволено цензурой. СПб. 20-го февр. 1864», хотя «Довольно» проходило через цензуру позднее.

Таким образом, Тургенев работал над повестью одновременно с «Призраками» в течение двух лет.

«Довольно» уже было включено в план «Сочинений», может быть, даже переписано, но сам Тургенев никому не сообщил об этом своем произведении. Сразу же после «Довольно» Тургенев написал рассказ «Собака», читал его друзьям, неоднократно упоминал о нем в письмах, но о «Довольно» не обмолвился ни в письмах, ни во время встреч с В. П. Боткиным и П. В. Анненковым, которым он всегда показывал перед напечатанием свои законченные произведения. В письме к Ф. М. Достоевскому от 28 декабря ст. ст. 1864 г. писатель утверждал, что у него нет «ничего не только готового, но даже начатого», хотя «Довольно» еще в 1862 г. было обещано «Времени».

И только 6 (18) января 1865 г. Тургенев известил Анненкова: «На днях я вам пошлю крохотный отрывочек под названием: „Довольно“, назначенный в новое мое издание, коего четвертый том уже приближается к концу; всех будет пять...» Но повесть еще в течение двух месяцев оставалась у Тургенева в Париже, о чем он писал Щербаню 31 января (12 февраля) 1865 г.: «Рукопись „Довольно“ здесь; т. е. девять страниц, которые я готов Вам показать и даже прочесть, хотя полагаю, que vous en serez peu édifié ⟨что вы немного из нее извлечете⟩». Лишь 6 (18) марта 1865 г. рукопись была послана Анненкову вместе с сопроводительным письмом, в котором содержалась просьба быстро провести ее через цензуру. «Вот вам, любезнейший друг П⟨авел⟩ В⟨асильевич⟩, отрывок „Довольно“, по прочтении которого мои читатели, вероятно, воскликнут: „действительно довольно!“ — писал Тургенев в этот день.— Лучшим доказательством моей лени служит то, что и этот вздор я едва осилил. Между тем дело это чрезвычайно спешное, ибо последний том подвигается печатанием к концу, и, чего доброго, выйдет задержка. И потому, будьте отцом и благодетелем: проследивши сии прелестные страницы, летите „стремплешь“, как говорил Языков, к моему цензору, которому я обещал заблаговременно прислать рукопись, и попросите его сказать тотчас же, что нет препятствий к печатанию (мизантропические выходки в конце не могут быть, кажется, препятствием), и немедленно, тоже „стремплешь“, либо дайте мне знать, что „ничего, можно“, либо пришлите мне обратно *эти листы с помарками* ⟨...⟩ Также скажите собственное ваше, для меня, как вы знаете, всегда важное, мнение».

Анненков после еще одного письма Тургенева с подобной же просьбой поторопиться, провел «Довольно» через цензуру; 20 марта (1 апреля) 1865 г. Тургенев благодарит его за присланную обратно рукопись, а 23 апреля (5 мая) 1865 г. сообщает, что «Сочинения», в том числе и V том, который завершается «Довольно», отправлены из Карлсруэ, где они печатались, в Петербург.

Таким образом, Тургенев на этот раз постарался избежать сколько-нибудь широкого обсуждения «Довольно». Видимо, причиной этого послужили его интимные воспоминания в «Довольно», которые он не решался выносить на суд публики. Характерно, что и опубликовано было «Довольно» лишь в «Собрании сочинений» 1865 года.

Несмотря на это, появление «Довольно» не осталось незамеченным. Само заглавие, подзаголовок «Отрывок из записок умершего художника», лирическая тональность повествования, красноречивое завершение «Сочинений» этим «субъективным» очерком — всё это наталкивало читателей на мысль, что «Довольно» — автобиографическая исповедь, своего рода итог творчества писателя.

Эта точка зрения нашла свое выражение в письмах людей, хорошо знавших Тургенева.

И. П. Борисов, отметивший автобиографизм и пессимистичность повести, писал Тургеневу 29 октября ст. ст. 1865 г.: «В Вашем „Довольно“ многое я прочитал с больным чувством за Вас. Вы как будто хотите так уйти от нас, как я вот из Воздвиженской, когда с оказией уходил за Грозненские ворота 〈...〉 без всякой цели впереди 〈...〉 просто-напросто пришло Довольно жить» (*Т сб*, вып. 5, с. 497). В. П. Боткин кратко уведомлял Фета в письме от 17 (29) марта 1865 г., что Тургенев «и вправду кончил свое „Довольно“ и прислал сюда в цензуру. Это очень коротенькая вещь, не повесть, а лирические излияния. Я не читал, но даже Анненков говорит, что очень слабо. Совсем расползся Иван Сергеевич, и внутренний нерв его завял и сделался дряблым и хилым» (*Фет*, т. 2, с. 62).

Мнение Анненкова Боткин передал неточно. Сразу же после получения «Довольно» Анненков ответил Тургеневу, высказав в письме от 16 марта ст. ст. 1865 г. свое сложное впечатление от повести, дав ей в целом высокую оценку, особо отметив ее мастерство: «Я думаю и у Вас мало таких ярких и очаровательных картин, как воспоминания первой половины рассказа; вторая его половина, по временам, глубока, но имеет несчастие походить на мрачную католическую проповедь 〈...〉 Да и надо иметь непременно 55 лет, одышку, запор и водяную, чтобы усвоить себе все впечатления этой второй половины, как должно, а написано всё мастерски. Вот этого-то и довольно во всей пьесе» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 8, л. 105 об.). Тургенев согласился с критическим замечанием своего друга и литературного советчика по поводу «мизантропических выходок в конце» «Довольно», но от исправлений отказался не только из-за отсутствия времени. «...Действительно, я, кажется, конец пересолил,— писал он в ответном письме 20 марта (1 апреля) 1865 г.— Но дело в том, что я задумал эту штуку в тяжелое время, а окончил ее в эпоху сравнительно приятную: я и очутился в положении человека, который жаловался на отсутствие аппетита и потому ел страшно много, так как он не знал, когда остановиться. Всё равно, переделывать теперь некогда, да и не для чего — пусть отправляется так, как есть».

О том, что Фет отнесся к «Довольно» положительно, известно

из письма к нему Тургенева, в котором писатель не соглашался с критической оценкой Боткина и подчеркивал, что это произведение ему особенно дорого. «А что Вам некоторые звуки в „Довольно" пришлись по уху — меня радует,— писал он Фету 10 (22) октября 1865 г.— Я готов даже сказать Вам по секрету — что не только один Боткин, но даже сто Боткиных (Господи! какое это было бы зрелище!) не в состоянии уверить меня, что „Довольно" — один „набор слов". Не так оно писалось».

Первое впечатление Л. Толстого от «Довольно» было резко отрицательным. «„Довольно" мне не понравилось,— сообщал он Фету 7 (19) октября 1865 г.— Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность, полная безжизненного страдания» (*Толстой*, т. 61, с. 109). Однако позднее, в 1880-х годах, он изменил свой взгляд на это произведение, оказавшееся глубоко созвучным его собственным мыслям. «Сейчас читал тургеневское „Довольно",— писал он С. А. Толстой 30 сентября (12 октября) 1883 г. после смерти Тургенева.— Прочти, что за прелесть» (*Толстой*, т. 83, с. 397). В дневниковой записи от 7 октября 1892 г. Толстой сближает «Довольно» и статью Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» — «это отрицание жизни мирской и утверждение жизни христианской»,— намереваясь написать на эту тему статью (*Толстой*, т. 52, с. 74). Об этом же свидетельствует и дневниковая запись В. Ф. Лазурского от 23 июня 1894 г.: «Лев Николаевич отлично помнит всё. Выше всех он ставит „Довольно" и статью „Гамлет и Дон-Кихот". Говорил, что писал статью о Тургеневе, где рассматривал эти два произведения в связи одно с другим (настроение разочарования и потом указание пути спастись от сознания пустоты). Хотел читать на тургеневском празднике, но ему „запретили"» (*Лит Насл*, т. 37—38, с. 450). Определение Толстым центральной идеи «Довольно» содержится в его обобщающей характеристике Тургенева — человека и художника, сформулированной в письме к А. Н. Пыпину. «По-моему,— писал Толстой 10 (22) января 1884 г.,—в его ⟨Тургенева⟩ жизни и произведениях есть три фазиса: 1) вера в красоту (женскую любовь, искусство). Это выражено во многих и многих его вещах; 2) сомнение в этом и сомнение во всем. И это выражено и трогательно, и прелестно в „Довольно", и 3) не формулированная, как будто нарочно из боязни захватать ее ⟨...⟩ вера в добро — любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче, и прелестнее всего в „Дон-Кихоте"» (*Толстой*, т. 63, с. 150).

«Довольно», как и «Призраки»,— своеобразная интимно-философская исповедь писателя, проникнутая глубоко пессимистическим пониманием истории человеческого общества, природы, искусства. На автобиографическую основу очерка Тургенев указывал в письме к М. М. Стасюлевичу от 8 (20) мая 1878 г.: «Я сам раскаиваюсь в том, что печатал этот отрывок (к счастью, никто его не заметил в публике),— и не потому, что считаю его плохим, а потому, что в нем выражены такие *личные* воспоминания и впечатления, делиться которыми с публикой не было никакой нужды». Характерно, что, возражая против стихотворного переложения «Довольно» С. А. Андреевским [4], Тургенев писал в том же письме к М. М.

[4] Поэт С. А. Андреевский, почувствовав лиричность «Довольно», переложил в 1878 г. содержание глав-воспоминаний в поэму и

Стасюлевичу о всей повести в целом: «...тут такая „*субъективщина*“, что беда. Мне было бы очень жутко, если бы всё это опять всплыло наружу». О композиционном единстве «Довольно», в котором главки-воспоминания проникнуты «трагическим значением любви», а философские раздумья и сомнения пронизаны интимным чувством, свидетельствует и творческая история произведения [5].

Окрашенные поэтическим чувством картины «личных воспоминаний» о прошлом, напоминающие по лиризму стихотворения в прозе, сменяются размышлениями автора над «мелконеинтересной и нищенски плоской» жизнью, раздумьями о «тщете всего человеческого, всякой деятельности». Мысли о мгновенности человеческой жизни, обусловленной слепым законом природы, о ничтожестве исторической деятельности человечества и самого ее высокого проявления — искусства тесно переплетаются в «Довольно» с суждениями о социальной жизни России и Западной Европы.

Среди философских и исторических штудий писателя, послуживших источниками отдельных философских мотивов, творчески переосмысленных в «Довольно», в исследовательской литературе и критике о Тургеневе назывались А. Шопенгауэр [6], Б. Паскаль [7], Экклизиаст [8], Марк Аврелий, Сенека, Светоний [9]; художники-мыслители Гёте, Шекспир, Шиллер, Пушкин. В тексте «Довольно» используются многие поэтические образы, литературные цитаты и реминисценции. Образы Шекспира привлекаются для критики «ухваток власти» современных тиранов и рабства людей — мошек. Тоска по преходящей красоте искусства, по погибшим ценностям античного мира переходит в полемику по эстетическим проблемам, появляются ссылки на Шиллера, Гёте, Пушкина, выпады против отдельных положений теории «чистого искусства» и эстетики Чернышевского.

Лиризм и философское содержание сближают «Довольно» со многими произведениями Тургенева. Исследователи творчества Тургенева отмечали тесную связь «Довольно» с «Дворянским гнездом», «Поездкой в Полесье», «Фаустом», с романом «Дым» [10]. Про-

---

через Стасюлевича обратился к Тургеневу за разрешением опубликовать стихи. Поэма Андреевского «Довольно» была напечатана только после смерти писателя в первом номере «Вестника Европы» за 1884 год.

[5] См. об этом: Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей» (60-е годы). Л., 1972, с. 33—35.

[6] См.: Азадовский М. К. Три редакции «Призраков».— Уч. зап. Ленингр. ун-та, 1939, № 20, вып. 1, с. 138—150; Винникова И. А. И. С. Тургенев в шестидесятые годы. Саратов, 1965, с. 53—73; Левин Ю. Д. «Довольно».— *Т сб*, вып. 1, с. 253—254; Батюто А. И. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 76—112, 127—137, 143—158.

[7] Об отношении Тургенева к Паскалю см. в указ. выше книге А. И. Батюто, с. 61—75.

[8] См.: Страхов Н. Новая повесть Тургенева (*Отеч Зап*, 1867, № 4, с. 169—170); *Иванов*, с. 183—184, 461.

[9] О совпадениях некоторых философских суждений в «Довольно» и «Призраках» с высказываниями Марка Аврелия, Сенеки, Светония см. в указ. выше книге А. И. Батюто, с. 103—148.

[10] Там же, с. 83—84, 87, 131; Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей» (60-е годы), с. 33.

слежены также параллели между «Довольно», с одной стороны, и «Призраками» [11], «Отцами и детьми» [12] и стихотворениями в прозе [13] — с другой. Герой «Довольно», художник, близок «лишним людям» Тургенева; та же жанровая форма воспоминаний и писем свойственна таким, например, произведениям писателя, как «Дневник лишнего человека», «Переписка», «Фауст», «Ася», «Первая любовь». Философские раздумья художника, автора «Отрывка из записок...», близки многим высказываниям самого Тургенева, содержащимся в его письмах.

В большинстве критических откликов на «Довольно» отмечался лишь пессимизм очерка, причины которого объяснялись поверхностно, с осуждением в адрес Тургенева.

В большой обзорной статье «Новые книги», подписанной П—ов, лишь вкратце упоминалось о томе V «Сочинений» Тургенева, в основном о «Довольно»: «„Довольно" ⟨...⟩ дышит такою неподдельною грустью, что тяжело читать его ⟨...⟩ Кажется, будто читаешь загробную исповедь человека, уже покончившего свои расчеты и с людьми, и со всем в жизни...» (*СПб Вед*, 1865, № 178, 14 июля, с.2).

Иронический отзыв об очерке Тургенева принадлежал Д. Д. Минаеву в статье «Дневник темного человека»: «...г. Тургенев добровольно еще при жизни закутывается в саван и прощается с публикой» (Будильник, 1865, № 36, 18 мая, с. 142).

В заметке в «Русском инвалиде» (1865, № 161, 24 июля, с. 4) о «Довольно» писал А. И — н (А. С. Суворин): «Это короткие главы, лучше сказать, лирические строфы, полные поэзии,— это прощанье с жизнью, воспоминания о прежней любви, о молодости, то горькие, будто озлобленные, то такие тихие, славные».

Большая анонимная статья в трех номерах «Сына отечества» характеризовала «Довольно» как «грустное разочарование в жизни», как прощание писателя «со всем, что дорого и мило» (Сын отечества, 1865, № 221, 15 сентября, с. 1790).

Враждебная Тургеневу газета А. А. Краевского «Голос» два года спустя, в статье по поводу «Дыма», подвела тенденциозный итог этим первым откликам: «И „Призраки", и „Собака", и „Довольно" — это больное исчадие больного воображения — были замечены в литературе только потому, что подписаны именем Тургенева; иначе они были бы забыты на другой же день по прочтении» (Голос, 1867, № 124, 6 мая, с. 1).

В качестве серьезного оппонента Тургенева выступил В. Ф. Одоевский в очерке «Недовольно» (опубликован в «Беседах в обществе любителей российской словесности», 1867, № 1, с. 65—84). В противоположность философскому пессимизму, которым проникнут «Отрывок из записок неизвестного художника», Одоевский утверждал идею неодолимости научного прогресса. Автор «Недовольно» полемизировал с Тургеневым и по эстетическим вопросам.

---

[11] См.: Пиксанов Н. К. История «Призраков».— *Т и его время*, с. 167—168, 185; указ. выше статью М. К. Азадовского, с. 138—150; книгу И. А. Винниковой «И. С. Тургенев в шестидесятые годы», с. 53—73.

[12] Бялый Г. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 174; Батюто А. И. Тургенев-романист, с. 67—68, 74—75.

[13] См.: Алексеев М. П. Комментарии к «Стихотворениям в прозе».— *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. XIII, с. 628.

Идеал вечной красоты Одоевский видел не в прошедшем, а в будущем, причем в «Недовольно» утверждалась мысль о «расширении сферы эстетического под влиянием научных знаний» [14].

Очерк «Недовольно» был известен Тургеневу и одобрен им. «Прочел ему ⟨Тургеневу⟩ статью мою,— отмечал Одоевский в своей „Хронике“ 9 марта 1867 г.,— он остался ею очень доволен, хотя и не вполне согласен со мною» [15].

Иронический по адресу Тургенева отклик на возражения Одоевского принадлежал Н. К. Михайловскому в его памфлете «Старички»: « ...г. Тургенев слушает, слушает речь своего антагониста, наконец махает своей „ненужной“ рукой и исчезает к себе в Баден-Баден» (Современное обозрение, 1868, № 4, отд. III, с. 19).

П. Ф. Алисов в статье «„Довольно“ и „Призраки“ Ив. Тургенева», написанной, видимо, в начале 1870-х годов, характеризует «Довольно» как романтическую исповедь: «„Довольно“ — разросшееся до гигантских размеров „И скучно и грустно“ Лермонтова. Это коробящий, дикий хохот отчаяния, постигшего ничтожество ⟨...⟩ „Довольно“ от первой и до последней строки пахнет трупом; оно проникнуто разложением» (А л и с о в П. Ф. Сборник литературных и политических статей. Женева, 1877, с. 217, 219).

В своей книге «И. С. Тургенев», напечатанной в 1875 году, С. А. Венгеров признается, что «совершенно не понимает загадочный „очерк“»: «Это какой-то беспорядочный сумбур, набор слов, ничем между собою не связанных, скорее похожий на бред, нежели на литературное произведение» (В е н г е р о в С. А. Русская литература в ее современных представителях. И. С. Тургенев. СПб., 1875, ч. I, с. 101, ч. II, с. 148—149).

В. П. Буренин в «Критическом этюде» свел все содержание «Довольно» к мотивам личного разочарования писателя: «Разочарование в значении собственного творчества, разочарование, которое было вызвано в Тургеневе фактом непонимания его лучшего произведения ⟨т. е. „Отцов и детей“⟩, фактом охлаждения к нему в момент высшего развития его творчества, высказывается в ⟨...⟩ сомнениях в призвании художника и жалобах на тщету художнической деятельности». «Отрывок этот полон сплошь унылым пессимизмом романтического характера,— писал Буренин,— очень напоминающим поэтический пессимизм Леопарди, который похож на нашего художника тем, что с творческой фантазией соединял трезвую рассудочность» (Б у р е н и н В. П. Литературная деятельность Тургенева. СПб., 1884, с. 166, 168) [16].

Демократические критики также отрицательно отозвались о «Довольно». Героя «Довольно» они характеризовали как разновидность «лишнего человека» и полемически отождествляли его с Тургеневым. Пессимистическую социальную тенденцию в «Довольно» они считали отходом от общественных прогрессивных идеалов.

В «Книжном вестнике» была напечатана небольшая рецензия без подписи. Рецензент защищал эстетические позиции Чернышев-

---

[14] См.: Т у р ь я н М. А. В. Ф. Одоевский в полемике с И. С. Тургеневым (по неопубликованным материалам).— Русская литература, 1972, № 1, с. 95—102, 97.

[15] *Лит Насл*, т. 22—24, с. 229.

[16] Буренин сравнивает начало «Довольно» с известной лирической пьесой Джакомо Леопарди «К самому себе» («A se stesso», 1836) в переводе Л. Г. Граве (см. указ. выше книгу Буренина, с. 167).

ского и, присоединяясь к точке зрения Добролюбова на «лишних людей», критиковал Тургенева за пренебрежение к «деятельным, практическим натурам», за сочувствие «слабым, надломленным людям»: «Грустно прийти к такому полному индифферентизму, к такой безнадежной усталости, но если уж пришел к этому человек, то лучше ему, в самом деле, „скрестив на *пустой* груди *ненужные* руки", спокойно отвернуться от всего и сказать: „довольно!" В такой позе он, по крайней мере, не будет мешать другим» (Книжный вестник, 1865, № 12, с. 237).

Ту же мысль проводит Н. В. Шелгунов в статье «Неустранимая утрата»: «Что такое „Довольно", как не исповедь изжившего чувства, как не последнее слово человека, который уже не может идти за жизнью». Завершая статью отрицательной характеристикой «Довольно», Шелгунов утверждал: «Общественно-литературное служение Тургенева кончилось ⟨...⟩ и с момента освобождения крестьян Тургенев умер и перестал служить тому, чему он девятнадцати лет дал клятву служить. Тургеневу следовало тогда же прекратить свою деятельность, и для прогрессивной жизни он ее прекратил действительно» (Дело, 1870, № 6, отд. II, с. 32, 34).

В статье «Цивилизация и дикие племена», принадлежащей П. Л. Лаврову, также содержался выпад против Тургенева — автора «Довольно». В заключительной главе «Потугинская цивилизация в виде послесловия», выступая против либеральной фразы, Лавров почти цитирует отрывок из повести и повторяет тургеневский рефрен: «Нам нужно поменьше людей, которые говорили бы громкие слова, не понимая их, людей, бессильных для оживляющей мысли ⟨...⟩ людей, которые, качая своею утомленной седой головой, говорят борцам мысли: „Довольно! Довольно! Вся ваша борьба и ваша мысль — дым! Все это пройдет, пора остановиться; пора успокоиться; пора устраивать муравейник!"» (*Отеч Зап*, 1869, № 9, с. 128). Впоследствии Лавров характеризовал «Довольно» более объективно, объясняя его пессимизм временным разочарованием Тургенева в русской общественной жизни. В статье «И. С. Тургенев и развитие русского общества» критик писал: «Уныние и подавленность Ивана Сергеевича в этот печальный период были временною болезнью, которую нетрудно объяснить и действительными событиями в русском обществе, и его удалением от России, не позволявшим ему заметить сохранившиеся и укрепившиеся живые силы общества и новые пробивающиеся его ростки» (Вестник народной воли, 1884, № 2, с. 106; см. также: *Лит Насл*, т. 76, с. 231). Здесь же, устанавливая генетическую связь между «Призраками», «Довольно» и романом «Дым», Лавров отдавал должное художественности «Довольно», отмечая в нем «язык точной мысли» и называя его «лирической прозой» (см.: *Лит Насл*, т. 76, с. 200; 230).

Высокая оценка повести Тургенева принадлежит А. И. Эртелю, автору статьи «Из степи. По поводу смерти И. С. Тургенева», написанной 27 сентября 1883 г. (опубликованной в ростовской газете «Дон», 1883, № 107, 2 октября, за подписью N). «Судьба безжалостна, смерть не знает пощады,— писал А. И. Эртель в некрологической статье.— У них свои права, законность которых неоспорима, но человек тоже имеет свое право — правда, жалкое и обидное — право тоски и грусти. Это протест, быть может, более всего свойственный русскому человеку, это протест, выразителем которого именно в таком-то смысле был и Тургенев, создавший „Стихотворения в прозе" и „Довольно"» (*Лит Насл*, т. 76, с. 601).

«Довольно» вызвало отклики и в современной Тургеневу художественной литературе.

Своеобразную критику «Довольно» (и «Призраков» — см. комментарий к «Призракам») дал Ф. М. Достоевский в своем романе «Бесы» (печатался в «Русском вестнике» за 1871—1872 годы). В части третьей главе первой романа, в сцене чтения рассказа «Мерси» писателем Кармазиновым, в котором современники сразу угадали пародию на Тургенева, Достоевский высмеивал стиль и отдельные фразы «Довольно», оценивая очерк как прощание писателя с читателями, но прощание неискреннее, показное. Завершение рассказа «Мерси» почти совпадает с завершением «Довольно»: «Нет уж, довольно мы повозились друг с другом, милые соотечественники, merci! Пора нам в разные стороны! Merci, merci, merci» (*Достоевский*, т. 10, с. 369).

В программном очерке «Выпрямила» (1885) Г. И. Успенский полемизировал по поводу тургеневского афоризма из XV главы «Довольно»: «Венера Милосская несомненнее принципов восемьдесят девятого года», явившегося в известной мере поводом для выступления писателя-демократа по одному из важнейших эстетических вопросов: об общественной роли искусства. В тургеневскую формулу писатель вкладывает свое содержание. Успенский, как и Тургенев, утверждал тезис о несомненности идеи прекрасного, символом которой была знаменитая Луврская статуя. Но понятие прекрасного связывалось Успенским с его представлением о поэзии крестьянского труда, с преклонением перед революционным подвигом [17].

Ленин использует измененную цитату из «Довольно» в статье «Письмо к товарищам» (1917) [18].

По свидетельству Щербаня, французский перевод «Довольно» был выполнен им с согласия Тургенева и опубликован в «Le Nord» в 1865 г. 22 августа (*Рус Вестн*, 1890, № 8, с. 22).

Стр. 220. *«Довольно!» — Полно метаться, полно тянуться, сжаться пора ∽ Всё это было, было, повторялось, повторяется тысячу раз.*— Ср. у Марка Аврелия: «Пора угомониться ⟨...⟩ оставь пустые надежды сам, пока еще не поздно, приди себе на помощь, если ты сколько-нибудь заботишься о самом себе...»; «Что бы ни произошло, всегда будь готов сказать: „Ведь это то самое, что я уже часто видел...“»; «Довольно жалкой жизни, ропота и обезьянничанья. Что тревожит тебя? Что в этом нового? ⟨...⟩ Всё равно, наблюдать ли одно и то же сто лет или три года» (Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. М., 1914, с. 34, 91, 137).

Стр. 221. *...закутанные фигуры афинских феорий.*— Феория (от греч. theos — бог) — торжественное священное посольство, отправлявшееся в храмы, приносящее жертву богам и вопрощающее оракула. Наиболее известна афинская феория, ежегодно отправлявшаяся на остров Делос к святилищу Аполлона. Возможно, Тургенев имеет в виду фреску Рафаэля «Афинская школа», выполненную в парадном зале Ватиканского дворца. Во втором черновом автографе

---

[17] Об этом см.: Мостовская Н. Н. Г. Успенский и Тургенев.— В кн.: Пятый межвузовский тургеневский сборник. Тургенев и русские писатели. Курск, 1975, с. 61—62.

[18] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 34, с. 405; Фойницкий В. Н. О некоторых источниках фразеологии произведений В. И. Ленина.— Русская литература, 1980, № 1, с. 103.

упоминался Рафаэль (см.: *Т сб*, вып. 3, с. 24). С конца февраля по 12 (24) апреля 1840 г. Тургенев жил в Риме во время путешествия по Италии. Об изучении «памятников и древностей» Рима он писал в ⟨Воспоминаниях о Н. В. Станкевиче⟩ (см. наст. изд., т. 5).

Стр. 222. *...перед благовещеньем* — благовещенье — христианский праздник, празднуется 25 марта по православному календарю.

Стр. 222—224. *...с каждым шагом, с каждым движением вперед, поднималась и росла во мне какая-то радостная, непонятная тревога ∽ сердце горит и трепещет веселым страхом перед близким, перед налетающим счастьем...*— Главки VII—VIII по своему лиризму ассоциативно близки XXXIV главе «Дворянского гнезда», сцене объяснения Лаврецкого с Лизой (см. наст. изд., т. 6).

Стр. 224—225. *То является мне другая картина ∽ и даже не сознавать того, что мы вместе.*— Эта главка напоминает письма Тургенева к П. Виардо 1840-х гг., особенно письмо от 9(21) мая 1844 г. из Петербурга, в котором Тургенев сообщал: «Я хотел заглянуть здесь в наши милые маленькие комнатки, но теперь там кто-то живет».

Стр. 224. *...то жалуется и стонет Хаос; то плачут его слепые очи.*—В древнегреческой мифологии и философии Хаос — изначальная вечная, безграничная стихия, существовавшая до образования мироздания; темный животворный источник жизни мира.

Стр. 226. *...то достоинство, на которое намекает Паскаль ∽ а она бы этого не знала.*— Вольно пересказанное Тургеневым широко известное суждение Блеза Паскаля (Pascal; 1623—1662): «Человек не что иное, как тростник, очень слабый по природе, но этот тростник мыслит. Незачем целой вселенной ополчаться, чтобы его раздавить. Пара, капли воды достаточно, чтобы его умертвить. Но если бы даже вселенная раздавила его, человек был бы еще более благороден, чем то, что его убивает, потому что он знает, что он умирает; а вселенная ничего не знает о том преимуществе, которое она имеет над ним» (Паскаль Б. Мысли. СПб., 1888, с. 47).

Стр. 227. *...не страшна гофманщина, под каким бы видом она ни являлась...*— В данном контексте речь идет о трагическом вмешательстве потусторонних сил в жизнь человека. Понятие «гофманщина» связано с именем немецкого писателя-романтика Гофмана (Hoffmann) Эрнста Теодора Амадея (1776—1828).

...Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелконеинтересна и нищенски плоска ∽ и конец их мгновенной жизни.— Эти высказывания, как и вся XIII главка «Довольно», идейно и композиционно близки XXIII главе «Призраков» (см. наст. том, с. 216).

...во имя того же вздора ∽ осмеянного Аристофаном.— Аристофан (ок. 446—385 гг. до н. э.) — древнегреческий комедиограф, сатирик, автор комедий «Всадники», «Облака», «Осы», «Птицы», «Лисистрата», «Лягушки» и др. Высокая оценка Аристофана и его школы содержится в письме Тургенева к Полине Виардо от 28 ноября, 3 декабря (10, 15 декабря) 1846 г.

Стр. 227—228. *...Шекспир опять заставил бы Лира повторить свое жестокое: «нет виноватых» — что другими словами значит: «нет и правых».*— Слова Лира из трагедии Шекспира «Король Лир» (1608) (д. IV, сцена 6). В такой же интерпретации Тургенев процитировал их в письме к Ю. П. Вревской от 18 (30) января 1877 г. и повторил в повести «Степной король Лир» (1870).

Стр. 228. *...воображают его, как Ричарда III, окруженным призраками погубленных им людей.*— В трагедии Шекспира «Ричард III» (1597) главному герою Ричарду III Глостеру являются призраки людей, павших жертвами его преступлений (действие пятое, сцена третья). Прототипом героя трагедии Шекспира явился английский король Ричард III, последний из династии Йорков; вступил на престол, совершив ряд злодеяний.

...к чему доказывать мошкам, что они точно мошки? — Ср. с XXIII гл. «Призраков»: «Эти люди — мухи, в тысячу раз ничтожнее мух» (см. наст. том, с. 216).

...Венера Милосская ᔕ несомненнее римского права.— Статуя Венеры Милосской, обнаруженная при раскопках в Греции в начале XIX в., находится в Париже в Луврском музее. Римское право — свод законов древнего Римского государства. Римские юристы различали право публичное и право частное. Римское частное право легло в основу законодательства многих западноевропейских государств, прямо заимствовавших римские правовые понятия или принявших принципы римского права за образцы при разработке кодексов нового времени.

...принципов 89-го года.— Речь идет о «Декларации прав человека и гражданина» — политическом манифесте французской буржуазной революции, принятом Учредительным собранием 26 августа 1789 года.

...ни картины Рюисдаля.— Рейсдаль (Ruysdael, Ruisdael) Якоб ван (1628 или 1629—1682) — голландский художник-пейзажист; принадлежал к любимым живописцам Тургенева. «Ходил я в Эрмитаж посмотреть старых друзей: Рюисдаля, Поттера и других»,— писал Тургенев П. Виардо 7, 8 (10, 20) марта 1868 г. из Петербурга.

...и одни лишь тупые педанты ᔕ о подражании природе...— Выпад против некоторых положений диссертации Чернышевского «Об эстетических отношениях искусства к действительности». Ср. с высказыванием Тургенева о ней в письме к Боткину и Некрасову от 25 июля (6 августа) 1855 г.: «Что же касается до книги Чернышевского — вот главное мое обвинение против нее: в его глазах искусство есть, как он сам выражается, только суррогат действительности, жизни — и в сущности годится только для людей незрелых. Как ни вертись, эта мысль у него лежит в основании всего. А это, помоему, вздор».

Стр. 229. *...покрывает плесенью божественный лик фидиасовского Юпитера.*— Статуя Зевса (Юпитера) в храме Зевса в Олимпии, созданная древнегреческим скульптором Фидием (VI—V вв. до н. э.), считалась одним из семи чудес света. Статуя не сохранилась; известна по копиям и описаниям.

...и отдает на съедение презренной моли драгоценнейшие строки Софокла.— Из более чем 120 пьес Софокла (497—406 до н. э.) сохранились лишь семь трагедий и около 100 отрывков.

...лучезарное чело Аполлона.— Аполлон — один из наиболее почитаемых богов античного Олимпа. Известны статуи Аполлона работы древнегреческих скульпторов Леохара, Праксителя.

...картину Апеллеса? — Апеллес — древнегреческий живописец второй половины IV века до н. э. Его портреты и картины не сохранились.

...сладить с этой глухонемой слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожи-

рая? — Высказывания о всемогущей стихийности природы, о ее «грубом равнодушии» содержатся во многих письмах Тургенева к П. Виардо. «Да она такова: она равнодушна,— писал он 29, 30 мая (10, 11 июня) 1849 г.,— душа есть только в нас, может быть, немного вокруг нас... это слабое сияние, которое древняя ночь вечно стремится поглотить». Ср. с письмом к П. Виардо от 16 (28) июля 1849 г.: «Эта штука — равнодушная, повелительная, прожорливая, себялюбивая, подавляющая — это жизнь, природа или бог; называйте ее как хотите...»

...но одно преходящее прекрасно, сказал Шиллер.— Возможно, Тургенев имеет в виду следующие строки Шиллера:

Schwer ist die Kunst,
Vergänglich ist ihr Preis.

(Искусство — трудно: преходящее ему цена.— Шиллер Ф. Вступление к трилогии «Валленштейн», 1800).

...как был, говорят, калиф на час.— Калиф на час — человек, наделенный властью на очень короткое время, образ из арабской сказки «Сон наяву, или Калиф на час», входящей в сборник «Тысяча и одна ночь». Популярности выражения способствовала оперетта Ж. Оффенбаха (1819—1880) «Калиф на час».

Стр. 230. *Er — (Gott) — findet ∽ einzig Tag und Nacht.*— И.-В. Гёте. Фауст (1808). Часть I, рабочая комната Фауста.

...подвергаться смеху «толпы холодной» или «суду глупца».— Цитата из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830): «Услышишь суд глупца и смех толпы холодной».

...старого глупца ∽ только что открытыми идолами? — Намек на полемику вокруг «Отцов и детей».

Зачем с «изнеможением в кости» поплетутся они вновь в этот мир...— Усеченная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Как птица раннею зарей...» (1836):

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

Стр. 231. *The rest is silence...*— Последние слова умирающего Гамлета из трагедии Шекспира «Гамлет» (1604) (д. V, сцена 2).

СОБАКА

(с. 232)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, 18 л. Датируется 24 марта (5 апреля) 1864 г. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 74; описание см.: *Mazon*, p. 66—67; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 323.

Первый беловой автограф, 21 л. Датируется апрелем 1864 г. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 74, описание см.: *Mazon*, p. 66—67; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 323.

Второй полубеловой автограф, 19 л. Датируется 1864 годом. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 74; описание см.: *Mazon*, p. 66—67; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 323.

СПб Вед, 1866, № 85, 31 марта (12 апреля), с. 1—2.

Т, *Соч*, *1869*, ч. 6, с. 1—19.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 6, с. 5—23.
Т, *Соч*, *1880*, т. 8, с. 59—77.
Т, *ПСС*, *1883*, т. 8, с. 56—75.

Впервые опубликовано: *СПб Вед*, 1866, № 85, 31 марта (12 апреля), с. 1—2.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым.

Возникновение замысла рассказа «Собака» относится еще к 1859 году. В «Тобольских губернских ведомостях» (1893, № 27, 7 июля, с. 413) дальняя родственница Тургенева, подписавшаяся инициалами Е. М. ⟨Милютина?⟩, сообщила о нескольких своих встречах с писателем, среди них о следующей: «В один из этих памятных вечеров ⟨1859 г.⟩ он рассказывал фантастическую повесть „Собачки", которая только через несколько лет после явилась в печати; он сам только что слышал ее на постоялом дворе от мещанина, с которым это случилось» [1].

Рассказ мещанина запомнился Тургеневу. В заметке, напечатанной в «С.-Петербургских ведомостях», А. С. Суворин (псевдоним Незнакомец) вспоминает о встрече с Тургеневым в 1861 году и об устном его рассказе: «В тот же вечер он рассказал свою „Собаку". Рассказ этот был так живописен и увлекателен, что производил огромное впечатление. Когда впоследствии я прочитал его в печати, мне он показался бледной копией с устного рассказа Тургенева» (*СПб Вед*, 1870, № 11, 11 января, с. 1).

Одно из первых упоминаний о работе над рассказом, который был написан быстро, за два дня, содержится в письме Тургенева к П. Виардо от 23 марта (4 апреля) 1864 г. из Парижа: «Целый день я не двинулся с места и лег вчера или вернее сегодня утром в 4 часа. Я написал нечто вроде маленькой новеллы под названием „Собака", закончу ее сегодня. Это был истинный азарт: кажется, я просидел за своим письменным столом более 12 часов».

Об истории написания рассказа «Собака» сообщается и в письмах Тургенева к П. В. Анненкову, особенно в письме от 24 марта (5 апреля) 1864 г.: «Вдруг на меня нашел какой-то стих, и я, как говорится, не пимши, не емши, сидел над небольшим рассказом, который сегодня кончил и сегодня же прочел в маленьком русском обществе, причем получил необыкновенный успех. Вы не поверите, как бы мне хотелось сообщить эту штуку Вам; но для этого надо ее переписать ⟨...⟩ Название ему довольно странное — а именно: „Собака"».

Это авторское свидетельство подтверждается записью на титульном листе чернового автографа: «Собака. (Отрывок). Ив. Тургенев. 3-го — 5-го апр./22-го — 24 марта 1864. Париж».

Вероятно, Тургенев читал рукопись по черновику и после обсуждения продолжал правку в том же черновике: для автографа характерно обилие зачеркнутых вариантов (в основном стилистических) и вставок на полях. Напротив, вторая рукопись отличается незначительной правкой, имеет лишь две вставки. Но последний слой чернового автографа и тождественный ему текст второй ру-

---

[1] См. также: Абрамов И. С. Из забытых родственных воспоминаний об И. С. Тургеневе.— Звенья, т. 8, с. 262—264.

описи в ряде мест существенно отличаются от основного текста [2].

Переписка черновика заняла несколько дней. В первой беловой рукописи Тургенев проставил дату: апрель — а уже 1(13) апреля писал Анненкову: «...я кончил перепиской мою новую повестушку; но так как я при переписывании много прибавил и переделал, то немедленно Вам послать не могу; я обещал умирающему старику Плетневу прочесть ему эту безделку».

А. Мазон описывает три рукописи — «три последовательных списка»: «первый черновик, обильно покрытый поправками и вставками» — 17 пронумерованных листов; «второй черновик, с поправками и дополнениями меньшего числа» — 19 пронумерованных листов; «список (редакция), почти чистый, но содержащий, однако, несколько существенных дополнений» (*Mazon*, p. 66—67).

Текстологический анализ этих трех автографов свидетельствует о том, что рукописи сменяют друг друга и в них видна последовательная правка. В первой беловой рукописи, которую Тургенев в дальнейшем счел необходимым дать на широкое обсуждение своим литературным друзьям, имеется подзаголовок (в черновике он отсутствует): «Собака. (Отрывок из собрания рассказов под заглавием: Вечера у г-на Финоплентова)»; он упоминается в письме Тургенева к Достоевскому от 28 декабря 1864 г. (9 января 1865 г.).

Вторая полубеловая рукопись, датированная автором 1864 годом, этого подзаголовка уже не имеет. В ней воспроизведен подзаголовок чернового автографа: «Собака (Отрывок)». Первый ее слой (за исключением незначительных изменений стилистического характера) совпадает с последним слоем первого белового автографа.

Тургенев, по-видимому, считал эту редакцию окончательной и предполагал опубликовать рассказ в самом скором времени, о чем он сообщает в том же письме к Анненкову от 1 (13) апреля 1864 г.: «Но вот штука, где ее напечатать (если Вы ее одобрите)? Я Каткову должен 300 руб., но я решительно не хочу у него печататься ⟨...⟩ в ежедневной газете — неловко, в других петербургских журналах — тоже не хочу. Перед самым моим отъездом Салтыков говорил мне, что он хочет издать „Альманах“ и просил моего сотрудничества; узнайте от него, пожалуйста, не переменил ли он своего намерения?» Одновременно с публикацией в одном из периодических изданий Тургенев собирался включить «Собаку» в свои «Сочинения» и просил Анненкова в письме от 24 марта (5 апреля) 1864 г. передать Ф. И. Салаеву, что «готов прибавить и этот последний рассказец не в счет абонемента, так как он, вероятно, явится в каком-нибудь журнале до января».

Не решив окончательно, где будет напечатана «Собака», Тургенев широко читал рассказ в рукописи. В письме к Полине Виардо из Баден-Бадена от 7 (19) апреля 1864 г. писатель сообщает о чтении «Собаки» А. И. Васильчикову. 17 (29) апреля М. А. Маркович читала «Призраки» и «Собаку» в доме у А. Н. Якоби в Париже в присутствии А. В. Пассека [3]. Новым рассказом заинтересовался И. П. Борисов, который писал Тургеневу 1 октября ст. ст. 1864 г.: «Жена

---

[2] См.: Перминов Г. Ф. «Собака». Черновой автограф.— *Т сб*, вып. 3, с. 28—44.

[3] В дневниковой записи А. Н. Якоби от 17 апреля ст. ст. 1864 г. по поводу «Собаки» сказано: «очень наивная» (см.: Лобач-Жученко Б. Б. Тургенев и М. А. Маркович.— *Т сб*, вып. 5, с. 377).

⟨Д. А.⟩ Дьякова мне говорила, что слышала новую Вашу повесть „Собака". Как бы это поскорей её посмотреть» (*Т сб*, вып. 4, с. 394).

Около 18 (30) апреля 1864 г. Тургенев отослал рассказ Анненкову в Петербург, но тот уже выехал за границу, и рукопись хранилась у Н. Н. Тютчева.

Лето 1864 г. Тургенев провел в Баден-Бадене. Здесь в конце мая он встретился с В. П. Боткиным и прочитал ему «Собаку». «Мне кажется, тон, взятый тобою в рассказе „Собака",— писал Боткин 23 мая (4 июня),— не совсем верен, не наивен, с тенденциями рассмешить, какая-то неопределенная смесь траги-комического, из которой не выходит ни трагического, ни комического». И добавлял: «В искусстве ничего нет хуже межеумков» (*Боткин и Т*, с. 202—203). Отзыв, видимо, не убедил Тургенева, и он решил прочесть рассказ Анненкову: «Отлагаю до личного свидания описание пребывания Василия Петровича здесь, чтение „Собаки" и пр.»,— сообщал он своему литературному советчику в письме от 21 мая (2 июня) 1864 г. Н. В. Щербаню Тургенев писал 13 (25) июня: «С чего Вам показалось, что я „Собаку" хочу поместить во „Дне". Я ее нигде не помещу до выхода в свет издания моих сочинений».

Встреча с Анненковым в Баден-Бадене и чтение «Собаки», судя по письмам Тургенева, состоялись в конце июня — начале июля 1864 г. Устный отзыв Анненкова неизвестен, но, если судить по его последующим письмам, он был благоприятен.

Решающую роль в колебаниях Тургенева сыграло письмо Боткина от 4 (16) ноября 1864 г. из Петербурга: «Отзывы читавших твою „Собаку" все очень неутешительны. И — судя по впечатлению, оставленному во мне твоим чтением ее,— я вполне разделяю эти отзывы. Она плоха, говоря откровенно, и, по мнению моему, печатать ее не следует. Довольно одной неудачи в виде „Призраков"» (*Боткин и Т*, с. 219).

На этот раз Тургенев согласился с мнением Боткина и в письме к Анненкову от 12 (24) ноября 1864 г. просил держать рассказ «под спудом, не давая никому читать. Из всеобщих отзывов и из собственного моего чувства я заключаю, что эта „Собака" не удалась и что лучше обречь ее на уничтожение. Во всяком случае, мне надобно либо продолжать молчать, либо выступить с чем-нибудь дельным. Пожалуйста, не оставьте этой просьбы без внимания». Анненков подчинился решению Тургенева и отвечал ему 24 ноября ст. ст. 1864 г. из Петербурга: «Книги, контракт и „Собаку" я получил на хранение, и будьте уверены, что последняя из глубоких подвалов моих на свет не выйдет. Что делать? Надо с волками по-волчьи жить; не понимает публика наша возможности простой, не ⟨вы⟩думанной, просто сказавшейся вещи у писателя. Кто раз громко заговорил, говори всегда громко и одним и тем же тоном. Вон на что Боткин, и тому давай ту же физиономию, к которой он привык. Отдохнуть, побаловать, потянуться не смей, хотя бы всё это и грациозно было, но Боткин в этом случае отличный представитель русской публики, а потому „Собаку" будем хранить безвыходно» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 8, л. 94).

Это решение казалось Тургеневу окончательным. В то же время слухи о новом рассказе распространились очень широко. В газетах «Le Nord» (1864, 27 ноября), «Русский инвалид» (1864, № 266, 1 (13) декабря), в журнале «Книжный вестник» (1864, № 23, 15 декабря) появились сообщения, что «Собака» вскоре будет напечатана. Газета «Северная почта» писала в заметке «Литературные новости»:

«Наш даровитый писатель И. С. Тургенев, в настоящее время живущий в Париже, написал новую вещь под названием „Собака“. Говорят, что И. С. Тургенев предполагает написать целый ряд юмористических рассказов, подобных „Собаке“. Читавшие новое произведение г. Тургенева утверждают, что это вещь прелестная, хотя и не из капитальных произведений автора. В петербургской корреспонденции газеты „Nord“ сообщают, что „Собака“ будет напечатана в „Русском вестнике“ в начале будущего года» (Северная почта, 1864, № 262, 28 ноября, с. 2).

Возбужденный этими слухами, Ф. М. Достоевский попросил у Тургенева «Собаку» для «Эпохи» [4], но Тургенев в ответном письме от 28 декабря 1864 г. (9 января 1865 г.) категорически отказал ему: «Рассказ под названием „Собака“, о котором была речь в разных журналах, действительно существует и находится теперь в руках П. В. Анненкова; но я решился, по совету всех моих приятелей, не печатать этой безделки ⟨...⟩ Это подтвердит Вам П. В. Анненков. Поводом же к распространившемуся слуху о *ряде* подобных рассказов послужила фраза, прибавленная мною к заглавию „Собаки“ — а именно: „Из вечеров у г-на Ф“».

На второе письмо Достоевского (от 13 февраля ст. ст. 1865 г.) Тургенев ответил 21 февраля (5 марта) 1865 г. столь же непреклонным отказом: «Я не потому не решаюсь печатать „Собаку“ — что это вещь маленькая — а потому, что она мне, по общему приговору друзей моих — не удалась». В письме к Анненкову от 11 (23) марта он назвал «Собаку» «покойной»; не поместил он рассказ и в «Сочинения», изданные в 1865 году.

Но обсуждение продолжалось. Анненков сообщил Тургеневу 16(28) марта 1865 г., что он послал рукопись «Собаки» в Ниццу к А. Д. Блудовой и что чтение прошло в ее кружке с успехом (*ИРЛИ*, ф. 7, № 8, л. 105). Тургенев отвечал своему корреспонденту 20 марта (1 апреля) 1865 г.: «Доверие мое к Вам неограниченное, и потому я не претендую на отправку „Собаки“, хотя лучше бы ей было полежать у Вас в бюро». Анненков увидел в этом уклончивом ответе смягчение прежней позиции автора. 24 февраля (8 марта) 1866 г. он послал Тургеневу письмо редактора «С.-Петербургских ведомостей» В. Ф. Корша, рекомендуя отдать рассказ «ему в фельетон» (*ИРЛИ*, ф. 7, № 8, л. 121).

Тургенев уступил: «Чувствительное письмо Корша подействовало на меня,— писал он Анненкову 28 февраля (12 марта) 1866 г.,— и Ваши слова всегда принимаются мною с должным уважением — а потому соглашаюсь на напечатание „Собаки“ в фельетоне „С.-Петербургских ведомостей“, с одним условием, чтобы Вы продержали корректуру — и в случае нужды выкинули бы лишнее. Сегодня же начну переписывание этого продукта и через пять, шесть дней вышлю».

Вторая полубеловая рукопись, о которой говорилось выше, была в дальнейшем подвергнута правке, в отдельных местах значительной. Чернила правки — иные, чем те, которыми написана рукопись. Следовательно, правка производилась в другое время. Точно определить это время затруднительно, но если предположить, что толчком к доработке рассказа послужили письма Корша и Анненкова, то правку можно отнести к 1866 году.

---

[4] См. письмо Ф. М. Достоевского к Тургеневу от 14 декабря ст. ст. 1864 г.— *Достоевский, Письма*, т. 1, с. 380—381.

Неизвестно, отправил ли Тургенев эту исправленную рукопись или же еще раз переписал ее набело. Наиболее вероятным кажется последнее. Текст второго полубелового автографа в его верхнем слое почти полностью совпадает с основным текстом, но всё же имеет незначительные разночтения [5]. Эти разночтения могли появиться в результате исправлений, сделанных Тургеневым при новом переписывании в не дошедшей до нас наборной рукописи.

«Собака» появилась в «С.-Петербургских ведомостях» 31 марта (12 апреля) 1866 г. с датой — ошибочной или маскирующей — 1863 г. и перепечатывалась без каких-либо серьезных изменений во всех последующих собраниях сочинений Тургенева.

Тщательно разработанное вступление, колоритный язык героев рассказа, выполненная в гоголевских традициях характеристика участников «вечера у г-на Финоплентова» [6] сближают «Собаку» с «Записками охотника». С. К. Брюллова в статье о романе «Новь» (1877) выделяет ряд повестей Тургенева 1860—1870-х годов, в том числе «Собаку», близких, по ее мнению, к «Запискам охотника» (см.: Буданова Н. Ф. Статья С. К. Брюлловой о романе «Новь».— *Лит Насл*, т. 76, с. 303). Вместе с тем «Собака» открывает цикл «таинственных» рассказов Тургенева. В ней органически сочетается повседневное и загадочное, реальное и фантастическое [7]. Тургенев обращается здесь к бытовому анекдоту с известным мистическим оттенком. В исследовательской литературе отмечалось отличие «Собаки» от романтических «таинственных повестей» [8]. Центр тяжести перенесен в ней с самого эпизода — «видение» собаки — на личность рассказчика, который дан как некий социально-психологический тип, несущий в себе черты народного мировоззрения и мироощущения, народных суеверий. Другое, собственно «таинственное» лицо в рассказе — народный «провидец» Прохорыч, которому доступны таинства «натуры» [9].

---

[5] См. варианты беловых автографов — *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 390—395.

[6] Близость «Собаки» к гоголевским традициям отмечал С. Н. Сергеев-Ценский в своей беседе с М. Горьким: «Я передал этот рассказ довольно подробно, так как за свою жизнь перечитывал его раза три, и он нравился мне неизменно ⟨...⟩ Почему нравится? ⟨...⟩ Главным образом потому, конечно, что мастерство рассказчика доходит тут до предела... Читателю преподносится явная небылица, но с таким искусством, так реально выписаны все частности, такие всюду яркие, непосредственно из жизни выхваченные штрихи, что трудно не поверить автору ⟨...⟩ По этой же причине очень люблю я, начиная с детских лет, и гоголевского „Вия“» (Сергеев-Ценский С. Н. Повести и рассказы и др. Симферополь, 1963, с. 615—616).

[7] См. об этом: Бялый Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 207—208, 214—215; Зельдхейи-Деак Ж. «Таинственные повести» Тургенева и русская литература XIX века.— Studia Slavica, Budapest, 1973, t. XIX, fasc. 1—3, p. 362; Турьян М. А. «Таинственные повести» В. Ф. Одоевского и И. С. Тургенева и проблемы русской психологической прозы. Автореф. канд. дисс., Л., 1980, с. 19—20.

[8] См.: Passage Charles E. The Russian Hoffmanists. The Hague, 1963, p. 192—194.

[9] См. указ. выше автореферат М. А. Турьян, с. 19—20.

Именно на эту особенность «таинственного» в рассказе одним из первых обратил внимание Ф. М. Достоевский. В его Записной тетради (1875—1876 гг.) содержится помета: «Тургенев. „Собака“. Этюд мистическо⟨го⟩ в человеке» (*Лит Насл*, т. 83, с. 409). По поводу реалистического бытового колорита рассказа Достоевский отозвался в этой же Записной тетради весьма критически: «В повести „Собака“ ⟨Тургенев⟩ совсем не умеет выводить рассказчиков, не знает быта. Никто не говорит в обществе: милостивый государь мой, и никто не говорит: бежал, такие лансады делал, что у Наполеона первая танцовщица, которая в день его ангела танцует, не догнала бы. NB. Очень выделанно и придумано. Так не говорят» (там же, с. 376). Ниже Достоевский записывает: «Г-н Тургенев слишком мало знает действительности (из повести „Собака“) и много сочиняет наобум» (там же, с. 378).

Сдержанная оценка «Собаки» Л. Толстым приводится в воспоминаниях С. Л. Толстого: «В один из вечеров ⟨во время приезда 8—9 августа 1878 г. в Ясную Поляну⟩ Иван Сергеевич читал свой рассказ „Собака“. Он читал выразительно, живо и просто — без вычурных интонаций. Но самый рассказ ни на кого, в том числе на моего отца, большого впечатления не произвел» (Толстой С. Л. Очерки былого. Изд. 4-е испр. и доп. Тула, 1975, с. 301).

Отзывы современной художнику критики были незначительны и малочисленны. Лишь Н. Н. Страхов довольно подробно остановился на рассказе в статье «Последние произведения Тургенева», увидя в нем своеобразную проблему — контраст «явлений более высокого порядка» с «пошлостью русского быта»: «Пошлость русского быта, общая низменность нравов и характеров составляет необыкновенно яркий контраст с порывами сильных страстей, с исключительными событиями и лицами, в которых как бы открывается иная природа, мир явлений более высокого порядка. Вот девушка, исполненная самоотвержения и пламенной религиозности. Куда же ушли эти силы? Она стала спутницею грязного и дикого юродивого. Вот фантастическое явление *Собаки*, достойное воплотить в себе глубокий смысл, быть страшным откровением человеческих тайн. С кем же оно случилось? С пошляком-помещиком, к которому оно так же идет, как к корове седло. Да мало того — в этом чуде нет никакого смысла ни для него, ни для нас» (Заря, 1871, № 2, отд. II, с. 27—28).

П. И. Вейнберг (псевдоним Меланхолик) откликнулся на рассказ эпиграммой «И. С. Тургеневу», напечатанной в «Будильнике» (1866, № 25, 12 апреля, с. 100), в которой высмеивалась незначительность темы рассказа.

Я прочитал твою «Собаку»,
И с этих пор
В моем мозгу скребется что-то,
Как твой Трезор.
Скребется днем, скребется ночью,
Не отстает
И очень странные вопросы
Мне задает:
«Что значит русский литератор?
Зачем, зачем
По большей части он кончает
Чёрт знает чем?»

М. Е. Салтыков-Щедрин в памфлете «Наши бури и непогоды» (1870) иронически противопоставил «Собаку» произведениям, описывающим нищету и «вечные нападки на богатых»: «А то вот,— снова начал я,— последние сочинения нашего романиста И. С. Тургенева: „Собака“, „Лейтенант Ер...“ — В это время я взглянул на мою супругу и не кончил слова. Ее глаза обращены были на меня с таким укором, что мне стало совестно продолжать» (*Салтыков-Щедрин*, т. 9, с. 180).

П. Н. Ткачев (Постный) считал, что поздние рассказы и повести Тургенева, в том числе «Собака», стоят на уровне ранних повестей писателя: «И там, и здесь живая обрисовка индивидуальных особенностей характера, отсутствие типичности, отсутствие творческой фантазии, крайняя скудость вымысла» (Дело, 1872, № 12, отд. II, с. 66).

Отрицательно высказался о рассказе и С. А. Венгеров: «„Собака“ ⟨...⟩ далеко не соответствовала славе, которая ей предшествовала. Это одна из неудавшихся вещей Тургенева. Как сказка — она не интересна, как факт — невероятна, наконец, как ирония — не достигает цели ⟨...⟩ „Собака“ возбуждает только недоумение, зачем Тургенев напечатал такую слабую вещь» (Венгеров С. А. Русская литература в ее современных представителях. И. С. Тургенев. СПб., 1875. Ч. II, с. 148).

В конце XIX в. рассказ Тургенева вновь привлек внимание критики. Д. С. Мережковский, для которого общественная значимость творчества Тургенева отодвигалась на задний план, высоко оценивал ряд поздних произведений писателя, в том числе и «Собаку». В них он видел Тургенева — «властелина полуфантастического, ему одному доступного мира» (Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893, с. 44—46). В полемику с Д. С. Мережковским о последних произведениях Тургенева и о рассказе «Собака» вступил Н. К. Михайловский. Возражая против такого понимания рассказа Тургенева, Михайловский писал: «Я достоверно знаю, что к области религии рассказанный в „Собаке“ анекдот не имеет ровно никакого отношения» (*Рус бог-во*, 1893, № 2, отд. II, с. 65).

В письмах В. Я. Брюсова к сестре Н. Я. Брюсовой от 27 июля и 4 августа 1896 г. содержится критическая оценка «фантастических рассказов» писателя: «Что касается „Собаки“, то этого я не постигаю вовсе» (см.: Тургенев и его современники, Л., 1977, с. 183—184). Высоко отозвался о художественном совершенстве рассказа А. П. Чехов. «Очень хороша „Собака“: тут язык удивительный,— писал он А. С. Суворину 24 февраля ст. ст. 1893 г.— Прочтите, пожалуйста, если забыли» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 5. М., 1977, с. 174).

Рассказ «Собака» был переведен на французский язык Н. В. Щербанем и напечатан в газете «Le Nord»— номера от 8, 9, 10 ноября 1866 г. Тургенев одобрительно отзывался об этом переводе и в письме к Ж. Этцелю от 1 (13) апреля 1869 г. назвал его «великолепнейшим», «гораздо лучше перевода Мериме». П. Мериме начал переводить «Собаку» еще в мае 1866 г., но его перевод был опубликован лишь в 1869 г. в сборнике произведений Тургенева «Nouvelles moscovites» [10].

---

[10] См.: Горохова Р. М. К истории издания сборника Тургенева «Nouvelles moscovites».— *Т сб*, вып. 1, с. 257—260.

В 1870 г. вышел выполненный В. Рольстоном английский перевод «Собаки» в журнале «Temple Bar», 1870, t. XXVIII, p. 474—488. Этот перевод вызвал рецензию в журнале «The illustrated London news», 1870, t. LVI, № 1583, p. 217, положительно оценивавшую рассказ: «Украшением номера является „Собака“, рассказ Тургенева, прекрасно переведенный с русского В. Рольстоном. Это рассказ о сверхъестественном и в этом отношении чрезвычайно выразителен, но еще более интересен он своей сатирической направленностью».

С т р. 232. ...*«влепили станислашку»*.— Орден св. Станислава, один из низших орденов Российской империи.

Новейшие хозяйственные перемены сократили его доходы...— Имеется в виду отмена крепостного права в 1861 г.

...над казенными магазинами — государственными складами.

С т р. 235. *...значит: «шлафензиволь»*.— От нем.: Schlaffen Sie wohl — спокойной ночи.

...какой карамболь произойдет? — Карамболь — прием в бильярдной партии из трех шаров, когда шар, ударив второй и отразившись, должен задеть третий шар; здесь употреблено в смысле: сложная ситуация.

...посади ты с одной стороны самого Сократа, а с другой Фридриха Великого...— Сократ (465—399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ; Фридрих II (1712—1786) — прусский король и полководец, выдвинувший Пруссию благодаря своим завоеваниям в число великих держав.

С т р. 236. *...на стене сама Владычица...*— Владычица — икона божьей матери.

С т р. 237. *Ах ты, никонианец окаянный!* — Никонианцами раскольники называли православных, последователей патриарха Никона (1605—1681), реформатора русской церкви.

С т р. 239. *«Иконе святой поклонитесь, честным преподобным соловецким святителям Зосиме и Савватию»*.— Монахи Савватий (ум. в 1434 г.) и Зосима (ум. в 1478 г.) — основатели Соловецкого монастыря на Белом море (см.: К л ю ч е в с к и й В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871, с. 198—203, 269).

...фризовая шинель — шинель из дешевой шерстяной ткани, какие носили мелкие чиновники.

С т р. 240. *...вислоухий, брылястый — настоящий «пиль-аванц»*.— Брылястый — толсторылый, с большими отвислыми губами; «пиль-аванц» — легавая собака, делающая стойку на дичь,— от франц. piller — хватать и avance — шаг вперед.

С т р. 241. *...в кичке необыкновенных размеров...*— Кичка — головной убор замужних женщин в древнерусском быту и в быту южновеликорусских губерний XIX века.

С т р. 243. *...на гитаре «камаринского» с итальянскими вариациями разыграл...*— Русская народная плясовая песня, героем которой является «камаринский мужик».

С т р. 244. *...какие лансады по саду задавал!* — Лансады (от франц. se lancer) — бросаться, кидаться.

...что у императора Наполеона...— Речь идет о французском императоре Наполеоне III (1808—1873).

Я, признаться, этот револьвер вскоре после эманципации купил, знаете, на всякий случай...— Намек на обстановку после отмены крепостного права, когда были часты волнения крестьян.

ДЫМ

(с. 249)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Главные лица будущей повести: «Дым» 1862. Черновой автограф. 1 л. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 88; описание см.: *Mazon*, p. 62; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 198. Опубликовано: Revue des Etudes slaves, 1925, t. 5, вып. 3-4, p. 261—263.

Набросок к списку действующих лиц: «К Потугину—». Черновой автограф. 1 л. Хранится в рукописном отделе *Bibl Nat*, Slave 88; описание см.: *Mazon*, p. 62; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 207. Опубликовано: Revue des Etudes slaves, 1925, t. 5, вып. 3-4, p. 263.

«Дым, повесть Ивана Тургенева». Черновой автограф. 206 л. авторской пагинации. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 84; описание см.: *Mazon*, p. 68—70; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 311.

Отрывок текста: «Однако, что за разговор ∽ с щелкопером — чудо!» (с. 301—303). Черновой автограф, запись на полях беловой рукописи повести «История лейтенанта Ергунова» (см. наст. изд., т. 8). Хранится в *Bibl Nat*, Slave 84, л. 4 и 5 авторской пагинации; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 312.

Отрывок текста: «Страшная, темная история ∽ мимо читатель, мимо!» (с. 366—367). Черновой автограф, запись на полях беловой рукописи повести «История лейтенанта Ергунова» (см. наст. изд., т. 8). Хранится в *Bibl Nat*, Slave 84, л. 6 авторской пагинации; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 312.

«Дым». Беловой автограф. 389 л. авторской пагинации. Наборная рукопись [1]. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 83; описание см. : *Mazon*, p. 70; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 314.

«Прибавления и поправки к „Дыму“». Беловой автограф с поправками, 6 л. авторской пагинации. Хранится в рукописном отделе *ГИМ*, ф. 440, № 1265.

«Опечатки в „Дыме“». Беловой автограф. Хранится в отделе рукописей *ГИМ*, ф. 440, № 1265. В списке зарегистрировано 39 опечаток, среди которых 9 выделены звездочками как «особенно важные». Черновой автограф хранится в рукописном отделе *Bibl Nat*, Slave 84; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 311.

Рус Вестн, 1867, № 3, отд. I, с. 5—160.

---

[1] Наборная рукопись «Дыма» считалась затерявшейся в России (см.: *Т*, *Сочинения*, т. 9, с. 417), так как, описывая этот автограф, А. Мазон не указал, что на нем имеются следы типографской краски и пометы наборщиков.

Т, Дым, 1868 — «Дым», соч. Ив. Тургенева. Издания 1-е и 2-е братьев Салаевых. М., 1868.
Т, Соч, 1869, ч. 6, с. 21—210.
Т, Соч, 1874, ч. 6, с. 25—210.
Т, Соч, 1880, т. 5, с. 3—191.
Т, ПСС, 1883, т. 5, с. 1—217.

Впервые опубликовано: *Рус Вестн*, 1867, № 3, с подписью: И. С. Тургенев.

Печатается по тексту *Т, ПСС, 1883* с учетом списков опечаток, приложенных к ч. 7 издания 1874 г. и к т. 1 издания 1880 г., а также списка опечаток, оставшегося в рукописи.

В текст *Т, ПСС, 1883* внесены следующие исправления:

Стр. 256, строка 30: «Этот даже феникс!» вместо «Это даже феникс!» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 270, строка 12: «явятся на сцену» вместо «явится на сцену» (по черновому автографу, наборной рукописи, *Рус Вестн, Т, Дым, 1868*).

Стр. 273, строка 1: «очи в потолоки» вместо «очи в потолки» (по беловому автографу, *Рус Вестн, Т, Дым, 1868, Т, Соч, 1869, Т, Соч, 1874*).

Стр. 273, строка 10: «и лучше нас» вместо «лучше нас» (по беловому автографу, *Рус Вестн, Т, Дым, 1868, Т, Соч, 1869*).

Стр. 282, строка 20: «одна эта улыбка» вместо «одна улыбка» *(по Рус Вестн, Т, Дым, 1868, Т, Соч, 1869)*.

Стр. 285, строка 8: «не мог решительно» вместо «не мог решить» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 314, строка 30: «в Петербурге au château мы беспрестанно видались» вместо «в Петербурге мы беспрестанно встречались» (по списку опечаток).

Стр. 316, строка 38: «Валериан Владимирович» вместо «Валериан Александрович» *(описка Тургенева)*.

Стр. 327, строка 22: «хлеб сырым молотит» вместо «хлеб сырьем молотит» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 337, строки 24—25: «заиграло оно несколько мгновений спустя» вместо «заиграло оно несколько спустя» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 343, строки 41—42: «заговорила она слабым голосом» вместо «заговорила она жалобным голосом» (по списку опечаток).

Стр. 357, строка 9: «Это днем-то бриллианты» вместо «Это днем бриллианты» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 360, строка 32: «с жемчугом в волосах» вместо «с жемчугом на волосах» (по черновому автографу, наборной рукописи, списку опечаток).

Стр. 394, строка 3: «разговор получил под конец» вместо «разговор получил, наконец» (по черновому автографу, наборной рукописи, списку опечаток).

I

В черновом автографе «Дыма» Тургенев точно указал время работы над романом: начало — 6 (18) ноября 1865 г., конец — 17 (29) января 1867 г., причем в 1866 г. в течение девяти месяцев он «не писал ни строки». Таким образом, процесс писания «Дыма» отнял

у Тургенева всего шесть месяцев, если не считать дополнительной работы над текстом при переписывании рукописи набело, перед сдачей в набор и в связи с выходом в свет отдельного издания романа (1868 г.).

Столь короткий срок работы над большим произведением объясняется тем, что его замысел возник значительно раньше и был обдуман Тургеневым задолго до его литературного оформления.

Ю. Г. Оксман впервые обосновал предположение, что «вся идеологическая нагрузка» романа «была предопределена историко-философскими и социально-политическими дискуссиями Тургенева с Герценом, Огаревым и Бакуниным», проходившими в Лондоне в начале мая н. ст. 1862 г. (*Т*, *Сочинения*, т. 9, с. 419).

Точки зрения споривших сторон были отражены Герценом в цикле статей «Концы и начала», появившемся на страницах «Колокола» в 1862—1863 гг. (*Герцен*, т. 16, с. 129—198).

Имея в виду уже опубликованные три первые статьи «Концов и начал», Герцен спрашивал у Тургенева в письме от 10 (22) августа 1862 г.: «Читал ли ты ряд моих посланий к тебе („Концы и начала“) — доволен ли ими, али прогневался,— прошу сказать» (*Герцен*, т. 27, с. 252). Тургенев отвечал Герцену 15 (27) августа 1862 г.: «Я их только теперь прочел ⟨...⟩ и нашел в них всего тебя, с твоим поэтическим умом, особенным уменьем глядеть и быстро и глубоко, затаенной усталостью благородной души и т. д.,— но это еще не значит, что я с тобой вполне согласен... Ты, мне кажется, вопрос не так поставил. Я решился тебе отвечать в твоем же журнале, хотя это не совсем легко — во всяческом смысле этого слова, а ты, пожалуйста, сохрани мое имя в тайне и даже, если можно, отведи другим глаза. Я надеюсь через неделю послать тебе ответ — он уже начат». Однако, в связи с арестами по «делу 32-х» (см. письмо Тургенева от 7 (19) января 1863 г. к П. В. Анненкову и примеч. к нему), русский посол во Франции посоветовал Тургеневу не печататься в газете Герцена, и он вынужден был отказаться от мысли опубликовать свои возражения на страницах «Колокола». Об этом Тургенев сообщил Герцену в письме от 26 сентября (8 октября) 1862 г.: «Что же касается до моего ответа на письма, помещенные в „Колоколе“, то уже несколько страниц было набросано — я тебе покажу их,— но так как всем известно, что ты пишешь мне — я приостановился,— тем более что получил ⟨...⟩ *официозное* предостережение не печататься в „Колоколе“. Потеря, в сущности, не большая для публики, хотя для меня оно было бы важно». Последние строки цитированного отрывка знаменательны. Очевидно, не имея возможности ответить Герцену, но считая такой ответ принципиально важным, Тургенев решил высказать свою точку зрения в художественном произведении. По всей вероятности, в это время, т. е. осенью 1862 г., и возник замысел «Дыма».

Критики и исследователи «Дыма» неоднократно указывали, что любовная линия романа легко отделяется от описания губаревского кружка, сцен с баденскими генералами и монологов Потугина, т. е. от тех страниц, на которых Тургенев как бы продолжал спор со своими лондонскими оппонентами. Л. В. Пумпянский считал, например, что сюжетная линия романа Ирина — Литвинов в чистом виде — это «небольшое произведение, носящее все жанровые черты повести» (*Т*, *Сочинения*, т. 9, с. XVIII).

И действительно, в самом начале 1862 г. Тургенев собирался написать небольшую повесть. 14 (26) апреля он извещал М. Н. Кат-

кова, что надеется к осени доставить ему «новый труд, хотя не столь обширный, но задуманный с любовью». В письме от 19 (31) июля того же года Тургенев указал объем «труда»: «Я не успел кончить повесть для „Русского вестника“ 〈...〉 Она составит около 4-х печатных листов — может быть, даже больше».

Более поздних упоминаний о работе над повестью нет, а концом 1862 года датируется уже составленный Тургеневым список действующих лиц «Дыма» (см. ниже), задуманного с самого начала как «большое произведение».

На основании приведенных фактов можно высказать предположение, что Тургенев решил превратить задуманную им ранее повесть в общественно-политический роман. Любовная история, приобретя новый смысл (об этом см. ниже), составила сюжетное ядро «Дыма», но сохранила при этом некоторые характерные признаки тургеневских повестей.

Первым документом, связанным с работой Тургенева над его новым романом, является набросок, названный писателем: «Главные лица будущей повести: „Дым“, 1862», который может быть датирован концом декабря 1862 г.— началом февраля 1863 г. (см. публикацию А. Мазона — Revue des études slaves. Paris, 1925. T. V, p. 261—263).

«*Список действующих лиц*

Главные лица будущей повести: „Дым“, 1862

1.	Литвинов, [Григорий Андреич] [Андрей] Григорий Михайлыч	27. 1835. X
2.	Ворошилов, Семен Яковлевич	30. 1832. Сл〈учевский〉
3.	Губарев, Степан Николаевич	42. 1820. О〈гарев〉
4.	Биндасов, Тит [Егорыч] Ефремович	47. [1810] 1815. Ке〈тчер〉
5.	Пищалкин, Алексей [Александрович] Егорович	25. [1836] 1837. К〈асаткин〉
6.	Генерал [Олитанский] Селунский, [Григорий] Валериан Владимирович	40. 1822. А〈льбединский〉
7.	[Александра Михайловна] [Александра Ивановна] Наталья [Ивановна] Александровна, его жена	22. [1839] 1840. К〈няжна〉 Д〈олгорукая〉
8.	Капитолина Марковна Шестова	55. [1806] 1807. Т〈етк〉а О〈льги〉
9.	Татьяна Павловна Шестова	20. 1842. X
10.	Чекмезов, Василий Васильевич	44. 1818. Мил. и Краснок〈утский〉 (Мур.)
11.	[Тугин] Потугин, Сократ Иванович	[28] 38. 1824. П.
12.	Суханчиков, [В〈асилий〉] Иван Петрович	50. 1812. Б.»

Сопроводив перечень лиц будущей повести точным указанием возраста, года рождения каждого персонажа и начальными буквами фамилий реально существовавших людей, черты которых должны были служить отправной точкой в создании того или иного образа, Тургенев сделал исключение только для Литвинова и Татьяны. Рядом с их именами стоят буквы X.

Имена прототипов почти все были раскрыты в публикации А. Мазона, который воспользовался пометами В. М. Лазаревского, сделанными им на экземпляре «Русского вестника» (см.: Ч е ш и х и н-

Ветринский В. К созданию «Дыма».— В сб.: *Т и его время*, с. 293—295).

А. Мазон определил, что прототипами действующих лиц «Дыма» были: Ворошилова — К. К. Случевский, Губарева — Н. П. Огарев, Биндасова — Н. Х. Кетчер, Ратмирова — П. П. Альбединский, Ирины — княжна А. С. Долгорукая. Ю. Г. Оксман в комментариях к «Дыму» (*Т*, *Сочинения*, т. 9, с. 418—419) сделал некоторые дополнения к расшифровкам А. Мазона. Так, он справедливо указал, что прототипом Капитолины Марковны Шестовой была Надежда Михайловна Еропкина, «тетка Ольги», т. е. Ольги Александровны Тургеневой, которую современники узнали в образе Татьяны (см.: Гутьяр Н. Иван Сергеевич Тургенев и семейство Виардо-Гарсиа.— *ВЕ*, 1908, № 8, с. 434—437) [2]. Очевидно, следует согласиться и с предложением Ю. Г. Оксмана расшифровывать букву К. рядом с Пищалкиным как фамилию эмигранта В. И. Касаткина.

Вообще же необходимо учитывать, что Тургенев неоднократно предостерегал от отождествления его героев с реальными людьми. Изобразив в романе широко известную «историю» княжны А. С. Долгорукой, фаворитки Александра II, Тургенев, по свидетельству журналиста Х. Бойесена, пояснял: «Характер Ирины представляет странную историю. Он был внушен мне действительно существовавшей личностью, которую я знавал лично. Но Ирина в романе и Ирина в действительности не вполне совпадают. Это то же и не то же ⟨...⟩ Я не копирую действительные эпизоды или живые личности, но эти сцены и личности дают мне сырой материал для художественных построений. Мне редко приходится выводить какое-либо знакомое мне лицо, так как в жизни редко встречаешь чистые, беспримесные типы» (Минувшие годы, 1908, кн. VIII, с. 69).

Следует также иметь в виду, что персонажи «Дыма» вобрали в себя черты не одного, а нескольких реально существовавших лиц. Так, создавая образ генерала Ратмирова, Тургенев, несомненно, имел в виду не только П. П. Альбединского, но и Алексея Петровича Ахматова, генерал-адъютанта, занимавшего в 1862—1865-х годах пост обер-прокурора синода. О нем в письме Тургенева к Герцену от 26 декабря 1857 г. ст. ст. сказано: «Этот господин совсем в другом роде: сладкий, учтивый, богомольный — и засекающий на следствиях крестьян, не возвышая голоса и не снимая перчаток. Он метил при Н⟨иколае⟩ П⟨авловиче⟩ в обер-прокуроры Святейшего синода; теперь попал в обер-полицеймейстеры — должности весьма, впрочем, однородные». Близость этой характеристики Ахматова к некоторым моментам биографии Ратмирова не требует доказательств.

Губарев — также образ собирательный, только некоторыми внешними чертами напоминающий Огарева. Составляя список действующих лиц, Тургенев написал букву «О», расшифровываемую как Огарев. Не ставя перед собой задачи карикатурного изображения Огарева, Тургенев, очевидно, намеревался все же воспользоваться какими-то чертами его облика при создании образа главаря

---

[2] Образы Татьяны и Капитолины Марковны Шестовых, как свидетельствуют современники, более, чем другие, соответствовали своим прототипам. См.: Грот К. Я. Воспоминания об О. А. Тургеневой и Н. М. Еропкиной. (К вопросу о прототипах персонажей «Дыма»), а также: Назарова Л. Н. Тургенев и О. А. Тургенева.— *Т сб*, вып. 1, с. 293—303.

эмигрантского кружка. Портрет Губарева в «Дыме» действительно напоминал Огарева. Один из современников, хорошо знавший Огарева, писал: «Внешность „того самого“ ⟨Губарева⟩ чуть не сфотографирована с другого „того самого“ (лондонского)». Однако автор статьи тут же добавил: «Правда, что кроме внешности да привычки рассказывать по несколько раз одни и те же анекдоты, ничего нет сходного в этих личностях» [3].

К аналогичному выводу пришел и А. Д. Галахов: «В Губареве,— писал он,— представители наших прогрессистов думали видеть Огарева, но едва ли справедливо,— между ними нет никакого сходства, кроме разве того, что их фамилии образуют богатую рифму» (*ИВ*, 1892, № 1, с. 141).

«Собирательность» образа Губарева отмечал впоследствии и сам Тургенев. «Кстати,— писал он Я. П. Полонскому 2 (14) января 1868 г.,— как же ты говоришь, что незнаком с типом „Губаревых“? Ну, а г-н Краевский А. А.— не тот же Губарев? Вглядись попристальнее в людей, *командующих* у нас,— и во многих из них ты узнаешь черты того типа». Безропотное подчинение грубой власти, о чем в «Дыме» говорит Потугин, Тургенев считал почти национальной чертой, воспитанной в русском народе долгими годами рабства (см. с. 271).

Прототипом Матрены Суханчиковой Ю. Г. Оксман называет Е. В. Сальяс, подкрепляя свои соображения воспоминаниями Е. М. Феоктистова и Б. Н. Чичерина (см.: *Т*, *Сочинения*, т. 9, с. 423). Матрена Суханчикова показалась похожей на Сальяс не только Феоктистову и Чичерину, но и А. Н. Плещееву, который писал 15 (27) июля 1867 г. А. М. Жемчужникову: «А не правда ли, что Суханчикова напоминает Сальяс? Матреновцы — это Феоктистов и Вызинский» [4]. Вместе с тем публикация журнала русских студентов в Гейдельберге под названием «A tout venant je crache, или Бог не выдаст — свинья не съест» (см.: Черняк А. Журнал русских студентов в Гейдельберге.— Вопросы литературы, 1959, № 1, с. 173—183) позволяет предположить, что какие-то черты характера Матрены Суханчиковой были подсказаны Тургеневу писаниями «Матери Матрены», печатавшимися на страницах этого издания [5]. Не только Матрена Суханчикова, но и другие участники губаревских сцен изображены были Тургеневым по личным впечатлениям. В период обдумывания замысла романа писатель неоднократно ездил в Гейдельберг изучать колонию русских студентов, многие из которых претендовали на роль политических эмигрантов. В письме к М. А. Маркович от 16 (28) сентября 1862 г. Тургенев сообщал: «Я ездил на днях в *Ваш* Гейдельберг. Ничего, город интересный. Уезжая отсюда, я дня два там пробуду, посмотрю на диких русских юношей».

---

[3] Русланов Н. Русские belles lettres в Баден-Бадене. (По поводу романа «Дым»).— В кн.: Новые писатели. Пб., 1868. Т. 1, с. 288.

[4] Письмо А. Н. Плещеева цитируется по автографу (*ЦГАЛИ*, ф. 639, оп. 2, ед. хр. 78, л. 15), так как в публикации (*Рус Мысль*, 1913, кн. VII, с. 121) фамилии опущены. Генрих Викентьевич Вызинский (1834—1879) — московский историк и публицист, впоследствии видный деятель польской эмиграции.

[5] См.: Муратов А. О «Гейдельбергских арабесках» в «Дыме» И. С. Тургенева.— Русская литература, 1959, № 4, с. 201.

Зарисовки представителей высшего света были сделаны автором «Дыма» также с натуры. Современники Тургенева считали, например, что в образе славянофила, который «весь свой век и стихами и прозой бранил пьянство, откуп укорял... да вдруг сам взял да два винные завода купил и снял сотню кабаков» (с. 271), писатель изобразил А. И. Кошелева, и называли прототипом князя Коко эмигранта-католика Н. И. Трубецкого, а прототипом графа Рейзенбаха — министра почт и телеграфа И. М. Толстого [6]. «Знаменитый богач и красавец Фиников» (с. 334) также имеет реальные прототипы: Ю. Г. Оксман считал, что им был Е. А. Дурасов (см.: *Т*, *Сочинения*, т. 9, с. 427), из переписки же Тургенева с А. А. Мещерским выясняется, что этот герой списан с П. П. Демидова, владельца нескольких горных заводов, одного из самых богатых людей в России того времени (см.: О р н а т с к а я Т. И. «Дым». О прототипе одного из персонажей.— *Т сб*, вып. 2, с. 173—174).

Помимо списка действующих лиц, Тургенев сделал еще небольшой набросок, представляющий собою «заготовки» для работы над образом Потугина.

«К Потугину:

Взволнованные улитки (улитка с намёчком)

Третьестепенная порода.

Буду! Буду!

Сплетня — главный характер нашего русского совр⟨еменног⟩о общества. Мертвая тишина *полудня* (в Англии, с Гарсией)».

Этот автограф не датирован, но несомненно, что он написан после перечня действующих лиц «Дыма», так как фамилия Потугина здесь уже дана без первоначального варианта (Тугин).

Первые две записи этого автографа, очевидно, определяли общий характер будущего героя: некоторую его ущербность и замкнутость; третья и четвертая — были реализованы в речах Потугина; последняя: «Мертвая тишина полудня (в Англии, с Гарсией)» — не связана ни с одним из эпизодов окончательного текста романа [7], и смысл ее до сих пор остается непроясненным.

Первое упоминание о работе над «Дымом» содержится в письме Тургенева к Н. В. Щербаню от 2 (14) июня 1863 г., в котором он сообщил, что «намерен деятельно приняться» за свой «большой роман». Аналогичные сообщения были сделаны в письме к тому же Щербаню от 26 июня (8 июля) 1863 г. и в письме к Валентине Делессер от 1 (13) июля 1863 г., в котором Тургенев делился своими творческими планами. «Сейчас я приступаю к работе над романом более значительным (в смысле длины), чем всё то, что я написал до сих пор»,— писал он своей корреспондентке. Однако непосредственную работу над осуществлением замысла Тургенев не начинал, объясняя это неустойчивостью русской жизни. «За новый роман,— писал он Валентине Делессер 8 (20) сентября 1863 г.,— серьезно еще не принимался ⟨...⟩ Неопределенность — самое неподходящее для твор-

---

[6] Ч е ш и х и н - В е т р и н с к и й В. К созданию «Дыма», с. 293—295. Ср.: М у р а т о в А. Б. Тургенев в борьбе с правительственной реакцией.— Филологические науки, 1964, № 1, с. 157. Дополнительные материалы, касающиеся биографий прототипов «Дыма», см.: *Т*, *Сочинения*, т. 9, с. 418—427.

[7] Аналогичная запись имеется также в набросках плана «Призраков» (см. с. 473).

чества душевное состояние, а в нынешние времена нет русского, который не находился бы во власти этого чувства. Будущее по-прежнему очень мрачно — и неизвестно, чего вообще следует желать».

Сам Тургенев был привлечен к судебной ответственности по «делу 32-х» и вынужден был отправиться в январе 1864 г. в Петербург для дачи показаний в Сенатской следственной комиссии. Лишь после того, как писатель вернулся в Баден-Баден, получив официальные заверения в том, что «процесс 32-х» не будет иметь для него никаких последствий, он мог снова думать о романе. 18 (30) апреля 1864 г. Тургенев сообщал Людвигу Пичу: «Я написал несколько предварительных набросков и готовлюсь начать большое произведение...» Однако к реализации своего давнишнего замысла он приступил только в ноябре 1865 г.

Важным стимулом к осуществлению задуманного ранее романа явилось обсуждение его плана с В. П. Боткиным, навестившим Тургенева в Баден-Бадене в начале ноября н. ст. 1865 г. и одобрившим замысел романа [8]. В то же время В. П. Боткин высказал Тургеневу и свои сомнения по поводу образа Потугина. «Только мне кажется,— писал он ему из Берлина,— ты не довольно выяснил себе твоего циника-патриота, потому что у него любовь к России скорее похожа на привязанность к своему старому домотканому халату, хотя он и пропитан потом и нестерпимо воняет. Конечно, трудно отдать себе отчет в том, на чем основывается наша любовь к отечеству — и тем более нам, русским. Но, вдумываясь в свое собственное чувство — ибо всякий должен руководиться в этом деле собственным, личным чувством, я нахожу, что желаю ей всевозможных благ цивилизации и гражданского устройства» (*Боткин и Т*, с. 228—229).

Начатая работа выполнялась со значительными трудностями. В письме к Людвигу Пичу от 9 (21) декабря 1865 г. Тургенев жаловался: «Я так давно не писал, что ощущаю внутреннюю не то чтобы усталость —но некоторую вялость, исчезающую слишком медленно. Может быть, мне это всё же удастся — иногда мне кажется, что у меня есть еще, что сказать. Такая вера необходима, хотя она и несколько наивна».

II

В черновом автографе, для которого характерны многочисленные поправки и вставки на полях, всё содержание «Дыма» распределено не на 28 глав, как в окончательном тексте, а на 26. Последний слой чернового автографа мало отличается от первого слоя наборной рукописи (за исключением сцен с баденскими генералами и отсутствующей в черновом автографе «страшной истории») [9].

Изучение чернового автографа «Дыма» позволяет сделать вывод, что наибольших творческих усилий от Тургенева потребовали так называемые «генеральские сцены», работа над которыми продолжалась и при переписывании романа набело.

---

[8] Тургенев писал 28 ноября (10 декабря) 1865 г. П. В. Анненкову, что он «принялся за сочинение романа» «с легкой руки» Боткина.

[9] Наиболее существенные варианты чернового автографа наборной рукописи и прижизненных изданий «Дыма» опубликованы: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 397—447 и в сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. / Под ред. акад. М. П. Алексеева. Л., 1981.

Генерал Ратмиров в черновом автографе назван Селунским, и его биография имеет некоторые отличия от окончательного ее варианта. Так, польская фамилия (Селунский) соответствовала польскому происхождению героя. Его отец был женат не «на красивой молодой вдове. которой пришлось прибегнуть под его покровительство» (с. 317), а «на польке-шляхетке, очень красивой и лукавой женщине». Кроме того, черновой автограф содержит намек на участие Ратмирова в жестоком подавлении крестьянского восстания начала 1860-х годов. А именно, вместо текста: либерализм «не помешал ему, однако, перепороть пятьдесят человек крестьян в взбунтовавшемся белорусском селении, куда его послали для усмирения» (с. 317), в черновом автографе читаем: либерализм «не помешал ему, однако, запороть насмерть пять человек крестьян в взбунтовавшемся [приволжском] белорусском селении».

Говоря о «приволжском селении», Тургенев, несомненно, имел в виду кровавые события 1861 года в приволжском селе Бездна (Казанской губернии), подробная информация о которых печаталась на страницах «Колокола» (см.: *Герцен*, т. 15, с. 107—109). Характерно, что даже число крестьян, запоротых насмерть (помимо погибших от пуль), названное Тургеневым в черновом автографе, соответствовало официальным данным.

Черновой автограф содержит также важные штрихи для характеристики нравственного облика этого персонажа. Например, Ратмиров не может примириться с изменой Ирины именно потому, что его соперником оказался плебей. С «принцем» — он готов делить свою жену. Вместо фразы основного текста: «Хоть бы... другой кто-нибудь» (с. 368) в черновом автографе читаем: «хоть бы принц какой был!»

Создавая портреты русских аристократов, Тургенев шел по пути усиления сатирического эффекта. Особенно это касается «генеральских сцен», где писатель применил метод изображения, близкий к «свирепому юмору» Салтыкова-Щедрина. Пользуясь приемами «политической сатиры», Тургенев называл генералов не по фамилиям, а «сатирическими кличками» [10].

Сатирический метод изображения сказывается и в «гейдельбергских арабесках», которые подверглись в черновом автографе значительной стилистической правке. При этом в числе вариантов, не вошедших в основной текст, имеются и такие, которые должны быть учтены при осмыслении губаревщины.

Судя по черновому автографу, Тургенев считал необходимым отметить, что члены кружка Губарева знакомы с идеями Чернышевского и в частности с его романом «Что делать?». Так, на полях рукописи имеется позднейшая вставка, из которой читатель узнает, что Матрена Суханчикова, пропагандируя женскую эмансипацию, рекомендовала приобретать швейные машины. Кроме того, в черновом автографе содержится намек на то, что поклонники Губарева читали не только «Колокол», но и «Современник». В отброшенном варианте рукописи было сказано, что собравшиеся у Губарева говорили не о Наполеоне III, как вошло в окончательный текст (см. с. 266), а о Кавуре и русской литературе. Известно, что деятельности Кавура

---

[10] См.: Б я л ы й Г. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 190—191.

были посвящены статьи Добролюбова, вызвавшие возражения Тургенева (см. наст. том, с. 423, 460).

В то же время некоторые варианты чернового автографа являются дополнительными подтверждениями того, что члены губаревского кружка не были связаны общей идеей и не отдавали себе отчета о целях и задачах их совместных сборищ. Имея в виду дискуссии в салоне Губарева, Тургенев там после слов: «... Бамбаев, из уважения к хозяину, рассказывал что-то вполголоса» (с. 265) писал: «Беседа продолжалась довольно долго и всё в том же роде — в роде какого-то напряженного барахтанья в пустоте и в полутьме!» Размышление Литвинова о том, что увлечение естественными науками — временное явление («ветер переменится, дым хлынет в другую сторону»), в черновом автографе сопровождалось замечанием автора, что уменьшение числа студентов в Гейдельберге, которое он предсказывал, нельзя объяснить правительственными мерами.

В наброске «К Потугину» Тургенев записал: «Сплетня — главный характер нашего русского современного общества» (с. 514), а в «Воспоминаниях о Белинском» (1869) пояснил причину живучести этого явления: «Сплетня и до сих пор не совсем утратила свое значение, исчезнет она только в лучах полной гласности и свободы».

Сплетни привлекали внимание Тургенева, с одной стороны, потому, что, действительно, в эмигрантских кругах точная информация зачастую подменялась ложными «слухами», а с другой — потому, что он сам страдал от распространявшихся на его счет сплетен [11].

Комментаторы «Дыма» уже отмечали, что, вкладывая в уста Суханчиковой передачу сплетен о Тентелееве, Тургенев имел в виду вымышленные истории, рассказывавшиеся за границей о нем самом (*Т*, *Сочинения*, т. 9, с. 424). Обе реплики о Тентелееве: о том, как Тентелеев просил графиню Блазенкрамф «заступиться», и о встрече с Бичер-Стоу (с. 262) являются позднейшими вставками, сделанными на полях чернового автографа. При этом в черновом автографе — там, где рассказывается сплетня, связанная с «процессом 32-х» (об этом см. письмо Тургенева Герцену от 21 марта (2 апреля) 1864 г.), вместо: «Спасите, заступитесь» (с. 262) было «„Спасите, спасите!“ — а прежде как либеральничал!».

Аналогичный эпизод рассказал Тургеневу в письме из Женевы от 18 (30) октября 1865 г. М. В. Авдеев: «... один господин спросил меня здесь (и эту новость он вывез из Петербурга): „Правда ли, что Тургеневу правительство *предлагало* в награду за „Отцов и детей“ деньги?“ (Ему, вероятно, совестно было сказать, что Вы *взяли* их.) Я на это отвечал ему вопросом „за что предлагали? за то ли, что Тургенев дурно, или за то, что Тургенев *хорошо* отозвался о молодом поколении, так как это вопрос спорный между самой молодежью“. И действительно, прежде, нежели он отвечал мне, двое заспорили...» (*Т сб*, вып. 1, с. 409).

---

[11] В письме к Герцену от 23 октября (4 ноября) 1860 г. Тургенев писал: «... город Гейдельберг отличается сочинением сплетней: про меня там говорят, что я держу у себя насильно крепостную любовницу и что г-жа Бичер-Стоу (!) меня в этом публично упрекала, а я ее выругал». См. также «Письма М. В. Авдеева к И. С. Тургеневу» — *Т сб*, вып. 1, с. 409. Характеристика гейдельбергской и женевской эмиграции дана в книге: Козьмин Б. П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961, с. 488—573.

Стремление создать в «Дыме» сатирически заостренные образы представителей высшей знати и губаревского окружения позволило Тургеневу сказать (в письме к М. В. Авдееву от 25 января (6 февраля) 1867 г.), что его последний роман написан в новом для него роде. Усиление сатирического элемента в «Дыме» было отмечено и П. В. Анненковым, который писал в рецензии на роман: «... многие не узнали любимого своего автора в нынешнем сатирике и писателе, высказывающем свои впечатления прямо и начистоту ⟨...⟩ Свидетелями его новой „манеры“ остаются знаменитая сцена пикника на террасе Баденского замка, вечер у Ратмировой, заседание у Губарева и пр. Всё это написано им непосредственно с натуры, как случалось ему писать прежде только в виде исключения» (*ВЕ*, 1867, № 6, с. 101—102).

Страницы, посвященные Потугину, в черновом автографе также подвергнуты значительной правке. В большинстве случаев — это дополнения, сделанные на полях рукописи. Существенна, в частности, вставка, содержащая рассуждение Потугина о том, что он «с некоторых пор» не боится прямо высказывать свои убеждения (см. с. 275, текст: «Я давно... нет, недавно ∽ зайцем к нему забегает»).

В этой декларации содержался намек на позицию самого Тургенева после полемики вокруг «Отцов и детей», «процесса 32-х» и заметки в «Колоколе» о «Седовласой Магдалине» (см. письмо Тургенева к Герцену от 21 марта (2 апреля) 1864 г. и примеч. к нему).

Выше было высказано предположение, что любовная коллизия Литвинов — Ирина, по первоначальному замыслу Тургенева, должна была составить самостоятельную повесть. Изменение этого замысла, расширение повести до общественно-политического романа повлекло за собой переосмысление отношений, связывающих Ирину и Литвинова.

В списке действующих лиц указано, что жене генерала Наталье Александровне (т. е. Ирине) в 1862 г. было 22 года. Следовательно, на этом этапе Тургенев не предполагал еще сделать встречу героев в Баден-Бадене вторичной встречей, состоявшейся спустя 10 лет после их знакомства в юности. Это позволяет сделать вывод, что, когда Тургенев составлял список действующих лиц, сюжетная линия «Дыма», генетически связанная с отброшенным замыслом повести, не претерпела еще всех изменений, продиктованных задачами общественно-политического романа. История светской «карьеры» Ирины, начавшейся еще в юности и играющей столь важную роль в обличении нравов, господствующих при дворе, была введена писателем, очевидно, уже на более поздней стадии обдумывания замысла «Дыма», а окончательно завершена только перед сдачей рукописи в набор, когда Тургенев добавил рассказ о жизни Ирины в Петербурге (об этом см. ниже).

Изменение функции любовной истории при включении ее в новый замысел не могло не повлечь за собой и изменение характера героини.

Облик Ирины, ставшей героиней общественно-политического романа, получил новую окраску, по всей вероятности, еще до начала работы Тургенева над черновым автографом, но он изменялся и в процессе работы над рукописью.

Исправления и дополнения, сделанные Тургеневым, как правило, оттеняли отрицательные черты характера Ирины.

Описывая юность героини, Тургенев включил в повествование ряд деталей, содержащих намеки на возможность ее будущих успе-

хов в высшем свете. Так, на обороте наборной рукописи [12] сделана вставка об унизительной бедности, царившей в доме князей Осининых, и об их чувстве вины перед Ириной, которой «как будто с самого рождения дано было право на богатство, на роскошь, на поклонение» (см. с. 282, текст: «Бывало, при какой-нибудь ∽ на роскошь, на поклонение»). На полях чернового автографа вписан также эпизод ссоры Ирины с Литвиновым по поводу его «несветской» внешности и рассуждение о том, что Ирина охотно каялась в несуществующих грехах и «упорно отрицала свои действительные недостатки» (см. с. 285, текст: «Однажды он забежал ∽ действительные недостатки»).

Очевидно, Тургеневу было важно подчеркнуть и тщеславие Ирины, так как он добавил к первоначальному варианту разговор Ирины и Литвинова о ее неотразимой красоте (см. с. 289, текст: «Ирина посмотрела ∽ восторженных похвалах»).

Работая над страницами рукописи, повествующими о периоде жизни Ирины в высшем свете, Тургенев подчеркивал, с одной стороны, что она хорошо понимает ничтожность общества, с которым связана, а с другой — что она не способна порвать с этой средой. Так, например, текст: «Я повторяю вам ∽ не в такой степени» (с. 321) был вписан в наборную рукопись.

Тургенев сделал также ряд вставок, обнажающих лицемерие Ирины, ее привычку жить в атмосфере лжи и порока (см. с. 376, текст: «Признаюсь ∽ Или ты полагала...»). Особое значение Тургенев придавал сцене, вставленной в черновой автограф с пометой NB$_1$, в которой описано, как Ирина, сразу же после решающего объяснения с Литвиновым, отправилась на прогулку с «тучным генералом» (см. с. 389, текст: «Конский топот ∽ за нею»).

О том, что Ирина, при всей искренности ее чувства к Литвинову, не помышляла навсегда оставить высший свет, свидетельствует один из отброшенных вариантов чернового автографа. В нем, после слов Ирины: «Ты хочешь, чтобы я бежала с тобою» (с. 377) было: «Я до сих пор полагала, что бегают только в романах...».

Существенное значение имеет также то место рукописи, где Тургенев дополнительно вписал размышления Литвинова, осознавшего наконец, что поведение Ирины — это поведение модной дамы, которая «тяготится и скучает светом, а вне его круга существовать не может» (см. с. 391, текст: «... делить с ней ∽ существовать не может»).

Образ Литвинова также претерпел некоторые изменения по сравнению с первоначальным замыслом. Несмотря на то, что в письме к Писареву от 23 мая (4 июня) 1867 г. Тургенев отзывался о своем герое как о «дюжинном честном человеке», черновой автограф позволяет сделать вывод, что, создавая этот персонаж, писатель ставил перед собой задачу показать, что такие люди, как Литвинов, нужны пореформенной России.

Первоначальную характеристику Литвинова Тургенев дополнил существенной вставкой на полях рукописи, в которой отметил его *дельность* и *самоуверенность*, основывающиеся на том, что он нашел, как ему казалось, свое место в жизни («На первый взгляд ∽ окружало в этот миг» — с. 253).

Большое значение придавал Тургенев целеустремленности Лит-

---

[12] Варианты наборной рукописи см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 423—443.

винова. Указание на эту черту характера героя автор сопровождал знаменательной эмоциональной ремаркой. После слов: «...он выдержал искус до конца, и вот теперь, уверенный в самом себе» (с. 254) в отброшенном варианте чернового автографа было: «уверенный в своей будущности, в том, что ему следует делать (великое [преимущество] слово!)».

Хотя Литвинов и говорит в романе, что у него «нет никаких политических убеждений» (с. 264), черновой автограф свидетельствует всё же, что автор стремился сделать своего героя человеком прогрессивных взглядов. Характеристика героя дополнена, например, фразой, вписанной на полях рукописи, в которой сказано, что он «благоговел перед Робеспьером и не дерзал громко осуждать Марата» (с. 284).

История любви Литвинова и Ирины продолжает тему трагической любви ранних повестей Тургенева, особенно таких, как «Затишье», «Переписка», «Фауст» и «Первая любовь».

Характер поправок в черновой рукописи позволяет прийти к заключению, что взаимоотношения Литвинова и Ирины приобрели фатальный оттенок в значительной степени благодаря дополнениям, сделанным в автографах. Так, на полях черновой рукописи Тургенев сделал два наброска. Первый из них (с. 282, текст: «На ее обращении ∽ презрительною суровостью») придавал чувству любви, которое возникает в душе Ирины, как бы против ее воли, оттенок враждебности к Литвинову. Второй (с. 283, текст: «Он попытался ∽ которую ей нанес») — повествовал о тщетной попытке Литвинова освободиться от власти Ирины, «вырваться из заколдованного круга, в котором мучился и бился безустанно, как птица, попавшая в западню».

После рассказа о первом разрыве отношений Ирины и Литвинова Тургенев на полях чернового автографа добавил: «Так внезапно... (Люди беспрестанно видят, что смерть приходит внезапно, но привыкнуть к ее внезапности никак не могут и находят ее бессмысленною)» (с. 292). Эта вставка, придавшая переживаниям Литвинова оттенок трагической безысходности, является как бы лирическим отступлением, отразившим характерные для Тургенева философские раздумья о неизбежности смерти, высказанные им ранее в «Довольно», в «Призраках» и в письме к Пичу от 18 (30) апреля 1864 г., где сказано, что «жизнь вообще тяжела — и всего тяжелее в ней эта равнодушная необходимость, эта естественность страдания и утрат. Она разбивает самые пленительные и прекрасные образы, даже не замечая их — как колесо, которое раздавило цветок».

Еще задолго до завершения работы над черновым автографом Тургенев начал переписывание текста романа набело. В письме к М. Н. Каткову от 13 (25) декабря 1866 г. автор «Дыма» сообщал, что он может уже прислать в Москву «переписанную первую половину романа».

Если даже учесть, что в письме к издателю Тургенев мог несколько преувеличить объем подготовленного к печати текста, все-таки несомненно, что работа над беловой рукописью «Дыма» к тому времени уже началась. В письме к Н. Н. Рашет от 25 января (6 февраля) 1867 г., отправленном спустя всего неделю после даты завершения черновой рукописи (17 (29) января 1867 г.), Тургенев извещал, что «роман окончен перепиской», а 29 января (10 февраля) 1867 г. в Баден-Бадене состоялось первое чтение «Дыма».

При переписке, представлявшей собою творческий процесс,

Тургенев сделал ряд дополнений и изменений. Наиболее значительной переработке подверглись «генеральские сцены».

На этом этапе работы Тургенев убрал обвинения генералов во взяточничестве и мелких злоупотреблениях (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 406—407, варианты к с. 202—206) и добавил разговор, прояснивший отношение представителей высшей чиновничьей знати к таким злободневным вопросам русской жизни, как исторические судьбы поместного дворянства и дворянских имений, крестьянская реформа и пр. (с. 301—304, текст: «Однако что за разговор ∽ произвести, а по-моему»). Текст этот, отсутствующий в черновом автографе «Дыма», первоначально был записан на полях рукописи другого произведения Тургенева, над которым он в это время работал,— «История лейтенанта Ергунова» с пометой: «NB. К стр. 130». (Сообщено Л. М. Лотман.)[13]

Переписывая этот отрывок в наборную рукопись (в соответствии с пометой, начиная со стр. 130), Тургенев внес в его текст новые дополнения и произвел некоторую стилистическую правку [14].

Важно подчеркнуть, что главным оппонентом «генералов» Тургенев сделал Литвинова. Именно он спрашивает «снисходительного генерала», предлагавшего воротиться «назад»: «Уж не до семибоярщины ли нам вернуться?» и, отвечая на его же вопрос, заявляет, что «волю» у народа отнять нельзя.

Таким образом, Литвинов принимает участие в политическом споре, что, казалось бы, противоречит его утверждению об отсутствии у него политических убеждений.

В отброшенном варианте наборной рукописи Тургенев дополнительно пояснял, какой смысл он вкладывал в это утверждение Литвинова. После слов Литвинова: «Мне кажется, нам, русским, еще рано иметь политические убеждения или воображать, что мы их имеем. Заметьте, что я придаю слову „политический“ то значение, которое принадлежит ему по праву...» (с. 264) — было: «...отсутствие таких убеждений, в глазах моих, не исключает самого искреннего участия».

Очень важно дополнение, сделанное Тургеневым в наборной рукописи и касающееся точки зрения «генералов» на «прогресс» и «демократию». См. текст: «Снисходительный генерал ∽ лениво покачиваясь, тучный генерал» (с. 303—304). Рассуждению «снисходительного генерала» о «демократии» Тургенев придавал особое значение. Это рассуждение он вписал на полях наборной рукописи, а затем дополнил и переписал на обороте. См. текст: «Демократия вам рада ∽ и есть сила» (с. 304). Особое значение имеет также фраза от автора: «...да несколько имен, которых потомство не забудет, произносилось со скрипением зубов...», вставленная в наборной рукописи после слов: «...лишь изредка, из-под личины мнимо-гражданского негодования, мнимо-презрительного равнодушия, плаксивым писком пищала боязнь возможных убытков...» (с. 339).

---

[13] Этот черновой отрывок не зафиксирован в книге Мазона «Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguénev». Paris, 1930), не учтен он и в *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, где напечатан роман «Дым».

[14] Публикацию вариантов этого автографа см. в сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. / Под ред. акад. М. П. Алексеева, Л., 1981.

Речи Потугина при переписывании в Баден-Бадене чернового автографа романа не претерпели большого изменения, хотя Тургенев и сделал в них несколько вставок. Так, он добавил слова Потугина о том, что он «разночинец» и поэтому искренен в своей преданности Европе (см. с. 275, текст: «Ну, положим ∽ предан Европе»).

Кроме того, на обороте одного из листов наборной рукописи Тургенев вписал рассуждение Потугина о молодежи, которая в силу обстоятельств времени должна еще будет продолжать подготовительную работу «старичков», ибо время «действовать» еще не настало (см. с. 329, текст: «В том-то и штука ∽ по следам старичков»).

Работа над образом Ирины продолжалась и в наборной рукописи. Здесь, например, впервые появляется характеристика, из которой читатель узнает, что еще в юности в Ирине «сказывалась нервическая барышня», своеволие и страстность которой сулили опасность «и для других и для нее» (с. 281).

С другой стороны, описывая жизнь Ирины в высшем свете после окончательного разрыва с Литвиновым, Тургенев в наборной рукописи добавил текст, из которого явствует, что героиня не изменила своего отношения к обществу, ее окружающему, и по-прежнему «безжалостно клеймит» тех, у кого подмечает «смешную или мелкую сторону характера» (с. 408, текст: «Никто не умеет ∽ незабываемым словом»).

История любви Ирины и Литвинова в наборной рукописи также была дополнена новыми подробностями, причем во всех вставках Тургенев подчеркивал стихийность чувства любви Литвинова. В юности, полюбив, он лишился способности «размышлять» (см. с. 285, текст: «Размышлять ∽ знал одно»), а в зрелом возрасте, «размышляя», дивился несообразности своих поступков (см. с. 341—342, текст: «Он только теперь ∽ часов тому назад») и тому, что он «уже не отвечал за себя» (с. 352). Вместе с тем в наборной рукописи Тургенев отметил, что и при разрешении любовного конфликта Литвинов действовал как человек решительный (см. с. 348, фразу: «Кончать, так кончать ∽ до завтра»).

Закончив переписывание «Дыма», Тургенев сам повез рукопись в Россию, чтобы до опубликования прочитать новый роман П. В. Анненкову и В. П. Боткину. Он писал 13 (25) декабря 1866 г. по этому поводу М. Н. Каткову: «...я до сих пор еще ни разу не печатал ни одного из моих произведений, не подвергнув его обсуждению моих литературных друзей и не внеся в него, вследствие этого обсуждения, значительных изменений и поправок. Это более чем когда-либо необходимо теперь: я довольно долгое время молчал, и публика — как это всегда бывает в подобных случаях — с некоторым недоверием относится ко мне, притом самый этот роман задевает много вопросов и вообще имеет — для меня по крайней мере — важное значение».

Тургенев приехал в Петербург 25 февраля ст. ст. 1867 г., а 26 и 27 февраля состоялось чтение романа, на котором присутствовали П. В. Анненков, В. П. Боткин, В. А. Соллогуб и Б. М. Маркевич. Чтение прошло с большим успехом, о чем свидетельствуют письмо Б. М. Маркевича к М. Н. Каткову от 28 февраля ст. ст. 1867 г. и письма самого Тургенева к Полине Виардо. Б. М. Маркевич писал: «Два дня не отрываясь прошли в слушании и чтении этой превосходной вещи, по мастерству и магистральности приемов лучшей изо всего, что было до сих пор написано Тургеневым ⟨...⟩ Отношения автора к своему предмету, к участвующим в драме лицам отличают-

ся свободою и откровенностью, в которых чуялся сильный недостаток во многих вещах Тургенева» (*ГБЛ*, ф. 120, папка 7, ед. хр. 31). После чтения «Дыма», успех которого, «чем дальше, тем больше возрастал», «литературные друзья», в том числе и В. А. Соллогуб, дали Тургеневу несколько «добрых советов». П. В. Анненков, например, советовал переделать «пикник генералов», который, по его мнению, вышел несколько утрированным (см. письма к Полине Виардо от 27 февраля (11 марта) и 28 февраля (12 марта) 1867 г.). После обсуждения романа Тургенев принялся за переделки и дополнения. 5 марта ст. ст. 1867 г. он писал Полине Виардо, что «работал над несколькими сценами» «Дыма». Анализ правки наборной рукописи позволяет установить, какие изменения были внесены Тургеневым в роман в это время.

Наиболее существенным дополнением, сделанным Тургеневым в наборной рукописи, очевидно, уже в Петербурге, является написанная им заново «Страшная, темная история», повествующая о преступлениях, совершающихся при царском дворе, и проливающая свет на петербургский период жизни Ирины. Текст этот («Страшная, темная история ∽ мимо, читатель, мимо!» — с. 366—367), первоначально записанный на полях беловой рукописи повести «История лейтенанта Ергунова», был затем переписан Тургеневым с некоторыми дополнениями и исправлениями на трех отдельных листах, приложенных к 290 л. наборной рукописи, обозначенному дополнительной цифрой (1), под номерами $290_{(2)}$, $290_{(3)}$ и $290_{(4)}$. Характер пагинации не вызывает сомнения в том, что эти страницы вставлены уже после того, как роман был закончен и переписан набело [15].

Очевидно, тогда же в Петербурге Тургенев сделал и кое-какие сокращения в тексте романа. Он исключил рассказ Потугина о покойной жене Губарева [16] и вычеркнул весьма нелестный отзыв Литвинова о самом Губареве в заключительной части романа [17].

---

[15] Публикацию вариантов этого чернового автографа см. в сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. / Под ред. акад. М. П. Алексеева, Л., 1981.

[16] После слов: «перед Губаревым чуть не ползает» (с. 272) — было: «Видели вы у него на столе большой портрет в черной раме? Он всюду его с собою возит, словно образ. Это портрет его покойной жены, на которую он таинственно намекает как на существо возвышенное, как на глубокую натуру, а она была простая баба, да даже и не простая, а с претензиями — дура пошлая, одним словом; но оставила ему капитал в 80 000 руб. сер. Он только из-за этого капитала и женился на ней. Все это знают-с, а все ему поддакивают, когда он говорит о покойнице. Право, иногда невольно подумаешь, что у нас нет ни нравственности, ни безнравственности, а есть удача или неудача. И хоть бы умен был [г-н Губарев] этот господин».

[17] Вместо текста: «Литвинов рассердился бы ∽ Литвинов не пошевелился» (с. 398) — было: «Литвинов вспыхнул; он еще больше рассердился бы, если бы не то мертвое бремя, которое лежало у него на сердце.

— Какого чёрта вы мне „ты“ говорите,— обратился он к Биндасову,— вы бы лучше деньги мне отдали, которые чуть не украли у меня. А я вовсе не сюда приехал и к вашему тупому олуху вовсе не намерен идти.

Более скупыми стали обращения Татьяны к Литвинову. Так, помимо мелких сокращений, Тургенев вычеркнул ее рассуждение о характере того чувства, которое питает к Ирине Литвинов [18].

В петербургский период работы над наборной рукописью было исключено также рассуждение Потугина об исторической роли славян [19].

8 (20) марта 1867 г. Тургенев приехал в Москву и вручил рукопись «Дыма» М. Н. Каткову. Тогда же было определено и заглавие романа. 9 (21) марта 1867 г. Тургенев писал П. В. Анненкову: «... завтра еду в деревню, передавши рукопись Каткову, который предпочитает заглавие „Дым"».

У Тургенева с самого начала работы над черновой рукописью было два варианта заглавия: «Дым» и «Две жизни». Вопрос о том, как назвать новый роман, обсуждался, очевидно, при чтении рукописи в Петербурге, но литературные советчики Тургенева не пришли к единому мнению. Позднее Тургенев писал 18 (30) апреля 1867 г. Морицу Гартману: «... мой роман ⟨.. .⟩ называется „Дым" — „Fumée",— неудачное название — мы не нашли лучшего» [20].

10 (22) марта 1867 г. рукопись «Дыма» была сдана в «Русский вестник» и тотчас же стала набираться. Очевидно, М. Н. Катков не успел детально ознакомиться с романом в рукописи. Свои пре-

---

У Суханчиковой глаза чуть не выскочили. Бамбаев присел, Ворошилов дважды щелкнул каблуками. Сам Биндасов попятился.

— Деньги! — пробормотал он,— деньги, вона́, чего [еще] выдумал».

[18] После слов: «... приблизилась к двери спальни» (с. 373) — было: «Нет, я не упрекаю вас... я об вас жалею. Я убеждена, что вы не стали бы мне говорить... об этом новом чувстве, если бы оно не было... очень сильно. Но сами вы не ждете себе много радости — хотя, мне кажется, вы напрасно боитесь погибели. Если бы, по крайней мере, то, что заменило наши отношения, было... в том же роде. А то я и счастья вам не могу желать».

[19] Вместо текста: «А стоило бы только ∽ и прежде нас!» (с. 273) — было: «А дело разрешается очень просто: стоило бы только действительно смириться (а то мы всё лишь толкуем о смирении) и прямо сознаться, что мы, славяне, народ второстепенный, менее одаренные, хуже поставленные меньшие братья, которым следует и учиться и заимствовать у старших. Для гордости язвительно, да ведь давно уже сказано, что правда колется. А признайте-ка эту правду, посмотрите, как говорится, чёрту в глаза — и всё тотчас поплывет как по маслу. Всем противоречиям, мудрствованиям, ломаниям и вычурам конец. Всё ясно, как дважды два четыре, всяк знает, что ему делать, благо выдумывать ему нечего — остается только брать готовое.

— À la Петр Великий,— заметил Литвинов.

— Именно, именно! Наши дела гораздо бы лучше шли, если б мы почаще с ним справлялись! Я, между прочим, доложу вам, иронии не боюсь,— прибавил Потугин.— Я обстреленная птица».

Остается неясным, выбросил ли Тургенев этот текст по совету друзей или под нажимом М. Н. Каткова.

[20] См.: Муратов А. Б. О заглавии романа И. С. Тургенева «Дым».— Вестник Ленинградского университета, 1962, № 2, серия истории, языка и литературы. Вып. 1, с. 159—161.

тензии к Тургеневу он высказал уже тогда, когда почти закончилась правка корректуры. 18 (30) марта 1867 г. Тургенев известил М. Н. Каткова о том, что он послал в редакцию журнала вторую половину корректуры, а из письма к Н. А. Любимову от 24 марта (5 апреля) выясняется, что в тексте романа имеются «выражения», которые «Михаил Никифорович желал бы устранить».

О характере требований издателя более подробно Тургенев писал 28 марта (9 апреля) 1867 г. Полине Виардо. «Новая беда,— жаловался он,— г. Катков создает такие большие затруднения моему злосчастному роману, что я начинаю сомневаться, можно ли будет опубликовать роман в его журнале. Г-н Катков во что бы то ни стало хочет сделать из Ирины добродетельную матрону, а из всех генералов и фигурирующих в моем романе прочих господ — примерных граждан; как видите, мы далеки от того, чтобы столковаться. Я сделал некоторые уступки, но сегодня кончил тем, что сказал: „Стоп!“ Посмотрим, уступит ли он».

В письме к Н. А. Любимову от 29 марта (10 апреля) 1867 г. Тургенев сообщил, какие требования М. Н. Каткова он счел возможным принять: «На стр. 48-й,— писал он,— я выкинул щекотливые фразы, а на 46-й вместо „высокой особе“ поставил „иностранному дипломату“ — так что теперь уже, кажется, всё в порядке».

В корректуре журнального текста Тургенев убрал фразы, недвусмысленно намекавшие на то, что Ирина фактически стала предметом купли и продажи: фраза: «Можно и сумму денег дать» (с. 294) в «Русском вестнике» отсутствует. Кроме того, в «Русском вестнике» вместо «Государь ее заметил, весь двор заметил ее!» напечатано: «Весь двор заметил ее!» (с. 290). Упоминание о том, что на Ирину обратил внимание сам царь, так и не было восстановлено Тургеневым при последующих переизданиях романа. Не было оно восстановлено и во французских переводах «Дыма» (см. ниже).

Изменения текста «Дыма», вызванные требованиями М. Н. Каткова, этим не ограничились. Тургеневу удалось отстоять неприкосновенность биографии Ирины, но биография Ратмирова фактически была изъята из текста романа, напечатанного в «Русском вестнике»[21].

Очевидно, многие сокращения и исправления текста были сделаны помимо воли автора. Так, в письме к П. В. Анненкову от 24 апреля (6 мая) 1867 г. Тургенев сообщает: «...она ⟨рукопись романа⟩ мне пока нужна, чтобы восстановить в отдельном издании то, что Катков почел за нужное выбросить. Я получил отдельные оттиски и, пробежав один из них, нашел довольно таких усечений».

В отдельном издании «Дыма» [22] Тургенев восстановил и биографию Ратмирова, о чем он с особым удовлетворением писал 30 ноября (12 декабря) 1867 г. Герцену: «Так как первый экземпляр „Дыма“ до тебя не дошел — то я хочу попытаться снова и посылаю тебе эк-

---

[21] Сокращен и смягчен был текст на с. 317: «Отец его был ∾ и вышел в гвардию»; там же были вычеркнуты слова: «большей частью на чужих лошадях»; вместо текста: «... генерал Ратмиров ∾ пути открытыми» было напечатано: «... генерал Ратмиров знал себе цену». Другие искажения текста романа в публикации «Русского вестника» см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 444—447.

[22] Первое отдельное издание «Дыма» вышло в свет в начале ноября ст. ст. 1867 г. (см. письмо П. В. Анненкову от 14 (26) ноября 1867 г.), хотя на титульном листе указан 1868 г.

земпляр отдельного московского издания, в котором восстановлены все пропуски катковской цензуры. ⟨...⟩ на 97-й странице находится биография генерала Ратмирова, которая, быть может, заставит тебя улыбнуться».

Всё же одно из «смягчений», сделанное Катковым в биографии Ратмирова в журнальном тексте, не было полностью устранено Тургеневым ни в отдельном издании «Дыма» (1868), ни во всех последующих перепечатках романа в России. Исправив в том месте, где говорится о расправе Ратмирова с крестьянами, слова, вставленные М. Н. Катковым, «отечески посечь» на «перепороть» (с. 316), Тургенев не счел возможным вернуться к варианту этого текста, содержавшемуся в наборной рукописи, где сказано: «Этот либерализм не помешал ему, однако, запороть [насмерть] пять человек крестьян» (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 9, с. 432, 445, варианты наборной рукописи и прижизненных изданий к с. 221, строка 16).

Не было восстановлено и определение «высокая особа», намекавшее, как и исключенная реплика «Государь ее заметил», на царственную особу. Во всех последующих русских изданиях печаталось: «... подошел он к... важной особе» (с. 291). В обоих случаях к вариантам наборной рукописи Тургенев вернулся только во французском переводе романа (см. ниже).

В отдельном издании «Дыма» Тургенев не только восстановил «пропуски катковской цензуры», но и сделал дополнения, явившиеся уже ответом, как он указал в предисловии (см. 410), на критические отзывы о романе.

Наиболее важной проблемой, затронутой в «Дыме», Тургенев считал проблему усвоения русским обществом лучших достижений западноевропейской цивилизации. Именно этому и посвящена самая значительная вставка в отдельном издании романа. Тургенев заставил Потугина ответить на вопрос, заданный ему Литвиновым, какие именно заимствования могут принести России пользу (см. с. 273—275, текст: «Но позвольте мне сделать ∽ начал он опять»). В заключительной части романа Тургенев добавил рассуждение Потугина о необходимости служить цивилизации (см. с. 395, текст: «Прощайте, Григорий Михайлович ∽ не забывайте меня»). Тургенев вложил также в уста Потугина ответ критикам, обвинявшим автора «Дыма» в клевете на русский народ (см. с. 324—325, текст: «Да кто же не знает ∽ закидать можем?» и с. 326, текст: «Это клевета ∽ чтоб их баюкали»).

В письме к французскому переводчику «Дыма» А. П. Голицыну от 3 (15) сентября 1867 г. Тургенев пояснил смысл филиппик Потугина против «самородков». Он там писал: «и не в *бахвальстве* упрекает Потугин своих соотечественников, а именно в отвращении к труду, в излишней уверенности в своих природных дарованиях, которые характеризуют русских „самородков“».

Согласившись, очевидно, с критическим замечанием Д. И. Писарева (см. письмо к нему Тургенева от 23 мая (4 июня) 1867 г.), Тургенев внес также изменение в следующую фразу: «... и только одно великое царское слово: „свобода“ носилось как божий дух над водами». В отдельном издании (1868) слово «царское» было исключено (с. 400).

Помимо стилистической правки и дополнений в отдельном издании «Дыма», Тургенев сделал еще несколько вставок в текст романа в собрании сочинений 1874 г. Так, в рассказ об Элизе Бельской Тургенев вставил фразу, содержащую указание на виновника трагиче-

ской гибели предшественницы Ирины (см. с. 367, фраза: «Спасая ее, Ирина ∽ близок к ней, к Ирине»), восстановил в двух местах слова, исключенные по требованию М. Н. Каткова: «...тебя бы хорошо в обер-прокуроры произвести» (с. 304) и: «...мощная рука устранила все препятствия» (в «Русском вестнике» было: «все препятствия устранились» — с. 367).

В последующих русских изданиях текст «Дыма» печатался без существенных изменений.

III

Даже среди других романов Тургенева, всегда очень тесно связанных с насущными вопросами русской общественной жизни, «Дым» занимает особое место по своей злободневности и полемичности. Недаром П. В. Анненков назвал статью об этом произведении «Русская современная история в романе И. С. Тургенева: „Дым“». В период работы над романом Тургенев в своих письмах говорил о политической и экономической неопределенности процессов, происходивших в России после отмены крепостного права. Так, под впечатлением тех практических затруднений, которые ему пришлось преодолевать, приспосабливая свое хозяйство к пореформенным условиям, Тургенев писал 21 мая (2 июня) 1861 г. из Спасского Е. Е. Ламберт: «Говорят иные астрономы, что кометы становятся планетами, переходя из газообразного состояния в твердое; всеобщая *газообразность* России меня смущает и заставляет меня думать, что мы еще далеки от *планетарного* состояния. Нигде ничего крепкого, твердого — нигде никакого зерна; не говорю уже о сословиях — в самом народе этого нет».

Аналогичными настроениями окрашено и письмо Тургенева к П. В. Анненкову от 25 марта (6 апреля) 1862 г.: «Дела происходят у вас в Петербурге — нечего сказать! Отсюда это кажется какой-то кашей, которая пучится, кипит — да, пожалуй, и вблизи остается впечатление каши ⟨...⟩ Всё это крутится перед глазами, как лица макабрской пляски, а там внизу, как черный фон картины, народ-сфинкс!»

Настроение Тургенева не изменилось и после того, как он провел летом 1862 г. более двух месяцев на родине. Всё тот же вопрос тревожил Тургенева: как согласуется перестройка русского общества в пореформенный период с потребностями народной жизни? Этот вопрос он ставил и в письме из Спасского от 12 (24) июля 1862 г. к П. В. Анненкову: «Общество наше, легкое, немногочисленное, оторванное от почвы, закружилось, как перо, как пена; теперь оно готово отхлынуть или отлететь за тридевять земель от той точки, где недавно еще вертелось; а совершается ли при этом, хотя неловко, хотя косвенно, действительное развитие народа, этого никто сказать не может. Будем ждать и прислушиваться».

Герцен, как и Тургенев, относился к положению дел на родине критически, но его критика пореформенной России основывалась на других идейно-теоретических принципах. Будучи врагом «мистицизма и абсолютизма», он в то же время, как утверждал Тургенев, «мистически преклонялся перед русским тулупом» (см. письмо Тургенева к Герцену от 27 октября (8 ноября) 1862 г.) и верил в революционизирующее воздействие крестьянской общины. Тургенев считал, что статьи «Колокола» будут способствовать развитию среди молодежи антизападнических настроений и приведут к укреплению

веры в исключительность исторического пути России, что затруднит прогрессивное общественное развитие [23]. «... В силу вашей ⟨Герцена и Огарева⟩ душевной боли, вашей усталости, вашей жажды положить свежую крупинку снега на иссохший язык,— писал 27 октября (8 ноября) 1862 г. Тургенев издателю „Колокола“,— вы бьете по всему, что каждому европейцу, а потому и нам, должно быть дорого, по цивилизации, по законности, по самой революции наконец,— и, налив молодые головы вашей еще не перебродившей социально-славянофильской брагой, пускаете их хмельными и отуманенными в мир, где им предстоит споткнуться на первом шаге».

Об идейном разброде, царившем в среде русских эмигрантов, писал 18 (30) октября 1865 г. Тургеневу из Женевы и М. В. Авдеев: «... вся эмиграция делится на разные лагери ⟨. . .⟩ нет двух человек, которые бы не расходились совершенно в самых существеннейших вопросах жизни. Герцен здесь не в ходу и считается отсталым» (*Т сб*, вып. 1, с. 409).

Следует согласиться с теми исследователями, которые считают, что, изображая Губарева и его окружение, Тургенев стремился показать «хмельные и отуманенные» пропагандой «Колокола» «молодые головы», которые в то же время являются только мнимыми последователями идей Герцена [24].

Другим — и гораздо более важным — объектом сатиры в «Дыме» было дворянское общество, вплоть до самых высших его сфер. В письме к М.А.Маркович из Баден-Бадена от 15(27) августа 1862 г. Тургенев писал: «Здесь хорошо: зелено, солнечно, свежо и красиво. Русских много — но всё — высшего полета и потому низшего сорта,— и я их избегаю».

О пребывании русских за границей много писали в начале 1860-х годов. По приведенным в октябрьском номере «Русского вестника» за 1862 г. данным, только в 1860 г. за границу отправилось 275 582 русских. Этой проблемы касался в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) Достоевский, в корреспонденциях «Из Парижа» (1863), печатавшихся в газете «День», И. Аксаков, в майской хронике «Отечественных записок» за 1863 г. «Наша общественная жизнь» — Салтыков-Щедрин. В «Игроке» (1866) Достоевского, задуманном, писавшемся и опубликованном почти одновременно с «Дымом», также были изображены «заграничные русские», хотя и в ином ключе, чем у Тургенева (см.: *Достоевский*, т. 5, с. 399—400).

---

[23] Эти проблемы уже в течение нескольких лет были предметом полемики между «Современником» и «Колоколом» (см., например, статью Н. Г. Чернышевского «О причинах падения Рима (Подражание Монтескье)»). — *Совр*, 1861, № 5, и ответ А. И. Герцена «Repetitio est mater studiorum».— Колокол, 1861, 15 сентября, л. 107).

[24] См.: Бялый Г. А. «Дым» в ряду романов Тургенева.— Вестник ЛГУ, 1947, № 9, с. 94—98; Петров С. М. И. С. Тургенев. Творческий путь. М.: ГИХЛ, 1961, с. 437—466; Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей». Л., 1972, с. 124—144; ср. Винникова И. А. Вновь о «Гейдельбергских арабесках» в романе И. С. Тургенева «Дым».— В сб.: Проблемы формирования реализма в русской и зарубежной литературе XIX—XX веков. Саратов, 1975, с. 19—36.

Помимо группы генералов, которым в «Дыме» уделено особое внимание, Тургенев дал сатирические зарисовки самых характерных представителей высшей знати, либо пользуясь приемом литературной аналогии (Грибоедов, Пушкин, Лермонтов) [25], либо прибегая к памфлету.

Иронией и скептицизмом проникнуто описание гостиной «в одном из первых» петербургских зданий. Некоторые современники Тургенева считали, что здесь изображена «приемная императрицы» (см.: *Лит Насл*, т. 76, с. 232), у других это описание вызывало ассоциацию с гостиной графини Н. Д. Протасовой (см. примеч. к с. 406).

В романе «Дым» есть еще один объект сатиры — либералы кавелинско-чичеринского типа. В пореформенный период Тургенев уловил тенденцию русского либерализма к сближению с реакционными правительственными кругами и отразил этот процесс в своем романе. Как установила И. А. Винникова [26], в речах баденских генералов о прогрессе и демократии слышатся явные и скрытые цитаты из работ Б. Н. Чичерина, напечатанных в начале 1860-х годов (см. примечания к с. 304 и 305).

В то же время, создавая «генеральские сцены», Тургенев, вероятно, учел и художественный опыт своих предшественников. Так, Салтыков-Щедрин сделал сатирические зарисовки деятелей эпохи реформ в «Сатирах в прозе» (1859—1862), в очерках «Наша общественная жизнь» (1864) и др. К категории деятелей, у которых, как и у персонажей Салтыкова-Щедрина, показной либерализм сочетается с внутренним стремлением к незыблемости «основ», к «строгости» и «дисциплине» принадлежат и «три чрезвычайно почтенные мужа ⟨...⟩ в генеральских чинах», беседующие в «Скверном анекдоте» (1862) Достоевского о «возрождении ⟨...⟩ любезного отечества» и о стремлении «всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам» (*Достоевский*, т. 5, с. 5).

Генерал Пралинский в финале «Скверного анекдота» твердит: «Нет, строгость, одна строгость и строгость» (*Достоевский*, т. 5, с. 45 и примеч. с. 353), а Вася Чубиков воскликнул: «Дисциплина, дисциплина и дисциплина» (*Салтыков-Щедрин*, т. 6, с. 305—306). Таким образом и генерал Пралинский, и Вася Чубиков пришли к тому же выводу, что и «снисходительный генерал», утверждавший: «...дисциплины — дисциплины пуще всего не трогайте...» (с. 303).

Критика различных сторон русской общественной жизни, в том числе и «губаревщины», в «Дыме» содержится в значительной мере в речах Потугина. Именно этот герой высказывает мысли, близкие автору. Правда, впоследствии Тургенев предостерегал от отождествления его взглядов с суждениями Потугина. В беседе с В. В. Стасовым он говорил, что в Потугине стремился «представить совершенного *западника*», и поэтому он вышел несколько шаржированным (*Сев Вестн*, 1888, № 10, с. 148).

Потугин не имеет прототипов. Однако этот образ создавался, вероятно, под впечатлением полемики, развернувшейся между ав-

---

[25] См.: Пумпянский Л. В. «Дым». Историко-литературный очерк (*Т*, *Сочинения*, т. 9, с. IX—X); Бялый Г. А. «Дым» в ряду романов Тургенева, с. 98—99; Петров С. М. И. С. Тургенев. Творческий путь, с. 428—429.

[26] Винникова И. А. И. С. Тургенев в шестидесятые годы. Саратов, 1965, с. 78—88.

гором «Дыма» и Герценом. Так, в цикле статей «Концы и начала» (1862) Герцен изобразил эпикурейца-западника, сказав, что он за *«хорошо сервированную»* чечевичную похлебку готов уступить «долю человеческого достоинства, долю сострадания к ближнему» (*Герцен*, т. 16, с. 132). Тургенев воспринял это как оценку его собственной общественной позиции, в связи с чем писал 26 сентября (8 октября) 1862 г. Герцену: «...ты в отношении собственно ко мне — не так поставил вопрос: не из эпикуреизма, не от усталости и лени я удалился, как говорит Гоголь, под *сень струй* европейских принципов и учреждений; мне было бы двадцать пять лет — я бы не поступил иначе, не столько для собственной пользы, сколько для пользы народа».

Создавая образ Потугина, писатель, очевидно, стремился доказать, что западническая позиция характерна именно для демократической части русского общества. Потугин представлен в романе не только разночинцем, но и выходцем из духовной среды, что обуславливало, по мнению Тургенева, истинно русскую точку зрения героя, несмотря на его «приверженность» к Западу. Эта мысль была впоследствии развита Тургеневым в его «Воспоминаниях о Белинском» (1869). Там сказано, что повадка Белинского была «чисто русская, московская; недаром в жилах его текла беспримесная кровь — принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы».

Работая над образом Потугина и особенно над теми его монологами, в которых содержится положительная программа западничества, Тургенев очень часто вкладывал в уста героя мысли, высказанные ранее им самим. Так, в рассуждениях Потугина о том, что русские любят говорить о значении и будущности России и при этом противопоставлять ее «гнилому» Западу, повторяется аргументация самого Тургенева, который в письме к К. С. Аксакову от 16(28) января 1853 г., опровергая вывод адресата, что в России, по сравнению с Европой, «всё прекрасно», писал: «Мы обращаемся с Западом, как Васька Буслаев (в Кирше Данилове) с мертвой головой — побрасываем его ногой — а сами... Вы помните, Васька Буслаев взошел на гору, да и сломил себе на прыжке шею». Эта же мысль была развита Тургеневым и в письме к Герцену от 23 октября (4 ноября) 1862 г.: «...в столь часто повторяемой антитезе Запада, прекрасного снаружи и безобразного внутри — и Востока, безобразного снаружи и прекрасного внутри — лежит фальшь...»

Важным источником, из которого Тургенев черпал материал для речей Потугина, были статьи Белинского. Близость рассуждений этого персонажа к некоторым идеям Белинского особенно очевидна в тех его монологах, которыми был дополнен текст «Дыма» в отдельном издании 1868 г. [27]. Этот факт, вероятно, может быть объяснен тем, что уже первые отзывы о «Дыме», содержавшие обвинения Тургенева в предательстве интересов России, поставили перед ним задачу теоретического обоснования западничества, что побудило писателя обратиться к наследию Белинского, учеником которого он себя считал [28]. В рассуждениях Потугина о пользе заимствований у Запада настолько точно (в восприятии Тургенева) передавались

[27] Ср., например, *Белинский*, т. 10, с. 9—13, 29—30 и 281—282.

[28] См.: Бродский Н. Л. Белинский и Тургенев.— В сб.: Белинский — историк и теоретик литературы. М.; Л., 1949, с. 323—342.

некоторые положения западнической теории Белинского, что писатель счел возможным повторить их с незначительными вариациями в «Воспоминаниях о Белинском», когда излагал свое понимание идей критика [29].

Некоторые суждения Потугина, смысл которых в романе не раскрыт, могут быть прокомментированы и дополнены высказываниями автора «Дыма», опять-таки соприкасающимися с идеями Белинского. Например, слова Потугина о том, что всякая деятельность должна иметь «педагогический, европейский характер» (с. 395), проясняются, если их сопоставить с письмом Тургенева к Герцену от 26 сентября (8 октября) 1862 г., в котором сказано: «Роль *образованного* класса в России — быть передавателем цивилизации народу, с тем, чтобы он сам уже решал, что ему отвергать или принимать,— эта, в сущности, скромная роль, хотя в ней подвизались Петр Великий и Ломоносов, хотя ее приводит в действие революция,— эта роль, по-моему, еще не кончена». Суждения Тургенева о долге «образованного класса» перед народом и об исторической роли народных масс близки к тому, что писал по этому поводу Белинский [30].

Работая над речами Потугина, Тургенев пользовался также сведениями, почерпнутыми им из русских журналов и из писем его корреспондентов. Например, ожесточенные нападки Потугина на «русских самородков», которые не в состоянии изобрести даже зерносушилку (с. 327), восходят к материалам записок А. А. Фета, напечатанных в мартовской книжке «Русского вестника» за 1863 г., а рассказ этого персонажа о приказчике, обманувшем его на охоте,— к письму И. П. Борисова [31].

IV

Злободневность, сатирическая заостренность, памфлетность некоторых образов «Дыма» обусловили то, что новый роман Тургенева, как и предыдущий — «Отцы и дети»,— стал предметом оживленной полемики [32]. В письме к Герцену от 23 мая (4 июня) 1867 г. Тургенев писал: «...знаю, что меня ругают все — и красные, и белые, и сверху, и снизу, и сбоку — особенно сбоку».

Первое сообщение о том, что М. Н. Катков приобрел для своего журнала роман Тургенева «Дым», появилось в «Колоколе» 19 апреля (1 мая) 1867 г. В ответ на это Тургенев послал Герцену 5 (17) мая 1867 г. отдельный оттиск «Дыма» из «Русского вестника», сделав

---

[29] В «Воспоминаниях о Белинском», излагая точку зрения Белинского, Тургенев писал: «Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями породы, истории, климата,— впрочем, относиться и к ним свободно, критически,— вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть наконец самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают». Ср. с этим рассуждение Потугина: «Кто же вас заставляет ... даст *свой сок*» (с. 273).

[30] Ср.: *Белинский*, т. 10, с. 202, 368—370.

[31] См.: Батюто А. И. С. Тургенев в работе над романом «Дым».— Русская литература, 1960, № 3, с. 156—160.

[32] Обзор критических статей о «Дыме» см.: Кузнецова В. Критическая борьба вокруг романа И. С. Тургенева «Дым».— Уч. зап. Калинингр. пед. ин-та, 1961, вып. 9, с. 10—33.

таким образом первый шаг к восстановлению прерванных в 1864 г. дружеских отношений. В сопроводительном письме Тургенев писал Герцену: «Итак, посылаю тебе свое новое произведение. Сколько мне известно, оно восстановило против меня в России людей религиозных, придворных, славянофилов и патриотов. Ты не религиозный человек и не придворный, но ты славянофил и патриот,— и, пожалуй, прогневаешься тоже; да сверх того и гейдельбергские мои арабески тебе, вероятно, не понравятся. Как бы то ни было — дело сделано. Одно меня несколько ободряет, ведь и тебя партия молодых рефюжиэ пожаловала в отсталые и в реаки; расстояние между нами и поуменьшилось» [33].

В статье, посвященной «Дыму» («Отцы сделались дедами») и напечатанной в «Колоколе» (1867, 15 мая н. ст., л. 241), Герцен сосредоточил свое внимание главным образом на речах Потугина, которого он назвал куклой, постоянно говорящей «не о том, о чем с ней говорят» (*Герцен*, т. 19, с. 261).

Герцен понял, что некоторые речи Потугина полемически направлены против его взглядов, но аргументы этого героя нашел настолько неубедительными, что не удостоил их опровержения, ограничившись длинной выпиской, содержавшей рассуждение Потугина о «вьюношах», и ироническим замечанием: «Читаешь, читаешь, что несет этот Натугин, да так и помянешь Кузьму Пруткова: „Увидишь фонтан — заткни и фонтан, дай отдохнуть и воде“... особенно продымленной» (там же, с. 261). Аналогичный отзыв о речах Потугина содержался и в письме Герцена к Тургеневу от 7 (19) мая 1867 г.: «Я искренно признаюсь,— писал Герцен,— что твой Потугин мне надоел. Зачем ты не забыл половину его болтанья?» (*Герцен*, т. 29, с. 102).

Не соглашаясь с Герценом, Тургенев писал 10 (22) мая 1867 г. ему в ответ: «Тебе наскучил *Потугин*, и ты сожалеешь, что я не выкинул половину его речей. Но представь: я нахожу, что он еще не довольно говорит, и в этом мнении утверждает меня всеобщая ярость, которую возбудило против меня это лицо». Тургенев считал создание образа Потугина чрезвычайно своевременным, так как в 1867 г. в связи с этнографической выставкой и Славянским съездом в Москве активизировались панславистские реакционные силы во главе с М. П. Погодиным. «Я даже радуюсь,— писал Тургенев Герцену 23 мая (4 июня) 1867 г.,— что мой ограниченный западник Потугин появился в самое время этой всеславянской пляски с присядкой, где Погодин так лихо вывертывает пá с гармоникой под осеняющей десницей Филарета».

Н. П. Огареву «Дым» также не понравился, и он написал в связи с этим эпиграмму на Тургенева:

Т⟨ургеневу⟩

Я прочел ваш вялый «Дым»
И скажу вам не в обиду—

---

[33] Рассказу о расхождениях Герцена с «молодой эмиграцией» посвящены несколько глав VII т. «Былого и дум». Общественно-политические причины раскола в русской эмиграции 1860-х годов исследованы Б. П. Козьминым в статье «Герцен, Огарев и „молодая эмиграция“» (К о з ь м и н Б. П. Из истории революционной мысли в России. М.: Изд-во АН СССР, 1961, с. 483—577).

Я скучал за чтеньем сим
И пропел вам панихиду.

(*Лит Насл*, т. 61, с. 594).

Тургенев с особым нетерпением ждал отзыва о своем романе не только от кружка Герцена, но и от Д. И. Писарева, который на протяжении всей своей литературно-критической деятельности с большим вниманием относился к его творчеству и приветствовал появление в «Отцах и детях» нового литературного героя.

Пользуясь правом недавно состоявшегося знакомства [34], Тургенев отправил 10 (22) мая 1867 г. Д. И. Писареву письмо, в котором, сожалея о том, что свидание их было слишком коротким, писал: «Я ценю Ваш талант, уважаю Ваш характер и, не разделяя некоторых Ваших убеждений, постарался бы изложить Вам причину моего разногласия — не в надежде обратить Вас, а с целью направить Ваше внимание на некоторые последствия Вашей деятельности». В том же письме Тургенев спрашивал: «...какое впечатление произвел „Дым“ на Вас и на Ваш кружок — рассердились ли Вы по поводу сцен у „Губарева“, а эти сцены заслонили ли для Вас смысл всей повести?»

Поскольку Д. И. Писарев по многим причинам [35] не собирался в ближайшее время писать статью о «Дыме», он изложил в письме к Тургеневу «основные черты» своего взгляда на роман. Все поняли,— отметил Писарев,— «даже и сами Ратмировы», что в «Дыме» «удар действительно падает направо, а не налево, на Ратмирова, а не на Губарева». Поэтому, оставив в стороне сцены Губарева, он сосредоточил внимание на уяснении вопроса, почему в новом романе автора «Отцов и детей» нет активно действующего героя.

«Мне хочется,— писал Писарев,— спросить у Вас: Иван Сергеевич, куда вы девали Базарова? Вы смотрите на явления русской жизни глазами Литвинова, Вы подводите итоги с его точки зрения, Вы его делаете центром и героем романа, а ведь Литвинов это тот самый друг Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво. Чтобы осмотреться и ориентироваться, Вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем как в Вашем распоряжении находится настоящая каланча, которую Вы же сами открыли и описали ⟨...⟩ Неужели же Вы думаете, что первый и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца? ...Если же он жив и здоров и остается самим собою, в чем не может быть никакого сомнения, то каким же образом это случилось, что Вы его не заметили?»[36].

Писарев не увидел в «Дыме» героя, который был бы способен продолжить дело Базарова. Положительная программа Потугина также не привлекла внимания критика, что особенно удивило Тургенева. В связи с этим он вынужден был в ответном письме от 23 мая (4 июня) 1867 г. пояснить Писареву, что героем романа, с точки зрения которого оценивается современное состояние России, является не Литвинов, а Потугин и что он выбрал себе не такую уж низкую

---

[34] См. «Воспоминания о Белинском» И. С. Тургенева и письмо Тургенева к М. В. Авдееву от 30 марта (11 апреля) 1867 г.

[35] См. письмо Д. И. Писарева Тургеневу (*Писарев*, т. 4, с. 424) и письмо Н. А. Некрасова Д. И. Писареву (*Некрасов*, т. 11, с. 85—86).

[36] *Писарев*, т. 4, с. 424—425.

«кочку», так как «с высоты европейской цивилизации можно еще обозревать всю Россию». Тургенев добавлял далее: «Быть может, мне одному это лицо дорого: но я радуюсь тому, что оно появилось, что его наповал ругают в самое время этого всеславянского опьянения, которому предаются именно теперь, у нас. Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово: „цивилизация“ — на моем знамени,— и пусть в него швыряют грязью со всех сторон» (там же).

В ответ на вопрос Писарева, почему в «Дыме» нет Базарова, Тургенев писал: «Вы не сообразили того, что если Базаров и жив — в чем я не сомневаюсь,— то в литературном произведении упоминать о нем нельзя: отнестись к нему с критической точки не следует, с другой — неудобно; да и наконец — ему теперь только можно *заявлять себя* ⟨. . .⟩, а пока он себя не заявил, беседовать о нем или его устами — было бы совершенною прихотью, даже фальшью» (там же).

Аналогичное объяснение отсутствия в «Дыме» героя типа Базарова было высказано несколько позднее М. В. Авдеевым, который писал Тургеневу: «...выполнение осталось прежнее и об ослаблении таланта нечего и думать, а сатирич⟨еская⟩ сторона его ⟨„Дыма“⟩ даже сильнее ⟨. . .⟩ но интерес повести слабее предыдущих; в этом, впрочем, виновата ее эпоха: продолжая Ваш ряд романов, Вы должны были взять в герои политич⟨еского⟩ преступника или не брать никого и хорошо сделали, предпочтя последнее. Совершенно верно, что у Литвинова нет полит⟨ических⟩ убеждений — но от этого он и мало интересен, как и вся мужская половина. Но общий очерк эпохи совершенно верен и хорошо обрисован» (*Т сб*, вып. 1, с. 418).

В русской периодической печати первые отклики на «Дым» появились еще до выхода в свет номера «Русского вестника», где был напечатан роман, и были связаны с публичными чтениями Тургеневым отдельных глав его в Москве (29 марта (10 апреля) 1867 г.) и в Петербурге (3 (15) апреля 1867 г.).

«Московские ведомости», помещая 1 (13) апреля 1867 г. (№ 73) отчет о «Литературном утре в пользу галичан», писали, что «львом» этого публичного чтения был Тургенев, который «вступил на кафедру при громе рукоплесканий». Прочитанные главы имели успех, и после того, как Тургенев закончил чтение, он был окружен многочисленными друзьями и почитателями.

Заметка в «Московских ведомостях», выходивших под редакцией М. Н. Каткова, не касалась существа прочитанных Тургеневым глав из «Дыма».

М. П. Погодин также не вдавался в анализ содержания «Дыма», а ограничился только резким выпадом против его автора. «На этой неделе,— писал М. П. Погодин в газете „Русский“, выходившей под его редакцией,— прочитан был, говорят с ужасом, в обществе любителей русской словесности отрывок И. С. Тургенева, очень неприличный для публичного чтения, на коем присутствуют и женщины и девицы» (Русский, 1867, 3 (15) апреля, лист 7 и 8, с. 124).

О публичном чтении «Дыма» в Петербурге писали две газеты: «Голос» (1867, № 99, 9 (21) апреля) и «Гласный суд» (1867, № 178, 5 (17) апреля). Если газета «Голос» только констатировала большой успех, выпавший на долю Тургенева, прочитавшего «губаревские и генеральские сцены», то газета «Гласный суд», фактическим редактором которой был П. А. Гайдебуров, сочувственно относившийся к раннему народничеству, дала оценку общего замысла прочитанных глав. «... г. Тургенев для своего романа,— писал рецензент

„Гласного суда“,— выбрал самый безобидный сюжет — русское заграничное барство, которое проводит чуть не всё время вне России, играя в рулетку и толкуя о будущности России...» Автор отзыва — вероятно, Н. К. Михайловский [37] — отрицал социальное значение «Дыма» и указывал только на имеющиеся в нем «признаки тенденциозности».

Мнение рецензента газеты «Гласный суд» не изменилось и тогда, когда он прочитал роман Тургенева целиком.

В статье, посвященной «Дыму» (Гласный суд, 1867, № 221. 30 мая (11 июня)), он доказывал, что «социальное значение» нового романа Тургенева «заключается в каких-нибудь двух, трех случайных фразах» и что «сок рассказа» составляют отношения Литвинова к Ирине. «... Зачем тут примешан какой-то протест против общества,— писал рецензент,— без этого протеста аристократическая Ирина лучше сохранила бы обаяние красоты, молодости и страсти, каким так заботливо окружает ее автор». Ни Литвинов, ни Потугин, по мнению рецензента, не имеют никаких общественных идеалов: «они только эгоистически заняты томлениями своего сердца...» Западнические идеи, развитые в «Дыме», показались автору статьи устаревшими, не отвечающими насущным потребностям русского общества. Он считал, что Тургенев, заботясь только о том, чтобы русские сами изобрели «свой плуг» и «свою дугу», «совершенно сходится» со славянофилами.

Отзыв о «Дыме» рецензента газеты «Гласный суд» во многом перекликался с разбором этого романа в статье Н. Лунина (Г. Е. Благосветлова) «Старые романисты и новые Чичиковы», напечатанной в журнале «Дело» (1868, № 1 и 3), и с некоторыми другими рецензиями критиков-демократов.

Основной вывод статьи Г. Е. Благосветлова сводился к тому, что творчество Тургенева безнадежно устарело, хотя он и считал Тургенева «первой величиной между писателями сороковых годов» (Дело, 1868, № 1, с. 3). Касаясь «Дыма», автор статьи не отрицал мастерской мозаической отделки «мишурно-любовных сцен» (там же, с. 5), но речи Потугина представлялись Благосветлову лишенными социального смысла «копеечными обличениями» (там же, с. 7), а Литвинова он назвал «хозяином-приобретателем», идущим по пути Чичикова (там же, с. 15—16). Будучи, по словам критика, талантливым художником, Тургенев не позаботился о том, чтобы «дать своему таланту другого, лучшего назначения, посвятить его изучению высших человеческих интересов и понять действительные потребности того общества и литературы, которые дали ему имя и славу» (там же, № 3, с. 9). Благосветлов упрекал Тургенева не только в том, что он не знает молодого поколения и не нашел в нем никого, кроме Суханчиковой и Ворошилова, но и в нежелании когда-нибудь его узнать и заканчивал свою статью сожалением, что произведения Тургенева — «это тончайшие кружева, которые не могут ни греть, ни прикрывать тело, но могут украшать его» (там же, с. 20).

Статья Н. Русланова «Русские belles lettres в Баден-Бадене (По поводу романа „Дым“)», помещенная в I т. сб. «Новые писатели»

---

[37] Н. К. Михайловский в это время по приглашению П. А. Гайдебурова вел критический отдел газеты «Гласный суд» (см.: Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута, СПб., 1900. Т. 1, с. 42—43).

(СПб.. 1868 г.), была написана не только с бо́льшим уважением. чем статьи «Гласного суда» и «Дела», к прежним заслугам Тургенева, но и с бо́льшим пониманием достоинств и недостатков его нового романа. Автор статьи, как и Писарев, считал, что главное в «Дыме» это — «генеральские сцены», по поводу которых в оппозиционных кругах русского общества говорилось: «Эта сатира весьма полезная штука: ибо в последнее время *там* думали, что Тургенев за них, а теперь видят, что он не за них — и это сильно злит» (с. 285). Как и Писарев, Н. Русланов утверждал, что «губаревские сцены» написаны Тургеневым из дипломатических соображений и что они являются «противовесом» к сатире на высшее общество, пришитыми, однако, «белыми нитками» (с. 287). Вслед за другими критиками-демократами Н. Русланов высказывал сожаление, что при изображении гейдельбергской эмиграции Тургенев не постарался выбрать в «этой массе разнородных оттенков» «несколько фигур, которые бы верно обрисовали и жалкие и светлые стороны нашего юношества» (там же. с. 289).

П. Л. Лавров, несмотря на неизменный интерес к творчеству Тургенева, смог откликнуться на новый роман писателя только в 1869 г., да и то в статье, напечатанной в №№ 5 и 9 «Отечественных записок», в отделе «Наука», без подписи.

Статья П. Л. Лаврова «Цивилизация и дикие племена» начиналась небольшим разделом: «Потугин вместо предисловия». Лавров признавался, что талант Тургенева доставлял ему «всегда много удовольствия», что он, как и автор «Дыма», недолюбливает деятелей «тех кружков, представителями которых г. Тургенев выставил изящных генералов» (*Отеч Зап*, 1869, № 5, с. 108), и тем не менее, с его точки зрения, положительный идеал романа — служение цивилизации — лишен какого бы то ни было смысла.

Полагая, что Россия уже вступила в «период цивилизации» и что, следовательно, когда Потугин призывал служить цивилизации, он произносил только «громкие слова», не вникая в их смысл, Лавров напоминал о том, что «взамен людей, произносящих „громкие слова", русскому обществу нужно побольше людей, которые бы смело ⟨...⟩ посвящали свою жизнь и мысль на критику настоящего, на борьбу со всем гнилым, на развитие более строгой истины, на осуществление более полной справедливости» (там же, № 9, с. 127—128). Статья заканчивалась упреком Тургеневу, который, по мнению Лаврова, «улетучил в дым и мысль реакции, и мысль прогресса».

Впоследствии, в большой статье, посвященной памяти Тургенева, Лавров объяснил пессимизм, которым проникнут «Дым», историческими причинами. «Уныние и подавленность Ивана Сергеевича в этот печальный период,— писал он там,— были временною болезнью, которую нетрудно объяснить и действительными событиями в русском обществе, и его удалением от России, не позволявшим ему заметить сохранившиеся и укрепившиеся живые силы общества и новые пробивающиеся его ростки» [38]. В той же статье Лавров признал, что «нельзя было не поставить на счет автору самую смелую для него картину кружка, дирижировавшего тогда судьбами России... За признание *этого* дымом, да еще, очевидно, зловредным, удушающим, Ивану Сергеевичу прощали многое» [39].

---

[38] Лавров П. И. С. Тургенев и развитие русского общества.— Вестник народной воли, 1884, № 2, с. 106.

[39] Там же, с. 107—108.

Прямо противоположная точка зрения на роман Тургенева «Дым» была высказана критиками либерального лагеря. Все они обвиняли Тургенева в отсутствии патриотизма и в том, что он не видит благотворного влияния на всю русскую жизнь проведенных правительством реформ.

Так, А. М. Скабичевский в статье, посвященной «Дыму», «Новое время и старые боги» писал: «Мы переживаем такой переворот, который в жизни русского народа имеет неизмеримо большее значение, чем все реформы Петра Великого. ⟨...⟩ такие три реформы, как освобождение крестьян, открытие гласных судов и учреждение земства, уже нельзя назвать ничтожною игрою на словах и топотнею на одном месте» (*Отеч Зап*, 1868. № 1, с. 16—17). Со Скабичевским был солидарен и критик газеты «Русский инвалид». «Прямо скажем,— писал он,— г. Тургенев не понимает современной жизни ⟨...⟩ Настоящее царствование стало было приучать нас понемногу смотреть попристальнее на свое родное: поглубже взглянуть на народную жизнь, изучать Россию, которую мы знаем очень плохо, и в прошедшем, и в настоящем. а нам говорят: „варвары, побольше презирайте свое и глядите на Европу“» (1867. 20 мая (1 июня), № 138). Анонимный рецензент «Дыма», поместивший свой отзыв в газете «Голос», также утверждал: «Россия еще не так дурна, как изображает ее теперь г. Тургенев» (1867. 6 (18) мая, № 124).

Только еще начинавший тогда свою литературную деятельность А. С. Суворин в статье, напечатанной в «С.-Петербургских ведомостях» (1867, 30 апреля (12 мая), № 117), встал на «защиту» Тургенева, доказывая, что в «Дыме» «подверглись сатире одни крайности». Истолковав по-своему основную идею романа, Суворин во второй статье, посвященной «Дыму», прибег к прямой фальсификации, вкладывая в уста Потугина следующие слова: «Что у нас теперь лучше, чем было прежде, что мы подвигаемся вперед — этого я никогда не отрицал. Я только смею утверждать, что если самоуничижение ведет очень часто к лакейству, то самовосхваление ведет к лени и спеси»[40].

Газета «Весть», гордившаяся своим ретроградством, не ограничилась разбором «Дыма» в двух статьях своего постоянного рецензента Тригорского [41] (псевдоним Екатерины Петровны Ермолаевой), которые заканчивались выводом: «Многое есть теперь в России, чего не заметил ⟨...⟩ автор „Дыма“ с своим „через худшее к хорошему“». 24 мая ст. ст. 1867 г. в газете (№ 59) был напечатан отрывок из письма читателя. Автор письма, которое несомненно было редакционной уловкой, укрывшись за инициалом *Z*, с возмущением писал о том, что Тургенев в «Дыме» считает действия генерала Ратмирова безнравственными, и следующим образом объяснял свое несогласие с писателем: «Правительство командирует офицера с приказанием усмирить непокорных, причем предписывается употреблять в случае крайности меры решительные. Офицер исполняет свой долг. Кажется, всё это в порядке вещей и не возбудило бы ничьего негодования, даже и в странах наиболее либеральных. Посмотрите, как действуют англичане в случае открытого сопротивления закону!

---

[40] «Письмо Потугина о разных современных явлениях и преимущественно о том, что „дым отечества нам сладок и приятен“» (*СПб Вед*, 1867, № 180, 2 (14) июля).

[41] См.: Весть, 1867, № 49, 1 мая ст. ст. и № 149, 29 декабря ст. ст.

У нас лучший повествователь, г. Тургенев, также исполнение офицером своего долга считает, по-видимому, ужасающею безнравственностью! Вот это уж действительно *дым*, и дай бог, чтобы он скорее рассеялся» [42].

Точка зрения «Вести» отражала, очевидно, отношение к «Дыму» тех «настоящих генералов», которые, собравшись в английском клубе в Петербурге, намеревались письменно известить Тургенева об исключении его из их общества (см.: *Т сб (Пиксанов)*, с. 91).

Показательно, что и «магнаты из россиян», жившие в Баден-Бадене, со времени появления «Дыма», перестали приглашать его автора на охоту, о чем Тургенев сообщил 28 октября (9 ноября) 1867 г. из Баден-Бадена И. П. Борисову.

Отзывы о «Дыме», исходившие из лагеря представителей «официальной народности», во многом соприкасались с отзывами реакционной критики, в особенности это относилось к оценке романа в газете «Русский».

Газета «Русский» (1867, 12 июня, л. 23 и 24) напечатала на своих страницах письмо читателя из провинции под названием: «Недоумение по поводу „Дыма" Тургенева, напечатанного в „Русском вестнике"». Это письмо, вероятно, было написано самим М. П. Погодиным, который «недоумевал», «...что же значит повесть г. Тургенева „Дым", помещенная в „Русском вестнике" за месяц март? Дым ли это отечества, который нам сладок и приятен? Или это угар, наносимый с Запада, оружие русского, направленное против России? „Московские ведомости" верят в хорошие стороны русского народа и в высокое призвание России: с какой же стати появились в „Русском вестнике" неприязненные *шляхетские насмешки* странника, который всё русское, без исключения, считает дымом?»

Злобный отзыв М. П. Погодина, помимо общих идейных расхождений между ним и Тургеневым, корни которых уходили в 1840-е годы, объяснялся еще и тем, что «Дым», с его проповедью служения европейской цивилизации и насмешками над неославянофильскими теориями, появился в самый разгар подготовки и проведения этнографической выставки и съезда славян, проходившего в Москве под реакционными панславистскими лозунгами и возглавлявшегося М. П. Погодиным [43].

Н. Н. Страхов, называвший себя славянофилом и принадлежавший к группе «почвенников», объединившихся вокруг журналов Ф. М. Достоевского «Эпоха» и «Время», обращался к «Дыму» дважды. Первый раз сразу же после опубликования романа в «Русском вестнике» и второй раз в статье, написанной в 1871 г. и посвященной последним произведениям писателя от «Призраков» (1863) до рассказа «Стук, стук...» (1871).

Разбирая роман в 1867 году, Н. Н. Страхов пришел к выводу, что Тургенев неискренен в своем утверждении: «всё дым и больше ничего». Критик считал, что Тургеневу не понравилось новое направление ветра, который подул после 1862 г., и он написал роман «против господствующего ветра». Суть перемены, происшедшей в русском обществе после 1862 г., критик истолковал следующим об-

---

[42] Весть, 1867, № 59, 24 мая (5 июня); ср.: Муратов А. Б. Тургенев в борьбе с правительственной реакцией. (К истории некоторых образов «Дыма»).— Филологические науки, 1964, № 1, с. 161.

[43] См.: Никитин С. А. Славянские комитеты в России в 1858—1876 годах. М., 1960, с. 156—259.

разом: «Внимательный наблюдатель должен признать, что благодаря нынешнему царствованию действительно вскрылись все язвы, которые мы носили в своем теле, воображая себя вполне здоровыми; 〈...〉 Говоря литературными формулами, все мы до 1862 г. были более или менее западниками, а после этого года все более или менее стали славянофилами».

Заканчивая свою статью, Страхов выразил уверенность, что «черноземная сила» и «ветер, потянувший с Востока», помогут устоять России в столкновении с Европой и выйти из этого столкновения нравственно обновленной (*Отеч Зап*, 1867, № 5, с. 172—180).

Вторая статья Страхова была полемически направлена не только против некоторых концепций «Дыма», но и против истолкования романа Тургенева в статье П. В. Анненкова (см. ниже).

Главным предметом спора по-прежнему оставалась проблема: Россия и Запад. Страхов доказывал, что России нечему учиться у Западной Европы, что западничество Тургенева «не содержит в себе действительной *преданности началам, выработанным европейскою жизнью*», а является своего рода нигилизмом, заимствованным из «отрицательных и мрачных учений современной Европы» [44].

Н. И. Соловьев, критик журнала «Всемирный труд», также обвинил автора «Дыма» в том, что его любимый герой, Потугин, высказывает суждения, с которыми могли бы согласиться все «русские нигилисты», страдающие «недоверием к силам и средствам своего народа» [45].

Истолкование содержания «Дыма» в статье-лекции О. Ф. Миллера интересно тем, что он, высказавшись в защиту славянофильства и сказав, что Потугин — это «...один из последних могикан того бесшабашного западничества, которое в сущности вытекает из препохвального свойства нашей натуры 〈...〉, которое очень метко определяет Базаров, говоря 〈...〉: „Русский человек только тем и хорош, что сам о себе прескверного мнения“» [46],— неожиданно пришел к выводу, что новый роман Тургенева заканчивается оптимистической верой в будущее. Тургенев,— писал он,— «заключает свой „Дым“ успокоительным указанием на то, что одно — *не дым:* это воскресающее значение дела освобождения, воскресающее значение его как для самого народа, так и для нас всех, чающих появления *новых* людей» (там же, с. 273).

По мнению О. Ф. Миллера, в России того времени еще не появились «новые люди», чем и объясняется их отсутствие в «Дыме». Заканчивая свою статью, критик высказал уверенность, что Тургенев по-прежнему обладает большими творческими возможностями и что новый подъем в его творчестве будет возможен тогда, когда русское общество «представит ему новые данные и новые типы».

Положительной рецензией на «Дым», автор которой дал всесторонний и глубокий анализ романа Тургенева, была статья П. В. Анненкова «Русская современная история и роман И. С. Тургенева „Дым“» (*ВЕ*, 1867, № 6).

---

[44] Страхов Н. Н. Последние произведения Тургенева.— Заря. 1871, № 2. Критика, с. 24.

[45] Соловьев Н. И. Дым отечества.— Всемирный труд, 1867, № 5, с. 193.

[46] Миллер О. Ф. Об общественных типах в повестях И. С. Тургенева.— Беседа, 1871, № 12, с. 270.

По определению П. В. Анненкова, «Дым» — роман социальный, ибо «он выводит перед нами явления и характеры из современной русской жизни, важные не по одному своему психическому или поэтическому значению, но вместе и потому, что они помогают распознать место, где в данную минуту обретается наше общество, и мысль, которою оно занято перед наметкой последующего своего шага» (с. 100).

В новом романе Тургенева Анненкову слышалось «биение» современной ему жизни, главной проблемой которой была необходимость «строить разумно внутренний быт людей». «Дым» свидетельствует,— утверждал критик,— что ни кружок Губарева, ни блестящее общество генерала Ратмирова не в состоянии решить эту задачу, к тому же обе эти группы ослеплены торжеством «по случаю победы „народного духа" над его отрицателями» (с. 107 и 108).

Анализируя взгляды Потугина, Анненков доказывал, что тургеневский герой призывал учиться не у той Европы, язвы которой очевидны, а у другой, которую мы «мало видим и почти не знаем». Главной задачей той, другой Европы является стремление дать «точное, общедоступное определение идей нравственности, добра и красоты, и такое распространение их, которое помогло бы самому скромному и темному существованию выйти из сферы животных инстинктов, воспитать в себе чувства справедливости, благорасположения и сострадания к другим, понять важность разумных отношений между людьми и, наконец, получить способность к прозрению „идеалов" единичного, семейного и общественного существования» (с. 110). Для этой скрытой Европы характерен интерес к «серьезным социальным учениям» и к «реалистическому направлению в науках» (с. 108).

«Западничество» Потугина Анненков объяснял именно тем, что он успел «прозреть эту, а не другую какую-либо Европу» (с. 110).

Отвечая всем тем, кто обвинял автора «Дыма» в клевете на Россию и русский народ, Анненков писал, что Тургенев, избегая пошлости, «не перечисляет доблестных приобретений последнего времени, но он только их и имеет в виду, когда показывает дикие силы, еще теснящиеся и гарцующие вокруг молодых зачатков нашего развития, когда говорит о всем том, что, по его мнению, отводит глаза кажущимся достоинством и величием представлений от прямых условий этого развития» (с. 119—120).

Анненков глубже других вскрыл содержание романа, но и его статья не лишена некоторых крайностей. К последним относится безоговорочное утверждение, что Потугин — «представитель некогда знаменитого кружка западников» и что он, «скромный, безвестный, ничем себя не заявивший, но глубоко убежденный полусеминарист и полуразночинец», явился «после Белинского и Грановского» (с. 106). Кроме того, содержащееся в статье Анненкова толкование сути «западничества» Потугина значительно шире, чем те выводы, которые можно сделать на основании анализа суждений этого героя. «Западничество», как его понимает Анненков, отражает, очевидно, в какой-то мере взгляды автора «Дыма» и в еще большей степени самого Анненкова. Помимо критических статей, роман Тургенева вызвал ряд пародий, эпиграмм и откликов в сатирических и юмористических журналах [47].

---

[47] См.: Клевенский М. И. С. Тургенев в карикатурах и пародиях.— *Гол Мин*, 1918, № 1—3, с. 203—209.

«Дым» оживленно обсуждался не только в печати. В одном из своих писем к А. Ф. Писемскому П. В. Анненков рассказывал: «Петербург в эту минуту читает „Дым“, и не без волнения. Очень любопытно слушать теперь толки, когда еще запевалы литературные не дали тона для суждений ⟨...⟩ Большинство испугано романом, который приглашает верить, что вся русская аристократия да и вся русская жизнь есть мерзость» [48].

О том, что новый роман «возбудит много толков», писал Тургеневу также Боткин.

Ф. И. Тютчева не удовлетворило, как передавал Боткин, «нравственное настроение, пронизывающее повесть» и «отсутствие национального чувства», хотя он и признавал «всё мастерство, с каким нарисована главная фигура» (*Боткин и Т*, с. 264). Отрицательное отношение к роману Тютчев выразил в эпиграмме «И дым отечества нам сладок и приятен», напечатанной в «Голосе» (1867, № 170, 22 июня ст. ст.) [49]. Тогда же поэтом было написано и стихотворение «Дым», в котором в аллегорической форме высказана надежда, что «безотрадный, бесконечный дым», окутавший «могучий и прекрасный ⟨...⟩ лес» ⟨творчество Тургенева⟩, рассеется и лес снова «зазеленеет», «волшебный и родной» [50].

В отсутствии национального чувства Тургенева упрекал также Достоевский. Он поставил автора «Дыма» в один ряд с Герценом, Утиным и Чернышевским, утверждая, что все они «ругать Россию находят первым своим удовольствием и удовлетворением» (*Достоевский, Письма*, т. 2, с. 31).

Каждый по-своему, но оба отрицательно, отозвались о новом романе Тургенева А. А. Фет и Л. Н. Толстой.

Присоединяясь к голосу реакционной критики, Фет писал Толстому: «Читали Вы пресловутый „Дым“? У меня одна мерка. Не художественно? Не спокойно? — Дрянь. Форма? — Сам с ноготь, борода с локоть. Борода состоит из брани всего русского в минуту, когда в России все стараются быть русскими. А тут и труженик, честный посредник представлен жалким дураком потому, что не знает города Нанси. В России-де всё гадко и глупо и *всё надо* гнуть насильно и на иностранный манер ⟨...⟩ В чем же, спрашивается, *гражданский подвиг* рассказа (литературный — в уродстве и несообразности целого)? Очевидно, что главная цель умилостивить героев «Русского слова» и тому подобных, которые так взъелись на автора за «Отцов и детей». Эта цель достигнута, к стыду автора» [51]. Любовная коллизия «Дыма» также вызвала яростные нападки Фета, потому что, как он считал, Тургенев предлагал ее разрешить, исходя из моральных принципов «прогрессистов» [52].

---

[48] Новь, 1888, № 20, т. 23, с. 201.

[49] См.: Мордовченко Н. Неизвестный экспромт Тютчева. (По поводу повести Тургенева «Дым»).— Звезда, Л., 1929, № 9, с. 202—203.

[50] Стихотворение Ф. И. Тютчева «Дым» было напечатано в «Отечественных записках» (1867, № 5, кн. I, отд. 1, с. 181—182), вслед за статьей о «Дыме» Н. Н. Страхова.

[51] Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями. М., 1962, с. 268.

[52] Н. Н. Страхов впоследствии в письме к Л. Н. Толстому противопоставил изображение «светской истории» в «Дыме» и в «Анне Карениной», упрекая Тургенева в том, что в его романе «страсть

Отвечая на письма Фета, Толстой коснулся только нравственно-этических проблем, поставленных в романе. «Я про „Дым" думаю то,— писал он,— что сила поэзии лежит в любви,— направление этой силы зависит от характера. Без силы любви нет поэзии ⟨. . .⟩ В „Дыме" нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна» (*Толстой*, т. 61, с. 172).

Скрытая полемика с автором «Дыма» содержится и в «Истории одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Прочитав очерк «Войны за просвещение», Тургенев писал 27 января (8 февраля) 1870 г. П. В. Анненкову: «Во втором нумере „Отечественных записок" я уже успел прочесть продолжение „Истории одного города" Салтыкова — и хохотал до чихоты. Он нет, нет — да и заденет меня; но это ничего не значит: он прелестен».

Тургенев, очевидно, усмотрел со стороны Салтыкова-Щедрина полемические выпады в его адрес по поводу концепции цивилизации, обосновывавшейся Потугиным [53].

Мысли Потугина о том, что Россия должна идти по пути европейской цивилизации, вызвали страстные возражения также со стороны героя хроники Н. С. Лескова «Соборяне» (1872), протопопа Туберозова, который с горечью говорил, что «иносказательная красавица наша, наружная цивилизация, досталась нам просто», но весь вопрос в том, как завоевать «другую красавицу», «духовную самостоятельность» (см. ч. III, гл. VII).

Наряду с полемическими были и другие отклики на «Дым».

А. Ф. Писемский, сообщая Тургеневу о своем восторженном отношении к его новому роману, который оказался «величайшею и самой едкой сатирой», писал, что так же, как он, относятся к «Дыму» все умные, образованные и честные люди в Москве (*Писемский*, с. 218—219) [54].

Одним из этих «москвичей» был В. Ф. Одоевский, который внимательно и весьма сочувственно следил за творчеством Тургенева, хотя и вступал с ним в полемику (см. с. 454 и 493—494).

Свой отзыв о «Дыме» Одоевский набросал в 1867 г. на обороте автографа заметки об «Отцах и детях» (см.: Т у р ь я н М. А. В. Ф. Одоевский в полемике с И. С. Тургеневым.— Русская литература, 1972, № 1, с. 101).

Одоевский согласился с автором «Дыма», критиковавшим русскую действительность, почти во всем, «за исключением *выводов*». Он писал: «...всего грустнее то, что человек с талантом не нашел другого вывода. Много в русских недоделанного, но надобно было в книге русской жизни поискать того, что в ней написано между строк. Скажут, *ничего*; но и воздух — *ничего*, но мы им дышим.

осуждается потому, что она недостаточно сильна и последовательна, а не потому, что это страсть» (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, 1870—1894. Толстовский музей. СПб., 1914. Т. II, с. 49).

[53] См.: П о к у с а е в Е. И. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. М., 1963, с. 54—55.

[54] Высказано предположение, что, создавая «гейдельбергские арабески», Тургенев учел «наблюдения Писемского над бытом и нравами русской политической эмиграции» (см.: В и н н и к о в а И. А. «Дым». Тургенев и Писемский. Еще раз о «гейдельбергских арабесках».— *Т сб*, вып. 5, с. 261—265).

Правда и то, что большая часть одной половины понимает лишь свои обыденные выгоды и страстишки, а большая часть другой половины ничего не понимает; но есть некоторый quantum [55] и понимающий, и думающий, и болеющий.

Этот quantum есть закваска, которая рано или поздно заквасит всё русское тесто, и оно поднимется. Не надобно высказывать презрение к закваске, иначе мы век останемся при Губаревых, Ратмировых, Балебаевых, Биндасовых, Ворошиловых. Суханчиковых, Тугиных и „снисходительных“ генералах»[56]. Одоевский, призывавший к преодолению скептицизма, верил в то, что развитие науки обеспечит неуклонность исторического движения человечества по пути прогресса. Ростки этой веры он обнаружил и в «Дыме». «Есть 4 строки, доказывающие, что Тургенев еще не Мессия отчаяния и безнадежности,— писал Одоевский, приводя далее рассуждение автора романа: „Великая мысль осуществлялась понемногу; переходила в кровь и плоть; выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его врагам — ни явным, ни тайным“.

То-то и есть, что не растоптали»[57].

Г. И. Успенский в очерке «По-хорошему и по-худому» (1888) из цикла «„Мы“ на словах, в мечтаниях и на деле» поставил «Дым» Тургенева в один ряд с теми произведениями, в которых нашла отражение драма, разыгравшаяся в русском обществе того времени. «Унижение человеческого достоинства — вот что именно и ужасно, что собственно и потрясает в этой современной культурной драме»,— писал Успенский.— Трагическая судьба Ирины — еще одно доказательство «бесчеловечья людей, среди которых прошла ее жизнь» [58].

Положительно отнеслись к «Дыму» А. Д. Галахов и А. В. Никитенко. И тот и другой дали высокую оценку именно критической части романа, касающейся «текущей действительности» [59].

А. В. Никитенко в своем дневнике в мае 1867 г. записал: «Многие недовольны тем, что Тургенев будто бы обругал Россию. Конечно, он выказывает себя не особенно благосклонным к ней. В романе веет дух недовольства всем, что делалось и делается в ней ⟨...⟩ Народности нашей роман почти не касается. Весь он сатира, чуть не памфлет на наших заграничных шатунов обоего пола. Особенно достается аристократам и политикам: это им и поделом» (*Никитенко*, т. 3, с. 83).

В письме М. В. Авдеева к Тургеневу от 19 июня (1 июля) 1867 г. выделялись как художественное новаторство сатирические сцены «Дыма»; «любовные сцены» романа, с точки зрения Авдеева, были «прелестны, как всегда». Касаясь недостатков «Дыма», Авдеев писал: «Не удовлетворила меня мысль, которая проглядывает у Вас, о недоразвитости нашей для политической жизни и в конце — политический индифферентизм Ваш: тут бы следовало высказаться Вам, и опять-таки именно Вам, гораздо положительнее и дать свою программу ⟨...⟩ Теперь уже — без политических солений и пикулей нам всё кажется пресно, и это Вам доказывает, между прочим, нашу

---

[55] количество, масса *(нем.)*

[56] *ГПБ*, ф. 539 (В. Ф. Одоевский), оп. 1, № 22, л. 114 об.; цит. по указ. статье М. А. Турьян, с. 101.

[57] Там же.

[58] Успенский Г. И. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. X, кн. 2, с. 55—56.

[59] Галахов А. Д. Сороковые годы.— *ИВ*, 1892, № 1, с. 141.

дозрелость до этой жизни. Что вся здешняя жизнь — дым, это можно говорить в минуты мизантропии, и было уже Вами высказано несравненно определеннее; но что все наши русские повороты — дым, направляемый дуновением сверху,— совершенно верно...» (*Т сб*, вып. 1, с. 419).

Весьма положительная оценка романа Тургенева содержалась и в письме А. Н. Плещеева к А. М. Жемчужникову от 15 (27) июля 1867 г. «Что касается до меня,— писал Плещеев,— то я от „Дыма" пришел в неистовое восхищение. Кроме того, что это высокохудожественная вещь, напомнившая прежнего Тургенева — автора „Записок охотника", „Рудина" и пр.,— 〈...〉 я нахожу, что и с большей частью того, что высказывает Потугин, нельзя не согласиться 〈...〉 Меткость и язвительность некоторых выражений не уступят грибоедовским и не умрут, как они. Это верно. Видно, что накоплено у человека, что не чернилами, а кровью сердца писалось, и все на него озлобились: и „Весть", и реалисты, и английский клуб, и славянофилы» [60].

В этом же письме Плещеев сообщал Жемчужникову, что И. В. Павлов «очень озлобился на Тургенева за „Дым"». По мнению Плещеева, Павлова больше всего огорчило, что Тургенев в своем романе «общину задел» [61].

Роман Тургенева «Дым» привлекал к себе внимание критиков и исследователей русской литературы и после смерти писателя. Этот интерес никогда не был нейтральным или только эстетическим. «Дым» продолжал возбуждать споры, и споры эти всегда касались самых насущных вопросов общественной жизни. Это говорит о том, что широта сатирических обобщений образов «Дыма» сделала роман значительным явлением не только русской литературы, но и русского освободительного движения.

Созданные Тургеневым образы членов губаревского кружка оказались настолько типичными, что В. И. Ленин воспользовался ими в борьбе с врагами марксизма [62].

V

Одновременно с подготовкой в России отдельного издания романа в Париже в журнале «Correspondant» началось печатание «Дыма» во французском переводе А. П. Голицына (с 25 июля по 25 ноября н. ст. 1867). Перевод Голицына по просьбе Тургенева редактировал и просматривал в корректуре П. Мериме. 18 (30) ноября 1867 г. Тургенев писал Морицу Гартману, что перевод «Дыма» в «Correspondant»

---

[60] *Рус Мысль*, 1913, кн. VII, с. 121.

[61] Там же, с. 120.

[62] См. работы Ленина «Аграрный вопрос и „критики" Маркса» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 147, 153—154, 168, 216); «Материализм и эмпириокритицизм» (там же, т. 18, с. 214) и письма к А. А. Якубовой, Е. Д. Стасовой и Ф. В. Ленгнику (там же, т. 46, с. 54—55, с. 364). Анализ цитат Ленина из романа «Дым» Тургенева см.: Цейтлин А. Г. «Дым».—В кн.: Творчество Тургенева. Сборник статей. М.: Учпедгиз, 1959, с. 422—423; Муратов А. Образы романа И. С. Тургенева «Дым» в работах и письмах В. И. Ленина.— В кн.: Сборник студенческих научных работ. ЛГУ, 1963, с. 240—249.

«не плох, но с некоторыми едва ощутимыми переделками и изменениями в иезуитском вкусе» [63].

Французского переводчика «Дыма» не удовлетворило название романа. Тургенев, соглашаясь с Голицыным, что «Fumée» по-французски звучит плохо, не мог принять и то заглавие, которое он предлагал («Современное русское общество»). В письме к Голицыну от 28 июня (10 июля) 1867 г. Тургенев замечал, что это заглавие «скорее подошло бы журнальной статье, чем художественному произведению».

Писатель дал Голицыну на выбор несколько возможных вариантов заглавия: «Между прошлым и будущим», «Без берегов», «В тумане», но все эти варианты были отброшены.

П. Мериме, будучи редактором, настоял на буквальном переводе названия романа: «Fumée». Под этим заглавием роман печатался во всех французских изданиях.

В текст французского перевода «Дыма» Тургенев внес те же поправки, что и в русское отдельное издание романа. Об этом он извещал своего переводчика 2 (14) августа 1867 г., возвращая ему очередную корректуру «Дыма»: «Я позволил себе,— писал Тургенев,— восстановить несколько фраз, которые издатель *русского журнала* нашел нужным выбросить, чтобы не вызвать слишком бурных протестов». В том же письме Тургенев сообщил Голицыну, что его не удовлетворил перевод текста: «Тупое недоумение ∽ унизительно безобразно!» (с. 292). При этом Тургенев послал А. П. Голицыну собственный перевод этого «трудного места», с которым просил своего переводчика согласиться [64].

Отправляя 5 (17) августа 1867 г. А. П. Голицыну очередную корректуру «Дыма», Тургенев извещал его, что восстановил в тексте романа биографию Ратмирова, которую М. Н. Катков счел должным «сократить и смягчить» [65].

Во французском переводе биографии Ратмирова, предназначенном для печатания в Париже, Тургенев исправил фразу «Этот либерализм ∽ крестьян» (с. 316), восстановив вариант наборной рукописи. В тексте «Дыма» в «Correspondant», как и во всех последующих переизданиях французского перевода этого произведения, печаталось: «Ce libéralisme ne l'empêcha pas pourtant de faire ros-

---

[63] Переводчик исключал из текста романа фразы, которые содержали с его точки зрения намек на безнравственность. О переводе на французский язык и публикации романа «Дым» в «Correspondant» см.: Виноградов А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928; Клеман М. К. И. С. Тургенев и Проспер Мериме.— *Лит Насл*, т. 31—32, с. 727—733; Горохова Р. М. «Дым». Работа Тургенева над французским переводом романа.— *Т сб*, вып. 5, с. 250—261, а также письма Тургенева к А. П. Голицыну (см. указатель писем по адресатам) и письма Мериме к Тургеневу, А. Голицыну, г-же Делессер и Женни Дакен в издании: Mérimée Prosper. Correspondance Générale. Etablie et annotée par Maurice Parturier, II série, t. 7, Toulouse.

[64] Автограф французского перевода этого отрывка хранится в Парижской национальной библиотеке (фотокопия: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 314_2).

[65] Текст этот, переведенный на французский язык самим Тургеневым, также известен и хранится в Парижской национальной библиотеке (фотокопия: *ИРЛИ*).

ser à mort cinq paysans» (Tourguénef J. Fumée. Extrait du Correspondant. Paris, ⟨1867⟩, p. 57; «Fumée», Paris, Hetzel, 1868, p. 140). Точно так же был восстановлен вариант наборной рукописи во фразе: «...подошел он к... важной особе» (с. 291). В «Correspondant» было напечатано: «...il s'approche d'un très-haut personnage...» (там же, p. 36), а в отдельном издании «Дыма» во французском переводе П. Мериме оттенок, указующий на чрезвычайно высокое положение особы (царь или наследник), ставшей покровителем Ирины, был еще усилен: «...il s'approche d'un très... très-haut personnage...» («Fumée», Paris, 1868, p. 88).

Устранив во французском переводе «Дыма» искажения текста «катковской цензуры», Тургенев не счел нужным ввести в него дополнения, сделанные для отдельного русского издания романа. Из всех вставок, сделанных Тургеневым в речи Потугина (см. с. 526), во французский перевод романа он ввел только одну, да и то не полностью (см. текст: «Неужели же не пора ∽ закидать можем» — с. 324—325).

В качестве предисловия ко второму французскому изданию «Дыма» («Fumée», 1868 Paris, Hetzel) была приложена статья П. Мериме о Тургеневе, в которой сказано: «Я слышал, что санкт-петербургская аристократия негодовала при появлении романа: она увидела в нем сатиру на себя, тем более обидную, что изображение отличалось большим сходством с оригиналом. Посетители любого салона находили здесь свои портреты ⟨...⟩ В действительности г-н Тургенев не писал ни портрета, ни сатиры. Виновен ли он в том, что, наблюдая природу, создает правдивые образы?» [66].

Первый немецкий перевод «Дыма», принадлежащий Фридриху Чишу, был напечатан в «Rigasche Zeitung» за 1867 г. (№ 222—256). В письме к Морицу Гартману от 18 (30) ноября 1867 г. Тургенев характеризовал перевод Чиша как «точный, но сухой и прозаический».

29 ноября (11 декабря) 1867 г. Тургенев известил Б. Э. Бере о своем согласии на отдельное издание этого перевода, но одновременно потребовал, чтобы в текст нового немецкого издания были включены дополнения, вошедшие в салаевское издание «Дыма». Среди страниц, указанных Тургеневым Бере, были не только те, которые содержали текст, испорченный в «Русском вестнике» «катковской цензурой», но и страницы с дополнениями, сделанными Тургеневым в речах Потугина уже после опубликования романа в журнале М. Н. Каткова. Сличение текста немецкого издания «Дыма» (Rauch. Aus dem Russischen des Iwan Turgenjew. Autorisierte Ausgabe, Mitau, 1868, S. 48—51, 127—129, 144, 279) с русским текстом показывает, что все пожелания Тургенева были выполнены. Несмотря на это, Тургенев остался недоволен этим изданием, так как переводчик, по мнению автора, высказанному в письме к Морицу Гартману от 15 (27) мая 1868 г., не только неточно передал текст романа, но и выбросил «всё, что не является грубо и откровенно банальным» [67].

В 1868 году в еженедельнике при аугсбургской газете «Allgemeine Zeitung» с 10 апреля по 10 июля (№ 15—28) был напечатан новый перевод «Дыма», сделанный Морицом Гартманом и получив-

---

[66] М е р и м е Проспер. Собр. соч. в 6-ти томах. М., 1963. Т. 5, с. 277.

[67] О недостатках перевода Ф. Чиша см. также примеч. к указ. письму.

ший высокую оценку Тургенева. Он писал по этому поводу переводчику: «...мне хочется расцеловать Вас, так легок, прекрасен и свободен перевод. Это шедевр!»

Интерес к «Дыму» в Германии не ослабевал и в последующие годы. Так, например, немецкий писатель Теодор Фонтане в одном из своих писем (1881 г.) отметил, что «Дым» — «первоклассное произведение» и что он считает только таких людей, как автор этого романа, истинными писателями [68].

Сразу же после выхода в свет отдельного издания «Дыма» появились отклики па этот роман и в Англии. В лондонском журнале «Athenaeum» была напечатана обстоятельная рецензия, анонимный автор которой очень высоко оценил новое произведение Тургенева. Особое внимание рецензент уделил сатирической стороне «Дыма», отметив, что если в прежних романах, борясь с недостатками представителей русского общества, Тургенев «наказывал их как отец», то в «Дыме» он «карает как разрушитель» [69]. Автор рецензии настойчиво рекомендовал перевести «Дым» на английский язык. Однако, когда появился первый перевод («Smoke, or Life at Baden». By I. Tourguenef, 2 vols. R. Bentley, 1868), он же вынужден был дать ему весьма нелестную оценку [70].

Кроме переводов на французский, немецкий и английский, при жизни Тургенева вышли в свет также переводы «Дыма» на итальянский (1869) [71], шведский (1869), голландский (1869), датский (1874), сербский (1869) [72], польский (1871), чешский (1870), словацкий (1881), венгерский (1869) и румынский (1882) [73] языки.

С т р. 249. *«Conversation»* — дословно «разговор» *(франц.)*, сокращенное название Конверсационсгауза, то есть места, где собирались посетители курорта. Баденский конверсационсгауз «представлял собою высокое и длинное здание казарменного вида под черепичною кровлею, с большими колоннами и маленькими окнами». Средний корпус его был занят залами рулетки, в правом крыле помещались читальни, а в левом — ресторан и кофейня Вебера. Тургенев очень точен в описании Баден-Бадена. С. А. Андреевский, специально изучавший в 1898 г. все места знаменитого курорта, названные в «Дыме», помимо Конверсационсгауза нашел и «русское дерево», и «Старый замок», и «Hôtel de l'Europe», в котором проживали Ратмировы (см.: А н д р е е в с к и й С. А. Город Тургенева.— В кн.: Литературные очерки. СПб., 1903, с. 280—288; ср.: Г о л о в и н К. Мои воспоминания. СПб., 1908. Т. 1, с. 359—360).

Оркестр в павильоне играл то попурри из «Травиаты», то вальс Штрауса, то «Скажите ей»...— «Травиата» — опера Верди (Verdi)

---

[68] F o n t a n e Theodor. Schriften zur Literatur, hrsg. H.- H. Reuter. Berlin, 1960, S. 346.

[69] Athenaeum, 1868, № 2119, 6 june, p. 789.

[70] См. там же, № 2146, 12 dec., p. 795.

[71] О переводах «Дыма» на итальянский язык см. письмо Тургенева к Герцену от 14 (26) октября 1869 г. и примеч. к нему.

[72] Первым переводчиком «Дыма» на сербский язык был Илья Вучетич (см. письма к нему от 9 (21) августа и 8 (20) ноября 1869 г.).

[73] О переводе «Дыма» на румынский язык см. в статье: Ч о б а н у В. Творчество Тургенева в Румынии.— В кн.: Румынско-русские литературные связи второй половины XIX — начала XX века. М., 1964, с. 125.

Джузеппе (1813—1901), написанная им в 1853 г. по драме А. Дюма-сына «Дама с камелиями». Штраус (Strauß) Иоганн (1825—1899) — австрийский композитор, создававший преимущественно танцевальную музыку. «Скажите ей!» — романс на слова Е. П. Ростопчиной «Когда б он знал», музыка кн. Е. В. Кочубей; издан в Петербурге в 1857 г., с 1863 г. входил во все популярные песенники.

Стр. 250. *...в салоне принцессы Матильды...*— Матильда Бонапарт (Bonaparte; 1820—1904) — племянница Наполеона I и двоюродная сестра Наполеона III. Ее салон, пользовавшийся известностью в парижских литературных и художественных кругах, посещали, в частности, Мериме, Флобер, Тургенев.

...из старых альманахов «Шаривари» и «Тентамарра»...— «Шаривари» (Le Charivari) — еженедельный иллюстрированный сатирический журнал, издававшийся в Париже с 1832 г. «Тентамарр» (Le Tintamarre) — французский литературный, театральный и музыкальный юмористический журнал, уделявший на своих страницах значительное место модам и рекламе; основан в 1843 г.

...«вся знать и моды образцы».— Не совсем точная цитата из «Евгения Онегина». У Пушкина: «Тут был однако цвет столицы, и знать и моды образцы» (глава восьмая, строфа XXIV).

Стр. 252. *... графини Воротынской.*— Тургенев имеет в виду изображенную под этим именем В. А. Соллогубом в повести «Большой свет» (1840) светскую львицу, законодательницу мод.

...воображающие, что золотая булла издана папой и что английский «poor-tax» есть налог на бедных.— Здесь имеется в виду самая известная из «золотых булл» — государственная грамота, изданная германским императором Карлом IV в 1356 г. Этот документ совершенно устранял вмешательство папы Римского в государственные дела германской империи. *«Poor-tax»* (или «poor-rate») — закон, принятый в Англии в 1601 г. при королеве Елизавете; дал приходам право взимать особый налог в пользу бедных соразмерно с доходом каждого владельца недвижимого имущества, находившегося в пределах прихода.

...та самая, у которой на руках умер Шопен...— В последние минуты жизни Шопена при нем находились его сестра Людвига и Дельфина Потоцкая. Последней Шопен посвятил в 1836 г. концерт (f-moll, оп. 21).

Стр. 254. *...проникнутых не столько западною теорией о вреде «абсентеизма»...*— Абсентеизм (лат. absentia, отсутствие) — уклонение избирателей от участия в выборах. В некоторых странах применяются наказания за неосуществление избирательного права. Во время Крымской войны офицеры ополчения избирались на уездных дворянских собраниях.

Стр. 255. *...она Штрауса читала...*— Имеется в виду Штраус (Strauß) Давид Фридрих (1808—1874), немецкий философ, автор 2-томной книги «Жизнь Иисуса» (1835—1836), в которой отрицалась божественность Христа.

Стр. 257. *О чем это сочинение? ᔕ Обо всем...*— Реминисценция из «Горя от ума» Грибоедова; ср. слова Репетилова о сочинениях Ипполита Маркелыча Удушьева:

> В журналах можешь ты, однако, отыскать
> Его *отрывок*, *взгляд* и *нечто*.
> Об чем бишь *нечто?* — Обо всем.
>
> (Действие IV, явл. 4).

...вроде, знаешь, Бёкля...— Бокль (Buckle) Генри Томас (1821—1862) — английский историк и социолог; его двухтомное сочинение «История цивилизации в Англии» (1857—1861) было переведено в 1864 г. на русский язык и пользовалось успехом в русских демократических кругах.

...финал из «Эрнани» играют.— Речь идет об опере Джузеппе Верди, написанной в 1844 г. на сюжет одноименной драмы В. Гюго.

Стр. 258. *...о вчерашней статье в «Азиатик джёрнал» о Ведах и Пуранах...*— Из контекста ясно, что имеется в виду английский журнал, полное название которого: «The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies»; основан в 1816 году. *Веды* — древнейшие индийские священные книги. *Пураны* — особый вид эпических поэм в древнеиндийской литературе.

Стр. 259. *...толковал о жившем до Фидиаса ваятеле Онатасе...*— *Фидий* (род. в V веке до н. э.) — древнегреческий скульптор, живописец и архитектор. *Онат* — древнегреческий ваятель, принадлежавший к эгинской скульптурной школе; жил в первой половине V века до н. э.

...называл Бастиа́ дураком и деревяшкой ∽ и всех физиократов»...— Бастиа́ (Bastia) Фредерик (1801—1850) — французский вульгарный экономист, автор «Экономических софизмов» (1846) и «Экономических гармоний» (1849). *Физиократы* — одно из направлений буржуазной политической экономии в середине XVIII века. Его характерные черты — антиисторизм и отождествление общественных законов с законами природы.

...замечанием о Маколее...— Маколей (Macaulay) Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк, публицист и государственный деятель, автор 5-томного труда «История Англии от восшествия на престол Якова II» (1849—1861).

...что же до Гнейста и Риля...— *Гнейст* (Gneist) Рудольф Генрих (1816—1895) — германский государствовед и политический деятель. *Риль* (Riehl) Вильгельм Генрих (1823—1897) — немецкий публицист и писатель.

Стр. 263. *...но Прасковья Яковлевна ∽ как она благородно с мужем разошлась!* — Намек на Авдотью Яковлевну Панаеву, которая стала гражданской женой Н. А. Некрасова. В черновом автографе первоначально было «Авдотья Яковлевна» вместо «Прасковья Яковлевна».

Читали вы «Mademoiselle de la Quintinie».— «Мадемуазель ла Кентини» — роман Жорж Санд (1804—1876), написанный ею в 1863 г. и направленный против узко религиозного воспитания молодых девушек.

...надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества.— Намек на идеи Н. Г. Чернышевского о женской эмансипации, развитые им в романе «Что делать?» (1862).

Стр. 265. *По методе Лассаля прикажете или Шульце-Делича? — Шульце-Делич* (Schulze-Delitsch) Герман (1808—1883) — немецкий буржуазный экономист и политический деятель; с 1849 г. проводил среди немецких рабочих и ремесленников кампанию за создание кооперативных товариществ и ссудо-сберегательных касс. *Лассаль* (Lassalle) Фердинанд (1825—1864) — немецкий мелкобуржуазный социалист; в начале 1860-х годов примкнул к рабочему движению, призывал к созданию производительных ассоциаций рабочих с государственным кредитом и под контролем государства. В 1864 г. Лассаль издал экономический труд («Herr Bastiat-Schultze

von Delitzsch, oder Kapital und Arbeit»), в котором вступил в полемику с Бастиа и Шульце-Деличем.

Община... Понимаете ли вы? Это великое слово! — В начале 1860-х годов между «Современником» и «Колоколом» велась полемика об исторической роли и значении крестьянской общины. Герцен доказывал, что социализм возможен только в России, благодаря тому, что в ней сохранилась общинная собственность на землю. Чернышевский, разделяя точку зрения Герцена на общину как на основу будущего социалистического устройства России, опровергал, однако, утверждение своего оппонента, что Запад не способен к социальному возрождению. Тургенев считал, что «община и круговая порука очень выгодны *для помещика, для власти*», о чем он писал 29 ноября (11 декабря) 1869 г. А. А. Фету. Не верил Тургенев и в революционные стремления крестьянства. Он утверждал, что сотрудники «Колокола» приписывают народу совершенно чуждые ему демократически-социальные тенденции, не видя того, что народ «консерватор par exellence и даже носит в себе зародыши ⟨...⟩ буржуазии в дубленом тулупе» (см. письма Тургенева к Герцену от 13 (25) декабря 1867 г. и 26 сентября (8 октября) 1862 г.).

...что значат эти пожары... эти... эти правительственные меры против воскресных школ, читален, журналов? — Петербургские пожары начались в ночь с 15 на 16 мая ст. ст. 1862 г. 28 мая возник самый большой пожар в центре города: горели Апраксин двор и Щукинский рынок. Герцен в «Колоколе» утверждал, что поджигателей следует искать «в полиции» (*Герцен*, т. 16, с. 262). Царское правительство, назвав виновниками пожаров «поляков, студентов и революционеров», усилило реакционность курса внутренней политики. В связи с террористическими действиями царского правительства Герцен писал в статье «Молодая и старая Россия»: «„День“ запрещен, „Современник“ и „Русское слово“ запрещены, воскресные школы заперты, шахматный клуб заперт, читальные залы заперты, деньги, назначенные для бедных студентов, отобраны, типографии отданы под двойной надзор, два министра и III отделение должны разрешать чтение публичных лекций; беспрестанные аресты, офицеры, флигель-адъютанты в казематах» (*Герцен*, т. 16, с. 199).

А несогласие крестьян подписывать уставные грамоты? — Уставная грамота — документ, определяющий экономические взаимоотношения помещиков и крестьян после отмены крепостного права. В статье «Разбор нового крепостного права» Н. П. Огарев писал: «Старое крепостное право было *общее* и прилагалось равно ко всякому частному случаю. Оно подразумевалось. Уставная грамота есть засвидетельствованный (юридически) *акт крепостного права для каждого отдельного случая* ⟨...⟩ новое крепостное право такое же зло, как и старое» (О г а р е в Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. М., 1952. Т. 1, с. 481). О своем отношении к основному документу крестьянской реформы — «Положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» — и о расхождениях в этом вопросе с Н. П. Огаревым Тургенев писал Герцену в 1861—1862 годах и В. Ф. Лугинину 26 сентября (8 октября) 1862 г.

...что происходит в Польше...— В июне 1862 г. в Польше было совершено покушение на вел. князя Константина Николаевича, наместника Царства Польского, в связи с чем усилились репрессии против польских патриотов и был произведен ряд арестов и казней.

В начале 1863 г. национально-освободительное движение в Польше вылилось в вооруженное восстание против русского самодержавия.

Разве вы не видите ∽ узнать его мнение? — В данном случае Губарев повторяет слова М. А. Бакунина из его статьи «Русским, польским и всем славянским друзьям»: «Изучая их ⟨сознательные и бессознательные желания народа⟩, мы сблизимся больше с народом ⟨...⟩ Но боже избави нас от одной ошибки: не будем доктринерами, не станем сочинять конституций и наперед предписывать законы народу. Вспомним, что наше призвание иное, что мы не учители, а только предтечи народа; что мы должны расчистить перед ним дорогу, и что наше дело по преимуществу — не теоретическое, а практическое» (Колокол, 1862, л. 122—123, с. 1025).

Стр. 266. *...он назвал Дрепера ∽ Грина...*— Ворошилов бессистемно перечисляет запомнившиеся ему имена деятелей различных областей науки и искусства. *Дрепер* (Draper) Джон Уильям (1811—1882) — историк культуры, апологет промышленной буржуазии. *Фирхов* (Вирхов — Virchow — Рудольф, 1821—1902) — немецкий физиолог, основатель клеточной патологии. *Шелгунов* Николай Васильевич (1824—1891) — публицист и литературный критик демократического лагеря. *Биша́* Мари Франсуа Ксавье (1771—1802) — французский анатом, физиолог и врач. *Гельмгольц* Герман Людвиг Фердинанд (1821—1894) — немецкий физик, математик и психолог. *Стар* (вероятно, Штар — Stahr — Адольф, 1805—1876) — немецкий писатель, автор ряда работ по истории литературы и искусства. *Стур* (очевидно, Штур — Stúr — Людевит, 1815—1856) — словацкий писатель, автор труда «Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная» (русский перевод В. И. Ламанского был издан в Москве в 1867 г.). *Реймонт* (Reumont) Альфред (1808—1887) — немецкий историк и дипломат. *Иоганн Миллер физиолог* — Иоганн Мюллер (Müller, 1801—1858) — немецкий биолог и физиолог. *Иоганн Миллер историк* — Иоганн Мюллер (Müller, 1752—1809) — немецкий историк и политический деятель, автор 5-томной «Geschichte der schweizer Eidgenossenschaft», Лейпциг (1786—1808). *Тэн* (Taine) Ипполит (1828—1893) — французский теоретик искусства и литературы, философ и историк. *Ренан* (Renan) Жозеф Эрнест (1823—1892)— французский филолог и историк-семитолог. *Щапов* Афанасий Прокофьевич (1830—1876) — русский историк, публицист и общественный деятель демократического лагеря. *Наш* (Nash) Томас (1567—1601) — английский памфлетист и драматург. *Пиль* (Peele) Георг (1558?—1597?) — английский драматург, современник Шекспира. *Грин* (Green) Роберт (1560—1592) — английский драматург, современник Шекспира.

Стр. 267. *...романс Варламова...*— Варламов Александр Егорович (1801—1848) — композитор, автор популярных романсов.

...Miserere из «Траватора»...— Речь идет об арии из оперы Верди «Трубадур» (по-итальянски Trovatore), написанной в 1853 г.

«Искра» — иллюстрированный сатирический журнал революционно-демократического направления; выходил в Петербурге с 1859 по 1873 г. под редакцией поэта В. С. Курочкина и карикатуриста Н. А. Степанова.

В газете толковалось о римском вопросе...— Имеется в виду освобождение Рима от французской оккупации. В августе 1862 г. Гарибальди собрал добровольцев и двинулся на Рим, но был ранен и арестован сардинскими властями. Его арест вызвал бурю протестов в различных странах мира, о чем подробно писалось в газетах.

Стр. 269. *...как у поэта Языкова, который, говорят, воспевал разгул ∽ кушая воду...*— Аналогичная точка зрения на поэзию Н. М. Языкова (1803—1847) была высказана Белинским: «Поэзия Языкова,— писал он в 1847 г.,— не была выражением его жизни. Оттого вино только шипит и пенится в его стихах, но не охмеляет» (*Белинский*, т. 10, с. 100).

Стр. 270. *...Шлезвиг-Гольштейн и единство Германии явятся на сцену...*— С 1773 г. немецкое герцогство Шлезвиг-Гольштиния фактически стало провинцией Дании. В 1848—50 годах Шлезвиг-Гольштиния вела войну против датского владычества, закончившуюся ее поражением. Это вызвало негодование во всех германских герцогствах и послужило последним толчком для движения за их объединение. Шлезвиг-Гольштиния была присоединена к Пруссии в результате прусско-датской войны 1864 года.

...от яиц Леды — с самого начала. Леда — в древнегреческой мифологии дочь этольского царя, прельстившая своей красотой Зевса.

Стр. 271. *Все наши расколы, наши Онуфриевщины да Акулиновщины...*— *Онуфриевщина* — старообрядческая секта, основанная в конце XVII века на Керженце (Нижегородская губерния) Онуфрием. *Акулиновщина* — разновидность хлыстовской и скопческой ересей. Старообрядчество — это «глушь, и темь, и тирания»,— писал Тургенев 13 (25) декабря 1867 г. Герцену. Впоследствии писатель неоднократно изображал деспотизм руководителей религиозных сект («Странная история», 1869; «Степной король Лир», 1870). Об отношении Тургенева к расколу см.: Бродский Н. Л. Тургенев и русские сектанты. М., 1922; Левин Ю. Д. Неосуществленный исторический роман Тургенева.— В кн.: *Т сб*, вып. 1, с. 96—131.

Стр. 272. *...«возвратимся на первое» ∽ протопоп Аввакум.*— Аввакум (1620? — 1682) — основатель русского старообрядчества, сожжен по царскому указу вместе с его ближайшими единомышленниками. Выражение «возвратимся на первое» (в источнике — « на первое возвратимся») взято из его сочинения «Житие протопопа Аввакума» (1672—1675).

...образованные люди,— дрянь ∽ будемте же верить в армяк.— Армяк — верхняя мужская одежда со сборками на талии. После петровских реформ этот вид одежды бытовал только у крестьян и мещан. Мистическая вера в народ и преклонение перед его стихийной революционностью были характерны для некоторых сотрудников «Колокола» (см., например: Бакунин М. А. Русским, польским и всем славянским друзьям.— Колокол, 1862, л. 122—123, с. 1028; Огарев Н. П. Расчистка некоторых вопросов. Там же, л. 136—138). Тургенев писал 26 сентября (8 октября) 1862 г. Герцену: «...поверь: единственная точка опоры для живой, революционной пропаганды — то меньшинство образованного класса в России, которое Бакунин называет и гнилым, и оторванным от почвы, и изменниками. Во всяком случае, *у тебя* другой публики нет».

Стр. 273. *...прочтите Кохановскую...*— Кохановская (Надежда Степановна Соханская, 1825—1884) — писательница славянофильского направления. Имеется в виду ее роман «Рой-Феодосий Саввич на спокое», напечатанный в 1864 г. в газете «День». Тургенев тогда же, 23 апреля (5 мая) 1864 г., писал Н. В. Щербаню: «Каждое слово „Роя“ словно в мурмолке ходит, и потому всё впечатление тяжелое». Кохановская, подделываясь под народный язык,

повествовала о трогательных патриархальных отношениях между русским барином и его крестьянами.

...выписал от Бутенопов чугунную, отлично зарекомендованную веялку...— Завод земледельческих орудий и машин был основан братьями Иваном и Николаем Бутеноп в Москве в 1832 г. Мардарий Аполлоныч в рассказе Тургенева «Два помещика» купил у Бутенопа молотильную машину (см. наст. изд., т. 3, с. 167 и 479).

С т р. 275. *...народность там, что ли, слава, кровью пахнут...*— В данном случае утверждение Потугина направлено против славянофилов и представителей «официальной народности». Еще Белинский, полемизируя с М. П. Погодиным, писал в 1848 году: «Толкуют еще о *любви* как о национальном начале, исключительно присущем одним славянским племенам ⟨...⟩ кто-то ⟨...⟩ решился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью, отделались мы не только от татар, но и от нашествия Наполеона. Не правда ли, что в этих словах высокий образец ума, зашедшего за разум вследствие увлечения системой, теорией, несообразною с действительностью?» (*Белинский*, т. 10, с. 24).

С т р. 276. *Odi et amo ∽ Катулл*, LXXXVI.— Катулл Гай Валерий (ок. 84—54 до н. э.) — римский поэт-лирик. Этот дистих (LXXXV) под названием «De amore suo» («О своей любви») Тургенев приводил в письме к Фету от 2 (14) января 1861 г., советуя сделать перевод. Современный американский исследователь Ч. Финч, основываясь только на упоминании Потугиным стиха Катулла «Odi et amo», без всяких доказательств, утверждает, что в любовной коллизии Литвинова и Ирины Тургенев воспроизвел роман Катулла и Лесбии (см.: Chance y E. F i n c h.— Turgenev as a student of classics.— The Classical Journal (Chicago), 1953, № 3, vol. 49, p. 117—122).

...на недостатки английского военного управления, разоблаченные «Тэймсом»...— «Таймс» («Times» — «Времена») — английская ежедневная газета, основанная в 1785 г.; издается в Лондоне. В начале Крымской войны критиковала высшее командование английских войск за малоуспешные действия. Выступления «Таймс» широко комментировались в русской печати.

...сегодня у Маркса...— Маркс — владелец книжной лавки, библиотеки и читальни в Баден-Бадене.

...перелистывал брошюру Вельйо...— Вельйо (Veuillot) Луи Франсуа (1813—1883) — французский клерикальный публицист. В 1860-х годах он выпустил ряд произведений, в том числе: «Vie de N.— S. Jésus-Christ» (1864), «Pie IX» (1863), «Odeur de Paris» (1866).

С т р. 284. *...благоговел перед Робеспьером и не дерзал громко осуждать Марата...*— Русские революционные демократы расценивали деятельность Робеспьера и Марата как борьбу за освобождение человеческой личности. Белинский, например, писал в 1842 г.: «Я понял ⟨...⟩ кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством хоть коляскою с гербом» (*Белинский*, т. 12, с. 52).

С т р. 287. *...в «Полицейских ведомостях»...*— Имеется в виду газета «Ведомости московской городской полиции», выходившая с 1848 по 1894 г.

С т р. 292. *...мышья беготня мыслей...*— Ср. у Пушкина в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы» (1830): «Жизни мышья беготня...».

С т р. 302. *Уж не до семибоярщины ли нам вернуться...*— Семибоярщина — название правительства в России в 1610—1612 годах (состояло из семи знатных бояр), которое пошло на соглашение с польскими интервентами и предало национальные интересы.

С т р. 303. *...тотчас его под цугундер*.— Выражение, встречающееся у многих русских писателей. Я. К. Грот обращался за объяснением слова «цугундер» к Тургеневу, который сообщил ему, что «он слышал это слово от кавалеристов и что под цугундером разумеется какой-то способ усмирения лошадей» (Труды Я. К. Грота. СПб., 1899. Т. II, с. 431). Этимологией слова цугундер после прочтения «Дыма» Тургенева заинтересовался также И. В. Ягич, посвятивший ему специальное исследование (см.: Письма И. В. Ягича к русским ученым, 1865—1886. М.; Л., 1963, с. 142 и 381—382).

С т р. 304. *Самоуправление, например,— разве кто его просит?*— С 1860 по 1867 год в «Колоколе» постоянно печатались статьи и корреспонденции, отражавшие нарастание в России движения за «представительное самоуправление». См., например, статьи Н. П. Огарева: «Куда и откуда» (Колокол, 1862, л. 134), «Настоящее и ожидания» (Колокол, 1867, л. 242, 244—245), «Письмо к читателю „Колокола“» (Колокол, 1867, 1 августа).

Демократия вам рада, она кадит ∽ да ведь это меч обоюдоострый.— Слова генерала напоминают рассуждения из книги Б. Н. Чичерина «О народном представительстве» (М., 1866), где говорится: «Но свобода благотворна только для тех, кто умеет ею пользоваться. Это меч обоюдоострый» (с. 73).

«Орфей в аду» — пародийная оперетта французского композитора Жака Оффенбаха (Offenbach; 1819—1880), первая редакция которой появилась в 1858 г.

С т р. 305. *...вежливо, но в зубы!* — Этот лозунг «тучного генерала» совпадает с политической программой «охранительного либерализма» — «либеральные меры и сильная власть»,— провозглашенной Б. Н. Чичериным в книге «Несколько современных вопросов». М., 1862, с. 169 (см.: В и н н и к о в а И. А. И. С. Тургенев в шестидесятые годы, с. 86).

С т р. 310. *«Есть многое на свете, друг Гораций»...*— Слова Гамлета из I действия (сцена V) трагедии Шекспира.

С т р. 324. *...вычитал в газете проект о судебных преобразованиях в России...*— «Основные положения преобразования судебной части в России» были опубликованы 3 (15) октября 1862 г. (см.: *СПб Вед*); новые судебные уставы были утверждены правительством и обнародованы в ноябре 1864 г. (см.: Голос, 1864, № 331, 30 ноября (12 декабря)). Важнейшим завоеванием судебной реформы было учреждение в России суда, не зависевшего от администрации, уничтожение сословных судов и введение института присяжных заседателей. Преобразование русского судопроизводства встретило сильную оппозицию со стороны реакционных кругов, которым удалось не только затормозить процесс введения в действие новых судебных уставов, но и ограничить их применение (см.: К о н и А. Ф. Судебная реформа и суд присяжных.— В кн.: За последние годы. СПб., 1898, с. 275—293).

Подите-ка развяжитесь с общим владением!..— в «Положениях 19 февраля 1861 г. о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» было узаконено два вида собственности на землю: личная и общинная. В § 34 главы второй «Положений» указывалось: «Сельское

общество может также, на основании общих законов, приобретать в собственность движимые и недвижимые имущества. Землями. приобретенными в собственность независимо от своего надела, общество может распоряжаться но своему усмотрению, разделять их между домохозяевами и предоставлять каждому участок в частную собственность или оставлять сии земли в общем владении всех домохозяев». Об отношении Тургенева к общине см. примеч. к с. 265.

Мейербер (Meyerbeer) Джакомо (1791—1864, настоящее имя Роберт Бер) — композитор, автор опер «Гугеноты», «Пророк», «Роберт-Дьявол».

Стр. 325. *Кулибин* Иван Петрович (1735—1818) — механик, конструктор и изобретатель-самоучка.

Хвалить Телушкина, что на адмиралтейский шпиль лазил...— Петр Телушкин — казенный крестьянин из Ярославской губернии, мастер кровельного дела, без лесов, пользуясь только веревками, поднялся осенью 1830 г. на шпиль Петропавловского собора в Петербурге и починил крест и крыло у металлической фигуры ангела. А. Н. Оленин издал в апреле 1831 г. о нем брошюру: «О починке креста и ангела (без лесов) на шпице Петропавловского собора в С.-Петербурге». К брошюре приложен рисунок, поясняющий приемы, благодаря которым Телушкин поднялся на шпиль.

...поклонялись этакой пухлой ничтожности, Брюллову...— Тургенев, отдавая должное таланту Карла Павловича Брюллова (1799—1852), тем не менее писал, что он создавал «трескучие картины с эффектами, но без поэзии и содержания» (см.: «Поездка в Альбано и Фраскати. Воспоминание об А. А. Иванове»). Тургенев заметил также в письме к П. В. Анненкову от 1 (13) декабря 1857 г., что «художество» в России «начнется только тогда, когда Брюллов будет убит, как был убит Марлинский».

Стр. 326. *...Хрустальный дворец возле Лондона...*— здание, построенное из металла и стекла по проекту архитектора Дж. Пакстона в 1851 г. в Лондоне и служившее главным павильоном Всемирной выставки. В 1853—1854 годах Хрустальный дворец (Crystal Palace) перенесен в Сиднем, близ Лондона.

...даже самовар ∽ *не нами выдуманы.*— Ср. в «Дворянском гнезде»: ...«сам Х⟨омяко⟩в признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали» (наст. изд., т. 6, с. 101).

Стр. 327. *...поднять старый, стоптанный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Симона или Фурие...*— Очевидно, имеется в виду Н. П. Огарев, напечатавший в 1866 году в «Колоколе» цикл статей под названием «Частные письма о общем вопросе», в которых излагалась история социалистических идей на Западе до Сен-Симона и Фурье включительно. Н. П. Огарев поставил перед собою задачу прояснить, что такое социализм, как он произошел, что он произвел в Европе, в каком отношении к нему стоит русская община и артель (Колокол, 1866, л. 211). Ср.: Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей». Л., 1972, с. 131.

...или статейку настрочить об историческом и современном значении пролетариата в главных городах Франции...— Намек на Н. В. Шелгунова, поместившего в 1861 г. в «Современнике» изложение книги Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» (1845) под названием «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции». Шелгунов ответил Тургеневу в статье «Люди сороковых и шестидесятых годов» (см.: Дело, 1869, № 12, отд. «Современное обозрение», с. 16, ср.: Муратов А. Б. И. С. Тургенев, Н. В. Шелгунов и

Я. П. Блюммер.— Вест. Ленингр. ун-та, 1964, № 20, вып. 4, с. 69—74).

...назвал наконец Монфермель, вспомнив, вероятно, польдекоковский роман.— Роман французского писателя Поль де Кока (1793—1871) «Монфермельская молочница» (1827), неоднократно переводившийся на русский язык.

С т р. 329. *...чувство красоты и поэзии развивается ∽ под влиянием той же цивилизации...*— В основе этого утверждения Потугина лежит мысль Белинского, что «художественная поэзия всегда выше естественной или собственно народной» (*Белинский*, т. 5, с.308). См. также: А з а д о в с к и й М. К. «Певцы» Тургенева.— Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1954. Т. XIII, вып. 1, с. 149.

С т р. 330. *...святорусский богатырь ∽ «и женский пол пухол живет»...*— Потугин пересказывает отрывок из былины «Дунай», приведенный в третьей статье Белинского «Древние российские стихотворения»:

Скочил он, Дунай, с добра коня
И горазд он с девицею дратися,
Ударил он девицу по щеке,
А пнул он девицу под...—
Женский пол от того пухол живет.

(*Белинский*, т. 5, с. 367).

...шубоньку сшил он себе кунью ∽ воробей лети-перепурхивай.— Портрет древнерусского щеголя, нарисованный Потугиным, восходит к былинам о Чуриле Пленковиче и Дюке Степановиче в вариантах, воспроизведенных в 1, 2 и 3 частях труда П. Н. Рыбникова «Народные былины, старины и побывальщины», вышедшего в свет в 1861—1864 годах (см. ч. 1, с. 269, ч. II, с. 142, 179, ч. III, с. 158). Подробнее см.: К и й к о Е. И. «Дым». Роман Тургенева и русские былины в записях П. Н. Рыбникова.—*Т сб*, вып. 4, с. 162—165.

И идет молодец ∽ наш Алкивиад, Чурило Пленкович ∽ и молодых девках...—Алкивиад (451—404 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец, как пишет в его жизнеописании Плутарх, обладал величайшим искусством завоевывать любовь окружавших его людей. *Чурило Пленкович* — богатырь щеп (или щап), т. е. щеголь, франт, в русском былинном эпосе.

...«кровь в лице быдто у заицы?..» — Перефразировка стиха из былины о Дунае Ивановиче: «У ней кровь-то в лице словно белого заяца» (Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. М., 1862. Ч. II, с. 45).

С т р. 334. *...римского Гелиогабала...*— Гелиогабал (204—222 н. э.) — римский император, деспот и развратник.

С т р. 336—337. *Кельнер поставил блюдо ∽ каталепсии не оказалось.*— Спиритические опыты в гостиной Ратмировых описаны по личным впечатлениям. В письме к П. В. Анненкову от 19 ноября (1 декабря) 1860 г. Тургенев сообщал, что присутствовал на одном из заседаний «медиумов», «где происходили необыкновенные, сиречь комические штуки».

С т р. 338. *...о последней пиесе Сарду...*— Сарду (Sardou) Викторьен (1831—1908) — французский драматург. В гостиной у Ратмировых могли говорить о его пьесе «La papillonne» («Бабочка»), поставленной в 1862 г. в Париже.

...о романе Абу...— Абу (About) Эдмон (1828—1885) — французский прозаик. В 1862 г., когда происходил разговор об Абу у Ратмировых, большой успех имел его роман «Нос одного нотариуса».

...о Патти в «Травиате»...— Итальянская оперная певица Аделина Патти (1843—1919) выступала в 1860-х годах в Петербурге и пользовалась большим успехом.

Стр. 358. *...прусский оркестр из Раштадта...*— Раштадт — город в герцогстве Баденском. В 1849 г. в Раштадте началась баденская революция, подавленная прусскими войсками, захватившими крепость и расположившими в ней свой гарнизон.

Стр. 374. *...поручик Пирогов...*— Персонаж повести Гоголя «Невский проспект» (1834).

Стр. 378. *...«le Verre d'eau»* («Стакан воды»)...— пьеса французского драматурга Э. Скриба (1791—1861).

...Madeleine Brohan...—Мадлен Броан (1833 —1900)— французская актриса, выступавшая в 1850—1885 годы в Théâtre Français.

Стр. 379. *...voyage... où il vous plaira ᔕ Премилые рисунки.*— Речь идет о волшебной сказке Этцеля (Hetzel. Voyage où il vous plaira), изданной им в 1843 г. под псевдонимом Сталь (Stahl). Текст песенки для этой сказки на музыку Моцарта сочинил А. Мюссе. Издание было богато иллюстрировано известным французским графиком и живописцем Тони Жоанно (Tony Johannot, 1803—1852). См. об этом: Parmenie A. et Bonnier de la Chapelle C. Histoire d'un éditeur et de ses auteurs. P.- I. Hetzel (Stahl). Paris, 1953, p. 38—40. Этцель был близким знакомым Тургенева, издавал переводы его произведений на французский язык и состоял с ним в регулярной переписке.

Стр. 394. *...друзьям моим славянофилам ᔕ не худо бы призадуматься над этою былиной.*— Рассуждения Потугина в данном случае совпадают с высказываниями Тургенева в письме к К. С. Аксакову от 16 (28) января 1853 г.: «Мы обращаемся с Западом,— писал там Тургенев,— как Васька Буслаев (в Кирше Данилове) с мертвой головой,— побрасываем его ногой — а сами... Вы помните, Васька Буслаев взошел на гору, да и сломил себе на прыжке шею».

Стр. 395. *Вы не будете «сеятелем пустынным»...*— Ср. стихотворение А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный» (1823).

Стр. 397. *Беспрерывно взвиваясь ᔕ и всё исчезает бесследно, ничего не достигая!..*— Ср. с рассуждениями Тургенева в письме к О. Д. Хилковой от 19 (31) января 1861 г.: «Эти три месяца прошли как дым из трубы: бегут, бегут какие-то серые клубы, всё как будто различные и в то же время однообразные».

Стр. 399. *«A tout venant je crache!» или «Бог не выдаст, свинья не съест».*— Журнал русских студентов, выходивший в 1864 г. в Гейдельберге. Публикацию сохранившихся экземпляров этого издания см.: Черняк А. Журнал русских студентов в Гейдельберге.— Вопросы литературы, 1959, № 1, с. 173—183.

Стр. 402. *...произвел на него впечатление Солона или Соломона...*— Тот и другой прославились своей мудростью. *Солон* (ок. 638—559 до н. э.) — политический деятель и социальный реформатор древних Афин. *Соломон* — царь объединенного Израильско-иудейского царства (ок. 960—935 до н. э.).

Стр. 404. *...под сюркуп взяли...*— Сюркуп (от французского surcoupe) — картежный термин, обозначающий перекрытие карты партнера старшей картой. Это слово встречается у Герцена, Достоевского, Салтыкова-Щедрина.

Стр. 406. *...вы вступили в храм, в храм, посвященный ᔕ неземному.*— Современники Тургенева полагали, что в данном случае имеется в виду дом графини Н. Д. Протасовой. К. Ф. Головин писал

по этому поводу: «И обедни в ее ⟨Н. Д. Протасовой⟩ крошечной церкви, и ее утренние приемы по вторникам, и дававшиеся у нее балы — носили почти религиозный характер. Здесь был свет по преимуществу и его центральная точка, главный алтарь его культа. В заключительной сцене своего „Дыма" Тургенев, кажется, намекал именно на этот дом, называя его „храмом"» (Головин К. Мои воспоминания. СПб., 1908. Т. 1, с. 143). П. Лавров, ссылаясь на толки «злых языков», связывает это описание с приемной императрицы (Вестник народной воли, 1884. № 2, с. 107—108).

Стр. 407. ...*«Таинственной капли» Ф. Н. Глинки...*— Религиозно-мистическая поэма Ф. Н. Глинки «Таинственная капля» была издана (в двух частях) в 1861 г. в Берлине.

У ней ум озлобленный...— Было высказано предположение, что выражение «озлобленный ум» восходит к пушкинской характеристике «современного человека» в седьмой главе «Евгения Онегина»: «С его озлобленным умом, кипящим в действии пустом» (см.: Эйгес И. Значение Пушкина для творчества Тургенева.— *Лит учеба*, 1940, № 12, с. 72—73). Ср. также у Белинского в статье об «Евгении Онегине»: «Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому что человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим собою» (*Белинский*, т. 10, с. 454; об этом см.: Муратов А. Б. И. С. Тургенев после «Отцов и детей», с. 58).

ПРИЛОЖЕНИЕ

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К ОТДЕЛЬНОМУ ИЗДАНИЮ «ДЫМА»⟩

(с. 408)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Автограф. 1 л. Содержит текст, кончая словами «...que celle des lettres». Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 327.

Автограф. Содержит текст со слов: «Печатая второе издание» и кончая словами «неизбежные недостатки», записан на полях автографа повести «Два приятеля» (см. наст. изд., т. 4, с. 630). Датирован — апрель 1868 г. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 74; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 285.

«Дым», соч. Ив. Тургенева, изд. бр. Салаевых. Москва, 1868.

«Дым», соч. Ив. Тургенева, изд. 2-е бр. Салаевых. Москва, 1868.

Впервые полностью опубликовано во втором отдельном издании «Дыма» в 1868 г., по тексту которого печатается и в настоящем издании.

В собрание сочинений впервые включено: *Т*, *Сочинения*, т. 12, с. 282.

Время написания первой части предисловия, появившейся в первом издании «Дыма» в 1868 г.— июнь — октябрь 1867 г.— определяется письмами Тургенева той поры. 31 мая (12 июня) 1867 г. Тургенев сообщил А. Ф. Писемскому, что он только еще думает «о небольшом предисловии к отдельному изданию „Дыма"», а в ноябре 1867 г. это издание уже вышло в свет.

Готовя второе отдельное издание романа, Тургенев прибавил к тексту предисловия заключительный абзац и обозначил время работы: апрель 1868 г.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

И. С. Тургенев. Фотография А. И. Деньера, 1865 г. *Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, Ленинград. Фронтиспис*

«Отцы и дети». Первая страница автографа. *Национальная библиотека, Париж* 9

«Отцы и дети». Страница автографа (гл. XVI). *Национальная библиотека, Париж* 81

«Призраки». Наброски плана, автограф. *Национальная библиотека, Париж* 195

«Довольно». Первая страница автографа. *Национальная библиотека, Париж* 223

«Собака». Последняя страница автографа. *Национальная библиотека, Париж* 245

«Дым». Заглавная страница рукописи. *Национальная библиотека, Париж* 251

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Примечания
ОТЦЫ И ДЕТИ	5	416
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ		
Призраки	191	470
Довольно	220	486
Собака	232	499
ДЫМ	247	508
Приложение. Предисловие к отдельному изданию «Дыма»	408	558
ПРИМЕЧАНИЯ	409	558
Условные сокращения	410	
Вводная статья	411	
Список иллюстраций	559	

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Тексты подготовили и примечания составили:
А. И. Батюто, Е. И. Кийко, А. П. Могилянский, Н. Н. Мостовская, Г. Ф. Перминов, Е. И. Покусаев

Редакторы тома
Е. И. Кийко и *С. А. Макашин*

*

Редактор издательства *М. Б. Покровская*
Оформление художника *М. В. Большакова*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Н. П. Кузнецова*
Корректоры *Г. М. Котлова, О. В. Лаврова*

ИБ № 22454

Сдано в набор 08.07.80.
Подписано к печати 22.04 81.
Формат 84×108 1/32.
Бумага типографская № 1.
Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая. Усл. печ. л. 29,5.
Уч.-изд. л. 34,6. Тираж 400 000 экз.
(1-й завод 1—275 000)
Заказ № 1921. Цена 3 р. 80 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28